

# Веселий мудрецъ

Борис Левін

\* російською мовою \*

Левиной Анне Николаевне

## КНИГА ПЕРВАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ ГРОЗЫ

1

Время службы в магистрате давно вышло, большой колокол Успенского собора позвал молящихся к вечерне, а он вынужден сидеть неизвестно зачем. Подобное повторяется почти ежедневно. Вот и сегодня: можно бы уйти, а нет — столоначальнику угодно задержаться, а посему и ты, господин протоколист, сиди, хотя вся чиновная братия, и даже подканцеляристы, разбежались, едва только часы в приемной управляющего пробили шесть. А что изменишь? Убежал бы тоже, но куда убежишь?

А потому терпи, раб божий Иван, сын Котляревского Петра, в прошлом тоже канцеляриста Полтавского магистрата. Терпи и жди своего часа: авось затеплится и твой огонек, засветит и тебе луч надежды.

Судя по всему, исполненная тобой бумага — описание по данным донесений полицейских чинов последствий так называемого дела о возмущении крестьян в Турбаях, — каждая буковка которой выведена с такой тщательностью каллиграфическим почерком, что и глядеть тошно, еще не прочитана — стало быть, не пришла очередь. А можно — ей-ей, можно — проверить оную бумагу и в понедельник, и даже позже, и ровным счетом, ничего бы не изменилось, Полтава осталась бы на своем месте, как вот стоит она многие лета, несмотря на то, что ее не раз жгли, разрушали и татары, и шведы, и паны ляхи приложили руку. Но поди скажи — Новожилов к запятой придерется, нарочно заставит перебелить от начала до конца все дело. И не смей возражать, иначе будет еще хуже — прикажет сидеть весь вечер и переписывать никому не нужные донесения.

Более чем странные требования этого стареющего, с бесцветными глазами господина, невесть откуда прибывшего в Полтаву, в Новороссийскую канцелярию, на должность столоначальника, у всех поперек горла. Но стену лбом не прошибешь, ибо, как говорят шутники: пробьешь одну стенку, за ней — другая. Управляющий выслушивает доклады Новожилова, — других он не принимает. Возможно поэтому Новожилов и с канцеляристами почти не разговаривает, ткнет пальцем в бумагу — понимай: "Исполнить". И — кругом марш.

Впрочем, бывают исключения. Это обычно в тех случаях, когда Новожилов находит в бумаге слово, звучащее, по его разумению, не по-русски. Тогда он вызывает виновника к себе и, не поднимая глаз, швыряет бумагу на пол: "Извольте, сударь, переделать!" А какое слово вызвало неудержимый гнев начальства, неизвестно. Сиди,

ломай голову. Со временем канцеляристы, подобранные из местных не закончивших курса семинаристов, — смекалистых и отменных грамотеев, — стали понимать, в чем дело, и быстро исправляли свои ошибки, иные же нарочно повторяли их. Канцеляристы вызывались снова. И опять им делалось внушение и приказывалось немедленно исправить.

Приходилось переписывать некоторые бумаги по несколько раз и Котляревскому, но не потому, что не видел ошибок. Тут была горькая обида, она жгла, мучила: родное слово смеют не признавать! Однако он упрямо вставлял это "злополучное" слово в бумагу, переписывал и снова оставлял его. А как хотелось схватить ту самую бумагу и запустить в физиономию Новожилову. Но в таком случае он оставил бы канцелярию. И все же, доведенный до отчаяния, он, может быть, в одно прекрасное время так бы и поступил, отвел душу, но вставал все тот же один-единственный вопрос: где ему, сыну бывшего канцеляриста, найти службу, которая бы кормила его и матушку?.. И он снова шел к столу, ножницами очинял притупившееся перо и принимался — в который раз! — перебеливать одно и то же.

Сегодня же приходилось ожидать, когда дойдет очередь и Новожилов просмотрит его картон.

Несколько раз подходил к высокой двери, но решительно ничего не мог расслышать: в кабинете тишина.

А ведь час тому назад туда вошел Миклашевский со своими бумагами. Что же его там держит?

На дворе нынче хорошо. Кажется, за всю жизнь такой осени не помнил. Она разукрасила в различные цвета сады и палисадники, все подгорье до самого Крестовоздвиженского монастыря. Не все сады еще убраны, не сняты поздние сорта яблок, и Полтава насквозь пропахла ими. Установилась теплая погода, дощатые тротуары на главных, улицах подсохли, и полтавские модницы из господских домов не замедлили воспользоваться случаем, чтобы прогуляться и показать обновы: люстриновые кунтуши, красные сапожки с оторочкой, головные уборы — кораблики. По необъяснимым причинам в те же часы на улицах появлялись и господа военные — молодые офицерики карабинерного полка, щеголявшие в новеньких мундирах.

В это же время, а может чуть попозже, когда загонят коров, вернувшихся с пастбища, на Мазуровке и Панянке соберутся и девчата-мешанки, вслед за ними нагрянут молодые приказчики, писари, возчики, а там, невесть откуда, появится и троистая музыка — скрипка, бубен и басоль — и пойдут пляски с припевками и прибаутками. Смотри, слушай, а хочешь — и сам кружись в немыслимо зажигательном танце, от которого дух захватывает...

Но делать нечего — уходить не приказано, а потому сиди, как проклятый, перебирай опостылевшие бумаги.

Уж эти бумаги, господи! Им несть числа. И самое ужасное: чем старательнее и быстрее исполняешь, тем их становится больше, густым потоком плывут — ничего не стоит неискушенному и захлебнуться. Входящие, исходящие, докладные, объяснения,

справки, отношения и цифры, от которых недолго потерять вкус ко всякого рода бумагам. А слог! Насквозь фальшивый, лицемерный. "Милостивый государь, примите уверения в вечной к вам преданности..." Кто же этому поверит? Подписавший такое чувствует нечто совершенно противоположное, а клянется в "вечной преданности". Но попробуй написать простым человеческим языком — тебя не поймут. Новожилов с саркастической улыбкой завернет: "Извольте-с перебелить, сударь. Исправьте..." Вот и строчи по форме, по канону, установленному раз и навсегда. Старайся, выводя букву к букве, и тогда, если тебя не покинуло слишком непостоянное божество по имени фортуна, если начальство как-нибудь случайно обратит на тебя милостивое внимание, то, возможно, лет этак через пять-шесть быть тебе старшим протоколистом или кем-нибудь в этом роде. А пройдет фортуна мимо, не обратит внимания начальство — терпи: такая, видно, братец, твоя судьба.

Почти три года он служит. Может, пришла пора подумать о дальнейшей судьбе? Не ошибся ли он в выборе службы? Не лучше ли было закончить семинарию — и в приход? А потом привести в дом поповну из какого-нибудь соседнего села, обзавестись хозяйством, откармливать гусей да индюков и позабыть все свои мечты? Нет, лучше тогда не жить! Никогда он не откажется от сладких грез и жестоких мук своих. И нечего жалеть, что ушел с последнего курса семинарии. Одного жаль: не может часто, когда заблагорассудится, как бывало прежде, встречаться с учителем своим — отцом Иоанном. Бесед с ним жаждет душа, они освежают, после них легче дышать и легче жить.

Отец Иоанн советует больше читать. Конечно, он читает, было бы время. Кто только не побывал на его столе! Великие греки и бессмертные римляне, множество русских: Антиох Кантемир, Княжнин, Ломоносов, Херасков, Тредиаковский, читает и новейшие журналы, издаваемые в Санкт-Петербурге. Вот совсем недавно в "Детском чтении" познакомился с оригинальной повестью "Евгений и Юлия" неизвестного досель Николая Карамзина, а еще раньше — с трагедией Вильяма Шекспира "Юлий Цезарь", в отличном переводе того же Карамзина. Какая широта мысли, какой слог! Читал, перечитывал и не мог постигнуть, в чем сила, таившаяся в слове.

А давеча отец Иоанн рассказывал удивительную историю, случившуюся с пьесой Капниста "Ябедник"[1]. Напоказ миру, на посрамление выставил автор нынешние суды и людишек судейских. Разумеется, пьесу на сцену не пустили, но о ней, оказывается, говорили, многие знали ее содержание и передавали из уст в уста.

— Откуда, отче, сведения такие?

— Люди, сыне, — усмехнулся отец Иоанн, оглаживая бороду, — ходят по земле и носят за собой не токмо прах ее... Гостил у меня недавно брат мой названный, товарищ по Харьковскому коллегиуму Михаил Ковалинский — имя запомни, — вместе с ним мы слушали лекции учителя нашего Григория Саввича Сковороды... Так вот Михаил и рассказал мне историю с пьесой Капниста. Кстати, Капнист — наш земляк, из Обуховки, что под Миргородом... Где Михаил слышал сие — не ведаю. Зело поучительные судьбы, сыне мой, мужей литературы, истинных сочинений мятежного

духа человеческого...

О прочитанном хотелось рассказать кому-нибудь.

Но кому? Сослуживцам? Кроме Миклашевского, пожалуй, некому, если не считать отца Иоанна. И Котляревский обращался к записям. В те же тетради вписывал и песню, и думу, и присказку. Особенно много записей появлялось в ярмарочные дни.

Наверно, это осталось с детства. Ни свет ни заря он подхватывался с постели, быстро собирался, почти не пил, не ел и словно на большой праздник — убегал на целый день в ярмарочный шум и сутолоку.

Бродил между возами, на которых можно было видеть всякую всячину: английскую мяту и сорочинское пшено, диковинных размеров репу и гвоздичный перец. От возов переходил в ряды и здесь тоже смотрел и слушал, и хотя не покупал, но обязательно приценивался, сколько стоит, например, фунт фиников или фамильного чая, в какую копейку обходятся турецкие бобы, вина и маслины, картофельная патока, свечи стеариновые, сальные и восковые, косы сенокосные, тулупы и полушубки овчинные, посуда деревянная... Увидел как-то соль разных сортов на лотках, поинтересовался, в какой цене каждый сорт. Приказчики, которым надоели праздные любопытные, ответили: "На умных меняем". Иван ничуть не смутился и вполне серьезно сказал: "А, понятно! Своих пока не заимели..." И пошел дальше между лотками, поскольку все, как ему казалось, выяснил. Шел и не смел оглянуться: а ну как вслед летит увесистый ком соли. Но — обошлось.

Каждый лоток, каждый воз бросался в глаза, заманивал: купи! возьми! не проходи мимо! Голова шла кругом, в ушах стоял непрерывный звон; от свиток и шляпок, ярких кофт, платков и чепцов рябило в глазах. А он смотрел и слушал и снова — смотрел. Затем, отойдя в сторонку, укрывшись за каким-нибудь возом сена, вытаскивал из рукава самодельную тетрадку и заносил в нее только что услышанное крепкое словцо, соленую шутку, меткую присказку, чего в другом месте не услышишь и не прочитаешь нигде тем более.

— Чепцы гризетовые! — кричала рассеявшаяся среди базарной площади со своей рухлядью известная в Полтаве мещанка Сидориха, толстая краснолицая баба, ее зычный голос слышен был даже в другом конце города; случалось, те, кому гризетовые чепцы и даром не нужны, но привлеченные ее голосом, останавливались — и обязательно уходили с покупкой: легче было купить чепец, нежели отцепиться от Сндорихи.

— А меду-подседу!.. Меду!.. — зазывали с другой стороны.

— Пива! — гудел пивовар Гарбуз. — Ячменного пива!

— Имбирю белого! Желтого!

— Сафьяны! Кожи разного сорта!

— Балыка! Икорки паюсной! Зернистой!

— Заходи! Налетай!

— Квасу-сыровца! На один грош — кварта! Пей! Пробуй!

Подолгу обычно стоял Иван возле слепых кобзарей, сидевших где-нибудь в

сторонке; возле них постоянно толпились люди, задумчивые, торжественные, иной раз печальные, тихие.

Иван слушал, каждую песню запоминал, чтобы потом записать слово в слово. Просил петь еще, отдавал кобзарям до последнего гроша — все, что брал с собой на ярмарку. И те охотно, множество раз повторяли одно и то же...

А ярмарка гудела, бурлила, шум перекачивался из одного края в другой. Кружилась карусель, цыгане водили медведя, и за ними неотступно следовали мальчишки, как бывает это всегда и везде. Продавец детских игрушек неистово свистел, запихнув в рот одновременно по несколько свистулек и коньков из глины. Свист оглушал, и не все осмеливались подойти к нему, особенно страшились дети, хотя их-то он и старался заманить.

Нельзя было уйти, скрыться от всего этого. Да Иван и не пытался, напротив — шел навстречу, широко распахнув глаза и душу. Его пленяла речь — та самая, которую слышал из уст матери и отца, она звенела, играла, переливалась всеми красками, мягкая, сочная, самобытная. Он готов был записывать каждое слово, просить, умолять, чтобы его повторяли дядьки, приехавшие из Решетиловки, казаки из Миргорода и Ромеи...

Тетради пополнялись все новыми и новыми записями. Думая о них, вспоминая, что записано, мысленно повторяя каждую думу, песню, присказку, Иван чувствовал себя неизмеримо богаче, без них он стал бы подобен иным своим сослуживцам — духовно пустым, бедным. Стоит ему уединиться, раскрыть заветные страницы — и что ему Новожилов с его высокомерием и все эти напыщенные самодовольные чиновные индюки! Пусть заносятся, дерут нос, получают чины я прибавки к своим немалым окладам! Пусть! Они не видят дальше строки исходящей бумаги, дрожат за свои места, кроты слепые, тупицы жалкие. Если бы они понимали, какую силу имеет родное слово, чувствовали его непреходящую красоту! Но что им слово! Им ближе, дороже еще один чин, еще одна трешка к окладу. А кто же будет беречь это слово? Где найдутся такие в наш век?.. Не Новожилов, конечно...

Рука Ивана тянется к перу, в мыслях складывается строчка, затем вторая:

Новожилов есть такой, .

Ну, а кто ж его батьки?..

Перо устремляется дальше, легко, неслышно бежит по гладкой с желтоватым отливом бумаге.

Иван не услышал, как отворилась дверь и вошел Миклашевский. Лишь когда тот стал рядом, спохватился, накрыл листок локтем, отодвинул в сторону и сунул в открытый ящик стола.

Но Миклашевский ничего не заметил. В последнее время замкнутый, какой-то пришибленный, он сейчас снял, круглое, лоснящееся от пота лицо расплылось в улыбке.

— Подписал! — И захлебывающимся от восторга шепотом добавил: — Сказал: "Старайтесь, сударь, и года через три будете протоколистом..." Не токмо ты, Иване, но

и я буду.

— Поздравляю!

На глазах Федора — неподдельные слезы. Они катились по щекам, а он не стыдился их, да, видно, и не чувствовал.

Иван оторопело смотрел на товарища. Был человек — и вдруг не стало, исчез, пропал, расплылся в мокрое серое пятно. Хотелось схватить его за ворот, встряхнуть: опомнись!

— Что же с тобой деется, Федор, лучший полтавский бурсак? Как смеешь умиляться от обещания какого-то Новожилова сделать тебя протоколистом? Не ты ли еще год тому назад с упоением читал по памяти Цицерона и несравненного Вергилия? Как торжественно звучала сочная латынь в твоих устах! А кроме того, ты и сам писал. Твои сочинения отец Иоанн Станиславский, ученик Сковороды и наш любимый учитель, ставил в пример другим и при всех говорил: "Надобно" сыне мой" усердно работать, у тебя хороший слог, а главное — мир окружающий зришь по-своему. Сие зело важно. Помни же, что говорил Плиний Старший: "Nulla dies sine linea[2].

Посул невесть откуда приблудившегося в Полтаву Новожилова застил тебе свет. А вспомни, как ты умилялся стихами Сковороды, которые читал нам отец Иоанн. Ты и сам мечтал писать. Неужто все забыл, предал? Но посмотри на меня, посмотри внимательно. Мне уже двадцать четыре, я протоколист — а как живу? Чего достиг? Такой же, как ты, как все, исполнитель бумаг.

Где же твои мечты, друг мой? Неужто забыл упоительные беседы наши в дни летних каникул, когда, забросив полупустые котомки за плечи, мы бродили по росистым дорогам нашего края, бывали в Диканьке и Опошне, доходили до самого Зенькова? Помнишь, как зоревали в полях под чистым августовским небом, укрывшись одной бурсацкой свиткой, и давали друг другу страшную клятву думать на языке матерей наших, а если бог отметит перстом своим, то и писать на этом забытом языке? А ты готов отречься? Уступить собственное невспаханное поле кому-то? Как же это, Федор? Неужто потерял разум? А может, я теряю? Наверно, ты не понимаешь, что самое горькое — терять друга, на которого надеялся, с которым собирался поровну делить и радости, и печаль?

Миклашевский, будто оглушенный, не слышал взволнованной, горячей речи Ивана. Он очень торопился, сложил впопыхах в стол бумаги, оделся и, не простившись, убежал.

Несчастный! А может... счастливый? Пройдет время — и он станет не только протоколистом, но и, может случиться, помощником столоначальника и тоже научится не замечать подчиненных? Не станет разговаривать с ними? У него будет свой дом, семья, полон двор добра. А чего еще, кстати, надобно человеку? Пожалуй... О чем, о чем думаешь ты, Иваи? Не о том ли, что и твой бывший однокашник по семинарии? Нет, тысячу раз нет!..

Иван смотрел в окно и ничего не видел. Ни золотого каштана при входе в канцелярию, ни пустынной площади и плетущихся по ней редких прохожих, ни

поднятой ветром листвы, что стаями красных, желтых, сизых птиц поднялась с земли и рассеялась по крышам и заборам, снова поднялась — закрыла уголок синего неба, ставшего вдруг пестрым.

Не помнил, сколько времени простоял у окна, опустошенный, подавленный, и, еще не зная, зачем это делает, наблюдал за человеком в серой свитке, шапке из овчины и юфтевых сапогах. Мужик что-то искал, разглядывал вывески, переходил от одной к другой, чесал в затылке. Наконец остановившись у крыльца канцелярии, долго стоял перед входной дверью и, оглянувшись, снял шапку.

В коридоре слышались шаги, затем в дверь постучали, и, не ожидая разрешения, в комнату вошел человек, которого Иван видел из окна, поклонился в пояс:

— Добрый день, паночку!

— Добрый день!.. Кого вам?

Мужик смотрел на Котляревского внимательно, без тени испуга или подобострастия, и это располагало к нему. У Ивана даже настроение поднялось. Куда девались недавняя подавленность, чувство пустоты.

— Вы к кому? — еще раз спросил.

— Да что вам сказать, паночку. Такое дело... Беда, одним словом. И пришел я спросить: может, есть правда на свете?

В это время в соседней комнате зазвенел колокольчик. Иван обернулся, чтобы идти на вызов, попросил человека подождать, закрыл стол и направился в кабинет. Между тем Новожилов, собиравшийся, как видно, уходить, не дожидаясь протоколиста, вышел сам, уже одетый, с тростью в руке, и сказал:

— Не торопитесь. Вашу бумагу я прочитаю в понедельник.

Увидев стоящего у порога мужика, удивленно поднял кустистые брови:

— А это что?

— Человек. Вероятно, к вам, — вспыхнув, ответил Котляревский: как можно говорить о человеке "что"?

— Ко мне?

— Так, ваша милость, — поклонился мужик, подметая пол шапкой. — Беда...

— Что за беда?

— Пап наш записал в ревизскую сказку всю нашу семью. Нас семь братьев, да у каждого по два-три сына. И батька старого дописал с матинкою... А мы ж вольные, из деда-прадеда в запорожцах ходили... Так я с челобитною. А прозывают нас Вернигорами. Я Павло.

Новожилов уставился на казака пустыми бесцветными глазами и словно не видел, смотрел как бы сквозь него.

— Так помогите, пожалуйста, — снова поклонился Вернигора.

— Откуда будешь, человече? Село ваше далеко отсюда? Фамилия пана?

— Из Сухорабивки мы. А пан у нас Полуварич, Петро Васильевич.

Вернигора казался Котляревскому, когда смотрел на него из окна, невысоким, слабым, а теперь, в комнате, он был почти вровень с сухопарым Новожиловым, к тому

же широкоплечий, взгляд прямой, черные свисающие усы, а руки крепкие, которые, думалось, многое могли делать, не зная усталости.

— Ты мужик. И речи твоей не разумею, понеже не учил вашего наречия. Пока его, слава богу, не преподают в университетах. — Губы Новожилова дрогнули в презрительной усмешке. Он стал медленно натягивать на левую ладонь замшевую перчатку.

Вернигора, чуть прищурившись, ответил спокойно, с достоинством:

— Так я, ваша милость, неграмотный. И речь моя такая от матинки досталась. Да я не про то — про пана толкую. Руки у него загребушие...

— Кто разрешил тебе, холоп, про своего господина речи такие вести? Господин Полуварич — дворянин, достойный во всех отношениях землевладелец. Ступай!..

— Куда?

— Я сказал: речи твоей не разумею. — Новожилова уже начинала раздражать настойчивость и какое-то немыслимое достоинство, сквозившее в каждом слове, в каждом движении этого человека.

— Не разумеешь? — Глаза Вернигоры хмуро блеснули.

— Позвольте мне, — выступил вперед до крайней степени взволнованный Котляревский. — Я перескажу... Я понимаю...

— Вы, сударь? — Новожилов словно теперь заметил Котляревского, обратил внимание на его необычно горящие глаза, смертельную бледность, покрывшую лицо. — Я не просил вас.

— Но, господин Новожилов, Аполлон Арсентьевич, как же так? Это же человек... Он просит...

— Кто? Раб? Как он смеет жаловаться на своего господина! Это же бунт! Да за это одно... — Новожилов натянул и вторую перчатку и поднял трость, как бы очищая себе дорогу к двери, но на пути стоял Вернигора. Он смотрел исподлобья, в руке сжимал шапку, а на закаменевшем лице застыла недобрая усмешка:

— Выходит, ваша милость, ты разумеешь, о чем я просил?

— Как смеешь?... — на какое-то мгновение остолбенел Новожилов. — Вон!

— Чего кричишь, будто тебя режут? — спокойно, надевая поглубже шапку, сказал казак. — Мы не пугливые. И скажу тебе: не дюже я надеялся на твою помощь. Наши еще надеялись, а я знаю: ворон ворону ока не выклюет. Что ж, попробуем сами еще разок поговорить с твоим достойным Полуваричем. Турбаи помнишь? Будут и новые, и, может, не одни... — И повернулся, чтобы идти, но поскольку Новожилов молчал, словно окаменевший, посмотрел на него с сожалением: — Нашей речи не разумеешь! А хлеб-то чей глотаешь? То-то. Молчишь? Онемел? Одначе, бог с тобой, может, обидел тебя господь, разума не дал. Но помочь тебе уже, наверно, нечем... А мы таки будем жить. Прощевай!

Новожилов не мог вздохнуть. Стоял, выпучив глаза, руки повисли, ему казалось, что казак вот-вот достанет нож и пойдет прямо на него. Но казак уже собрался уходить, еще раз обернулся, увидев Котляревского, сорвал шапку, поклонился и



шагнул к двери.

Слышно было, как он идет по гулкому коридору, как стучат по деревянному полу его сапоги. Хлопнула входная дверь.

— Разбойник! Запорожец! — продохнул наконец Новожилов. Опомнился, повернулся к Котляревскому: — И вы тоже! Вместо того чтобы вызвать сторожа, стояли... И еще переводить собирались... Только из уважения к вашему родителю, прослужившему в магистрате столько лет, ограничусь выговором. Но в следующий раз... — Не договорив, не прощаясь, прошествовал через комнату.

Котляревский спрятал бумаги в стол, машинально оделся и оставил канцелярию. На крыльце, дохнув свежего воздуха, остановился. Наискосок через площадь в серой селянской свитке шел казак; ветер вслед гнал красную листву, птичьей стаей она кружила вокруг, то припадая к земле, то поднимаясь в воздух. А казак тел, твердо ступая, не оглядываясь, не обращая внимания на прохожих, погруженный в свои думы.

## 2

За Шведской могилой садилось солнце, и в том месте на пол неба растекалось красно-синее зарево; края его исподволь темнели, пепельные оторочки как бы вяли, медленно исчезая, растворяясь в вечернем небе. И словно из этой синевы, из глубины сердца лилась песня:

Ой, гай, маты, ой, гай, маты.

Ой, гай зелененький!

Десь понхав мий миленький...

Чистые голоса и сама песня растрогали Котляревского. Он легко вздохнул и прибавил шаг... О слове родном, его красоте и силе пеклись Сковорода, а еще раньше — Иван Вышенский и полтавская песенница Маруся Чуран, песни которой живы до сих пор и, наверно, не только в Полтаве. Приходилось бывать в Зенькове, в Опошне, и там их поют, эти удивительные по силе и чарующей красоте песни. Никогда не умрет слово наше, не растопчут его сапогом кованым, хотя Сечь и растоптали, рассеяли по ветру ее стены. А слава, как и слово, будет жить!

Не заметил, как вышел на Панянку. Внизу, сколько глаз видит, расстилались луга, па другой стороне долины, на горе, высились монастырские стены, на пологой крыше звонницы жарко алел последний луч солнца.

Вот здесь, на Панянке, однажды вместе с такими, как сам, бурсаками забрались в подземные ходы и долго бродили там, пока наконец выбрались. А позже, когда ус уже пробиваться стал, прибегал сюда на вечерницы. Слушал песни, смотрел игры и сам вместе с парубками пел, курил самосад, кружился в немыслимой игре. Хорошее было время. Юность. Неужто нет ее, ушла безвозвратно? Но ведь он-то и не жил совсем: хождение к дьячку, потом — семинария, и вот уже три года — канцелярия. Только тогда и жил, когда уходил на летние вакации с товарищами. И Миклашевский с ними. Миклашевский! Эх, пропал казак... Если б мог, ушел из канцелярии и попытался уговорить Федора. Но сделать это не так просто. Куда уйдешь? Где станешь служить?

С горы Панянки в разные концы сбегало несколько дорожек, теряющихся в густой

траве. По взгорью ютились одинокие хатки, светились окнами. Из одной вышел кто-то. На коромысле — ведра. Там чуть ниже — криница, и вода в ней приятная, холодная, нектар божественный, особенно когда пьешь из добрых рук. Она назвала себя тогда Олесей. Дала напиться и не торопилась уходить. Испугалась почему-то, увидев его во второй раз. Но и не спешила проститься. Стояла, пока не позвали. Подхватив ведра, убежала. А в третий раз, увидев его на той же стежке, попыталась уйти и снова осталась.

— Добрый вечер! — сказала Олеся и посмотрела на него доверчивыми ясными глазами. — Давно вас не было на Панянке. Может, болели?

В голосе — тревога, неподдельное участие.

— Немного, серденько, приболел.

— Ой боже ж мой, правда? А чем же вы болели?

— От думок про тебя... А больше ничем.

— Смеетесь над бедной дивчиной? — Потупилась, бросилась поднимать коромысло.

— Не убегай так скоро. Дай... поглядеть на тебя. И попить. Вода у вас целебная.

— Да пейте на доброе здоровье... Видно, у вас там и криниц нет, на Мазуровке?

— А ты знаешь, откуда я? Может, знаешь, как и прозываюсь?

— Знаю. Вы из канцеляристов будете. Батько и мать не велят, чтоб я стояла с вами... Неровня я вам. — И тише, с болью: — Отдают, меня за хлопца в Тахтаулово. Уже и заручины[3] были. Так что... — В глазах — мольба и слезы, — прощайте!

И, подняв коромысло с подцепленными на нем ведрами, пошла, поплыла по узкой стежке вверх, к хатке за вишневым садом. А он смотрел затуманившимся взглядом ей вслед — на тонкий стан, склоненную голову и косы, бившиеся на белой сорочке. Она уходила все дальше и дальше, пока не закрыли ее частые стволы вишен. Ушла. Не увидит он ее больше. И никого у него нет. Богатые сторонятся бедного канцеляриста, а бедные... видно, опасаются: как бы панок не обманул их. Впрочем, ему никто не нужен. Не об этом его думы. Болит сердце, иногда так защежит, что впору закричать. И пусть кричит, неразумное, пусть болит: что он ему скажет, чем поможет? Ничем он не поможет ему...

Однако пора и домой, матушка заждалась с ужином. Сама не сядет за стол. Сколько раз просил: "Не жди, может, задержусь". Вот и поспешай, брат Иван, во дворец свой на краю Соборной, туда, где встречаются четыре ветра четырех сторон света.

Свернул в переулок, издали увидел духовную семинарию — и сердце забилося сильнее. Так получалось помимо его воли: идет домой — и обязательно повернет в переулок, пройдет мимо семинарии, пусть это и крюк лишний, а все равно тянет. Замедляя шаги, засмотрелся на слабо освещенные окна: никак семинарская братия не разошлась еще, зубрит, мытарится. Заглянуть бы, вытащить семинаристов на свежий воздух. Да нет уж: мимо, мимо ведет дорожка.

— Иване! Ты ли это?

Никак, кличут? Обернулся. Да это же отец Иоанн! Хотел бежать — так

обрадовался, но тот проворно сошел с крыльца и уже сам спешит навстречу. В рясе, бородат, а лицо свежее, нестарое.

Подошел, обнял, защекотал бородой:

— Здоров?

— Что мне делается? А вы, отче? Почти неделю не виделись.

— О чем вспоминать? Покашлял, попил медку — и прошло... А я ждал тебя, Иване.

— Простите, отче... Много работы.

Учитель смотрел зоркими добрыми глазами на своего бывшего ученика. Вырос, выровнялся Иван, стал мужественнее. Тонкое благородное лицо, оспины нисколько не портят его, они почти даже не заметны, как перчины-родинки.

Иван привлек внимание Станиславского еще в первые дни знакомства, на первых же лекциях, вдумчивостью, самобытностью суждений, любознательностью и глубокими, совсем не семинарскими, знаниями. Первым учеником был и остался. И если бы учился дальше — кто скажет, кем бы стал? Никто не знал так историю, философию и латынь, как он, и никто не умел так удачно написать стихотворение на вольную тему. Очень надеялся Станиславский на этого ученика, думалось: со временем Иван заменит его, а может, и дальше пойдет. Хотел видеть его большим человеком. А вышел — в исполнители бумаг. В списки канцеляристов вписал его десятилетним мальчиком отец — служащий магистрата. Горькая судьба. А что изменишь? Кажется, все бы сделал для него, если б только мог.

Учитель вздохнул, и Котляревский, поняв его взгляд, его невольный вздох, приложил руку к груди.

— Спасибо, отче, — сказал он дрожащим голосом, — за все доброе, что дали мне. Вовек не забуду! Где бы я ни был, что бы со мной ни случилось, ваше слово, ваша мудрость, как заря, светить мне будут.

Станиславский, тоже растроганный, чтобы скрыть волнение, замахал руками:

— Иване, что говоришь? Чему я тебя научил? Да не будь душа твоя раскрыта всему новому, никто ничего не дал бы тебе. Сам ты кладезь премудрости, и мне бесконечно жаль, что тратишь лучшие годы свои на сочинение исходящих бумаг... А твой талант? Где он? Неужто забыл все?

— Я ничего не забыл. Все, чему вы меня учили, помню. Я все тот же, только...

— Что?

— Трудно мне. Гнетет все. Ушел бы. Но куда?

Станиславский понимающе смотрел на юношу. Молча шел рядом, чуть не задевая свесившихся над заборами золотистых яблоневого ветвей, выбирал дорогу поровнее. Иван; такой же высокий, как и учитель, шел бок о бок с ним, не смея нарушить молчания неосторожным вопросом. Станиславский остановился на углу переулочка и Пробойной.

— Сегодня я тебе смогу кое-что предложить, — сказал он. — Но сначала поговорим.

— Глубоко вздохнул, расправил плечи. — Вечер-то какой — чудо! Не правда ли?

— Правда. Точно такой был и в тот раз, когда мы бродили по городу и читали.

Помните?

— Ты особенно превосходно читал Вергилия. А Миклашевский — Овидия. Кстати, что с ним? Давно не видел.

— Федор? — Котляревский неопределенно пожал плечами. — Кажется, доволен своим делом. Столоначальнику пришлось по душе его работа, и он года через три получит место протоколиста. Ему обещали. Стоит подождать, покорпеть.

Станиславский долго молчал. Смутная тень бродила по лицу.

— Ну что ж... *Feci quod potui...*[4] Не каждому дано... *Poeta nascitur, non fit*[5]. Однако ты, Иване, вижу я, расстроен. И не токмо из-за Федора. Другое у тебя на сердце.

— Отче, ныне ранняя осень только начинается, это лучшая пора года, а мы же с вами не так стары... — Хотел пошутить, а вышло не совсем весело, сам почувствовал это и смутился, отвел глаза.

— Шутишь? — усмехнулся Станиславский. — Значит, переживешь печаль.

Под ногами шелестела опавшая листва, как вода на перекатах. Мимо промчалась легкая рессорная бричка. Чиновник, переходивший улицу, увидев священника, приподнял треуголку. И снова пустынно на углу Пробойной. Пустынно и тихо. И все же хороша Полтава в этот час, все в ней близко и дорого сердцу. Может, потому оно так и щемит.

— Муторно, отче... Простого казака за человека не считают, в неволю, как вола в ярмо, тянут, а язык его, язык дедов, матерей наших, наречием именуют... Как же после этого жить?

Станиславский, словно прислушиваясь к чему-то, взял Ивана под руку, сделал молча несколько шагов, затем посмотрел на Ивана зоркими и строгими глазами, как, бывало, в семинарии, когда случалось, что тот не успевал в полном объеме выполнить домашнего задания.

— Как смеешь, сыне, так думать, говорить так? Неужто и выхода нет? Неужто мыслишь: все достается человеку легко, без боя, без труда? Никогда подобного я своим ученикам не говорил, я каждый раз напоминал, что *omne initium defficile est*[6].

— Я помню, не забыл.

— Помнишь? Тогда слушай — да будет час этот благословен, — тебе предстоит сделать такое начало. Голова у тебя светлая, сердце к добру привержено.

— Что же мне надлежит сделать?

— Ты слушай песню народа нашего. Сердцем своим слушай! И сам пробуй. Пиши сам! Таланту своему не дай угаснуть. Все, что знаешь о народе своем, на язык высокой поэзии переложи. Как Сковорода! Но по-своему. Понеже — всякое уподобление хромает, как говорили в Риме.

— Смогу ли, отче?

— Сможешь. На такое душу надобно иметь сильную. Не каждый пойдет, а ты пойдешь. И тогда я буду считать, что жил не напрасно.

— Но это трудно. Немыслимо трудно.

— *Per aspera ad astra*[7] — произнес в вечерней тишине Станиславский. — Только через тернии. Других путей к звездам нет.

Ошеломленный, Иван молчал. То, что он услышал, было грандиозно, захватывало дух. Зачем же отец учитель — такой умный, знающий — требует невозможного?

— Не смогу, отче.

— Сможешь! Ты думай, день и ночь думай — и сможешь. Должен! Я ведь знаю тебя... С малых лет знаю, мы же с тобой — полтавцы!..

Они снова шли рядом. Тонкий в талии, высокий и стройный, Иван Котляревский и плотный, величественный — отец Иоанн Станиславский, преподаватель русской и латинской поэтики в местной семинарии.

Вышли к Успенскому собору. Тут рукой подать до дому. За звонницей — крыша видна, в окне — огонек теплится.

— Может, зайдете?... Мать ждет с ужином. Вместе трапезу примем.

— Нет, не пойду. Поздно уже... И последнее, что хотел сказать. Приезжал ко мне на прошлой неделе землевладелец из-под Золотоноши. Просил найти учителя для сына. Я сразу подумал о тебе. Можешь ехать. Там будешь иметь стол, комнату и время для работы. Уча других, сам будешь учиться. И работать будет время. Где-то в тех же краях лет сорок тому учительствовал и Григорий Саввич Сковорода. Песни свои и философские трактаты сочинял... Ты будешь там, Иване, сын мой. Тем воздухом дышать будешь... Поклонись земле, что носила учителя.

— Поеду! Хоть сегодня!

— Почему не спрашиваешь об условиях?

— Мне все равно. Лишь бы уйти из канцелярии. На свежий воздух, на простор.

— Негоже так, Иване. Условия надо знать. И обговорить. И вот еще. Обязательно возьми, перед тем как ехать, у предводителя нашего пана Черныша бумагу, что состоишь в дворянстве. А то... Хотя помещик этот и знакомый мне, а запишет тебя в ревизскую сказку — и прощай, воля... Не забудь. И жди. Приедут за тобой... Может, на той неделе. На ярмарку пожалуйут... Ну вот, сыне мой, и все. Матери кланяйся! Заждалась тебя, наверно.

— Ох, правда. Спасибо вам! За ваше добро!

— Спасибо не отбудешь. Помни слово мое, сыне!.. — Иоанн, вместо того чтобы положить крестное знамение, обнял юношу.

— Иди!..

Идти было недалеко. Обошел звонницу, собор, и — вот уже калитка. В темноте разглядел мать. Она стояла у крыльца — такая же высокая, тонкая, как сын. В темном платке, в удлиненной корсетке с зубцами, обведенными гарусной нитью.

— Мамо!

— Ты, Иване?.. Наверно, с хорошей вестью торопишься, потому и речь беспокойна.

— С вестью, — сказал Иван и подумал, что весть эта не особенно порадует мать: не всегда она с охотой расставалась с ним, хотя и не перечила ему, и на этот раз слова не скажет, но по взгляду, плотно сомкнутым устами нетрудно будет догадаться, как ей

нелегко. Нет, сегодня он ничего не скажет ей. Лучше потом, а сегодня будет шутить, и она ни о чем не догадается и, может быть, не спросит. И в самом деле, он шутил, как в лучшие дни, рассказывал, что возле семинарии — "случайно свернул на ту улицу" — встретил отца Станиславского. Как же не поговорить? Вот и побеседовали — почти до петухов, хорошо, что не до третьих. Пусть мать не сердится. В другой раз он будет проворнее.

Она слушала и не могла отрешиться от мысли: что за весть принес сын? Хорошую? Дай боже! Но стоит ли тревожиться? Если сыну хорошо — мать тоже счастлива.

3

Таким он себя не помнил: обновленным, совершенно свободным и молодым, просто юношей, полным сил и безудержного задора, способным на все, вплоть до мальчишества. В самом деле, ему всего двадцать четыре года и целая жизнь впереди, и вот — новые люди, неведомые встречи и новая работа. Только бы к месту приехать скорее...

Прошное осталось по ту сторону Киевского въезда. Вышел будочник, посветил фонарем, сонно посмотрел вслед проезжающим, даже не спросил, ради формы хотя бы, куда и зачем в такую рань уезжает молодой человек, и опустил шлагбаум. В прозрачной дымке смутно угадывались золоченые маковки Успенского собора, блестели влажные крыши кузнечного ряда, свежий колесный след остался на дне почти пересохшей Полтавки, справа косой тенью проплыл костел, и вскоре последние приземистые хатки пропали за черными осенними садами. А впереди уже бугрилась неровная степь, смыкалась с небом, стеной вставала перед глазами. Едва видная в раннем рассвете, дорога уводила все дальше и дальше.

Там, за Киевским въездом, за шлагбаумом, который опустил будочник, в теплом, еще сонном городке, остались отцовский дом с выжженными на матице словами о годе его постройки, голубиное детство, в котором причудливо соединялись легенды о героическом прошлом полтавской крепости с настоящим, юность, отданная учению в духовной семинарии, и бесконечные дни и месяцы в Новороссийской канцелярии.

Еще три дня тому назад он пришел к столоначальнику и вручил прошение об отставке. Тот, по обыкновению, не поднял головы, не посмотрел на лежащую перед ним бумагу с гладким обрезом, чисто и аккуратно исполненную. Но Иван не уходил, ждал, и Новожилов наконец придвинул к себе бумагу, презрительно поджав нижнюю губу, приготовил перо, чтобы указать самоуверенному молодому протоколисту на пропущенную запятую, и вдруг, удивленно хмыкнув, поднял на Котляревского бесцветные глаза:

— В отставку?

— Да-с, в отставку, — в тон ему ответил Иван.

Новожилов пожевал губами, поправил жесткий воротник мундира, подпиравший отвисшие бакенбарды, и болезненно поморщился, будто проглотил что-то горькое, однако больше ничего не сказал и не спросил, видимо, почувствовав в ответе подчиненного — теперь уже бывшего — непреклонное решение. Прощание вышло

несколько суховатым, но Иван на иное и не рассчитывал: Новожилов не был способен на большее, кивнул с высоты своего положения, казенно-безразлично пожелал успехов на новом поприще, и все. Котляревский пожелал ему того же...

Миклашевский сначала не поверил и сказал, что Ивановы шутки ему давно известны, нечего разыгрывать, он тоже на подобное способен, но, поняв, что Иван не шутит, расплакался, как ребенок:

- С кем же останусь, брате Иване? Ты — единственный друг мой...
- Утешись, Федор. Не ропщи на судьбу. Мое место займешь скоро...
- Зачем мне твое место, если тебя не будет?..

Что говорить, конечно, жаль — столько лет кануло в Лету, и почти впустую, жаль и товарищей — таких же, как он, рабочих лошадок канцелярии, беспощадно съедавшей дни и годы. Сотоварищи провожали его до самого выхода, необычно задумчивые, умудренные жизнью, бывшие семинарские братчики. Лишь некоторые недоумевали: с такой должности уходить, ведь протоколист — предел мечтаний? Он каждому нашел слово: одному пожелал удачно жениться, другому — выйти в канцеляристы, Миклашевскому — занять место протоколита, еще кому-то хорошего выигрыша в карты, а всем вместе — быть самими собой, не забывать, вспоминать хоть изредка раба божьего Ивана, который, в свою очередь, будет помнить их в своих странствиях по свету...

Трудно расставался с матерью. Всю ночь накануне отъезда она не ложилась, пекла пироги ему в дорогу, укладывала в его сундучок белье, еще и еще раз пересматривала, все ли пуговицы на месте, сверх рубашек положила свой шейный платок. Он не смел перечить, не смел просить ее прилечь отдохнуть. Потом помогала в отдельный сундук уложить книги и бумаги. Сама вынесла и положила в возок корзину с едой, хотела тащить и сундук, но Иван не выдержал и попросил отдать вознице, который находился тут же и готов был пособить.

В глазах матери стояли невыплаканные слезы, она старалась скрыть их и не могла. Обычно немногословная, сдержанная, она и теперь молчала, в накинутом на сухонькие плечи черном платке стояла у возка и не разрешала сыну садиться. А возница не мог тронуть лошадей, все ждал.

— Ну что вы, мамо?.. Я ведь не на край света еду, — старался он успокоить ее, а у самого сдавливало горло. — Перезимую, а на лето вернусь. Отпишу вам сразу.

Мать все понимала, кивнула: хорошо, мол, не беспокойся, видишь, и я спокойна, и, не в силах говорить, лишь несколько раз перекрестила его.

Не ждал, что в такую рань — рассвет едва занимался — придет Иоанн Станиславский. Он обнял Ивана, благословил:

— Не забывай, сыне, отчего дома, матери своей... И слово мое помни! В поте чела своего трудись! И воздано тебе будет... Благословляет тебя и отец Башинский. Пришел бы сам — да неможется ему.

Ивану стало стыдно. Следовало забежать, найти время и проститься с отцом Башинским, но так закутился в дни отъезда, что себя не помнил. Пока только

свидетельство на принадлежность к дворянству оформил, три дня ушло. Предводитель пан Черныш оказался в своем имении, пришлось ехать к нему. Кое-какие распоряжения сделал и по хозяйству, чтобы матушке зимой ни в чем не было недостатка. И все же следовало выбрать время и забежать в семинарию.

— Передайте, отче, мою любовь и благодарность отцу Башинскому. Стыдно мне, что не зашел. Простить прошу... И — спасибо вам за все добро ваше!

Они обнялись, как старые друзья, — учитель и его первый ученик...

И вот он едет. Не в Северную Пальмиру, куда однажды летом, когда он был — может, к счастью — на кондичиях, хотели послать его в числе других семинаристов. Уезжает в Золотоношский уезд. Это далековато — почти неделя пути, но не такой уж и край света.

Возок небольшой, узкий, в нем едва умещается нехитрая поклажа и он сам с возницей — пожилым панским человеком, и, тем не менее, сидеть на полости, укрывающей мешок с сеном, удобно. Можно свободно отдаться своим мыслям, вспоминать, что вздумается.

По обе стороны дороги бегут поля, как бы уплывают в обратную сторону, уже почти убранные, уставленные кое-где редкими полукопнами. По желтой стерне, что-то выискивая, не обращая внимания на проезжающую повозку, расхаживает черный аист.

Сам пан Томара ускакал вперед в легкой двухместной карете, а нового учителя оставил с обозом, с челядью. Котляревский не возражал: мало радости трястись бок о бок с паном и его племянницей Марией — девицей, как видно, слишком любопытной, успевшей, пока дядя заходил в дом, спросить, чему он станет обучать ее родственника. Иван что-то ответил не слишком вразумительно, и она не замедлила спросить, что у него с речью, не заика ли он случайно и если, стало быть, он станет обучать ее двоюродного братца, то как бы и ученик не стал заикой, а впоследствии это может перейти и на нее, поскольку ей придется каждый день встречаться с учителем за столом и, может быть, даже брать уроки, ведь она живет в доме своего дяди и незачем приглашать еще одного учителя только ради нее. Она явно насмеялась, и Котляревский, глядя на оживленное, довольно миловидное, с круглым подбородком, лицо девицы, сдержанно ответил, что панне Марии ничто подобное не угрожает, поскольку разговаривать с ней, а тем более учить ее он, к сожалению, не будет иметь времени, да и может ли он чему-либо научить столь грамотную барышню?

— Ого, господин учитель, у вас, оказывается, весьма ясная речь и, кажется, вы довольно вразумительно можете отвечать, и даже... девицам. — Панна Мария неизвестно почему смутилась, что-то хотела добавить, но в это время вышел из дома дядюшка; отдуваясь, — он только что выпил на дорогу добрую кварту меду — влез в карету и позвал племянницу. Она, ничего не сказав больше, подобрав юбки, проворно взобралась вслед за тучным паном Томарой и взглянула оттуда на скромно стоявшего учителя, ожидавшего, как видно, распоряжений от своего нового господина. Но пан махнул рукой, и серые в яблоках лошади рванули с места, легко вынесли карету за ворота...



Нет ничего лучше, как ехать с возчиком и говорить о чем вздумается, петь, если захочется, остановиться, где заблагорассудится: у придорожной корчмы, например, или у заброшенной степной криницы, в какой-нибудь ложбине, где не слышно ветра, на окраине хутора и снова покачиваться в возке между землей и небом.

Возчик Лука Жук, услышав из уст учителя родную речь, охотно рассказывал, как они живут под паном Томарой, что у него, Луки, четыре сына (один с ними едет в обозе) и дочка, почти все на панском подворье: в конюшнях, на псарне, а дочка Дарья — кухарка. Так что он, Лука, не видит своих детей неделями, изредка Дарья навещается, убедится, что "мы с матерью живы", и убежит, а сыны — все в работе да в работе. В светлую неделю разве что приходят в отцовскую хату. Молодые еще, неженатые, только старший собирается, а пан не велит. "Я благословил, а он — уперся: не позволю своевольничать, на какую укажу, на той и женишься..."

Опустив седую голову, Лука молчит, что-то шепчет про себя, словно молится или прислушивается к тихому шелесту камыша у самого берега мелководной речушки, вдоль которой тянется дорога.

Ивану жаль старого человека, и он говорит как можно мягче:

— Печалью горю не пособишь, дядька Лука, только себя самого изведешь. Может, придет время — и легче станет жить на свете и вам, и детям вашим.

— Хотя бы внукам, — невесело усмехнулся возчик.

— Человек, который не верит в лучшее, не может и надеяться на него.

— Одной надежды мало, пан учитель.

— А что еще нужно?

Лука помахал над лошадьми кнутом, они зашагали бодрее, возок подбросило на корневище, кинуло вдруг в колдобину, но сразу и вынесло на ровное, дорога в этом месте была хорошо накатанная, твердая, бежала между редкими посадками молодых ясеней, и предвечернее солнце, катившееся по лесной кромке, по заречным холмам, перемежавшимся с лесом, казалось, вот-вот выкатится на самую дорогу. Сзади слышался шум: это приближались подводы, в их передках, как грачи, нахохлившись, сидели возчики.

— Что же нужно, дядька Лука?

Лука Жук оглянулся вокруг, придержал лошадей:

— Много чего... Да лучше помолчать. — И снова взмахнул над лошадьми кнутом, шевельнул вожжами.

— А отчего же лучше?

— До греха недолго.

Иван перекусил соломинку, подвинулся к возчику ближе:

— А пан ваш, дядька Лука, добрый?

— Добрый, — кивнул возчик и добавил: — Пока что... не кусается. Э-гей, соколики!.. Скоро и на ночлег станем.

Иван невольно усмехнулся: "не кусается" — спасибо и на том. Да что ему, собственно, до этого? Учитель должен учить, и только. И стало быть, жить, как дерево

растет, то есть оставаться безразличным ко всему... А может, не стоило ехать? Остаться в канцелярии еще на год-два? Нет-нет, он правильно сделал, послушав совета отца Иоанна. Когда-то теперь увидится с ним, отведет душу в беседе? И увидится ли вообще?..

Иван засмотрелся на раскинувшиеся по обе стороны дороги поля. Боже, сколько земли вокруг, сколько богатств на ней, можно бы каждого сделать счастливым, чтобы человек ни в чем не нуждался. Ан нет; одному все мало, гребет и гребет под себя, никак не может утолить своей жадности, а другому бедолаге и дышать нечем. И вспомнились слова, сказанные смело и открыто: "Турбаи помнишь? Будут и новые, и, может, не одни..." Известно, что такое Турбаи, Иван сам переписывал донесения полицейских чинов, составлял бумагу для управляющего канцелярией. Страшно вспомнить, сколько погибло невинных в том селе, и все из-за того, что одним все мало, а другим — хоть ложись и помирай. Когда же поймут это Новожилов и господа землевладельцы? Нельзя так жить — в темноте, невежестве, в неуважении к простым людям! Ведь так недолго довести их до косы, топора — и тогда ничем не остановить страшной стихии, способной ураганом смести все живое. Слепцы, жалкие тупые слепцы".

— Не печальтесь, пан учитель, — сел вполоборота к Ивану возчик. — Вы еще молодые, всякой всячины наглядитесь на своем веку. В дороге каждый раз думка появляется: а что там за поворотом? Может, что и получше?

— Да вы, я погляжу, философ, — усмехнулся Иван.

— А с чем едят то слово?

— Философ — человек мудрый. Он, как бы вам сказать, жизнь объясняет, знает, что от чего берется.

— Хе, объясняет. Такие, пан учитель, мудрецы найдутся. А ты, человече добрый, научи, с какого конца приступить, чтобы ту жизнь поправить, чтоб стала она лучше, а людям жилось легче. От такие и нам по душе. Может, знали таких людей, пан учитель?

Иван удивленно взглянул на Луку, отрицательно качнул головой:

— Таких не знаю.

— Гм... а я знаю. Не много, правда, одного, а знаю.

— Кто же он?

— А жил в нашем Коврае один. Тоже учитель. Я тогда еще хлопцем бегал.

— Сковорода? — уже догадался Иван.

— То, выходит, и вы его знали?

— Нет, я не знал его. А вы, дядька Лука?

— Кто ж его не знал? Все его у нас знали, и не только в нашем селе, а, считай, вся округа. Не раз, бывало, говорил: держитесь, люди, друг за дружку, ну, чтоб вместе все, — и вас ни черт, ни пан не испугает.

— Так он говорил? — все больше изумляясь, спросил Иван.

— Как раз так... Да он родом наш, полтавский, из Чернух будто. В чужих землях учился, света повидал. Мудрый человек был. За бедных стоял, помогал им чем мог.

Добрый был человек. Паны, известно, не любили его, он им как кость в горле. Хе-хе, боялись его паны, — Лука даже повеселел, рассказывая о Сковороде.

Иван слушал как замороженный и, когда Лука закончил свой рассказ, порывисто сжал ему руку:

— Спасибо вам за доброе слово про Сковороду!.. И за то спасибо, что верите в мою звезду, в мою дорогу... Ну а я, дядька Лука, верю в таких, как от вы и ваши сыны, в день ваш будущий верю.

Лука широко раскрытыми глазами из-под седых бровей смотрел на учителя, на его молодое тонкое лицо, одухотворенное мыслью и чувством, и совсем позабыл о лошадях, они сами шли по дороге, брошенные вожжи давали им волю двигаться как заблагорассудится.

— И вам спасибо, пан учитель! — сказал наконец Лука.

Поникшие плечи его распрямились, стали немного шире и словно бы крепче. В лучах закатного солнца голова возчика на морщинистой обветренной шее походила на голову Сократа, а руки, жилистые, крепкие, напоминали корневища столетнего дуба.

Лука несколько раз оборачивался к Котляревскому, что-то хотел спросить и не решался.

Возок катился опустевшим полем, лошади легко несли его, трусцой бежали и бежали навстречу спрятавшемуся за темной полосой леса солнцу.

Вслед за возком двигался обоз — три подводы, груженные сушеной и соленой рыбой, свечами, дегтем, солью, вожжами, полушубками и всякой всячиной, закупленной самим паном Томарой на полтавской ярмарке.

За Решетиловкой случилось приключение, которое некоторое время спустя побудило Луку рассказать небезынтересную притчу. Путники, укачиваемые медленной ездой, ничего особого не ожидали, как вдруг перед хлипким мостиком через заросшую камышом речушку из-за бугра вылетела дорожная карета. Тройка одномастных гнедых коней, низко пригнув морды и до крови закусив мундштуки, рвала под собой землю. Между фигурными дугами, на козлах, виднелось бородатое лицо кучера. Дорога была узковата, и, чтобы не столкнуться с каретой. Лука резко повернул лошадей в сторону, но не успел. Налетевшая карета чуть не врезалась в возок, расвирепевший кучер занес было кожаный кнут, чтобы достать Луку, но в то же мгновение поднялся и Лука и, взмахнув своим упругим кнутом, блеснул насупленными глазами.

— Поворачивай! — закричал кучер и стегнул коренника.

— Дороги не видишь? Так можно показать...

— Ах ты ж! — Кучер резко потянул вожжи на себя — и карета пронеслась мимо; из-под копыт взбесившейся тройки полетели ошметки земли, забарабанили по облучку возка.

Иван не успел ничего сказать: так быстро — в одно мгновение — налетела и проскочила карета.

Лука повернул лошадей на дорогу, некованные колеса, съехав на деревянный мосток, словно обрадовались, затарахтели весело и оживленно.

За мостком Лука остановился, слез и осмотрел хомуты, чересседельники — все ли в порядке, не оборвалась ли где сбруя? Нет, все на месте.

Ехали в молчании. Иван достал табакерку, трубку. Кашлянул, чтобы привлечь внимание Луки, но тот не оборачивался.

— Может, закурите?

— У меня свой, — ответил Лука и вынул из кармана кисет.

Когда закурили, Иван, как бы между прочим, сказал:

— Смелый вы, иначе.

— Где там... То, может, из-за вас так осмелел.

— Из-за меня?

— Чую, нашей веры вы человек, — подмога, значит, думаю, не то что наши пидпанки, вроде того кучера... Думаете, в нашем селе нет таких? Хватает. Лизоблюды... Хотите, притчу вам расскажу?

— А послушаю, — придвинулся Иван поближе.

— Вот слушайте. — Лука ковырнул ногтем в трубке, потянул разок, и она ожила, задымила. — Поехали как-то раз в город мужики на базар, продать кое-чего, купить, а по дороге домой остановились в придорожной корчме перекусить. Сидят, закусывают чем бог послал и балачку ведут, что торговалось полно, едут домой, а пустые, нечем и подушное заплатить пану. А тут, глянь, откуда ни возьмись сам пан ихний входит в ту самую корчму. Где-то он тоже был в городе. Входит, садится, а поселяне, увидев его, встали, поклонились. Он кивнул в ответ и стал допытываться, как им торговалось. "Ничего, ваша милость, не вторговали, — отвечают мужики, — базар поганый, вот и подушное не везем". А пану в тот день повезло, может, гулялось добре, и был он веселый. Выпил он чарку оковитой и говорит: "Так и быть, приходите завтра ко мне, одолжу вам деньжат, а может, и подушное за этот год подарю. Я сегодня добрый". — "От спасибо! Дай бог здоровья!" — кланяются мужики чуть ли не в ноги ему. А пан, выпив еще чарку, сел в карету и укатил. Мужики, повеселев, тоже собрались в дорогу. Один лишь старик не разделял их радости, все повторял: "Обещал, братцы, пан кожух, да только слово у него теплое..." Но все-таки и он хотел надеяться на лучшее.

Приехали мужики домой, переночевали и утром, как только благословилося на новый день, пошли к пану за обещанным. Подходят они ко двору, а он, известное дело, обнесен высоким забором, а ворота заперты. Постучали они один раз, потом еще раз — никто не выходит. Один пидпанок случайно увидел их и кричит: "Эй, чего стучите! А ну марш!" — "Мы к пану", — отвечают мужики. Тот глаза выкатил да как засмеется, аж заливается: "Пан таких дорогих гостей будто бы сегодня не ждал". Не впустил их во двор. "Идите, пока целы", — грозит. Они все же не уходят. Постояли, а потом снова толкнулись в ворота. Вдруг видят: калитка открыта и никого нет, они туда, только вошли, а тут откуда ни возьмись собаки, да здоровые, как медведи, и лютые, как черти. Мужики назад, а собаки за ними, рвут свитки, до штанов добираются, черти. Едва отбились, выскочили за калитку, порванные, покусанные, отдышаться не могут. Постояли, постояли, бедолаги, и, не дождавшись никого, ушли не солоно хлебавши.

Один из них, тот самый, что еще вчера выражал сомнение по поводу панских обещаний, повидавший на своем веку немало, и говорит: "Добрый у нас пан, да собаки у него злые, будь они прокляты..."

Лука еще раз, не выпуская из рта трубку, смачно затянулся и хитровато стрельнул одним глазом в учителя: а что притча — понравилась? Веселая — не правда ли?

Лицо Ивана было строго, он тоже несколько раз затянулся, не торопился отвечать Луке, хотя видел, что тот ждет его слова: что он, учитель, думает о его рассказе?

— Мудрая притча, — раздумчиво сказал Иван. — Выходит, что не так пан и плох, если бы не пидпанки.

— Сами кумекайте, — ответил Лука и присмотрелся: впереди, немного в стороне от дороги, в вечернем тумане что-то зачернело: не то кошара, не то хата с пристройками.

— Не корчма ли случаем? Она, кажись. Выходит, скоро и Белоцерковка. Тут и заночуем. Кулеш сварим и коней подкормим, а то приморились.

4

В корчме не нашлось ни одного свободного места, хозяин и слушать не стал:

— Куда положу вас? На голову себе?

Кого здесь только не было: казаки, купцы, приказчики, а больше чиновники да военные. Негде и яблоку упасть.

Возчикам, видно, не впервые приходилось ночевать в степи, а учителю все же они предложили сходить к корчмарю и попросить себе места на ночь, ему-то должны что-нибудь найти. Но Иван наотрез отказался, никуда от гурта он не уйдет. "Вместе и батька бить веселее, а кашу есть — тем паче". Возчики, особенно дядька Лука, оценили решение учителя и сразу же засуетились, чтобы устроиться на ночлег как можно лучше, даже с некоторым комфортом, насколько позволяли степные условия. Составили возы, как это обычно делают чумаки, в круг, развели костер, тут же нашлись казан, пшено, венки лука и кусок старого, желтого уже, сала. А лошадей, напоив из колодца, что был у корчмы, привязали к возам.

Возчики уселись вокруг жарко пылавшего костра на разостланных мешках и ряднах. Лучше и не придумаешь: на чистом воздухе, под высоким небом. А когда кулеш сварился, нашлась и бутылка спотыкача.

— Садитесь, пан учитель, коли не брезгуете, ближе к нам, — пригласил Ивана дядька Лука. — Вот ложка.

— Отказаться от такого кулеша — великий грех взять на душу. А я, к тому же, и проголодался.

И Котляревский присел в круг. Возчики потеснились, смущенно покашливая: как-никак пан, хотя и учитель, сел рядом, не постеснялся их свиток и постолов. К их удивлению, вел он себя очень просто и непринужденно. Сначала восхитился расписанной ложкой — "таких в Полтаве не вырезают", потом рассказал несколько побасенок, какие слышал еще от старых людей, а некоторые и сам в часы досуга сочинил. Постепенно исчезла скованность, возчики почувствовали доверие к учителю и сами тоже стали рассказывать, кто что знал или слышал.

Люди разного возраста, они одинаково внимательно и заинтересованно слушали полтавского учителя, удивляясь его речи, умению вплести в рассказ крепкое словцо, если, разумеется, он того требовал; учитель заразительно смеялся каждой их шутке и вкусно, с отменным аппетитом уплетал круто затолченный салом чумацкий кулеш. И спотыкача выпил без особых церемоний, как человек вполне свойский.

Еще совсем юные сыновья возчиков — Лаврин Груша и Савка Жук — слушали учителя, раскрыв рты от изумления: такого они в жизни своей не слышали, хотя уже дважды побывали в самой Полтаве; их родители — Лука и Харитон — вели себя сдержаннее, хотя тоже не могли скрыть заинтересованности к рассказам учителя. Харитон Груша — высоченный дед с красивой окладистой бородой, — вытирая усы широкой, как лопата, ладонью и пряча усмешку, кашлянул в кулак:

— А позволь, пан учитель, спытать, не нашего, сказать, селянского роду-племени будешь?

— Вашего, дядька Харитон, точь-в-точь угадал, — живо обернулся Котляревский к Харитону. — И дед мой, и батька к земле тянулись, любили ее, матинку, а она их, видно, не дюже, потому как не было ее у них.

— А где, позволь узнать, науки превзошел?

— В семинарии, что в Полтаве.

— Выходит, что ж, из бурсаков будешь?

— Был, понеже такое звание носили семинаристы... Был, — вздохнул Иван. — А вот теперь — учитель. Семинарии не закончил. В губернской канцелярии больше трех лет прослужил...

— В канцелярии?

— Протоколистом.

Груша достал из костра двумя пальцами уголек, подержал на ладони и аккуратно положил в трубку, закрыв ее медной крышечкой.

Слово "канцелярия" насторожило, возчики замолчали, прекратились шутки, но Иван сумел сломать их скованность, развеять подозрительность, рассказав, как совсем недавно пришел в канцелярию казак, жаловался, что пан вписал его и братьев в ревизскую сказку, и как он ответил Новожилову: "Турбаи помнишь? Будут и новые..."

Возчики слушали, задумчивые, притихшие, лишь дядька Харитон по-прежнему подбрасывал по веточке в костер, чтобы не гас. Младшие — Лаврин и Савка — с нескрываемым любопытством смотрели на учителя, словно он открыл им что-то неведомое, такое, чего они и хотели услышать, и опасались.

Харитон предложил домашний табачок. Иван не отказался, затолкал в трубку немного мелко резанного зеленого самосада и, обжигаясь, как заправский курильщик, выхватил из костра уголек, раза два подбросил на ладони и положил в трубку; уголек засверкал, разгорелся ярче.

— Хорош табачок! — И затянулся. И вдруг почувствовал, что задыхается. Возчики поглядывали на него выжидающе и, может, чуть насмешливо, он же стоически продолжал тянуть трубку, стараясь не подать вида, чего стоит ему курение

харитоновского домашнего самосада. Сам же дядька Харитон как ни в чем не бывало пыхкал трубкой, распространяя вокруг удушливые клубы дыма.

— И где он, у беса, такую отраву откопал! — не выдержал Лука и пересел на другую сторону костра. Молодые давно уже перебрались туда же. А Харитон, усмехаясь — мол, эх вы, а еще казаки! — говорил, что негоже брезговать таким табачком, он его нигде не откопал, а вырастил на своем клочке за хатой.

К корчме подкатила дорожная карета, кто-то выбежал, помог сойти приезжему. Мужики смотрели на сухопарого господина, важно шествовавшего к корчме, и подумали: такому место найдется, а они вот у костра заночуют, впрочем, бог с ним: чувствуют они себя и тут неплохо, во всяком случае, не хуже, чем в затхлых комнатах старой кошары.

Выбив трубку и заправив ее новой порцией табака, Харитон достал, как прежде, уголек из костра, аккуратно положил под крышку и, потянув несколько раз — проверяя, горит ли, — обратился к Ивану:

— Оно, может, и не нашего мужицкого ума дело, а все-таки скажу тебе, человече, поскольку, видно, добрая душа у тебя: берегись нашего пана! Еще в святом писании сказано: береженого и бог бережет.

— Беречься? А почему?

— Не успеешь глянуть, а он тебя заарканит, в ревизскую впишет — и станешь ты панским.

— Крепостным?

— Истинно. Пан наш душами промышляет... Так-то, человече добрый.

Иван вздрогнул: крепостным? Его, свободного от деда и прадеда, сделать подневольным рабом? Да, он не глухой, он слышал, как некоторые потерявшие совесть и честь господа помещики переводили домашних учителей в крепостную зависимость. Об этом предупреждал и отец Иоанн: "Степан Томара мой давний приятель, учились вместе одно время, а все же — пан, владелец..."

Обеспокоенно коснулся сюртука. Есть! С ним его свидетельство, подписанное накануне отъезда предводителем дворянства Полтавского уезда паном Чернышем. Оно небольшое, и он помнил его дословно. Особенным значением исполнены такие слова: "...он (то есть Котляревский Иван, сын Петра) между дворянами Полтавского уезда считается..." И тут же: "...оной протоколист Котляревский происходит из Малороссийского шляхетства, владеет в Полтавском уезде недвижимым имением, и род его внесен в Екатерининского наместничества форменную... родословную книгу в шестую ее часть..." Вот так! В шестую часть внесен его род, и стало быть, и он, Иван Петров, тоже в оной книге и в оной, шестой то есть части числится.

Смахнул выступившие капли пота на лбу и еще раз незаметно провел рукой по сюртуку, как бы проверяя, на месте ли, за подкладкой, его охранный грамота, заверенная, как и полагается казенной бумаге, гербовой печатью и подписью предводителя. Чего же ему опасаться? С таким документом и сам черт не страшен. Одначе и говорить о свидетельстве без нужды, видимо, не стоит. Ведь всякие люди

есть. И все же надобно как можно скорее найти повод к дать понять господину Томаре, что в случае надобности за него подаст свой голос дворянство всего Полтавского уезда.

— Хороший ты человек, пан учитель, — заговорил дядька Лука, — а пан тебя задавит, не поглядит, что ты в канцелярии служил.

— Не тревожьтесь, я за себя постою, а за вас — обидно и горько...

— Видно, доля наша такая, — вздохнул Харитон. — Лука знает, как мы в тайности ходокос посылали в самый Петербург. Полгода они ходили и вернулись с тем, с чем и пошли. Никто их и слушать не стал... А что придумаешь? Мы бы покинули село, так опять же — куда податься от своего родного? И лета не те... А может, вскорости и перемены будут. — Харитон понизил голос: — Слух пошел: человек должен объявиться.

— Какой человек?

Харитон переглянулся с Лукой, словно спрашивая его согласия: говорить или воздержаться, и тихо, чтобы кто чужой не подслушал, ответил:

— Максим Зализняк и его побратим Гонта. Паны брешут, что их будто бы поймали и лютой смерти предали. А мы не верим. Придет время — они объявятся. И станет воля снова... Может, пан учитель, в Полтаве про то известно? Так расскажи нам, тут мы все свои, и дети наши, хотя и молодые, а не пустобрехи.

Мужики смотрели на Ивана с надеждой и смирением, ждали его слова.

Иван смутился, с трудом поборол волнение, однако отвечать не торопился, напряженно думал: что сказать, какое слово найти, наиболее верное, чтобы не обидеть их, не отпугнуть

О Максиме Зализняке и его побратиме Иване Гонте он слышал еще в семинарии. Не раз, собираясь где-нибудь в темном углу, подальше от всевидящего глаза префектора, товарищи рассказывали друг другу удивительные истории о сказочной храбрости и богатырской силе легендарных атаманов. Сердце замирало от восторга и страха за их судьбу. За ними гнались царские войска, их преследовали, а они уходили и объявлялись в новом месте. И еще жарче пылали помещичьи усадьбы. А потом пополз черный слух: схватили Ивана Гонту и предали мучительной смерти, а его побратим Максим Зализняк, узнав о том, стал чахнуть и в неизбывной тоске умер.

Тем слухам верили и не верили, подтверждений им нигде не было. Со временем в народе родилась легенда: живы, спасены народные заступники, но пока где-то скрываются, ждут своего часа...

Иван тоже верил этой легенде, страстно желал удачи героям. Но однажды все изменилось. Став служить в местной Новороссийской канцелярии, он соприкоснулся с подлинными документами.

В один прекрасный день его вызвали к управляющему и приказали сделать общее описание Колиивщины — так в народе называли восстание в Уманском уезде. В его руки попали донесения полицейских чинов, свидетельства очевидцев поимки Гонты и смерти Зализняка. С душевным трепетом приступил он к работе. Пренебрегая отдыхом, просиживал вечерами, изучал каждый клочок бумаги, попавшей в дело. Работа продвигалась быстро, и чем ближе она была к завершению, тем тяжелее



становилось на сердце. Легенда постепенно развеялась. О гибели Зализняка и Гонты говорили факты, документы. Шли дни, месяцы. Иван никому не рассказывал о том, что видел сам. И вот — снова. Что сказать доверчивым и добрым, как дети, его попутчикам? Неужто развеять их мечты, лишить, может, последней надежды на освобождение?

Выбив из трубки остатки несгоревшего табака, стараясь быть спокойным, он сказал:

— Слух был такой, что их поймали. В тюрьму кинули, в цепи заковали. Но... недолго пришлось им томиться за тюремными решетками. Нашлись смельчаки и помогли им разорвать цепи, вырваться на волю. Ловили их — да куда там, не поймали. Теперь они от села к селу ходят, а люди их берегут, прячут...

— И я так говорил, батько! — воскликнул, всхлипнув вдруг, Лаврин. Молодое безусое лицо его, в легком золотистом пушке, засветилось неподдельной детской радостью.

— Теперь они и в наше село наведаются! — восторженно сказал Савка, обращаясь к Котляревскому, с мучительной надеждой спросил: — Пан учитель, а придут они в наше село?

Иван взглянул на хлопца и кивнул:

— Все может быть... хотя трудно сказать, куда их пути-дороги лягут.

— А может, все-таки придут?

— погоди, хлопче, — сказал Харитон и, глядя из-под косматых бровей на учителя, спросил: — А знаешь, пан учитель, что люди говорят? Слыхал я, что паны атаманы заговорены и от пули, и от сабли. Уже что ни придумывали царские жандармы, а их ничто не берет.

Все притихли, уставились на учителя: что он скажет?

— Заговорены, — кивнул Иван, — про то и я слыхал.

Харитон и Лука курили, молодые о чем-то шептались. Иван неотрывно смотрел в пылающий костер, думал свое. Правильно или нет поступил он? Может, лучше сказать было, что видел своими глазами документы, свидетельства очевидцев? Но чего бы он достиг? Развеял легенду? Нет, осталось бы все так, как и было. Люди до сих пор верят, что народные заступники, как поселяне называют Зализняка и Гонту, живы, невредимы, а его рассказ был бы воспринят как еще одна неудачная попытка обмануть их. Нет, он правильно поступил, что утвердил их веру. С ней легче жить.

— А можно спросить вас, пан учитель? — обратился к Котляревскому Лука. — Песню про Максима Зализняка доводилось вам слышать?

— Нет, не слышал.

— То, может, послушаете?

— С дорогой душой.

Иван спрятал трубку, приготовился слушать. До сих пор у него и в мыслях не было, что существует такая песня, и вдруг неожиданная удача. Легенды он слышал, а песню — впервые и в нетерпении, стараясь скрыть его и не в силах это сделать, стал ждать.

— Харитон, зачинай!

— Негоже, кум. Корчма — рядом. А там, кажись, паном пахнет. И чиновник подъехал вечером.

— А мы тихо будем. Зачинай же — пан учитель просит.

— Ну коли так... — Харитон удобнее сел, разгладил усы на две стороны, расслабил широкий пояс под свиткой. — Пособляйте ж, да все вместе.

И запел. Неторопливо, широко, низким голосом.

Песня, словно весенняя вода из-подо льда, вырвалась на простор, все больше наполняясь могучей силой, и вот уже неудержимо потекла, понеслась полноводной рекой. Скоро в единое русло влились и голоса молодых — Савки и Лаврина, причем голос Савки был по-мальчишески звонок, высок, у Лаврина же, юноши постарше, — сильный, красивый, под стать отцовскому, только у отца — более густой. Стал подтягивать и Лука, сцепив на коленях руки и покачиваясь с закрытыми глазами в такт песне.

Пели негромко, а Ивану казалось: их слышит поле, и лес, неожиданно придвинувшийся к самой дороге, и небо, усыпанное сентябрьскими крупными звездами.

Та жива правда, та жива душа.

Не умрет, не сгинет!

Гей-гей, не умрет, не сгниет!

Да жив батько, да жив Зализняк!

И побратим его Гонта!..

Гей-гей, Гонта!

Певцы позабыли об осторожности. А ведь их могли услышать, и кто знает, как бы отнеслись к их ночной песне. Они пели, вкладывая в каждое слово свое сердце, мечты свои о лучшей жизни, о воле, которую у них подлым образом украли, но которую принесут в их края легендарные народные заступники.

Иван почти не дышал, впитывал каждый звук. Он бы сию минуту, на глазах певцов, стал записывать слова песни, он даже потянулся, чтобы взять дорожную чернильницу и перья, но тут же одернул себя: испугаешь, оттолкнешь, они перестанут петь, едва увидав в руках его листок бумаги, и сидел неподвижно, очарованный и счастливый. Где бы он услышал такое, откажись от поездки в далекий неведомый Коврай?

Певцы уже заканчивали петь, когда в корчме хлопнула входная дверь и тотчас коршуном упала на дорогу тень, легла у самого костра, настороженно застыла.

Молодые ничего не заметили, поглощенные песней, но более осторожный Лука Жук обеспокоенно толкнул Харитона. Между тем незнакомец, видимо поняв, что замечен, спросил, кто это распелся среди ночи и что за странная такая песня.

— А вам что за дело?! — крикнул Савка.

Отец одернул его:

— Помалкивай. — И, приподнявшись, ответил: — То вам показалось, ваше благородие.

— Может, и показалось...

Певцы сидели тихие, чуть торжественные, а ночной воздух, казалось, еще вибрирует, звучит, и небо — как орган.

Иван не знал, как благодарить за подаренную песню, и, несмотря на смущение певцов, каждому от души пожимал руку. Они покашливали, удивляясь излишней, на их взгляд, восторженности учителя; ну что, в самом деле, случилось: они спели песню, которую знает почти каждый.

Харитон посмотрел на небо, отыскал какие-то ему одному известные звезды, потуже запахнул свитку на открытой груди:

— Пора и поспать, скоро и на зорю благословится, а завтра — дорога.

— И то правда. — Лука распрямил затекшие плечи и, обращаясь к Ивану, сказал: — Постелю вам, пан учитель, на возку.

5

На пятый день пути тоже остановились у корчмы и так же, как уже не раз было, ночлежничали у костра, только Ивану дядька Лука стелил на возку, несмотря на его протесты.

На возку хорошо пахло сеном. Дух луговых трав напоминал родные вдоль Ворсклы лужки, Мазуровку в летние вечера. Укрывшись чекменем, смежив веки, Иван вспоминал прошлое — все, что осталось по ту сторону Киевского въезда, за шлагбаумом: скорбное лицо матери и последнее напутствие отца Иоанна: "Помни слово мое, сыне". — "Помню, отче, — неслышно шевелились обветренные уста, — помню..."

Под чекменем тепло и уютно, можно было подремать, но не спалось. Иван смотрел на мигающий костер, на лежащих подле него в живописных позах возчиков. Все спали, лишь старый Груша все еще пыхтел трубкой и следил за костром. Лошади, привязанные к возам, хрумкали травой. Ночь дышала покоем. Утомленная за день степь спала тоже. Спала и корчма, чернеющая по ту сторону дороги, отсветы пламени вспыхивали и гасли в ее крошечных окнах. Под осенними звездами светился далекий путь на Полтаву. Он уходил в широкую степь я там, за горами, исчезал.

Почти неделю Иван в дороге, а ему все казалось, что отъехал от дома недалеко, стоит выбежать на шлях, подняться на ближнюю степную могилу — и увидит золоченые маковки Успенского собора, острую крышу костела, отцовский дом на краю Соборной площади. Но это только казалось: кто знает, когда он снова переступит родной порог. Кто знает...

Иван слушал ночь, поле и... песню. Она родилась внезапно, как, наверно, рождается ветер или дождь. В песне слышалась тоска об ушедшей юности и еще что-то невыразимо грустное, берущее за душу. Иван закрыл глаза, отдавшись чарам песни, стараясь понять, кто поет. И тихо позвал:

— Дядька Харнтон, слышите песню?

— Слышу. — Лицо Харитона, в бороде, усах, сухощавое, казалось бронзовым. — Да не песня то, пан учитель.

— А что же?

— То земля наша — матинка стонет. Болят ее муки людские.

И отвернулся, ни слова не сказав больше. А песни уже не стало: растаяла, потонула в полях, улетела за степные могилы, в бездонное небо. Кто же пел? Никак сам Харитон? Кто же еще?

"То земля наша — матинка стонет..." Иван не мог уснуть — так растревожили его эти слова. Каждый звук песни отозвался в сердце, запомнилось каждое слово, и теперь уже не забыть ее, не вычеркнуть из памяти, из души, она останется с ним, где бы он ни был и что бы ни делал.

С поля повеяло запахом увядшего чабреца, легкий ветерок ласково коснулся лица, и учитель незаметно для себя задремал; сквозь дрему вдруг увидел, как старый Груша приподнялся от костра и перекрестил спящих Лаврина и Савку, потом покрестил воздух в направлении возка, на котором под чекменем прикорнул учитель. Позже Иван не мог точно восстановить в памяти: приснилось ему или, может, в самом деле старый Харитон крестил его на сон грядущий.

На рассвете продрог и проснулся.

Костер давно погас, под серым пеплом едва теплились последние уголья. Но вдруг подул легкий степной свежак — и костер ожил снова, охватил недогоревшее поленце, обвил его тонким языком пламени. Так, наверно, и жизнь. Иногда кажется: она угасла, исчезла, нет и следа, а задует буря — и с небывалой силой засветится, раскроется снова и более пышно, чем прежде.

Первым поднялся Харитон, хотя лег последним. Вслед за ним протер глаза и Лука. Они подняли сыновей, стали готовиться в дорогу. Ожила и корчма. Из низко сидящей над крышей трубы повалил густой дым, застлал серо-голубое небо, рассеялся по степи; заскрипел журавль у колодца, какая-то девушка босиком бежала через весь двор с ведром воды, и вода плескалась ей на ноги, а она торопилась, ни на что не обращая внимания. Хлопнула дверь, и двор опустел.

— Как ночевалось? — спросил Груша, хитро поглядывая на Ивана, засмотревшегося на девушку с ведром.

— Добре! Спасибо!

— И ничего не приснилось? Может, которая из паненок привиделась? Их не кличут, а они приходят.

— Скорей которая с усами наснитя после наших балачек, — усмехнулся Лука; он достал казанок и стал чистить картошку.

— Угадали, — засмеялся Иван. — Да с такими, что за уши закладывают.

— Значит, к добру. Нет хуже, ежели баба приснится: день пропадет, — заключил Харитон, подбрасывая в костер свеженаломанных веток.

— Скажешь, кум. То нам уже, может, и ни к чему паненки, а у пана учителя дело молодое, ему в самый раз про то думать.

— Луку послушать, так пора вам, пан учитель, жениться.

— А чего ж, и женим. Да еще такую свадьбу отгуляем — пусть завидуют злыдни. И

я, старый, спел бы "не до соли".

— И гопак спляшешь?

— А чего ж? Можно... вместе с тобой, старый хрыч, — ответил Лука, пригоршней засыпая в котелок пшено.

Вернулись хлопцы, привели с водопоя лошадей, задали им овса и стали снимать колеса у возов, чтобы перед дорогой смазать их дегтем.

— А не время Савку твоего женить? — спросил Харитон.

— Тю на вас, дядько! — отозвался Савка. — Может, сами надумали? Вы же вдовец. Так берите меня в дружки.

— От шельмец, ему слово, а он двадцать, — рассердился Харитон.

— Тебе не угодишь, кум, — заступился за сына Лука.

Скоро закипел кулеш. Лука нарезал в мисочку сала, ложкой растер его и бросил в котелок.

Между тем Савка и Лаврин, смазав колеса и оси дегтем, потуже увязали мешки на возах. Оставалось перекусить и — в дорогу.

Слушая возчиков, их речь, их незлую перебранку, Иван думал о том, что судьба не обошла его: ему придется жить в одном селе с такими людьми, как его попутчики, он сможет их часто видеть, говорить с ними, слушать, наблюдать в каждодневном быту, и, несомненно, все это пригодится в задуманной работе.

Уже кончали есть, когда в корчме послышался шум. Скрипнула дверь, из сеней вышли двое полицейских, вынесли на крыльцо человека и потащили через двор к воротам, где стояла уже готовая в дорогу подвода, взвалили человека на воз поверх расстеленного рядна. Один полицейский остался, другой вернулся в корчму.

Иван подошел ближе, полицейский не остановил его, и он хорошо разглядел арестанта, еще молодого, заросшего грязновато-серой бородой, с полузакрытыми глубоко провалившимися глазами. Левую ногу и руку сковывала тяжелая цепь, при каждом движении она гремела, и звук этот в степной тишине казался особенно ужасным. Нетрудно было догадаться, кого везли полицейские, но одежда на человеке была не арестантская: порванная в нескольких местах черная, суконная куртка и такие же грубые суконные шаровары, на ногах — задубевшие опорки. Голова открыта, русые волосы прилипли к вискам.

Иван осмелел:

— Господин полицейский, может, ему помощь нужна?

— А вы, сударь, кто — лекарь?

— К сожалению, нет, но позвольте заметить: недалеко отсюда Пирятин, и там, насколько мне известно, расквартирована воинская команда, стало быть, должен быть и лекарь.

— Обойдется. Нам бы его доставить в Белгород и сдать помещику, а он молодой, выдюжит.

— За что же его в железа?

— Беглец. Волюшки захотелось. Ан и схватили молодца. Препровождаем по

назначению... Наше дело — служба.

Полицейский оказался словоохотливым, и Ивану стало ясно, кого служивые везут, что за арестант под их присмотром.

Между тем из корчмы вышел и второй полицейский, рыжий, рябой детина. Он нес с собой какие-то сумки, оружие.

Увидев Ивана, спросил:

— Вам чего, сударь?

— Да вот лекаря для больного предлагаю... В Пирятине он должен быть. По дороге вам как раз.

— Лекаря? Не хватало нам этих забот. Нам что? Пусть хоть преставится.

— Грех на душу возьмете, господа полицейские.

— Некогда нам. Ехать надобно.

— А может, я подсоблю? — Подошел Харитон. Он стоял неподалеку в стороне и слышал весь разговор.

— Мужик? — хмыкнул рябой.

— Мужик. И лекарь, хотя и сельский. Не довезете вы человека, а я, может, подлечу его.

— Ты, Харитон? — удивился Иван.

— Я... То как же, господа служба?

— Подходи, погляди.

Харитон подошел. Расстегнул на груди больного рубашку, приложил ладонь, подержал некоторое время, как бы прислушался, и сделал несколько вращательных движений. Потом, обернувшись, позвал Лаврина, крутившегося у возов. Сын не замедлил явиться.

— Принеси амброзию.

Лаврин — не успел отец слово сказать — подбежал к возам, а еще через несколько минут вручил отцу аккуратно завязанный белой тряпицей глечик. Харитон развязал его и, отпив несколько глотков сам, поднес к пересохшим губам больного, поддерживал голову ему, чтобы удобнее было пить, и все же больной пил плохо, большая часть жидкости пролилась.

Котляревский стоял рядом с хозяином корчмы и перепуганной насмерть хозяйкой, следил за каждым движением Харитона. Полицейские, как видно не выспавшись, откровенно зевали, и весь их вид говорил: кончал бы скорее, человек. Однако Харитон не торопился, он выждал несколько минут и снова дал напиться больному.

Иван подошел к возу ближе, услышал, как ароматно пахнет напиток, увидел и цвет его — золотистый, светящийся.

Полицейским, как видно, надоело стоять, они отошли, сели на завалинку, закурили, и тогда Харитон, приподняв голову больному, шепотом спросил — Иван слышал каждое слово:

— Кто ты?

Беглец разлепил глаза.

— Белгородской я, батя... Убег от помещика. Не человек он — зверь. Захворал я, и тут неподалеку отсюда остановился в одном селе, а меня схватили и волокут обратно. Беда моя...

— Плохо твое дело, сынок, но ты крепись, простуда пройдет, поправишься — и беги снова... За Дунай. Там наши, приютят... Как звать-то?

— Певцов Алексей. Алеша Певцов.

— Помни, Алеша, — за Дунай!.. А пока — крепись, сынок.

— Э, лекарь, чего шепчешь? — спросил рябой. — Не позволено.

— Творю молитву... о спасении раба божьего Алексия...

— Кончай творить. Ехать надобно...

— Я кончил. Возьмите, господа служба, вот эту посуду и дайте напиться больному еще два раза сегодня и завтра... Это настой травы, пособит ему. А на дорогу — хлебца и таранки немного. — Харитон положил на воз принесенный сыном сверток.

Полицейские забрали глечик, умостили его в передок, в сено, забрали и сверток. Харитон поклонился больному до земли, тот слабо усмехнулся, поблагодарил.

Иван, стоявший все время молча, вдруг сорвался с места и, пока воз не тронулся, порывшись в кармане, вытащил пятиалтынный, сунул в руку Певцову:

— Бери... Пригодится... Помни о Дунае! — добавил совсем, казалось, ни к чему, но Певцов услышал, уставился синими глазами:

— Спасибо, барин! Бог тебя не забудет!

— Я не барин... — прошептал Иван. — Поправляйся, Алеша!..

На губах беглеца появилась улыбка, щеки зарозовели, он откинул со лба волосы и, приподняв руку, помахал ею в воздухе. Воз между тем тронулся и покатил. Иван и Харитон шли некоторое время следом.

Когда воз отъехал на несколько шагов вперед, Харитон крикнул:

— Пей водицу, хлопче!.. Она добрая!

Едва воз выехал за ворота, хозяин корчмы тотчас поспешно закрыл их, ни разу больше не выглянув: был рад, что избавился от таких постояльцев.

— Поехал, — вздохнул Иван, — бедолага.

— Бедолага и есть. Доедет, а пан, может, собаками затравит, забреет в солдаты. Все может быть. Только все одно душу не убьет, и хлопец побежит снова. Побежит!.. Э, да, кажись, и нам пора. Дорога ждет нас, пан учитель.

6

Сквозь негустой, низко стелившийся туман Иван разглядел разбросанные то здесь, то там черные хаты, они гурьбой сбегали куда-то вниз, то робко поодиночке взбирались на пригорок, почти сразу прячась за желто-зеленым убранством деревьев. Во дворах сиротливо покачивались колодезные журавли. Кое-где, едва видимые над соломенными крышами, дымились трубы, дымок смешивался с туманом и серыми клочьями застревал в ветках деревьев.

Через дорогу переметнулась тропка и юркнула в переулок, будто в рукав, порванный на локте; в прорехе — разоренном плетне — качнулись срезанные стебли

подсолнухов и между ними — словно пики, составленные на солдатском привале, — конопля.

Запах, любимый с детства, защекотал в горле, снова напомнил Мазуровку, где вот так же осенью, на огородах, ставятся конопли, потом их мочат, снова сушат и где-то после покрова начинают трепать — на Кобыжчанах, на Панянке грохот не умолкает от зари до зари. А отвердеет земля, выпадет первый снег, пройди под окнами — и услышишь, как гудят, поют извечную песню неутомимые прялки. Чуть позже — в крещенские морозы, кое-где и раньше — начинается ткацкий сезон, зимняя страда. А по весне, едва схлынет последний ледок на Ворскле, девушки в заводах и в озерцах мочат вытканное за зиму приданое, сушат его, белят на майском солнце, стелют дорожки из "десятки" и "одиннадцатки" — самого тонкого белого полотна.

— Агов, пан учитель, — обернулся вдруг Лука. — Не спишь? Гляди — село наше!

Как ни устал человек, как ни тяжело ему живется, а вернулся домой, разглядел окна своей хаты — и повеселел, быстрее, жарче забилося сердце. Почуввав запах вкусного дымка, в предчувствии скорого отдыха после долгого пути прибавили в шаге и лошади, без принуждения побежали под гору.

— Ишь, бисовы диты, — довольно бормотал Лука, отпуская между пальцами вожжи, — быстры стали. Ну, бегите!

Он бы и сам побежал, если б мог.

— Значит, доехали?

— Можно сказать, дома. Заждалась моя Устя. Да и я... — Лука запнулся, махнул рукой влево, на пригорок, тянувшийся за рядами тополей. — А вон там и ваша хата.

Возок затрясло, Ивана швырнуло вправо, откинуло назад. Он выпрямился, ухватясь обеими руками за грядки, и, когда выехали на ровное, внимательно присмотрелся.

Дом, стоявший на пригорке, выглядел, против крестьянских хат, щеголем, красовался лепными карнизами, невысокими колоннами у входа. С непонятным чувством тревоги всматривался молодой учитель в полукруглые, холодком блестящие окна. Что ждет его в этом доме? Как встретят его? Найдет ли он здесь то, чего ищет? А дом между тем, по мере приближения к нему, терял свою щеголеватость, становился приземистее, превращаясь в подобие крепости с массивным забором вокруг.

Никто, кроме дворовых, учителя не встретил. Один из слуг — пожилой дядька в кафтане — проводил его через множество коридоров и переходов в дальнюю комнатку, сказал, что господа уже легли отдыхать и потому ужинать ему придется в людской, пусть он сойдет туда, как только управится после дороги, а ежели не желает идти, то ему принесут.

— Нет, — ответил Иван, — нести не нужно. Умоюсь с дороги, переоденусь — и буду готов. Да, вот как пройти в людскую?

— Коридором до конца и налево вниз. Кухарка Дарья вас накормит. Она знает...

Двое дворовых втащили весь его багаж — ящик с книгами, сундучок с вещами и корзину с мелочью. Составили все это у двери и, поклонившись, тотчас ушли. Ушел и дядька в кафтане.



Лишь теперь, оставшись один, Иван присел к столу и огляделся. Комната небольшая, но в ней, кажется, есть все необходимое одинокому человеку. В углу — кровать, напротив — комод красного дерева, на нем — небольшое круглое в резной рамке зеркало. Позади комода — этажерка для книг. Стол с выдвижными ящиками — у самого окна, подсвечник и три свечи в нем. При входе — большая лохань и глиняный кувшин с водой, там же, на крюке, — полотенце. Встал, облокотился о подоконник. Осенний сад, засыпанный листвой, неярко освещенный лунным светом, уходил куда-то в густую темень, пропадал за бугром. И здесь, в доме, и там, в саду, — ни звука, тишина первозданная, только сторож, ходивший по двору, изредка нарушал ее, постукивая в колотушку.

Вот куда забросила его судьба — в настоящий медвежий угол, оторвала от знакомых, родных, друзей. Но ведь он сам хотел этого, и, стало быть, некого и незачем упрекать...

Сбросив верхнюю одежду, Иван помылся, надел все свежее и собрался идти в людскую, но, по совести говоря, он, кажется, не так уже и голоден, чтобы торопиться, а главное, как идти, не разобрав книг, не проверив, в порядке ли они, не подмокли в дороге и что с бумагами? Подвинув к этажерке стул, поставив поближе подсвечник, он открыл ящик.

Вот они — книги. Одна возле другой. Дорога нисколько не повредила им. Дождь не подмочил. Херасков, Княжнин, Шекспир. Два списка сатир Антиоха Кантемира и его же переводы из Горация и Анакреонта. "Телемахида" Тредиаковского, "Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку" Николая Осипова, которую по случаю год тому назад перекупил у Миклашевского, а последний достал ее в Харькове, у своего дядюшки. Учебники: русской грамматики, арифметики, "Правила пиитические" Аполлоса Байбакова. А вот римляне: Гораций, Вергилий... И тетради. Теперь он сможет писать. В дороге успел лишь кое-что набросать на случайных клочках. Песню о Зализняке, притчу о панах и пидпанках, еще одну песню, услышанную от того же Харитона Груши, несколько анекдотов, присказки и те две строчки, записанные на стоянке вблизи Майорщины.

Всю дорогу из Полтавы в Коврай — все эти восемь дней и ночей, — слушая попутчиков и случайных встречных, сердцем впитывая их рассказы, предания, песни о прошлом родного края, Иван неотступно думал об одном и том же: какой силы поэтическое слово достойно услышанного? Как рассказать о жизни, неустанной борьбе, думах, быте, нравах и обычаях своего народа? Писать по-русски и называть вещи своими именами? Это заманчиво, но, с другой стороны, вряд ли такое произведение добавит что-нибудь нового к тому, что уже известно в русской литературе. И кроме того, вещи называть своими именами небезопасно. Подобная поэма будет тотчас запрещена и, естественно, к людям не дойдет. Разве можно забыть печальной известности историю книги Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву"? Изданная три года тому назад, эта страдалица, как только стала известна двору, была тотчас сожжена. Подумать только — сожжена, предана

аутодафе. Автора же — этого бесстрашного, великого Духом мужа — "всемиловейшая" императрица велела казнить, а потом смертную казнь заменила ссылкой в Сибирь, в Илимский острог "на десятилетнее безысходное пребывание". А какова история пьесы Капниста "Ябедник"? Не та ли участь постигла и ее? Правда, автор не был сослан, но путь к зрителю его произведению преградили.

Нет, иные дороги искать надобно, иные способы привлечь для той же цели. Но какие? Где они? Не раз и не два возвращался к этому, думал, мучился, хотя сердцем, разумом чувствовал: он близок к истине, и все же твердо сказать, что нашел тот единственный верный путь, которым надлежит идти, не мог.

Как бы хорошо теперь посоветоваться с отцом Иоанном! Но Станиславский далеко: до Полтавы — неделя пути, трудно угадать, когда они сядут за один стол снова, пойдут бродить по улочкам и переулкам родного города. Писать же ему о своих поисках, сомнениях вряд ли можно. Матушке он тоже об этом писать не станет. Ей важно знать, что сын ее уже при месте, в дороге не простудился, здоров, и ничего ей больше не нужно, он сообщит ей об этом, еще сегодня отпишет подробное письмо. Кому же писать о своих терзаниях? Может, Миклашевскому? Раньше он бы не раздумывал, написал, но то было давным-давно, сто лет тому назад, в семинарии, теперь же он этого не сделает. Боже мой, как нынче пусто вокруг, ни одной родной души рядом!..

И совершенно неожиданно, будто молния, сверкнула мысль и осветила душу. А Лука Жук, Харитон Груша, их сыновья — Савка и Лаврин! Как смел он забыть о них хотя бы на мгновение? Они многое доверили ему, увидели в нем человека, близкого им по духу. Можно ли равнодушно отнестись к этому, не оценить? Конечно же они поймут его сомненья, сокровенные мечты. Да, поймут! И таких много — и здесь, и в Полтаве...

Так размышляя, вспомнил "Энейду" Осипова. Он читал ее в дни службы в Новороссийской канцелярии, читал и дивился слабости перевода — Вергилия Иван знал почти всего и в подлиннике. Осиповский язык казался бедным, каким-то нарочитым, вымученным, и весь сюжет "Энейды" был построен на ничтожно смешном приключении, рассчитанном на смех, и только. А как этого мало! Один лишь смех без глубокой мысли — пустая забава, игрушка на час.

Еще в Полтаве после долгих бесед с отцом Иоанном, я затем в дороге, имея достаточно времени на размышления, Иван не однажды задумывался над тем единственным, что его в последнее время занимало все больше и больше, лишало покоя: как бы самому попытаться вывернуть Вергилиеву "Энейду" наизнанку, переложить ее на свой язык, на котором издавна говорит народ всего края, и к тому же наполнить ее новым содержанием, используя для этого знакомые с детства обычаи, быт, нравы? Не о том ли просил, не того ли требовал и отец Иоанн, когда советовал переложить на язык высокой поэзии песни и думы родного народа? Слов нет, это трудно, ведь до сего дня никто подобного не писал.

Ближайший предшественник — несравненный учитель и философ, поэт и музыкант Григорий Саввич Сковорода — писал превосходные стихи, сочинял прекрасные песни, но их язык и слог были еще весьма далеки от живой разговорной речи. Он же,

Котляревский, должен пойти дальше. "Всякое начало трудно", — говорили великие римляне и любил повторять отец Иоанн, но ведь не было и нет на свете легких путей, если иметь в виду настоящее дело, а не пиитические побрякушки.

Иван помнит ранний осенний вечер где-то вблизи Майорщины. Тогда, сидя возле жарко пылавшего костра, разложенного предусмотрительным Лукой, он записал возникшие сами собой две строки:

Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак...

Листок плотной грубой бумаги лежал перед ним на коленях, он покусывал по привычке перо и думал: как продолжить, чем закончить строфу? Между тем дядька Лука пригласил к ужину — только что сварился кулеш. Иван взял поданную Савкой ложку, но к казану не потянулся, и дядька Харитон не преминул заметить:

— Поганий знак, коли охота до кулеша пропадає. Знать, душа неспокойна или, не дай господи, захворал человек. Ешьте, пока можно!

Лаврин подвинул казанок ближе.

В тот вечер Харитон, знавший множество историй о запорожцах и Запорожской Сечи, чтобы как-то расшевелить приунывшего учителя, рассказывал о первых странствиях запорожцев после разрушения Сечи. Это были остроумные рассказы, полные горечи и юмора. Харитон посмеивался, потом уронил слезу и рассердился сам на себя: "Старый дурень слюни распустил..."

Нечего сказать, развеселил, — заключил Харитон, заметив, однако, что учитель будто бы остался доволен, хотя по-прежнему был задумчив, неразговорчив...

Иван придвинул подсвечник и принялся нарезать бумагу. Делал он это аккуратно, не торопясь, как всякую работу, попадавшую в его руки. Особенно тщательно приготавливал перья: если они плохо очинены и рвут бумагу, то, конечно, долго не поработаешь, хороши перья тонкие и мягкие, тогда они сами скользят по листку, успевай лишь за мыслью...

В комнате плавали сумерки, освещались лишь стол и разложенные на нем тетради. Сундучок с неразобранными вещами стоял у комода, книги лежали на этажерке грудой, верхняя одежда брошена на кровать поверх одеяла.

В окно заглядывал молодой месяц. Облитые лунным сиянием, по обе стороны дорожки, спускавшейся вниз, к пруду, застыли тополя, а старые яблони, опустив ветви к земле, прислушивались к чему-то. Он запомнил эту ночь — первую ночь в Коврае — и спустя много лет, уже будучи далеко от этих мест, не раз вспоминал ее, как убежденный сединой человек вспоминает первое свидание с любимой.

Иван писал быстро, легко, придавив левой рукой листок. Мысли сталкивались, спорили; поймав самую верную из них и боясь, что она ускользнет, он старался быстрее ее записать...

Был он в белой рубашке, которую надел, перед тем как сесть за стол. К этому он привык давно, еще в семинарские годы. Иначе не мог. Шел обычно к столу в сладком предчувствии праздника, нетерпеливый от волнения, ожидания встречи с новым,

доселе неведомым, прекрасным. Искусство — он в этом убежден — ревниво относится к своим творцам, а тем, кто к нему равнодушен, ищет в нем только узкокорыстные цели, оно жестоко мстит.

Чернил оставалось на самом дне, но Иван этого не замечал и писал по-прежнему быстро и размашисто, только лишь чаще приходилось ему опускать в чернильницу перо. Написав, читал — негромко, чтобы проверить, как звучит слово, строчка, вся строфа:

Еней був парубок моторний  
І хлопець хоть куди козак,  
Удавсь на вссе зле проворний,  
Завзятіший од всіх бурлак.

В слове "Еней" прописная буква показалась маленькой, какой-то нечеткой, похожей больше на "С", он тут же поправил ее и продолжал писать:

Но греки, як спаливши Трою,  
Зробили з неї скирту гною...

Он писал о греках, о Трое, а имел в виду Запорожскую Сечь, которую уничтожили, сровняли с землей по "высочайшему" указу царские войска; он писал о "смалених, як гиря, ланцях", а видел тысячи изгнанных запорожцев. Перо проворно бежало и бежало дальше. Строчка, еще одна — и строфа готова:

Він, швидко поробивши човни,  
На сине море попускав,  
Троянців насажавши повні,  
І куди очі почухрав.

Перо в двух местах порвало бумагу, он схватил другое и продолжал писать. Потом, откинувшись на стуле, чтобы передохнуть, посмотреть написанное, вдруг усмехнулся: боже мой, какими неприглядными рисуются боги Олимпа. А боги ли они? Юнона смахивала скорее на известную в Полтаве купчиху — злую, сварливую, способную ради своего каприза пойти на все, а в качестве взятки посулить что угодно, как это она не раз делывала, приходя к Новожилову в канцелярию, прося помощи в ее коммерциях. Что предлагает Юнона Эолу взамен гибели Энея?

Щоб люди всі, що при Енеї,  
Послизли і щоб він і сам.  
За ссе ж дівку чорнобриву,  
Смачную, гарну, уродливу,  
Тобі я, далебі що, дам.

Солоновато? Может быть. Но его поймут, обязательно поймут и Харитон Груша, и Лука Жук, и их сыновья, которые и сами не прочь пошутить, слово сказать, да так, чтоб и в носу закрутило. А что касается купчихи, то она бы сказала и кое-что похлеще, коль пришлось бы отстаивать свои кровные интересы. Да простят ему боги Олимпа — не их имел в виду поэт, он только воспользовался их именами. Хорошо известные в Полтаве людишки с их низменными страстями, вкусами, взглядами — вот кого он имел в виду.

Их не перечесть. Это барышники, хапуги, чиновники, мечтающие о своей карьере и благополучии, а на поселян им наплевать; это сильные мира сего, дорвавшиеся к власти и теперь уверовавшие, что власть им дана самим богом на веки вечные и что они вправе и детям ее передать. Вот кто его "боги"! И не случайно Эол говорит о своих помощниках так недвусмысленно: Борей перепился, Нот со свадьбы не вернулся, Зефир — "отпетый негодяй" — с девчатами заженухался, а Эвр в "поденщики подался".

Хитровато посмеиваясь, Иван продолжал писать, как вдруг послышался шум за дверью. Словно кто стоял там и не решался войти. "Некстати, — подумал он, — совсем некстати". Дверь между тем неслышно отворилась.

— Кто там?

— Это я... Тарас.

На пороге стоял хлопчик лет десяти-одиннадцати, был он в полотняных, крашенных бузиной штанах, полотняной куртке, войлочных драных туфлях, стрижен в кружок, белые как лен волосы прикрывали широкий выпуклый лоб.

— Чего тебе?

— Просила тетка Дарья, чтоб шли вы, пан учитель, до вечера, а может, вам принести, то она и принесет.

— Приду. Все равно мысль убежала, не поймаешь.

— Далеко забежала?

— Далековато... Да ты чей такой любопытный?

— Панский. Казачок паныча Василя.

— Это кто же? Не знаю такого.

— Не знаете? — удивился Тарас. — Так вы же его учить будете.

Хлопчик неотрывно смотрел на книги, тетради, жадно обшарил взглядом всю этажерку. На миг Ивану показалось, что перед ним не Тарас, казачок панский, а он сам, Иванко Котляревский, бегавший когда-то к дьяку на учение, любопытный ко всему на свете и немного рассеянный... Хорошо бы посидеть с этим казачком, расспросить, как он живет, есть ли у него родные.

— Пошли, Тарас, в людскую да поужинаем.

— Не можна. Паныч проснется, и тогда...

— Не можешь? — удивился Иван. Он посмотрел на мальчишеский хохолок, доверчивые глаза и вдруг спросил:

— А хочешь, Тарас, учиться?

— Как то?

— Читать. Писать.

Что сказал пан учитель? Не почудилось ли Тарасу? Неужто он, казачок панский, сирота, один на всем свете, будет учиться читать и писать точно так же, как и его господин — паныч Василь? Это же такое счастье! С ума сойти можно! Это же выходит, что он, казачок Тарас, сможет в свободное время, хотя бы тогда, когда паныч поживает, войти в ту комнату, где лежат книжки, и взять из шкафа любую и почитать! А каких там только книжек нет, да все с картинками!

Обо всем этом и подумать страшно. Но пан учитель совсем не смеется, смотрит ласково, по-доброму, словно кухарка Дарья или панский кучер Лаврин Груша.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове хлопчика, от восторга он даже зажмурился. Нет, это, наверно, сон — яркий, каких никогда в жизни не видал и даже вообразить не мог. Но стоит раскрыть глаза, и все станет на свои места. Никто его, казачка, учить не будет, да, наверно, и пан Томара не позволит, чтобы учили дворового хлопчика вместе с панычом.

Казачок недоверчиво покосился на учителя: не смеется ли? Но учитель — совсем еще молодой, с добрым взглядом — не смеялся. Затаив дыхание, Тарас неопределенно кивнул:

— Ага... А правда?

— Правда.

— А я одну литеру уже знаю, — сказал Тарас, чтобы хоть чем-нибудь понравиться учителю. — У паныча Василя научился... То я пойду, пан учитель?

— Иди!

Тарас хотел еще что-то сказать, но не сказал, а только благодарно взглянул и, повернувшись, не забыв, однако, поклониться учителю, выскользнул из комнаты.

Несколько минут Иван смотрел на закрывшуюся дверь, потом вернулся к столу, собрал и спрятал в ящик тетради, исписанные листки, застегнул рубашку на все пуговицы и тоже вышел. В конце коридора мигнула и тотчас пропала тень. На подставке в медном подсвечнике мерцала, колебля язык пламени, одинокая свеча.

Шел медленно. Коридор тонул в полумраке, но вдруг напротив свечи из простенка глянули два портрета неизвестных — в собольих пипках, шубах; недобрыми, хмурыми взглядами уперлись в него, Иван от неожиданности остановился, а они не отставали, упорно провожали до самого входа в людскую. "До чего неприятные лица, — подумал невольно, — неужто старинные родственники хозяина дома?" Но мысли его тотчас вернулись к другому. Завтра начинается рабочий день, он встретится с будущим воспитанником, ради чего, собственно, и приехал сюда, начнет обучать барчука за весь курс семинарии. Однако у Ивана было такое, чувство, что самое главное уже свершилось. Все, чем жил он последние годы, отошло в далекое прошлое, и то были лишь первые шаги к сегодняшнему вечеру, самое же важное началось всего несколько часов тому назад.

В этом необычном состоянии Иван переступил порог людской.

7

Три месяца в каждодневных трудах и заботах ушли, как один день.

Младший Томара оказался на редкость тупым и ленивым; Ивану приходилось обращаться к различным ухищрениям, чтобы как-нибудь вызвать интерес к занятиям у томаровского недоросля. Он придумывал для него юмористические задачи с увлекательным сюжетом. Хватаясь за бока и катаясь по полу, барчук заразительно смеялся, но, вдоволь насмеявшись, задачу решать все же отказывался и указывал на Тараса:

— Пусть он.

— А ты?

Томара удивлялся наивности странного, хотя и очень забавного учителя:

— Он же казачок.

Тарас, который по совету Котляревского занимался вместе с барчуком, задачи решал, и довольно легко, но легче от этого не становилось, хотя и служило Ивану бесспорным утешением.

В сентябре и в первой половине октября было еще довольно тепло, и Котляревский часто водил воспитанника по окрестностям, гулял с ним в лесу, росшем вдоль правого берега Коврайца, рассказывал множество историй из жизни растений и животных, называя при этом каждое упоминаемое в рассказе животное или растение по-латыни и по-гречески. Между тем воспитанник, рассеянно слушая, облюбовывал укромное местечко на лесной поляне и приказывал Тарасу раскинуть суконную полость, которую казачок носил вслед за Томарой.

— Я заморился, пан учитель, и немного поем, а вы погуляйте. — Барчук основательно усаживался возле вместительного глечика с варениками и сметаной.

Что оставалось учителю? Браниться? Шуметь? Вряд ли бы это что-нибудь изменило. Скрепя сердце приходилось ждать, пока томаровский недоросль подкрепит свои убывающие силенки, и чтобы не видеть его трапезы и тем не испортить себе настроение окончательно, Иван отходил подальше, бродил вдоль Коврайца, подолгу простаивал под старой дуплистой вербой, которая помнила еще времена Богдана; по преданию, именно здесь однажды остановился на отдых великий гетман, возвращаясь в Чигирин из очередного похода.

Удивительные легенды хранил здесь каждый уголок. Чуть повыше над Коврайцем, откуда открывался очаровательный вид на заречные луга, было место, которое Иван предпочитал всем другим. Место это, как однажды поведал старый Харитон Груша, любил Григорий Сковорода, живший в Коврае лет сорок тому назад и учивший кого-то из господской семьи.

— Я тогда — уже парубок — был пастухом в томаровском хозяйстве, — рассказывал Харитон, сидя на завалинке с пришедшим в гости господским учителем. — Где мне уразуметь, чего это пан Грицко часто сидит в одиночку и все думает, а то читает, а потом пишет. По-первах чудным он нам показался: учитель, пан все-таки, а ходит, будто наш брат селянин: летом босой, в холщовой рубашке и таких же штанах, а зимой — в свитке или кожушке, шапке из овчины и сапогах. Мы, парубки, прибежим на Ковраец, чтобы искупаться, а пан Грицко увидит нас и кличет к себе, расспросит, бывало, как живем, да кто у нас батьки, и обязательно одарит каждого то книжкой, то зшитком[8], а мне подарил грифельную доску и пообещал научить писать и читать. "Приходи, — говорит, — когда свободный будешь". Известное дело, рассказал я про то отцу, так старый мой, как услышал, плакал от радости, что сын его грамотным будет, и сам гонял панских коров на пастбище, лишь бы я ходил к учителю. Раз пять был я у него, а потом не стало пана Грицка — прогнали его со двора за то будто, что неучтиво

отозвался об ученике, назвав его своим именем... Так моя наука на том и кончилась. Давно то было, а помнить про нашего учителя пана Грицка буду до смерти...

У Ивана было такое чувство, будто он рано или поздно, а должен встретить, и именно в этих местах над Коврайцем, Григория Саввича, надо лишь уметь ждать; похожей судьбы, одинокие, они бы стали неразлучны, подружились бы и поведали друг другу свои сокровенные тайны. Иван жаждал такой встречи, словно одинокий путник глотка воды в пустыне. Были дни, когда казалось: вокруг ни света, ни воздуха, и он задыхался, но стоило прийти в воскресный день к дядьке Харитону, послушать его песни, посмотреть на девичьи игры и танцы — и становилось легче дышать, и жизнь казалась не такой безрадостной.

Вдоль берега, мимо высоких зарослей осоки Иван возвращался на поляну, к воспитаннику. Тот, успев очистить глечик, удобно разлегшись на мягкой полости, отдыхал и не помышлял о занятиях. Приходилось возвращаться домой.

А в доме госпожа Томара тотчас уводила ненаглядного сыночка на свою половину, не разрешая больше забивать ему голову учеными премудростями, приказывала казачку принести чего-нибудь, чтобы подкормить перед обедом измучившееся и, без сомнения, проголодавшееся чадо.

Аглая Семизаровна была твердо убеждена, что чрезмерное увлечение науками пагубным образом отражается на здоровье ребенка, у которого уже явно пробивались усы. На первых занятиях, не доверяя учителю, она присутствовала самолично, придиричливо следила, чтобы вопросы были не трудными, и, если находила их таковыми, позволяла ученику не отвечать.

— Вы сами ответьте, Иван Петрович, — мило улыбаясь, говорила Аглая Семизаровна.

Какую-нибудь простенькую задачу она считала путаной и неразрешимой и вообще — добавляла тут же, при сыне, — следует ли единственному наследнику Томары, предок которого еще при великом Богдане был купцом, отмеченным гетманскими милостями, стоит ли Васеньке решать какие-то никчемные задачки, ломать над ними голову, ведь как-никак со временем он станет наследником богатейшего имения, владельцем более тысячи крепостных душ, и, надо полагать, среди этих поселян найдется и какой-нибудь грамотей, он-то и станет решать эти задачки. Выходило, что науки сыну Томары и не нужны. Мужнина это затея, а она, несчастная мать, вынуждена подчиняться его причудам.

Посла каждого урока Аглая Семизаровна посылала Тараса к кухарке, та немедленно являлась и приносила ученику что-нибудь перекусить, после чего на следующем уроке он засыпал, и сердобольная матушка уводила его в опочивальню. Остальное время Аглая Семизаровна предлагала провести на воздухе, в саду например, посмотреть лебедей на пруду, ибо потом Васенька будет занят: ему надобно приготовиться к отъезду — завтра вся семья отбудет на званный обед к соседям.

Уроки превращались в настоящую пытку, прежде всего для учителя. Ничего подобного Котляревский не слышал и не видел. Не раз уже подумывал: не лучше ли



отказаться от места и уйти куда глаза глядят? Однако так сразу все оставить и уйти тоже не мог, ведь был договор с паном Томарой, по которому он должен пробыть в качестве учителя не менее года, хотя имел право и разорвать договор, если не представлялось возможным дальнейшее пребывание в доме. И все же прибегать к крайним мерам мешала прирожденная деликатность.

Но вот однажды Иван прочел ломоносовские стихи "О пользе стекла" и попросил откровенно зевавшего Томару вкратце передать их смысл. Аглая Семизаровна тотчас вмешалась, прервала урок, сказав, что уведет уставшего Васеньку к себе, — как-никак они уже третий час занимаются. Еле сдерживая себя, чтобы не наговорить резкостей, Иван тихим, слегка дрожащим голосом попросил госпожу этого не делать, подумал и добавил, что не позволит прерывать урок, тем более — уводить ученика невесть зачем.

— Как это не позволите? — удивилась Аглая, высоко подняв пшеничные брови; пухлое лицо ее немного вытянулось, а глаза, светлые, чуть навывкате, стали уже.

— Да-с, не позволю.

— Но помилуйте, сударь, почему?

— Потому, милостивая государыня, что распоряжаться на уроке может только учитель, урок же не закончен. А что касается усталости, то ученик не устал. Ведь так, Василий?

Барчук неопределенно пожал плечами и чуть заметно усмехнулся: мол, считайте как хотите, а его дело — сторона.

— Вот видите.

— Вы этого, сударь, не можете знать. — Аглаю начинала раздражать настойчивость учителя.

— Могу-с и даже очень, поелику я учитель и обязан о своем ученике знать все... — Иван сделал небольшую паузу, собрался с духом и заявил: — И вообще прошу вас, любезнейшая Аглая Семизаровна, не утруждайте себя больше, зачем вам присутствовать на уроках?

— Неужто мешаю?

— Увы. Вам, матери, этого, может быть, не понять, но поверьте моему опыту — ваше присутствие ничем не оправдано, понеже расслабляет учащегося, у которого и так не слишком большое рвение к наукам.

— Но помилуйте, сударь, я желала бы помочь вам...

— Никакой помощи я не прошу. Самая большая помощь ваша — не помогать мне. Поверьте, я говорю искренне, ибо всем сердцем желаю, чтобы занятия с вашим сыном принесли ему пользу и не были напрасной тратой драгоценного времени.

— Странно. До сих пор я присутствовала на Васенькиных уроках. Ведь никто лучше матери не знает способностей своего сына, — прослезилась Аглая Семизаровна. — Когда были у нас Харлампий Осипович и Савватий Сидорович, они разрешали, говорили, что это даже необходимо. Одному мужу почему-то не нравилось, но и его я убедила, а вот вы — против...

— У каждого своя метода. Возьмите, к примеру, лекарей. Один лекарь кровь

пускает, а другой предпочитает пиявки ставить. Лучше, разумеется, кровопускание. Не так ли? Согласитесь, это правда.

Иван напомнил госпоже Томаре то, что она хорошо знала и сама: довольно часто ей пускали кровь, а пиявок она не переносила.

— Но я прошу вас, — не сдавалась Аглая.

— Просить меня излишне. Должен добавить, милостивая государыня, хотя мне это и неприятно: ежели условия мои обременительны, я принужден буду просить об отставке. Не обессудьте, но иного выхода не вижу.

— Что вы, Иван Петрович, голубчик! Этого и подумать нельзя. Вас так хвалил отец Станиславский, с мужем они учились когда-то. И Васенька вас полюбил, он говорит, вы так смешно рассказываете, а я думаю, даже интересно, — пыталась польстить Аглая учителю, но Иван оставался непреклонным. — Я думала, вы добрее. — Полные, несколько измятые губы Аглаи капризно вздулись, в эту минуту она удивительно походила на свое чадо. — Но, Иван Петрович, сделайте милость, позвольте хотя бы иногда заходить. У Васеньки моего слабое здоровье, и ему полезно почаще и хотя бы понемножку подкрепляться.

— Здоровье его отменное, уверяю вас. У него только слишком много лени, тут он действительно болен.

— Вот и я говорю, болен, — не расслышав, подтвердила госпожа Томара. — Послушайте, что я скажу. Я согласна добавить вам жалованья от себя, только бы мы договорились. Муж ничего знать не будет...

— Благодарю вас покорно, но лишнего мне не надо. Я хотел бы оправдать то жалованье, которое получаю.

Нечего делать, пришлось Аглае уйти. Явно обиженная, шурша кринолинами, она выплыла из комнаты, со слезами на глазах поцеловав распухшего от пышек да кренделей своего недоросля, словно отдавала его на муки и терзания.

Аглая, однако, долго не выдержала и спустя полчаса, когда урок русской грамматики еще не окончился, послала кухарку с полной миской пирогов и засахаренных яблок. Иван Петрович, однако, Дарью не впустил и все отослал обратно. Вскоре учитель услышал: под дверью кто-то ходит, вздыхает, но не обращал внимания и делал вид, что ничего не случилось.

И все же госпожа Томара не успокоилась. На следующий день, в канун Нового года, едва Иван начал урок и продиктовал первые две фразы, как в комнату впорхнула господская племянница Мария. Бесцеремонно уселась в кресло и сразу же перешла к делу. Прежде всего ей необходимо знать, не желает ли Иван Петрович составить ей компанию в поездке в Золотоношу, она кое-что купит к Новому году, но сама вряд ли справится. По пути обратно они заедут к соседям, чтобы пригласить их на новогодний бал, который совпадает с днем ангела тетушки Аглаи.

— Что же вы стоите? Собирайтесь!

Иван Петрович не отвечал. Молча ждал, когда непрощенная гостья выговорится, отлично понимая, чья это выдумка. Мария между тем, едва окончив одно, сразу же

перешла к другому — тоже "безотлагательному делу". Почему Иван Петрович не показывается в гостиной вечерами, намерен привезли новое фортепиано — неужто его не интересует? Надобно опробовать инструмент, она споет, он сыграет — вот и будет сюрприз для тетушки в день ее ангела.

— Иван Петрович, отчего вы молчите? Или не слышите?

— Слышу, но что мне остается делать, ежели вы не дадите рта раскрыть?

— Я? — Мария удивилась было и прыснула: — А я... признаться, подумала, может, вы стали заикаться, как тогда — в Полтаве, — помните?

— Помню... Но я занимаюсь. Надеюсь, вы это заметили?

— Ах, бросьте! Скажите лучше, почему не гуляете вечерами в саду? Он так красив нынче. В снегу весь.

— Я занят, сударыня... Готовлюсь к урокам.

— Допустим. Но кто, скажите, ходил три дня тому назад в село? Заходил к некоему Харитону Груше. Кто бродил на прошлой неделе по лесу и, кажется, не один? С кем, если, разумеется, не тайна сие?

— Ежели вам донесли, где я ходил, то должны бы сказать и с кем.

— Прошу прощения, доносами не пользуюсь. По наитию сужу. И все-таки не понимаю, неужто общество этих поселян вам интереснее, чем общество людей благородного звания? О чем с ними говорить?

— Они — тоже люди, одной с нами христианской веры.

— И поэтому вы и его учите? — кивнула в сторону Тараса, тихо, как мышонок, сидевшего в уголке над раскрытой книгой. — Зачем ему? Казачком он и без грамоты справится, а с оной ему станет во сто крат труднее. Не знаю, кто сказал, но, помнится, есть такое изречение: много думать — плохо кончить.

— Сказавший оное был себе на уме, но не о нем речь. Грамота необходима всем, и казачку в том числе. В этом убежден.

— Ну, хорошо, хорошо. Вас не переспоришь. — Мария встала, рослая, крупная, с приглушенным блеском в чуть раскосых глазах, с вызывающе свежим румянцем на полном лице. — Так едем?

— А занятия? Как брошу?

— Я улажу. И вам, и воспитаннику отдохнуть пора. Новый год подходит. Соседей пригласим, я ведь говорила.

— Это каких же?

— Вы их должны помнить. Семена Гервасиевича и его воспитанницу, а мою подругу и тезку — Машу Голубович.

Точно так же, как сам пан Томара-старший, скрестив руки на груди и чуть снисходительно улыбаясь, она ждала.

Иван зачем-то поправил высунувшиеся белые манжеты рубашки, затем аккуратно и не торопясь сложил книги, бумаги.

— Ну что же... Занятий сегодня не будет и завтра, наверно, тоже, — объявил он спокойно, к великой радости молодого Томары.

Санки легко, как птица, неслись по снежной целине. Застоявшиеся кони мчали во весь дух, и слег со свистом вырывался из-под резных полозьев. Лаврин Груша умело правил лошадьми, держа вожжи в вытянутых руках и зорко следя за узкой полосой дороги между двумя рядами тополей.

Иван отдался быстрой езде и веселому беззаботному настроению. Оно появилось в тот самый момент, когда он уселся возле Марии в санки и Лаврин, гикнув на лошадей, пустил их рысью.

Иван шутил, рассказывая смешные анекдоты. Мария искренне смеялась, прижимаясь боком к нему, а на поворотах, когда санки заносило, обхватывала его обеими руками, вскрикивая, вот-вот готовая выпасть. Отстраниться он не мог и, слегка поддерживая ее, близко от себя видел рыхловатое с ямочками лицо и полузакрытые пушистыми ресницами зеленые глаза.

Если бы Мария знала истинную причину настроения учителя, она, возможно, вела бы себя несколько иначе, но она не могла этого знать. Она видела приятного, умного собеседника, с которым весело и легко. Он уморительно рассказывал свои истории, тепло смотрел на нее, и она не думала, из-за чего он так вдруг согласился ехать в Золотоношу. Раньше, сколько Мария помнит, он не находил времени прокатиться по первому снежку без кучера, сам, под разными предлогами отказывался: то ему надобно писать письма матушке и друзьям, то необходимо работать как раз в эту минуту, то ему нездоровится, простыл где-то... А сегодня стоило ей сказать, что едут они в Золотоношу, и он сразу согласился, отложил уроки; чуткая, наблюдательная, на этот раз она ошиблась, приписав такой успех исключительно своему обаянию, и, уверовав в это, чувствовала себя совершенно счастливой.

А дело было совсем в другом. Иван согласился прервать уроки и нынче ехал лишь потому, что самому хотелось побывать в соседнем хуторе и пригласить его обитателей на новогодний вечер. Семен Гервасиевич мог бы и остаться, не ехать, если бы вдруг у него появились особые обстоятельства, но в его доме живет еще один человек, а его-то Иван хотел бы видеть как можно чаще. Сердце его билось быстро и горячо при одной мысли, что он увидит ее, услышит голос, станет рядом, как тогда, на покров, в томаровском саду... За три прошедших месяца они встречались трижды. Первая встреча была скорее случайной, две последующие — не совсем.

В тот первый свой приезд в Коврай, на праздник покрова, Маша загостилась, пробыла целых шесть дней, и все это время Иван встречался с ней трижды на день — утром, днем за обедом и вечером за чайным столом. Если подсчитать, то встреч было немало, но поговорить с ней наедине не удавалось, за ними смотрели и, как ему казалось, следили. Только однажды, уже в день отъезда, случилось так, что они остались одни...

Гости ушли вперед, уже скрылись за деревьями головной аллеи, а Иван остался, загляделся на лебедей. Их было двое, белые — сплошные комья снега — и прекрасные, будто выплывшие из волшебной сказки. Иван медленно шел по берегу, достал

припасенный на этот случай кусок пирога, разломал его и бросил. Лебеди, не торопясь, с достоинством, выловили каждый кусок и ждали еще, вытягивая тонкие шеи.

— Боже, какое чудо! Не правда ли, пан учитель? — услышал позади себя и оглянулся. Маша? Ее, видно, задержало что-то в комнатах, и теперь она догоняла гостей, но не могла пройти мимо и остановилась. По главной аллее ушли все: Голубович — ее приемный отец, господа Томары, помещик из Золотоноши со своей раздобревшей супругой, Мария Томара в обществе поручика Никитенко, ехавшего из отпуска в полк по месту его зимних квартир.

Маша стояла чуть выше на берегу — тоненькая, с русой косой, выпущенной из-под меховой шапочки. Любуясь лебедями, она, казалось, позабыла об окружающем, не замечала также и учителя, не спускавшего с нее восхищенных глаз.

И вдруг спохватилась, вспыхнула:

— Что вы... смотрите?

— А нельзя?

— Ну конечно. Будто на мне что-то есть... И за столом вы так. Ведь могут заметить — и что подумают.

— Я вас обидел? Бога ради, простите, Мария Васильевна.

— Смешной вы... Зовите меня просто Машей. — Она подняла на него полные света глаза. — Вы меня не обидели, но не знаю почему, когда вы смотрите так, мне совестно... Вот снова.

— Больше не буду, хотя это и... трудно, почти невозможно.

— Почему же? — Маша смелее и с некоторым любопытством взглянула на молодого учителя, показавшегося ей в эту минуту каким-то смущенным.

— Потому что вы... что я... не могу не смотреть на вас. И вообще поймите меня. Можно ли, если есть глаза, не смотреть на цветущий, скажем, сад? Или вот на этих лебедей?..

— Но при чем же здесь я? — В глазах ее блеснули слезы.

— Вы плачете? — вскричал Иван. — Да пусть меня гром поразит, если я виноват, если еще раз посмею!.. Да пусть...

Маша испуганно протянула руку, затянутую в перчатку, словно пытаясь прервать речь учителя, но Иван схватил и прижал ее к губам, ощутив теплые, чуть шевельнувшиеся пальцы. Она не отняла руки и тихо, едва слышно прошептала:

— Не нужно так говорить... Не дай бог, беду накличете. — И неожиданно с какой-то милой лукавинкой спросила: — А вы, пан учитель, наверно, всем девушкам такое говорите?

— Кому же?

— Марии Томаре, например.

— Но смотрел-то я на вас, когда разговаривал с нею.

— Хитрец вы, пан учитель! — погрозила она пальчиком, обтянутым замшей.

— Что вы, Машенька! Я не умею хитрить.

— Рассказывайте... Однако сюда, кажется, направляются... — Она решила идти, но остановилась. — Иван Петрович, мне Мария рассказывала, что у вас книги есть, стихи. Могли бы вы мне дать? Мне совсем нечего читать. А вечера длинные.

— Я принесу вам.

— Что вы!.. Я ведь далеко живу.

— Не беда. Найду вас.

— Сегодня мы уезжаем... А книг-то вы мне, наверно, не хотите дать. Не придете вы.

— В следующее воскресенье буду... До свиданья!

— До свиданья! — Маша ушла, оставив его одного...

Задумавшись, он не замечал пристального взгляда Марии Томары и когда, почувствовав взгляд, очнулся, она отвела глаза. Впереди маячили раскачиваемые на ветру вербы и тополя; снег заносил дорогу, и она кое-где блестела, как зеркало, а в иных местах лошади тяжело грузили в свежем снегу; вырвавшись на чистое, снова устремляли свой бег.

— Где-то вы отсутствовали, Иван Петрович? О чем думали?

Иван мгновение сидел, полузакрыв глаза;

— Вспомнилось прошлое. Моя Полтава. Однажды, вот как сегодня, мы ехали с отцом и матерью в Решетиловку и потеряли дорогу, всю степь исколесили... На волков напоролись. Давно то было, а до сих пор помню.

— Замолчите, еще, чего доброго...

— Испугались? Да что вы! С вами едут два таких казака, один Лаврин чего стоит! Как ты, Лаврин, волков не побоишься?

— Да уж поглядим. — Лаврин повернул на мгновение раскрасневшееся на ветру лицо. — У меня на всяк случай топор с собой... Поглядим... А ну-ка, родненькие! — потянул к себе вожжи, и лошади рванули с новой силой. Мария на развилке невольно прижалась к Ивану, и он близко возле себя увидел зеленоватые настороженные глаза и вспомнил совсем другие — милые, дорогие...

Вторая их встреча состоялась ровно через неделю, как Иван и предполагал. Он рано ушел из дому, сказав, что завтракать со всеми не будет. Дарья, повариха, покормила его в людской, и он тотчас отправился в дорогу.

Почти все десять верст бежал. То перелеском, то чистым полем, то снова лесом. Бежал, не чувствуя под собой ног. Под мышкой держал книгу, которую отобрал еще накануне, а в кармане сюртука листки поэмы, над которой работал. Если Маша любит стихи, он ей прочтет и что-нибудь свое, спросит, что она думает о его работе.

Перед самым хутором отдышался и пошел тише. Как-то они встретятся и где? Да, где? Об этом он не думал и только теперь, находясь в полувёрсте от хутора, понял, что совершил грубую оплошность, не договорившись с Машей заранее. Пан Голубович, по рассказам, весьма своеобразный человек, вряд ли ждет такого гостя, как томаровский домашний учитель. Обойти же Семена Гервасиевича в его собственном доме почти невозможно, ему сразу доложат о появлении нового человека, не приехавшего, а прибежавшего сломя голову к его воспитаннице. У Маши могут быть неприятности, а

его самого вежливо попросят оставить дом, где к неожиданному визиту не готовились. Но о себе он не беспокоился, главное — Маша. Как же быть? Вернуться? Ни за что! Он подождет удобного случая и сообщит ей о своем приходе, даст знать о себе, найдет способ.

Из перелеска — редкого дубнячка, в котором Иван остановился передохнуть, — хорошо виден господский дом — одноэтажное здание с узкими окнами, большой верандой и башенкой. Он насчитал десять окон, глядевших в сад, в одно из них, может быть, сейчас смотрит и Маша, если бы он вышел из перелеска, она бы, несомненно, его увидела. Но кто поручится, что в соседнее окно не смотрит и кто-либо другой?

Нескладно получилось. Бежал, торопился, все бросил, Овидия притащил с собой и даже свои стихи захватил. Время идет, а ни одной живой души не видать. Хорошо еще — нет дождя, погода, к счастью, сухая, солнечная, можно и прогуляться по воздуху. Да, хорошо бы прогуляться, да не одному. Он снова вышел на опушку, внимательно осмотрел господский двор. Никого. Тихо. Лишь из трубы вьется прозрачный дым и тает в осеннем небе. Но вот кто-то вышел на крыльцо, постоял и... ушел обратно. Нет, снова появился, выкатил из-под навеса бричку и минуту спустя вывел лошадей. Одну запряг, потом другую. Попойкой покрыл сиденье и, усевшись на козлы, подкатил к крыльцу. Неужто Маша куда-то едет? Вот бы хорошо, он бы встретил ее на дороге. Но вместо Маши вышел сам Семен Гервасиевич. В зимней шубе, в высокой шапке, словно на дворе мороз, с помощью слуги уселся в бричку. Уезжает! Один! Счастливой вам дороги, любезнейший Семен Гервасиевич! Приятного вам гостеванья! Иван выдвинулся из леска, рискуя быть замеченным, нетерпеливо в мыслях подгонял кучера: скорее, братец, скорее подбери вожжи и убирайся со двора! Чего же ты медлишь? Экий ты, братец, тюлень! Я бы тебя и одного дня не держал в кучерах...

Между тем Голубович, видимо, передумав ехать, поднялся и стал выбираться из брички. Вот те на. Иван хотел закричать: куда же вы, черти бы вас побрали? Еще чего! Езжайте, если надумали! Голубович, приложив руку к глазам, посмотрел на солнце, обернулся и окинул взглядом лесок, словно почуял крик души стоявшего там человека, и, что-то сказав кучеру, поднялся на крыльцо. Кучер слез с козел и не торопясь стал распрягать лошадей.

Отчаявшись дожидаться кого-либо, Иван выбрал место под кустом и, собрав охапку сухих веток, присел отдохнуть. Что же делать? Может, вернуться? Или решиться и войти в дом? Придумать что-либо ради такого случая. Ну, например: "Не нужен ли вам учитель? Я слышал, вам нужен учитель для сыновей?" — "А почему вы уходите от пана Томары?" — "Есть причины, любезнейший Семен Гервасиевич. Я расскажу вам как-нибудь". — "Хорошо, оставайтесь, только платить я буду меньше". — "Я согласен. Мне у вас подходит".

Все это Иван повторял несколько раз, не решаясь, однако, двинуться с места. И когда уже, отчаявшись что-нибудь придумать, собрался уходить, послышалась музыка: мелодичный звук скрипки, погуще — басоли и веселый перестук бубна. Конечно же там, где музыка, там скоро будут парубки и девчата, а потом последуют танцы, песни,

игры.

Ах, что ему до чужого веселья! Пусть танцуют себе на здоровье. И все же выглянул из-за укрытия, увидел всю поляну как на ладони и... засмотрелся.

Шагах в ста от опушки небольшой пестрой стайкой стояли сельские девушки в праздничных уборах, с лентами в косах; в другом конце поляны чинно беседовали, изредка дружески подталкивая друг друга, парубки, тоже в праздничной одежде — свитках наопашку, шапках-чумарках. Троистая музыка разместилась в сторонке.

Первым начал скрипач — средних лет поселянин с черными свисающими усами на худом лице. Чарующая мелодия на мотивы народных песен отозвалась в каждом сердце, в ее тихое раздольное течение внезапно ворвался более густой, но мягкий звук басоли, которой искусно владел крестьянин чуть помоложе, в длинном, ниже колен, жупане. Звук басоли сначала как бы растворился в скрипичной теме и тут же отчетливо выделился в самостоятельный мотив, хотя он несколько не мешал скрипке, а дополнял, подчеркивая ее силу и звучание. И тотчас в такт басоли грянул бубен. В руках молодого хлопца, лихо сбившего набок высокую смушковую шапку, бубен был как живой, переворачивался туда и сюда, звенел, позвякивал всеми серебристыми листочками, вделанными в специальные отверстия на краях его, веселый, беззаботный, переходящий то в дробь то в сплошной звон, однако бубен несколько не заглушал ни скрипки, ни басоли, а был в полном с ними согласии, и поэтому казалось, что троистая музыка слилась в один организм, мощно, едино звучащий, без намека на что-то лишнее, какую-то фальшь.

Мелодия властно, неудержимо позвала к танцу, и стоявшие на полянке девушки и хлопцы тотчас вышли на середину и, взявшись за руки, повели круг — друг за дружкой, медленно, плавно, исподволь набирая темп... Незаметно меняется тонкое плетение танца — и появляются удивительной красоты полукружья и круги. Пары танцуют легко, непринужденно, словно парят в воздухе, будто их несут невидимые крылья. Девушки вяжут парубкам на руки расшитые платки, и те горделиво прохаживаются по кругу, похваляясь подарками. Но тут оказывается, что девушки тоже имеют точно такие же платочки, каждая из них запасла и себе, и хлопцу.

Темп музыки нарастает, и это словно подхлестывает танцоров, они пляшут упоенно, неумоимо, образуя то большой круг, то вытягиваясь в ручеек. При каждом движении у девушек развеваются белые льняные сорочки с широкими рукавами, которые собраны немного ниже локтя. Выделяются вышивки на рукавах, подоле, воротничке. Поверх сорочек у каждой девушки плахта, у одной — синяя, у других — темно-вишневые и тоже вышитые понизу — на правой стороне; из-под плахты виднеется низ сорочки. На каждой девичьей шее — бусы. Только у первой, ведущей за собой весь круг, и бус больше, и одета она как-то иначе — может, изысканнее.

Но Иван уже смотрит на хлопцев. У них широкие темно-зеленые и синие шаровары, словно вихрь, кружат они перед глазами. Сапоги дружно утрамбовывают точок.

Но вот скрипач подал сигнал — и круг остановился, последнюю ноту пропела скрипка, затих и бубен.



Иван только теперь обратил внимание, что на полянке собралось много молодежи, пришли люди и постарше. Когда танец закончился, собравшиеся нестройно заговорили, зашумели. Между тем перед музыкантами остановился седоусый казак. Оглянувшись, словно приглашая желающих присоединиться к нему, орлиным взглядом обвел поляну:

— А ну-мо, хлопцы, сыграйте мою, чтоб и чертям жарко стало? — И топнул чеботами так, что казалось, земля задрожала. Видно, все тут знали, на что способен седоусый, потому что сразу расступились и круг стал шире. Музыка дружно заиграла, бубен зашелся в задорной дробе. Казак притопнул ногой и мощным низковатым голосом пропел:

Тепер мені не до солі,  
Коли грають на басолі...

Ударил каблуком один раз, еще раз — и пустился в пляс, в такт музыке приговаривая:

Он, одягну стару свиту  
Та й піду гулять по світу,  
А ви грайте, музики,  
Буду бити черевики!  
Ой гоп-гопака,  
Ушкваримо гайдука!  
Та з тією молодією,  
Що поморгує бровою...

И пошел выделявать такие коленца, что не только пожилые, но и молодые восхищенно повторяли:

— Вот так! Вот так, дядько Гераська!

— Ну и чешет!

А он обошел несколько кругов и закончил тем, чем начинал:

Тепер мені не до солі,  
Коли грають на басолі...

Иван уже давно вышел из укрытия и во все глаза смотрел и слушал, как поет и танцует старый казак, который, казалось, не знал и не знает усталости. Такого он еще не видел, не слышал. Он еще стоял бы и смотрел, как вдруг одна из девушек отошла от своих товаров и приблизилась:

— Иван Петрович?!

От неожиданности вздрогнул. Маша? В плахте, корсетке, на плечи накинут теплый платок. Он узнал в ней ту самую девушку, что вела круг, что шла первой, но не мог подумать, что это Маша, не мог представить этого.

— Вы? — только и смог сказать, совершенно позабыв, где он и что с ним творится.

— Не узнаете? Плохой стала? — Лукавые искорки замерцали в глазах.

— Узнал. И все видел.

— Что? Как я танцевала с нашими дворовыми?

— Чудесный танец, божественный, я такого не видал.

— Это кружала... Но неужто заметили, как я танцевала? — Девушка зарделась. — И не стыдно подглядывать?

— Случайно... И не жалею. Вы прекрасно танцуете, бесподобно. Я всю жизнь смотрел бы.

— Не кричите так... На нас смотрят.

— Отойдем. Я вам книжку принес. Овидия.

— Неужто?... Не забыли обещания? — Маша с благодарностью взглянула на взволнованного томаровского учителя.

Они отходили все дальше и дальше, в глубь перелеска, остались позади малорослые кустики калины, усыпанные алыми ягодами, посадки вдоль овражка, идущего к блестящему вдаль синей каймой Супою.

— Вы меня не ждали? Не поверили, что приду к вам?

Маша, глядя себе под ноги, обходила ямки и пеньки и не отвечала.

— Вы не отвечаете? Не хотите говорить?

— Боже, какой вы нетерпеливый... Все сразу хотите знать.

— Очень хочу.

— Но я ничего не знаю, — ответила простосердечно Маша, ее смуглое, не утратившее детского овала лицо выражало неподдельное сожаление. — Поверьте, Иван Петрович, я в самом деле ничего не знаю... Вы, например, о себе не рассказываете.

— Ах, простите, Машенька... Ради бога, простите. Но что рассказывать? Все очень просто. Я домашний учитель. Я был семинаристом, потом служил в Новороссийской канцелярии. Да, в Полтаве. Там у нас дом свой, мать в нем живет. Небольшой, правда, дом, но жить можно. Дедовский еще. На хорошем месте стоит. За Успенским собором. Будете когда-нибудь, посмотрите...

— Вы меня не поняли. Я не о том спрашиваю, — смутились Маша, щеки ее стали темно-пунцовыми. — Совсем не о том... Я не знаю, какой вы... Может, вы смеетесь надо мной? И так смотрите. Мне совестно... А вдруг нас увидят?

— Кто нас увидит? Но если и так, то что же в том плохого?

— Вы не знаете моего дядюшку. Он строг. Ему расскажут, и меня за порог не выпустят... Как мы потом встретимся?

— Я поговорю с ним. Хорошо? Вы разрешите?

— О чем? — испуганно спросила Маша.

— Я скажу ему... Я спрошу у него... может, ему учитель надобен?

— Надобен! Но он хотел найти человека скромного, тихого.

— Тогда я не подойду. По вашему мнению, я нескромен?

— Немножко есть, — ответила Маша, усмехнувшись. — Но если бы меня спросили совета, я бы сказала: можно вас пригласить... с испытательным сроком, разумеется.

— Чем я заслужил такое недоверие? Я вас обидел?

— Вовсе нет... И все же у вас есть тайны... Признайтесь, есть?

— Помилуй бог, какие?

— Я знаю, вы сочиняете.

— Да, — как-то неуверенно проговорил Иван. — Но кто вам сказал?

— Томара рассказывала. Ей вы читаете, а мне...

— Ничего я не читал ей. А вам хотел прочесть. Но откуда она знает?.. Ах да, от поселян, им я кое-что читал. Вот и разнеслось.

— Забудем об этом. Бог с ней... Прочтите, прошу вас. Вот здесь постоим, а вы читайте.

Они остановились возле большой, с поникшими ветвями вербы. Отсюда никто их не видел. Они же могли видеть весь хутор и заречные луга, расстилавшиеся до самого горизонта.

— Хорошо. — Иван достал из внутреннего кармана несколько листов. — Одно прошу — не взыщите, здесь только начало...

— Так и быть, приступайте.

Он начал читать. Сначала робко, волнуясь, едва слышно, но постепенно вошел в роль, умело стал оттенять голосом авторскую речь и речь героев.

Маша надеялась услышать обычные вирши бродячих бурсаков, каким поначалу представлялся ей и томаровский учитель, но тут было что-то другое, во всяком случае, на бурсацкие произведения — помесь старорусских и местных речений с претензией на так называемый высокий стиль классических од — не было и намека. Она услышала живую разговорную речь, удивилась, затихла, исчезла с лица ироническая улыбка; она разволновалась и недоверчиво, тихо, словно боясь произнести вслух это слово, спросила:

— На малороссийском?

Иван прервал чтение:

— Вы не одобряете?

— Напротив! Очень рада! Ведь это... ведь это наш родной язык!

— Да, вы правы, Маша, это наш украинский язык.

— Матушка моя, когда была жива, и отец мой, когда-то он был сотником в Чигирине, и мой дядюшка, и все-все говорят так, как вы... как вот написаны эти строчки... Читайте же!

Иван развернул еще один листок. Маша, затаив дыхание, прижав руки к груди, слушала и, по мере чтения, беззвучно, еле сдерживаясь, смеялась. Когда Иван подошел к месту, где говорилось о пребывании Энея у Дидоны, он остановился и сказал:

— Здесь у меня не закончено... И знаете, сегодня, когда увидел танец этого казака... сложились строчки.

— Это Герасим Свербиус танцевал.

— Я обязательно напишу здесь так: "І "не до солі" примовлявши, садив крутенько гайдука".

— Складно. А дальше?

— Все пока.

— Жаль. — Маша приблизилась. Стала совсем близко. — Вы обязательно продолжайте. Интересно, что же будет дальше с вашим героем?

— Пока я и сам не все знаю... Но обещаю: в следующий раз прочитаю вам продолжение.

— Когда же? — вырвалось у Маши. — И можно ли переписать? Я бы читала... И вообще.

Иван взял Машу за руки, чуть пожал их.

— Обещаю, но чуть позже, надо еще поработать.

— Спасибо! — Она робко ответила на пожатие.

— Если бы вы знали, Машенька, как важно то, что вы сказали нынче. Я словно родился снова. Вы вдохнули в меня жизнь. Я знаю, зачем живу, во имя чего живу. Я буду продолжать, если это так важно...

— Конечно! — горячо сказала девушка. — Очень важно! До сих пор я не видела ни одной книги на нашем родном языке. Ведь так его можно и забыть. Правда?

— Святая правда! — Иван не отпускал ее рук. — Машенька, если б вы знали, как я соскучился... Как мучительно не видеть вас. — Иван осторожно привлек девушку к себе. — Когда я снова увижу вас?

— Не знаю, — пролепетала Маша. — Вы далеко от нас. А скоро — зима. Если б где-нибудь... вы жили ближе.

Она умоляюще и ласково смотрела на Ивана, не отводила его руки и, понимая, что нравится ему, волновалась, становясь от этого еще привлекательней. В это время в леску послышались чьи-то торопливые шаги. Маша испуганно отстранилась:

— Сюда идут! Наверно, меня ищут. Прощайте, Иван Петрович! И... приходите! Я буду ждать!

Маша побежала. Между деревьями замелькали ее плахта, платок, сапожки, Иван смотрел, как она бежит, как тяжело колышется коса на корсетке.

— Машенька! — позвал он тихо. — Обернитесь! Пожалуйста!

Будто услышав его зов, она обернулась, кивнула ему и тут же скрылась за деревьями.

Так Иван Петрович встретился с Машей второй раз...

Он смотрел на заснеженные деревья вдоль дороги, на смутное, плывущее в белом тумане солнце, но видел только ее глаза, ее лицо, ее улыбку, то радостную, то смущенную, но бесконечно дорожую.

Помнил, как бежал в тот день обратно в Коврай, как ничего вокруг, кроме нее одной, не видел. А потом у себя в комнате, отставив ужин, принесенный предусмотрительной Дарьей, достал нарезанные листки бумаги и стал записывать все, что видел в хуторе: и танец, и песню, услышанную от старого казака Свербиуса, исписанные листки перечитал, исправил неточности и принялся писать снова.

Он потерял счет времени, не заметил, как в комнате стало сумеречно, потом и совсем темно, он писал, пока буквы не стали наползать друг на дружку, только тогда зажег свечи. Он не вышел в гостиную, не вышел и к ужину, сказавшись больным, и все

писал и писал, писал до самого утра и лишь под утро, уставший и радостный от сознания, что совершил в эту ночь, уснул не раздеваясь. В понедельник — впервые за все месяцы в доме Томары — опоздал к уроку...

— Иван Петрович, что с вами? Вы что? Сочиняете? На ходу?

Услышав обращенный к себе вопрос, Иван очнулся. Увидел рядом сидящую в санках Марию — только не ту, с которой только что разговаривал.

— Сочиняю? — переспросил он, вспомнив разговор с Марией Голубович. — А вы откуда знаете?

— Откуда? Да это давно не секрет. В Коврае все знают об этом. Впрочем, поселяне узнали раньше нас.

— То, что я пишу, вам все равно не интересно.

— Напротив, очень даже интересно... Что может написать домашний учитель в нашем Коврае? — Мария явно насмеялась, а ему не хотелось отвечать, у него хорошее настроение: как-никак он еще сегодня увидит Машу. Зачем же сердиться, обижаться на мелкие уколы? Пусть себе потешится.

— Тогда погодите, почитаю, вы увидите, что можно кое-что написать и в Коврае, — в тон ей сказал он.

— Иван Петрович, а вы не ответили, с кем однажды гуляли в леску? — спросила вдруг Мария.

И он вспомнил третью встречу. Маша возвращалась тогда из соседнего села, куда ездила за лекарем для дядюшки, и совершенно случайно увидала его.

Они были вдвоем недолго, может, всего десять минут, и перекинулись-то всего несколькими фразами, он не хотел задерживать ее — в санках сидел лекарь и она торопилась. Он был рад ей, она тоже. Маша сказала, что все время ждала его, а он почему-то не приходил. Он обещал прийти. Хотел добавить еще, что если бы мог, то обязательно поселился где-то рядом с ней, чтобы видеть ее каждый день, говорить с ней, поверять ей свои думы и мечты. Но неподалеку стояли санки, а в них — лекарь, где-то ждал больной. Иван успел лишь сказать, что, как только у него будет свободный день, он придет. Видимо, кто-то и видел их тогда. Об этом и говорит нынче томаровская племянница. Не может забыть почему-то...

Золотоноша не заняла много времени. Мария сложила в санки свои покупки, и они тотчас тронулись в обратный путь.

Иван не захотел задерживаться у знакомых Марии, где их оставляли отобедать, наотрез отказался от ночлега, и Мария вынуждена была согласиться. Он все поторапливал Лаврина, хотя тот и так подстегивал лошадей, не давая им ни минуты передышки.

Мария молча наблюдала за учителем и почему-то загадочно усмехалась. Он заметил эту улыбку и спросил, что она означает.

— А вы не догадываетесь?

— Ни малейшего понятия.

— Знаете, кто выдумал эту поездку? Мне, думаете, нужны игрушки?

— Догадываюсь, — ответил Иван спокойно. Ему не стоило особого труда догадаться, и теперь не удивился признанию Мария. Конечно, это придумала госпожа Томара ради своего чада. А он бы, разумеется, не поехал, если бы не заманчивое предложение побывать у Голубовичей.

Мария кивнула:

— Но это еще не все, сударь.

— Что же еще?

— Нам никто не поручал приглашать Голубовичей. И мы к ним не заедем. И день ангела тетушки будет чуть позже, кажется, не то в июне, не то в августе, — весело рассмеялась Мария. — Извините, запомнела.

— Да, смешно, — сказал Иван. — Очень смешно. Впрочем, что ж, как говорят у нас в Полтаве, дело хозяйское.

И, закрывшись полостью поплотнее, откинулся назад и замолчал. Мария обращалась к нему еще с каким-то вопросом — он отмалчивался. Вот, значит, как с ним можно поступать. Ни стыда у них, ни совести. Лучше бы встать и пойти пешком, только бы не сидеть рядом с этой слишком развеселившейся девицей.

Мария вдруг, прислонясь к Ивану, прошептала:

— Почему вы такой... холодный? Ну разве так можно? Вы же не слепой, надеюсь?

Иван насмешливо покосился на ее капризно припухлые губы.

— Вы угадали, сударыня... Домашнему учителю иным быть не позволено. Он должен быть и слепой, и холодный. Над ним еще можно и посмеяться, не приняв в расчет, что он тоже человек и что у него есть честь, совесть... Все можно тем, кто платит. Однако, сударыня, над душой-то вы не вольны... Лаврин!

— Слушаю, пан учитель, — обернулся кучер.

— Останови!

— Что вы, Иван Петрович! Я прошу вас, это ведь шутка.

— И я так думаю. Но мне, пожалуй, лучше пройтись... Замерз я. Пробежусь и согреюсь... Погоняй, Лаврин!

Иван остался на дороге. Санки умчались мимо придорожных посадок.

Гудели тополя, плыли над ними белые разорванные облака, мельтешил снежок, красноватый в лучах предвечернего солнца. Впереди был ненавистный Коврай, ненавистный дом и эти лощенные, раздобревшие господа, а чуть в стороне, за перелеском, угадывался хуторок — небольшой, почти не приметный в степи. Как хотелось Ивану уйти туда сейчас же, бросив опостылевшую работу с томаровским недорослем. Но примут ли его там? Может быть, Голубович уже нашел учителя для своих ребятишек — скромного, тихого?

Иван еще раз обернулся, еще раз посмотрел на лесок, за которым скрывался хутор Голубовича. И зашагал к Ковраю. Ветер бил в лицо, а он шел и шел...

Вот и Новый год пожаловал. С елками, щедривками, новогодними играми и песнями. У каждого своя радость, свои надежды, только одной Маше невесело. Одной

— в огромном доме.

Весь день и вечер была сама не своя, места не находила. Всякий раз ее тянуло во двор, она выходила и подолгу простаивала на крыльце.

Звонкая, необычно светлая ночь плыла над барским домом. Где-то в хуторе пели "Щедрик-ведрик", а кто-то тянул "Ой не шуми, луже", плакал, жалуясь, ребенок. Маша зябко куталась в платок, наброшенный поверх теплого суконного шушуна, тихонько и кротко вздыхала.

В последний раз выбежала перед тем, как сесть за новогодний стол. Вот-вот должен был выйти из своей половины дядюшка с приехавшим в гости дальним родственником Харлампием Антоновичем Семикопом. Уже второй раз приезжает пан Семикоп. Первый раз был месяц тому назад. И вот — снова приехал. Очень он неприятный, у него какие-то масляные глаза и холодные руки с проступающими на них синими прожилками. Когда, здороваясь, он коснулся ее руки, Маша вздрогнула, невольно отстранилась, а в душе что-то перевернулось, он же усмехнулся, будто жест девушки был ему приятен.

Маша удивлялась умному, рассудительному дяде Семену; что с ним творится, почему приглашает этого человека — тошнотворного, льстивого, со сладеньким голоском? Что-то, вероятно, случилось. Дядюшка, несомненно, имел какие-то свои, неведомые пока Маше виды. Однажды — недели две тому назад — за обедом он сказал, что такими людьми, как пан Харламбий, брезговать накладно. У него почти триста душ и пятьсот десятин пахотной земли, к тому же большой сад при доме и лесу немало, который нынче в хорошей цене. Вот ему, Голубовичу, как раз лес нужен, родственник будто бы обещал десятин пять соснячка — хватило бы и построиться, и кое-какой запасаец сделать.

Слушая, Маша удивлялась: какое все это имеет отношение к ней, почему дядюшка рассказывает ей об этом, словно просит поддержки? Он ничего тогда вразумительного не ответил, вздохнул и, лишь допив добрый кубок сливянки, сказал:

— Молода еще. А старше станешь, душа моя, все поймешь.

И весь ответ. Думай что хочешь.

Маша продрогла, но идти в дом не хотела, не могла видеть глаза, Подернутые масляной пленкой, сухое желтоватое лицо. А сначала даже жалела его: вдовец, никого близкого в доме, некому и слово молвить, кругом — один стены.

А ведь это, наверно, ужасно: жить одному в неуютном доме. Именно таким Маша представляла себе дом пана Семикопы, и сердце ее сжималось от жалости. Сирота, не знавшая материнской ласки, она очень чувствительно относилась к чужому одиночеству, воспринимала его как свое собственное. Одинокому, по ее разумению, ничего не мило, его не радуют ни цветы, ни пенье птиц, ни ранний восход, и весь белый свет для него — сплошная серая пустыня...

Но, боже мой, чем она может помочь этому человеку? Ведь она сама, но существу, очень одинока и слаба, у нее нет ни матери, ни отца, ни брата, ни сестры родной. На всем свете один дядюшка, вырастивший и воспитавший ее, как свою дочь, да еще...

учитель, Иван Петрович. В нем, в учителе, она угадывала — ей подсказывало сердце — того человека, который не задумываясь мог бы, в случае необходимости, постоять за нее, поддержать в беде. Этому открытию она втайне радовалась и боялась: а вдруг дядюшке станет известно об их отношениях? Семен Гервасиевич — человек добрый и даже чувствительный, но что ему стоит обидеть учителя, который для него — слуга, и только. Об этом ужасно подумать, а к каким бы привело последствиям, даже предугадать трудно.

Что же касается пана Семикоп, то она ничем, абсолютно ничем не могла помочь ему. А он все ездит, с сердечным содроганием Маша признавалась себе: неспроста зачастил пан Семикоп, неспроста возит дядюшке дорогие подарки. Вот и нынче подарил ему рысака из собственной конюшни.

Дядюшка, старинный лошади, вспомнил прошлое — несколько лет прослужил когда-то в кавалерии — и прослезился, обнял родственника, увел к себе, а Маше сказал:

— Ты бы, душа моя, поухаживала за одиноким человеком. Скрась наше мужское общество.

Они вот-вот сядут за стол, и она обязана "украшать его", должна слушать неуклюжие, приторно-сладкие комплименты, от которых воротит. Боже, как тяжело! Но что делать? И дядюшку не хочется обидеть.

А время уходит. Тонко, едва слышно звенит ночь. Трещат во дворах плетни на морозе. Где-то щедруют. А из Коврая никого нет. Мария, подруга, обещала пригласить на Новый год, но, верно, передумала, не вспомнила. Где же ей вспомнить бедную сироту. Сидит рядом с учителем и воркует с ним... Он тоже хорош. Обещал приехать и забыл. Неужто забыл? Нет! Он помнит. Он не забыл! Если же не приехал, значит, не смог, не сумел...

Маша кутается в шушун, в теплый платок, смотрит и смотрит на заснеженную дорогу: а вдруг зазвенит колокольчик, из ночной белой мглы выбегут санки с резным облучком, запряженные парой лихих коней, и он — ее добрый, хороший человек — будет в санках. Он окликнет ее — и она все оставит и побежит, сядет с ним рядом — и поминай как звали Машу Голубович, уедут они встречать Новый год в Коврай. А может, и в другое место. Она поедет, куда ему захочется. Но нет его. Нет! А время идет.

Скоро, скоро позовут к столу, вот только большие часы в гостиной пробьют половину двенадцатого. Да, уже зовут. Надо идти. Снежок застыл на ресницах серебристыми звездами. В комнате он тает. От этого Маша кажется еще краше, в белом платье, с большой косой и полными слез глазами.

— Садись, душа моя!

Дядюшка показывает место между собой и гостем. А мальчики — Костя и Саша — сидят по другую сторону; в конце стола — управляющий с женой: чинные, важные герр Ганс и Гертруда.

Гость наклоняется к Маше, что-то шепчет, она непонимающе смотрит на него и не



слышит: ей кажется, где-то прошуршали сани, зазвенел поддужный колоколец, она готова вскочить и бежать в одном платье на крыльцо, за ворота. Но это всего лишь ветка коснулась окна, и стекло зазвенело, как железное...

Вечер — при свечах и елке — тянется слишком медленно, такое чувство, будто ему не будет конца. Но надо терпеть. И Маша терпит. Пьет мелкими глоточками сливянку, только бы не просили, не настаивали, чтобы она выпила всю рюмку. Вымученно усмехается в ответ на восхищенный возглас гостя и... не выдерживает. Гость касается ее руки, чуть притягивает к себе, чтобы сказать, как она удивительно мила сегодня. Он пьян, от него несет вином. Задрожав, Маша порывисто встает:

— Я нездорова... Наверно, простыла... Простите, ради бога! Я уйду...

Поспешно выходит из-за стола. Дядюшка, у которого от выпитого красные пятна на лице, гость с холодными руками, немцы — все что-то говорят, выражают сожаление, а она ничего не слышит, торопится, бежит в свою девичью комнату, становится у окна: а вдруг он здесь уже, опоздал и стоит где-нибудь под снежным сугробом и ждет ее, не может дождаться?

Но за окном — белая пустынная ночь, полная таинственности и неизвестности. Она срывает с себя платье, надевает простенькое, темное и садится к столу. Вот сейчас бы налить воды в миску и растопить воск и погадать: что несет ей завтрашний день, что сулит Новый год?.. Она достает уже мисочку из подзеркальника и сразу же торопливо ставит на место: кто-то идет, слышатся тяжелые шаркающие шаги. Дядюшка! Слава богу, что не тот — ненавистный, с холодными, как лед, руками и такими же глазами — она заметила в последнюю минуту, как они сменяли окраску, мгновенно заledenели.

Маша срывает покрывало и забирается в постель в чем была. Едва успевает прикрыть себя, как дверь открывается. В просвете колышется грузная фигура дядюшки.

— Что с тобой, дитя мое?

От дяди ничего не скроешь, и все же она твердит, что захворала, ее трясет, знобит.

— Плохо, дитя мое... Стол без тебя пуст. Что мне эти немцы?

— А пан Семикоп?

— И он, пожалуй... Хотя и родственник.

— Зачем же вы его приглашали?

— Тут, душа моя, свой резон... Он богат, богаче нас с тобой. Да что мы — во всем уезде нет нынче богаче пана Семикоп. Поля одного сколько! А лесов — за день не объедешь. Не говорю уже о конном заводе. Поглядеть — душу отдашь. Да, богат, очень богат наш милейший пан Семикоп...

— Зачем нам богатство? Нам и так хорошо.

— Молода, ах молода еще... Ну, хорошо, он пока не будет к нам ездить... Подрастешь — станешь разумнее. Поймешь, где твое счастье.

— Я такая несчастная. И Костя, и Саша тоже, — всхлипнула вдруг Маша, все поняв, зачем ездит и чего добивается пан Семикоп.

— Саша и Костя? Да что стряслось такое? — всполошился Голубович.

— Вот я так мало училась. А Костя с Сашей — и того меньше. Растут темные. А господа Томары учат своего сына, ничего не жалеют.

— Ты права, душа моя... Но где взять учителя? Их так просто не Сыщешь. Прощелыгу какого-нибудь пригласить в дом — себе дороже.

— Вы спросите томаровского учителя. Я слышала, он уйти от них хочет. Очень трудно у пана Томары. Сын не желает учиться, а госпожа мешает.

— Так и обидеть недолго. А ты знаешь, кто такие паны Томары. Ге-ге, на все пойдут, чтобы своего добиться.

— Какая же тут обида, дядюшка, если сам учитель собирается уйти от них? А мы не хуже коврайских господ.

— Это ты правду сказала. Не хуже. Конечно, не хуже... Но нет, ничего не выйдет.

— Значит, вы не любите меня совсем.

Голубович удивленно приподнял бровь, осторожно кашлянул:

— Ты укройся, я принесу тебе питье. — И вышел.

Маша укрылась с головой, потом решительно отбросила одеяло: пусть простужусь, пусть умру!..

В комнату снова вошел Семен Гervасиевич:

— Что с тобой? Так не годится. У тебя тут и так прохладно. На вот, попей... А что касается поездки к Томаре, то, надо полагать, поеду я на следующей неделе.

— Правда? И мы все будем учиться?

— Да я еще от роду не брехал, душа моя, зачем обижаешь старика?

— Дядюшка! Какой вы хороший! — Маша вскочила, позабыв, что недомогает и к тому же у нее озноб, чмокнула дядюшку в щеку и в седой ус. Старик прослезился, не придав особого значения перемене в настроении воспитанницы. Однако строго приказал лежать, не выходить, он пришлет с ключницей какой-то особый напиток, настоящий им лично на травах и меду. А пройдет время, и он все сделает для Маши, лишь бы здорова была.

Дядюшка ушел. Маша вскочила, но, услышав торопливые шаги ключницы, снова легла.

10

Иван приготовился идти в классную комнату, как вдруг постучали. Осторожно, просительно. Так стучит только Тарас или кто-либо из дворовых. Он отворил дверь и лицом к лицу столкнулся с кухаркой Дарьей. Она отступила в темный коридор, и поэтому Иван не мог рассмотреть ее заплаканных глаз.

— Что так рано?

Дарья всхлипнула. Еще ни разу он не видел эту женщину плачущей. Молодая и здоровая, она работала за троих, варила и для многочисленной дворни, и для господского стола и никогда не жаловалась, ей лишь изредка помогали сами дворовые: один нарубит дров, другой принесет воды, остальное она успевала сама.

— Пан учитель!.. Пан учитель!..

— Да что же? Говори!

Причитая, негромко, полупшепотом, стараясь заглушить вырывавшийся из груди крик, Дарья рассказала, что вчера вечером барчук велел казачку Тарасу порешать вместо него задачки и переписать из книги чего-то, а сам ушел в людскую, к девчатам. Тарас как ни старался, а не успел сделать задание полностью, и за то пан Василь велел отправить казачка на конюшню и отдать в руки конюхам. Вчера там был Лаврин Груша, а он — "сами знаете какой добрый, мухи не тронет". Лаврин, известное дело, не стал хлопца бить, а поговорил с ним, угостил яблоками и отпустил. Про то дозналась Фроська — панская угодница, та самая, что старому пану прислуживает по утрам, она-то и донесла все как было. Барчук будто взбесился, выволок из чулана хлопца и побил его, да так страшно, что бедное дитя лежит без сознания. А Лаврина за то, что панского приказа не исполнил, в солдаты отдадут. Забирают у старого Харитона его опору и свет.

Сильная духом, не знавшая страха и усталости, женщина плакала навзрыд. Иван знал, что Дарья очень добрая, жалела всех, особенно сердечно относилась к сироте — казачку Тарасу, прикармливала его, могла испечь для него что-нибудь отдельно, стирала ему и шила — и все успевала. Тарасик тоже привязался к Дарье. Не знавший материнской ласки, он тянулся к ней, каждую свободную минутку бежал на кухню, рассказывал, чему он уже научился, показывал, как пишет, и Дарья радовалась вместе с ним.

Лаврина она отмечала тоже, именно он помогал ей, никогда не отказывал, если его просили о помощи. Весь двор любил Лаврина Грушу — веселого, доброго, сильного. И он к каждому относился дружески, только Фроську обходил, не мог выносить ее и не скрывал этого. Фроська же питала к молодому кучеру сердечную слабость и, жестоко страдая из-за его равнодушия, решила отомстить, ждала удобного случая, стерегла его. Такой случай представился, и она тотчас воспользовалась им: донесла, что Лаврин не выполнил господского приказа, обманул паныча, посмел ослушаться, отпустил провинившегося казачка, что каралось наравне с проступком.

— Одна надежда, пан учитель, на вас; — прошептала Дарья.

— Иду! Иду!

Иван торопился, зачем-то надел сюртук, хотя Томара находился в том же доме, во второй половине, повязал шейный платок. Дарья незаметно, когда Иван повернулся, чтобы идти, перекрестила его;

— Помоги, господи!

Иван шел, не замечая ни дворовых, испуганно жавшихся по углам, не обратил внимания и на мелькнувшее в коридоре острое личико Фроськи, не заметил и сидевшего в гостиной пана Голубовича, приехавшего рано утром и дожидавшегося, пока Томара выйдет из опочивальни. Иван прошел прямо к пану, хотя известно было, что по утрам к нему не пускают. Камердинер, дядька Игнат, попытался было остановить учителя, но тот оттеснил его и вошел в господскую опочивальню.

Томара был один, он никого не ожидал в этот час и удивленно уставился на вошедшего, затем недовольно повел бровью и принялся за утреннюю трапезу, которую

обычно совершал сам, в полном одиночестве.

На столе, прямо у кровати, в кубках играли сливянка, мед, брага в глечике, в черной бутылке — запеканка, а на тарелках возлежали свиная голова под хреном, индюк с подливой; Фроська, шмыгнув мимо учителя, внесла лемешку в кленовой тарелке, путрю, корж медовый с маком. Пан Томара, не приглашая учителя садиться, не спрашивая, зачем тот пожаловал, налил себе в кубок запеканки, выпил и крякнул:

— Штука.

— Добрый день, пан Степан! — поклонился учитель. — Не прогневайтесь, ваша милость, за столь ранний визит...

Котляревский непроизвольно, но весьма точно запоминал все, что видел: и каждое блюдо, стоявшее перед паном, и вина, и закуски, и самого пана — раздобревшего, в широкой накидке, с седеющими, слегка подмоченными в вине усами. Томара пил, ел, не обращая внимания на учителя. "Ни дать ни взять, — подумал Иван, — бог Зевс за олимпийской трапезой".

— А-а, пан Иван! — ответил наконец Томара, отставив недопитый кубок. — С чем пожаловал? Спешное дело?

— Спешное, и весьма, пан Степан... По лживому доносу вы, не разобравшись, решили отдать в солдатскую службу Лаврина Грушу. Но ведь он не виновен, он лучший слуга, к тому же единственный сын Харитона Груши. Вы это знаете. Зачем же так жестоко? И за что?

Томара отрезал себе добрый кусок пирога, разделил его и принялся есть, ничего не отвечая учителю. Иван продолжал:

— Ваш сын, а мой ученик совершил дикий поступок. Сам он учиться не желает и заставляет казачка делать за него задачи и, если тот не успевает, наказывает. Но сегодня случилось нечто ужасное. Василь избил хлопчика до полусмерти. За что? Разве я учу его подобной жестокости? Мне больно и страшно, пан Степан. И страшнее всего — хлопчик остается без помощи. Я прошу вас: пошлите за лекарем. Я сам поеду...

— Лекаря? Для казачка? — Томара раскрыл рот и беззвучно стал дышать, это означало: он хохочет, усы его при этом шевелились, как у большого разжиревшего кота. Иван видел гнилые зубы в широко раскрытом рту Томары, видел, как он издевательски смеется, и ему вдруг стало страшно. Куда он пришел? О чем и кого просит? Разве у такого человека есть сердце? Между тем Томара, отсмеявшись, вытирая навернувшиеся на глаза слезы, сказал:

— Твое дело, пан Иван, пиитика, арифметика, грамматика и прочие науки, коим ты обязан научить моего сына. А что касемо кучера или казачка какого-то, то это не твое дело. — Томара вдруг хитро прищурился: — Наслышан я, что любишь ты, пан Иван, заходить к моим поселянам, лемешку у них хлебаешь, лясы точишь, танцы танцуешь, песни поешь? Чего тебе не хватает в моем доме?

Иван смотрел на полное, в красно-сизых прожилках лицо коврайского владыки и поражался: сколько в такой туше вмещается желчи? Совсем, выходит, неправда, что

полные — благодушные, покладистые. Однако крайне необходимо ответить этому господину так, чтобы он наконец понял; в свободные от уроков часы учитель волен ходить, куда ему вздумается.

— Ваши поселяне, сударь, очень добрые люди, и мне интересно с ними беседовать в свободные часы... Мне интересно наблюдать их быт, нравы... Плохо живут они у вас, пан Степан. Тяжко.

— И это не твое дело, пан учитель. — Томара одним движением отодвинул от себя стол с закусками и винами, опустил ноги на ковер и, взяв с кресла длинную трубку, закурил. По опочивальне поплыл запах ароматного табака.

— Учитель, не знающий жизни, не сможет быть оным, милостивый государь.

— Не с той стороны смотришь на жизнь. Ну, да ладно, — расплылся в улыбке Томара. — Прощаю твои заблуждения. Поживешь — увидишь и не то... А что касается Лаврина, то как я сказал, так и будет. Приказа не меняю. И лекаря звать нет надобности. На казачке все заживет, как на моих легавых... И вот еще. Впредь не советую тебе, пан Иван, вмешиваться. Ведь ты тоже — мой человек. Я тебя почти купил. И может статься — не отпущу, если... понравишься.

Иван вздрогнул. Сдержал себя, чтобы не натворить беды. А слова Томары вонзились, как нож, в самое сердце. Выпрямился во весь рост и, стараясь быть как можно спокойнее, ответил:

— Я вольный человек, сударь... И что это так, видно из свидетельства, которое при мне. Вот оно. Извольте взглянуть. — Достал из внутреннего кармана плотный лист бумаги и развернул его перед глазами Томары. — Свидетельство оное скажет вам, что я потомственный дворянин и весь род мой вписан в Екатерининскую форменную книгу. Подписью я печатью предводителя нашего пана Черныша оное скреплено. — Свернул лист и положил обратно в карман.

Губы Томары скривились в презрительной усмешке:

— А что у тебя есть? Сколько душ?

— Душами не торгую, сударь, и сим горжусь... Да, горжусь! И прошу не тыкать... — Голос Ивана задрожал. — С этой минуты я вам больше не слуга. Ищите себе другого. И запомните: рано или поздно вы почувствуете силу тех, кого гоните, притесняете, мучаете. Берегитесь мирского суда, господин душевладелец!..

Томара часто задышал:

— Угрожать? Мне? Да я!..

— Я вам не угрожаю. Пекусь о вашем благе... Прощайте! — И стремительно вышел из опочивальни.

Томара что-то говорил вслед, звал камердинера, а Иван, не оборачиваясь, ничего не слыша, шел из коридора в коридор, пока не попал в гостиную. И только здесь опомнился: что же он наделал? Не сумел сдержаться. Не остановился и вот — Лаврину не помог, не будет и лекаря у Тараса. И сам он остался без места. Но это — не беда, главное — не помог людям. И все из-за горячности, стоило говорить спокойнее, дипломатичнее, и, может быть, Томара изменял бы свое решение.

— Что с вами? На вас лица нет, — услышал вдруг и увидел перед собой пана Голубовича. — Никого не замечаете, не здороваетесь, а мы ж таки за одним столом чарку пили.

— Простите, Семен Гервасиевич! Так вышло. Простите, ради бога, — обрадовался Иван паву Голубовичу как родному. Уже то, что он был приемным отцом Маши, жил с ней под одной крышей, делало Голубовича в глазах Ивана самым приятным и дорогим человеком в этом доме. Он тут же подумал, что именно Голубович подвезет его хотя бы до своего хутора. В Золотоношу он как-нибудь доберется, а там и дальше найдется оказия. А главное — он еще раз увидит Машу, поговорит с ней, отведет душу, расскажет ей, что его так мучает. Конечно же ему необходимо видеть ее. Иван сразу же попросил Голубовича: не смог бы он взять и его с собой, если будет возвращаться домой?

Голубович согласился и спросил:

— А с чем связана поездка? Так вдруг? Не случилось ли чего?

— Я здесь больше не служу.

— Не служите?! — воскликнул Голубович и оглянулся: никто не слышит ли его. — Славно! Едем! Сейчас скажу кучеру, чтобы закладывал. — И старик сочти выбежал из гостиной.

Иван тем временем прошел к Тарасу, чуланчик его был в другом конце дома, и учителю пришлось пройти людскую, там он увидел Лаврина и старого Харитона, но задерживаться возле них не стал.

В чуланчике находилась Дарья, она поила чем-то хлопчика, уговаривала полежать спокойно, а тот порывался куда-то бежать, вскакивал, кричал, в широко раскрытых глазах плавал страх; одинокая свеча отбрасывала тень больного на черные стены.

— Тарасик! — Иван опустился на колени. — Хлопчик мой! Что они с тобой сделали?

Тарас услышал голос учителя и слабо усмехнулся. Он не видел, кто перед ним, избитый, с погашенными глазами, но, услышав знакомый голос, успокоился, потянулся к Ивану, приник головой к нему и затих.

Прислонившись к дверям, Дарья плакала. С Иваном же происходило что-то страшное. Словно стиснутое клещами, сжалось горло, его душило, затем появился озноб, он не мог с собой ничего поделать, дрожащими руками перебирал, гладил спутанные влажные волосы мальчика и шептал сухими губами:

— Никогда! Никогда, хлопчик мой, не забуду и не прощу им этого! Пусть прокляты будут! Пусть навеки проклянут их люди на этой грешной земле!

Он не мог ехать, пока Тарас оставался в таком состоянии, пока он так тяжело, прерывисто дышит. Он подождет, пока Дарья позовет Харитона, старик не откажется прийти и помочь, чем только сможет, а потом пусть Дарья найдет пана Голубовича и скажет ему, чтобы он ехал без него, только пусть захватит его вещи — Дарья соберет их, — он же придет позже, может, еще сегодня.

Дарья все поняла и ушла тотчас. Вскоре она вернулась с Харитоном и Лаврином.

Харитон склонился над хлопчиком, оглядел его, вздохнул:

— Душегубы!..

Тарасу становилось все хуже и хуже. Вдруг восковое лицо его вытянулось. Глаза застыли на одной точке. Старик встал и снял шапку.

— Что? — Иван опустился снова на колени, приподнял голову Тараса.

Хлопчик еще раз потянулся всем своим тельцем и затих. Просветленная улыбка так и застыла на его лице.

— Спаси боже твою душу! — перекрестился Харитон. Молча перекрестился и Лаврин. В один день похудевший, молодой Груша, сжав могучие руки перед собой, смотрел на избитое, в кровоподтеках лицо казачка, и губы его что-то шептали. Закрыв голову платком, стояла Дарья. По лицу Ивана текли горькие слезы. Харитон был суров, седые брови его хмурились.

Кто знает, сколько они стояли над мальчиком, молчаливые, окаменевшие. Первым опомнился Харитон, закрыл умершему глаза и, перекрестив, натянул поверх головы рядно.

— Пойдем, — глухо сказал старик сыну. — Сегодня еще наш, спасибо пану, день, а завтра...

— Уже завтра?

— А так, пан учитель, завтра заберут моего Лаврина в солдаты, а я все дурной своей головой думаю: а может, не отдавать? Да то уже наша забота... А вот тебе, пан учитель, спасибо! За сердце твое доброе! За слово! Только ж словом нашего пана хозяина не тронешь.

— Его словом не тронешь, — как эхо повторил за отцом Лаврин.

Иван слушал отца и сына — суровых, добрых его друзей — и чувствовал: ничто не сломит их, ничего они не страшатся: ни пана, ни дьявола. Их сила, их воля вливались в его сердце, и оттого он сам становился и сильнее, и тверже духом.

Попрощался с ними тут же, в каморке Тараса, пожелал им найти свою долю — ничего больше сказать не мог; попрощался и с Дарьей — она была к нему очень добра, сказал ей об этом, попросил передать отцу Луке и братьям низкий поклон.

— Не пришлось поучить их и тебя, Лаврин. А так хотелось грамоте вас научить.

— Даст бог, научатся, — многозначительно сказал Харитон, трудно, однако, было разгадать, что он имел в виду под этим "научатся". Чему? Где? — Прощевай, пан учитель! Счастливой тебе дороги! В нашем селе люди тебя не забудут...

Иван прошел в свою комнату, сложил бумаги — вещи уже вынесли — и через людскую вышел во двор. Провожали его все, кто в этот час был там: девчата, конюхи, садовники, молотники. Поднявшись на взгорок, еще раз оглянулся — в последний раз молча попрощался с селом, где он познал и первые радости и близко, с глазу на глаз, увидел безмерное человеческое горе.

Узнав от дядюшки, что учитель приедет и, может быть, даже сегодня, Маша, не мешкая, тотчас принялась готовить его комнату, сама убрала в ней, на иконку повесила свежий рушник, на окно — занавесь, заставила дворовых девчат не только

вымывать, но и выскоблить полы, а в заключение немного покурила можжевельником, чтобы в комнате пахло свежестью. В людской, в гостиной — всюду, куда Маша забегала, — слышался ее звонкий голосок, веселый смех, а то вдруг она принималась петь и была так внимательна и ласкова с дядюшкой, что старик не на шутку встревожился:

— Да что с тобой? Не захворала ли, матушка?

— Что вы, дядюшка! Я здорова, но я рада... за Костю и Сашу. Теперь-то они станут учиться по-настоящему. И... вместе с ними я, если позволите.

— Гм... — почесал в затылке Семен Гервасиевич. — Дивчине, можно сказать, невесте, может, и не подобало забивать себе голову учеными премудростями. Да бог с тобой, душа моя, учись себе на здоровье, коли охоту к тому имеешь. Авось и пригодится.

— Спасибо! Вы у меня самый хороший. — Чмокнув дядю в седой ус, Маша убежала: ей показалось, что она не так, как надо, повесила занавесь в комнате учителя и мебель нехорошо протерта...

Котляревский пришел уже под вечер. Усталый, осунувшийся, будто только что поднялся после тяжелой болезни. Маша испугалась, увидев его. Он же, молча поклонившись ей, направился в гостиную к поджидавшему его хозяину дома. Сдержанно поздоровался и сказал:

— Хочу просить у вас, милостивый государь, приюта на одну ночь. Надеюсь, не обременю вас, а завтра поутру я уеду.

— На одну ночь? — чуть дрогнули седые длинные усы Голубовича. — Ну что ж, оставайтесь. Но у нас, пан учитель, есть такой старинный обычай, еще с дедов храним: сначала — за стол, чем богаты, тем и рады подорожному, а потом — и на отдых. Но пока суд да дело, моя воспитанница комнату вам покажет. Не возражаете, сударь?

— Благодарствую. Но зачем беспокоиться?

— Не перечьте. Вы с дороги, и не мешает привести себя в порядок. Потом — и к столу... Проводи, душа моя, пана учителя.

— Прошу вас, — сказала девушка и прошла вперед. Поклонившись хозяину, Иван вышел вслед за ней. В коридоре, едва затворилась дверь, она обернулась:

— Боже мой! Как можно! Почему не поехали с дядюшкой? На вас лица нет.

Коридор был тесноват, и они шли рядом, касаясь плеча друг дружки. Иван смотрел на Машу и не отвечал. Она досадливо повела бровью:

— Что же вы молчите?

— Ничего со мной не сделается... Поехать же не смог. А пока ведите меня дальше, а то попадет вам от дядюшки, что гостя маринуете.

— Пойдемте же... Комната для вас готова.

Маша прошла в конец коридора и у предпоследней двери остановилась:

— Вот здесь. Не задерживайтесь долго. Мы будем ждать вас к ужину.

— Погодите еще минуту.

— Потом поговорим...



Ничего не сказав больше, не взглянув даже, чтобы ни голосом, ни струящимся блеском глаз не показать Ивану своей радости, она, торопливо поклонившись, повернулась и ушла. Он проводил ее взглядом и, вздохнув, толкнул дверь. Был настолько уставший, что не обратил внимания и не придал значения тому, что комнату, как видно, только что кончили убирать: мебель влажно блестела, приятно пахло можжевельником.

Присел к столу, вытянул гудевшие от усталости ноги. Хорошо бы пожить здесь, под этой крышей, не одну ночь, а как можно дольше. Но зачем обольщаться несбыточной мечтой? У Голубовича уже, верно, есть домашний учитель, и, стало быть, не на что надеяться. Так, не двигаясь и без мысли, просидел полчаса, а может, и час, и вдруг спохватился: пора идти, неудобно заставлять хозяев ожидать.

Наскоро умывшись, надел свежую сорочку и сошел в гостиную, оттуда в соседнюю с ней столовую. Ступив на порог, увидел Машу и двух подростков, как видно, сыновей хозяина, самого же Голубовича еще не было, но ожидать себя он не заставил. Как только явился учитель, ему сразу доложили, и он тотчас вошел в столовую, прошагав через весь зал, сел в голове стола.

— Прощу, сударь, — указал Ивану место от себя по правую руку, слева сели Маша и сыновья, еще дальше, в конце стола, рассаживались вошедшие одновременно с хозяином, как потом Иван узнал, управляющий имением герр Мюллер со своей женой — невысокой полноватой немкой.

Длинный дубовый стол ломился от снеди, тем не менее слуги продолжали вносить новые подносы с жареным и вареным, а также и кувшины с напитками. Голубович, перекрестившись на образа и сотворив молитву, предложил Ивану рюмку доброй домашней наливки. Гость не отказался, чем явно обрадовал хозяина.

— Спасибо, уважил старика! В этом доме не с кем и чарку выпить, одни, добродию, бабы, а герр Мюллер непьющий, и хоть пропадай... Может, еще по единой, чтобы дома не скучали?

Иван вежливо отказался: в этом деле он слабая поддержка хозяину, он тоже не употреблял, наивно полагая, что и без лишней чарки прожить можно, кроме того, ему рано вставать, путь у него предстоит не близкий. Кто знает, понравился ли ответ Голубовичу, он покачал лишь головой и ничего не сказал.

Кончив ужинать, мальчики — оба русые и такие же курносые, как и отец — поблагодарили и, спросив разрешение, ушли. Маша тоже встала и попрощалась. За время ужина она ни разу не взглянула на Ивана, словно его не было за столом, только глаза наполнились тихой непролившейся радостью, всеми силами удерживала в себе эту радость, но щеки пылали темным жарким румянцем, и это могло выдать ее.

Поэтому, заметив на себе вопросительный взгляд дядюшки, постаралась сразу уйти, едва такая возможность представилась: она должна, мол, присмотреть за мальчиками.

Хозяин и гость перешли из столовой в диванную, удобно расположившись в креслах возле ломберного стола, на котором стояла деревянная коробка с табаком и

лежали — на выбор — несколько искусно вырезанных трубок.

Голубович подвинул табак и, сказав, что он не задержит гостя, предложил закурить. Иван любовался на трубки, но отказался, объяснив, что у него своя есть, он к ней привык, и табак тоже свой. Голубович долго выбирал себе трубку, наконец выбрав — длинную, изогнутую, с медной крышкой, — набил ее изрядной порцией табака и поднес огниво.

Хозяин и гость, наслаждаясь приятным дымком, курили, каждый думая о своем. Затем Голубович, выдержав приличествующую моменту паузу, не выказывая особой заинтересованности, спросил:

— Так что же, сударь, если позволите, случилось? По какой веской причине ушли от пана Томары?

— Случилось нечто ужасное. — Котляревский прикрыл глаза. — Не могу постигнуть, во имя чего совершено подобное злодейство.

— Что же именно?

— Это был мой ученик. Сирота. Простого звания хлопчик. В чем-то он провинился, собственно, нельзя именовать сие и провинностью. И его наказали. Да как? Лишили живота! — Как стон вырвалось из груди. — Мог ли я после подобного злодейства оставаться там? Немыслимо и противоестественно мое там пребывание.

— Грехи... грехи... — вздохнул Голубович, ничего, однако, к сказанному не добавив. Сухой, высокий, с седыми казацкими усами, он чем-то напоминал Харитона Грушу из Коврая, но тот был темнее лицом, а волосы почти белые, взгляд тверже, рука крепче.

Кончив курить, Котляревский осторожно выбил над пепельницей трубку и поднялся:

— Спасибо вам, любезнейший Семен Гервасиевич, за ваши хлеб да соль. Вы очень добры. Случится быть в Полтаве — рад вас видеть у себя гостем. Еще раз благодарствую. Как ни приятно с вами, но мне, видно, пора. Завтра поутру — рано вставать... Да, еще одно. Не могли бы вы, милостивый государь, помощь мне оказать? До Золотоноши добраться нечем. Подвезите, я прошу вас, а из Золотоноши, надеюсь, случится попутная повозка или иная оказия. Так и доеду.

Голубович тщательно очистил свою трубку и спросил:

— А там же, в Полтаве, сударь, куда? В службу опять?

— Буду искать место... учителя. В канцелярию, наверно, уже не вернусь.

— Так. — Голубович медлил, — А ежели я скажу вам, что место вы уже нашли?

— Не понимаю вас.

— Что же тут непонятного? Оставайтесь у нас, ежели вам, разумеется, будет угодно... Моим разбойникам учитель нужен. Следить за ними некому, жена моя уже три года — царство ей небесное — померла. — Голубович перекрестился и вздохнул. — Нам вы подходите. Много наслышан о вашей учености.

Иван не верил ушам своим: неужто правда, что он сможет остаться здесь учителем? Быть рядом с Машей, говорить с ней каждый день, слышать ее голос, видеть ее? Он опустил в кресло и закрыл лицо руками.

— Не согласны, сударь? — обеспокоенно спросил Голубович. — О плате договоримся.

— Благодарю тя, боже! — прошептал Иван. — Уповаешь ты на страстную мольбу раба своего...

— Что? — удивленно переспросил хозяин, не поняв ответа. Иван опомнился и спокойно, как можно спокойнее ответил:

— Я согласен, Семен Гервасиевич... на все ваши условия. И надеюсь, вы не пожалеете о своем выборе.

— Поживем, сударь, поглядим... — еще деды мои говорили.

В коридоре слышалось движение, кто-то торопился, хотел войти, но его не пускали, уговаривали подождать. Семен Гервасиевич прислушался:

— А кто там у бисового батька? Пусть войдет!

В диванную вошел дворовый человек — в свитке, шапку держал под мышкой. С размаху поклонился чуть ли не до пола и выпрямился. Иван узнал в нем того самого поселянина, что однажды танцевал на лесной опушке вблизи Супоя.

— А что там, Гераську? — спросил Голубович, уставившись на вошедшего.

— Дозвольте слово молвить, ваша милость.

— Говори.

— Прибегал человек из Коврая. На коне верхом.

— А чего ему?

— Рассказывал такое, что не знаю, как и передать вам.

— Говори, что случилось? Тянешь.

— Да будто горит пан Томара. И дом, и повети, и гумна. Оно хотя и панское, а добра жалко.

— Ты язык прикуси, Гераську.

— А что я такое сказал, ваша милость? Горит, рассказываю, и все тут, а как горит — того не скажу.

— Так чего же ты стоишь?

— А что мне делать? У нас же, слава богу, не горит.

— Ну что вы скажете, пан Иван? И смех, и грех... Бери две бочки да езжай скорее, ибо, наверно ж, тот человек недаром прибегал.

— Эге, я и забыл: просил, чтоб помогли тушить.

— Вот видишь, я так и знал. Иди же скорее да смотри возьми те бочки, что покрашены, а то схватишь какие-нибудь рассохшиеся.

— Ого так сразу и ехать? Я ж еще и не вечерял. Может, уже после?

— Потом поешь. Да иди скорее. А мне прикажи бричку подать.

— Куды вам? Поздновато, ваша милость, пусть мы сами как-нибудь доберемся в тот Коврай, не сгорел бы он совсем.

— Помолчи, Гераська. Да ворущись! А ты, пан Иван, оставайся, отдохни с дороги, а я все-таки поеду. Что ни говори, а сосед в такой беде, не приведи господь... И как-то оно там загорелось?..

Едва Голубович уехал, как в диванную, где еще оставался Иван, вбежала Маша. Тихая радость сквозила в каждом ее движении, в походке, в голосе.

— Так собирать вас завтра в дорогу? — смеялись глаза, светилось лицо.

— Машенька, вы умница.

— А вы несносны... Нет, я соберу вас завтра в дорогу, пан учитель. Да пораньше.

— Машенька, я счастлив. Я буду в том самом доме, где живете вы. И мне ничего больше не нужно.

— Из-за чего оставили Коврай, пан учитель? Что-то случилось? На вас лица не было, я как увидела вас, так бог знает что подумала, испугалась очень. Так что же?

— Не спрашивайте. Больно и страшно. Тараса помните? Казачка?.. Так вот... — Иван не договорил. Некоторое время сидел, обхватив голову руками, не в силах говорить. Снова увидел ту страшную каморку, в которой жил казачок, и горько упрекнул себя: почему раньше не знал, где живет его ученик? Почему ни разу не нашел его, не поговорил, не спросил, как относится к нему барчук? Может быть, узнав всю правду, он бы предупредил трагедию?

Жестоко укоряя себя, застонал: такая острая боль пронзила его вдруг. Маша испугалась, робко приблизилась, села рядом:

— Что с вами, Иван Петрович? Расскажите мне, может, я смогу помочь вам?

Иван отрицательно покачал головой: ничем и никто ему теперь не поможет.

Немного успокоившись, он рассказал Маше обо всем, что произошло сегодня утром в имении пана Томары, в его доме. У девушки на глаза навернулись слезы. Она долго молчала, сжав перед собой руки, потом, словно что-то решив про себя, сказала:

— Наверно, за это их бог карает... Слыхали про пожар?

— Слышал.

— Бог все видит — и доброе и злое... — Маша говорила резко, и не было похоже, что минуту назад она была беззаботной, веселой. Гнев и сострадание изменили ее лицо, оно стало еще прекраснее.

— Он все видит. Ты права, Маша! — повторил Иван, вспомнив последние слова старика Груши и сына его Лаврина. Как-то они там? Не случилось бы с этими людьми несчастья. Сердце в тревоге сжалось.

— Смотрите, как страшно горит! — Маша подбежала к окну, Иван стал рядом.

Самого пожара не было видно, но там, за Супоем, половина ночного неба освещалась длинными языками пламени, тучи в этой ярко освещенной полосе пурпурно-красные с опаловыми краями клубились, рвались в клочья и уплывали в черную пропасть ночи.

— Это возмездье божие! — сказала Маша. — За невинную кровь, за его муки!

Иван ничего не мог сказать — так был взволнован. Благодарность к этой девушке, которую он искал целую вечность и наконец нашел, переполняла его: она разделяла его чувства и мысли. Разве это не счастье? В порыве бесконечной любви и уважения, целуя теплые, пахнущие любистком ее руки, говорил:

— Маша!.. Маша!..

— Что с вами, Иван Петрович? — Она не отстранялась, но и не позволяла взглядом, самым тоном вопроса приблизиться к себе.

— Машенька! Я говорю богу и тебе: спасибо! Спасибо, что ты есть! Что ты живешь!.. Я знаю теперь, что мне предстоит совершить. И я все сделаю — все, что смогу. Ты увидишь... Никому в целом мире не говорил, а тебе скажу, как сказал бы матери и учителю... Был у меня учитель. Это он ввел меня в божественный храм поэзии. Иоанн Станиславский — имя его. Как он далеко видел! Всем сердцем людей любил и землю свою. Он же смотрел глазами своего учителя — великого Сковороды. Ты слышала это имя?

— Почему вы говорите — видел, был?.. Разве?..

— Да. Его уже нет — царствие ему небесное, — матушка написала. Но слово его живет! Забыть его — значит забыть самого себя...

Иван говорил очень тихо, но в каждом слове было столько чувства, уверенности и увлеченности, что и Маша прониклась его силой. И, еще точно не зная, правильно ли говорит, но, сердцем желая поддержать этого одержимого с черными горящими глазами и твердой рукой, сказала:

— Вы все сделаете! Обязательно!.. Я верю в вас!

— Спасибо, Маша!

— Вы очень устали! Идите отдыхать. А завтра... увидимся.

— Неужто? Где? — И, вдруг поняв, что так теперь и будет, просиял: — Я совсем забыл!.. Конечно же и завтра, и послезавтра...

— Идите! Идите!

— Иду, — Иван еще раз поцеловал ей руку и стремительно вышел из диванной.

У себя в комнате, не зажигая свечи, присел к столу. Ложиться не хотелось, хотя ноги гудели от усталости. Знал, что не уснет. Прожил один день, а казалось — годы.

Пытливо, не в силах оторвать взгляда, всматривался в огромное, залившее полнеба, зарево. "Томару покарал бог". Бог ли? Не причастны ли к пожару его добрые друзья? Как бы не случилось беды с ними! Вот что тревожило, не давало покоя.

Лишь под утро, когда старый Герасим Свербиус вернулся из Коврая и сообщил, что "Томару покарали его же люди, да только никого не нашли", Иван прилег и задремал. Впервые он провел ночь в доме, куда стремился всем сердцем и где наконец нашел кров. Неизвестно лишь — надолго ли...

12

Ушла зима. В Супое схлынули весенние паводковые воды. Не замешкалось и лето. Но и не загостилось. Красным яблочком откатилось, отпылало ранними рассветами. И вот уже на дворе — осень. Облетели на хуторе сады, закоржавела земля, сам воздух будто загустел, с полей срезаны последние копны гречихи, а в лугах, по ту сторону Супоя, седыми казацкими папахами рассыпались стога, сторожевыми постами встали вдоль берега, день и ночь глядясь в чистые воды реки.

В тот год, а особенно в зиму, снежную и вьюжную, Котляревскому работалось хорошо как никогда раньше: он закончил первые три части своей поэмы, названной по

примеру великого римлянина "Энеидой". Работал много и вдохновенно, памятуя напутствие покойного Иоанна Станиславского: "Ты должен..."

Не однажды, кончив еще одну страницу, жалел о несостоявшейся встрече с отцом Иоанном, именно ему хотелось прочесть все, что написалось в последнее время. Что бы сказал учитель — строгий и добрый друг? Но встретиться уже не придется. Матушка в одном из последних писем сообщила: "Вся семинария и много мещан, Иване, провожали его. И я была там. Наплакалась. Высокого ума и доброго сердца был человек. А как он любил тебя! Помолись за него!.. А в Полтаве уже зима, все улицы снегом замело. Береги здоровье свое, не простуживайся, носи платок мой... И когда же ты приедешь? Одной тяжко..." Иван читал и перечитывал дорогие слова, и виделись ему домик на краю Соборной, скорбное лицо матери, и великий старец, и голос его: "Ты должен, сыне".

Когда садился к столу, забывал обо всем на свете и видел лишь своих неукротимых троянцев, их атамана-сорвиголову. Они преследовали его днем и ночью; случалось, вскакивая среди ночи, впопыхах зажигал свечу, искал бумагу, перья и принимался записывать так неожиданно появившуюся удачную мысль. А утром, перечитав написанное, переписывал от строчки до строчки заново.

Для него все троянцы были реальные люди, он знал каждого, не раз сживал с ними за одним столом, пил из одного ковша, из одного котла ел. Он мог рассказать, кто из них что любит, а чего терпеть не может. Они доводились ему братьями, двойниками. Иногда чудилось: Эней — это он сам. Не атаман троянцев, а он, Иван Котляревский, идет в жестокий бой за землю отцов, сидит в часы отдыха среди побратимов с пенной кружкой, летит в танце с Дидоной.

Хорошо были знакомы и те, кто по воле его неудержимой фантазии попал в преисподнюю. Сидориха, известная на Кобыжчанах в Полтаве торговка, сжила со света троих мужей. Поэт нашел ей "теплое" место в аду. Туда же попал и чиновник, который драл и с живых и мертвых. Конечно же это был его бывший начальник Новожилов. Чем-то схож с ним был и судья из Золотоноши, приезжавший как-то погостить к Голубовичу.

Поэт знал поименно каждого хапугу, казнокрада, чинодрала, попавших в ад, и мог с твердой уверенностью сказать, за какие грехи суждено им вечно кипеть в геенне огненной.

Не раз Маша допытывалась, где он видел своих героев, где встречался с ними, он же в ответ лишь загадочно усмехался и предлагал послушать еще один отрывок из поэмы. Обычно во время чтения оставался невозмутимым, но когда замечал, что у полных губ Маши появляются едва заметные ямочки, а потом, не выдержав, она заливалась по-детски звонким смехом, Иван, сдержанно улыбаясь, смотрел непонимающе: чему бы так смеяться? Машу это почему-то смешило еще больше.

Как-то в середине лета она упросила Ивана Петровича доверить ей на несколько дней рукопись, она перепишет ее для своей родственницы из Драбова. Та, мол, о поэме где-то уже прослышала и очень просит дать ей почитать.

— Странно. Поэма из вашего дома никуда не увозилась, — недоумевал Котляревский. — Где же она слышала?

— Это я виновата. — Маша смутилась под укоризненным взглядом учителя. — Я гостила там — помните, на прошлой неделе? — и проговорилась. Наверно, черт за язык дернул. Простите, пан учитель, не буду больше.

Маша так мило улыбалась и так ласково смотрела, что пришлось уступить. Заполучив рукопись, она несколько дней почти не выходила, к себе тоже никого не пускала, переписывала листок за листком, часть за частью, а закончив, аккуратно сшила разрозненные листки и вложила в обложку из-под старого французского романа. Получилась недурного вида рукописная книга.

Позже Маша выпросила и черновик. Иван поначалу был неумолим:

— Он есть не просит. Полежит.

— Что за польза от лежания? А его, быть может, кто-либо почитал бы. Отдайте черновик! Зачем он вам? У вас же остается совершенно чистая рукопись.

— Вы и это знаете?

— Вот еще. Сами показывали. Так отдадите или нет?.. Да, кстати, хотела сегодня на берег пойти, там нынче так хорошо. А вы не пойдете?..

Пришлось уступить и на этот раз, ибо не было сил отказаться от вечерней прогулки с Машей... Черновик она незамедлительно отдала кому-то почитать — "на два-три вечера". Разумеется, его не вернули, хотя клятвенно обещали вернуть до последнего листочка. Маша предлагала Котляревскому свои услуги: она еще раз перепишет поэму, коль сама виновата...

А черновик в свою очередь где-то перебеляли и передавали дальше.

Помимо воли автора, поэма расходилась быстро. Ее читал все больший круг почитателей малороссийского слова. Сначала в Золотоноше, затем — в Черкассах и в Полтаве. Вскоре рукопись завезли в Киев, здесь ее заполучил какой-то библиофил духовного звания. Из Киева, а может, из Полтавы или Харькова, в дорожной суме "Энеида" кочевала многие сотни верст по разбитым российским дорогам и в тот год попала в Воронеж, к тамошнему епископу Евгению Болховитинову, чтобы сохраниться для потомков под названием "Болховитинской". В тот же год, а возможно и в девяносто пятом, ее завезли и в Санкт-Петербург, здесь, спустя еще несколько лет, она появилась в печати, и тоже без ведома и согласия автора.

Поэму читали, перечитывали и в богатых гостиных, и в придорожных корчмах, в келье послушника, в комнатке-мансарде чиновника, в летней палатке военного; в среде крепостных она передавалась из уст в уста, по памяти. Слово поэмы, выраженное звонкими стихами, входило в сознание, в сердце каждого, кто рос на благодатной земле Украины, и тех, кого обстоятельства оторвали от ее прекрасной земли, кто не мог видеть ее вечерние зори и ранние рассветы. Украина изумлялась остроумию автора, хохотала над теми, кого поэт предал осмеянию, горячо сочувствовала воинам, павшим за родную землю. Быт и нравы, песня, история нашли в поэме яркое отражение. Правда, некоторые хотели бы видеть в ней лишь комические ситуации,

восторгаться ими и не замечать ничего другого. Однако многие знали: за каждым героем "Энеиды" стоит живой человек. Соседи Голубовича в Лавинии сразу узнали известную в округе щеголиху Марию Томару, в Амате — ее тетку Аглаю, а в Зевсе — самого коврайского владыку. Но самое интересное заключалось в том, что, как поговаривали, подобные "герои" встречались и в Миргороде, и в Ромнах, и даже в Полтаве...

Не знал и даже не догадывался о судьбе своего детища лишь сам автор. Он жил в заброшенном уголке далеко от Полтавы, усердно изо дня в день занимался со своими учениками, которые, не в пример томаровскому недорослю, душой прилепились к учителю, ходили за ним по пятам, не уставали слушать его. Маша сердилась: "Не даете пану учителю отдохнуть. Совести у вас нет..." Но это не помогало.

Уроки настолько полюбились им, что мальчишки начисто позабыли свои прежние увлечения, иногда отказывались от прогулок с отцом, который с некоторого времени полюбил езду в пролетке на подаренном золотоношским родственником рысаке.

Иногда случались на уроках и казусы, о которых сам Иван не мог рассказывать без смеха.

Как-то проверяя тетради, учитель стал в них записывать пришедшие на память стихи, при этом он забыл проверить, правильно ли решены задачи и достаточно ли глубоко отражена тема в домашнем сочинении. Оставив тетради на столе, Иван отошел к окну и начал наблюдать, как дед Савка со своими сыновьями сгружает во дворе лес, только что привезенный из золотоношских дач.

Внезапно Саша отвлек внимание учителя:

— Пан учитель, а боги пьют сивуху?

— Пьют, — ответил не задумываясь и, поняв, что сморозил глупость, всполошился: — Откуда взял? Где? Кто говорил тебе такое?

— В арифметике написано. Вот тут. Да еще и складно. Послушайте: "Зевс тоди кружляв сивуху и оселедцем заидав". Я такого и не читал...

— Дай-ка тетрадь, — Иван посмотрел и обомлел: его рука! Когда же он вписал эти строки? Ничего так и не вспомнив, двумя энергичными росчерками пера вымарал их.

— Глупость... Да и не про бога писано. Это про одного тут... — И задумался: кого же назвать?

— А я знаю, про кого! — подхватил Саша. — Он к нам приезжал, когда купчую оформлял с паном Семикопом на лес. Батюшка говорит: "судейский крючок". Наклюкался так, что еле в возок сел. Только ж его, пан учитель, не Зевсом зовут, а Зосимом.

— Ты, наверно, прав... Однако пойдем дальше.

— Пойдем. — Саша смиренно опустил глаза в тетрадь и тут же снова поднял их. — А про Венеру вот сказано, что она была "не последней...". Не разберу дальше.

— Венеры не касайся. Она — женщина. Дай-ка посмотрю.

— А я не касаюсь, — обиженно ответил Саша, подавая тетрадь учителю. — Я читаю.

— Ты не должен читать, что написано на полях. Потому что... это не твое дело.



— Так это же интересно, пан учитель, — вмешался молчавший до сих пор Костя. — И написано по-нашему.

Иван долго стоял у окна. "По-нашему". Когда это будет, чтобы "по-нашему" детей учили? Дождется ли он?

Между тем лес во дворе сгружать закончили, дед Савка и его четыре сына уселись на бревнах и закурили. На крыльцо вышел Голубович и что-то им сказал; Савка, поклонившись, ушел в конюшню, и вскоре оттуда вывели рысака, выкатили из-под навеса бричку. Наверно, Голубович снова отправится к родственнику в Золотоношу торговать лес. Ему все мало, а раньше казалось: человеку этому ничего лишнего не надо, а поди ж ты — пойми его. Ведь навезли уже столько, что не только на флигель — на новый дом хватило бы.

Иван вернулся к столу, отдал мальчикам тетради и велел повторить на завтра те же уроки, которые он сегодня не успел проверить.

— А вы, пан учитель, к Маше теперь пойдете? — спросил всезнающий Саша, невинно глядя своими круглыми небесно-голубыми глазами на учителя.

— Да, погляжу, как она уроки приготвила.

— Ну да, — понизил голос Саша, — она уроков не готовила, потому что какие-то листки списывала весь вечер и все утро сегодня.

— Ябедничать, Саша, стыдно.

— Пан учитель, он и на меня батюшке наговаривает, — пожаловался старший из братьев, Костя.

— Саша, неужто?

— Я больше не буду...

— Ну, хорошо, поверю... А пока идите гуляйте..

Иван торопился к Маше, чтобы рассказать ей, как сегодня попался на удочку своим ученикам и пришлось выгораживать пана Зевса и все свернуть на бедолагу канцеляриста Зосима из Золотоноши. Наверно, ей будет интересно, она разрешит себе отвлечься от переписки — еще одной в этот месяц переписки поэмы, — и он ее вытащит на прогулку в сад, а может, и на речку сходят — нынче она в разливе, все луга затопила, не нагладишься прямо. Но не успел Иван забежать к себе в комнату, чтобы положить учебники и тетради, как постучался слуга и объявил: только что пожаловал гость — назвался поручиком Никитенко, хотел бы, как сказал он, видеть пана учителя.

Котляревский поспешил в гостиную. Навстречу поднялся поручик — такой же розовощекий, бравый, каким выглядел и при первом знакомстве в Коврае. Иван как-то быстро сошелся с ним тогда и подружился, в нем привлекали простота, веселый нрав.

— Вот хорошо, что приехали, сударь, — обрадовался Котляревский. — Какими судьбами? А что нынче в Полтаве? Давно там были? Надолго к нам?

Никитенко от души рассмеялся:

— Чтобы ответить на все ваши вопросы, необходимо хорошенько, как это именуется... гм.

— Как это именуется, я почти догадываюсь. Сейчас что-нибудь придумаем...

Правда, хозяина нет дома, но хозяйка на месте. Да вот и она. Вы знакомы?

— Раньше, чем вы, сударь, — Никитенко широко развел руками. — Господи, как летит время и как вы, панна Мария, хорошеете! Вы ли это?

— Будто бы так, — смеясь, ответила Маша. — И вы, сударь, очень изменились. Подобных слов я от вас раньше не слышала, они вам, поручик, не к лицу... Расскажите лучше, где вы в последнее время побывали? В Коврае не заезжали? Что там нынче слышно?

— Заезжал, но никого не нашел. Господа Томары в Черкассах. На хозяйстве — управляющий... А что касаясь моих слов, то опять же в этом вы, любезная Мария Васильевна, повинны.

— Опять за свое, обижусь, — погрозила пальцем Маша. — Расскажите же, пока нас не позовут обедать, что там? Да, да, в Коврае. После пожара я там не была, боюсь ехать... А нашли тех, кто поджег, не слышали?

Многое из того, что рассказал Никитенко, было известно от соседей, но Маша и Котляревский слушали поручика так, словно впервые узнавали о событиях той страшной ночи.

Оказывается, в ночь, когда на томаровском подворье вспыхнул пожар, из Коврая бежало десять семейств и повел их будто бы сам Харитон Груша. Сын его, Лаврин, которого Томара собирался отдать в солдаты, не без помощи дворовых вывел лучших лошадей из томаровской конюшни, нашлись и повозки, беглецы погрузили на них свой домашний скarb и уехали. Только утром пан Степан обнаружил, что лишился не только дома, сараев и почти всех амбаров, но и многих крепостных и к тому же лучших коней, которыми гордился, они были украшением его конюшни.

— Догнать! — задыхался от бешенства Томара. — Поймать! Затравить собаками!

Догнать пытались. Но кто мог догнать беглецов, если вел их многоопытный Харитон Груша, знавший дороги в степях Украины не хуже, чем в своем Коврае стежки? И кроме того — во всей округе не нашлось бы коней, равных тем, на которых ушли беглецы.. Следы их потерялись почти сразу за селом. От досады пан Томара почернел, стал заикаться.

— Вот и все, что рассказали дворовые. Меня просили, — добавил Никитенко, — поклониться вам, Иван Петрович. В Коврае вас хорошо помнят.

Котляревский сдержанно поблагодарил и задумался. Что знает Никитенко о Коврае? Видел бы он казачка Тараса. Как он тянулся к знаниям, каким был послушным и ласковым. Постоял бы у его смертного ложа, заглянул в его потухшие глаза, полные смертельной тоски и ужаса. А знает ли поручик, из-за чего коврайцы оставили родное село и уехали в неизвестные края, лишь бы подальше от Томары? Они сожгли только его, а могло случиться и ужаснее что-нибудь, нечто подобное тому, что было в Турбаях. Ничего этого не знает бравый, любящий банчик метнуть, по его собственному признанию, поручик. Далекий от жизни простолюдинов, что ему их заботы, их сиюминутные радости и горе, их мученья?.. А вообще-то хорошо, что нашел время и заехал, — спасибо ему, все-таки свежий человек, поездивший и повидавший свет.

Пообедав, перешли снова в гостиную. Котляревский сразу же напомнил поручику его обещание рассказать о Полтаве.

— Что же мне рассказывать? Живу в этом городке считанные дни и знаниями не похваюсь. Не успел и оглядеться. Вот разве что перед самым отъездом говорили о каком-то Новожилове. Чиновник, и в большой должности, состоял при канцелярии. Но выгнали, и даже с треском. Проворовался, прохвост, деньги казенные прикарманил, и немалые.

— Бог с ним! Что заслужил, то и получил. А что еще?

— Говорят, будто Полтава губернским городом станет. Пока спорят, где ему быть — в Полтаве или в Лубнах. Но весы склоняются в пользу Полтавы.

— А что нынче читают? — спросила. Маша.

— Читают многое, а я мало. Вот банчик метнуть — с превеликим моим удовольствием, — рассмеялся Никитенко; вытирая платком глаза, задумался, но; вспомнив что-то, видимо крайне смешное, повеселел. — Совсем забыл, из головы вылетело. А есть со мной одна прелюбопытная вещица, стащил у нашего писаря. Захожу это я в канцелярию за отпускным билетом, а на столе, вижу, что-то лежит, писарь читал и, как видно, хохотал, потому как слезы на глазах не обсохли. Ушел он по начальству подписывать билет, а я ту самую книжицу раз — да в карман. Каюсь, грешен, но, с другой стороны, почему ему одному пользоваться? — снова рассмеялся поручик, довольный шуткой.

— Что же за вещица? — заерзала в кресле Маша.

— Хотите, почитаю?

— Сделайте одолжение.

— Одну минуту. — Никитенко вышел в соседнюю комнату, где он оставил шинель и сумку, покопался там и вернулся в гостиную с книгой в мягком, но аккуратном переплете.

— Книга называется "Энеида". А самое главное — что думаете? — написана на малороссийском языке. Доложу вам, пикантная вещица, и для ума пищи предостаточно.

Никитенко, не обращая внимания на странное молчание Котляревского, на нетерпеливость Маши, стал читать.

Он читал не слишком хорошо, но его слушали. Маша, правда, еле сдерживалась, казалось, она вот-вот выпрыгнет из кресла и расхохочется. Крайне неловко чувствовал себя Котляревский. Но он тоже молчал, теряясь в догадках: каким образом поэма попала в Полтаву? Что сие значит?

А Никитенко читал, хватаясь за бока. Маша вторила ему.

Дочитав до места, когда Эней со своей ватагой достиг Карфагена и появился во дворце Дидоны, он стал заикаться, сбиваться, и тут Маша принялась поправлять его, подсказывать отдельные слова, а потом и целые фразы.

Никитенко охотно принимал помощь, словно иначе и быть не могло, но вдруг прекратил чтение и удивленно уставился на девушку:

— Не понимаю. Выходит, вы читали ее? И даже знаете на память?

— Ничего не выходит. Читайте дальше, — сказала Маша и стрельнула взглядом в смущенного Котляревского.

— Нет, постойте. Что-то здесь не так... — Никитенко соображал явно туговато и наконец, что-то сообразив, ударил кулаком по лбу. — Дурак! Ну, дурак! Ведь тут на титуле указано, что сочинил оную штуку Котляревский. Выходит, сударь, вы?

— Котляревский — это я, — ответил Иван, — это правда. Но откуда вы взяли, что я и есть сочинитель оной поэмы? Мало ли однофамильцев у меня?

— Да, тут есть над чем подумать. В Полтаве толковали, будто сочинил ее какой-то ученый и живет он в Санкт-Петербурге. А я помню, что мне говорила в прошлом году в Коврае Мария Томара, когда изволила представить вас как поэта... Откуда ей это известно?

— Она ошиблась.

— Она ошиблась, — сказала Маша, — потому как в поэзии разбираться надо, а где пану учителю так высоко летать?

Маша от всего сердца рассмеялась. Никитенко недоуменно повел бровью:

— Вы меня поразили, сударь. Да знаете ли вы, что я уже от многих слышал о вашей поэме? В Черкассах, в Золотоноше, в Миргороде.

— А я этого не слышал. И не могу понять, как это могло случиться.

— Загадка, — сказала Маша, — И кто нам ее разгадает — не знаю...

Два дня гостил на хуторе Голубовича поручик Никитенко. Он много шутил, восторгался "Энеидой", просил Ивана Петровича почитать что-нибудь по памяти.

Прощаясь, поручик пригласил Котляревского по приезде в Полтаву обязательно посетить их полк, его товарищей — офицеры будут рады поэту.

— И вообще, господин учитель, смотрю я на вас, на вашу выправку и думаю: вам бы офицером быть, да еще гусаром, а не учителем. Может, надумаете, то милости просим к нам в полк, — сказал полушутливо, полусерьезно Никитенко, садясь в возок.

— Нашли военного, — усмехнулся Котляревский. — Не шутите, сударь, а то обижусь... Прошу вас по прибытии передать матушке моей письмо и деньги, которые посылаю. А за приглашение — спасибо!

— Не беспокойтесь, все исполню.

Никитенко уехал. Но еще долго слышался колокольчик. И звон этот не таял, стоял в ушах и тогда, когда Иван вернулся в дом, в классную комнату, где его ожидали Саша и Костя.

Не подозревал Никитенко, что его пожелания сбудутся, и очень скоро. Меньше всего об этом думал и Котляревский.

Как-то поздно вечером откуда-то сверху донеслось глухое гоготанье. Широко распахнув окно, Иван увидел врезанный в небо живой темный клин. Он двигался довольно медленно, чуть повыше тополей, время от времени оглашая окрестности приветственными кликами.

— Добрый вечер, гусоньки! — позвал он, словно пернатые гости, возвращавшиеся из теплых стран в родные гнездовья, могли его услышать.

Долго стоял у окна, провожая взглядом исчезающих в далекой дымке добрых вестников весны. Свежий ветер приятно остужал открытую грудь, путал волосы, бросал их в лицо, забравшись в комнату, осторожно шевелил листки раскрытой книги.

Котляревскому шла двадцать седьмая весна, а он чувствовал себя юношей, только-только вступающим в жизнь, и с тем большим интересом, вдруг оглянувшись на прожитое, увидел, что более двух лет, проведенных в доме Голубовича, не прошли напрасно. За это время он кое-что написал, и, если бы Иоанн Станиславский каким-то чудом встал и посмотрел на все, что он создал, может быть, сказал бы: "Для начала, сыне мой, не так уж и плохо, но только для начала..." Скуповат был учитель на похвальное слово, но коль он говорил "добро", считай — заслуженно. Иоанн обязательно добавил бы: "Думай, сыне, о будущем!" Он всегда был прав, отец Иоанн.

А что же сулит ему будущее? Никому еще не удавалось заглянуть в свой завтрашний день, но Иван твердо знает: впереди у него — вся жизнь и много, что бы ни случилось, работы.

А пока — как только закончатся занятия — он сразу же ускачет в Полтаву, проведает матушку, побудет с ней как можно дольше, вдохнет воздуха отцовской хаты и словно невзначай спросит: "А не хотела бы ты, матушка, чтобы в хате нашей поселилась еще одна, особа, ну вроде дочки твоей?" Мать ждет этого и, конечно, благословит сына, но спросит: "А будет ли она, сын мой, уважать тебя?" Ох, мать, великая душа твоя, сына своего ты любишь, но ведь он не провидец... Побродит потом по знакомым улочкам, посмотрит хотя бы издали на альма-матер, поклонится могиле учителя и обязательно отыщет Никитенко. Грешно обойти его, не пригласить к себе. Поручик, нечаянный приятель, не подозревает, как много значил его неожиданный визит на хутор. Если бы не он, возможно, и до сих пор Иван не имел бы понятия, о судьбе своего детища. Не знал бы, что "Энеиду" читают и даже ищут, повсеместно находятся доброхоты-переписчики, и, благодаря им, она ходит между людьми, путешествует по бесконечным трактам империи, ночует в избах для проезжающих, помогает коротать бессонные ночи в кельях монахам и послушникам, веселит сердца невольников, которые непонятно каким образом узнают о ней и, несмотря на неграмотность свою, передают поэму из уст в уста.

Это радостно и тревожно: а вдруг сие увлечение лишь дань моде, а пройдет какое-то время — и все минет, забудется, как и многое другое, что современникам казалось вечным и нерушимым? Разве не известны подобные примеры? Их сколько угодно.

Слава эфемерна, капризна, как заносчивая, слишком мнящая о себе барышня: сегодня, неожиданно посетив тебя, пригреет, обласкает и даже обнадежит, а минет день, два — и, внезапно охладев, уйдет, не простившись, исчезнет навсегда. Но бог с ней, со славой! Не ради этой капризной панночки он работал, не зная ни дня ни ночи. Было кое-что важнее воздушного призрака.

И вообще — достаточно об этом. Идет весна. А это прекрасно.

Уже схлынули паводковые воды в Супое и открылись изумрудные луга, лес оживает, вот-вот оденется в шумный зеленый наряд. Завтра — воскресенье, целый день свободный, и можно с утра до вечера бродить по лугам и словно случайно встретиться там с Машей. Она расскажет о поездке в Драбов, еще что-нибудь. А потом он откроется ей и спросит, что думает она о своем сумасбродном учителе? Достоин ли он человеческого счастья? Только бы решиться. Раньше уже не однажды пытался заговорить с ней о самом заветном и... обращал все в шутку, мешала излишняя деликатность, сковывала непонятная робость, терял дар речи и вызывал лишь насмешку. "А еще поэт", — говорил ее взгляд. "Конечно, ты права. Но разве я виноват? Будь ты не так красива, я был бы смелее. Но ты лучше всех на свете, и я боюсь услышать одно-единственное слово, которое не оставит никакой надежды. Тогда всему конец..."

Однако дальше так продолжаться не может. Завтра все решится, и пусть катится ко всем чертям этот старый золотоношский хрыч, снова зачистивший на хутор. Маша не желает его ухаживаний, его подарков и страдает, что, боясь обидеть дядюшку, не в силах прямо отвергнуть эти несносные ухаживанья. А они все настойчивее.

Итак — завтра на хуторском выгоне соберутся девчата и хлопцы, будет музыка, игры и танцы. Маша обязательно отпросится у дядюшки, и он, незадачливый воздыхатель, будет там. Припасена и одежда: свитка, шапка, сапоги, шаровары и красный, почти в две сажени длины, пояс.

Кончится вечер — и они пойдут вместе, их никто не увидит на берегу.

А пока — за работу. В работе легче и быстрее бежит время...

Окно оставалось открытым, свежий воздух заливал комнату, и, хотя было уже довольно свежо, Иван не чувствовал прохлады. Придвинув к себе книгу, читал, заслонив от дуновений ветра подсвечник раскрытым томом "Телемахида".

14

На сельском выгоне, под старыми вербами, сначала под дуду плясали "третьяка". Сыновья деда Савки, плечистые и крепкие, как дубки, — первые хуторские танцоры — такие откалывали коленца, танцевали так дружно и с таким увлечением, что никто не мог устоять на месте, и все вскоре втянулись в круг.

Когда же Нечипор — знаменитый мастер на дуде — запросил отдыха, в дело вступил бандурист — сам дед Савка. Покашляв для порядка и подкрутив седой ус, ударил по струнам и принялся подпевать. Это была "горлица", которую танцевали девушки. Они собрались в кружок, развернулись и пошли выписывать удивительные узоры. Парубки, стоявшие в стороне, чтобы не мешать танцующим, казались безразличными, ничего не замечали, но каждый ненароком, будто случайно, кидал короткий, весьма выразительный взгляд на чернобровую Ганну или белявенькую Фроську, что первые шли по кругу, гордые, красивые, в запасах и корсетках, с лентами в косах, в красных сапожках. Кто раз посмотрел на них, тот, пожалуй, не мог уже оторвать взгляда и следил за каждым их движением, полным грации, естественности и красоты.

Затихла бандура — и пастух Семен Струк на сопилке заиграл "зуба". Тут уже хлопцы стали хозяевами утрамбованного точка и так заработали каблуками, что девчата перестали шушукаться и без снисходительных улыбок наблюдали за танцем, а кое-кто и вскрикивал, видя, как стремительно, на всем ходу в воздухе переворачивается младший сын деда Савки — чернобровый Гордей.

Пришла и троистая музыка: скрипка, басоль и бубен. И снова за "санжаркой" следовал "журавель", танец сменялся танцем, весьма отличным от предыдущих.

Шумел сельский выгон под старыми вербами. Стонала земля под усердными сапожками, аккуратными постоликами и чеботами.

Зачарованная музыкой, плыла над хутором весенняя ночь. В лунном сиянии, будто нарисованные, застыли мазанки, разбросанные на пригорках и над Сулоем, темнели сады. В предчувствии теплых дней и весеннего дождя, тянули деревья к звездному небу оголенные, но уже полные соков ветви.

Хутор отдыхал после трудового дня. А здесь, на выгоне, на старых колодках, что под тынами лежат испокон веку, утомленные от танцев, пели девчата, хлопцы стояли, сбившись в круг, и подпевали. Некоторые из них прибежали сюда, не успев ополоснуть лицо, не поев, едва отряхнув полевую пыль. Они будут сидеть здесь до вторых петухов, потом разойдутся по мазанкам, чтобы рано встать и снова бежать в поле, на барщину, пахать господское поле, а потом уже и свой клочок возле хаты. Но что бы там ни было, а как вечер, так и тянет молодых на старые колодки. Разве останешься дома, если бубен, словно живой, вырывается из рук чубатого хлопца и просит, кличет к себе, а ноги сами несутся по точку, вяжут, плетут круги и полукружья?

Котляревский, переодетый, в свитке и шапке, сбитой набок, кареглазый и стройный, забывал тоже в эти минуты обо всем на свете. Ему было по-настоящему весело. Бросив свитку на плетень, он держал в своей руке небольшую твердую ладонь Ганны, близко от себя видел влажные, чуть удивленные и задорные ее глаза, отчетливо слышал пьянящий запах любистка, что источали косы, слышал ее учащенный стук сердца возле своего и легко шел в танце, не чувствуя ног. Кончив танцевать, сразу же бежал к игравшим в "жгута", переходил к тем, что увлеклись горелками, и снова танцевал "дудочку", а потом наблюдал, как играют в "носок" и "хлюста".

Наконец уставший, но счастливый, отходил от гурта куда-нибудь подальше, за ближний сарай, чтобы отдышаться, и незаметно от всех доставал самодельную записную книжку и записывал — для памяти — названия танцев, музыкальных инструментов и текст только что услышанной песни. А потом, возвращаясь, издали видел Машу, которая тоже, наверно, позабыв обо всем на свете, легко кружилась в немыслимо быстром танце, видел ее зеленую корсетку, багряную, огнем помигивающую, юбочку. Кто-то из парубков подхватывал ее и словно нес на могучих руках, она летела, счастливая, легкая, как птица. Иван видел ее милое лицо, снявшие глаза, и ему становилось и весело, и немножко грустно...

В этот вечер возвращались они домой поздно. Затихал выгон, и весь хутор замирал в одночасье, лишь то там, то здесь слышался девичий вскрик, смех, оклик. И вот уже

ничего нет.

— А я и не знала, что вы так танцуете, — сказала, едва отдышавшись, Маша.

— Да с Ганной кто угодно станет хорошим танцором.

— Вам она нравится?

— Хорошая дивчина. И вообще хороший вечер сегодня. Давно такого не было.

Правда?

— Правда.

А игры какие! Таких до сих пор не видел. Их-то мне и не хватало. — Иван задумался, лицо его было освещено яркой луной. — Маша! Задержитесь. Прошу! Послушайте. Как вам покажутся стихи сии?

Бандура горлиці бренчала,

Сопілка зуба затинала.

А дудка грала на балках;

Санжарівки на скрипці грали.

Кругом дівчата танцювали

В дробушках, чоботах, свитках...

Прочитав стихи, Иван повторил их еще раз, чтобы запомнить и позже записать. Маша, причастная к необычному таинству рождения новых стихов, слушала, стараясь не пропустить ни одного слова.

Ночь шла на убыль. Над головой пролетали с тихим гоготаньем гусиные стаи, слышался звонкий свист куликов. Под тыном журчал неугомонный ручей, отражая в своем зеркале несколько лун сразу.

— Куда же вы эти стихи?

— В поэму... В первую часть. Там им место, думаю.

— Наверно, вы правы.

Прошли мосток, перекинутый через ручей, и оказались почти у самого господского двора.

— Мне пора, Иван Петрович.

— Не торопись, Маша. Какая ночь нынче! Грех сидеть в хате и не видеть этого мира.

— Меня искать будут... А что я скажу? Стыдно ведь. А вам бы лучше с Ганной постоять.

— С Ганной? Да она ведь в самом деле хорошая, — усмехнулся Иван. — Только ж никто не сравнится с тобой, Маша.

— Смеетесь надо мной?

— Смеюсь? — Иван крепко сжал руку девушки, — Неужто ты ничего не видишь? Могу ли я смеяться? Я давно хотел сказать тебе: одно лишь твое слово — и мы будем счастливы...

— Счастливы? — горько усмехнулась Маша. — Чего ж раньше молчали? А теперь... — И не договорила.

— Что случилось? — Иван встревоженно всматривался в бледное лицо девушки.



— Ничего не знаете, не видите. Думаете, так просто ездит сюда пан Семикоп?..

— Он же старый. Как можно? — вскрикнул Иван.

— Старый. А вы — слепой. Я ведь дочь Семена Гервасиевича, хотя и приемная... Как же ослушаюсь? — И Маша залилась слезами, приникла к Ивану, затихла. — Я ведь люблю вас. Люблю давно и не знаю, что делать с собой.

— Маша! Машенька, и я... и я люблю! — задохнулся вдруг Иван. — Оставим все, уедем! У меня мать, она будет и тебе матерью. Уедем!.. — быстро и горячо заговорил Иван, вытирая мокрое лицо Маши своим платком.

— Боюсь я! Боюсь! Грешно это! Без благословенья — как же?

— Машенька! Перед богом и людьми клянусь тебе! Ты слышишь?

— Слышу, родной мой! Слышу все. Но... завтра мы увидимся. Завтра все и решится.

— Завтра ты выйдешь в сад, к беседке. Слышишь, к беседке!.. А утром я пойду к дядюшке.

— Слышу! — Маша еще раз прильнула к нему, потянувшись вверх, ткнулась пухлыми влажными губами ему в щеку. Иван робко поцеловал ее, и Маша, улыбнувшись сквозь слезы, побежала к дому, тускло светившемуся за деревьями белыми окнами.

15

Утром Иван решил поговорить с Семеном Гервасиевичем и тщательно готовился к этому. Он надеялся, что Голубович не откажет ему. Сам не раз говорил, что любит учителя за веселый нрав, умение поддержать непринужденную беседу, за меткое, сказанное вовремя слово, ценил ум и образованность его, до слез, случалось, хохотал, слушая "Энеиду" в чтении автора.

— Ну и мастак! — не раз повторял Семен Гервасиевич. — Так и уморить недолго.

И вот теперь он шел к нему с единственной просьбой: не перечить счастью его и Маши, благословить их вечный союз.

В гостиной еще стоял утренний сумрак, пусто было и в диванной, никто из господских не выходил, лишь в кабинете, где по утрам работал сам хозяин, горели свечи, из полуотворенной двери свет падал на шитый ковер; сонные голоса дворовых слышались в людской, одна из кухарок, а может, ключница, сердито кого-то звала: "Васько, где ты там застрял, окаянный?" Все обычно, как бывает в господском доме в утренние ранние часы.

Иван приблизился к кабинету и отдышался: не бежал, не торопился, а дух перевести надо.

Голубович, в халате, в ночном колпаке, сидел за столом, перед ним лежали какие-то бумаги, которые он, водрузив на нос очки в железной оправе, читал, шевеля губами.

Иван осторожно постучал.

— Кто там? А-а, пан учитель? Входи, входи...

Иван вошел — в лучшем своем сюртуке, белоснежной сорочке, словно впереди был большой праздничный день, ради которого он и вырядился. Голубович, почувствовав, что учитель пришел так рано неспроста, застегнул халат на две большие пуговицы:

— Ну садись.

— Спасибо!.. Я по делу, очень важному для меня.

Голубович пристально посмотрел на учителя и, опустив голову, вздохнул:

— Важное, говоришь? — Искоса взглянул на лежащие перед ним бумаги. — А у меня, думаешь, нет дел? Ого, братец, сколько их! Вот и приходится ни свет ни заря вставать, сидеть и смотреть, чтобы свести концы с концами. Понадейся на Мюллера — в трубу вылетишь с потрохами.

— Милостивый государь Семен Гервасиевич, — уловив момент, когда Голубович сделал передышку, сказал Иван. — Я пришел к вам говорить о своей судьбе. От вас лично зависит, будет ли она устроена. Только от вас...

— Что ты загадками изъясняешься? Я разве твоей судьбе противник? — перебил Голубович. — Разве тебе плохо в моем доме? Мало жалованья? Так больше, сударь, не могу-с... В будущем году — вынужден сказать — и того меньше будет, так как вхожу в большие расходы в связи с предстоящей свадьбой моей воспитанницы.

— Свадьбой? С кем? — едва слышно спросил Иван. — О чем вы, сударь?

— О свадьбе толкую. Уже договорено... Пан Семикоп — человек достойный. Он составит счастье моей воспитанницы. — Голубович вдруг прослезился, — Она единственное мое утешение, вся радость, ангел суший, но придется расстаться, отдать в чужой дом. Если бы в комнате разразился гром, он бы не так поразил Ивана, как сказанное Голубовичем. В груди стало пусто, перед глазами поплыли зеленые круги, и только страшным усилием воли он сумел удержаться на ногах.

— Что же ты так побледнел? Плохо тебе? — как сквозь вату донесся глуховатый голос Голубовича. Иван ничего не видел, ничего не слышал. Он повернулся, чтобы уйти, дошел до порога и тут только осознал весь ужас случившегося, рывком вернулся к столу:

— Что вы наделали? Как можно, не спросив согласия, отдавать за старика молодую девушку? Боже, что вы наделали?! Ведь она!.. Ведь я!.. Мы!.. Какое несчастье!

С Голубовича вмиг слетела обычная его благодушность, он встал, лицо неузнаваемо отвердело:

— Сударь, как вы смеете мне такое говорить? Может, прикажете отдать Машу за вас? Так, что ли? Я давно вижу, как вы смотрите на нее. Но этому не бывать... пока я жив! Чтобы мою дочь возили из поместья в поместье без куска хлеба! Чтобы жила под чужим кровом?!

— Я дворянин, сударь, вы забываетесь!

— Дворянин на бумаге, а в действительности — канцелярист, учитель... Ан нет, вы еще и виршемаз... Может, и доброе то дело, но хлеба оно не даст, не принесет и чести. Так что не взыщите на слове: ваше дело, сударь, молча есть хлеб и служить...

— Мне жаль ваши седины... Вы сделали несчастной свою дочь... Ну вот... Мне больше незачем оставаться здесь. Прощайте!..

Иван почти выбежал из комнаты, вдогонку что-то говорил Голубович, он же ничего не слышал.

Не помнил, как добрался к себе. Не раздеваясь, сел к столу. Уронив голову на руки, долго сидел без мысли, казалось, и без сознания. Его позвали в столовую, он не откликнулся.

За дверь ходили, кто-то стучал, слышались голоса. Снова кто-то стучал. И поскольку он не отвечал, дверь неслышно отворилась:

— Иван Петрович?

Невидяще посмотрел на человека, стоявшего у порога.

— Иван Петрович!.. Это я — Ивга. Горничная барышни. Они вам записку передали. Возьмите. Да возьмите же!.. И порвите сразу.

Иван машинально развернул записку и несколько минут не мог читать, слова сливались. Записка? От Маши? Он опомнился, впился взглядом в развернутый листок. Там было всего несколько строк:

"Иван Петрович, дорогой мой, я не могу писать подробно, за мной следят и не выпускают за порог комнаты... Отец меня продал: за лес, рысаков. Продал и теперь плачет, а мне уже все безразлично. В груди нет сердца — один лед. Я должна покориться судьбе. Такова воля божья. Не судите меня строго, я, наверно, слабая и никогда себе этого не прощу. Всегда буду помнить вас. Прощайте, дорогой учитель!"

Дочитав, машинально перевернул листок: нет, обратная сторона была чистой.

Встал, чтобы идти, бежать. Какое несчастье: гибнет человек! Но куда бежать? Его не пустят. А если и пустят, что это изменит? "Такова воля божья". Зачем она так написала? Почему не написала: "Забери меня, увези!" Нет, она написала другое: "Я слабая". Какое горе! И все же он должен ее видеть, сейчас же, немедленно. Выбежал в коридор и лицом к лицу столкнулся с горничной. "Что?" — "Увезли ее... вот только что". — "Куда?" — "Никто не знает... Увезли, пан учитель". Закрыв заплаканное лицо, Ивга убежала.

"Увезли! Увезли!" — долбило в виски. Куда же идти? Зачем? Но и здесь он не может оставаться ни одной лишней минуты. Значит — в Полтаву. Да, да, только в Полтаву! К матушке. Он ведь хотел к ней ехать, просить благословенья. Какого благословенья? Ах, да! Уже благословили, да еще как — словно обухом по голове. Нет, он уедет. Через неделю будет дома. Там и воздух другой. Мать его не осудит. В Полтаве живет и Никитенко, его нечаянный приятель. Как он мог забыть о нем?! Он добрый человек, приглашал к себе в гости, в полк. Но все это потом, позже. Главное — нынче уйти отсюда, и чем скорее, тем лучше; нечем дышать, совсем нет воздуха...

Иван уложил в баул бумаги, вещи, несколько книг. Остальные книги он оставлял, пусть пользуются Саша и Костя, они им пригодятся, а ему теперь... зачем ему теперь книги? Обойдется и без них.

Он оделся кое-как и черным ходом вышел в сад. Ни с кем не простился, ни с кем не поговорил.

Шел через хутор со своим баулом, не видя ни дороги, ни белого света. Поднявшийся ветер толкнул его — и он пошел быстрее.

Показалось: кто-то в доме закричал, крик разрезал воздух, как ножом, в самое

сердце ударил. Он обернулся: не его ли зовут? Дом, в котором он провел более двух лет, был слепым: наглухо зашторенные окна, и ни в одном — живого лица, сплошная белая стена. Только в крайнем вдруг отвернулась занавеска и к самому стеклу прижалось лицо, волосы, глаза. Неужто?..

Нет, ничего нет. Она уехала. Ее увезли, силой увезли, и никто не знает куда... Все показалось. И крик тоже почудился.

Он стоял на середине дороги и не заметил подвод, скатившихся с горы.

Агов, пан учитель!

Иван обернулся. Дед Савка, черный как жук, сидел на одном из возов, его младший сын Гордей — на другом. Увидев баул в руках учителя, Савка спросил:

— Далеко собрался, пан учитель?

— Пока в Золотоношу, а там — в Полтаву.

— Долго придется грязь месить. — Старый возчик оглянулся — на господском дворе никого. — Так, может, с нами? В Полтаву не с руки нам пока, а в Золотоношу подкинем. В лес едем. Так что садись, пан учитель, ибо в ногах правды нет.

— Вот сюда, — Гордей подвинулся, освобождая место на своем возу. Иван, однако, не сел, положил баул и пошел вслед за подводой.

Дорога, особенно в низинах, еще не подсохла, и сапоги грузли почти по щиколотки, но он прошел через весь хутор и, когда позади остались последние мазанки, снова оглянулся.

Разросшийся сад почти полностью закрывал господский дом: темные, еще не выпустившие листья ветви нависли над крыльцом, сеткой перечеркнули полукруглые окна. За домом высоко в небо вздымались темноствольные осины, на самых вершинах которых чернели гнезда аистов, птицы несколько дней тому назад вернулись из дальних странствий, но уже успели найти свои жилища и вымостить их; теперь почти в каждом гнездовье стояло по одному стражу — белые, на тонких длинных ногах. Показалось: они провожали его, глядя молчаливо вслед.

Подводчики, придержав лошадей, терпеливо ждали, может, догадываясь, что происходит с учителем, и сочувствуя ему.

Он же ничего не видел, кроме весеннего сада, перечеркнутых ветвями окон... Вот и все, Иванко, кончилась твоя служба в домашних учителях, ушло еще несколько лет жизни, и, как те аисты, ты тоже возвращаешься домой, в свое гнездовье.

— Поедем, пан учитель? — осторожно спросил Савка.

— Поедем. — Очнувшись, Иван вдруг совсем некстати вспомнил поручика Никитенко и его странные слова: "Вам бы, сударь, военным быть..." Военным? А может, и прав Никитенко, такой же, как и он, отпрыск обедневшего дворянского рода. Кто знает, пути господни неисповедимы.

— Может, плохо вам, пан учитель? — участливо спросил старый Савка и подслеповато, вытирая нагнанную ветром слезу, поглядывал на Котляревского: высокий, тонкий, тот шатался под степным свежаком — вот-вот сломится, упадет.

— Спасибо, мне уже лучше.

"Лучше и быть не может", — подумал Иван и опустил голову.

Савка усадил учителя на свой воз, покашлял и, блестя молодыми глазами из-под седых бровей, сказал:

— Весна, пан учитель, не за горами. И поверьте старому Савке: от хвороб всяких нет амброзии лучшей, чем весна. Попомните слово... Гей-гей, соколики? — Натянул вожжи, взмахнул кнутом.

Воз катился с пригорка, подгоняемый ветром, словно совсем без веса, легкий, просушенный солнцем. И каждый раз, когда бег замедлялся, появлялось острое желание обернуться, взглянуть хотя бы одним глазом: а виден ли еще Супой, и дом над ним, и сад? Но что там теперь? Пусто, одиноко, беспрютно.

Потрясая гривами, раскачивая дугами, лошади легко бежали по сухому отвердевшему проселку — все ближе к чумацкому большаку, уходящему за степные могилы, в разорванные белые тучи.

Встречный ветер, по-весеннему свежий, трепал волосы, остужал лицо и грудь, свистел в придорожных вербах, низко, до самой земли клонил тонкие ветки, гнал по черной степи серые шары перекасти поля...

Спустя неделю, уставший, в дорожной пыли, Иван переступил порог отцовского дома. Все здесь было как прежде, как три года тому назад: сушеные травы в сенах, те же виды вокруг: Ворскла, заречные сизоватые луга, старая груша у веранды, грай черного воронья над Мазуровкой и — тишина, покой, исходивший от всего окружающего.

Мать не знала, где посадить и чем потчевать дорогого гостя, а когда он сказал, что вернулся домой насовсем, она обрадовалась еще больше. Благодаря неусыпным заботам матери, Иван нашел относительное душевное равновесие. Мать ни о чем не спрашивала — никогда не была назойливой, — но чувствовала, сердце подсказывало: ее любимый и единственный сын, надежда и опора в старости, о котором все ее заботы, мысли, тревоги, бессонные ночи, — ее сын много пережил, что-то тяжелое лежит у него на сердце и его надобно осторожно врачевать, отвлечь от прошлого.

Как всегда, Иван был ласков и добр с матерью, но в глазах, во всем облике — он похудел, хотя внешне я не изменился, — просматривалась денно и ночью гложущая его тоска.

На третий день после приезда побывал на могиле Иоанна Станиславского, проведаль хворавшего в последние годы и как-то сразу постаревшего отца Батянского, встретился со старыми приятелями из канцелярии. Они очень обрадовались ему, зазвали к себе, угостили, многое рассказали. А Федор Миклашевский, женившийся уже, ставший, как и мечтал, протоколистом, узнав о его приезде, прибежал домой, умолял подать прошение о зачислении на вакантное место второго протоколиста — благо Новожилова убрали и теперь у них новый начальник, не буквоед, не злой и, кажется, не придира, и, стало быть, жить пока можно.

Иван был рад товарищу, мать выставила на стол пироги с вишней и собственного приготовления смородиновую наливку. Они долго сидели, вспоминали прошлое:

семинарию, походы в дни летних кондиций, учителей и товарищей, и все сколько-нибудь памятные приключения. Мать украдкой вытирала слезу, видя сына оживленным, а в душе молила мать божью, чтобы Федору удалось уговорить его; стал бы снова канцеляристом, а там, может, и невестку привел в дом. Как бы это было хорошо! В один какой-то миг показалось: он согласен.

А спустя два дня после посещения Миклашевского Иван пришел и сказал, что побывал в полку — увидели старые знакомые и затащили. Господа офицеры и особенно Никитенко уговаривают идти на военную службу и он не знает, как быть, не решился еще: он хотел знать, как думает мать, одобряет его выбор или станет возражать. Она промолчала: ее сын — военный? Не об этом она мечтала.

Два дня они говорили о чем угодно, только не о будущей службе. Но мать видела: сына что-то мучает, тоска по-прежнему гложет его, и тогда она сама сказала, что хотела бы видеть Ивана военным.

— Я сон такой видела... Ну, а пожелаешь, выйдешь в отставку.

Иван молча поцеловал ей руку.

В том же 1796 году Котляревский был зачислен в Северский карабинерный полк кадетом. Начальство вскоре заметило его усердие, умение быстро постигать военное дело, товарищи приняли в свой круг, полюбили за веселый нрав, меткое слово, доброе сердце.

Спустя четыре месяца уже немолодой кадет Котляревский был произведен в аудиторы. В этом звании он прослужил два года, а затем вышло новое повышение: ему присвоили прапорщика. Спустя еще год, в 1799-м, он — подпоручик и ровно через месяц — поручик.

Северский карабинерный полк, впоследствии переименованный в драгунский, а затем в конноегерский, в самом начале русско-турецкой войны оказался на юге в составе действующей Задунайской армии.

К этому времени Котляревский служит в должности адъютанта у генерала от кавалерии маркиза Дотишампа. Маркиз весьма доволен офицером и 15 февраля 1806 года в местечке Народичи пишет отличный аттестат на повышение его в чине. Производство не затянулось. В том же году Котляревский — штабс-капитан и, кроме того, в новой должности — адъютант командующего корпусом барона Мейендорфа.

В конце 1806 года корпус занял крепость Бендеры и готовился к броску через Буджацкие степи под Измаил, чтобы взять его, если враг не капитулирует, штурмом. Но прежде чем 2-й корпус совершил переход через степи, была выполнена особая миссия, которая имела весьма важные последствия на весь ход южной кампании. Непосредственное участие в означенной миссии принял и адъютант командующего штабс-капитан Котляревский...

## КНИГА ВТОРАЯ. ОСОБАЯ МИССИЯ

### 1

Конец ноября в тот год был сырой и холодный.

Трое суток подряд шли густые беспросветные дожди, дороги, и без того плохие,

совсем развезло, воздух пропитался влагой. Но четвертого дня ветер разогнал тучи, дождь перестал и даже слегка подморозило. К полудню Буджацкая степь, сколько можно видеть, подернулась серым пламенем инея, тускло блестевшим под неприветным осенним солнцем.

Немного позже, в предвечерний час, по дороге, ведущей в Бендеры, обогнав военный обоз из двенадцати пароконных фур, ехали двое: штабс-капитан на кауrom поджаром мерине и вслед за ним, не отставая ни на шаг, на крепком татарском коньке солдат.

Стелился степью розоватый туман, заволакивая камышовые заросли на болотах, пригорки и буераки, плыл и плыл, неизвестно откуда появившись и неведомо куда исчезая, будто само время, что подобно текучему туману, без конца и начала.

Прямо по дороге — древней мечетью, караван-сараем при въезде, мрачными стенами крепости — угадывались Бендеры. Лошади, чувствуя приближение жилья, а, стало быть, отдыха и свежего корма, шли ходко, без принужденья. Но путники, примерно в трех верстах от городка, свернули на проселок, черной полосой врезавшийся в сизую степь и ведущий в селенье, закрытое леском из молодых тополей.

У первых посадок сдержали лошадей.

— Заедем на часок — и домой, — сказал штабс-капитан, не оборачиваясь. — Проведаем своих. Давненько ж не были.

Пантелей — так звали солдата — пожал плечами: была б забота спрашивать, все едино сделаешь по-своему, господин штабс-капитан. Однако сказал:

— На часок-то можно. Да не отпустят вас так просто. За стол посадят. А там, гляди, и ночь прихватим. Что ж потом его превосходительство скажут?

— Да ты, Пантелей, о господине бароне больше заботишься? — усмехнулся штабс-капитан. — Однако ты прав. Но подумай, к кому едем? Мои сослуживцы. Драгуны. Гроза супостата. Шутка ли?

— Так я ж про то и не говорю. Я, ваше благородие, Иван Петрович, о вас забочусь. Да и вы сами думали в Бендерах беспрерывно сегодня быть.

— Верно, друже. Но у нас в Полтаве на сей предмет говорят так: успеем с козами на торг. А пану нашему, сиречь командующему, чего-нибудь да скажем. — Лукавая улыбка осветила на миг тонкое, обветренное и потому словно бронзовое лицо штабс-капитана. — Коли не ты, кто выдаст?

Пантелей удивленно хмыкнул, удивление тотчас сменилось обидой:

— И не грех вам, ваше благородие? Или я способен на такое?

— Ого, обиделся! Негоже так, Пантелей. Шутки не разумеешь?

— Так и шутки всякие бывают... Да я ж за вас... Да что там!.. — Пантелей махнул рукой, не договорил, во взгляде отразилась такая преданность, что штабс-капитан смутился:

— Знаю... Спасибо за доброе сердце! С таким, как ты, служить — беды не знать... Ну и кончим на том. Больше часа не загостимся. А коли что — напомни. Обязательно!.. Как там, на Дунае, помнишь?..

Штабс-капитан потянул повод на себя и отпустил — каурый сразу перешел на рысь.

Пантелей тоже тронул повод, хотя его конек и без того рванулся вперед, чтобы не отстать от каурого, более того — старался пойти с ним рядом, а то я опередить, Пантелею стоило труда придерживать его, чтобы не забежал вперед.

До самого селения путники больше не заговаривали, каждый думал о своем...

Штабс-капитан не без тайного удовольствия наблюдал, как ладно держится в седле ординарец, словно бы он сам его научил этому. Нравилась штабс-капитану и расторопность солдата, старательность. Случалось, он прямо говорил об этом Пантелею, хотя другие офицеры штаба подобного никогда не позволяли себе и ему не советовали, напротив — "следует больше требовать, чтобы не разбаловать подчиненного". Вот бригадир Катаржи — человек, как все, и товарищ неплохой, а к ординарцу относится — хуже некуда, штабс-капитан не мог даже говорить об этом спокойно, а Катаржи обычно отшучивался: "Распусти его — у него будешь ординарцем..." Не понимал Катаржи, что и солдат — человек с головой и сердцем. У штабс-капитана само собой все получалось, он не мог иначе, не мог понапрасну сердиться, требовать непосильного. Именно поэтому с ординарцем у него сложились товарищеские отношения. И Пантелей платил ему душевным теплом, полным доверием, был заботлив, как добрая нянька...

Уже на марше штабс-капитан простудился и дней семь провалялся в жестокой горячке. Пантелей доставил его в походный лазарет и не отходил в течение всей болезни. Кто знает, где доставал мед, какие-то целебные травы, липовый цвет, варил чай, поил, ухаживал, как за малым ребенком, удивляя фельдшеров лазарета. И те почти полностью доверили ему уход за офицером, да, собственно, лучшего ухода они бы и не дали. В селянской хате, где поместили штабс-капитана, Пантелей стелил себе конскую попону на полу, возле кровати больного. Однажды штабс-капитан проснулся среди ночи и увидел в неярком лунном свете дремлющего Пантелея, боялся повернуться, чтобы не разбудить его, и все же тот услышал, вскочил и очень встревожился, что позволил себе вздремнуть...

О своем прошлом Пантелей рассказывал скупο и неохотно. И штабс-капитан не настаивал. Но в дни болезни, коротая длинные осенние вечера в одной хате, ординарец мало-помалу разговорился и рассказал о себе. Родом он из Великой Багачки, есть у него отец и мать, две сестры. Уже скоро четыре года, как увезли Пантелея из родного дома, надели солдатский мундир, с тех пор он не знает о своих, и вообще не знает, живы ли, может, "милосердная" барыня замордовала стариков, а сестер продала неизвестно куда.

Накануне отъезда, когда болезнь прошла и лекарь разрешил догонять ушедшие вперед войска, по давнишней привычке штабс-капитан поднялся рано. Пантелея в хате не оказалось. Выглянув в окно, увидел его возле коней, ординарец только что кончил чистку и теперь поил их. Утро было тихое, свежее. Где-то слева, за высокими старыми кленами, всходило солнце.

Штабс-капитан набросил на плечи шинель и, открыв дверь, услышал песню.



Красивая мелодия. Кто бы это? Прислушался. Никак Пантелей? Так и есть. Его голос. Грустный, а слова песни совсем незнакомые. Слова? Но, боже мой, они сердце жгут, будоражат разум!

Пантелей, уверенный, что его никто не слышит, пел очень свободно и естественно. И штабс-капитан невольно заслушался. Запахнув шинель, застыл у порога.

...Оторвали хлопца от родных, разлучили с отцом-матерью, и теперь не знает он их судьбы — их доли горькой. Ничего не знает, не ведает, а дня проходят, тянутся бесконечной вереницей, пока не сложит он свою буйную головушку на чужом поле, под чужим небом. А если жив останется, то обязательно вернется на родину, встретится со своими побратимами, вместе пойдут они на поклон к госпоже "милосердной", вспомнят ей муки мученические, слезы тайные и явные, ничего не забудут — и не будет ей пощады! Весь род ее постигнет жестокая кара...

Необыкновенной силы песня. Она захватила штабс-капитана, сам не зная каким образом, он поддался ее непостижимому очарованию, большому чувству, вложенному в каждое слово и каждый звук.

Но вот певец умолк, песня затихла, и штабс-капитан невольно сделал шаг, дверь скрипнула. Ординарец услышал, обернулся, увидев командира, застыл среди двора ни жив ни мертв.

— Что за песня такая? Где слышал ее?

Ординарец не отвечал. И штабс-капитана осенила догадка:

— Сам сочинил?

Пантелей покорно кивнул:

— Теперь ваша воля казнить или миловать. Да мне все равно — одна, видно, доля.

Штабс-капитан не знал, что ответить: столько горя, отчаяния в словах солдата. "Что хотите, то и делайте". Это до глубины души растревожило и... рассердило. Выходит, в глазах ординарца он и не человек?

— Дурень. Дурень и есть.

— Сдурел, пане штабс-капитан.

— Ничего, поживешь — поумнеешь... А теперь вот что. Пока не отъехали — найди бумагу, каламарь да перья очини получше.

— Слушаю, ваше благородие.

Штабс-капитан сейчас напишет командиру полка — и Пантелея предадут суду и жестокой расправе. Конечно, так и будет. Разве за такие песни милуют? Бунтарские песни! Гайдамацкие! Он поплелся к переметным сумам, достал два листка бумаги, дорожный каламарь, несколько впрок заготовленных гусиных перьев. Все это положил на стол, за которым в наброшенной на плечи шинели уже сидел штабс-капитан.

— Садись и ты.

— Постою.

— Можешь, если угодно... Но сядь все-таки, Так-с. А теперь назови мне имя отца и матери твоих, сестер и родичей близких.

Солдат недоуменно смотрел на штабс-капитана. По широкоскулому лицу текли

крупные капли пота.

— Не разумеешь?

Пантелей набрал в грудь воздуха, выдохнул:

— А для чего то, пане?

— Он еще спрашивает! Дьячок в селе есть?

— Как же без дьячка? На все село один.

— Значит, прочитает. И отпишет. Мы его попросим... Ну так долго мне ждать? Или ты забыл, как их зовут?

— Помню, пане... да...

— Не разумеешь? Писать будем. Скажи, что бы ты хотел отписать домой?

Пантелей медленно, будто у него подломились ноги, опустился на колени и стал креститься. Подняв глаза к деревянным закопченным ликам святых, хмуро смотревшим на него из красного угла, он шептал слова молитвы, и слезы текли по обветренным грубым щекам, но он их не стыдился и все крестился и крестился. Штабс-капитан был не в силах остановить его, не мог и приказать встать с пола.

В то утро в Великую Багачку было отправлено письмо. Начиналось оно, известное дело, с пожеланий доброго здоровья всем родным Пантелея; кроме отца, матери и сестер, поименно перечислялись все тетки, сватья, кумовья, двоюродные и троюродные сестры и братья; о себе же Пантелей сообщал кратко: жив-здоров, служит, бог, наверно, не оставил его своей милостью и послал ему доброго командира, за которого — имя его Иван, а отчество Петрович — он просит всю родню помолиться. Штабс-капитан отказался было писать об этом, но Пантелей заупрямился, сказал, что если в письме не будет этого, то ему вообще никакого письма не надо. Пришлось согласиться.

Походные марши в те времена совершались довольно медленно, и случалось, выпадали свободные минуты и часы на привалах, а иногда даже и целые дни отдыха. Это время штабс-капитан использовал, чтобы научить ординарца грамоте. Когда Пантелей стал отличать "аз" от "буки" и "веди", приступили к дальнейшему обучению. Пантелей оказался весьма смысленным и старательным. В какой-то месяц одолел азбуку, стал писать и читать — правда, еще слишком медленно, по слогам, но полученный вскоре ответ из дому уже прочитал сам. Читал он его долго, по буквам, еле сдерживая слезы радости. Глядя на него, штабс-капитан радовался и сам...

Помещице — владелице имения в Великой Багачке — штабс-капитан отписал особо. Просил быть человечнее к престарелым родителям Пантелея Ганжи, то есть его ординарца, который верой и правдой служит царю и отечеству и теперь вместе с ним идет на войну против турецких басурманов за землю Русскую. Об этом письме штабс-капитан никому не рассказывал. Да и зачем?..

Пантелей, следуя за командиром, не подозревал, что тот думает, чему загадочно улыбается. Его заботило только одно: поскорее выбраться из селения, чтобы успеть в Бендеры, где штабс-капитан непременно должен сегодня доложить командующему о результатах трехдневной поездки на Дунай. С некоторого времени главной заботой Пантелея стало благополучие его господина. Об этом солдат думал постоянно. И если

бы его спросили, есть ли у него на этом свете близкие и дорогие люди, Пантелей Ганжа, родом из Великой Багачки, что на Пеле, не колеблясь, первым назвал бы Ивана Петровича Котляревского, нынешнего адъютанта командующего вторым корпусом Задунайской армии...

Сельцо выглянуло как-то внезапно из-за отступивших назад молоденьких тополей. Соломенные крыши, квадратные оконца, затянутые едва просвечивавшей кожей, почерневшие низкие плетни, островерхие стожки на задах. Молдавия во многом напоминала Украину где-нибудь по Ворскле или Пслу. Пантелей хотел было сказать об этом Ивану Петровичу, но не успел: из-за ближнего стожка показались три всадника, в переднем путники разглядели вахмистра, а за ним, на расстоянии двух шагов, ехали солдаты в форме драгун. Не торопясь, они выбрались на проселок и стали поджидать Пантелея и Котляревского.

Увидев офицера, вахмистр козырнул и сказал, что он с товарищами нынче в разъезде, затем спросил, куда господин штабс-капитан на ночь глядя путь держит. Иван Петрович назвал и в свою очередь попросил отвести его вместе с ординарцем к старшему караула, если это недалеко.

— Близко, ваше благородие, близко. Рукой подать. Вон в той хатенке, что третья от краю... Нынче там господин поручик Никитенко самолично допрос чинят.

— Никитенко? Знаю... А над кем допрос? Кто у вас провинился?

— Да тут такое дело, ваше благородие. Захватил господин поручик ехавших по тракту двух басурманов. По личности — чистые охламоны, ну просто оторопь берет, как поглядишь, так на нож и кидаются. Да мы их усмирили. Поручик их нонче и допрашивает.

— Стало быть, турки они?

— А бес их разберет... Буджак, кричат, буджак... А вот и хатенка. Милости просим, заезжайте. Коней — под навес, там стоят и этих, задержанных.

Въехав во двор, Котляревский сразу заметил лошадей. Низкорослые, с густыми гривами. Татарские, конечно. В этом не трудно убедиться, стоит один раз взглянуть. Но такие лошади используются и в турецкой коннице. Стало быть, с выводами торопиться рановато.

Котляревский сошел с коня, отдал поводья Пантелею:

— Немного погода заходи и ты... Может, понадобится.

Сам поспешил к крыльцу, уже не глядя на вахмистра, что, козырнув, отъехал вместе с товарищами. Котляревский толкнул дверь и чуть не споткнулся. Прямо перед собою он увидел связанного по рукам и ногам человека, еще один лежал дальше у стола. Малахаи валялись на полу, в углу — переметные сумы.

Котляревский не сделал от порога и шага. Сидевший за столом поручик сжал плетъ: кто посмел войти без разрешения?! Но тут же опустил ее, присмотрелся к вошедшему и проворно выбрался из-за стола:

— Ба, кого бог принес?.. Голубчик, Иван Петрович! Заходи, гостем будешь.

Поручик обхватил за плечи штабс-капитана:

— Рад! Душевно рад!

Котляревский высвободился из объятий:

— А эти кто?

— Эти? Сам видишь. Слуги адовы. Канальи, из самого Измаила. Не иначе, паши соглядатаи.

— Признались?

— Ха! — Никитенко плутовато усмехнулся. — У меня как на исповеди признаются, хотя у них исповедь и не в почете. — И сам засмеялся своей шутке. — Может, вместе допросим?

Котляревский словно не слышал вопроса, ткнул сапогом в развороченные переметные сумы:

— А это что?

На пол вывалились какие-то свертки, две или три женские шали, несколько бутылок водки, охотничьи ножи с костяными ручками, ножницы для стрижки овец...

— Трофеи! — Поручик был явно в подпитии. — Водка оказалась у них молдавская. Годится. А все остальное — барахло, я думал, что-нибудь стоящее... В общем, прошу к столу. У меня мигом все будет... Вот кликну вестового.

— Погоди. Я что-то не понимаю. За что же ты их задержал? Что они — в самом деле соглядатаи?

— Выясняю... Я им язык развяжу!.. Между прочим, один из них русский понимает. Вот этот, — ткнул нагайкой в бок младшего. — Я им покажу, как буджаками прикидываться...

— Буджаками? Значит, они буджак-татары?

— Все едино.

— Не все едино!

— Одному богу с турками молятся.

Котляревский почувствовал вдруг, как потемнело в глазах, как учащенно застучала в висках кровь. Гнев, обида, стыд на какое-то мгновение вскружили голову, и он ужаснулся своему состоянию. В последний год подобное с ним происходило не раз, случалось, не мог сдержаться, тогда боялся самого себя, понимал — не к добру такое. Дай волю нервам — беды не миновать. С силой сжав кулаки, чтобы не дрожали, он передохнул и словно очнулся. В эту минуту сзади послышался негромкий стук дверью — вошел Пантелей. "Слава богу, пронесло", — Котляревский облегченно вздохнул от сознания того, что победил себя, теперь можно спокойно разговаривать, разумеется, относительно, ибо нельзя спокойно отнестись к оплошности Никитенко — да что оплошности! — жестокой ошибке, грозящей, если это в самом деле буджаки, неисчислимыми бедами. Неужто поручик — человек не глупый — не понимает, что буджак-татары — та сила, которую турки хотели бы использовать против русских в нынешней войне и конечно же они бы не прочь толкнуть их на выступление? Неужто ради никчемных трофеев он задержал их? Трудно в это поверить: Никитенко, насколько он, штабс-капитан, знает, не такой, не позарится на чужое, — значит, что-то

другое. Может, пьян или от слишком большого усердия? Но разобраться во всем этом еще будет время, а пока...

— Прикажи развязать.

— Что?.. Да знаешь ли, как вот этот с ножом бросился? Да я его сам, коли что...

— Прикажи развязать, сударь, и немедленно!

Котляревский смотрел на молодого татарина, который, как видно, все понимал, но лежал отвернувшись, не глядел ни на поручика, ни на вошедшего штабс-капитана и солдата с ним. Закушенные до крови пухлые мальчишеские губы дрожали, подергивались и редкие усы. Татарину не больше двадцати, и был он, по-видимому, из богатой семьи — чекмень на нем из дорогого материала, соболиный малахай, а не лисий, обыкновенный, как вот у старшего его сотоварища.

С татарами штабс-капитан встречался уже не раз в своих поездках по воинским частям, стоявшим в селениях. Встречал их и в Бендерах. Кое-что знал о них.

— Понимаешь русский? — спросил младшего.

— Не понимаю, — ощерился тот и ненавидяще посмотрел темными, полными злого огня, глазами.

— Буджак-татары?

Младший отвернулся, зато старший с готовностью закивал:

— Буджак, эфенди, буджак.

Конечно, буджакские. Кто бы другой мог объявиться в Бендерах? Турки, сидящие в Измаиле, не посмеют, а эти приехали. Ведь с буджак-татарами никто не воюет. А если они соглядатаи измаильского паши? Допустить это, конечно, можно. Но что они могут высмотреть в настоящее время? Уже полгода Задунайская армия в действии. Кому не известно, с какой миссией она здесь? Этого никто и не скрывает да и невозможно скрыть. Тогда зачем же восстанавливать буджак-татар против русских?

— Я приказал развязать их.

— Но я задержал их... Это мои пленники! Что хочу, то и сделаю.

— Пантелей, развяжи-ка...

Пантелей сделал шаг к татарам; встретив тяжелый взгляд поручика, остановился, но только на мгновение, и тотчас вынул нож: никто, кроме штабс-капитана, не имел над ним силы, попробуй поручик сделать шаг...

— Ты сядь, Никитенко, успокойся, — сказал Котляревский. — Сейчас мы все выясним. Нас тут трое, их — двое. Что же мы, не справимся с ними?

Никитенко вертел толстой шеей, словно ему давил воротник мундира, хотя воротник был расстегнут; зная Котляревского, перечить не посмел. Кроме того, штабс-капитан был старше его и чином, и по службе неизмеримо выше.

Пантелей развязал сначала старшего, потом его товарища, помог им подняться, правда, младший оттолкнул руку Пантелея, вскочил сам и тут же пошатнулся — Пантелей поддержал его, тот чуть-чуть скосил глаза в его сторону, но ничего не сказал.

— Подойдите, — попросил Котляревский. — Садитесь! — указал на табуреты.

Татары, получив относительную свободу, опасались подвоха, хотя приезжий говорил с ними дружески, не кричал, ничем не угрожал. И все же...

— Садись, садись, — подтолкнул Пантелей —младшего, — господин штабс-капитан просит.

Татары сели, поджав ноги под табуреты, им бы сподручнее сидеть на полу: на табуретах непривычны.

— Как зовут? Вот тебя, — обратился Котляревский к старшему. Тот промолчал. Заговорил младший:

— Я — Махмуд-бей, сын Агасы-хана, повелителя Буджакской орды. А это — мой нукер...

Котляревский внимательно всмотрелся в татарина, выждал секунду и сказал:

— Привет тебе, сын Агасы-хана! — И приложил руку к груди. То же самое сделал и Пантелей. Поручик сидел бирюком, наливаясь бешеной злостью.

— И тебе привет! — поклонился младший.

— Где же вы были? Неужели вам не ведомо, что нынче военное время и ездить в этом районе небезопасно?

— Знаю. Но мы с вами не воюем. Почему нельзя продать барашка и купить себе ножей, женам — шали?

— Можно, конечно. И все же следовало бы заранее испросить разрешение у Военных властей, у нашего паши.

— Прости, эфенди, не знал этого.

— Знал он! вскочил поручик. — Врет!.. Шпион — по глазам вижу.

— Сам врешь, шакал! — вскочил и татарин. — Я сын Агасы-хана и никогда шпионом не был и не буду... А ты бил меня! За что? Отобрал коней! Где кони? — завизжал вдруг татарин и бросился на поручика, вцепился в горло. С большим трудом Пантелей оторвал его от Никитенко. Злобно сопя, татарин плюхнулся на табурет.

Никитенко поднялся с пола и потянулся к шашке. За каждым его движением следили все: с опаской — Котляревский, совершенно спокойно — татарин, только старший вместе с табуретом стал вдруг отодвигаться в угол.

— Господин поручик!

Никитенко обернулся, встретил твердый взгляд Котляревского.

— Если ты посмеешь... Понимаешь?.. Пальцем одним...

На лбу поручика вспухли жилы, но он не двинулся с места, боролся с собой, борьба была мучительна, невыносима, это отчетливо отражалось на его лице.

— Сядь, господин поручик, и слушай! — Голос Котляревского был по-прежнему властен: — Буджак-татары — наши друзья. Как же ты посмел тронуть их, а особенно сына Агасы-хана и его нукера?.. — Котляревский обратился к татарам: — Тебя, сын Агасы-хана, прошу великодушно: прости поручика. Он ошибся и просит у тебя прощения. Так, господин поручик?

Тот тяжело встал. Несколько секунд стоял молча и вдруг стремительно выбежал из хаты.

Татары это поняли по-своему: поручику стыдно, он не мог дольше оставаться здесь, смотреть в глаза им.

— Пантелей, помоги-ка собрать переметные сумы.

— Спасибо, бачка!.. Мой нукер все сам делает.

— Скажи, сколько ты потерял сегодня из-за этого несчастного случая? Мы все вернем.

— Я ничего не потерял, эфенди! Я нашел! — Татарин встал. Стройный, он стал как бы еще стройнее, выше. — Я — Махмуд, младший сын Агасы-хана, говорю тебе, господин офицер: отныне ты — мой лучший кунак. И если приедешь в наши степи — будешь самым дорогим гостем.

— Спасибо! За это и выпить не грех. Пантелей, принеси-ка...

Ординарец метнулся из хаты и, пока татары укладывали переметные сумы, принес маленькую баклажку. Налил в стаканы.

Котляревский поднес сначала Махмуду, потом нукеру:

— Выпьем на дорожку — и вам, и нам... За ваше доброе здоровье! За здоровье твоего отца — Агасы-хана! За твоих родных! За твои стада!

— За тебя, бачка, и твой род, за твою страну, за твоих близких!.. Хотя закон пить нам не разрешает, эфенди, но за это — да простит нас аллах — выпьем!..

Котляревский проводил Махмуда и его нукера к коням. Татары птицами перемахнули низкие плетни и двинулись напрямик в Буджацкую степь, тихо лежавшую за околицей.

— Вот и побывали в гостях, — сказал Котляревский и невольно усмехнулся. — Ну, да ладно. Поищи поручика, Пантелей. Скажи — на два слова... Да вот, кажется, он сам.

Никитенко смущенно посматривал на Котляревского:

— Бес, наверно, попутал. Виноват. Наказывай — твоя воля.

— А что? И следовало. Да только — в гости к тебе приехал. Ты не сердись... Послушай, что я скажу тебе.

— Знаю.

— Нет, не знаешь... Идем, потолкуем. Да ты ведь обещал нам кое-что? Или твои обещанья — пустые слова?

— Ну и хитер ты, Иван Петрович. За что люблю тебя, одному богу известно. Ну а там... если б не ты — зарубил бы чертенка.

— Вот и видно, что ничего ты не уразумел. Ты бы учинил преступление, за которое дорого пришлось бы платить. Слава богу, обошлось... Ну пошли, однако, а то мой Пантелей еще, пожалуй, знак подаст — и мы уедем.

— Помилуй бог, никуда тебя не отпущу.

— С удовольствием остался бы, но вынужден ехать, поелику сегодня предстать обязан пред светлые очи начальства. Служба, милостивый государь, — не родной брат.

— Ну хотя отужинай с нами!.. Я сейчас кликну товарищей. Ты их знаешь. Они будут рады!..

— От ужина не откажусь, с друзьями — тем паче.

Шутливо подталкивая друг дружку, офицеры направились в хату. Вслед за ними переступил порог и Пантелей — он неотступно следовал за Котляревским. Минуту спустя, пока поручик с гостем располагались за столом, прибежал вестовой Никитенко и был тотчас услан за офицерами, с которыми некогда служил Котляревский. Они не замедлили явиться: шумной ватагой в избу ввалились известный среди драгун Северского полка весельчак бригад-майор Лепарский, боевой капитан Моргунов, неразлучные друзья — поручики Денисов и Петелин.

Намечался дружеский, скромный по военному времени ужин, который, однако, мог и затянуться. Но Котляревский больше часа, как ни упрашивали его друзья драгуны, не загостился.

## 2

Командующий 2-м корпусом барон Иван Антонович Мейендорф еще не ложился, хотя по своему обыкновению в десятом часу после бани, приготовленной денщиком, ужинал, выпивал добрый жбан холодного хлебного кваса и отходил ко сну. Лишь в исключительных случаях барон изменял распорядок дня, заведенный еще в бытность свою комендантом Риги, где вел размеренный образ жизни, по часам вставал и ложился, и нынче, уйдя на военную службу, не в силах был отказаться от нажитых привычек.

Несколько дней тому назад он услад одного из своих адъютантов по весьма важному делу в придунайские селения и теперь с нетерпением ожидал его возвращения, хотя внешне казался спокойным, даже флегматичным.

После ужина Иван Антонович принял начальника штаба, и почти сразу вслед за ним явился корпусной интендант, доложивший, что подвоз провианта задерживается на два-три дня из-за плохих дорог — последние сутки шли дожди, обозы поэтому застревали, а теперь вот подморозило, но лошади — правда, не все, а добрая половина — оказались раскованными, приходится немедленно заняться перековкой, а это все, разумеется, время. Навстречу обозам посланы нынче утром надежные офицеры, и он, интендант, уверен, что весь купленный у населения провиант, несмотря ни на что, войска вскоре получат. Мейендорф, выслушав интенданта — раздобревшего на казенных хлебах полковника старых екатерининских времен, — с плохо скрытым раздражением предупредил, что за своевременную доставку провианта по назначению тот отвечает лично, пусть употребит, коль необходимо, надлежащие меры, чтобы войскам, особливо ж нынче, перед началом главной баталии за Измаил, ни в чем не было недостатка. "Сие теперь — главное, батенька". Больше командующий слушать не стал, хотя полковник, потев в туго облегающем мундире, пытался что-то объяснить, но барон сослался на чрезмерную занятость и отпустил его, еще раз, однако, предупредив, что завтра поутру ждет полного доклада о состоянии всего интендантства.

Время близилось к одиннадцати. Глухая ночь опустилась на Бендеры — тихий некогда городок-крепость, ставший вот уже который день штабом 2-го корпуса Задунайской армии.



Иван Антонович все чаще поглядывал на дверь в соседнюю комнатушку, превращенную в походную опочивальню. Весть, которую он ожидал услышать, слишком важна, чтобы, не дождавшись ее, уйти ко сну, да все едино, заснуть он бы и не смог. Адъютант Котляревский, если он жив и здоров, придет сегодня непременно, задержать его могут лишь совершенно исключительные обстоятельства. Уже неоднократно Мейендорф имел возможность убедиться в точности и аккуратности этого человека.

Расстегнув мундир, Иван Антонович принялся за бумаги, развернул сверху лежащий зеленый картон, но тут же отложил его, двумя пальцами захватил добрую понюшку табака из лежащей на краю стола тульской с золотой каемкой табакерки и отправил в нос; долго смотрел из-под вислых бровей на мерцающие свечи в канделябрах, пока не чихнул, и, еще раз вкусно чихнув, потянулся за платком...

Он не ошибся, приблизив к себе этого немолодого для адъютанта, но чрезвычайно расторопного и весьма образованного, сведущего в военном деле малоросса. Свел их, можно сказать, счастливый случай.

В начале года, просматривая представленные аттестаты на офицеров Северского драгунского полка, причисленного к корпусу, Иван Антонович обратил внимание на бумаги, подписанные еще в Народичах инспектором Днестровской и Крымской инспекции по кавалерии маркизом Дотишампом. Аттестат был в высшей степени благожелательный. Хорошо зная маркиза как войскового начальника крайне требовательного и скупого на доброе слово о своих подчиненных, Мейендорф не мог не подивиться его неожиданной щедрости и тогда же подумал, что, видимо, представленный на повышение в чине некий поручик Котляревский в самом деле офицер исключительный. Аттестат был короткий, хотя стоил многих других и слишком обстоятельных. В нем писалось, что оный Котляревский "...находясь... инспекторским адъютантом, исправлял свою должность и звание с отличною рачительностью и прилежанием, которое означает во всех частях хорошего офицера; в признательность чего и во свидетельство, что он достоин внимания начальства, и его способности и воздаяния за его заслуги..." И так далее в таком же духе. Командующему приходилось читать подобные аттестаты не часто, и поэтому он заметил себе, что при случае не мешало бы поговорить лично с означенным в аттестате поручиком.

Документы были вскоре отосланы в штаб армии, а Мейендорф в постоянных разъездах и хлопотах по войскам стал забывать об инспекторском адъютанте, как однажды случай свел их лицом к лицу...

Войска корпуса двигались походными колоннами. Лошади и люди изнывали в полуденном зное, пыль тучей плыла по выжженной степи. Неспешной иноходью обгоняли растянувшиеся обозы драгуны. Барон подремывал в своем возке, после обеденного бивуака клонило ко сну, сказывались старые привычки. К вечеру штаб прибывал в намеченное высланными вперед квартирьерами местечко. Все шло как обычно, и вдруг движение заметно замедлилось, а вскоре и совсем приостановилось. Обозы, колонны, кухни — все замерло. Повозка барона застряла тоже. В тот же час

Мейендорфу донесли, что мост через приток Южного Буга рухнул и там образовался затор. Непредвиденные обстоятельства грозили длительной задержкой. Меж тем затор увеличивался. Штаб армии, следовавший в арьергарде, неминуемо будет задержан, и тогда неприятностей не миновать, командующий Михельсон не терпит проволочек.

Мейендорф решил немедленно навести порядок, но адъютанты, посланные в полковые штабы, еще не вернулись, надо было посылать первого попавшегося офицера, я такой офицер попался барону на глаза. Мимо на кауром поджаром мерине в форме драгуна проезжал штабс-капитан. Иван Антонович подозвал его и приказал немедля узнать, из-за чего произошла задержка и нельзя ли ее побыстрее устранить. Выслушав командующего, офицер козырнул и тотчас скрылся в дорожной пыли.

Прошло немногим больше часа, и к Мейендорфу прискакал солдат и доложил: его приказ выполнен, переправа наведена, войска готовы продолжать поход. В самом деле, не успел солдат закончить доклад, как послышались команды и все пришло в движение. И снова на дороге поднялись удушливые клубы пыли. Затор прорвало, опасность быть настигнутым командующим армией миновала.

Иван Антонович, подъехав к мосту, увидел, как войска — колонна за колонной, согласно регламенту — переходят через реку. Желая проследить их прохождение, барон отъехал в сторону, на пригорок, и тут увидел драгунского офицера, с которым недавно разговаривал. Драгун, спешившись, деловито отдавал приказания подходящим к переправе обозам и частям: соблюдать интервал, не торопиться, но и не отставать — и голос его, звучный, властный, слышен был и здесь, на пригорке. Несколько минут барон наблюдал за его действиями и нашел их безукоризненными. С того же пригорка командующий хорошо разглядел и саму переправу. Это был наскоро сооруженный из досок и бревен наплавной мост. Доски слегка прогибались под колесами возов и арб, но, привязанные накрепко к толстым бревнам, надежно удерживали переправу. Офицеру помогали несколько спешенных драгун и с десятков крестьян в холщовых портах и рубахах, следивших за мостиком. Когда главный поток схлынул и остались одни лишь обозы, барон велел денщику позвать офицера, но, не дожидаясь его, сам поехал навстречу.

Увидев командующего, драгун козырнул и сказал, что приказание выполнено, о чем имеет честь доложить.

— Вижу. Но в вашем докладе, сударь, существенный недостаток. С кем имею честь?..

— Виноват, — чуть покраснел драгун. — Разрешите представиться. Северского драгунского полка штабс-капитан Котляревский, адъютант инспектора кавалерии маркиза Дотишампа.

Котляревский? Тот самый? Барон высунулся из повозки, чтобы лучше видеть его. Высокий, стройный, в хорошо сшитой форме, открытый взгляд. Барон с явным любопытством разглядывал офицера. Как видно, не ошибся маркиз, аттестуя адъютанта; еще в феврале он был поручиком, нынче — штабс-капитан. Что ж, заслуженно.

— Как вам, сударь, удалось навести переправу в такой срок?

— Очень просто, ваше превосходительство. Помогли драгуны. Съездили в село — оно здесь рядом — и привезли все, что нужно. Затем попросили поселян веревки притащить, помочь. И обозники помогли.

— Ну что ж, похвально, — сказал Мейендорф и, помолчав, спросил: — С каким поручением и куда направляетесь нынче?

— Нынче? — штабс-капитан переспросил непроизвольно и осекся: удивляться вопросам начальников — лишь вызывать раздражение, и он тут же, после секундной паузы, ответил:

— Следую в штаб корпуса с письмом инспектора кавалерии маркиза Дотишампа.

— Письмо при вас?

— При мне, ваше превосходительство.

— Можете вручить его.

— Кому прикажете?

— А мне... А уж я его переадресую начальнику штаба, не беспокойтесь, сударь.

— Извольте, ваше превосходительство... Но не счел бы возможным обременять вас.

— Пустяки, штабс-капитан.

Котляревский передал пакет из рук в руки командующему, тот разорвал его и тут же на конверте расписался в получении, затем чернила, перо и пакет передал денщику. Штабс-капитан попросил разрешения быть свободным.

— Нет. Оставайтесь, — сказал Мейендорф. — К Дотишампу мы пошлем кого-нибудь другого. Вы-то ведь моего полка офицер?..

Барон Мейендорф слыл в армии человеком дела. Он тут же продиктовал своему денщику приказ на имя маркиза Дотишампа: немедленно отправить в распоряжение командующего корпусом штабс-капитана Котляревского. Иван Петрович слушал в явном замешательстве: что сие значит? Чем он прогневил барона? Но тут все и прояснилось. Когда приказ был подписан и запечатан, командующий вручил его денщику и сказал:

— Пошли нарочным. Сейчас же! Пусть маркиз ищет себе другого адъютанта, а нам и самим хорошие офицеры нужны. С богом, господин штабс-капитан! С нынешнего дня вы — мой адъютант. Вечером жду вас в штабе...

Так в жаркий летний день 1806 года произошла перемена в военной службе Котляревского.

Вспоминая об этом, Иван Антонович с удовольствием отмечал, что за все минувшее время он ни разу не имел повода пожалеть о своем выборе...

Дверь неслышно отворилась. Денщик — под стать генералу широкоплечий, с короткой шеей краснолицый солдат — доложил: прибыл его благородие штабс-капитан.

— Что ж ты! Проси! — Генерал нетерпеливо уставился на дверь. Послышались четкие неторопливые шаги.

Как всегда, доклад адъютанта был предельно краток, прост, но исчерпывающ,

обычно барону после такого доклада не приходилось переспрашивать, но сегодня он почему-то не довольствовался сообщением о выполненном поручении, Мейендорф пожелал знать подробности: как адъютант ехал, что видел, как встретился с тамошними жителями и, несмотря на позднее время, не обратив внимания на усталый вид штабс-капитана — слой пыли на сапогах и мундире, запавшие, слегка покрасневшие глаза, — потребовал повторить сообщение с самого начала и обязательно с подробностями.

— Извольте, я готов, — только и сказал штабс-капитан.

Генерал попросил его сесть поближе к столу, сам налил полжбана холодного кваса и, когда Котляревский жадно отпил несколько глотков, приготовился слушать.

3

Дунай открылся сразу: съехали на косогор, и вот он — синей волной накатился на прибрежные камни и нехотя, словно даже с сожалением, ушел обратно. Заходящее солнце по ту сторону реки медленно приближалось к берегу и, едва коснувшись воды, остановилось, ослепило и на мгновение спряталось во впадине за волной — Дунай в том месте засверкал смолисто-темным гранитом. Причудливо изрезанные берега, острова, проглядывающие сквозь красноватый туман, — все поминутно менялось в окраске и тоне.

На самой вершине косогора Котляревский спешил. Его примеру последовал и ординарец Пантелей Ганжа.

Стоило полюбоваться видом Дуная, хотя времени было в обрез. Уже целый день они искали встречи со старшинами задунайских казаков и пока безуспешно; местные жители утверждали: видели их на рыбалке где-то здесь, по эту сторону Дуная.

Устав за день поисков, Котляревский решил немного отдохнуть. Но недаром говорится: ищущий да обрящет. За каменным выступом, уходящим на добрых десять сажень в реку, в небольшой, закрытой от берега бухточке на тихой воде покачивались три дубка. Пантелей присмотрелся к ним, и ему почудилось в них что-то знакомое. Когда-то в юности он ездил с панским хлебным обозом в Кременчуг и видел на Днепре такой же формы и почти такого же размера дубки. Сердце в предчувствии долгожданной встречи забило сильнее. Подобное волнение обычно охватывает на пороге родной хаты, которую путник давно оставил не по своей воле, а судьба нежданно привела его обратно — стоят сойти с дорожки, как ударит в сердце знакомый с детства дух, глаза увидят родной мир. Пантелею хотелось поделиться своей догадкой с Котляревским, но тот, сделав шаг к обрыву, став почти на самом краю, опередил его:

— Сдается мне, Пантелей, мы их нашли. Дубки-то казацкие, только они строят такие... А вот и дым ком потянуло. Запах! Помилуй бог, юшкой задухманно...

В самом деле, из-за каменного уступа выплыли прозрачные струйки дыма, поднялись выше и, постояв в воздухе, растворились, рассеялись, будто их и не было вовсе, а на их месте тотчас появились другие; невидимая сила выталкивала их вверх в вечерний воздух, и вот они потекли бесконечным синим ручьем.

- А правда — юшка! Да, наверно, добрая!
- Тогда поспешим. К трапезе, может, поспеем.
- Эге, ждут они... Непрошенный гость чего стоит?

— Забыл, к кому едем? То же свояки... А ты, может статься, и родича встретишь...

Пантелей насупился: никак смеется над ним Иван Петрович? Откуда здесь появиться родичу! Но у Котляревского ни смешинки в глазах.

— Далеко мои родичи, — вздохнул Пантелей.

— А поглядим.

Котляревский легко вскочил в седло и направил коня по узкой, почти незаметной тропке в обход скалы. Пантелей — следом.

Далеко ехать не пришлось. За поворотом открылась низинка, полого спускавшаяся к берегу, и в этой низине, почти у воды, нежарко пылал костер, вокруг него расположились рыбаки. Двое из них на камнях-валунах сидели и чинили сети, другие, полулежа на черных суконных чекменях, курили самодельные причудливой формы трубки. Кашевар, чернявый, с серьгой в левом ухе казачок, колдовал над казаном. Другой подбрасывал в костер то кусок корневища, то веточку сухостоя, и костер вспыхивал ярче, искры летели во все стороны, стреляя в чей-то чекмень, в плечо, даже в ус, но никто не шевелился, не отодвигался; казалось, никого не трогает, что вытворяет костер.

До слуха Котляревского и изумленного Пантелея долетела песня, она возникла внезапно, словно шла из глубины воды, из самого вечернего воздуха.

Пели несколько казаков, остальные, полузакрыв глаза, слушали. Широкая, грустная, она плыла, как ветер, над берегом, поднималась выше и летела к островам и дальше, на ту сторону, к казацким селениям. О чем она была? Слова в песне трудно расслышать, но все в ней знакомо: и мотив, и сама душа ее, раздольная, неугомонная, вечная. Котляревский придержал коня, чтобы не испугать, не остановить певцов. Пантелей тоже, встав за его спиной, крепко натянул повод. Но их заметили, и песня тотчас угасла, как угасает утренняя заря или укладывается между скалами ветер, бушевавший день и ночь. Угасла, а все же отзвуки и дыхание ее слышались, вся низина, вплоть до самой воды, наполнилась ею, и не было сил освободиться от этого очарования.

Между тем казаки, подталкивая друг дружку, поднялись и настороженно, хотя внешне и спокойно, стали смотреть на офицера и следовавшего за ним солдата.

Выделялся передний — ростом не выше, чем его товарищи, но кряжистый, горбоносый, с седеющими усами; он был в распахнутом потертом жупане и в шапке из серой смушки, надвинутой почти на самые глаза.

Котляревский поздоровался первый. Казаки нестройно, сдержанно ответили, сняли шапки. Передний поклонился с достоинством:

— Милости просим, ваше благородие, до юшки.

Сказано это было скорее из учтивости, из обычного гостеприимства, чем из уверенности, что случайно попавший к ним, задунайским казакам, офицер русской

армии примет приглашение и сядет к закопченному казану. Офицер — это обычно дворянин, а какой же дворянин, барин, станет хлебать юшку вместе со всеми из одной посуды? Так, а может, иначе думали казаки, наблюдая за офицером и солдатом — как видно, простым парнем, не так давно забритым, скуластым, большегубым, с голубыми и почему-то восторженными глазами.

Но офицер, легко спешившись, отдал повод солдату и, сняв перчатки, потеряв руки над костром, к их удивлению, приветливо кивнул:

— С превеликим удовольствием. Видно, сам бог привел нас в эти места на такую богатую казацкую трапезу.

И смотрел уже, где бы лучше сесть, выбирал место поудобнее и поближе к костру, к треноге, на которой в закопченном казане klokотала остро пахнувшая, булькающая рыбацкая уха.

Казаки растерялись — не знали, как быть: садиться им тоже, а может, постоять, пока офицер закусит? Но офицер, приветливо и как-то совсем по-простому усмехнувшись — улыбка мгновенно осветила тонкое, чуть побитое оспой лицо, — спросил:

— Чего ж, братцы-казаки, сами-то не садитесь? Мне, гостю, признаться, непонятно: хозяевам будто так и не пристало.

— Э, ваше благородие, были и мы хозяевами, да вот пришлось по чужим краям тулиться, — вздохнул один из казаков, чернявый, в широченных полотняных шароварах, с седыми вислыми усами. И словно эхо отозвалось — вздохнули почти все его побратимы.

— Не гневите бога, господа казаки, хотя, коли так, то, может, и веры своей земли родной отчурались, а заодно уже я язык матерей своих бедных забыли?

Сказав это, Котлярский тут же пожалел: так страшно стало смотреть на лица этих простых мужественных людей. Они сразу, будто туча набежала, потемнели, плечи содрогнул тяжкий вздох. Обидел, разбередил незаживающие раны. Зачем, зачем так больно ударил? Но слово сказано, и отвечать за него надо тут же, не мешкая. И все же что-то удерживало Котляревского от последнего слова. Он достал трубку, принялся набивать табаком. А горбоносый, стоявший к нему ближе других, внимательно посмотрел на него и сказал:

— Не будь ты, ваше благородие, гостем, то за такие слова... Видит бог, никому б не простили. — Он не договорил, будто ком застрял в горле.

Котляревский — улыбка исчезла, лицо посуровело — положил руку на плечо ему:

— Забудьте, прошу вас. Не со зла сказаны были... слова мои.

— Мы зла держать не умеем. Забудем.

— Ну вот и хорошо. А теперь — и к юшке. Вы ж не передумали приглашать нас с Пантелеем?

— Садитесь... А мы, может, подождем.

— Вот так-то? Вы нас, очевидно, и за людей не считаете? Кто ж заставит вас стоять и ждать? спросил Котляревский на чистейшем украинском языке.

Казакі переглянуліся. Мгновенную радість, сумніє, безмежне бажання вірити — всі ці почуття разом виразили їх обличчя.

— То виходит, — еще неуверенно спросил старший, — земляки?

— А вы не признали? — усмехнулся Котляревский. — Я из матинки Полтавы, а Пантелей Ганжа из Великой Багачки, что на Псле. Может, слыхали про такие города?

— А как же не слыхать! То преславные города! — заговорили казаки все вместе. Некоторые подошли совсем близко, заглядывали в глаза. Но тут старший могучей рукой оттер передних, отступили и другие.

— Дайте дорогу батьке Свириду, — сказал он, увидев, как безуспешно старается протолкаться вперед седой казачина. Все расступились. Перед Пантелеем встал невысокий, но широкий в кости старик, белый, как молоко. Он присматривался некоторое время маленькими покрасневшими глазами к Пантелею и вдруг протянул темные жилистые руки:

— Ганжа? И я Ганжа, да и родом из Багачки — той самой, что над саменьким Пслем...

Пантелей от неожиданности сделал шаг назад, но тут же, словно его толкнули неведомые силы, тоже протянул руки, и старик и молодой обнялись.

— Ну как?.. Ну, как она, Багачка ридная? — шептал побелевшими губами Свирид.

— А жива! И Псел тот же! — очень тихо ответил Пантелей. Ему вдруг стало трудно дышать, так трудно, что впору и задохнуться от жалости и несказанного восторга.

Каждый из казаков хотел быть поближе к нему, коснуться, пожать руку, будто так они прикасались к своему сыну, брату, побратиму. Пантелей нес в себе дух родной земли, излучал ее неповторимое тепло, на его лице как бы отражался, пламенел смуглым румянцем отблеск ее рассветов и закатов. Каждый хотел не только коснуться его руки, но и прижать к себе, сказать что-нибудь особенное, заветное, и Пантелей переходил из объятий в объятия, пока наконец снова не стал рядом со старым Ганжой.

— Так и задавить не шутка, — сказал старик, любовно поглаживая плечо вконец смущенного Пантелея, — А я, сыну, уже тридцать лет не дома, все по чужим краям, соскучился, что и сказать не в силах. И я, — вырвалось у Пантелея. — А вы не тот ли Ганжа, кто помещика нашего спалил? Дед мой про то еще рассказывал.

— Может, и тот, кто его теперь знает, давно ж то было, — загадочно усмехнулся старик, поглаживая белый длинный ус. — Все может быть, сыну. Да скажи вот: чей же ты будешь? Не Филиппа внук? Очень ты схожий на деда своего, когда тот молодым был.

— Его внук.

— А жив твой дед? А батько Дмитро Ганжа?

— Деда нет. А батько жив. Только слабует после того, как меня в солдаты взяли.

— И давно ж ты в солдатах?

— Четвертый год по весне пошел.

— Ну и как же тебе служится, сынку?

— Слава богу! — Пантелей посмотрел на стоявшего в стороне Котляревского. — С

их благородием служу. Хвала господу, что у них. Батько он мне родный.

— А-а, то добре!.. Спасибо вам, ваше благородие, что не обижаете земляка моего, — поклонился старик до самой земли.

— Тебя, Свирид, не переслушаешь... Садитесь к юшке, пока не остыла, — сказал старший, сам сел и пригласил всех остальных. Котляревский примостился рядом с ним.

Когда каждый нашел себе место, в руках старшего невесть откуда появилась пузатая оплетенная белой лозой бутыль. Он кивнул чернявому, и тот мгновенно расставил на чекмене полустаканы, двенадцать — по количеству едоков. Старший наполнил их красным густым вином и, ставя первый стакан перед Котляревским, спросил:

— Скажи нам, пожалуйста, ваше благородие, как звать тебя, величать?

— Иван, сын Петра Котляревского, добродий.

— Добре! Так выпьем же, братья, за здоровье пана Ивана, сына Петра Котляревского, и Пантелея Ганжи, что прибыли до нас в гости!

— Спасибо! — Котляревский выпил вместе со всеми.

Некоторое время слышно было, как стучат о стенки казана ложки, пробивая желтоватую пленку наваристой ухи.

Чуть захмелев, старший обратился к Котляревскому:

— А не знаешь, случаем, ваше благородие, в Полтаве своего однофамильца, что книжку одну лспски смешную утнул? Может, и сам читал ее? Про славного рыцаря Энея, сиречь доброго казарлюгу, и его боевых побратимов написана, дай бог здоровья земляку твоему Котляревскому!

Котляревский смущенно слушал, не зная, что ответить. Откуда здесь, на Дунае, в глухом, богом забытом крае, известна его поэма? Лет восемь тому назад она была издана в Санкт-Петербурге неизвестным ему любителем малороссийского слова Максимом Парпурой. Но ведь когда и где это было! Можно бы уже и позабыть о книге. А, выходит, ее не забыли, помнят. Но любопытно, что они читали, может, и не книжку вовсе? Ведь до издания поэма ходила в списках. Именно такой список попал в руки издателя.

Котляревский, поборов невольное смущение, в свою очередь спросил:

— А скажите, добродий, книжку ту вы сами читали или, может, только слышали о ней?

— Читать не читал, потому что не доводилось видать. А коли б можно достать, ничего б не пожалел.

— Так откуда ж вы знаете, что писано в книжке?

— Дело тут простое, ваше благородие. Тот чернявый казачок, по-нашему Опанас Грач, недавно ездил в Киев — я его посылал по одному делу — и там у одного дьяка читал оную книжицу и все как есть запомнил. Вот он ее нам и читает... по памяти. Теперь-то у нас "Энеиду" не только он — добрая половина селян знает...

Растроганный до слез, Котляревский молча сидел у погасшего костра. Что сказать этим людям? Как благодарить их за доброе слово к его детищу? Думал ли он, мечтал ли



о таком бесценном подарке? Иной судьбы он ведь и не желал своей "Энеиде", не один год ради этого радовался и мучился над каждым словом поэмы. Чтобы ушла в народ, была им принята, чтобы, читая поэму, земляки его, поруганные, забытые рабы, стали людьми, знали и помнили язык матерей своих и отцов. И во имя этой мечты он не жалел ни сил, ни времени, отдавал работе все свое сердце. Движимый чувством благодарности и любви, обращаясь к старшему из казаков, он спросил:

— Прости, добродий, имени твоего не знаю и звания.

— Гнатом Белоконом прозываюсь.

— Так вот, пан Белоконь, жив буду, пришлю вам книжку.

— А где достанешь, ваше благородие?

— Достану... Неужто тот, кто писал, и не достанет?

— Так выходит?.. Ваше благородие, что ж выходит?!

— От и выходит, что перед вами и есть тот самый Котляревский.

— Правда? — Белоконь внимательно всмотрелся в слегка побледневшее лицо гостя.

— Правда! — не удержался Пантелей, счастливый и гордый за штабс-капитана.

— Спасибо владыке нашему, что сподобил сидеть рядом с тобой, ваше благородие!..

— тихо сказал Белоконь. — Ну-ка, братья, детки мои, налейте по единой — да выпьем за здоровье нашего дорогого гостя еще раз!.. Пусть здоров будет!

Котляревский сдержанно поблагодарил за честь и сказал, что выпить они еще успеют, он хотел бы сначала поговорить с хозяевами по очень серьезному делу, ради которого он, собственно, искал их.

— Слушаем! — заговорили казаки.

— Тихо, братцы!

Котляревский обвел всех внимательным взглядом: и чернявого Опанаса Грача, и Пантелеева земляка — Ганжу, и сутулого рослого казака, сидевшего по ту сторону костра, и молодого еще, с едва пробившимися усами и восторженными глазами казачка, и, наконец, Белоконя, упершегося взглядом в землю, готового до конца выслушать гостя.

— Знаете ли вы, господа казаки, что нынче у нас с турецким султаном война? В третий раз захватили турки крепость Измаил.

— А то как же!

— Слыхали!

— Знаем!

— Знаете? Да этого нельзя не знать, потому как весь мир говорит. Что ж вы скажете, славные рыцари запорожские? Какое ваше слово будет?

Долго молчали казаки. Котляревский не торопил их с ответом. У него достаточно терпения, он подождет. Наконец Белоконь поднял голову:

— Эх, ваше благородие, ошибаешься. Были когда-то мы запорожские, а теперь — задунайские. И должны жить на чужой стороне, на земле того самого турецкого султана.

— Прости, пан Белоконь, но ты не прав Потомки Богдана Хмельницкого да Ивана

Сирка останутся запорожцами, то есть людьми вольными, сильными. Землю свою они берегла пуще живота своего, землю и веру, и язык родной. А врагов своих ненавидели люто... Теперь же что выходит? Забыли? Все забыли? Может, и потурчились?

Не успел Котляревский закончить, как старый Ганжа вскочил, морщинистое лицо его, словно выдубленное соленым потом да ветрами, покрылось бурыми пятнами:

— Ты, добрый паночку, говори, да не заговаривайся. Ибо, хотя ты и гость и земляк, а за такие слова недолго и ребра тебе посчитать. А ну, становись!

И старый Ганжа подошел к Котляревскому, смело глядя ему в глаза, но тут перед ним, словно из-под земли, вырос Пантелей, а потом и Белоконь стал рядом. А Котляревский вместо того, чтобы обидеться, порывисто обнял старого Ганжу за плечи, прижал к себе, отпустил и обернулся к остальным:

— А твои, Ганжа, земляки чего молчат? Может, тоже готовы посчитать мои слабые ребра? На всех не хватит, да бог с ними — считайте, коли есть охота.

Казаки молчали, попятился от Котляревского и старый Ганжа, поняв, что жестоко ошибся: гость и не думал обижать их, есть у него душа, болит она за них, сирот бедных.

А Котляревский не молчал:

— Прошу вас, братчики, подумайте. Пришел час постоять за свою землю... Иль у вас духа не хватит? Ослабели руки? Сабли не удержат?

И вот чудо. Словно помолодели казаки. Поднялись опущенные головы, распрямились сгорбленные плечи. Сутулый казачина оказался прямым и сильным, а чернявый Опанас Грач будто вдвое вырос. Старый Ганжа, взглянув из-под косматых бровей, спросил:

— А порох где брать? А сабли? Да и поизносились мы у басурманов.

Котляревский тотчас ответил:

— И порох, и сабли, и добрые жупаны — все будет. Скажите только слово.

Вот чего хотел он: слова казацкого, ибо, сказанное, оно крепче иной грамоты. По глазам, по оживленным лицам Котляревский чувствовал: казаки готовы на это слово. Но что-то их сдерживало. Он еще не понял, в чем дело, когда старый Ганжа толкнул в грудь Белоконя:

— Говори, Гнат! Мы за тобой куды глаза глядят пойдем...

Теперь стало понятно: все ждали слова Гната Белоконя, он старший, ему виднее, он за всех в ответе — за них и за их семьи. С него спрос, если неудача постигнет. Вот почему Белоконь не спешил. Выступить на стороне русской армии — навсегда отрезать пути за Дунай, где спасались запорожские казаки от преследования царицы Екатерины. Но теперь совсем иное. Судьба земли родной решается. Останься казаки в стороне от святого дела — не простят им ни современники, ни потомки. Да и как это можно, если к тому же и зовут, просят? А сабли у них еще остры, не притупились, и порох найдется, и жупаны не поизносились, напрасно Ганжа приbedняется, не к чести казака такое. И спасибо земляку, пану Ивану Котляревскому, что приехал, зажег в их душах священный огонь ненависти к врагу и любви к родной земле. Певец преславного Энея и офицер, как видно, добрый, разумный, смелый. Вот бы его к ним, в казацкий

кош, а еще лучше за... старшего. К мысли этой Белоконь пришел не сразу. Наконец, он поклонялся Котляревскому и степенно молвил:

— Слово твое, пан Иван, дошло к сердцу нашему... А повоюем басурмана, вернемся на свою землю. Мы ж без нее — сироты.

— Дай господи!

— Вернемся! — дружно заговорили казаки, и лица их, темные, смуглые, посветлели; подталкивая друг дружку, обступили Белоконя и штабс-капитана, смущенно покашливали, мяти шапки в руках, сдержанно проявляя свою радость. Заражаясь волнением этих обездоленных людей, уверенный, что именно так и будет, Иван Петрович сказал:

— Вернетесь, панове казаки, обязательно вернетесь!

Белоконь, выждав, пока товарищи его уgomонятся, выступил чуть вперед и попросил внимания:

— Дело, на которое кличут нас, на которое, даст бог, пойдем, великое, святое. И подумал я, братчики, кто ж поведет нас? Кому доверим долю свою? Я сам не в молодых летах, хотя еще и держу саблю, не выпущу, коли прижмет враг, но как там ни говори, а лета! И подумал я: а не попросить нам гостя нашего пана Ивана Петровича быть у нас за старшего? — Белоконь помолчал, послушал: не откликнется ли кто? Но все молчали, ждали, что он скажет еще. И Белоконь сказал коротко:

— Тот, кто скомпоновал "Энеиду", вовек будет другом бедному люду, а наипаче — нашему брату бедолаге... От почему я и прошу его быть у нас за старшего. — И снова поклонился штабс-капитану.

— Так!

Правда твоя, братчнку!

— Ей-ей, не брешет!

Котляревский стоял ошеломленный. Не дав ему опомниться, Белоконь, чуть распахнув чекмень, снова, в третий раз, поклонился:

— Не откажи, батька наш, быть у нас за старшего! Тебе челом бьем и вручаем долю свою и живот свой! За тобой пойдем!..

Надо отвечать, причем немедленно. Котляревский понимал это, но нужное слово не находилось. Такое предложение могло исходить только от тех, кто безгранично доверяет, и прямо отказаться — кровно обидеть. И все же он должен, обязан отказаться, чем бы это ни грозило его миссии.

— Братья казаки! — взволнованно заговорил штабс-капитан, встав рядом с кряжистым Белоконем. — Спасибо вам за великую честь, мне оказанную! Большая она и, скажу вам прямо, мной не заслуженная. Мне еще годы и годы надо жить и трудиться, чтобы заслужить ее хоть в малой ее части. Принять ваше лестное предложение — значит совершить несправедливость и по отношению к пану Белоконю, который больше, чем кто-либо другой, имеет право быть у вас старшим. Рука ж у него еще, слава богу, крепкая и — верю я — не одного басурмана способна отправить к Люциферу. Это все заставляет меня отказаться от вашего столь, повторяю, лестного и

почетного для меня предложения... Кроме того, я пока на службе военной, нынче — адъютант командующего корпусом, которому, думается мне, выпадет одна из самых сложных миссий в этой войне. От и рассудите, могу ли я оставить службу в такой момент, да еще без дозволения начальства? Не могу, братья казаки, сами разумеете. А еще скажу вам и такое: кто станет защищать ваши интересы перед командующим, кто доложит ему о вашем постановлении и попросит, чтобы дали вам все необходимое для военного похода и боя? Все сие я должен сделать и, будьте уверены, сделаю, что в моих силах... Ну а теперь рассудите: принять ваше предложение или в интересах дела оставаться в той должности, в какой ныне пребываю?

Казаки внимательно выслушали штабс-капитана и с нескрываемым сожалением согласились с его доводами.

Тогда Белоконь сказал свое слово:

— Голова ты и ты, ваше благородие, как я погляжу. И в кого такой уродился? Рассудил все как надо, лучше и быть не может. Ну что ж, так тому и быть: послужу еще я братству нашему и земле родной... Теперь нам осталось обмозговать, когда выступать, куда именно и что потребуется для похода.

— Про то, господа казаки, договоримся обязательно. Я вас послушаю, а вы, может, и к моим словам прислушаетесь, — уже совершенно спокойно проговорил Котляревский и оглянулся: Пантелей повел лошадей к воде, они вступили в синюю черту и стали пить, почти к самой воде опустили расчесанные гривы; черным кристаллом поблескивал глаз каурого, он пил из Дуная не отрываясь, с явным наслаждением, и Пантелей, проверив еще раз, сухой ли он, не потный, позволял ему пить вволю.

Низкое солнце, прячась по ту сторону реки у душных оврагов и в седых камышах, рассыпало вокруг последние лучи, горячий их жар достигал бухточки, в которой поили лошадей, а немного в стороне на темной волне покачивались казацкие дубки. Чайки, на мгновенье задерживая над ними полет, нет-нет да и заглядывали в них — а может, там рыба? — и тотчас исчезали в вечернем розовеющем тумане, а на их место налетали другие — такие же стремительные, любопытные, с острыми серебристыми крыльями. Повеяло от реки свежаком, над пригорками, по ту сторону Дуная, закружились красноватые клочья туч и двинулись бесконечной чередой на эту сторону, охватывая уже полнеба.

— На дождь собирается, — сказал Белоконь, озабоченно оглядывая темное небо. — Видно, придется вам, пан Иван, ночевать у нас, а завтра на зорьке и поедете.

— Да, пожалуй. Только где ж тут ночевать? Может, в село проскочим?

— Далековато. Кроме того, мы пока пустые, рыба ж на рассвете ловится. А переночевать и тут можно не хуже, чем и нашей Грушевке. Хлопцы в два счета шалаши поставят.

— Грушевке? — Штабс-капитан, вспомнив что-то свое, минувшее, спросил: — За Дунаем — и такое название? Думаю, не турки так называли село ваше?

Белоконь молчал некоторое время, поглядывая, как молодые казаки уже тащили

зеленые ветви, рубили колья.

— Дело тут такое, пан Иван... Жил в наших краях старый казак, добрый человек, каждому роднее отца родного, к нам он привел почти полсела. И когда умер, мы все решили в его честь назвать село Грушевкой.

— Значит, Груша? Не Харитон ли? — взволнованно спросил штабс-капитан, боясь поверить, что судьба забросила его в места, где живут его старые коврайские друзья.

— Угадал, Харитоном звали, — ответил Белоконь, удивленно посмотрев на гостя. Старый Свирид, услышав имя Харитона Груши, спросил:

— Знал его, пан Иван? Давно?

— Когда-то, годков тому двенадцать, жил я в Коврае, что под Золотоношей. У Харитона старого был еще сын Лаврин. С ним вместе ушли и другие семьи от... пана Томары, на прощанье поставив ему добрую свечку.

— Так! И про свечку правда! Поставили ту свечку, чтоб добрый их паночек помнил, не забывал, — возбужденно проговорил Свирид. — Но погоди, постой, ваше благородие, скажи нам, по какому делу ты в том селе бывал?

— Учителем я был в господском доме, да ушел я, не долго пробыл.

— Ей же богу так! — воскликнул старый Свирид. — Ну и чудеса! Чего ж молчал? Да знаешь ты, пан Иван, что рассказывал о тебе мой побратим Харитон, царствие ему небесное? — Свирид на мгновение умолк, печально покачал седой головой. — От когда б жил Харитон. Не дожил, бедолага.

— А сын его? И внуки, наверно, есть?

— Живут. Не хуже других...

Закурили, помолчали, а потом, пока младшие братчики сносили все новые и новые ветки, устраивая шалаши, Котляревский вместе с Белоконем и старым Свиридом Ганжой сели у костра, чтобы договориться, когда, в какое время должен выступить сводный казацкий полк, какое ему надобно обмундирование, сколько бочек пороха, мушкетов, сабель и всяческого другого военного снаряжения...

Обо всем этом Котляревский подробно рассказал командующему, упустив лишь одно: предложение казаков быть у них старшим. Расскажи он об этом Мейендорфу, естественно, пришлось бы признаться, что казаки узнали в нем автора малороссийской "Энеиды" и именно как автора поэмы они и просили быть у них командиром. Однако не в этом теперь суть, главное — казаки выступят в точно назначенное время и пойдут вместе с частями корпуса под Измаил и до конца выполнят свой долг перед родиной. В этом они его, штабс-капитана, клятвенно заверили, и он, адъютант командующего, знает, что так и будет.

Спустя много лет, уже будучи в Полтаве, Иван Петрович расскажет своим друзьям о встрече с задунайскими казаками, вспомнит также о том, как они предлагали ему пристать к ним и быть у них командиром. Будущий биограф запишет его рассказ об этой поездке, но весьма скупо, неполно.

В журнале военных действий корпуса поэт вынужден будет позже написать о своем участии в особой миссии. И снова: только обязанность вести журнал, пожалуй,

поможет нам узнать о поездке Котляревского для выполнения очень важной для Задунайской армии, для всей южной кампании миссии. Однако об этом — позже.

Пока же барон Мейендорф, внимательно выслушав своего первого адъютанта, коротко, но весьма благожелательно поблагодарил его и отпустил:

— Отдыхайте, батенька! Завтра у нас новые заботы. А там — даст бог — начнем трактовать с Хасаном, если допустит к себе...

Козырнув, Котляревский удалился, пожелав командующему спокойной ночи.

Над Бендерами занимался рассвет. Минет еще час-два — и над городком прозвучат сигналы побудки, на улицы выйдут войсковые части для обычных строевых занятий, без которых барон Мейендорф не мыслил себе жизни и в нынешней обстановке — накануне баталии за Измаил.

В предрассветное, уже обрызганное синей краской небо вздымались крутые башни крепости; на форштадте мерцали одинокие огоньки, а здесь, в долине, лежало еще сонное местечко, подернутое белым туманом. Под ногами звенела замерзшая за ночь дорожка; в соседнем переулке скрипели в сарае ворота.

Перекликались, обходя улицы и переулки, караульные.

4

Минуло три дня.

Поход на Измаил, предстоящая баталия за одну из крупнейших крепостей на Дунае занимали всех: в постоянных хлопотах проводили дни интенданты, штабные и артиллерийские начальники готовили предстоящую экспозицию боя, проверяли наличие осадных средств.

У адъютанта командующего день начинался рано. Еще не объявлялась побудка в солдатских казармах, не пели третьи петухи, а первый адъютант Мейендорфа был уже на ногах. Окатившись до пояса ледяной водой из кувшина, выставленного на ночь на крыльцо, докрасна растирался льняным полотенцем и, наскоро поев, одевался.

Пантелей еще с вечера чистил мундир, подшивал свежий подворотничок, надраивал до огненного блеска сапоги, не раз прохаживался жесткой щеткой и по шинели, затем провожал штабс-капитана до ворот. Постояв на улице, пока штабс-капитан поднимался на крыльцо соседнего дома, где находилась квартира командующего, возвращался. Предстояло много работы: поить, затем кормить и чистить лошадей, проверить, на всякий случай, подковы, может, какая расшаталась и необходимо перековать, наточить клинки, подшить переметные сумы, а там и обед поспевал. Ну а потом, если оставалось пять-десять минут свободного времени, писал небольшое, в один листок, письмо. Не часто, но раз в неделю он отправлял весточку родным. С некоторых пор Пантелей с уважением смотрел на свою правую руку, которая раньше умела только чистить лошадей да управляться с ружьем, а теперь этой же рукой он писал письма, слал поклоны всем родным и знакомым, описывал, как живет-служит у господина Котляревского, штабс-капитана, что стал ему вторым отцом, открыл свет, научил грамоте и ни разу за все годы службы не обидел, не обругал непотребным словом. Когда Пантелей начинает думать об этом, сразу теплеет на

сердце, новые силы появляются, растет желание сделать как можно больше, чтобы штабс-капитан был доволен: возвратившись на квартиру, отдохнул и хорошо поел, а если пожелает, то и посидел бы за столом. Пантелей держал и свечи для такого случая, и перья чинил, и чернила научился делать. Расспросил генеральского ординарца Федота Гаврилова, тот и рассказал, что к чему. Между тем штабс-капитан, переступив порог генеральской приемной, снимал шинель и первым делом просматривал донесения, поступившие из полков за ночь. И надо сказать, делал это вовремя. Барон, едва проснувшись, звал прежде всего адъютанта. Котляревский тут как тут — свеж, подтянут, будто и не было утомительного дня, бессонной ночи. "Пришли обозы со снарядами?" Или: "Что нового поступило о противнике? Не предпринимает ли он каких-либо шагов?" Попутно генерал выяснял и множество других вопросов.

Адъютант обязан все знать, все и даже немного больше. Такова должность. И никому нет дела, когда он отдыхает и отдыхает ли вообще. Никого решительно не заботит, что штабс-капитан, усталый до изнеможения, придя к себе на квартиру — одинокий домик по соседству со штабом, — еще долго не ложится, не гасит до полуночи свечей. Желтые, будто масляные, пятна допоздна лежат под окнами в затвердевших следах конских копыт.

Кто знает, чем адъютант занимается, над чем колдует. Некоторые, из особливо догадливых, клятвенно уверяли: не иначе как замешана женщина, но никто ни разу не видел, чтобы в одиноком домике, кроме прачки, появлялись представительницы прекрасного пола. Нет, женщин к себе штабс-капитан не водил, хотя, как утверждали близко его знавшие еще по драгунскому полку, штабс-капитан равнодушен к красоте вообще, а к женской — в особенности, и лучшего развлекателя, чем он, во всей армии не сыскать. Длинные языки утверждали, что когда-то, еще до армии, у штабс-капитана была какая-то прелюбопытная романтическая история, но кончилась она внезапно и весьма неудачно для штабс-капитана. Вот, мол, с тех пор последний избегает женского общества. Но если кто-либо из любопытных пытался выяснить детали этой истории, штабс-капитан по обыкновению отмалчивался или же искусно переводил разговор на другую тему. Даже близким друзьям его не удавалось удовлетворить свое любопытство. Штабс-капитан был вежлив, корректен, но тверд...

Пока командующий в опочивальне, а ординарец готовит ему завтрак, адъютант успевает просмотреть всю утреннюю почту, и не только просмотреть, но и составить общий доклад, сделать по своему разумению выводы, чтобы затем, во время завтрака, коротко и вместе с тем мотивированно доложить генералу о всех событиях за истекшие сутки.

Адъютант не забывает вызвать к командующему намеченных еще вчера для доклада начальников и командиров отдельных частей. Впрочем, всего не перечислишь, идет новый день — появляются новые хлопоты, им нет числа. А уже к вечеру, когда основное завершено, адъютант садится за писание журнала военных действий, сие занятие возложено командующим тоже на него. "У вас, батенька, слог отменный, и

главное выделить умеете..." Не откажешься. Просьба генерала — приказ, хотя высказана в вежливой форме и скорее похожа на похвалу. Для ведения журнала у адъютанта все под рукой: донесения из частей, карты, письма. Никогда не откажут в дополнительных материалах и штабные. Они дружески расположены к адъютанту — человеку веселому и учтивому. А такой штабной, как бригадир Катаржи, почитает за честь быть в дружеских отношениях с штабс-капитаном, и последний платит ему тем же...

В приемной командующего, кроме адъютанта, находится и ординарец генерала Федот Гаврилов. В комнате жарко, но Гаврилов не переставая подбрасывает в печку мелко колотые березовые поленья, пламя бушует, словно старается выброситься на пол, жадно лижет докрасна раскаленные дверцы. Котляревский, не отрываясь от бумаг, спрашивает, не хватит ли топить, в комнате-то не прохладнее, чем в бане. Гаврилов согласно кивает: в самом деле, не холодно, но жар костей не ломит, он это знает по себе. Однажды, побывав в переделке, искупавшись в ледяной воде, он простудился, да так, что нынче, как только намечается перемена погоды, у него до боли ломают ноги, пусть поэтому их благородие не взыскивает, потерпит, он, Федот, часок-другой погрееется.

— Грейся, Гаврилов, но в воду больше не лезь без надобности.

— Кто полез бы, ваше благородие, да куда денешься, коли огонь сверху?

— Тогда конечно...

Просматривая донесения, Котляревский отбирает самое важное для записи в журнал и, чтобы чего не пропустить, перечитывает иные документы дважды.

Кончив чтение, сжимает ладонями виски — с некоторых пор побаливает голова. Глоток воды, одна-две затяжки из трубки — в немного легче. Поставив дату — 30 ноября, — Котляревский пишет: "...хотя командующий и не входил в настоятельное требование, чтобы взять крепость Бендерскую в совершенное владение, однако ж за нужное сочтено, чтобы всех жителей и воинских людей, в крепости и на форштадте живущих, переписать и, арсенал обревизовав по поверхности, приставить к нему свой караул, что сего числа исполнено..."

Поставив точку, придвинул к себе донесение, присланное накануне из штаба, и принялся переписывать из него по порядку, что именно найдено в крепости, сколько людей, а также мортир, пушек осадных на лафетах и без лафетов, различных военных причиндалов, вроде картечи, ядер разного калибра, пороха, ружейных пуль и ружей трех сортов, а сверх того — шанцевого инструмента, лесу для лафетов. В конце приписал: "Командующий объявил туркам, чтобы они нимало не тревожились и не взирали бы с худой стороны на перепись, им сделанную, что сие есть порядок полиции, а караул при арсенале — взаимная безопасность..."

Теперь все, можно и покурить, — и потянулся за трубкой. Но тут же отчетливо представил последнюю встречу с турецким пашой Хасаном. Хасан и его старшины волновались, заискивающе смотрели на генерала, а Мейендорф успокаивал их и, кажется, добился своего, стало быть, беседа не была бесполезной. Очинив перо, снова



раскрыл журнал. Последняя фраза в записи от 30 ноября и была об этой беседе. "Командующий уверил их, что препятствия не будет им ни в отправлении религии, ни обычаев, торгу, промысла, рукоделия, и чтобы они, почитая россиян своими защитниками, остались спокойными".

Вот теперь-то, кажется, все. Довольный, что не забыл об этом эпизоде, вдруг вспомнил, как паша выходил из комнаты. Турок пятился до самой двери и все кланялся: шаг — и поклон, шаг — и поклон, и генерал не выдержал, сказал переводчику: "Подобное унижение персон своих позорно не токмо для них, но и для каждого, именуемого себя человеком. Пусть выйдут как люди..." Переводчик быстро, в нос что-то пролепетал, и Хасан, рыжебородый толстяк, медленно выпрямился, шея и все лицо, круглое, как шар, покрылись красными пятнами. Поклонившись в последний раз, он вышел, а люди его не посмели поднять голов, как ни настаивал переводчик.

Штабс-капитан, закрыв журнал, положил его в походную скрыню и не успел опустить крышку с медными уголками, как в комнату, широко распахнув дверь, вбежал Катаржи, в шинели нараспашку, смуглое лицо сияло.

— Ты только послушай! — с порога обратился к Котляревскому. — Послушай!

Бригадира Катаржи командование считало одним из лучших штабных командиров. На службе в русской армии он пробыл более пятнадцати лет и, несмотря на то что происходил из молдаван, правда весьма зажиточных, дослужился до бригадира, однако такой взлет по службе не вскружил ему головы, он оставался простым, задушевым товарищем. Катаржи одни из немногих знал местные обычаи, обладал, как говорили в штабе корпуса, и кое-какими дипломатическими способностями. Может быть, поэтому именно его Мейендорф отправил для переговоров с турецким пашой о сдаче без боя крепости Бендеры. Миссия Катаржи закончилась удачно — он начал переговоры, другие закончили, и Бендеры были взяты без кровопролития. Котляревский о поездке Катаржи занес несколько фраз в журнал военных действий. Запись от 16 ноября гласила, что "бригадир Катаржи был послан в Бендеры к тамошнему паше Гасану о переговоре с ним для занятия российскими войсками крепости без кровопролития..." А спустя два дня, 18 ноября, в журнале появилась новая запись: "Сего числа бригадир Катаржи возвратился из Бендер и донес командующему, что от паши будут присланы чиновники для переговоров, на каком основании российские войска хотят занять крепость". В последующие дни русские войска переправились через Днестр и вошли в Бендеры. В этом успехе сыграла, без сомнения, свою роль миссия Катаржи.

Обычно спокойный и выдержанный, он был сейчас крайне взволнован:

— Ты слышал? И... чего глядишь так?

— А как прикажешь, сударь, смотреть на человека, врывающегося в служебное помещение, аки абрек с ножом?

— Ах, оставь! — отмахнулся Катаржи. — Я знаю, тебе будет приятно... Так слушай! Только что был у нас человек и донес, что нашего корпуса прибавилось на целый полк, а такой полк стоит и всех четырех.

— О каком полке говоришь? Объясни. — Ни одна черточка на лице штабс-капитана

не дрогнула, хотя он уже догадался, о чем толкует Катаржи.

— Да ты знаешь, все знаешь, а притворяешься. Хитришь, душа моя. А впрочем, все равно. Полк задунайских казаков уже здесь, под Бендерами. Каково?

— Неплохо.

— Неплохо? Ты говоришь — неплохо? Несчастный, да ты должен радоваться, что такую весть преподнесешь командующему. Это же чертовски хорошо! А он, — кивнул на дверь, — не знает? Доложи немедленно!

— Если ты отпустишь меня, я сделаю это...

— Отпущу. Только вот что. — Катаржи оглянулся на Гаврилова, внимательно прислушивавшегося к разговору, шепнул: — Вечером свободен? Приходи ко мне. Гости будут. Посидим. Может, и сыграем.

— Гости? Кто именно?

— Возможно, и дамы. Но хорошенькие. Отметим такое событие... Скучать не будешь.

Котляревский не хотел обижать друга и все же вежливо, сославшись на неотложные дела, отказался. Катаржи хотел было рассердиться, но отказ сделан был в такой форме, что невозможно было обидеться, и Катаржи несколько секунд снизу вверх смотрел на штабс-капитана, на его сокрушенное лицо: мол, рад бы, да святые не пускают, и рассмеялся:

— Удивительно! Сердиться на тебя грешно. — И уже серьезно: — Получается что-нибудь?

— О чем ты? — Штабс-капитан подбирал бумаги на столе в синий картон, предназначенный для доклада командующему, и был неподражаемо равнодушен к вопросам Катаржи.

— Ну и хитрец. Все корпишь?

— Корплю, сударь, ты прав. А что выходит — один бог ведает, да и он, пожалуй, вряд ли... Иногда хочется все оставить... Но взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— И тyani, коли взялся... Да и чего приbedняешься? В Санкт-Петербурге напечатался. Слышал я, не думай, слышал.

— А, что там. Испоганили только.

— Ты не прав. Может, тебе и не нравится, но почитателям малороссийского языка — по душе. А это — главное... Однако же тебя не переспоришь, поэтому ретируюсь. — И еще раз, уже на пороге: — А может, заглянешь? На часок хотя бы. А. черт с тобой!.. Да, скажи, что слышно от дюка де Ришелье?

— То, что и в штабе, наверно. Сидят пока под Аккерманом и Паланкой.

— Не взял, значит. И чего медлит? Взятие Аккермана и Паланки сейчас бы очень кстати.

— Будем надеяться. Но прости — мне пора.

— И мне. Честь имею! — Каблуки Катаржи простучали по крыльцу и под окном — и все стихло.

Чудак Катаржи! Новость принес и не догадывается, что именно он, штабс-капитан,

к этому имеет не косвенное, а прямое отношение. И конечно же еще вчера вечером он знал о том, что полк задунайцев в пути на Бендеры. И командующий знал об этом, даже сделал распоряжение: по прибытии полка выделить для него необходимое количество оружия, сабель, пороха, обмундирования, провианта и фуража. Очень хочется пожелать им ратного успеха, боевой славы и хорошо бы в предстоящей баталии их поставить на менее опасный участок. Но это уже как бог даст, какова будет воля командующего. Он, Котляревский, станет следить за ними, а если удастся, то и побывает у них, обязательно побывает...

Что еще сказал Катаржи? Ах да, о вечерних занятиях. Верно, корпит он, часто мучается и редко радуется — так, наверное, будет всегда, пока он жив. Судьба, видит бог, не легкая, но иной судьбы он себе не желает.

Пора бы к столу, в комнату, где Пантелей, наверно, все уже приготовил: бумагу, чернила, очинил перья и ждет, считает минуты.

Сегодня, если не помешают, он бы закончил картину подготовки боя с латинянами. И, вспомнив об этом, невольно усмехнулся. Гаврилов, задремавший у печки, проснулся и удивился: чему усмехается штабс-капитан, будто увидел нечто интересное, хотя смотрит непонятно куда: в окно, а может, в потолок? Котляревский, погасив улыбку, закрыл картон и шатнул в комнату Мейендорфа, оставив в недоумении старого генеральского ординарца.

Чуть позже, придя к себе на квартиру, Котляревский подвинул на столе свечи и продолжал работать, будто не было утомительного дня. Только не донесения и штабные карты лежали перед ним — совсем иные бумаги интересовали его, мучили и волновали...

## 5

Пантелей подождал, пока Иван Петрович поест, и, убрав посуду, тотчас положил на стол походную сумку, придвинул подсвечник, осторожно снял со свечей нагар. В дверях задержался, озабоченно оглядел склонившегося над столом штабс-капитана. Тот уже ничего не видел и не слышал, весь ушел в себя. Черные прямые волосы, еще без единой сединки, упали на высокий лоб, на худощавом тонком лице светились желтоватые блики свечей.

"Зачем он так долго и внимательно смотрит в окно, что увидел там", — подумал Пантелей и тоже присмотрелся. Ничего особенного — за окном темная ночь, лишь изредка вспыхивали, оживляя на какой-то миг ночную бесприютность, далекие огоньки в казармах и на горе, в старинной крепости. Ах, вот что! Форточка — будь она неладна — неплотно закрыта, а ветер холодный, дует, аж свистит. Как же он сплеховал? Но подойти и закрыть не решился: штабс-капитан не любил, если во время работы мельтешили перед глазами, отрывали от дела. А закрыть надо, ведь и простудиться недолго, лихорадку схватить, еще этого не хватало. Как же закрыть-то ее, проклятую? Дундук, соображения и на грош нет. Можно и снаружи придавить. Пантелей на цыпочках переступил порог, вышел на крыльцо.

Он знал: теперь для командира ничего, кроме его писаний, не существует. Ни

войны, ни армии, ни самого Мейендорфа, который в любое время, если потребуется, может вызвать и услать с каким-нибудь сверхсрочным поручением, что, как потом окажется, можно бы выполнить и три дня спустя. Но приказ есть приказ, и тут барон неумолим, да и штабс-капитан, как видно, всегда с ним согласен, потому как ни разу не слышал Пантелей, чтобы он когда-нибудь сказал слово против или усомнился в правильности распоряжений начальства. Долг для штабс-капитана — превыше всего.

Но теперь, в этот поздний вечер, Котляревский целиком во власти охвативших его волнений, мыслями он далеко от Бендер, армии и штаба. Никто бы не узнал нынче в этом отрешенном от всего на свете человеке исполнительного, точного до педантизма адъютанта командующего вторым корпусом Задунайской армии. В длинном теплом халате, небрежно наброшенном на белоснежную сорочку, он походил на ученого-отшельника. В эти часы его заботила судьба одного из легендарных героев седой древности. При мысли о древности Котляревский загадочно усмехнулся. Древность? Уж не археолог ли он или историк? Нет, господа хорошие, нет, его больше заботят дни быстротекущей жизни и люди, которых он знает, наблюдает в каждодневных трудах и заботах. Похождения Энея — это, может, способ показать день сегодняшний, умный читатель поймет автора, ему не нужны объяснения.

Уже больше десяти лет Котляревский возит с собой в походной сумке заветные тетради. Работает урывками. Офицеры штаба в дни отдыха проводят ночи за карточными столами, в игорных домах, в кругу случайных знакомых, а он, запретив себе и думать о таком времяпрепровождении, сказывался больным или занятым, если его приглашали, облачался в свободный халат и садился к столу.

Никто не догадывался о его занятиях. И Мейендорф тоже. Возможно, если бы знал, сделал все, чтобы у первого адъютанта не оставалось времени не только для писания, но и для отдыха.

Разве один бригадир Катаржи подозревает кое-что. Ему бы можно и записи почитать. Но кто знает, всегда ли бригадир таков, каким кажется? Иногда в нем проступает что-то слишком расчетливое. Да что думать об этом сейчас! Лучше строфу переписать, еще раз поправить, строчка выпирает, как палка из стожка. А в строфе речь идет о подготовке Энеева войска к войне с латинянами. Энеево войско? Карие глаза смеются, по лицу бродит хитрая усмешка. Погодите, господа бароны и светлейшие князья, вы себя увидите здесь, свет узнает, как вы готовите войско к решающему сражению, как занимаетесь мотовством, воруете и за счет местного населения снабжаете войска, а казенными деньжатами набиваете свои бездонные карманы. Разве же Энеево войско он описывает? При чем здесь древние времена? Ведь это нынче так снаряжают армию!.. И перо заскользило, побежало по бумаге, подгоняемое дерзкой неумной мыслью.

Соснові копістки стругали

І до боків поначіпляли

На валяних вірвовочках;

Із лик плетені козубеньки,

З якимн ходять по опеньки,  
Були, мов суми, на плечах.  
Як амуницю спорядили  
І насушили сухарів,  
На сало кабанів набили.  
Взяли подимие од дворів...

Вот-вот — "подымное"! Берут налог от дыма (и придумают же!), а казенные денежки — себе. А муштра! Дикая, жестокая до одурения. Об этом не забыть! И, торопясь, словно кто стоял за спиной и приказывал писать немедленно, не теряя ни секунды, он писал, писал, прижимая перо и разбрызгивая чернила:

Годі ну військо муштруватин,  
Учить мушкетний артикул,  
Вперед як ногу викидати,  
Ушкварить як на калавур.  
Коли пішком — то марш шульгою,  
Коли верхом — гляди ж, правою,  
Щоб шкапа скочила вперед.  
Такее ратнее фіглярство  
Було у них за регулярство,  
І козакам усе на вред...

Написав, перечитал все с самого начала. Будто бы неплохо, но вот слово "казакам" не к месту показалось, и, зачеркнув его, написал: "І все Енееві..." — так лучше.

Бендеры уже давно спали, лишь где-то на окраинах и в пригородных селах, греясь у костров, бодрствовали сторожевые посты, охраняя короткий отдых товарищей в казармах. Недолго, ой как недолго осталось им отдыхать, скоро раздастся звук трубы, призывающий к походу, на штурм Измаила. А пока — пусть отдохнут...

Котляревский писал быстро, стараясь не упустить внезапно возникшую мысль, слово, фразу, строфу, не дать им улизнуть, исчезнуть, раствориться в усталой памяти.

Так — строфа за строфой — писалась в те дни четвертая часть поэмы.

Несколько раз заглядывал в комнату Пантелей, не решаясь, однако, напомнить Ивану Петровичу, что время уже позднее, вот-вот запоют вторые петухи. Подолгу смотрел ординарец на своего командира, жалея его и вместе с тем гордясь им, радуясь, что судьба свела его, простого хлопца, с таким человеком. Он тихо прикрыл дверь и отошел на цыпочках в боковушку, улегся там на жесткий деревянный топчан, боясь скрипнуть доской. Наверно, и сегодня командир просидит всю ночь напролет и, не отдохнув как следует, утром, раньше всех, уйдет в штаб. Но нечего и думать прервать его работу, командир наверняка выставят за дверь.

Между тем Иван Петрович, закончив несколько строф, начисто переписал их в тетрадь, а черновики разорвал на мелкие клочки и бросил в угол — завтра Пантелей подберет их и сожжет. Перечитав написанное еще раз, остался доволен, но тут же одернул себя: не рано ли ставить точку? Завтра все это может показаться

несовершенным, лишенным смысла, правда, это будет лишь завтра, а сегодня... сегодня он доволен. И — хватит пока, пора и отдохнуть. Пантелей, чудака, переживает и, верно, тоже не спит.

Пропели петухи — совсем как в Полтаве, на Мазуровке. И показалось вдруг, что он не в Бендерах, на краю света, а в родной отцовской хате, что на Соборной, в соседней комнате почивают отец и мать, и стоит переступить порог, как он увидит их.

Размечтался. Не иначе — старость у порога. И то сказать: под сорок уже — немало, больше половины жизни, а что успел? Заслужил погоны штабс-капитана, в адъютантах корпусного командира ходит. С какой бы радостью отказался от такой чести, чтобы ни от кого не зависеть, поселиться в своем доме, заняться любимым делом, полностью отдать ему свое время, всю без остатка жизнь. Но идет война, и он может пока лишь мечтать об этом...

Котляревский закрыл тетрадь, поправил завернувшийся листок и легко поднялся, зачерпнул ковшиком холодной воды.

Спать! Спать! Скорее! Однако не успел он снять халат, как послышался конский топот. К кому бы? Неужто к нему так поздно? Предчувствие не обмануло. Топот затих у ворот, и почти тотчас послышался стук в калитку.

Котляревский снял халат и набросил мундир. Спустя несколько минут Пантелей приоткрыл дверь:

— Гаврилов! От их превосходительства.

— Веди.

Четко и коротко Гаврилов сообщил, что "его благородие штабс-капитана немедля вызывает к себе его превосходительство генерал".

— Только меня или еще кого?

— Господина Катаржи.

— Объявил ему?

— Так точно.

— Можешь идти... Пантелей, живо!

Пантелей уже нес начищенные сапоги, просушенную и выбитую от пыли шинель. Котляревский одевался быстро, словно по тревоге. Пантелей сочувственно смотрел на его приготовления и вздыхал. Не дали человеку и прилечь, а другие небось и не просыпаются. Жестокая несправедливость. Одевшись, Котляревский, уже на выходе, спросил:

— Все ли у тебя готово на случай поездки?

— В точности, ваше благородие. Кони накормлены, а вчера я их и перековал. Седла и сумы — в порядке. Так что не сомневайтесь.

— Добро!.. Отдыхай пока.

6

Штаб еще работал. Светились квадратные, на четыре стекла, оконца в приземистой хате-пятистенке, сновали за окнами вестовые. Последние дни штабисты засиживались допоздна. Работы было немало, успевай только.

Давний спор с Турцией все еще не был решен. Порта строила всевозможные козни, готовила удар в спину России как раз в тот момент, когда над ней нависла угроза нашествия армии Наполеона. Пользуясь крайне трудными для Российского государства обстоятельствами, турки в третий раз захватили Измаил — первоклассную по тому времени крепость на Дунае — и грозились распространить свое влияние на весь юг государства.

И тогда давний, несколько затянувшийся спор был перенесен на поле брани.

Войска Задунайской армии, освобождая город за городом в Молдавии, осенью 1806 года вошли в Бендеры.

И сразу же в штабе стали готовиться к походу на Измаил.

Подвозился провиант и боеприпасы, готовились осадные средства, без которых в предстоящем бою вряд ли можно обойтись: Измаил — не Бендерская крепость, так просто его не возьмешь. Это отлично понимали в русской армии не только специалисты, но и солдаты. Понимали это, разумеется, и в стане неприятеля. Тем не менее турки спешно принимали дополнительные меры предосторожности, укрепляя и без того почти неприступные подходы к Измаилу, внимательно следя за действиями русских.

Турецкие лазутчики однажды донесли измаильскому паше, что у русских внезапно заболел генерал Михельсон, причем, как говорили в донесениях, серьезно. И хотя командование Задунайской армией пока в руках Михельсона, но брать Измаил поручено Мейендорфу, чья жизнь большей частью прошла в гражданской службе. И это радовало Хасан-пашу: как-никак придется иметь дело с человеком, который, по его мнению, в военном деле опыта почти никакого не имеет, во всяком случае, сравнить его с Михельсоном нельзя никак, тот отличился еще в Семилетней войне, воевал вместе с Суворовым.

Учитывал Хасан-паша и еще одно немаловажное обстоятельство. Путь русских к Измаилу лежит через Буджацкие степи, их не обойдешь. Сами по себе степи для такой армии, как русская, не представляли трудности, но в степях проживали буджак-татары. В любое время по его, паши, сигналу татары способны выставить не менее тридцати тысяч всадников, бойцов опытных и отважных, а это весьма серьезная сила, с ней русским придется считаться, хотя бы они этого или нет.

Паша слыл человеком деятельным и энергичным. Не мешкая, он послал в татарские селения своих людей, строжайше наказав передать тамошним старшинам высокую волю султана: точить ятаганы, готовиться к войне с "гяурами", слуг своих султан милостями не оставит, а в случае неповиновения — каждого, до десятого колена, ждет жестокая кара и никто, даже сам всевышний, от нее не спасет.

Командование корпусом тоже не дремало, и здесь скоро стали известны хитроумные шаги измаильского паши.

В штабе русских понимали: угрозами, запугиванием общий язык с буджаками не найти. Что же делать? Какой путь короче к сердцу небольшого, но воинственного народа? А время не ждало...

В приемной командующего, кроме ординарца Гаврилова, Котляревский увидел и бригадира Катаржи. Тот стоял у окна и, услышав шаги, повернулся и стремительно пошел навстречу:

— Наконец-то!

Котляревский пожал протянутую руку:

— Почему такая спешка? Что-нибудь случилось?

— Не знаю.

— И не догадываешься?

— Нет. Но, полагаю, неспроста вызвал. Намечается нечто весьма серьезное. — И заглянул в глаза: — Небось и не ложился? Корпишь?

Котляревский смутился: откуда знает? Догадывается? Да и как не догадаться: внешний вид многое скажет любому, а остроглазому Катаржи — тем паче. Ответил сдержанно!

— Ты, наверно, прав.

— Интересный ты, Иван Петрович, человек. Ни походы, ни война тебе будто и не помеха?

— Ошибаешься, друг мой. Если б не война, мы бы где-нибудь с тобой вино пили... Впрочем, не пора ли?

— Да-да, пошли.

Ординарец открыл перед офицерами дверь, и они друг за другом — Катаржи, как старший, впереди — вошли в комнату, которую занимал Мейендорф. Вытянувшись, козырнули и по очереди доложили о своем прибытии.

— Долго собираетесь, господа, — проворчал барон больше для проформы, чем сердито, и указал на кресла перед столом: — Прошу!

В комнате было жарко, печка в углу докрасна раскалилась, но генерал сидел в наброшенном на тучные плечи камзоле из зеленого штофа. Перед ним — жбан кваса и большая наполовину опорожненная кружка. Котляревский увидел и сделанные самим бароном ковшик и табакерку. На стуле, сбоку, висел новенький, с иголки, генеральский мундир.

Полный, с красной шеей и маленькими заплывшими глазками, барон, казалось, только что вышел из парной. Он тяжело отдувался, ему не хватало воздуха, хотя окно позади наполовину открыто. "Снова было дурно", — подумал Котляревский. Так и есть, пил валерьянку — запах еще не выветрился, резко забивал дыхание. Полежать бы старику надобно, пусть бы начальник штаба подзанился делами, но генерал недоверчив, старается, как и Михельсон, вникнуть во все сам.

На столе перед Мейендорфом — карта, левый ее край придавлен тяжелой пепельницей, правый — стаканом для карандашей из красного дерева, тоже работы барона.

Как-то раз Мейендорф похвалился Котляревскому, что в бытность свою комендантом Риги имел склонность вырезать подобные вещицы, и неплохо



получалось. За таким занятием легко думается. Генерал жалел, что в нынешних условиях нет времени, а то бы он что-нибудь придумал, инструмент всегда с ним. Котляревский, зная тщеславие барона, поддакивал, удивляясь, однако, мастерству его. Мейендорф оглаживал толстыми пальцами стакан из красного дерева и усмехался:

— Дипломат ты, штабс-капитан, знаешь, как угодить начальству... Всегда такой?

Иван Петрович, усмехаясь тоже, с самым невинным видом ответил:

— Где нам в дипломаты, ваше превосходительство. У нас что на уме, то и на языке.

— Не скажи, не скажи, я тоже не лыком шитый и людей немного повидал...

Нравишься ты мне, штабс-капитан. Думаю, знай герр Михельсон, что у меня такой адъютант, уж он бы нашел случай забрать тебя...

Мейендорф вытер вспотевший лоб большим клетчатым платком, который вытащил из внутреннего кармана камзола, и только тогда посмотрел на офицеров, сидевших перед ним:

— Вызвал вас по весьма спешному делу... Дальше откладывать невозможно. — Достал ковшик с нюхательным табаком, щепотью запихнул в нос немного, засопел и оглушительно чихнул. Офицеры ждали, дивясь: если вызвал, как говорит, "по весьма спешному делу", то чего тянет? А Мейендорф не спешил, налил квасу, выпил.

— Только этим и спасаюсь... Не желаете? Отменный квас.

Офицеры вежливо отказались, ожидая, когда же генерал соблаговолит начать разговор, ради которого вызвал.

— Дело, господа, спешное, — повторил барон и шумно выдохнул: — Ах чертова жара, дышать нечем.

— Да, жарко, ваше превосходительство, — поддакнул Катаржи.

— Аллегориями изъясняетесь? Не поэт ли вы, бригадир? — заметил барон, и улыбка промелькнула на его красном лице. Катаржи тоже улыбнулся: не по адресу вопрос, господин генерал. Поэт истинный сидит рядом, молчит пока. Мейендорф продолжал: — Мы накануне, как вам известно, большого жаркого дела. В штабе сегодня много говорено, что делать дальше должно, однако пока — лишь разговоры. Но мысль одну мне удалось уловить. Вот и хочу поделиться. Знаю вас как людей умных и дальновидных.

— Мы слушаем, — привстал Катаржи. Котляревский чуть пригнул голову в знак того, что он — весь внимание.

Генерал прикрыл окно — видимо, дуло или он считал, что окно при таком разговоре лучше закрыть, хотя вокруг дома выставлены часовые, а все же — подальше от греха...

— Нам предстоит идти на Измаил, взять его и решить наконец спор с турками... Но путь туда не близкий, хотя по карте — вот он, Измаил, за день дойдешь. — Мейендорф ткнул куда-то в крайний левый угол карты толстым пальцем.

— И не легкий, — сказал Котляревский.

— Вот именно... Слух дошел, что лазутчики Хасан-паши ведут кое-какую работу на этом пути. И если им удастся...

— Это тридцать тысяч клинков, — досказал мысль командующего Котляревский. — Армия!

— И немалая. Нам с такой армией воевать сейчас — накладно. Да и не можем. Нельзя нам терять силы.

— Что же делать? — спросил Катаржи и сам заключил: — С буджаками спор вести, ваше превосходительство, небезопасно.

— А зачем? — спросил Котляревский, ни к кому прямо не обращаясь. Ответ свечи падал на его бледное лицо, и мелкие оспины казались темными маковыми пятнами, черные волосы резко контрастировали с белизной высокого лба. Во все время разговора он не изменил своего положения — сидел прямо. Катаржи впился взглядом: что же замолчал, почему не объяснишься?

— То есть? — спросил Мейендорф. — Что значит "зачем", штабс-капитан?

— Извольте, ваше превосходительство. По-моему, надо мирком да ладком с ними, как у нас в Полтаве говорят.

— Неглупые люди в вашей Полтаве.

— Да уж не лыком шиты.

— Вижу, батенька, вижу. — Генерал задумался, погладил ладонью карту. — Вот и я так думаю, господа, мирком да ладком трактовать с ними.

— А если не захотят? — спросил Катаржи. — Тогда что?

— Возможно. Все возможно. — Мейендорф запахнул камзол, словно ему стало зябко. — Кабы знать наперед, тогда и разума не надо.

— Они вассалы султана, — не отступал Катаржи.

— Вассалы бывают разные, — заметил Котляревский. — Есть, например, такие, которые только и мечтают, как бы перестать быть оными. И тогда...

Командующий достал из стакана карандаш и, отмстив что-то на карте, вскинул глаза на Котляревского

— Что же тогда?

Катаржи, сидящий напротив в кресле, даже подвинулся вперед:

— Что же?

Штабс-капитан с ответом не спешил. Речь ведь не о пустяках каких-нибудь. Тут крепко надо подумать, все взвесить. Он многое слышал о буджацких татарах. И все же его познания были скудны, неполны. Он расспрашивал о татарах кого только мог. Его интересовало все: и сколько их в каждой рае[9], и чем промышляют, как живут, и какие взаимоотношения в семьях, особенно у старшин и самого Агасы-хана. Кое-что ему удалось узнать, более того — познакомиться с одним из сыновей Агасы-хана — повелителя Буджацкой орды. Как это случилось? Да при весьма интересных обстоятельствах. И Котляревский рассказал о случае во время последней поездки, правда, детали, касавшиеся поручика Никитенко, он опустил, и получалось, что задержали татар какие-то неизвестные, а он случайно увидел это и приказал освободить задержанных. Но главное в другом: он, штабс-капитан, из происшедшего заключает: поскольку Махмуд-бей, младший, как выяснилось, сын Агасы-хана, так

запросто ездил в Бендеры торговать, то, видимо, буджацкие татары в большинстве своем не считают русских, воюющих с турками, своими врагами, хотя утверждать это он не может, он, штабс-капитан, только думает так, хотел бы надеяться, что не ошибается в своих предположениях, ибо — он это хорошо понимает — глубоко узнать жизнь и намерения всего татарского племени в такой краткий срок невозможно.

— Почему не доложили о случившемся? — спросил Мейендорф, внимательно выслушав штабс-капитана.

— Не успел, ваше превосходительство, да, признаться, и случай показался малозначительным, не стоящим вашего внимания. Теперь же думаю...

— О чем?

Котляревский оглянулся на прикрытую дверь, словно его могли подслушать:

— Не... поехать ли самим?

— То есть? — удивленно вскинул густые, седоватые уже, сросшиеся на переносице брови Катаржи. — К хану?

Мейендорф молчал, но взглядом и самым молчанием как бы поощрял штабс-капитана высказаться до конца, и тот, словно споря с кем-то, упрямо доказывая свое, ответил:

— Пожалуй, лучше сначала к старшинам наведаться, а уж потом и хану засвидетельствовать свое почтение.

— Почему к старшинам сначала?

— Да это, я думаю, понятно. Без старшин, сударь, хан, хотя и повелитель орды, не так уж много значит: не то время...

Потрескивали поленья в походной железной печке; в передней ходил генеральский ординарец: во дворе кого-то окликнули, слышались неторопливые шаги, стук приклада: сменялся караул. За окнами — бесконечная черная пустыня, в которой изредка, напоминая далекие маяки на неведомых берегах, оживали и гасли огни в крепости.

Генерал ножницами снял нагар со свечей и, чуть приподняв под камзолом плечи, сухо и твердо заговорил:

— Господа офицеры, почитаю вас за разумных, достойных слуг отечества нашего. Потому и призвал вас к себе. Как я говорил уже, в штабе сегодня на эту тему был разговор, но шагов пока никаких не намечено. Тем временем медлить, как вы, надеюсь, понимаете, никак нельзя, мы не можем терять и минуты драгоценного времени. Получены данные: противник не дремлет. Так вот, господа, завтра поутру берите с собой ординарцев, проводника и — с богом в дорогу. Подумайте, что надобно взять с собой, ибо без презента ехать к нашим соседям, да еще с такой деликатной миссией, неподручно. Итак, с богом! Задача вам, надеюсь, ясна?

— Так точно, — ответил Катаржи и встал.

— Хорошего бы нам переводчика, ваше превосходительство, — сказал Котляревский, тоже поднимаясь.

— Найдем, он же и проводником будет. — Генерал помолчал, пожевал губами. —

Действуйте сообща, но старшим... — Мейендорф прикрыл левый глаз под нависшей бровью, посмотрел на офицеров: бригадир Катаржи старше чином, и это утвердило генерала в решении. — Вы, бригадир, назначаетесь старшим, но шаги штабс-капитана, моего первого адъютанта, не оспаривайте. Действуйте сообразно обстоятельствам... Необходимые бумаги получите перед отъездом. Учтите, господа, ошибетесь — можете угодить к туркам, а те не пожалеют. Не желаю вам этого. Итак, будьте осмотрительны, осторожны, но и настойчивы, а при необходимости решительны. Помните о своем высоком долге. Очень надеюсь на вас. И вот что еще: никто не должен знать о нашей беседе. Уверен, господа, вы разумеете всю важность этого...

Минутой спустя бригадир Катаржи и штабс-капитан Котляревский простились с командующим.

## 8

В Бендерах никто не обратил внимания на небольшой отряд всадников, выехавших рано утром из города по Каушанской дороге. Мало ли в нынешнее время ездят? Нет того часа, чтобы не скакали всадники от штабной квартиры в разные концы, распугивая кур на дороге, разбивая комья глины, разбрызгивая замерзающие лужи. Промчится иной всадник по узкой улочке — прохожие шарахнутся в стороны, чтобы, чего доброго, не угодить под копыта. И снова станет тихо, словно и нет войны, штабной квартиры, где день-деньской идет какая-то работа, а ночи напролет светятся в окнах подслеповатые желтые огни, по улицам и переулкам перекликаются часовые, дрожит от кованых каблуков мерзлая земля...

В отряде было пять человек: бригадир Катаржи и его ординарец, худой, длинный Денис Орестов, штабс-капитан Котляревский с Пантелеем и переводчик, он же и проводник, Стефан — молодой, ловкий, быстроглазый молдаванин, хорошо владеющий и татарским, и турецким языками.

Пока не миновали город, офицеры ехали впереди, солдаты и Стефан держались на небольшом расстоянии сзади; в степи перестроились: Стефан выдвинулся в один ряд с офицерами, ординарцы замыкали отряд.

Бендеры с крепостью я форштадтом, узкими кручеными улочками, хатами-мазанками скоро скрылись за степными курганами, утонули в белом текучем тумане.

Дорога петляла из оврага в овраг, выбегала на курган и пропадала в прибрежной низине, ведущей к степному озеру. Пришлось объезжать его. Шуршал пожухлый тростник. По черной воде плыли невесть как занесенные сюда желтые кленовые листья.

Всадники миновали круглое, словно малахай, озеро, снова въехали в избитую тысячами копыт низину. Проскакав версту, а может и две, по низине, уперлись в новое озеро, небольшое, но чистое, прозрачное; по ту сторону его лежали тучные степи, покрытые синей изморозью. Такого же оттенка небо, соединившись на горизонте со степью, словно загородило весь белый свет, будто дальше и дороги нет. От этого или потому, что в степи было тихо и пустынно, становилось жутковато. Что ждет отряд, как встретят их татары?

Стефан на гнедом жеребце выскочил на несколько шагов вперед. Он не только искал дорогу — он слушал степь, всматривался в каждый бугорок на горизонте, изучал его, будто спрашивал: а что за тобой там, дальше? От внимания штабс-капитана не укрылось усердие Стефана, его умение ловко сидеть в седле и легко, невзначай будто касаясь поводка, поворачивать гнедого в нужном направлении. "Неплохой проводник", — подумалось, и он поделился вполголоса своими наблюдениями с Катаржи. Тот, оказывается, тоже заметил это, и ему нравились уверенность и смелость, с которой Стефан вел отряд. По всему видно, молдаванин не раз бывал в степи, знает здесь каждую стезю и овраг, и это обстоятельство рассеивало невольные опасения офицеров.

Сразу же, шаг в шаг за офицерами, скакали ординарцы — Пантелей и Денис. Они знали друг друга давно, с первых дней похода; не раз им приходилось коротать время вместе, когда офицеры уезжали по служебным делам. Денис Орестов, постарше, прослуживший в армии больше пятнадцати лет, питал особую, почти отцовскую привязанность к молодому Пантелею, земляку штабс-капитана, и на правах старшего советовал, как лучше выполнять несложные и вместе с тем непростые обязанности ординарца.

Котляревский подумал, что, может быть, следовало выезжать без солдат. Ведь если офицеров ждет неудача, то ординарцы их не спасут, а справиться с заданием командующего они могли бы и сами. Но Катаржи настоял, он считал, что солдаты необходимы в дороге, и пришлось подчиниться. Тем более что и сам командующий советовал взять их с собой.

Не успел, однако, штабс-капитан подумать об этом, как вдруг послышался выстрел и свист пули. Это было так внезапно, что никто не успел заметить, откуда, с какого места стреляли, но все как по команде остановились.

— Ах шайтан! — выругался Стефан и, огрев нагайкой круп жеребца, как вихрь вынесся на курган. За ним — и остальные. Пантелей и Денис встали с двух сторон от офицеров, чтобы уберечь их от возможного нападения.

Степь, изрезанная лесистыми балками и оврагами, просыпалась медленно. Из седого тумана поднималось солнце, и небо в той стороне казалось опаловым, побуревшим, словно подернутым тонким слоем пепла. Но с каждой минутой оно все больше и больше освобождалось от тумана, и внезапно первые лучи осветили темные камыши, что настороженно замерли у курганов.

— Ушли, — сказал Катаржи.

— Что вы, ваше благородие, они тут, поблизости, — возразил Стефан. — Только отошли чуть подальше. Сидят где-нибудь в балке, может, в той, что слева, а один или два на курганах притаились, наблюдают.

— Так, наверно, и есть, — сказал штабс-капитан.

— Может, переждем? — предложил Катаржи, хотя он мог не предлагать, а приказывать, но бригадир сам не был уверен, что именно так нужно поступать.

— Ждать? Не знаю, — покачал головой Стефан.

— Ждать нет смысла, — вмешался штабс-капитан. — Если бы мы имели цель окружить их, изловить или уничтожить, тогда, возможно, мы бы должны что-то иное придумать. А в нашем положении ждать — напрасно терять дорогое время. Они дали о себе звать, и хорошо. Поедем прямо на ту балку. Мне кажется, они там.

В самом деле, от степняков не спрячешься, в степи они как дома, видят каждый шаг пришельца, слышат его.

— Едем, — согласился Катаржи.

Всадники съехали с кургана и легкой рысью пустили лошадей по степи, уже не выбирая дороги. Стефан вел их к ближней деревне, что принадлежала, как говорил он, уезду Орумбет-оглу. Котляревский, следуя сразу же за Стефаном, нарочно опережая Катаржи, чувствовал себя совершенно незащищенным, тело его было напряжено, словно в каждую следующую секунду могла просвистеть стрела. Она могла быть направлена с любой стороны, и ничем нельзя ее отвести. То же самое, наверно, чувствовали и все остальные.

Катаржи ехал с каменным лицом, желваки под смуглой кожей затвердели, а глаза, черные, как угли, лихорадочно блестели. Угрюмые лица ординарцев выдавали их настроение, но они не смели и слова молвить: они обязаны следовать за офицерами молча, безропотно выполняя их волю.

Позади маленького затерянного в степи отряда катилось солнце, то скрываясь в пожухлой траве, то всплывая над степным курганом, спокойное и величавое.

Дорога ворвалась в лошину внезапно, всадники пришпорили лошадей, чтобы проскочить ее как можно быстрее, и лошади, будто предчувствуя недоброе, прибавили рыси, рванулись во весь опор, лишь ошметки рыжей глины вместе с мерзлой травой разлетались из-под кованых копыт. Но лошину проскочить не успели...

Ордынцы на низкорослых конях появились так внезапно, что почудилось: будто выросли они из-под земли все до единого в одно и то же время. Они стояли на кургане в пятидесяти саженях впереди, десятка два малахаев маячили и слева.

— Кажется, приехали, — пошутил штабс-капитан.

Стефан, успевший проникнуться искренней симпатией к штабс-капитану, пожал плечами: офицер шутит, а до шуток ли при таких обстоятельствах? Штабс-капитан как будто даже обрадовался внезапной встрече с ордынцами. А бригадир, земляк Стефана, повел себя иначе. Увидев на кургане татар, из которых кто-то — может, случайно — выпустил по ним стрелу, не удержался и схватился за мушкет. Кто знает, как бы развернулись дальнейшие события, скорее всего, не миновать бы кровавой стычки, которая при таком соотношении сил могла бы закончиться трагически прежде всего для русских. Но штабс-капитан, оказалось, не только шутил, он сразу же оценил обстановку, вовремя предупредил товарища, натянув поводья, тихо, но твердо сказал:

— Выдержка, бригадир...

Сказал — и почувствовал, как заглодело под сердцем: что, если Катаржи не послушает? Но тот одумался, резко опустил руку.

— Черт, не сдержался. — И свободнее вздохнул. — А ты... ты будто в гости едешь?

— А ты думал. В самом деле, чем мы не гости? — И, приподнявшись в стременах, спросив взглядом разрешения Катаржи, взмахнул рукой: — Эй, кунак!..

Его, конечно, услышали, однако никто не ответил, и голос штабс-капитана растаял в глухой низине, эхо где-то в камышах тревожно откликнулось и не вернулось.

— Молчат, — проворчал Катаржи, — а чтоб их... Позови-ка еще раз, у тебя получается.

Котляревский повторил обращение и, стоя по-прежнему в стременах, сиял шапку и помахал ею над головой, давая этим понять, что приехали они с добрыми намерениями. Но снова в ответ ему было молчание, ни один из ордынцев не шелохнулся. Тогда, обернувшись к Стефану, штабс-капитан сказал:

— Переводи: в гости, мол, едем. Поговорить надо. Кто у них старший?

Выехав вперед и подняв руку, Стефан заговорил так громко, что даже лошади запрядали ушами.

Степь перекрестили тени от набежавших туч, и солнце на мгновение погасло. Настороженно-печально шумели сухие камыши. Где-то крикнула дикая утка. "В этой лощине все может случиться, и помощи здесь не дождешься, кричи, зови — все напрасно; словно крик дикой утки, так и твой крик, человеке, может в любое мгновение прерваться, а камыши будут шуметь и после этого, и солнце не перестанет светить..." — невольно подумал Котляревский, но тут же прогнал эту мысль: даже самый отъявленный враг должен сначала выслушать, а выслушав, подумает, и это уже первый шаг к победе.

С кургана слева отделился всадник, за ним еще двое. Первый ехал чуть впереди. Они приближались медленно, в отряде русских сразу же поняли: передний и есть старший из ордынцев. Это был еще молодой с тонкими усиками татарин, из-под лисьего малахая зверовато косили глаза, в руке покачивалась плеть, на боку — в дорогих ножнах — ятаган. Шагах в двадцати все трое остановились, причем одновременно, как по команде. Передний бросил быстрый взгляд из-под малахая:

— Куда едешь, урус?

— К тебе, кунак, — ответил Катаржи.

— В гости приехали, — сказал штабс-капитан и усмехнулся открытой обезоруживающей улыбкой. Такая улыбка могла бы смягчить кого угодно, только, очевидно, не ордынца: ни одна черточка на его лице не дрогнула.

Он холодно и угрюмо оглядел офицеров:

— Не ожидал гостей.

— А мы без приглашенья, — сказал Катаржи.

— С хлебом-солью к тебе, — добавил Котляревский. — И еще кое с чем, чтобы горло освежить с дороги. Да и дело есть.

Голос переводчика звучал приветливо, мягко. "Молодец, умница, — отметил про себя штабс-капитан, — верный тон".

— Гостям мы рады. — Ордынец оживился, услышав, что гости приехали не с пустыми руками, но тут глаза его хищно сверкнули: — В гости едешь, урус, а мушкет

зачем? А ножи?

— Это? — спросил Котляревский с неизменной улыбкой, указывая на мушкеты и короткие ножи за поясами солдат. — Ты, безусловно, охотник? И, видно, хороший, ни лисица, ни волк не уйдут от твоего коня и твоей стрелы.

Татарин слушал, и жесткие черты лица его чуть оттаяли.

— Мы не хотели упустить случая. Только нам не повезло, эфенди, ничего по пути не встретили.

— Распугали дичь, шайтан-урус, — сказал татарин, искоса, исподлобья взглянув на штабс-капитана. — Зачем пришли в наши степи? Кто звал вас?

— Ты умный человек, прости, не знаем твоего имени, — сказал Котляревский, нарочно игнорируя и взгляд, и тон ордынца. — Можно ли о таких серьезных вещах говорить здесь? А ведь у нас, повторяю, и дело есть, эфенди. Поедем лучше к тебе. Там и поговорим, на твоей кошме. Поедем.

Татарин размышлял недолго, круто повернул коня и — как отрубил:

— Едем!

Буджаки вылетели на дорогу и на полном ходу перестроились в одну линию, как это делают люди, хорошо знакомые с военным делом. Ехали молча, не замедляя темпа. Ордынцы перестроились снова, ехали они теперь двумя лавами, иногда казалось: столкнутся, с лета, расшибутся, но ничего подобного не случилось — мчали в одном направлении в двух как бы кулаках, тесно сжав отряд русских с двух сторон. Теперь ехать надо было только вперед, вслед за головной группой.

Дикая гонка продолжалась около часа, но вот кончилась дорога, кончились и камыши, и перед отрядом русских в глухой долине выросла небольшая татарская деревушка, тихая и безлюдная.

Выбрав момент, когда буджаки ушли немного вперед, а ехавшие с боков отстали, Стефан поравнялся с штабс-капитаном, которого почему-то считал старшим, и, глядя прямо перед собой, словно рассматривая дорогу, шепнул:

— Мы в руках сына Агасы-хана. Старшего. Узнал его. — И еще тише. — Грабитель. Разбойник, каких свет не видал.

— Зовут как?

— Селим-бей... Будьте осторожны, господин.

Стефан придержал коня и, отстав, снова поехал в одном ряду с ординарцами.

Котляревский кое-что слышал о старшем сыне Агасы-хана. Селим-бей, самый богатый среди ханских отпрысков, давно жил отдельно от отца, как, впрочем, и остальные сыновья хана, и все годы враждовал с младшими братьями, нападал на их табуны, угонял лучших коней. На него жаловались хану и старшины, но отец к жалобам на старшего сына оставался обычно глухим. Селим-бей был умен, в набегах на соседей удачлив, никто никогда не мог сказать, что видел его среди грабителей. Отец-хан назначил Селим-бея начальником одного из больших уездов вблизи Измаила, а в случае смерти отца Селим-бей мог стать и повелителем всей Буджацкой орды. Не думалось, что придется встретиться с этим коварным хищником в первый же день.



Впрочем, так или иначе, а никуда не убежишь, не объедешь, рано или поздно, а встречи с Селим-беем не миновать. Пусть это будет сегодня.

Штабс-капитан вполголоса передал бригадире разговор с переводчиком. Тот выслушал и сказал, что о Селиме тоже слышал: трудный человек, если удастся договориться с ним — с другими будет полегче. Конечно, подумал штабс-капитан, они попытаются найти общий язык с Селимом, для этого и приехали сюда, другого у них пути нет, но должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Об этом он как раз и хотел сказать Катаржи, но сказал о другом: не следует так сжимать руки на поводе, ни к чему это, хмуриться тоже не следует, расслабься, улыбнись, бригадир, будто в самом деле едешь в гости к лучшему своему другу. Ну, попробайся! Наклонившись, словно бы для того, чтобы поправить повод, штабс-капитан шепнул:

— Держи себя свободнее. Не думай, что деревня мертва, уверен: из-за каждого дувала, из-за стен смотрят, следят.

Котляревский говорил тихо, спокойно, улыбаясь, рассматривая с неподдельным интересом узкие улочки, грязные дворы, со стороны поглядеть: штабс-капитан ведет приятную непринужденную беседу с товарищем. И Катаржи понемногу успокоился, рука разжалась на поводе.

"Удивительный человек этот офицер-пиит, — думал бригадир. — Хорошо, что командующий послал именно его. По существу, они в плену, а ему хоть бы что, спокоен. Видимо, это самое верное поведение в их нынешнем положении". До сих пор Катаржи знал штабс-капитана как деликатного, в меру настойчивого, но все же мягкого человека и не подозревал, что в нем столько воли, завидной выдержки. Проникаясь все большим уважением к товарищу, бригадир внутренне, всем сердцем уверовал в удачный исход их миссии.

Проехав в конец улочки, Селим-бей кого-то позвал, и тотчас со двора напротив выбежало двое молодых татар, один схватил лошадь под уздцы, другой помог сойти Селим-бею, хотя тот мог бы сделать это и сам с таким же успехом, потом они отвели коня под навес и принялись оглаживать вспотевшие бока пучками сена.

Селим-бей, став на землю, оказался низкорослым, но плотным, с длинными руками. Он быстро подошел к русским и, взмахнув плетью, сказал:

— Мой дом — ваш дом. Прощу! — И показал на мазанку напротив.

Офицеры, кивнув в знак благодарности, сошли с коней и, отдав поводья ординарцам, вслед за Селим-беем направились к мазанке. Остановившись перед дверью, Селим-бей толкнул ее носком сапога и, улыбаясь загадочной усмешкой, кивнул: "Входите". Шагнул влево, освобождая, как водится, дорогу гостям.

Какое-то предчувствие беды сжало сердце. Было мгновение, когда Котляревский готов был вернуться и тут, во дворе, начать разговор с Селим-беем. Но то было одно мгновение, штабс-капитан понимал, что теперь поздно отказываться от приглашения Селим-бея: если тот пожелает содействовать им зло, его не остановят никакие условности, достаточно ему повести бровью — и на русских отовсюду набросятся слуги, нукеры, все село, которое ждет сигнала. Нет, надо идти, и штабс-капитан, а вслед за ним и

Катаржи переступили порог полутемной мазанки.

Здесь, в полумраке, они не успели осмотреться, как были окружены вооруженными ордынцами.

Молча, не обращая внимания на протесты, они скрутили офицерам руки, связали и бросили в угол. Все это буджаки проделали быстро и ловко, будто всю жизнь только этим и занимались. Офицеры пытались сопротивляться, звали Селим-бея, но ордынцы, видимо получив приказ, будто немые и глухие, делали свое; когда Катаржи, изловчившись, ударил одного из татар сапогом в живот, тот отскочил к стенке и зло засопел:

— Лежи, урус! — И замахнулся ятаганом, но только погрозил, затем, наказав что-то своим трем товарищам, выбежал из мазанки.

9

Офицеры молча следили за каждым движением своих стражей. Те же стояли у входа с обнаженными ятаганами, неприступные, каменные. Поговори с такими, попробуй — они, наверно, и слова по-русски не понимают.

В жизни случалось всякое, бывало и трудно, иногда казалось: не пережить беды, что обрушивалась внезапно, валила с ног, но чего-либо подобного штабс-капитан не помнил. Стефан предупреждал, говорил: Селим-бей — разбойник, способный на что угодно, а они поверили этому человеку на слово. Да, конечно, он, штабс-капитан, виноват во всем случившемся. Возможно, следовало, как бригадир, схватиться за мушкет? Но к чему бы это привело? Может, Селим-бей как раз на сопротивление и рассчитывал. Нет, нет, лучше бы тогда и не ехать сюда. Правильно поступил, остановив Катаржи, не дав пролиться крови. Но что будет теперь? Что все это значит? Неужто Сел нм-бей решится на подлый поступок, посмеет не выслушать их, офицеров русской армии, что ехали с мирной миссией?

Некоторое время спустя в мазанку втащили и Стефана. Двое дюжих нукеров, тащивших его, тяжело дышали, а Стефан, ожесточенно сопротивляясь, ругался на всех языках, которыми владел, пытался сорвать с себя веревку, но только туже затягивал ее. Оказавшись в углу рядом с Катаржи, Стефан затих. Котляревский тотчас спросил:

— Что с ординарцами?

— В сарае... Связаны... Ах, собаки противные! И как они смеют!

— Молчи, урус! — замахнулся на Котляревского часовой — тот, что стоял ближе всех.

Оказывается, татарин кое-что знал по-русски, и Котляревский спокойно обратился к нему:

— Слова нельзя сказать?

— Зачем? Все равно — секир башка, — осклабился часовой с косым сабельным шрамом на лице; когда он улыбался, шрам лиловел, растягивался и лицо становилось еще более неприятным, отталкивающим.

— Так гостей привечаете? Неужто обычай такой завели?

— Обычай, урус, обычай. Всех гостей, подобных вам, вот так встречаем. Это у нас

издавна. Сам не знаешь — спроси отца или деда.

Кто не знал обычай ордынцев: заманить, ободрать до нитки, а потом продать на невольничьем рынке. Так было, продолжалось веками, но теперь не будет, никогда подобное не повторится. Ох, как хотелось сказать об этом ордынцу, чтобы ни он, ни его господин не бредили подобными химерами. Но нельзя об этом говорить, напротив, надобно сделать вид, что ничего не уразумел и только вот удивляешься негостеприимности Селим-бея и его нукеров.

Штабс-капитан с грустной улыбкой ответил, что отца у него давно нет, а деда своего он почти не помнит, но речь, видимо, не о родственниках, воин говорит об обычаях своего народа, против них никто не возражает, каждый народ привержен к чему-то своему, особенному, и все же, несмотря ни на что, говорить, пусть даже с врагами, по его убеждению, не грешно, ибо, насколько он знает, пророк всех мусульман Мухаммед (он назвал Магомета по-мусульмански — Мухаммедом) в священной книге, известной в мире под названием Коран, учил; общайтесь, правоверные, с себе подобными...

— Только не с гяурами, урус, — отрезал ордынец со шрамом, выслушав, однако, штабс-капитана.

— Может, и так, может быть, ты прав, но пророк нигде в своих проповедях, ни в одной из сур я не читал, чтобы он советовал хватать каждого встречного, вязать и даже не выслушать, особенно тех, кунак, кто приехал к вам с пожеланиями мира и добра. Теперь подумай: ваш ли это обычай? Справедливо ли, кунак, так поступать с гостями?

Котляревский всячески старался поддержать разговор с часовым: а вдруг удастся что-нибудь выяснить, во всяком случае, молчание, по его убеждению, — не лучший выход в их положении. А Катаржи не обращал внимания на разговор штабс-капитана с ордынцем. В нетерпении ждал появления Селим-бея, готов был на все, горел желанием бросить ему в лицо обвинение в черном предательстве — и пусть запомнит разбойник, грабитель с большой дороги: не скрыться, не уйти ему от карающей руки русского правосудия! Его везде разыщут!.. Между тем хозяин не торопился к гостям, видимо полагая, что спешить ему пока некуда; несколько его не трогало и то, что почтенный человек в русской армии бригадир Катаржи находится в холодной мазанке, окруженный стражами.

Тем временем штабс-капитан спокойно и даже подчеркнуто дружелюбно разговаривал с ордынцами.

— Сколько живу, а не знал, что у такого гостеприимного народа, как ваш, такой странный обычай, прямо скажу, нехороший.

Котляревский рассчитал верно: польстил татарам и одновременно задел их самолюбие, ордынскую гордость.

Один из часовых, самый молодой, до сих пор молчавший, вдруг распахнул рот, быстро, громко заговорил:

— Какой ты гость, урус? Ты — гяур, враг ислама. Ага так говорит.

Котляревский внимательно поглядел на часового:

— Как зовут тебя, кунак?

— Эльяс. Я нукер Махмуд-бея! И я не кунак тебе, урус!

— Я не враг ислама, Эльяс, и товарищи мои тоже. Твой ага — Махмуд-бей — ошибся или... неправду тебе сказал.

— Он сын Агасы-хана и не ошибается, — ответил татарин.

— Младший сын? — быстро спросил Котляревский.

— Тебе все равно. Ты слышал, что он сказал? — кивнул на татарина со шрамом.

— Это о башке? Слышал. Только я лучше думаю о твоём хозяине и его старшем брате. Впрочем, может, ты и прав — нам уже все равно.

— И пока не поздно, помолись своему богу, — сказал Эльяс и усмехнулся. Усмехнулся и тот, со шрамом.

— И то сказать, — проговорил штабс-капитан, игнорируя совет помолиться. — Будь твой хозяин здесь, он бы, наверно, тоже так поступил, как однажды с ним поступили. Было это, помнится, под Бендерами. Не так и давно. Впрочем, может, у него память короткая, тогда что ж — как не совсем порядочный человек может и не вспомнить...

— Мой хозяин здесь, он придет, и ты, урус, узнаешь, как поступают порядочные, — ответил Эльяс жестко. Но в выражении его глаз, всего лица что-то изменилось. Он задумался, будто прислушивался к своему внутреннему голосу, будто что-то вспоминал.

— Если он здесь, то, конечно, придет — и ты, наверно, окажешься прав.

Эльяс не ответил, словно и не слышал последних слов штабс-капитана. Подпирая плечом дверь, опустил голову и вдруг, что-то сказав своему товарищу, стремительно выбежал во двор. У Котляревского было желание шепнуть Катаржи, чтобы надеялся, был выдержаннее, но не успел: за дверью послышались шаги. Часовые, которые знали, как ходят их хозяева, степные охотники и воины, отступили в сторону, дверь распахнулась, и в мазанку друг за другом вошли сыновья повелителя Буджацкой орды. В первом, низкорослом, широком в кости, офицеры узнали Селим-бея — того, кто схватил их, обманул, заманил к себе, а другого — он неслышно переступил порог за Селим-беем — рослого, казавшегося хрупким, видели впервые. Одни лишь штабс-капитан сразу признал в нем Махмуд-бея — случайного знакомого, младшего сына Агасы-хана.

Селим махнул нагайкой, и часовые в мгновение ока убрались из мазанки.

Братья уселись на пороге и долго молчали. Селим осмотрел сапоги и шинели офицеров, даже встал и пощупал их — прочны ли, его заинтересовал и почти новый дубленый кожушок Стефана. Но когда Селим попытался посмотреть мех и завернул полу, Стефан повернулся на бок и не дал Селиму рассмотреть его; Селим, подавив вспышку гнева, снисходительно усмехнулся и сел рядом с братом на порог. Махмуд с места не двинулся, его не интересовали трофеи; худые, цепкие руки лежали на острых коленях, малахай закрывал левый глаз, а правый был опущен. Махмуд казался безучастным, почти сонным, словно вот-вот собирался вздремнуть.

Котляревский хотел было назваться и даже кашлянул — может, Махмуд забыл, не

помнит, при каких обстоятельствах они встретились? Это же было совсем недавно, несколько дней тому назад, но хмурый вид юноши, холодность его заставили штабс-капитана промолчать. "Подождем, подождем", — решил он, стараясь успокоиться, овладеть расшалившимися нервами. И это ему наконец удалось, он тоже равнодушно, казалось, даже безразлично, смотрел на вошедших, разрешил Селиму пощупать сапоги, шинель, словно это его не трогало и он примирился со своей участью.

Между тем Селим, закончив осмотр, удовлетворенно цокнув, спросил:

— Куда ехали? Зачем? Отвечай ты! — Ткнул рукоятью нагайки в сапог Катаржи.

Бригадир — Стефан не успел еще перевести — посмотрел на Селима исподлобья:

— Не тыкай, собака!.. Скажи лучше, кто дал тебе право хватать нас?

— Не понимаю, урус!

— Развяжи, тогда поймешь... Я бригадир русской армии, а ты — хватать?

— Не понимаю. Толмач, — обратился к Стефану, — скажи, почему он сердится? — Щелчки глаз Селима стали совсем как ниточки. — Он, наверно, не желает говорить здесь? Может, в Измаил хочет поехать? Я помогу. Якши!..

— Не надо переводить, — вступил в разговор Котляревский, потом обратился к Катаржи: — Что с тобой? Или забыл, где мы находимся?

— Я плюю на него! — вскипел бригадир. — И не учи меня, что говорить.

— Ты отвечаешь не только за себя...

Видя нетерпенье Селим-бея, Котляревский сказал:

— Стефан, переводи мое слово... Уважаемый Селим-бей, старший сын Агасы-хана, известного своим гостеприимством и храбростью, мы приехали, чтобы засвидетельствовать почтение твоему отцу, а также тебе и твоим братьям. Мы приехали не по своей воле, мы посланы командующим русской армией, и мы бы хотели... — Котляревский взглянул на Катаржи, посоветоваться с ним невозможно: Селим-бей следят за каждым движеньем, ловит каждое слово, раскрывать же цель поездки перед человеком, который схватил их, так коварно поступил с ними, — рискованно. Котляревский дождался, когда Стефан кончит переводить, и в полной уверенности, что поступает, как должно в их положении, продолжал: — Мы приехали, почтенный Селим-бей, чтобы купить у тебя, у твоего отца немного корма для лошадей, хлеба также нам бы не мешало впрок заготовить. Цена — как договоримся. Платим — наличными, рублями или пиастрами, как пожелаете.

Выслушав Стефана, Селим-бей прищурился, процедил:

— Хлеба вам? Корм лошадям? Значит, русскому паше нечем кормить свою армию?!

— Селим огладил редкую бородку и, поразмыслив о чем-то, вдруг заговорил неожиданно тихо, почти ласково: — Вы, урусы, лазутчики, вот вы кто, и я отошлю вас Хасан-паше в Измаил непременно. Потешу старика. Ах, как он возрадуется! Сейчас и повезу. Аллах меня простит. Во славу аллаха и пророка его Мухаммеда я поступаю так.

— Ты можешь так поступить, — сразу же ответил Котляревский, и ни один мускул на его лице не дрогнул. — Мы ведь в твоих руках, приехали добровольно. Но скажи, почтенный, какую будешь иметь от этого дела выгоду ты и твой род? Что касается

награды, то ты лучше меня знаешь: Хасан-паша не слишком щедр, скуп скорее.

— Зато русские по заслугам наградят тебя, Селим-бей, — добавил Катаржи. — Можешь не сомневаться.

С глухой угрозой Стефан перевел и это. Штабс-капитан не сумел остановить его, не успел. В иной раз Стефан, может, и подумал бы, прежде чем переводить такие слова, а теперь он мог все: был так зол на этого степного разбойника, что развяжи только руки — с кулаками готов был броситься.

Ханский отпрыск как-то странно побледнел: сначала от носа до ушей, потом виски и подбородок, бледные полосы одна за другой пролегли по сухому крепкому лицу. Селим-бей хищно ощерился, легко вскочил, выхватил из ножен кривой нож. Залопотал что-то хрипло и быстро. Стефан перевел и это:

— Грозишь? Мне? Ты пожалеешь, гяур! Я не повезу вас Хасан-паше. Я вас здесь... Сначала тебя, шайтан! — Бросился на Катаржи, занес нож. В ту же секунду спокойно сидевший, словно даже дремавший, Махмуд метнулся к брату, сзади сжал его локти своими длинными цепкими руками. Селим бешено рванулся, но безуспешно, он хотел обернуться, чтобы вцепиться брату в лицо, но и это ему не удалось. Селим завыл, как волк, загнанный в угол, а Махмуд не отпускал его и, оттаскивая шаг за шагом от Катаржи, что-то говорил быстро, тихо и настойчиво, Стефан, чутко слушавший, не мог ничего понять, но братья, как видно, хорошо понимали друг друга.

Селим постепенно затих, нож выскользнул из руки и упал, мягко шлепнулся о глиняный пол. Селим опустился на порог и, поджав под себя ноги, закрыл глаза, сидел некоторое время неподвижно, Махмуд уселся рядом с ним, внешне спокойный, будто ничего не случилось и не он подвергал себя смертельной опасности: в пылу гнева Селим не пощадил бы и брата.

— Шайтан! Счастлив твой бог, — выдохнул наконец Селим и провел руками по лицу, словно совершая намаз.

— Мой товарищ не грозил тебе, он сказал правду: русские наградят тебя и твою семью, Селим-бей, — сказал Котляревский. Он обращался преимущественно к Селим-бею, старшему, и тому это льстило. — Мы предлагаем тебе мир и покой. Тебе и твоему народу. Зачем воевать?

— А вы, русские, воюете?!

— Мы вынуждены. У нас нет выбора. Русские так говорят: с друзьями — мы дружески, а с врагами — как они того заслужили... Поэтому и война у нас с султаном... Ты ответь, если можешь, что дает вам, буджак-татарам, за вашу службу султан? Обещал землю. А дал? Нет. Обещал награды. И — тоже ничего. Мы ведь знаем.

— Речи твои, урус, хитрые, противные. За такие слова знаешь что бывает? Шелковый шнурок на шею или камень к ногам — и в мешок.

— Я сказал правду, Селим-бей. И ты это знаешь. Еще раз говорю тебе: мы приехали к тебе и твоему отцу со словами приветов и мира, хотели купить сена и хлеба, а ты нас схватил, связал и к тому же грозишься отдать в руки наших врагов. Достойно ли это порядочного правителя?

Селим-бей, уже успокоившийся, впервые, весело похлопывая себя по бокам обеими руками, рассмеялся:

— Ты это говоришь, урус? Мне? Да мой род всегда был врагом вашим. О какой же порядочности ты говоришь?

Селим-бей внезапно оборвал смех, встал и, положив руку на золоченую рукоять ножа, сказал:

— Кончим говорить. Выбирайте, у русы. Или выскажете, зачем ехали в степь, или — в Измаил. Солнце станет в этом окне — и привяжу вас к седлам. Я сказал...

Он круто повернулся и шагнул за порог. Махмуд, подождав, пока закроется дверь, пристально взглянул — впервые за все время — на Котляревского, бегло окинул взглядом мазанку, задержался на лицах Катаржи и Стефана и тогда лишь, неслышно ступая в своих мягких сапогах, вышел.

В мазанке тотчас появились часовые. Их было трое: один уже знакомым — со шрамом, а двое — новых. Махмудова нукера, Эльяса, среди них не было.

"Что будем делать?" — одними глазами спросил Котляревский бригадира, тот неопределенно пожал плечами, руки его дрожали, смертельная бледность покрывала лицо. Штабс-капитан понимал: в таком состоянии бригадир способен на крайность — и ломал голову, мучился: как быть? Что делать? Где искать верный, безошибочный путь к сердцу Селим-бея? Как понимать последний взгляд Махмуда?

Стефан зло ругался, плевал под ноги часовым, но те не обращали на это внимания; длинный, со шрамом, сонно зевал, а его товарищи, прислонившись к стене, что-то шептали друг другу, показывая на сапоги офицеров и их шинели. Но вскоре они тоже стали позевывать, однако при каждом движении пленников настороженно осматривали их, не разрешали разговаривать.

В мазанке стало тихо. Отчетливо слышались шаги во дворе, скрип воротец в сараях и негромкий говор. Между тем солнце приближалось к среднему окну, к тому самому, на которое указал Селим-бей.

10

Беседа их текла мирно, спокойно, как и принято в семье хана, хотя у Махмуда были веские причины говорить с братом в ином тоне. Селим тоже имел основание относиться к гостю менее дружелюбно. Они же обращались друг к другу подчеркнуто вежливо, предупреждаяще подвигали фрукты, стоявшие в больших глубоких вазах, пили легкое искристое вино из золоченых бокалов и плели искусные кружева из ничего не значащих слов и выражений; справлялись о здоровье жен, детей, знакомых, перечисляя всех поименно; потом вспоминали свои детские и юношеские годы в доме отца.

К себе они никого не впускали, только слуги входили без предупреждения, вносили новые блюда, меняли посуду.

Братья сидели уже несколько часов. Вспомнив о чем-то смешном, смеялись, потчевали друг друга дружескими тумакми, но главного пока не касались даже намеком, выбирая обходные дорожки, и каждый преуспевал в этом.

Махмуд выжидал, он не хотел первый касаться того, ради чего, собственно, и приехал к Селиму, а тот тянул нарочно, не спрашивал и даже как будто не собирался спрашивать, зачем приехал Махмуд — младший брат и любимый сын отца. Еще ни разу Махмуд не навещался к нему сам, с братьями года два тому назад был, а сам — ни разу.

Братья вообще редко гостили друг у друга. Селим-бей считал себя обиженным, отец мало выделил ему отар и пастбищ, и поэтому он полагал возможным брать все, что плохо лежит, угонял забредавшие на его пастбища стада братьев, а то наезжал и сам в их уголья, уверенный, что даже аллах ничего в этом плохого не видит. Вот и теперь Махмуд, наверно, приехал с претензией к нему, старшему брату, видимо, что-то пропало, и он убежден, что в этом повинен Селим. Как бы не так! Не пойманный — не вор. Неужто Махмуд так наивен?..

Мирно, плавно течет беседа. Братья пьют вино, которое подают им слуги, вино это в меру крепкое, приятное на вкус, изготовленное старым дедовским способом; вылавливают из миски куски баранины, едят сладкие фрукты и снова пьют вино.

И говорят. Рассказывают друг другу, на сколько голов выросли в этом году их табуны, где нынче лучшие пастбища, а какие можно использовать в следующем году, какой виноград уродился, и что следует продать в Бендерах, чтобы купить женам наряды, себе пороха, ружей, и хорошо бы найти собак для охоты, но где нынче возьмешь их? Стоящие почти вывелись, а без хорошей собаки — какая охота, особенно на лису и волка.

Но всякому терпению есть предел. Внезапно обрывается и нить беседы.

Они сидят друг против друга на зеленой праздничной кошме, слуги ставят поднос с апельсинами, еще кувшин вина, но ни к чему больше Махмуд не притрагивается, хотя Селим снова наливает, подвигает к брату поднос с ярко-желтыми, ароматно пахнущими плодами. Не дождавшись, пока Махмуд выпьет, выпивает сам, тыльной стороной ладони поправляет усы:

— Пей! Пей, дорогой!

Махмуд хмуро глядит в сторону, косясь на подслеповатое окно, в котором стоит жаркое полуденное солнце. Но вдруг солнце гаснет. Тени перечеркивают стены. Над Буджацкой степью нависает черная туча, она уже закрывает половину неба, бегут, удлиняясь, темные и светлые тени, и это кажется необычным: будто день и ночь, крепко взявшись за руки, идут рядом.

Подняв на брата глаза, Махмуд говорит:

— Видишь, я приехал.

— Ничего не вижу... пока не выпьешь.

— Нет, Селим, нет! Спасибо за угощение, но я приехал к тебе... Ты знаешь зачем.

— Ты приехал, чтобы посмотреть, как живет твой старший брат.

— Не надо, Селим, шутить. Прощу тебя.

Селим снова выпивает и хитро щурится:

— Ты в нашей семье — самый большой шутник, а говоришь — не надо шутить.



Почему, Махмуд?

Знал Селим-бей, зачем время от времени ездят к нему братья, знал, с чем примчался и Махмуд. Но притворялся незнающим. Махмуд не мог больше вынести подобное притворство. Ненавидяще глядя на Селима, сказал:

— Эльяс видел Ахмеда. Вчера вечером он проезжал мимо пастбища, а ночью, когда Эльяс отлучился, угнали мою отару.

— Твой Эльяс слишком много видит. Не был Ахмед на пастбище.

— Эльяс не мог ошибиться. Зачем ему выдумывать?

— Тогда сам ищи. Найдешь — твоя отара. Махмуд покачал головой: Селим — старший, должен быть умным, а говорит как малый ребенок. Или Махмуда считает маленьким?

— За три дня я не объеду твоих пастбищ... Где искать? Прикажи отдать отару. И я поеду.

— Нету у меня твоей отары... И мне некогда. В Измаил еду.

— В Измаил ты успеешь. А отару отдай. Стыдно тебе будет, если сам найду. Отцу расскажу.

— Расскажи! — злобно выкрикнул Селим. — Он и так лишил меня всего! А я — старший!

— Ты старший. Но, по-твоему, выходит, что младшим вообще ничего не надо. Почему, Селим, ты больше всех хочешь?

— Глупый вопрос. Человеку всегда мало.

Махмуд исподлобья взглянул на брата, криво усмехнулся:

— Таким я тебя еще не видел... И за русских надеешься взять калым? Большой калым, да? И коней их возьмешь? Хорошие кони.

Селим-бей поднял кувшин, стал наполнять бокалы, красное густое вино расплескивалось на зеленой кошме, но Селим этого не замечал, он лил и лил, пока бокалы не были полны, и только после этого взглянул на брата:

— Надо уметь жить, Махмуд. Я тебе давно говорил. А ты слишком добрый и потому... бедный.

— Помню, как ты обманывал нас, сыновей Марии.

Селим выпил свой бокал, разорвал пополам апельсин, желтоватый сок тек по его рукам. И вдруг рассмеялся, смеялось все лицо — и глаза, и желваки, и острый, клинком, подбородок:

— Я все забыл.

— Детские обиды — самые жгучие, — сказал Махмуд и подумал: нет, не сговориться ему с братом. Отары он не отдаст, приехал к нему напрасно, а хотелось по-хорошему попросить, поговорить.

Ну что ж, побеседовали, пора и уезжать. Но теперь так просто собраться и уехать он уже не мог.

С той минуты, как увидел веревки на руках русского офицера, все изменилось; говорил об отаре, а видел веревки. Махмуд смотрел, как Селим пьет, жадно ест, я вдруг

подумал: такого ничем не ублажишь, Селиму наплевать на то, как живут его соседи, простые люди, нукеры. Война? Пусть война. Селим и на войне погрееет руки. Люди погибнут, кровь прольется. Ему не жалко. Жадный, ворюга — какой он брат? Только так называется, а на самом деле — чужой, совсем чужой.

Махмуд быстро трезвел, выпитое вино уже не действовало. А Селим, осушив еще один бокал, подвинул полный к Махмуду.

— Пей!.. Я угощаю, а ты брезгуешь, сын гяурки? Или ждешь, чтобы я заставил? Я всех заставлю! А тех — в мазанке — посажу на коня и... отвезу. И получу калым! — Селим хвалился: явный признак, что пьян.

Брата своего Махмуд-бей, конечно, знал. Селим опасен всегда, а когда пьян — особенно. Преступление? Совершит любое. Пойдет на все не колеблясь, лишь бы достигнуть своего. Когда же рассвирепеет, не пожалеет ни сына, ни брата, ни жену. И все же Махмуд-бей не боялся его, чувствовал себя значительно сильнее, способным с кем угодно сойтись один на один, потому как был убежден, что поступает по правде, творит добро. Сжимая кулаки, молча, с нескрываемой ненавистью смотрел он на брата.

А тот, уже опьяневший от виноградного вина, хвалился своими неисчислимыми отарами, удачными, по его разумению, наездами к соседям, потешался над ограбленными, обесчещенными, грозил страшными карами каждому, кто посмеет не покориться его воле.

Слушая Селима, Махмуд-бей осознал свою правоту: то, что он надумал, не противоречит совести, ибо Селим виноват во сто крат больше. Вот он какой — только послушайте! Это даже интересно. Махмуду казалось: он впервые видит Селима именно таким, а знал его с малых лет. Он страшнее, нежели казался. Хвалится: возьмет калым за русских, которых он коварно заманил к себе, схватил и запер в мазанке. Как бы не так, дорогой мой брат! Ты не догадываешься, не имеешь понятия, что один из русских — кунак, мой кунак. Я узнал его с первого взгляда, с первого слова Эльяса понял, кто он. И этого вполне достаточно. Я, Махмуд-бей, младший сын Агасы-хана, не позволю тебе, Селим, брат мой, коснуться его пальцем. Ты не получишь и пиастра за него у Хасан-паши, этого омерзительного заносчивого старикана, что, как и ты, бахвалится своей родословной, близостью к султанской семье, ибо, видите ли, какой-то предок в пятом колене удостоился большой чести — мыть султану ноги. Пхе, пакость, стыдно даже говорить, а он нос задирает...

Случилось бы несчастье, если бы он, Махмуд, не приехал сюда сегодня; наверно, ты, Селим, довел бы свое черное дело до конца, и несмываемый позор навеки запятнал бы наш род. Нет, Селим, пока я здесь, такое не случится, и никого я не боюсь, тебя же ненавижу, как можно ненавидеть только заклятого врага, и поэтому никого в твоём доме не пожалею — ни тебя, ни твоих слуг, таких же ворюг, как и ты сам, пусть посмеют лишь встать па моей дороге.

— Почему не пьешь, гяурский кизяк? — прошипел Селим. — Ждешь, чтоб заставил?

Это была та капли, что переполняет чашу и даже слабого делает сильным.

Махмуд вскочил, сорвал со степы веревку, в мгновение ока скрутил петлю и бросил Селиму на шею, как это он делал не раз в степи, когда случалось ловить необъезженных скакунов, со всей силы потянул к себе.

— Ты заставишь? Ты? Ах, шайтан! Ты никого не заставишь, ибо ты слишком слаб, сын Зульфийи, постылой жены моего отца. Ты — бандит и грабитель, и кунака своего я не отдам тебе. Я свяжу тебе руки, хоть лопни, а скручу все равно, ничего у тебя не выйдет!..

Селим какое-то мгновение лежал неподвижно, тупо глядел почти невидящими глазами на Махмуда, потом рванулся, но напрасно, захрипел, в бессильной злобе ударил ногой — пролилось вино, багрово вспыхнуло на зеленой кошме, омочило золоченую Селимову туфлю. Это был последний удар, последняя попытка Селима освободиться из цепких рук Махмуда, в следующее мгновение Махмуд-бей связал ему и ноги, запихнул в рот кляп.

— Вот так! — Передохнул, вытер вспотевший лоб и позвал: — Эльяс!

Молодой нукер Махмуд-бея распахнул дверь, словно стоял за ней и ждал приказа.

— Стражу из мазанки — ко мне! По одному!..

11

Поджав ноги и задерживая дыхание, штабс-капитан готовился нанести удар в грудь Махмуда, но не успел: тот короткими точными ударами ножа перерезал на нем веревки и распахнул дверь:

— Ты свободен!..

Котляревский не двинулся с места. Не чувствовал ни рук, ни ног — так сильно они затекли, но это его беспокоило меньше. На полу мазанки оставались Катаржи и Стефан. А Махмуд нетерпеливо звал:

— Иди же!

— Без них не поеду.

Мгновение Махмуд колебался, прыгнул обратно, взмахнул кривым острым ножом, раз и еще раз. Освобожденные от веревок бригадир и Стефан с нескрываемым наслаждением размялись. Но Махмуд торопил:

— Быстро!

Оседланные лошади стояли посреди двора, возле них — готовые в путь люди Махмуда. Он что-то крикнул — и нукер Эльяс побежал в сарай, вывел лошадей офицеров, развязал солдат, вместе они вынесли седла, переметные сумы.

Махмуд, выждав, пока офицеры оседлают лошадей, подбежал к своему коню, легко, как птица, поднялся в седло, надвинул поглубже малахай и резко натянул повод.

Вихрем вынеслись со двора. Впереди — Махмуд-бей и офицеры, остальные — за ними. У кого-то веткой сорвало шапку, на камне споткнулся каурый штабс-капитана.

Во все стороны летели твердые, что камень, ошметки, бились в глухие дувалы, перелетали через них, мелким дождем падали на повети, низкие плоские крыши халуп. Из дворов выглядывали и тотчас скрывались испуганные лица.

А всадники промчались через всю деревню и поднялись на темный, как грозовая

туча, курган. Махмуд-бей обернулся, крикнул что-то гортанное, дикое; радостно сверкнув глазами, махнул нагайкой в сторону дымившихся на горизонте вечерних туманов:

— Орум-бет-оглу! Туда!..

Офицеры не знали, что все это значит, только одно ясно: им ничего пока не грозит. Махмуд-бей не собирается отвозить их в Измаил к Хасан-паше, иначе он бы не освободил их, не посадил на коней, не отдал оружия и походных мешков. Значит, Махмуд — друг? Но спросить об этом, пожать руку этому сильному возбужденному юноше не было времени — он летел впереди всего отряда, и лошадь его, казалось, не знала усталости, как и он сам. Пригнувшись к развихренной ветром гриве, он будто слился с конем, а конь, чувствуя нетерпение хозяина, мчался над землей, почти не касаясь ее, черной птицей пересекая степь. Уже больше часа прошло в бешеной скачке, и незаметно было, что татары собираются замедлять бег. Но внезапно, будто впереди появилась невидимая стена, Махмуд-бей остановился как вкопанный, остановились и остальные. Офицеры, ехавшие сразу за Махмудом, встали рядом с ним.

— Теперь хорошо! — оскалил зубы Махмуд и малахаем вытер взмокшее лицо, оно блестело, блестели зубы, сверкали черные глаза.

— Спасибо, кунак! — протянул руку Котляревский. — Ты спас нам жизнь, и мы не знаем, как благодарить тебя. Хочешь, выбирай любого коня.

— Подарок? — Махмуд расплылся в улыбке. — Не возьму. То, что сделал, не стоит того. Да ведь ты кунак.

— Мы твои должники, Махмуд-бей, — сказал Катаржи, лицо его смягчилось, взгляд потеплел. — А где же Селим? Что с ним?

— Шайтан с ним! — выругался Махмуд. — Он пьян, спать будет. А чтобы не так быстро проснулся, я связал его и нукеров заодно.

— Но он может и догнать нас.

— Сегодня нет. А завтра — не посмеет. Я братьев позову, старшин... — Махмуд говорил так, будто все давно обдумал и офицерам в самом деле нечего опасаться. — Ко мне поедем. Вам отдохнуть надо. Мои люди охранять вас будут.

— Спасибо, кунак! — приложил руку к груди штабс-капитан. — Но отдыхать нам никак невозможно, ты уж извини нас. Дело, кунак, прежде всего.

— Понимаю. И все же — заедем! К полуночи у меня будем... Может, в вашем деле и я пригожусь.

— Обязательно годишься, а как же... И мы, коль пригласишь, заедем, посидим у тебя, — сказал Котляревский. — Правда, бригадир?

— Непременно. Ведь мы и хотели побывать у тебя, Махмуд-бей. Мы много слышали о тебе хорошего, — сказал Катаржи, ласково оглядывая ладную фигуру юноши. — Наездник ты хороший, любо-дорого посмотреть.

— Спасибо, бачка, за доброе слово! Спасибо, что не брезгуете моим хлебом-солью!.. Деревня моя красивая. Вам понравится. А пастбища мои самые лучшие. Лучше, чем у Селима, только он, шайтан, загоняет свои табуны на мои земли. — В голосе юноши

зазвучала обида. — Да придет час — мы с ним поговорим. По-семейному...

Он оглянулся: вслед за ним по степной дороге, освещенной невысокой луной, ехали его нукеры, а также Пантелей и Денис, огромные горбатые тени бежали по ночной степи, подпирали самое небо, перешептывались с камышами вдоль заголодевших озер.

В полночь, как и сказал Махмуд-бей, приехали в деревню. Он предусмотрительно выставил дозоры и, не мешкая, послал нукеров за старшинами всего уезда Орум-бет-оглу.

А пока — в ожидании старшин — гости и молодой хозяин уезда сидели на ворсистом ковре в парадной комнате и, попивая турецкую ракию, вели задушевную беседу.

— За твоё здоровье, Махмуд-бей, за твоих родичей, жен твоих и детей, за твоего отца — славного Агасы-хана! — поднял бокал Котляревский.

— Спасибо! — приложил Махмуд руку к сердцу и выпил вместе с гостями.

Ракия была крепкая, таких напитков штабс-капитан обычно не употреблял, но ради такого случая, во имя избавления от плена, который неизвестно чем мог закончиться, не отказывался и поддерживал тосты, то и дело произносимые Махмудом и Катаржи.

Прошло немногим больше часа, как стали прибывать старшины, в большинстве своем люди в возрасте, немало пожившие и повидавшие на своем веку.

Они степенно уселись в кружок и, выпив по рюмка ракии, по знаку Махмуд-бея — своего каймакама[10] — приготовились слушать.

Разговор начал штабс-капитан. Русские, сказал он, уважают воинственный, сильный и талантливый народ татарский и всегда очень жалели, считая несправедливостью, что он пребывает в вассальной зависимости у султана. Русские знали, что султан никогда не уважал вассалов, хотя не обходился без их помощи в тяжелые для себя времена, а в мирные дни сразу же забывал их нужды.

Старшины угрюмо слушали, никак пока не выражая своего отношения к словам Котляревского. Но когда он сказал, что султан относится к татарам, как отчим к нелюбимым пасынкам, Махмуд-бей резко взмахнул рукой:

— Правда, эфенди! Мы хуже у него, чем пасынки. Мы голые и бедные, а в войну мы — "верные его ятаганы".

Старшины степенно кивнули: они согласны с каймаком, только двое, самых старых, седобородых, оставались безучастными. Махмуд-бей заметил это и тут же обратился к ним:

— Скажите, почтенные мои старшины, что думаете вы? Правду сказал русский посол или нет?... Клянусь бородой Мухаммеда, вы с ним согласны.

— Те, давась апельсинами, поспешно закивали:

— О да, славный бей-заде[11], согласны!

— Я так и думал, — криво усмехнулся Махмуд и, обратившись к Котляревскому, сказал: — Прости, эфенди, что перебил, говори, мы слушаем.

Привстав — сидя говорить было несподручно, — Котляревский обратился преимущественно к Махмуд-бею, не забывая и старшин:

— Мы никогда не зарились на чужое и не считаем, что имеем право как победители брать даром у других. За все мы платим. В нашей армии есть строгий приказ: никто из русских не имеет права войти в дом местного жителя без его согласия и тем более взять что-либо без денег.

— Мы это слышали! — поддакнул один из старшин, самый молодой из них — рыжий, с вислыми тонкими усами.

— Я уполномочен сказать вам следующее, — продолжал Котляревский, — если русские когда-либо пройдут через ваши степи — разумеется, после вашего разрешения, — будет то же самое. Захотите продать — спасибо, не пожелаете — воля ваша, почтенные старшины.

Котляревский сел и едва заметно коснулся локтем Катаржи: говори ты. Бригадир оглядел собравшихся и, дружелюбно улыбаясь, отчего лицо его стало простым и добрым, сказал:

— Мы привезли с собой фирман нашего командующего. — С этими словами он вытащил из внутреннего кармана мундира свернутую бумагу: — Вот он. Посмотрите, прошу вас.

Бумагу в развернутом виде Катаржи пустил по рукам. Никто из татар, кроме Махмуда, не умел читать по-русски, но все видели, что бумага плотная, настоящая и — важнее всего — на ней поставлена большая круглая печать, как и полагается всем государственным бумагам.

— Фирман настоящий, — объявил Махмуд-бей, рассмотрев на бумаге все, что можно посмотреть, — написано так, как сказал господин офицер. Словно теплым ветром повеяло. Старшины заметно оживились, потянулись к бокалам, которые снова успели наполнить слуги.

— Достопочтенный Махмуд-бей, этот фирман мы передаем тебе на вечное хранение. — Катаржи торжественно передал Махмуд-бею бумагу. Тот принял ее и приложил сначала ко лбу, потом к груди и положил перед собой на палас, чтобы все видели.

— Этот фирман — закон для каждого нашего солдата, — сказал штабс-капитан. — Мы желаем всем без исключения добра и мира!

— Якши, бачка, якши! — заговорили все сразу.

— Выпьем за ваше здоровье, за здоровье ваших родичей, за ваши стада! — сказал Катаржи. Его явно повело уже. — Пусть они плодятся и тучнеют!

Тост понравился, хотя непонятно было, кого имел в виду Катаржи — родичей или стада, когда пожелал им тучнеть и плодиться.

— Многовато наливаєшь, — шепнул Котляревский, касаясь руки бригадира. — Они все трезвы, а мы, пожалуй, и не встанем.

— Узнаю твои привычки, господин пиит, но обо мне можешь не беспокоиться, еще никто не перепивал бригадира Катаржи.

— И все же, прошу тебя, воздержись по возможности. Ты ведь посол.

— Не могу, я угощаю.

— Не будем спорить, но разреши мне сначала сказать, а уж потом... выпьешь.

— Только не тяни. Вспомни, сколько нам еще нужно объехать улусов.

— Деревень, сударь, деревень... Хорошо, что вспомнил об этом. — Котляревский, подняв бокал, заговорил. Стефан, подсевший к штабс-капитану ближе, быстро, без запинки переводил:

— Почтенные старшины! Минет время — и русская армия пройдет через ваши степи. Она принуждена к этому. Но мы верим: вы не станете у нас на пути, будете благоразумны, пожалеете своих жен, детей, свои отары, не станете братья за оружие, к чему — мы это знаем — вас призывает Хасан-паша... Это опасно. Вы знаете сами, что русскую армию остановить нелегко, столкновение с нею могло бы принести только слезы и кровь вашему народу. А мы желаем жить с вами в дружбе, как и должно добрым соседям, которым делить нечего. Прошу вас, уважаемые старшины, я тебя, славный бей-заде, поднять за это свои бокалы!

— Налейте водки, — приказал Катаржи ординарцам. — За такие слова, такой тост не грех выпить нашей!

Ординарцы быстро наполнили бокалы из заранее раскупоренных бутылок.

— Старшины и вы, дорогие гости, послы русского паши! — сказал Махмуд-бей. — Хочу и я слово сказать. Особенно вас, старшины, прошу прислушаться к словам моим. Я моложе вас, но волей аллаха и нашего повелителя Агасы-хана — ваш каймакам и потому отвечаю за вас. Я призываю вас к благоразумию! Кто мне друг, тот послушает, а кто желает стать моим врагом, кровным врагом моим... — Махмуд-бей завертел головой, оглядывая старшин, каждого по очереди. — Надеюсь, в моем уезде таких не найдется... Русские предлагают нам мир и дружбу. Что может быть дороже этого?! Я спрашиваю вас. Нет ничего на свете дороже. Сие значит, что они нам и есть друзья настоящие, а враги те, кто толкает нас на войну, кому не жаль наших детей, жен, матерей и отцов. Так ли я говорю, старшины?

— Аллах говорит твоими устами!

— Ты прав, славный бей-заде! — заговорили старшины.

— Так вот, — поднял бокал Махмуд-бей, — вот за это — дружбу и мир с русскими — мы выпьем и подадим нашим послам свои руки.

Махмуд-бей пригубил свой бокал и, поставив его на палас, приподнявшись, протянул руку сначала штабс-капитану, потом бригадиру, подал руку и Стефану, тот уважительно склонил голову и лишь потом осторожно пожал маленькую крепкую ладонь юноши.

Обменялись рукопожатиями с послами и старшины. Потом пригубили из бокалов. И заговорили все вместе, перебивая друг друга, необычно оживленные, покрасневшиеся.

— А крепкая! — воскликнул молодой рыжеусый старшина.

— А ты думал!

— Русская водка — не какая-нибудь ракия.

— Поднеси трут — загорятся.

— Слабому не по нутру, что и говорить!

Старшины аппетитно закусывали, руками доставали из плоских тарелок куски жареной конины, запивали сладкой водой. Кое-кому стало душно, и слуга раскрыла окна и двери, внесли кувшины с бледно-золотистым освежающим напитком. Звенели бокалы, текла непринужденная беседа. Котляревский вдруг заметил: Махмуд-бей, наклонившись, что-то говорил старшине, сидевшему около него слева, при этом несколько раз взглянул в сторону послов. Тот, выслушав каймакама, кивнул в, подкрутив свои тонкие рыжие усы, поднял палец: знак, что желает говорить. Все примолкли, уставились на младшего собрата.

— Достопочтенные русские послы, Махмуд-ага, и вы, соседи, хочу слово сказать... Все знают, мы никаких договоров не подписываем. Все мы не шибко грамотные, писать и читать умеем мало-мало, но слово наше крепкое. Что обещаем, то исполним. И все же слово — это пока только слово, а нынче война, и надо помнить, что слуги падишаха могут некоторых слабых заставить пойти за собой. А посему, чтобы таких между нами не было, я предлагаю — послать в Бендеры русскому паше аманатов. По одному от каждого села. — Он умолк, на мгновение задумался и тихо закончил: — Я пошлю брата.

Аманаты? Иными словами — заложники? Старшины знали: их посылают в том случае, когда хотят доказать свою преданность и верность слову и, не имея иной возможности доказать это, отсылают союзнику, другу своего ближайшего родственника.

Слово старшины, сидевшего рядом с Махмуд-беем, прозвучало неожиданно, в комнате несколько мгновений было тихо. Но уже в следующую секунду старшины, увлеченные примером соплеменника, заговорили все разом, не слушая друг друга:

— И я пошлю брата!

— Он сказал верно! Я пошлю сына!

— Я — внука!.. Мы слово не нарушим!

Котляревский, переглянувшись с бригадиром, поклонился старшинам и отдельно Махмуд-бею:

— Спасибо, высокоуважаемые старшины, и тебе, славный бей-заде! От имени моих товарищей, всего войска русского! Этот день мы не забудем!.. Аманатов примем, и хочу сказать: вы не пожалеете, что так поступили. И еще скажу. Вашим людям, которые поедут, будет хорошо у нас, их примут, как принимают только друзей...

Перед рассветом старшины, простившись с русскими послами, разъехались по своим деревням, пообещав сразу же прислать своих родичей в распоряжение каймакама, а тот уже всех вместе отправит в Бендеры.

Собрался в дорогу и отряд русских. Махмуд-бей жалел, что его новые друзья так быстро уезжают, он не успел наговориться с ними, но, конечно, он понимает: нельзя медлить ни одной минуты, враг ведь тоже не дремлет...

Перед отъездом Котляревский и бригадир подвели к Махмуд-бею коня. Это был один из двух рысаков, которых командующий специально выделил для своих посланцев, чтобы они могли ими распорядиться по своему усмотрению в зависимости



от обстоятельств. Одного коня успел захватить Селим-бей, в спешке отъезда найти его не удалось, а этого — рослого, сильного, золотистой масти — они с легким сердцем дарили Махмуд-бею.

— Тебе, кунак! Не обижай нас отказом, — сказал штабс-капитан и крепко пожал руку юноши.

Махмуд-бей на этот раз не отказался, он восхищенно цокнул, медленно обошел вокруг коня, как заправский лошадиник, потрогал бабки, прижался щекой к раздувающимся, бархатным ноздрям:

— Спасибо, господин! Такой конь!.. Спасибо!

Лицо его, глаза сияли. Он оглаживал коня, пальцами расчесывал густую, отливающую медью гриву, отдал коню весь сахар, который держал в кармане. Внезапно вспомнил что-то и позвал слуг. Выбежал Эльяс. Разговор с ним был короткий; выслушав Махмуд-бея, нукер кликнул еще нескольких человек, и все они вместе бросились седлать коней.

— В уезд Оран-оглу к моему брату Ислам-бею вас проводят мои люди, — сказал Махмуд. — Поведет вас мой старший нукер. В степи беспокойно теперь, а с охраной будете в безопасности. Верьте им, как мне. Десять надежных ятаганов. Я бы с вами поехал сам, да собираюсь в Бендеры, только дождусь аманатов.

Махмуд-бей, желая показать, как он уважает высоких послов, взял под уздцы коней бригадира и штабс-капитана и вывел со двора:

— В добрый час!

Уже за воротами Котляревский попросил всех задержаться.

— Зачем? — удивился бригадир.

— Напишу командуящему.

— О чем?

— На всякий случай. О людях Махмуда. — И, уже твердо решив, что так и надо, что без этого аманатам никак невозможно ехать в Бендеры, штабс-капитан попросил Пантелея достать чернила и бумагу и, не слезая с лошади, положив листок на луку седла, написал, что он, адъютант командуящего Котляревский, просит всех начальников разъездов и караулов русской армии не чинить препон и не делать ущерба предъявителю сего Махмуд-бею, который направляется в Бендеры по важнейшему делу к самому командуящему с аманатами. В конце дописал, что он сам и бригадир Катаржи с людьми, побывав в одном уезде, следуют дальше. Котляревский прочел письмо Махмуду, тот принял его, поблагодарил, крепко пожал руку штабс-капитану и долго стоял у ворот, пока весь отряд не скрылся за ближними курганами.

12

Отряд двигался степью, мимо пересохших речек, пробирался сквозь дикие заросли камышей, пересекая большаки, все напрямик и напрямик — по глухим буеракам, рискуя застрять в каком-нибудь непроходимом болоте. Надо было как можно скорее достичь соседнего уезда, пока Селим-бей не связался с турецкими лазутчиками и не повел их вслед за русскими послами.

Ординарцы держались к офицерам поближе. Денис в один день почернел лицом, а глаза его лихорадочно блестели, Пантелей не терял своего обычного присутствия духа, хотя тоже заметно устал за прошедшие сутки, он тверже, нежели Денис, перенес плен у Селим-бея. Подбадривая Дениса, Пантелей был, однако, убежден, что штабс-капитан не даст их в обиду, и стоически перенес все, беспокоило его только одно: как бы рассвирепевший Селим-бей не оскорбил командира, не ударил его; Иван Петрович, наверно, мог бы ответить, и тогда обезумевший бей ни с чем бы не посчитался. А еще боялся Пантелей за сохранность бумаг штабс-капитана: а ну как развяжут переметные сумы, наткнутся на них и уничтожат? Но, слава богу, все обошлось. Выручил Махмуд-бей, бумаги все на месте и штабс-капитану никакого урока не нанесли — отчего бы Пантелею не быть и веселым? И он, мчась на Татарчуке, как прозывал лохматого неутомимого своего коня, был рад и доволен, и ничего на свете его теперь не страшило.

Котляревский ехал стремя в стремя с бригадиром и Стефаном. Они о многом уже успели переговорить и теперь молча сидели на взмыленных лошадях, ни на шаг не отставая от проводника, выделенного Махмуд-беем. Остальные люди держались от офицеров на расстоянии полета стрелы.

Отряд двигался неспешной рысью, лишь у курганов переходя на шаг.

Серый рог месяца оставался справа, и степь в той стороне, покрытая первым снежком, была странно тихой, открытой до седых курганов, где легкая розоватость уже успела обрызгать горизонт, а по левую руку степь лежала еще глухая, почти черная.

Снова открылись камышовые заросли. Они встречались и раньше, к ним уже привыкли, не настораживал их скрипящий сухой шелест, напоминающий скрежет жести, потому и теперь не особенно присматривались к густой камышовой туче. По расчетам проводника, первая деревня уезда Оран-оглу, если миновать камыши, должна "мало-мало уже быть".

— Что значит "мало-мало"? — спросил Катаржи.

— Один час езды, господин офицер.

— Верст, наверное, десять, а то и побольше?

— На версты не считаем.

Стефан усмехался лаконическим ответам проводника — седобородого нукера, на лице которого решительно ничего нельзя было прочесть: ни одобрения, ни порицания, и, не переставая, мурлыкал себе под нос молдавскую песенку про девушку Марицу, держался в седле легко, непринужденно, словно родился в нем.

— Чем не драгун, — заметил Катаржи, указывая одними глазами на Стефана.

Котляревский согласно кивнул:

— И то... не каждый драгун так держится.

— И не каждый драгун это признал бы.

— Сознаюсь... Потому что сам еле держусь. Упал бы и заснул, а ты — не так?

— Дорогой мой пиит, не помнишь, кто говорил: "Отдохнуть не имеем никакой возможности"?

— Говорил, не отрицаю, — усмехнулся Котляревский. — Но и ты не лучше — желтый, как лимон.

— Тебе это кажется. Я чувствую себя превосходно.

— Это и видно. В гроб кладут краше.

— Помолчи, прошу. Еще беду накличешь.

— Уж не знахаркой ли была твоя бабка, бригадир? Угадал. И дед тоже.

До камышей оставалось уже совсем близко. Котляревский вдруг подумал, что, может, следовало объехать это место: настораживала необычная тишина, угрюмость, окружавшая камыши, подозрительной казалась и низина, что растянулась на добрый десяток верст. Намного лучше чувствуешь себя в открытой степи, тогда и небо, и дорога — все обозримо.

Не успел штабс-капитан поделиться своими сомнениями с Катаржи, как скакавший впереди всех татарский проводник внезапно на полном ходу круто повернул коня влево и что-то крикнул хрипло и тревожно, словно подбитая птица, падающая в обрыв. Впрочем, и без этого предупреждения в следующую секунду отряд все понял: в камышах засада, оттуда раздался выстрел!

— Назад! — властно скомандовал Катаржи и твердой рукой натянул повод. Отряд тотчас повернул обратно, а затем сбился в круг. Татары, ехавшие сзади, остановились на ближайшем кургане.

"Грабители? — пронеслось в голове Котляревского. — Сколько их? Возможно, и турки. А может, Селим-бей догнал нас? Пока не поздно, надо объясниться". Но он не успел все это уяснить для самого себя, как из камышей вынеслись десять всадников и с криком "алла" помчались на них.

— Янычары! Их оружие, одежда, повадки. Вот они — все ближе и ближе.

— К бою! — скомандовал Катаржи, и штабс-капитан невольно отметил: в голосе бригадира нет и тени волнения.

Пантелей и Денис бросили ружья на руку, офицеры повторили тот же прием с пистолетами. Стефан был вместе со всеми: вырвав из седельного чехла пистолет, он стал бок о бок с офицерами.

Турки внезапно повернули обратно, затем съехались снова и лавиной ринулись на отряд, ошалело горланя "алла". Они старались посеять страх и смятение, а может быть, и себя подбодрить.

В сердцах обороняющихся не было страха, хотя каждый знал: от конного турка не уйдешь — лошади у тех свежие.

— Пантелей, стань-ка дальше! — приказал штабс-капитан, заметив, что Ганжа жметя к нему — то ли из робости, то ли из желания быть к командиру ближе, чтобы вместе с ним принять удар янычар, а может, и защитить его.

— Не могу, ваше благородие... Дозвольте встать впереди вас...

— Отъезжай на пять шагов и целься. Да не промажь!

Среди всех ординарцев, находившихся при штабных офицерах, Пантелей Ганжа отличался исключительной меткостью в стрельбе, не однажды его ставили в пример

другим солдатам, и заслуженно: не было случая, чтобы Пантелей промахнулся.

— Огонь! — крикнул Катаржи и выстрелил. Еще четыре выстрела прогремели почти одновременно. Когда дым рассеялся, все увидели, как четверо янычар заваливаются с коней, а один ехавший крайним всадник вцепился обеими руками в гриву, повернул коня влево, в открытую степь, и ушел, исчез за дальними могилами.

Такого дружного и стойкого отпора янычары не ожидали; из десяти всадников осталось пять. Это сразу поубавило их пыл, они повернули обратно, рассыпались и... снова пошли в атаку.

— Сабли! — выдохнул Катаржи, и в тот же миг над головой его сверкнула серебристая молния. Около него стал штабс-капитан; со свистом вырвав из ножен саблю, с другой стороны, рядом с ним, остановился Пантелей; справа, подольше, Денис и Стефан. "Где же татары?" — подумал Котляревский, сжимая эфес сабли.

Неужто придется скрестить сегодня, вот в этот миг, свою саблю с чьим-то ятаганом, пролить кровь? Зачем? Во имя чего? Ведь самое дорогое у человека — жизнь, и эту жизнь предстоит насильственно прервать. Но если не он, то это сделают враги, которые мчатся на него с искаженными от гнева и злобы лицами. Уже видно, как сверкают их глаза и оскаленные зубы.

— С богом! — прокричал Катаржи, вырвавшись снова вперед. Но в это же самое время где-то совсем рядом прогремело "алла", и в ту же секунду с двух сторон налетели татары, смяли не ждавших удара янычар, сбили с лошадей, троих проткнули ножами, лишь двое, бросив в страхе оружие, уцелели.

Все это произошло в какие-то считанные секунды. Штабс-капитан, а потом и бригадир сдержанно поблагодарили татар за поддержку. Те же, связав вяло упиравшихся пленных, посадили их на пойманных коней, привязали к седлам, а для убитых тут же, не мешкая, стали рыть ятаганами ямы.

Пока татары занимались погребением, Котляревский при помощи Стефана допросил турок — каждого по очереди. Они клялись, что в степи никого больше нет, все турецкие разъезды — а их было три или четыре, — наверно, вернулись в Измаил, может быть, только один задержался в Каушанах, но и это утверждать они не могли. Младший из янычар — безбородый, с длинным носом — размазывал по лицу слезы и говорил, что он бы не поехал, если бы ему не приказали, но он — пусть господин офицер поверит — не послал ни одной стрелы. Зато старший — толстый, с маленькими злыми глазами — молчал и был готов, только разреши ему, броситься с кулаками на своего соплеменника.

Штабс-капитан, выслушав пленных, строго предупредил их: если показания окажутся ложными, с ними поступят по законам военного времени, если же сказали правду, то по окончании войны им позволят вернуться на родину.

Придя в себя после перенесенного потрясения и убедившись, что им ничто больше не угрожает, турки принялись последними словами ругать татар: они, мол, надеялись на помощь единоверцев, а эти "собаки поганые переметнулись к гяурам". Они яростно плевались, изрыгая всяческую хулу на "предателей", но, получив по доброму пинку,

сразу же успокоились и, надежно связанные, смирно сидели в седлах.

Перед тем как покинуть злополучную лощину, Котляревский еще раз спросил, правду ли сказали пленные. Те поклялись бородой Мухаммеда и священным кораном, что сказанное — чистейшая правда, иначе — да постигнет их гнев аллаха и вечная немилость султана.

Отряд двинулся дальше, и вскоре в рассветном тумане, за крутым курганом, обозначились деревья, за ними — низкие приземистые строения, выплыла из тумана и вся деревня — первая в уезде Оран-оглу.

Весь отряд — и русские, и татары, что их сопровождали, — приближался к деревне шагом. Тревожило безлюдье, тишина; казалось, все живое давно оставило глинобитные мазанки за высокими дувалами. На самом деле и тишина, и казавшееся безлюдье были обманчивы: кем-то предупрежденные, все, кто мог носить оружие, сев на коней, поджидали незваных гостей. Расположившись в засадах, они сразу, как только отряд приблизился к околице, преградили ему дорогу. Пришлось остановиться, на пригорок, отделившись от других, выехал один из всадников.

— Кто вы? — спросил. — Зачем приехали?

Ордынцев было много, может, больше сотни, за первой группой стояла еще одна, и дальше, в переулках, и на огородах маячили конские густые гривы, а над ними — рыжие лисьи хвосты малахаев. Татарин, стоявший на пригорке, бесспорно, заметил в отряде и своих земляков — их отличали одежда, оружие, но это его несколько не успокоило, он требовал ответа незамедлительно.

Тронув стремями коня, Катаржи подвинулся немного вперед и, остановившись в нескольких саженьях от пригорка, ответил:

— Мы едем к Ислам-бею. Дело у нас.

— Его дома нет.

— Наверное, за него кто-нибудь остался.

— Старшина за него.

— Пусть старшина, проведите к нему, — выступил вперед штабс-капитан. — Поторопись, кунак!

— Зачем торопиться? — как-то неопределенно усмехнулся в жиденькие усы ордынец. — Успеете.

Окружавшие его всадники в разговор не вступали, хмуро смотрели на непрошенных гостей, слушали и словно не понимали их. Тревога невольно сжимала сердца офицеров. Почему ордынцы так неприветливы, насторожены, словно вот-вот готовы броситься в бой? Может, и здесь повторится то, что при встрече с Селим-беем? А если среди них нынче турецкий разъезд и они уже договорились с турками действовать сообща против русских? Неужто пленные обманули, сказав, что все турецкие разъезды убрались? И все же, что бы там ни случилось, нельзя, чтобы ордынцы заметили, как они обеспокоены. Выждав несколько мгновений, Котляревский повторил просьбу провести их отряд к старшине, заменявшему Ислам-бею.

— Успеете, — стоял на своем молодой ордынец.

— Как бы не было поздно. — Ближе подъехал старший из татарской охраны. — Не видишь — кто едет?

— Я пока вижу, что вы везете славных воинов ислама, к тому же связанных, как баранов.

— Не твоего ума дело. Молод учить старших.

— А ты слишком стар и не понимаешь, кого ведешь за собой.

— Меня послал Махмуд-бей. И если ты еще поговоришь, сын ослицы...

— Хорошо, эфенди, едем, — сразу же смягчился ордынец, видимо узнав в старом татарине нукера ханского сына.

Въехали в деревню. Лошади шли, прижимаясь друг к дружке. Между тем турки, почувствовав расположение к себе единоверцев, стали рвать на себе веревки, отчаянно взывать о спасении; они кричали, что схватили их гяуры с помощью "собак-изменников", которых обязательно покарает аллах, они же — верные слуги великого падишаха — попали в западню случайно, и каждый, кто освободит их, получит награду из рук измаильского Хасан-паши и благодарность самого султана.

Пронзительный крик разорвал рассветную тишину. Ничто и никто не мог остановить, образумить разбушевавшихся турок, не помогали ни уговоры, ни плетки, особенно неистовствовал старший, он, извиваясь ужом, кричал, проклинал, угрожал всеми небесными карами тем, кто откажется освободить их из рук "поганных гяуров". Тогда татары, охранявшие пленников, по знаку старшего, в один миг расправились с ними. Офицеры не успели и глазом моргнуть, не успели предупредить беды: обезглавленные турки повалились на крупы лошадей. Испуганные кони встали на дыбы, дико захрапели и, не видя выхода, завертелись, грозя сбить и других. Только смелые действия охраны сумели их успокоить.

— Они убиты! — закричали татары со всех сторон. Вперед вырвался один из них, властно махнул ятаганом:

— Пусть подъедут урусы. Остальные — на месте.

Улицу с двух сторон запрудили вооруженные ордынцы, они шумели, угрожающе размахивали оружием, напирали на охрану, и та с трудом сдерживала разбушевавшихся степняков.

— Мы в ловушке, — тихо сказал Котляревский; он старался сохранить спокойствие, но невольно чувствовал, как неприятный холодок подбирается к сердцу, а рука тянется к пистолету.

— Вижу, а что делать? — так же тихо спросил Катаржи. — Стрелять?

— Если бы знать, но... только не стрелять. — И снова положил руку на поводок. — А что, если требовать сюда старшину? Или лучше к нему проехать?

— Разумеется, к нему.

Толмач, выслушав штабс-капитана, слово в слово передал требования русских послов. Твердый голос Стефана покрыл шум, и толпа постепенно угомонилась, потом послышался все тот же молодой голос:

— Мы проведем урусов к старшине, а остальные — на месте.

"После того, что случилось с пленными турками, татары вряд ли выполнят свое обещание, — подумал Котляревский, — они не склонны разбираться, кто прав, а кто виноват, твердо убежденные, что все беды происходят только от русских, пойдут на все: учинят самосуд, расправу, могут здесь, а могут и немного в стороне, чтобы не смущать охрану, и ничто их не остановит".

— Ни в коем случае. Ехать только с проводниками, — твердо сказал Котляревский, скулы его обострились, взгляд стал жестким. — Иначе... Да ты видишь, как они настроены?

— Согласен, — кивнул бригадир. — Поговори с проводниками.

Штабс-капитан обратился к татарам Махмуд-бей, Стефан точно передал его слова. Офицерам необходимо встретиться со старшиной, но по дороге к нему все может случиться, поэтому кто опасается за себя, — может ехать домой. Он рассчитал верно: задевал самолюбие татар: кто из них способен признаться в трусости и оставить в опасности гостей их повелителя? Махмуд-бей угощал их в своем доме, принял в подарок доброго коня, проводил — это они сами видели — до самых ворот, а так провожают только почетных гостей. А может, напрасно бей-заде называл нукеров "надежными ятаганами", которым можно верить, как ему самому?

— Понимаем, бачка, — ответил седобородый, старший из проводников. — Эти шакалы способны на все в своей слепой злобе, особенно Ураз-бей, сын старшины. Нет, мы вас не оставим. Мы с ними сами поговорим еще раз. — Седобородый выдвинулся вперед и крикнул — голос у него был хриплый, гортанный. — Эй вы, безмозглые бараны! Ежели вы сейчас же не очистите дороги для господ русских офицеров, мы сами ее очистим. И поступим, как только что поступили с грабителями и разбойниками Хасан-паши. Сколько раз он вас грабил? Забыли? Что молчишь, Ураз-бей? Память отшибло?

— Отдайте нам урусов, а сами можете уезжать, — стоял на своем ордынец, которого седобородый назвал Ураз-беем.

— Ты, наверно, с ума сошел, бей-заде! Как же мы вам отдадим русских, если вы ослепли от злобы? А если что случится? Что ты ответишь? А знаешь, что в Бендерах ныне наши аманаты? Да если что, тебя Махмуд-бей и под землей найдет, и остальных тоже, запомните!

Ураз-бей и его люди, выслушав седобородого, ничего сразу не ответили. Хмуро смотрели на русских послов и окружавший их отряд соплеменников. То, что сказал старший нукер Махмуд-бей, было слишком важным, чтобы об этом не подумать.

— Думайте, бараньи головы, только скорее! — снова крикнул седобородый. И странно — никто из ордынцев не обиделся. Там о чем-то совещались, спорили, на кого-то прикрикнули. Между тем штабс-капитан, не ожидая ответа, обратился прямо к Ураз-бею:

— Бей-заде и вы, воины Ислам-бей, мы приехали к вам, к вашему каймакаму Ислам-бею с фирманом командующего, что стоит ныне в Бендерах. Мы прочтем фирман, как только встретимся со старшиной, он касается всех вас. Итак, едем!

На призыв штабс-капитана ордынцы не откликнулись, опустив головы, молчали, долго думали.

— Не будь ишаком, Ураз! — загорланил на всю деревню седобородый. — Не испытывай нашего терпения!

Кто знает, что в конце концов повлияло на ордынцев — дружелюбный тон штабс-капитана или уверенность седобородого их соплеменника, но внезапно татары расступились и Ураз-бей попросил русских послов вместе с проводниками следовать за ним...

Старшина, оказывается, гостей ожидал. Он встретил их у ворот своего обширного двора, приветливо спросил о здоровье, пригласил в дом.

Сдержанно поблагодарив — встреча у околицы, видимо, устраивалась не без ведома старшины, — Котляревский, оглянувшись, коснулся локтем Катаржи:

— Вся деревня здесь. Следует быть осторожными. Всякие среди них есть.

— Я ко всему готов...

Рассевшись на дорогом ковре, они начали издалека: расспросили хозяина, как это водится, о здоровье его и членов семьи, похвалили сына Ураза, он им показался разумным, смелым, настоящим джигитом. Ураз слушал, криво усмехался, видно, был доволен. Пора уже было переходить к главному, однако штабс-капитан, завладевший беседой, не торопился объяснять причину их приезда, стал рассказывать о том, что в Бендерах нынче хорошие базары, хотя там временно расквартированы русские войска, которые, как известно, несут мир и благоденствие всем буджак-татарам...

Может, старшина слышал: ни один клок сена, фунт зерна не берутся без денег? Русские за все платят. А торговля идет весьма бойко, кто не зевает, может с успехом продать лишнее киле[12] зерна и купить десяток-другой пик халеби[13] сукна на шаровары.

— Я слышал, эфенди. Добрая, как, впрочем, и злая весть имеет быстрые ноги... Но я не понимаю, — скосил глаза старшина, — что заставило вас приехать ко мне? Чтобы рассказать о... базаре? Стоило ли трудиться?

— Вы правы, достопочтенный, для этого ехать не стоило, — дружелюбно усмехаясь, сказал Котляревский. — Мы приехали по более важному делу, которое, мы надеемся, и для вас будет небезынтересным.

Старшина внимательно посмотрел на штабс-капитана. Он ждал, что еще скажет русский офицер.

— Идет война, эфенди. Большая война. Надеюсь, это вы знаете?

— Кто этого не знает. Но смею сказать, господа офицеры, не мы ее затевали. Буджак-татары живут в своем углу, на своей земле и никого не трогают.

"Знаем, как вы мирно живете, — чуть не вырвалось у Котляревского. — Сколько раз видели вас в украинских селах и хуторах? А сколько угнали вы наших людей в неволю, продали на турецких рынках? Кто и когда подсчитает, сколько горя принесли ваши разбойничьи набеги на мирные села Украины? Не сосчитать сожженных хат, разграбленного добра. Будь мы, почтенный, в ином месте, я сказал бы тебе все, что ты



заслужил, ничего не утаил бы. Но нынче, в это утро, я посол, у меня иная миссия и я буду предельно учтив, спрячу в сердца вековую обиду, буду говорить, что ты очень добр и внимателен".

— Достопочтенный эфенди, — торжественно начал Котляревский, отпив глоток из бокала и по-татарски поджав ноги на пушистом ковре. — Согласен, ваши соплеменники живут совсем не так, как подобает сильному, храброму и трудолюбивому народу, они загнаны в угол, недаром вас называют буджаками — угловыми татарами! А почему? Ваш повелитель — султан Турции, которому вы ничем не обязаны, много вам обещал. А что он дал? Может, хорошей землей наделил? Нет, не дал он вам земли. Ничего он не дал вам. И не даст. Зато у вас берет все — и дань, и коней, и самое дорогое — сыновей ваших. Он строит на ваши деньги корабли, а мы их, в силу необходимости, исправно топим. На войне гибнут я ваши люди во имя славы я богатства падишаха. Вам же остаются слезы, горе матерей, боль стариков и пустые степи.

Котляревский говорил громко, и не менее громко говорил Стефан — так, чтобы его слышали собравшиеся во дворе люди. Старшина несколько раз знаками просил говорить тише, но Стефан словно не замечал этого. А Котляревский продолжал:

— Вот и снова султан затеял войну. Хотел бы забрать Крым, Грузию. Вашими, может быть, руками... Мы пришли, чтобы покончить с войной. Мы возьмем Измаил, в третий раз будем брать его — и войне конец... Так вот, достопочтенный, чтобы скорее война кончилась, мы просим вас, буджак-татар, о помощи.

— Выступить на вашей стороне? — вкрадчиво спросил старшина. — Так я понял тебя, эфенди? — Узкие глаза его совсем закрылись, полные довольства или гнева, — попробуй разберись.

— Отнюдь нет. Мы не просим у вас ни коней, ни всадников. С Хасан-пашой мы станем говорить сами, один на один.

Стефан переводил быстро, голос его был такой же твердый и уверенный, как и голос штабс-капитана, он старался передать не только смысл, но и тон, каким говорились эти слова.

— А что же? — ничего не понимая, спросил старшина.

— Мы пройдем через ваши степи, а вы пропустите нас... без задержки. Это все, что мы просим. И вдобавок: пожелаете продать нам немного сена или зерна для войска — хорошо заплатим, поверьте слову русского офицера, не хуже, чем платят вам султанские слуги. Вот и вся помощь, на которую мы рассчитываем.

Старшина, выслушав штабс-капитана, вдруг налился кровью: оказывается, вспомнив о том, как "платят султанские слуги", русский посол задел самое больное место.

— Шайтан! Разве они платят?!

— Понимаем, слуги султана не привыкли расплачиваться наличными, — усмехнулся Катаржи. — Ну а мы, как только что сказал господин посол, будем рассчитываться рублями или, если захотите, пиастрами, и сразу. За каждый клочок

сена, за каждый киле зерна.

— Мы верим вашему слову, очень верим, — часто закивал головой старшина.

— Одно дело — слово, а будет крепче, если мы оставим фирман нашего паши. — С этими словами Катаржи вынул из нагрудного кармана плотный лист бумаги и, развернув его, вручил старшине. Тот принял бумагу, посмотрел на нее, даже понюхал. Он держал ее так, что печать оказалась вверху; штабс-капитан предложил прочесть приказ; пусть его услышат все собравшиеся.

Старшина согласно кивнул, и штабс-капитан стал читать. Он читал медленно, чтобы Стефан мог так же медленно и четко переводить.

Татары, собравшиеся в доме старшины, повторяли вслух каждое слово и передавали дальше, во двор, там тоже повторяли каждую фразу — и она подхватывалась уже на улице, где собралась огромная толпа.

Котляревский стал читать еще медленнее, чтобы каждый понял, о чем идет речь.

По окончании чтения бумагу передали старшине, при этом Котляревский сказал:

— Тебе, эфенди, и твоим людям это и память, и охранная грамота на время войны.

Гул одобрения пронесся по дому и выхлестнулся на улицу. С удовольствием прислушивались к нему русские послы, значит, их поняли, слова приказа дошли к сердцу каждого ордынца. Когда шум поутих, Котляревский обратился к хозяину:

— И последнее, эфенди: русский командующий велел передать тебе в подарок коня. Выбирай!

— Я выберу, отец! — вскочил Ураз, едва Стефан закончил перевод.

— Нет! — встрепнулся старшина. — Я сам.

В таких делах он никому, даже сыну, не доверял. Он сразу же поднялся с ковра и выбежал во двор, быстрым взглядом окинул неоседланных коней, остановился на высоком буланом жеребце. К нему и направился. Обошел вокруг, еще раз обошел, посмотрел зубы и, довольно усмехаясь, спросил:

— Мой?

— Твой, эфенди... Наша только уздечка. Пантелей, сними.

Ординарец, только что кончивший кормить лошадей, снял уздечку; ему было жаль коня, если бы его воля — ни за что не отдал его, но что поделаешь — приказ.

Старшина, заметив, как переживает ординарец, понимающе усмехнулся и, желая отблагодарить гостей, вдруг расщедрился:

— За такого жеребца двух кобылиц не жалко. — Подошел к конюшне, распахнул ворота. — Тебе, господин, — коснулся шинели штабс-капитана, — отдаю вон ту, рыжую, а тебе, — обратился к Катаржи, — вороную. И еще. Как у нас принято и как поступил Махмуд-бей, я пошлю в Бендеры своего аманата. Чтобы знали — слову своему я хозяин. И поедет... — Помедлил, чуть распрямил широкие, еще дюжие плечи. — Поедет мой сын Ураз. Более дорогого аманата у меня, господа послы, нет.

— Спасибо, досточтимый эфенди! — приложил к груди руку Котляревский, то же самое сделал и бригадир. — Как ты решил, так и будет. Не сомневайся, твоему сыну у нас будет хорошо. Ежели пожелает — станет обучаться воинскому делу, стрелять,

фехтовать. Это чтобы не терять даром времени. И жить будет в большом теплом доме.

Трудно сказать, как отнеслись к решению старшины его приближенные и родичи, находившиеся во дворе, но никто ни единым словом, жестом не выразил сомнения или неодобрения.

— Верю, а то не послал бы. Ураз — моя опора в старости...

— Спасибо, эфенди, за хлеб-соль! — поклонился Катаржи. — Мы не забудем твоего гостеприимства. Будем рады тебе, приезжай к нам. Дорогим гостем будешь... Перед отъездом разреши спросить, не нужно ли послать нашего человека с сыном твоим?

— С ним поедет мой брат. Поедут они сегодня. Собирайся, Ураз, в дорогу.

Опустив голову, молодой ордынец отошел в сторону и скрылся в доме. Старшина продолжал:

— Мои люди проводят вас, господа послы, в следующую деревню, одну из самых больших в нашем уезде. А всех деревень, чтобы вы знали, в уезде Оран-оглу тридцать шесть. Первый по величине уезд в наших степях. Старшина поглаживал буланого, тот, играя, доставал его рукав мягкими влажноватыми губами, и старшина от удовольствия жмурил маленькие под низко надвинутым малахаем глаза.

Пополненный отряд охраны — теперь в нем было около тридцати ятаганов — провожал русских послов по беспокойным дорогам Буджацкой степи.

13

Декабрьский день короткий, короче утиного носа, и все же казалось, что солнце слишком долго держится багровым пятном над Бендерами. Ветер носил в воздухе пушистые снежинки, в причудливом свете красного солнца отчетливо выделялись их диковинные формы.

Несколько снежинок легло на стекло и не таяло. Барон Мейендорф смотрел на первый снег, на едва видные сквозь него зубцы крепости, на которых зацепилось расплывшееся солнце.

Адъютант Михельсона капитан гвардии Осмолов, прибывший несколько часов тому назад в Бендеры, терпеливо ждал ответа. А генерал не торопился, он тоже ожидал, словно лишний час мог изменить обстановку настолько, что можно принять окончательное и самое верное решение.

— Однако же, ваше превосходительство, — снова начал капитан, — что прикажете доложить командующему?

— Потерпеть придется. Потерпеть... другого ответа не будет.

— Но доколе? Когда вы намерены, то есть к какому дню будете готовы начать баталию за Измаил? Командующий торопит, хотя он полагается на ваш опыт... И его торопят. Намедни получен рескрипт из Главного штаба. Положение в Европе таково, что медлить опасно, надобно как можно быстрее заканчивать кампанию на юге, то есть здесь, ваше превосходительство. Упорно поговаривают, что с Францией не миновать столкновения. А как же это сделается, если здесь не все окончено?.. И с Персией воюем. И все это, говорят, козни агентов Буонапарте.

— Их, а чьих же? Один Себастьяни чего стоит! Доподлинно известно, что именно

он и мутит воду в Дарданеллах. Весь Крым обещает султану. И Грузию в придачу. Чужими землями распоряжается, как своими вотчинами... А рассудить про положение в Европе изволили весьма верно, капитан. В самом деле, живем в тревожное время. Такого и не припомню.

— Вот поэтому командующий и спрашивает, когда начнете?

— Поход, если последует приказ, я могу начать хоть сейчас. Но готов ли я, готово ли войско, мне вверенное, того сказать не могу.

— Что же вас удерживает? — Осмолов терял терпение, но, дружелюбно улыбаясь, вежливо смотрел на хмурое осунувшееся лицо генерала.

— Не все так сразу и скажешь. Обдумать надобно. Еще два дня, может и три, а там — с божьей помощью — и приступим.

— Его высокопревосходительство генерал Михельсон повелели также спросить вас: налажены ли контакты с буджаками? Что именно предпринято в этом направлении?

"Контакты с буджаками. Легко сказать — контакты. А как их установить? Да, мои офицеры, во всех отношениях люди надежные, посланы в татарские деревни, к тамошним старшинам, к самому Агасы-хану, а что нынче там происходит, никто не знает. Слух был: весьма воинственно настроены буджаки, деревни бурлят, готовы с оружием в руках выступить против нас, русских; видно, изрядно поработали лазутчики Хасан-паши, этой измаильской лисицы, и нынче трудно сказать, что ожидает моих посланцев. Может, они, не допустив всевышней, уже в Измаиле и палач в застенках крепости добивается их слова? Зело коварен, жесток безмерно Хасан-паша, попасть в его руки — верная мученическая смерть..." Чего только не передумаешь, когда от посланных вторые сутки ни слуху ни духу. Вторые сутки он, Мейендорф, покоя не находит: правильно ли поступил, послав лучших своих офицеров к буджакам, или жестоко ошибся?

— Так что же, ваше превосходительство, контакты с буджаками пытались вы установить или нет?

Генерал пожевал губами, нахмурился:

— Пытаюсь сие сделать и командующему о первых шагах своих в сем направлении посылал депешу со своим адъютантом.

— Штабс-капитан Вульф доставил оную депешу, но в ней изложены лишь ваши намерения, и то, извольте не гневаться, слишком общо, сиречь туманно. А ведь нынче день на день не похож.

— Сколько вам лет, капитан? — неожиданно спросил Мейендорф, глядя на молодое свежее лицо Осмолова. Тот понял намек, усмехнулся, но не смутился:

— Виноват, наше превосходительство, прошу прощения.

— Помилуй бог, за что? Молодости присуще несколько увлекаться, сам был таким, знаю, а нам, старикам, торопиться некуда уже... Смотрим мы на те же самые предметы, может, чуть иначе, нежели вы, молодые. Такова, увы, жизнь. — Мейендорф вернулся к столу, нашел в зеленом картоне какую-то бумагу, но читать не стал. — Впрочем, извольте доложить командующему: я кое-что предпринял, что касемо

буджак-татар...

Мейендорф, однако, не успел договорить, в дверь постучали, и, не ожидая позволения, вошел старый ординарец барона Гаврилов.

— Что тебе? — спросил Мейендорф.

— Сей минут, ваше превосходительство, поручик драгунского полка Никитенко явился. Объясняет: срочное дело.

— Какой Никитенко?

— Дежурный по гарнизону.

— А что штаб? Никого там нет?

— Начальник штаба нонче отбыли в полки.

— Вели войти.

Никитенко, чуть оттеснив Гаврилова, переступил порог и вытянулся во весь свой рост:

— Поручик драгунского полка Никитенко, дежурный по гарнизону... Разрешите обратиться, ваше превосходительство? Мне приказано обо всем существенном докладывать лично начальнику штаба или, в его отсутствие, вам. И поелику...

— Докладывайте, поручик. — Генерал стоял за столом в застегнутом на все пуговицы мундире, плотный, приземистый, с нездоровым, однако, цветом лица. Адъютант Михельсона отошел тотчас в сторону, у окна остановился.

— Сегодня поутру, объезжая посты, выставленные по дорогам, нашел, что за истекшую ночь ничего особенного не произошло.

Едва заметная усмешка скользнула по лицу адъютанта: и это называется существенным?

Краем глаза Никитенко заметил усмешку приезжего, судя по мундиру, штабного офицера и, несомненно, из высокородных. Но поручик не повел и бровью, смотрел на генерала, видел только его.

— Однако, ваше превосходительство, на посту, что охраняет Каушанскую дорогу, я только что нашел...

— Опустите, наконец, руку, поручик, и докладывайте, что вы там нашли... Недопустимо медлите, — недовольно поморщился генерал.

— Я буду краток, ваше превосходительство. Сегодня поутру задержан татарин. Под ним оказался конь из вашей конюшни.

— Где задержан?

— В пяти верстах от города. Он пастух. Перегонял вместе с подпаском отару овец и в тумане забрел к нам. Его заметили и задержали, ваше превосходительство.

— Кто узнал коня?

— Да, кто? — повторил вопрос и капитан. Улыбка у него не исчезла, но она была совершенно иной. Никитенко, не поворачиваясь в его сторону, глядя только на Мейендорфа, продолжал:

— Татарин пытался уйти, и драгуны могли бы его не взять, ваше превосходительство, но солдат Никифоров, служивший раньше при штабе, ухаживал за

лошадьми. Он узнал его сразу. Заметив, что татарин намерен улизнуть, Никифоров позвал коня, и тот повернул к нам. Пока татарин бился с ним, наши подошли с другой стороны.

— Что сказал татарин?

— Ничего не сказал. Языка нашего он почти не понимает. Одно известно: он украл коня и поэтому...

— Где татарин, поручик? Надеюсь, вы не отпустили его?

— На этот раз нет, ваше превосходительство.

— Что значит "на этот раз"? Разве был еще случай?

— Был... Я отпустил уже однажды, а следовало, наверное, задержать. На слово поверил и, как видно, ошибся... Сам виноват. — Никитенко не хотел вмешивать в историю с Махмуд-беем Котляревского и вину сознательно брал на себя.

— Хорошо. Об этом — позже. Ведите татарина. А ты, Гаврилов, разыщи Вульфа и скажи, что я велел срочно привести толмача. Винодела, пожалуй, он живет неподалеку от нас, Вульф знает.

Поручик и ординарец вышли. В предчувствии интересного допроса Осмолов оживился, на гладко выбритых щеках цвел румянец, капитан строил свои догадки, но ни о чем не спрашивал. Если конь из конюшни Мейендорф а, то почему генерал до сих пор не знает о пропаже? Нет, здесь что-то не так. Но что именно? Один лишь Мейендорф знал, почему конь из его конюшни мог оказаться в руках татарина, впрочем, и он всего знать не мог. Хорошо, если коня кому-то из татарских старшин подарили, а если его отобрали? Сейчас татарина приведут и все разъяснится.

Почти одновременно Никитенко ввел татарина, а штабс-капитан Вульф — старого винодела, отца известного в штабе русской армии Стефана.

Не медля ни секунды, Мейендорф обратился к татарину:

— Как зовут тебя?

— Абдалла, эфенди. Я пастух Селим-бея. Берегу его отары.

— Старшего сына Агасы-хана?

— Да, эфенди, да продлит аллах твои годы.

Абдалла молитвенно сложил на груди руки и собирался упасть на колени, но Вульф, стоявший рядом, толкнул его под бок, и Абдалла выпрямил спину, поднял голову, глаза на желтом морщинистом лице мгновенно сверкнули и тотчас потухли, закрылись веками.

— Скажешь правду — отпущу, не скажешь — пеняй на себя.

— Я пастух и ничего не знаю, эфенди, клянусь пророком.

— Откуда у тебя наш конь?

Татарин умудрился все же упасть на колени и поднял руки:

— Не угонял я коня. Клянусь священным кораном, эфенди!

— Значит, его кто-то другой привел к тебе?

Абдалла знал, как достался конь Селим-бею, из рассказа подпаса, приехавшего к отаре на этом же коне. Подпасок рассказал Абдалле, будто Селим-бей вместе с братом

своим Махмуд-беем схватили русских и будто бы собирались как агентов отвезти в Измаил. Это он, подпасок, слышал от Эльяса, молодого Махмудова нукера. Как же обо всем этом рассказать здесь, в доме русского паши? Это страшно. Но опасно также и скрывать правду, потому что ничем не объяснишь, как попал к нему, пастуху Селим-бей, конь, принадлежавший русским.

Сложив руки на животе и полузакрыв глаза, Абдалла что-то невнятно бормотал, делая вид, что молится, время от времени проводил ладонями по лицу, маленькой редкой бороде. Это была явная уловка, чтобы оттянуть время, собраться с мыслями и решить, как поступить, как выпутаться из этой истории, не сулившей ему ничего хорошего.

Ему верили, терпеливо ждали, пока он кончит молиться. Лишь отец Стефана, старый молдаван-винодел, хорошо знавший обычаи местных татар, видел уловки Абдаллы: татарин не станет молиться, если не пришло время намаза. И старик, которого волновала судьба сына, предупредил Абдаллу, что русским давно все известно, и если татарину не надоело видеть своих детей и внуков, то пусть он не увिलивает, а все как есть расскажет и пусть вспомнит, где он в последний раз видел его сына — Стефана, что с ним, здоров ли он? Абдалла покачал головой, давая понять, что он ничего не знает о сыне старого винодела, а что касается русских, то кое-что он слышал от подпаса. Абдалла здраво рассудил: если русским известно о Стефане, то и судьба офицеров им также известна. Абдалла повторил: он знает немного, кое-что.

— Что именно? — винодел схватил татарина за ворот.

— Оставьте его, домнуле, — сказал Мейендорф. — Пусть помолится.

— Он уже помолился и посоветовался с самим Магометом. Не так ли, Абдалла?

— Я скажу, но я ничего сам не видел. Мне рассказал подпасок...

— Что же он рассказал?

— Селим-бей вместе со своим братом отнял у русских коней.

— А кто его брат? — спросил Никитенко. Глаза его сверкали, весь он дрожал, его трясло, он ничего не мог с собой поделать.

— Махмуд-бей, — Абдалла оглянулся и закрыл голову руками: ему показалось — русский вот-вот выхватит саблю, он, кажется, уже взял ее. Старый татарин не раз видел людей в таком состоянии и знал, что можно от них ждать.

— Поручик, прошу выйти и подождать за дверью, я позову вас, — сказал Мейендорф, увидев движение Никитенко и испуг татарина.

Никитенко круто повернулся и вышел в соседнюю комнату. Тут находился и Гаврилов.

— Нехристь, погубитель, он все знает, а молчит, — шептал Никитенко. — Клянется кораном, собака!

— Знамо дело, знает, а молчит, потому, ваше благородие, сказать правду — лишиться живота своего.

Между тем Мейендорф, кое-как успокоив татарина, потребовал рассказать все, что ему известно от подпаса, сказать только правду, какой бы она ни была жестокой.

Генералу хотелось, чтобы Абдалла отверг его подозрения; Селим-бей, отняв понравившегося коня, отпустил офицеров, и они вот-вот возвратятся. Но Абдалла, испуганный, онемевший, смотрел на старого русского пашу с большой звездой на мундире и ждал, ждал его слова и, не выдержав, упал ниц перед ним:

— Не казни меня, великий паша. Я не виноват. Шайтан, наверно, помутил разум моего господина и его брата. Сыновья мои младшие еще не выросли, и сердце мое разрывается от мысли, что с ними станет, если ты казнишь меня.

— Я сказал, что отпущу тебя, но говори же наконец.

— Верю тебе, великий паша. Так слушай, что рассказал мне подпасок, а ему шепнул Махмудов нукер Эльяс... Будто бы Селим-бей собирается отвезти русских...

— Куда?

— В Измаил.

— Это правда? — Мейендорф придавил рукой тяжелую массивную пепельницу и почувствовал вдруг, что воротник мундира тесен, давит. Вот она — роковая ошибка, он сам, своими руками отдал в руки Хасан-паше своих Офицеров. Тот возрадуется такому подарку! Станет допрашивать их, и кто знает, может, один из них окажется слабым, не выдержит изощренных пыток.

— Правда, великий паша. А может, и неправда. Подпасок ведь несмышленный... — Абдалла подобострастно, с надеждой смотрел на генерала, ползал по полу, стремясь поцеловать блестящие носки генеральских сапог.

— Штабс-капитан, уведите его, и пусть побудет под охраной. До поры... — сказал Мейендорф Вульффу, тот легко длинной цепкой рукой поднял татарина с пола, поставил на ноги и, толкнув в спину, повел из комнаты.

— А Стефан где? — бросился вслед винодел.

Миссия, на которую возлагались такие надежды, скорее всего, провалилась. Что-то было упущено, в чем-то ошиблись. Может быть, посланные допустили ошибку, а может, нельзя было рисковать жизнью людей, следовало послать сначала письмо Агасы-хану? Но сколько пришлось бы ждать ответа? И кто поручится, что это письмо в тот же день не оказалось бы в Измаиле? Попробуй угадай, что лучше. Нет, нет, посылка офицеров — единственный выход, — снова и снова старался найти себе оправдание Мейендорф. Ведь не ошибся он, послав в Бендеры, к паше, бригадира Катаржи для переговоров о мирной сдаче крепости. Поездка Катаржи увенчалась успехом; паша принял все условия, и крепость сдалась без боя. Буджацкие татары на переговоры не пошли. Это ясно. Видно, не судьба поладить с ними миром да ладом, как говорил первый адъютант.

— Ваше превосходительство, я незамедлительно выезжаю в штаб армии, — сказал Осмолов.

— Что, капитан? — будто очнувшись, спросил Мейендорф. — Ах да, конечно, вам уезжать пора. Поспешите донести, как провалился старый Мейендорф. Опростоволосился на старости лет. Ваше право. Не смею удерживать.

— Вы меня не поняли, ваше превосходительство. Конечно, я обязан доложить. Но что я собираюсь докладывать? Это просто, на мой взгляд, неудача. На войне и не такое



бывает. Хотя и горько...

— Жалеете? Чего уж там! Проморгал старый хрыч — и все тут.

— Возможно, вам потребуется помощь? Генерал де Ришелье — вы слышали? — уже в Аккермане, и его войска смогут проследовать в ваше распоряжение, под Измаил.

— Я этого не просил, сударь, и, надеюсь, не попрошу... Да вы еще и не командующий. Генерал Мнхельсон может и по-иному распорядиться. Вот пока и все. Вас сейчас проводят. Эй, кто там? Поручика ко мне!

Никитенко вошел тотчас, уже успокоившийся, готовый выполнить любое приказание.

— Проводите, голубчик, капитана, — сказал Мейендорф, — выделите ему охрану. Лучше, пожалуй, ваших драгун. Не дай бог, капитан попадет к татарам, несдобровать вам, поручик, да и мне будет жаль.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, — ответил Осмолов, чуть улыбнувшись; он понял иронию в словах генерала, но не подал вида, что обижен. — Со мной есть люди. Благодарю вас, генерал!

Мейендорф, обращаясь к Никитенко, сказал:

— Проводите капитана и возвращайтесь. Поедете к татарам, поручик.

— Я готов, ваше превосходительство! — восторженно воскликнул Никитенко. — Сколько людей прикажете взять с собой? Думаю, полусотни достаточно. Клянусь: я справлюсь!

С вами поедет ординарец и толмач, а больше незачем брать с собой людей. Повезете письмо сыновьям хана, а на словах передадите: пусть немедленно освободят пленников. Уговорите их. А чтобы сговорчивее были, возьмите с собой с нашей конюшни двух лошадей. Идите же. Письмо я подготовлю.

— Ваше превосходительство, разрешите сказать. Лучше бы мне полусотню драгун — и я сумел бы с ними потрактовать. Мне бы только добраться, к Махмудке особливо. Ведь это его... отпустил я однажды.

— Что вы сказали, поручик? — Мейендорф удивленно уставился на искаженное болью лицо поручика, на опущенные книзу обычно остро торчащие в разные стороны подкуренные усы. — Что с вами?

— Приезжал он сюда, в Бендеры. На базар будто, а сам...

— Вы не ошибаетесь?

— Никак нет. Я его допрашивал, да не закончил допроса, отпустил.

— Так... Впрочем, об этом — позже, не время сейчас. А ехать вам не придется, другого пошлем... Прощайте, капитан! — кивнул Осмолову. — Кланяйтесь его высокопревосходительству!

Откозыряв, капитан, а за ним и поручик вышли во двор, где их ждали уже оседланные лошади.

Выехали на соседнюю улочку, слегка присыпанную первым снежком; под утренним солнцем он кое-где таял, и в тех местах образовались темные проплешины.

— Как это случилось, поручик? — спросил капитан, поигрывая плетью с красивой рукоятью.

— Что вы имеете в виду?

— Как это вы отпустили соглядатай?

Капитан держался в седле легко, свободно, будто в качалке, улыбался своим мыслям, изящный, свежий, добродушный.

— Кто вам сказал, что это был соглядатай?

— Вы сами только что...

— Я говорил в том смысле, что предполагаю, но не утверждаю. Со мной был и штабс-капитан Котляревский, адъютант командующего, он лучше моего разобрался...

— И сам угодил к нему? Неподражаемая история, — откровенно насмеялся Осмолов.

Глухая обида захлестнула поручика. С молодых лет он в армии, испил полную чашу унижений, прежде чем заслужил офицерские погоны. А этот юнец, только родившись, был уже произведен в офицеры, и капитанские погоны ему кажутся слишком старыми. А ему, сыну бедных родителей, из-за своего вздорного характера, вероятно, никогда не видеть погон капитана. Впрочем, черт с ними, с погонами! Не в этом счастье. Хорошо бы утереть нос этому выскочке. И поручик спокойно, почти равнодушно спросил:

— Давно в армии служите? Наверно, без году неделя?

Осмолов с интересом посмотрел на скуластое обветренное лицо Никитенко.

— Вы угадали. И все же, если бы довелось, я бы подумал, прежде чем отпустить сына Агасы-хана. А вот вы, хоть и давно в армии, а непозволительно зевнули.

— Если бы мне не поручено было сопровождать вас... — Лицо Никитенко напряглось, голос зазвенел.

— К вашим услугам, сударь, — спокойно ответил Осмолов, улыбка слетела с лица, весь он подобрался. — Когда и где? Я задержусь, пожалуй.

Но Никитенко не ответил, с ним творилось что-то странное: увидев группу всадников, въезжавших в городские ворота, преобразился, резко натянул поводья:

— Черт бы вас побрал, капитан, и ваши шуточки... Это же знаете кто?.. Татары! Да какие! — И со всей руки хлестнул плетью дончака. Конь взвился на дыбы, дико блеснул топазовым глазом, отпрянул в сторону, поручик круто повернул его и напрямик через площадь помчался к воротам, в которые уже въехала конная группа татар.

Осмолов изумленно смотрел вслед. Что с ним? Станный, однако, случай.

Между тем поручик в несколько секунд достиг ворот и стал перед татарами.

— Добро пожаловать! Салам алейкум!

— Алейкум салам! — учтиво ответил Махмуд-бей (а это был именно он). — Я узнал тебя, господин офицер! Как здоровье твое?

— Не жалуюсь... Спасибо!.. А ты — снова на базар? Что имеешь продать?

— Нет, базар мне сегодня не нужен.

— В таком случае, может, скажешь, что же тебя привело в Бендеры снова?

Махмуд-бей не отвечал, только искоса, приподняв голову, смотрел на поручика. Тогда Никитенко, сузив глаза, словно его вдруг ослепило солнце, заговорил хрипло, срываясь на крик:

— Теперь ты ответишь за все! Прежде всего скажешь, где ты оставил штабс-капитана и его людей? Помнишь штабс-капитана? Он поверил тебе, Махмуд-бей, и отпустил, даже чарку налил на дорогу. А ты его... Ты и твой брат... схватили!

— Что случилось, господин офицер? — спросил Махмуд-бей, медленно бледнея.

— Он еще спрашивает! Но довольно! Ятаган — сюда! Да скорее, Махмуд-бей! Разговоры окончены!

Между тем подъехал Осмолов в сопровождении четырех драгун, подошли солдаты, охранявшие въезд в город, и офицер — молоденький подпоручик с едва заметными русыми усиками; слушая разговор поручика и Махмуд-бея, он удивился:

— Почему вы задерживаете их, господин поручик? Ведь я только что...

— Ах, это вы? Очень хорошо. Как раз я и хотел спросить у вас, кто разрешил впускать в город подозрительных? Как дежурный по гарнизону, я надеюсь получить вразумительный ответ немедленно.

— Но у них письмо...

— Какое письмо? Вы что! Забыли, чем мы нынче заняты и где находимся? Вам, видно, кажется, что мы у тещи на блинах?

Подпоручик вспыхнул, но сдержал себя:

— У него письмо от адъютанта его превосходительства. Как же я мог поступить иначе?

— Вы хотели сказать, господин подпоручик, что письмо от штабс-капитана Котляревского? — спросил Осмолов, еще больше удивляясь услышанному. Никитенко же на какое-то мгновение онемел, потом попросил показать письмо.

— Где оно? У кого? А вот, — сказал Махмуд-бей, вытаскивая из переметной сумы вчетверо сложенный листок. Поручик выхватил его из рук татарина и развернул.

Сначала он ничего не понял и прочитал еще раз. Не поверив своим глазам, перечитал снова. Так, никакого сомнения: письмо написано рукой штабс-капитана, почерк своего друга Никитенко знал: ровный, каллиграфический почерк человека, долгое время занимавшегося перепиской казенных бумаг. И если все, что написано, правда?... Не слишком ли все хорошо, чтобы казаться правдой? Люди, приехавшие вместе с сыном Агасы-хана, становятся аманатами? То есть заложниками? Они будут находиться в лагере русских, пока командование найдет нужным держать их? Что же выходит? Выходит, черт возьми, что он, поручик Никитенко, снова чуть-чуть не попал впросак. Вот что получается! Но ведь украден конь! Как же это согласовать с письмом? Сомнения, надежды, недоверие, подозрение сменялись так быстро и так явно, что нетрудно было заметить по открытому лицу Никитенко, как он взволнован. Глядя на поручика, Махмуд-бей обеспокоенно спросил:

— Господин офицер, а что известно о штабс-капитане и его людях? Неужто беда?

— Это ты... ты скажи, Махмуд-бей, где они? В штабе ничего не знают, кроме того, что они попали в руки Селим-бея, твоего брата, и твои руки были не без дела.

— Верно. Я их освободил из рук Селима и отправил к Ислам-бею.

— Ты говоришь... освободил их?

— Так. Вот и записку написал кунак мой перед отъездом.

— Я верю тебе! — голос Никитенко перехватила горячая волна. — Прости за обиду. И в тот раз ошибся...

— Я не забыл... Но скажи, господин офицер, откуда ты взял, что ваши люди в опасности?

— Мы задержали пастуха Селим-бея. И с ним был наш конь.

— Коня нашли? Слава аллаху! — Махмуд-бей обрадовался, юное лицо его осветилось счастливой улыбкой, — Я думал — теперь не найти коня, Селим мог угнать его так далеко, что сам шайтан не нашел бы.

— Однако мы теряем время, — спохватился поручик. — Едем в штаб... пока не послали людей к Селиму... Капитан! — обращаясь к Осмолову, сказал Никитенко. — Прошу простить, если обидел вас. Поверьте, не хотел, очень меня беспокоила участь наших. Теперь все хорошо. Разрешите пожелать вам счастливой дороги.

— Глубоко убежден, что вы — милейший человек, поручик, — сказал Осмолов. — А меня иногда заносит.

— Значит — по рукам? И — с богом!

— Как же мне теперь уехать! Я, пожалуй, вернусь.

Так они говорили, направляясь обратно к штабу — на этот раз вместе с Махмуд-беем и его людьми.

В этот час в городке, ставшем местом постоя русских войск, становилосьлюдно: проезжали гарнизонные наряды, двигались конные и пешие — не разгонишься, поневоле приходилось ехать шагом. Прохожие с любопытством оглядывались на необычную конную группу: впереди — русские офицеры, между ними — татарин в дорогой одежде, а позади драгуны и татары — рядом в одном строю. Может, посольство? На задержанных не похожи.

Сыпался мелкий снежок, серебрил татарские малахаи, кивера русских, скрипел под копытами, ровно ложился на низкие крыши, устилал дорогу седой пушистой попоной.

Ехали молча. Поручик, посматривая на молодого ордынца с нескрываемой симпатией, спросил:

— Скажи нам, достопочтенный Махмуд-бей, кто научил тебя нашему языку? Говоришь так, будто жил где-нибудь у Днепра. — Заметив, как омрачилось лицо татарина, Никитенко поспешил извиниться, сказав, что не хотел обидеть своим вопросом.

— Нет, я не в обиде. Но ты напомнил, господин офицер, мне прошлое. — Махмуд-бей задумался и почти неслышно добавил: — Языку вашему учился я у матери моей. Совсем молодой привезли ее в Каушаны. В этих степях она прожила, а язык свой не забыла. И песни помнила. И пела. Да какие песни, если б ты слышал, кунак!

— Прости, не знал!

— Ее уже нет, — тихо, как и прежде, продолжал Махмуд-бей. — Отравили. Может, Зульфия, мать Селима, это сделала, она была старшей женой моего отца. Учитель

рассказал мне потом. Когда она умирала, я был в Измаиле. — Махмуд-бей провел рукой по лицу, словно желая отогнать горькие воспоминания, будившие ум, тревожившие сердце. — Но я помню. И язык, и песни. С колыбели запомнил. Вот эту. — И он нараспев, тихо, но четко выговорил:

Да забелели снега, гей, забелели...

Никитенко поспешно отвернулся, вытер глаза и всю дорогу до самого штаба ехал молча. Не проронил ни единого слова и Осмолов.

14

Селение называли с некоторых пор городком, хотя в нем не найти было ни одного, кроме ханского, каменного здания; сплошь деревянные и саманные, крытые большей частью соломой, домишки рассыпались по взгоркам и ложбинам, по кривым улочкам, выходившим к Ботне — неглубокой, сильно заболоченной речушке, постоянно пересыхавшей в летнее время.

Достопримечательностью городка являлись развалины старинной крепости Гусейна, названной так по имени ее основателя и почти дотла разоренной в конце XVI века запорожскими казаками, впоследствии, однако, восстановленной и названной уже Каушанами.

Жили в городке ремесленники, торговцы, а повелитель Буджацкой орды Агасы-хан имел здесь и летнюю резиденцию, в которой в теплые зимы оставался на весь год. Вот, пожалуй, и все, что было известно о Каушанах. Еще меньше русские послы знали о самом Агасы-хане.

Слухи были разноречивы. Одни утверждали, что каушанский владыка — хитрая и коварная лиса, видит далеко и своего не упустит. Говорили, что хан тщится вести свою, независимую от султана, политику, но делает это осторожно, опасаясь гнева падишаха, рука которого, как известно, простирается довольно далеко. Другие уверяли, что хан — верный слуга Порты и поэтому вести с ним переговоры о переходе на сторону русских или хотя бы о нейтралитете не стоит — напрасно потраченное время.

Поздно ночью отряд приближался к Каушанам. Черные угловатые тени всадников резко выделялись на залитой щедрым лунным светом дороге. Шелестел в сухой траве и ветках придорожных одиночных деревьев попутный ветер, подхватывал и заносил в далекие степные овраги снежок, перемешанный с песком и листвой. Ехали почти налегке — все, что взяли с собой, раздали старшинам в деревнях, если не считать еще кое-чего, припрятанного в переметных суммах отдельно.

Еще в селении Еть-иссин сменили своих лошадей на татарских и не жалели: они оказались достаточно выносливыми, легко преодолевали немалые степные переходы и не требовали при этом особого ухода.

Брось клочок сена — и скачи хоть целые сутки без отдыха. Правда, русским послам непривычно было сидеть на низкорослых конях, особенно чрезвычайно неудобно приходилось сухопарому Денису Орестову, длинные ноги его почти волочились по земле. Над ним подшучивали, советовали поднять седло повыше, а еще лучше — устроиться по-турецки, как на кошке. Он не обижался, напротив, поглаживая

седоватые усы, посмеивался вместе со всеми, радовался, как и все, вольному ветру, широким степям и также тому, что вот уже несколько суток его командир, бригадир Катаржи, не ругался, был довольно заботлив, спросил даже однажды, отдохнул ли он во время стоянки, как покормили татары.

Ехали ночной степью, под крупными немигающими звездами. Но любоваться красотами ночной степи было недосуг, тревожила предстоящая встреча с ханом.

— Какой-то он, воевода ихний? — бросив повод на луку, заговорил Катаржи. — Что запоет? Примет ли вообще? Он, верно, и не подозревает, какие гости едут к нему, и, надо полагать, не слишком желанные к тому же.

— Думаю, знает, — возразил Котляревский. — Разве что поздновато донесли ему. И вот опять же, обязаны мы за это тому же Махмуду, помог он нам, из беды вызволил.

— Золотой юноша. Веришь, у меня такое чувство, будто он все дни с нами: следит, оберегает, руку недруга отводит.

— Да, ты прав, у меня тоже такое чувство... А что касается Селима, то, была бы возможность, не стал бы с нами церемониться. — Котляревский задумался. — Теперь-то аманаты мешают. Ему они — что кость в горле.

Офицеры говорили между собой вполголоса.

— Вот едем, эпилог миссии виден, а чувство такое, будто здесь-то все только и начнется, — продолжал штабс-капитан. — Словно в пасть к тигру направляемся.

— Еще не поздно, поворотим коней, коль сомнение есть.

— Слишком рискованно. Хан, если не заручиться его словом, на все способен, за спиной старшин с турками сговорится. У них с Селимом и отряды свои имеются, соберутся вместе — это уже сила.

— Семь деревень не пожелали трактовать.

— Они погоды не сделают. Но, между прочим, Махмуд с самого начала предупреждал. Помнишь, что он говорил? Лучше объехать эти деревни, мол, напрасная трата времени. Так и вышло... Но на что рассчитывают?

— В султана верят. Да ведь почему и не поверить? У султана войск больше, чем у нас.

— Почти вдвое. Да буджак-татары. На них-то Хасан-паша и возлагает надежды.

— Его забота. А нам с тобой, дорогой, знать надобно, что помышляет каушанский воевода. Станет с нами трактовать или... — бригадир не договорил. — Поверишь, боюсь за себя. А ну как сорвусь. Нервы — ни к черту. И все из-за гостеванья у Селима. Попадись он мне теперь — на все пойду, а расквитаюсь.

— Ты это позабудь, выбрось из головы. Даже если и встретимся, — а это вполне возможно, — должны мы вести себя так, будто ничего никогда не случилось.

— Хитрый ты, брат, ох и хитрый. А вообще-то верно. Конечно, не имеем права воли давать себе, а то, чего доброго, вместо Бендер угодим в Измаил к Хасан-паше.

— Этого, думаю, и добивался Селим. Но теперь не выйдет...

И все-таки кто знает, чем закончится их ночной визит в Каушаны? История знает случаи, когда татарские военачальники в самый ответственный момент, в разгар

кампании, изменяли обещанному слову, уходили с поля боя, оставив недавнего союзника один на один с более сильным противником. Кто может дать гарантию, что Агасы-хан — еще и не союзник, а давний недруг русских — услышит голос разума? И то сказать, он не слепой и не глухой, ему доподлинно ведомы силы русских и силы турок. Сравнить ничего не стоит, и сразу станет ясно, на чьей стороне перевес. Тогда попробуй говорить с ним. И все же ехать надобно, если имеется хотя бы крохотная надежда на успех.

Было над чем подумать, и офицеры замолчали надолго, почти не обращали внимания на охрану, выделенную начальником последнего уезда Еть-иссин и следовавшую за ними по пятам.

Ординарцы держались к офицерам поближе. У Пантелея за дни поездки скулы резко обострились, все лицо обветрено, местами облупилось, а глаза ввалились. Никто точно не знал, сколько и когда спал Пантелей, да и спал ли вообще. Его невозможно было заставить прилечь хотя бы на минуту, даже когда офицеры, запершись с татарским старшиной, вели неторопливый разговор и ординарцам выпадала редкая возможность немного расслабиться и хотя бы по очереди подремать.

Денис Орестов, немногословный, добродушный туляк, подтрунивал над товарищем:

— Да что, братуха, случилось-то? Чё не спишь? Глаза-то на затылке скоро окажутся, аль не чувствуешь?

— А штабс-капитан спит? А бригадир?

Обняв товарища за плечи, Денис силой укладывал его на разостланную кошму:

— Не дури. Я ведь в карауле. И очередь поспать твоя нонче. — Потом раздумчиво качал головой: — Может, ты и прав, браток, нехристям энтим доверься — враз ножа под бок — и прощай, мать родная. У них это скоро. А потерять такого человека, как наш штабс-капитан, — это, скажу тебе, братуха, лучше самому голову сложить к такой матери. Редкий человек. Имеет сочувствие к нашему брату солдату. Не часто такого встретишь среди офицеров. Возьми, к примеру, моего... Даст в рыло ни за понюшку табаку — и будь здоров, не кашляй, правда, после пожалеет, иногда и деньгами одолжит: иди, скажет, выпей. А куда пойдешь с битой мордой?

— Да, куда с битой мордой ткнешься, к бабе — и то не пойдешь, — снисходительно усмехался Пантелей. Закуривая, раздумчиво говорил: — А про моего ты верно сказал, Денис. Он мне брата родного дороже. Вот сидит он там со старшиной татарским, а чтоб ты знал, думает, как мы с тобой тут устроились, ели мы чего или нет, а может, мы голодные или кто нас обидел.

— Кто же нас обидеть решится? — удивлялся наивности товарища Денис. — Да мы что — без рук или как?.. А про штабс-капитана ты малость лишку сказал, загнул, не до нас ему теперь.

— Не знаешь ты, браток, а узнаешь ближе — сам скажешь, — убеждал Орестова Пантелей.

Орестов, за время военной службы немало повидавший, невольно дивился: бывает же такое. У помещика когда жил, получал одни зуботычины, в армии тоже без них не

обходится, а тут такое, что просто диву даешься...

Отряд, как и накануне, ехал с вечера до полуночи без остановки. Летел снежок, белый, крупный, мельтешил перед глазами, застилал дорогу. Мглистое небо, сплошь затянутое седой, почти без разрывов, тучей, низко стояло над степью, казалось, протяни руку — и достанешь эту тучу, шелестящую, огромную.

Дробный перестук копыт глушился в низине. Стефан предупредил: Каушаны близко, только подняться на курган — и они тут же покажутся.

Он скакал рядом с офицерами. Ни разу не пожаловался на усталость и, как все, был начеку. Овечья шапка, служившая ему и подушкой, свалилась, сбилась в тугой комок, короткий кожушок, удобный для езды верхом, из желтого превратился в сизый, местами даже темный. И лицом молдаванин еще больше засмуглел.

Как ни трудно приходилось отряду, Стефан по-прежнему был весел. Котляревский, любивший меткое слово, сказанное к месту и ко времени, симпатизировал переводчику, и тот, чувствуя доброе отношение к себе штабс-капитана, отвечал ему искренней привязанностью.

Неугомонный Стефан и минутки не мог помолчать, хотя самое время было помалкивать. Стефану все нипочем, его внезапно заинтересовали земляки штабс-капитана: как они живут да чем занимаются?

— Как люди, Стефан, так и мои земляки. А ты что-нибудь другое слышал? Расскажи, послушаем.

— Да я ничего такого не слыхал, господин штабс-капитан. Только разве одно: будто на родине у вас люди живут веселые. Так правда то или, может, слух пущен?

— Кто ж тебе такое сказал? И с чего бы это им такими быть?

Стефан хитро поглядел на штабс-капитана, ехавшего бок о бок с ним:

— Да дело тут такое. Слыхал я, что в вашем городе книгу скомпоновал земляк ваш, да такую, что и хворый, читая, не удержится от смеха. Веселая и полезная. Про отважного казака Энея.

— Вот оно что, — смутился Котляревский. — Может, так, а может, и не совсем, не стану тебя убеждать, потому как давно уже из дому.

— Спасибо, господин штабс-капитан, я так и думал. — Стефан был явно доволен ответом. — И еще попрошу вас: будет у вас возможность достать оную книжицу, то сделайте такую милость — ну хотя бы глазком взглянуть на нее.

— Добро, Стефан, обещаю, вот только вернемся в Бендеры.

— Век не забуду! — Стефан некоторое время ехал молча, молчал и Котляревский, погруженный в свои думы.

Въехали на пригорок. Стефан коснулся руки штабс-капитана:

— Домнуле, а скажите, кто у вас дома? Жена, дети?

— Чего нет, того нет, друг мой, не каждому суждено...

— Я тоже никого не имею. Но, думаю, успею. И вы тоже, домнуле, будете иметь и жену, и детей.

Котляревский промолчал. Расспросами своими Стефан вызвал в памяти штабс-



капитана горькие воспоминания, о них бы следовало не думать, давно забыть, но сердцу не прикажешь; невольно всплывают они, кружат, туманят голову, наполняют душу невыразимой тоской. А зачем? Сколько прошло лет, ничего не воротишь. В тех краях, в том селе с мягким, не местным названием, наверно, и стежки заросли, затерялись, где он, бывало, бродил совсем еще молодой, с широко открытым сердцем и полной мечтаний головой, выглядывал ее вечерами, когда солнце исчезало в летних травах, окропленных, словно слезами, росой, оставляя удивительный запах и тихий свет, разливающийся по всей земле, по нескошенным отавам и васильковым полям, что начинались сразу за панским садом. Как он ждал, надеялся, отчаивался, если она задерживалась!

Может, теперь он поступил бы иначе, был бы смелее, иначе говорил бы с ее названным отцом и с ней тоже, а тогда вел себя слишком робко, неуверенно, боялся обидеть, испугать и, может, тем самым посеял в ее сердце неуверенность, боязнь перед решительным шагом. Что им стоило тайно, никому о том не объявляя, уйти куда глаза глядят? Ведь и она, и он принадлежали только самим себе. Пусть бедные, зато свободные и счастливые. А она не ответила, не поддержала, не осмелилась сказать единственного, которого он так ожидал, слова: "Согласна... согласна на все..." Может быть, она бы не сказала это слово, пусть бы только намекнула, позвала взглядом, жестом, написала в записке. Ничего этого не было. Он остался один, в муке и тоске оставил дом, в котором провел два года, лучшие свои годы — в труде и надеждах, светлых, тайных, божественных. А потом... Бог с ним: все ушло, улетело, и теперь самым быстрым конем не догнать, не вернуть.

— Что задумался, Иван Петрович? — придержав коня, спросил Катаржи.

— Да так, ничего, — встрепнулся штабс-капитан, отгоняя воспоминания-видения. И сказал: — По расчетам Стефана, должны бы уже показаться Каушаны.

— По-моему, с того вон пригорка видны будут.

— Погляди, — вдруг приподнявшись в стременах, протянул руку штабс-капитан. — Сдается мне, что-то чернеет — вон там, левее.

— Верно. Да это деревья. А за ними — крыша. Мечеть, должно быть...

Молча всматривались в приближающиеся очертания деревьев, закрывавших купол мечети.

Проехали еще сотню шагов, и вдруг в самом деле с пригорка открылись Каушаны. Кривые улочки тонули в дымящемся тумане, но лунные дорожки пробивали его, высвечивая то плоскую крышу, то глухой дувал, то круглое оконце. Слева, на возвышенности, туман был пореже, и в разрывах его виднелись развалины: в сухой траве острый угол камня, извилистые жилы белой глины, в зарослях — темный провал. Чуть подальше, справа, круто к реке спускалась стена крепости с глубокими впадинами-бойницами. Там, за стеной, и была резиденция самого воеводы.

Вблизи городка дорога оказалась каменистой, и стук копыт далеко разносился в ночи.

— Смотри! — негромко сказал вдруг Котляревский, указывая на конную группу,

выехавшую из ворот крепости. — Не нам ли навстречу?

Катаржи оглянулся, подозвал Стефана, тот повернул коня и крикнул что-то ехавшим сзади ордынцам: все тридцать всадников охраны легко обогнали офицеров и закрыли их.

Между тем люди из крепости приближались. Уже слышалось сердитое пофыркивание лошадей, нестройный топот, и вот уже из-под лисьих малахаев глянули похожие Друг на дружку плосковатые лица.

— Господи! — прошептал Стефан, следовавший бок о бок с офицерами. — Это же!..

— Кто?

— Селим! — И отвернул коня в сторону, чтобы офицеры смогли лучше разглядеть ехавшего впереди всадника. Стефан не ошибся. В переднем нетрудно было угадать старшего сына каушанского воеводы. Одет богаче остальных, в седле, отделанном серебром, держится по-своему, чуть набок, золоченая рукоять ятагана отражает лунный свет.

— Воистину, чего не ждешь, — сказал Катаржи и положил руку на рукоять клинка.

— Почему же? Ждали... Но не торопись, бригадир.

— А не беспечен ли ты, штабс-капитан? И не может ли нам это слишком дорого обойтись?

— Мы теперь подорожали... И он это знает.

Селим-бей приближался. Не сбавляя рыси, не обращая внимания на едущих навстречу сородичей, он двигался прямо на них, и те, еще издали узнав ханского сына, расступились, образовав коридор. Селим-бей проехал по нему один, так как всю его свиту задержала охрана, плотно прикрыв ее. Не доезжая пяти шагов к русским послам, Селим-бей неуловимым движеньем тронул повод и остановился. Остановились и офицеры.

— Салам алейкум! — наклонил голову Селим-бей.

— Алейкум салам!

— Агасы-хаы, мой отец, ждет вас, — сказал Селим-бей так спокойно, словно никогда ранее он не встречался с офицерами и не грозился им всеми карами, не обещал отвезти в "подарок" измайльскому Хасан-паше.

Не ожидая ответа, он повернул коня, коридор перед ним разомкнулся, все его всадники присоединились к остальному отряду.

Офицеры и ординарцы двинулись вслед. На полпути к крепости Селим-бей придержал коня и поравнялся с офицерами.

— Как драгоценное здоровье твое, почтенный Селим-бей? И твоей семьи? — спросил штабс-капитан.

— Слава аллаху! А твое, господин?

— Благодарствую!

— А твое, эфенди? — обратился Селим-бей к мрачному Катаржи.

— Пока не жалуюсь.

Стефан переводил слово в слово и, если бы мог, передал и скрытый смысл в словах

ханского сына — едва скрываемое злое торжество. Селим-бей заставил себя даже улыбнуться, когда Котляревский сказал, что он, Селим-бей, очень внимателен.

Больше ни офицеры, ни Селим-бей до самого въезда во двор ханской резиденции ни единым словом не обмолвились.

15

Офицеры заметили, что высокие железом окованные ворота за ними сразу закрылись и тотчас у входа встала стража, но сделали вид, что ничего особенного не произошло. Впрочем — постарались успокоить себя, — в ханском дворце, видимо, иначе и не поступали, ворота здесь обычно держат на запоре. Однако то, что произошло дальше, русских послов встревожило значительно больше.

У ехавших с ними татар люди Селим-бея отобрали оружие, едва те отъехали в сторону, а когда кто-то попытался оказать сопротивление, его схватили и, заломив руки, вырвали из ножен ятаган. Обезоруженных угнали в дальний угол двора. Все это делалось быстро и бесшумно. Не зная, что подумать, офицеры приготовились к худшему. Катаржи приказал держаться всем вместе и быть начеку. Но прошло некоторое время, а ничего нового не произошло. Люди Селима держались от них на почтительном расстоянии. Никто не звал русских послов и во дворец.

Ждать неизвестно чего не имело смысла, и офицеры, посоветовавшись, решили послать Стефана к дворцу на разведку. Толмач там не задержался, он вернулся почти сразу и рассказал: ханские служители, к которым он обращался, сделали вид, что не понимают языка, а один даже притворился глухим. Стефан был явно обижен; ведь разговор у него был ясен и понятен каждому — зачем же такое притворство? Несомненно, что-то затевается, но что именно — он не знает. Офицеры смотрели на толмача и каждый думал то же, что и он: в самом деле, зачем такая игра, во имя чего? Если не собираются разговаривать с ними, тогда зачем встретили, впустили во двор? Может быть, хану не доложили об их приезде?

— Скорее всего, тут воля Селима действует, — высказал предположение штабс-капитан.

— Так, может, пока не поздно, убраться отсюда?

— Не так это просто теперь. Да и лошадей куда-то увели. — Котляревский пытливо оглядел затемненные окна дворца — нигде ни огонька, ни просвета. — Подождем пока... Никуда не денутся — позовут. Посмотрим, чья возьмет...

Дальнейшие события подтвердили предположения штабс-капитана: их позвали, но прежде заставили поволноваться. Катаржи хотя и не показывал вида, но нетрудно было догадаться, как он нервничает. Он поминутно оборачивался на окна дворца, на каждый шорох. Пусть бы попытались схватить их, он бы знал, как действовать. Но дворец притаился, и это черт знает что. Не возражай штабс-капитан, он бы штурмом взял ворота и — поминай как звали. Но разумом понимал: этого как раз делать нельзя, и, по примеру товарища, усевшегося преспокойно на снятом с лошади седле и доставшего свою изрядно обкуренную трубку, тоже стал закуривать, то и дело, однако, поглядывая на темные окна ханского дворца.

А время шло. Медленно, но неумолимо, словно тучи, закрывшие ханский дворец с его многочисленными крылечками, башенками и круглыми окнами-бойницами. Казалось, сам дворец плывет в седом тумане. А облака — стоило прислушаться — шелестели, так шумит зреющая нива под легким ветром, когда солнце еще не взошло, но появление его угадывается по серым протянувшимся по всему полю теням, по сиреневым полосам на горизонте, по сладкому запаху, что исходит от каждой былинки и каждого колоса, окропленных утренней росой.

Русских послов окружали мрак и тишина — нигде ни звука, словно дворец давным-давно опустел, и они внезапно оказались в мертвом царстве. Но это только казалось. Стоило присмотреться к затемненным окнам — и нетрудно было заметить, как кое-где шевелятся плотные занавеси, а кое-где мелькал и свет. Там, за дворцовыми толстыми стенами, шла какая-то своя, неведомая послам работа, там были люди, о чем-то они говорили, спорили, а возможно, тихо вели беседу; кто-то куда-то бежал, кого-то искали, звали, чтобы сообщить что-то важное. Наблюдать за этим и ничего не знать — конечно, неприятно, но изменить что-либо в их положении тоже было невозможно.

— Садись, братцы! — Котляревский, выбив трубку, снова достал кисет. — В наших седлах — словно в креслах.

— Пожалуй! — буркнул Катаржи. — Посидим — да и будьте здоровы!

— А то как же, придет время — уедем, но сначала подождем, пока хозяин проспится. Может, служители и ожидают этого. Декабрьский воздух прозрачный и холодный. Но холода никто не чувствовал: так были взвинчены нервы.

И вот, будто в награду за долготерпение, на верхней площадке лестницы, ведущей к парадной двери, показался служитель — в длинной, до пят, одежде, в низко надвинутом малахае. Он быстро спустился вниз; приблизившись к послам, поклонился и почти на чистом русском языке сказал:

— Его милость Агасы-хан ждет вас, почтенные.

— Мы готовы, — чуть ли не вскочил Катаржи. Встали и остальные.

— Слуг просят остаться, и... сдайте оружие.

Офицеры переглянулись: как быть? Выполнить требование или отказаться? Но ведь, кажется, договорились: что бы ни случилось, всем быть вместе, а личное оружие держать при себе. Котляревский спокойно, но твердо сказал об этом, добавив, что так принято у многих народов и, ежели каушанский воевода желает говорить с ними, русскими послами, пусть принимает вместе со слугами, ежели нет — они тотчас покинут дворец; жаль, конечно, уезжать, не повидав повелителя Буджацкой орды, у них весьма важное дело, которое небезынтересно и для него.

Разинув рот от изумления, служитель — еще молодой безусый ордынец — некоторое время стоял молча, потом побежал, но тут же вернулся, попросил оставить слуг во дворе. Офицеры стояли на своем, и тогда служитель решился доложить и скрылся за высокой дверью. Отсутствовал он недолго, но офицерам показалось, что время течет слишком медленно, и Катаржи уже пожалел было, что позволил штабс-капитану так резко ответить, пожалуй, следовало говорить помягче и, может быть,

даже согласиться на предложение не брать с собой ординарцев и толмача.

Котляревский, повеселев, не удержался, чтобы не заметить: впервые за все дни странствий по деревням Буджацкой степи Катаржи стал осторожным, между тем, по мнению штабс-капитана, на сей раз только так надлежало говорить, хан должен почувствовать их силу, а на робкого любая шавка лаает, их требование хан не отвергнет. И он не ошибся. Тот же самый служитель выбежал на крыльцо и, спустившись вниз, поклонился:

— Его милость хан просит вас, почтенные.

Офицеры в сопровождении ординарцев и толмача проследовали за служителем в ханские покои. Миновали несколько комнат, слабо освещенных хитро спрятанными свечами, шли по узким низким переходам и наконец вступили в круглый зал — сравнительно небольшой, но уютный, застланный от стены до стены однотонным золотистым ковром. Здесь не было никакой мебели, если не считать небольшого стола и нескольких стульев под низко опущенной люстрой с горевшими в ней семью свечами.

Прошло еще несколько минут томительного ожидания, как вдруг дверь в противоположной стене неслышно отворилась и в зал вошел хан. Служитель, пав ниц, отполз назад и скрылся. Офицеры поклонились почтительно, но с достоинством, приличествующим послам. Хан же, дойдя до середины зала, остановился и сложил на круглом животе руки. В двух шагах за ханом следовали еще двое — уже пожилые, с пергаментно-желтыми лицами ордынцы. Четвертый был Селим-бей. Офицеры обратили внимание на его лицо — бледное, худое, горящие глаза. Они понимающе переглянулись: дай такому волю — пырнет ножом, не задумавшись.

Хан ответил на приветствие короткой фразой и молча, не мигая, уставился на незваных ночных гостей.

Наверно, пора было начинать переговоры, рассказать о цели своего визита в столь позднее время. Кто же начнет? По старшинству обязан начинать бригадир, но тот локтем коснулся Котляревского: "Начинай".

И штабс-капитан, выпрямившись во весь свой рост, глядя прямо в глаза хану, начал:

— Достопочтенный Агасы-хан, мы очень просим извинить нас за столь поздний приезд. Неотложные дела заставили нас постучать в твои ворота, не дожидаясь рассвета, когда благоверные начинают свой день традиционной бисмалях[14].

Котляревский сделал паузу, и Катаржи, считая, что теперь самое время перейти к делу, стукнув каблуками, сказал:

— Мы люди военные, не дипломаты и будем говорить прямо...

Котляревский похолодел: что он говорит? Локтем коснулся бригадира — рано, рано говорить о деле — и, шагнув к хану, продолжал:

— Достопочтенный Агасы-хан, мы наслышаны о твоих воинских доблестях. Мы хорошо знаем, как ты смел в бою, дальновиден в государственных делах. Мы чтим людей смелых и умных, преклоняемся перед ними. Мы знаем, как ты богат, табуны твои несметны, сундуки твои хранят много добра. Твоя семья дружна и сильна, сыновья

— свет твоих очей — храбрые воины, надежда твоя и опора, по достоинству они продолжают твое дело, дело предков... Слава тебе, Агасы-хаи! Прими поклон от нашего командующего, он шлет тебе пожелания доброго здоровья и всяческого добра, тебе и твоей славной семье!..

Слушая Котляревского, бригадир чуть не раскрыл рот от удивления: откуда такое красноречие? Ничего не скажешь — дипломат. И такая обворожительная улыбка!

Выслушав толмача, слово в слово передавшего речь штабс-капитана, хан секунду молчал, раздумывая, потом по хмурому челу его скользнула довольная усмешка:

— Золотые уста у тебя, господин русский посол! Мы благодарим тебя. Мы тоже много слышали о храбрости русских генералов, офицеров и воинов.

— Спасибо, достопочтенный хан! Ты не ошибся, наши солдаты храбры, сметливы и выносливы... Ничто их не остановит, если перед ними поставлена справедливая цель. Но солдаты наши славны не только тем, что храбры, они любят мир, во имя этого и пришли сюда и стоят сейчас у ворот Буджацких степей.

— Мы понимаем, господа послы... И готовы слушать вас здесь, в нашем доме... Мы слушаем.

Катаржи снова сделал шаг вперед, но Котляревский опередил его и на этот раз:

— Светлейший хан, ты прости нас, но разговор у нас сугубо служебный, который может интересоваться только тебя одного. Другим же, даже членам твоей семьи, он не интересен.

Хан понял намек и, подумав, сказал, что в зале присутствуют его приближенные и старший сын Селим.

— И все же, светлейший хан, да простят нам твои родичи и старший сын твой, нам велено вести разговор лично с тобой, он касается только тебя и никого больше...

Катаржи, уже поняв, в чем дело, попытался сказать, что он тоже просит извинить, но таков приказ их командующего.

— Вы настаиваете?

— Мы просим, — мягко сказал штабс-капитан.

— Так и быть. Пусть все выйдут.

Сановники, хмуро поглядывая на русских послов, вышли, но Селим-бей остался, он, как видно, и не думал уходить. Офицеры терпеливо ждали, не начиная переговоров.

— И сын мой должен уйти?

— Мы просим.

— Мы не можем иначе, — развел руками Катаржи.

— А оружие?! — вскричал взбешенный Селим-бей. — У них оружие!

— Оружие мы отдадим ординарцам, и пусть они подождут нас в соседней комнате.

— С этими словами Котляревский отцепил клинок и отдал Пантелею, то же самое сделал и Катаржи. Ординарцы забрали оружие и вышли. Селим-бей, на которого коротко и выразительно взглянул хан, выбежал в противоположную дверь.

Теперь хан и русские послы остались одни.

Помедлив, прислушиваясь к чему-то, хан предложил сесть на низенькие стулья

возле невысокого круглого стола. Свет от семи свечей падал только на стол, остальная часть зала оставалась в полумраке.

— Говорите! — сказал хан. — Я слушаю.

— Прими, светлейший, наши скромные дары! — Катаржи попросил Стефана развязать сверток, развернул его и достал несколько песцовых шкур.

В мягком ровном свете свечей в ворсистой шерсти вспыхивали и гасли золотистые искры, песцы лежали на столе совсем мирные, ручные, они могли служить теперь только украшением.

— А это для жен — звезд твоего гарема, — Котляревский положил на стол небольшую шкатулку и открыл ее.

Хан увидел дорогие подвески, кольца, браслеты. Он несколько минут боролся с искушением посмотреть их ближе, полюбоваться и, победив искушение, приложил руку к груди:

— Благодарю, господа послы!

— Мы приехали к тебе после нескольких дней пути по твоим степям и, не скроем, кое-что потеряли, — говорил тем же ровным мягким голосом Котляревский. — Мы вели тебе коня — подарок нашего паши. Конь сильный, красивый, золотой масти. Но — да прости нас, хан! — сын твой, Селим-бей, отнял его. И мы нынче не знаем, где он.

— Селим? — Глаза хана медленно закрылись, словно ему стало больно смотреть на свечи.

— Селим-бей.

— Это правда? — Хан еще не верил и полагал, что послы возводят напраслину на его старшего сына.

— Правда, — твердо ответил Котляревский. — Нас, офицеров, спас сын твой Махмуд-бей, самый младший и самый, думаю, храбрый. Он все может подтвердить. Вызови его к себе. — Котляревский знал, что Махмуд и самый любимый сын хана.

Хорошо, что вы рассказали об этом. — Хан тяжело и шумно дышал.

— А теперь разреши, светлейший, перейти к делу, ради которого мы приехали... Мы воюем нынче с армией султана. Это тебе, надеюсь, известно. Видит бог, войны этой мы не хотели, но султан, пользуясь тем, что мы далеко, а возможно, иными соображениями, отнял у нас Измаил и посадил там Хасан-пашу. Мы пришли, чтоб взять Измаил в третий раз и окончательно. И мы возьмем его... Так вот, мы бы хотели... — Штабс-капитан наклонился чуть вперед, заговорил едва слышно. Стефан переводил, тоже не повышая голоса. — Так вот, мы бы хотели, чтобы никто из ваших людей не вмешивался. Зачем вам? Разве у вас своих забот мало? Оставайтесь в своих деревнях, растите детей и внуков, живите в достатке и довольстве, а мы гарантируем вам безопасность. Руки султана, мы знаем, длинные, но вас они не достанут, не дотянутся...

Закончив говорить, Котляревский наклонил чуть голову в знак того, что он готов выслушать и хана. Но тот с ответом не торопился. Предлагать хану изменить своему господину — по существу перейти на сторону противника в момент, когда решалась судьба одной из могущественных крепостей, а следовательно, и престиж Порты на

берегах Дуная? Такое предлагать мог только очень смелый человек. Хан, ежели он оскорбится, может легко и быстро расправиться с послами: кинуть их голодным псам или отправить в Измаил, в подарок Хасан-паше.

Котляревский сидел неподвижно, внешне спокойный, только лицо его стало бледнее обычного. Катаржи, как и штабс-капитан, старался сохранять спокойствие. Стефан, сидевший в двух шагах от Котляревского, искоса, одним глазом посматривал на грозного повелителя Буджацкой орды. Так близко он его никогда не видел и внутренне содрогался, зная его коварство и силу.

Прикрыв глаза, все еще не отвечая, хан, казалось, дремал, но руки выдавали его: пальцы шевелились на круглом животе, сжимались и разжимались, и кольца на них сверкали и гасли. Офицеры не отводили глаз от этих рук, не находивших себе покоя, — нервных, цепких. Вот сейчас они сожмутся в кулак — хан никогда не согласится нарушить слово, данное султану. Он хорошо знает, как Порта вершит суд над непокорными. Никто не может знать, когда это происходит. Во время обеда за семейным столом тебе подмешают яду в напиток, а могут и в опочивальне набросить мешок на голову или шелковый шнурок на шею. Улыбка преданного слуги или родича ничего не стоит, их руки, служившие тебе, аккуратно затянут петлю на шее. Это может сделать даже... сын. При этой мысли хан содрогнулся, почувствовал холод под сердцем.

— Вам плохо? — участливо спросил штабс-капитан и бросил взгляд вокруг: нет ли кувшина с водой? Кувшина не было, он хотел было позвать кого-нибудь из служителей, но хан отрицательно покачал головой и еле слышно хлопнул в ладоши. На пороге вырос служка, хан сказал что-то, и тот мгновенно исчез и через секунду вошел с подносом, на котором стоял кувшин и ваза с фруктами. По знаку хана он разлил напиток в бокалы.

— Прощу! — сказал хан, понемногу успокаиваясь. Это бекмес[15].

— За что выпьем? — спросил бригадир. Выждав немного, сказал: — За то выпьем, чтобы сбылись все ваши и наши надежды, хан!

— За ваше здоровье! — сказал штабс-капитан. — За ваших близких! За весь ваш род!

— Спасибо!

Выпили. Бекмес оказался довольно крепким, хотя и считалось, что это виноградный сок, видимо, что-то в него подмешивали, и он становился хмельным.

— Может, и нашего попробуем? — спросил Котляревский и дважды ударил в ладоши. Вошел Пантелей и, будто зная, что от него ждут, поставил на стол бутылку вина, ловко раскупорил, разлил в бокалы.

— Выпьем, светлейший хан, за то, чтобы никогда в ваших степях не было войн! — поднял бокал Котляревский.

— Чтобы жизнь ваша была долгой и счастливой! — добавил Катаржи.

Хан усмехнулся, дрогнули уголки полных губ, морщины побежали от глаз:

— Пророк не велит нам пить вино, но ради вас — согрешу. — И выпил, обтер белым платком подбородок: — Хорошо!



— Что же нам передать командующему? — выдержав небольшую паузу, спросил Котляревский. — Мы должны знать, что думает ваша милость. На что нам рассчитывать?

— И что делать? — спросил Катаржи. Сильно засмуглевшее лицо его немного размякло после выпитого, но глаза оставались зоркими. Штабс-капитан с белоснежным платком на шее, который он сменил за несколько верст перед Каушанами, был свеж, словно и не было изнурительной поездки по Буджацким степям.

— Я воин, я присягал на коране султану. А знаете, что это значит? — Агасы-хан с трудом перевел дыхание. — Правда, я хозяин в своей степи, мне подвластны мои воины.

— И будешь таким, светлейший хан.

— Я, господа послы, получил накануне вашего приезда фирман. Вы понимаете, что в нем? У султана намерения твердые. Для того чтобы обсудить его, я вызвал к себе Селима. Сюда же скоро должны приехать и другие мои сыновья, и старшины.

— Мы понимаем, высокочтимый, в какой сложной обстановке мы пребываем, но выход все же есть. Надо быть более решительным. К этому тебя призывает и фирман нашего паши, который мы привезли. — Котляревский положил перед ханом большой лист бумаги и продолжал: — Русские войска сделают все возможное, чтобы оградить буджак-татар от поползновений султана. И еще скажу: ни один клоч сена, ни один фунт зерна не будет взят без денег. Если захочешь — продашь, не захочешь — не надо. За все будет заплачено наличными деньгами по обоюдной договоренности.

— Здесь так написано? — спросил хан.

— Клянусь честью офицера, — торжественно сказал Котляревский. — Дай прочесть своим писцам, которые разумеют русскую грамоту, — и ты убедишься в справедливости моих слов.

Хан долго смотрел на большую круглую печать на бумаге и раздумывал, звать ему писцов или не стоит.

— А что скажут мои старшины? Мои сыновья? Они могут и не согласиться... Вот Селим.

— Селим-бей против. Мы это знаем. — Котляревский медлил, не торопился сказать хану все. А Катаржи не терпелось сразу же выложить перед ханом их козыри.

Штабс-капитан был иного мнения: так можно и обидеть. Лучше, если хан обо всем узнает сам. Но хан молчит, значит, он ничего не знает, а то, что старший сын против, повергло его в смятение. Видимо, никто из приближенных не осмелился рассказать ему всей правды. И эту правду, как она ни горька, теперь предстоит высказать ему, послу русской армии.

— Светлейший хан, я должен тебе сказать следующее, и это тебя, наверно, порадует. Все твои сыновья, за исключением Селим-бея, и все старшины, все до единого, послали своих аманатов в Бендеры. Они дали слово, что не встанут на клич султана. Никто из них не пойдет на русских. И в этом — их спасение, спасение целого народа. С кем же ты останешься? С Селимом? Боюсь, что за ним деревни не пойдут,

кроме, пожалуй, тех, кто охоч до чужого добра... Но кто знает, что ждет его в первом бою. Война жестока, а теперь, Агасы-хан, думай. Я все сказал.

Хан искоса, мельком взглянул на русского офицера и задумался. Оказывается, этот офицер не только златоуст, он может говорить и по-другому — твердо, как подобает мужу и воину. За жизнь свою он не страшится. А ведь что стоит схватить его и заодно товарища и бросить в подвал, где сидят голодные псы? Или отправить в Измаил Хасан-паше? Селим так хотел этого, так молил. Готов был все отдать, быть покорным, ни в чем не перечить. Но теперь-то вряд ли можно коснуться этих неверных не только мечом, но даже пальцем. В их руках — аманаты. Родственники. Наверно, и внуки хана. Разве всех перечислишь? Каждая деревня кого-нибудь послала. Попробуй тронь теперь русских послов — вся орда проклянет до десятого колена хана и его семью. Его перехитрили. Ничего не стоят все лазутчики Хасан-паши против этого одного офицера, так спокойно и уверенно разговаривавшего с ним, могущественным повелителем Буджацкой орды, еще так недавно наводившей ужас на соседние державы. А сколько раз его орда — гордая и непобедимая — залетала в степи Украины, могучей волной докатывалась до самой Польши! И там, где она проходила, горели села, пожар испепелял самое небо и стон стоял на тысячах дорог, на сотни верст. Какая радость кипела в сердце старого степного орла.

А теперь что?! Никогда это больше не повторится.

— Якши вино... Крепкое, — сказал хан.

— Разреши еще бокал? — спросил штабс-капитан. — Стефан, чего же ты?

Стефан разлил вино. Хан молча смотрел, как льется ярко-красный напиток. Полное лицо его покрывала испарина, он несколько раз доставал платок и прикладывал к шее, дряблым щекам. С ответом его не торопили. Не часто приходится человеку принимать такие решения — пусть подумает.

Наконец хан, оглянувшись на дверь, — его могли подслушать — сказал:

— Я, Агасы-хан, повелитель буджак-татар, посылаю русскому паше в Бендеры аманата, поедет мой брат Рахим-бей... Я прошу русских держать мое решение в тайне, чтобы о нем до времени не узнали люди Хасан-паши... Может пролиться много крови...

Офицеры, внимательно выслушав перевод, быстро и точно сделанный Стефаном, с готовностью кивнули: все понятно, благодарим.

Штабс-капитан, с участием глядя на совершенно расстроенного старого человека, добавил, что они передадут каждое слово хана командованию армии в Бендерах, и пусть Агасы-хан ни одной секунды не сомневается: русские умеют ценить дружеские отношения, а хранить тайну — и подавно.

— У нас к тебе, достопочтенный Агасы-хан, еще одна просьба, — сказал Котляревский. — Прикажи освободить людей, которые сопровождали нас в Каушаны из уезда Еть-иссин. Они ни в чем не повинны.

— Где эти люди?

— Хан не знает? Не ведает, что делается в его дворце? Они, если еще живы, в твоём каземате.

— Как они попали туда? — удивился хан.

— Хан и этого не знает? — в свою очередь удивился Котляревский. — Сие значит, что их обезоружили и бросили в каземат по приказанию другого лица. Сдастся нам, по приказу сына твоего, Селим-бея. Он нас встречал, он был во дворе, когда все это случилось.

— Шайтан! Я не знал этого.

— Мы так и думали, — сказал Катаржи. — У нас, твоя милость, никаких просьб больше нет. Мы готовы с тобой проститься. Нас ждет дорога.

— Якши! — Хан хлопнул в ладоши. Вбежал служка. Выслушав хана, он низко, чуть ли не до пола поклонившись, пятась, вышел из зала, и почти тотчас вошел Селим-бей. Он сделал несколько шагов к отцу, но, встреченный колючим взглядом, остановился.

Хан молча смотрел на сына. Невысказанная боль пробежала по лицу повелителя Буджацкой орды. С трудом, будто ворочая во рту камни, хан бросил в лицо Селиму несколько слов. Тот вспыхнул, но ничего не ответил. Хан терял терпение, а сын не двигался, весь его вид, жгучий взгляд из-под тесно сомкнутых у переносицы бровей, упрямый наклон головы говорили одно: он против! Он не согласен!..

Стефан не переводил, но офицеры по тону речей хана хорошо поняли, о чем он говорит, что требует.

И тут на глазах офицеров хан, потеряв самообладание, приказал слугам схватить сына. По его знаку в зал вбежали двое дюжих нукеров. Сказав им что-то, хан отвернулся: он не мог, не хотел видеть, как они отберут у сына оружие и уведут, будто преступника. Но слуги не спешили выполнять приказ, они не смели подойти к Селим-бею, почти такому же повелителю, как и сам хан.

Если бы надо было броситься на русских послов, они бы не колебались ни секунды. А тут... Как можно снять оружие — обесчестить ханского наследника? Хану показалось, что слуги долго возятся, он повернулся, все увидел и свирепо топнул ногой, и тогда нукеры начали выполнять его приказ. Селим-бей исподлобья, затравленным волком смотрел на них, а они отцепили у него ятаган, вынули из чехла нож. Бешено сверкнув глазами, Селим-бей повернулся и, нагнув голову, будто готовясь к прыжку, вышел, чуть приседая, заложив руки за спину. Вслед за ним выскользнули и слуги.

Хан подождал какое-то время и тяжело опустился на стул. Закрыв глаза, погруженный в свои нелегкие думы, может быть считая, что торопиться теперь некуда и незачем, покачивался из стороны в сторону.

Во дворце было тихо, будто в одно мгновение он вымер до последнего человека.

И вдруг тишину пронзил крик. Тонкий, дикий, переходящий в хрип. И сразу же все замерло. Но ненадолго. Уже кто-то бежал, слышались торопливые шаги, топот, голоса.

Хан вскочил, хотел бежать сам, но остановился: вот-вот должна открыться дверь и в зал вбегут слуги.

Офицеры переглянулись: снова Селим? А может, другое? И пожалели, что сняли с себя оружие. В этом дворце, погруженном в сонный полумрак, из каждой щели

выглядывает опасность, каждая следующая секунда может оказаться последней. Одно лишь утешало: в соседней комнате стоят, чутко прислушиваясь, готовые ко всему, их ординарцы, они ждут сигнала, и даром никто своей жизни не отдаст.

Между тем в зал без разрешения ворвался запыхавшийся ханский служитель с вытаращенными, белыми от страха глазами; переступив порог, он повалился на пол и завыл, тихо, с надрывом, словно побитая собака. Пальцы его шевелились по ковру, то сжимая его, то разжимая. Один глаз — Котляревский заметил это — был у служителя насторожен, за приспущенным веком он казался черным куском угля.

Хан подбежал, пнул ногой, и служитель, не поднимая головы, пробормотал что-то. Стефан, слушая бормотанье, потемнел лицом, порывался что-то сказать и продолжал слушать, боясь не все понять, пропустить слово.

Когда служитель умолк, Стефан вполголоса передал офицерам содержание разговора, который только что слышал.

Селим-бей у одного из нукеров вырвал кинжал и двумя короткими ударами поразил своих стражей: одного — наповал, другого — ранил. И бросился бежать. Ханского сына никто не задерживал, он сел на коня, забрал своих людей и ушел.

Хан в бешенстве приказал вернуть Селима любой ценой. Но где ночью поймашь отчаянного разбойника, каким был и остался Селим-бей?

Слушая, офицеры невольно дивились коварству, неистовой злобе ханского отпрыска, отдавали должное смелости его и силе.

А хан, когда служитель выбежал из зала, вернулся к офицерам, залпом выпил бокал бекмеса, отдышался:

— Беда пришла в мой дом. Но это уже моя забота. Я, господа послы, больше вас не задерживаю... С вами, я сказал, поедет мой брат и пробудет у вас до назначенного часа.

— Мы благодарим, светлейший, за оказанный нам прием и, главное, за то, что ты откликнулся на призыв нашего паши. Мы едем!

Котляревский поклонился, приложив руку к сердцу. Катаржи и Стефан последовали его примеру.

— С вами поедут и мои люди. Они проводят вас. Дорога может быть и неспокойна.

— Мы не из пугливого десятка, но поелику твоя милость настаивает, мы не возражаем и еще раз благодарим... Просим, не забудь —пусти людей, которые сопровождали нас в Каушаны.

— Они ждут вас.

Хан подвел офицеров к окну и откинул штору. Внизу, во дворике, похожем на колодец, стояли оседланные лошади и возле них — всадники.

Агасы-хан проводил офицеров в соседнюю комнату и простился с ними. Дальше их сопровождал старый молчаливый дворецкий.

В узком коридоре, слабо освещенном свечами, штабс-капитан шепнул Стефану:

— Спроси у него, давно ли приехали турецкие гости?

Услышав вопрос, дворецкий испуганно отшатнулся и отрицательно покачал

головой.

— Повтори вопрос и дай ему золотой, — сказал Котляревский.

Получив монету, старик выказал некоторые признаки заинтересованности.

— Что ты спрашиваешь? Разве ты сам их не видел?

— Где бы я мог их видеть, эфенди? — Стефан передал старику еще один золотой.

— Они вошли вместе с ханом в зал приемов. Но потом ваш посол попросил их выйти. Они плевались и проклинали его и... хана, нечестивцы.

— Откуда они приехали? О чем договорились с ханом?

— Я стар и немощен. Мне ли знать, о чем они договорились? Я в этом доме только дворецкий.

Еще один золотой лег в костлявую цепкую руку.

— Ты умный, урус. Далеко видишь. Откуда знаешь, что это были турки?.. Ты прав — накануне вечером приехали люди Хасан-паши. Они привезли моему повелителю султанский фирман, но вы помешали им... Они пока ни о чем не договорились.

— Спасибо, эфенди! — горячо прошептал Стефан. — Задержи их любой ценой. Сможешь?

— Попробую... У них, кажется, кони расковались. А кто ездит в это время года на раскованных лошадях? — Старик хитро взглянул на Стефана, и тот, подмигнув старику, слово в слово перевел ответ дворецкого офицерам.

— Берегитесь, однако, — сказал старик. — Селим-бей ушел, с ним — его люди.

— Большое спасибо! — Котляревский крепко пожал легкую руку старика. — Русский паша не забудет твоей услуги, эфенди.

Стефан шепотом сказал дворецкому, что офицеры расскажут о нем русскому генералу. Старик покачал головой и ответил: слава и награды ему не нужны, это его уже не волнует, ему бы хотелось одного: чтобы не было войны в их степях, у него есть сыновья и внуки — и пусть они спокойно живут в своих деревнях, приезжают к нему в гости, а он хотел бы к ним ездить. И если это будет так, ему больше ничего не надо...

Старик вывел их во двор, кликнул стражу и велел отворить ворота.

Пантелей и Денис подвели лошадей.

— Салам алейкум! — поклонился дворецкий.

— Алейкум салам! — ответили офицеры.

Котляревский легко вскочил в седло и, чуть пригибаясь, скользнул в ворота. Стремительно вынеслись в темную улицу и все остальные.

Дробный топот нарушил тишину ночных Каушан.

Расступались улочки и переулки, где-то на взгорке осталась приземистая кузница и сваленные под стеной стертые подковы, маленькая мечеть погналась было за всадниками, но тут же остановилась и осталась за высокой оградой одинокой горькой вдовицей, закутанной в черную шаль. За околицей Котляревский оглянулся, увидел беспорядочно разбросанные домики, а на горе — безмолвной громадой ханский дворец, лунный свет выхватил из темноты одно окно, другое и снова погасил их, проплыв дальше, в бесконечную степь... Лишь теперь Котляревский почувствовал пьянящую

свежесть воздуха, простор, высоту неба и мягкий свет далеких звезд, и даже тучи, несущие снег и ветер, казались добрее и желаннее. Наверно, такие же чувства волновали и его товарищей.

В середине отряда скакал родной брат хана. Следом за ним мчались двое слуг с навьюченными лошадьми. Уже пожилой человек, молчаливый, замкнутый, в башлыке, надвинутом на самые глаза, в меховой короткой куртке, брат хана держался в седле, несмотря на годы, легко; это привлекло внимание Котляревского, и он некоторое время наблюдал за ним.

Больше часа ехали без остановки, не сбавляя хода, а татарские лошади — длинногривые и низкорослые — казались свежими, словно только что начали путь. Их ее нужно было погонять, они шли размеренной, быстрой рысью, оставляя за собой версту за верстой.

В степи внезапно стало светать. Серая полоса пересекла дальние курганы от востока на запад, и постепенно вся степь, сколько можно видеть, окрасилась в слабый пепельный цвет. Снежок почти перестал, но попутный ветер не утих, он с прежней силой подгонял отряд, и чудилось, будто у всадников, ставших удивительно легкими, выросли широкие крепкие крылья.

— Не могу уразуметь, как ты их распознал? — спросил Катаржи, когда наконец лошадям дали передышку и перешли на шаг.

— Кого?

— Да турок.

Котляревский смахнул перчаткой снежок, облепивший гриву коня, той же перчаткой потер лицо, чтобы, чего доброго, рассветный морозец не прихватил щеку.

— Так как же?

К разговору прислушивался и Стефан, ехавший слева от штабс-капитана, и ординарцы, следовавшие за офицерами.

Выехали на пригорок, отсюда степь казалась шире, ровнее и пустыннее — нигде ни деревца, ни живой души. Только наметанный глаз мог бы приметить на горизонте легкие дымки, прошивавшие прозрачный утренний туман.

— Так и не скажешь? Я могу подумать, что ты получил сведения.

— Сведения? — Котляревский весело, от души рассмеялся. — Сведения у нас были как на ладони. Ну, посуди сам, какие же сановники, подчиненные хану, будут вести себя так высокомерно, неприветливо, будто вот-вот готовы всадить нам нож? Но главное: Селим-бей пропустил их первыми в зал. Так приветчают высоких гостей. Вот тебе и сведения.

— Верно! Как я не приметил этого! — Катаржи невольно вздохнул. — А понимаешь, что бы случилось, если бы они остались при нашей беседе с ханом?

— Да уж как не понимать? Потому и пришлось попросить их удалиться.

— Вежливо попросил, — расхохотался Катаржи.

Всадники растеклись по дороге, вытягиваясь в одну ровную линию, мчались стремительно — наперегонки с попутным ветром, навстречу солнцу, что уже

поднималось, вставало из-за дальних седых могил, вот-вот готовое покатиться по степи, огромное, ярко-желтое — предвестник хорошей погоды.

16

Минуты не было свободной, чтобы, прочитав штабные донесения и отобрав самое существенное в них, внести очередную запись в журнал военных действий, добавив к ним и свои собственные соображения, кои вынес после посещения отдельных полков, откуда накануне вернулся. О заветных тетрадах, о которых, конечно, не забывал, и говорить нечего: до них не доходили попросту руки, и они покоились пока под верной охраной Пантелея в переметных сумках.

Только шестнадцатого декабря, когда войска, сделав переход из Карагурты в деревню Челебе, остановились на привал, Котляревский выкроил полчаса и для журнала. Вообще-то он бы оставил эти записи, — что в них особенного? — но приказ командующего все еще был в силе, и с этим приходилось считаться.

Сбросив шинель, он сидел в уцелевшей хатенке-мазанке с двух окнах и смотрел, как входили в разоренную бандой Пеглевана деревню вторая и первая колонны, чтобы здесь соединиться: приказ командующего выполнялся в точности, его лично передал он, Котляревский, и теперь мог убедиться, что командиры поняли его верно. Вот показался на своем вороном иноходце генерал-майор Войнов, он подозвал своего адъютанта и, надо полагать, приказал пригласить к нему командиров отдельных полков. А вот и они — командиры Житомирского драгунского, 3-го Бугского казачьего — спешат к генералу. Незамедлительно они должны выступить на Измаил, что в пятнадцати верстах от Челебе.

На столе лежала карта, тут же с краю — котелок с кашей, еще горячий, вкусно пахнущий поджаренным салом. Пантелей только что принес и просил поесть, пока не остыла, но штабс-капитан все же отставил котелок и принялся за журнал, к которому не прикасался почти две недели. С чего же начать? Что произошло существенного за прошедшее время? Конечно, обо всем не напишешь — следует выбрать наиболее важное, а что важнее? И все же... Посредине листа аккуратно вывел: "Декабрь". Не отдельное число, а месяц, предполагая сделать обзор за истекшие несколько недель, так будет лучше и проще. Ну что ж, приступим, господин штабс-капитан, адъютант и главный писарь командующего.

"2-го декабря, — начал Котляревский, — получено донесение от генерал-лейтенанта дюка де Ришелье, что соответственно повелению командующего 2-м корпусом укрепление Паланка и крепость Аккерман с 6-ю батальонами пехоты заняты... ноября..."

Дойдя до числа, Котляревский задумался, меж тем чернила высохли, он этого не заметил и продолжал писать, потом вдруг увидел, что чернил нет, на бумаге осталось слабое изображение числа, которое со временем выцвело, а вскоре и совсем исчезло, но Котляревский числа не исправил. Так и осталось неизвестным, какого дня в ноябре дюк де Ришелье занял Паланку и Аккерман.

Мимо окон уже проходили полки Войнова. Котляревский наблюдал за их строем и

вдруг в разрыве между колоннами на той стороне улицы увидел расположившихся небольшим лагерем татар и возле них драгун. Они только что принесли ордынцам обед, и те, усевшись на кошмах, принялись есть.

Аманаты. И среди них — чуть в стороне со своими нукерами — брат Агасы-хана. Старик сидел один, нукеры стояли и ждали, пока он пообедает...

Наверно, следует написать о поездке к татарам. Мейендорф ведь отправил донесение Михельсону и в Петербург отписал депешу в тот же день, сразу после возвращения Катаржи и Котляревского. Почему же не написать хотя бы несколько слов об этой поездке? Она была не из простых. И, уверенный, что писать необходимо, Котляревский склонился над раскрытым журналом.

"В течение прошедших дней после занятия крепости Бендер командующий корпусом, кроме учреждения внутреннего в крепости устройства и доставления войскам безнужного продовольствия, простирая свои виды на Измаил, великую имел заботу к преклонению буджацких татар к стороне России".

В самом деле — забота была немалая. Мейендорф ни себе, ни другим не давал покоя. Торопили, правда, и его. Не однажды приезжал к командующему адъютант Михельсона. Первая разведка закончилась, однако, неудачно. Татарские начальники колебались: трактовать с русскими или воздержаться — и определенного решения не принимали. Стоит об этом писать. Наверно, стоит хоть словом вспомнить.

"Татарские начальники и почетнейшие в поколениях были в колебании к принятию дружелюбно российских войск", — появилась в журнале фраза. А что же дальше? Что было решено потом? Можно, если бы позволяло время, изложить все подробно, но вот-вот кончится привал.

И перо побежало, потекли слова, фразы, короткие, до предела сжатые:

"Командующий корпусом предложил бригадиру Катаржи ехать в Татарию с адъютантом командующего штабс-капитаном Котляревским, взяв с собой переводчика, и убеждать татарских старшин к принятию миролюбных предложений, обещая им дружбу и самые выгоды от российских войск, если они останутся приятными России и пребудут спокойными при переходе войск чрез их земли. Бригадир Катаржи и адъютант Котляревский, не дорожа собою для пользы своего отечества, без малейшего сомнения решились на предложение и, получив от командующего наставления, отправились в Татарию..." Поставив точку, вдруг засомневался: нужно ли обо всем этом писать? Уже готов был вычеркнуть написанное. Но сломалось перо — может, от волнения или оттого, что старался быстрее закончить. Спасибо Пантелею — заготовил десяток очиненных перьев впрок, вот они — одно к другому... Пожалуй, придется оставить фразу в таком виде, как вышло.

Выбрав перо потоньше и поострее, снова склонился над журналом:

"Странствуя несколько дней по смутным жилищам... народа сего и переходя из деревни в деревню к старшинам и начальникам их, находили везде толпы вооруженных татар, собирающихся для советов насчет российского войска..." На мгновение задумался: записать ли тот случай, когда Селим-бей схватил их с Катаржи и, бросив в



мазанку, обещал отправить к Хасан-паше? Если только начать, придется потом описать все подробно, а командующий, увидев запись, потребует детального изложения. А есть ли время сейчас возиться с этим? Да и кому нужны эти записи? Вот кончится кампания за Измаил — и забросят их куда-нибудь подальше, как, впрочем, поступают со многими другими бумагами. Да и зачем их хранить? В каждой кампании главное — результат... И поэтому, так размышляя, штабс-капитан, опустив все детали поездки по татарским деревням, записал буквально следующее:

"Татары, хотя знали по разнесшимся слухам, с какой добротой и приязнью обращаются войска российские в Бендерах, и что, будучи властителями города, не входят ни в какое распоряжение противу обычая турок, а между тем от посланных услышав обещание дружелюбия, даже выгод тем, что войска за все взимаемое у татар будут платить наличными деньгами, согласились мало-помалу к преклонению на российскую сторону, и первый уезд Орум-бет-оглу, в коем 76 деревень, послал к командующему чиновников с уверением, со стороны начальников доброго к русским расположения и оставили аманата..."

Вот как это было. Один уезд за другим переходили на сторону российскую. Оран-оглу, Еть-иссин, наконец Измаильский уезд. Только одна рая, в которой насчитывалось семь деревень, осталась непреклонной...

Но главное — встреча с Агасы-ханом, коего здесь все называют воеводою.

"К увенчанию же своей препорученности, — записал Котляревский, — с неожиданным успехом, счастливо исполненной, прибыли отправленные на возвратном пути в Каушаны, к тамошнему над татарами воеводе, и сего убедили в знак верности своей к нашей стороне и преклонности к России прислать к командующему брата своего в залог..."

Вот так и кончилась поездка. Теперь можно сделать некоторый итог, хотя каждому солдату он известен. И все же не удержался и написал: "Таким образом... сей жестокий и недоверчивый народ был благополучно преклонен к российской стороне и успокоен тогда, когда мог до 30 тысяч собрать вооруженного народа".

Кончается время привала. Уже слышатся команды, гул голосов, лошадиное ржанье, топот. Первым выступает Стародубовский драгунский полк. За ним пойдут Новгородский мушкатерский и 11-й Егерский полки, а уже потом двинется артиллерия — батарейная рота, полурота Конной Донской артиллерии и замыкающим — Донской казачий полк Платова...

Не успеть дописать сегодня, не успеть, а надо бы рассказать о первом дне похода на Измаил. О втором дне. О шайке Пеглевана, который напал на Челебе и разграбил ее, часть жителей увлек за собой, а часть разбежалась. Войнов, которого командующий в полночь откомандировал со Стародубовским драгунским и Донским Платова полками, а также одним батальоном егерей и полуротой конной артиллерии для поимки разбойной шайки, ничего не успел. Шайка ушла под Измаил.

Котляревский зачерпнул ложку остывшей каши, как вдруг его внимание привлék шум под самыми окнами. Несколько драгун окружили татарина, уже пожилого, в

драном колушке, он что-то быстро рассказывал и жестикулировал.

Вбежал Пантелей. И с ним — Никитенко. Поручик снова нес службу по охране штаба корпуса.

— Иван Петрович, можно?

— Входи. Что у тебя?

— Да понимаешь, татарин тут один, из местных. Из Челебе. Говорит, один час как ушел Пеглеван с людьми.

— Войнов уже выступил. Наверно, догонит.

— Да не в том дело.

— А в чем же?

— Выясняется, Пеглеван — совсем не Пеглеван. Это — Селим-бей. Житель клятвенно уверяет, что узнал его.

— Этого можно было ожидать...

— Почему же он фамилию поменял?

— А что же непонятного? — Котляревский поднялся, застегнул шинель. — Селим-бей знает, безусловно, про аманатов и боится за них: а вдруг раскроется, кто такой Пеглеван, ведь тогда мы имеем право поступить по законам военного времени с заложниками. А это же, как-никак, родичи, соплеменники, не будет тогда покоя ему на родной земле, если с ними что случится... Следите, поручик, чтобы с аманатами хорошо обращались.

— Это все, как было приказано, делается.

— А уж его превосходительство генерал Войнов догонит супостата, — сказал Пантелей. И обратился к штабс-капитану: — Ваше благородие, Иван Петрович, скоро в поход сымаемся, а вы и не ели.

— Спасибо, Пантелей!.. Я сыт. Возьми вот картон и в переметную суму положи и береги, на следующем привале допишу. Осталось немного... А пока — с богом! В поход! Скоро Измаил!..

Привал кончился. Части 2-го армейского корпуса Задунайской армии оставили Челебе. В составе гауптквартиры ехал и штабс-капитан Котляревский — адъютант командующего, автор украинской "Энеиды".

КНИГА ТРЕТЬЯ. ПАНСИОН

1

Уехать! И чем скорее, тем лучше. Он задыхался в этих так называемых меблированных комнатах, пропахших дешевыми сальными свечами, плохим табаком и бог весть какой давности квашениной. В огромном каменном городе никому не было дела до его судьбы, и, наверное, поэтому ему истинным раем казался маленький, прилепившийся у обрыва Ивановой горы отцовский домик, а тонущие в вишневых садах неказистые, более чем скромные строения вдоль Пробойной улицы — красивее великокняжеских дворцов у невской набережной. Нет, он любил Летний сад, его аллеи и укромные уголки, и острова на Неве, и белые ночи, и все же в последние дни ему все чаще снились, неудержимо манили к себе тенистые леса и шумные дубравы вблизи

родного города.

Об отъезде он подумывал уже не раз, но окончательно решил после визита к грозному временщику, вернее, к его помощнику.

К тому времени Котляревский побывал в приемных многих высокопоставленных чиновников, тех самых, кто имел прямое отношение к государственным делам, от чьей воли, а подчас настроения зависела судьба тысяч людей, а может быть, и всей необъятной империи.

Визиты заканчивались обычно ничем. Да и кого могла волновать судьба обедневшего дворянина, приехавшего из далекой провинции искать службы в Северной Пальмире? Кому он был нужен? Кто его знал? Впрочем, некоторые слышали о нем и тем не менее на его просьбу вежливо отвечали: "К большому сожалению, сударь, ничего-с нет..." Или: "Глубоко опечалены, милостивый государь, но принуждены огорчить вас. Да-с..."

Иное лицо, при звезде, в чине действительного статского советника, услышав его имя, расплывалось в любезно-фальшивой улыбке: "Рад, весьма рад... Как же! Давно мечтал, так сказать, лично лицезреть автора малороссийской "Энеиды". Прямо не верю, что предо мной вы. Да, сударь, смешно весьма написано. Такое, как у вас, в наше время встретишь редко... А касательно службы, милостивый государь мой, то, признаюсь, крайне удивлен: зачем вам, голубчик, служить, тратить драгоценные минуты на составление... кгм... исходящих бумаг? Сие крайне разорительно для отечественной словесности. Иное дело мы, грешные, служим ради скудного существования. Вы же — милостию божией пиит, создатель, так сказать, мира прекрасного, и вам надлежит единственное: успевать собирать с нас, ваших невольных пленников, причитающуюся дань. — Лицо заискивающе улыбалось, нюхало заморский табак. — Разумеется, сударь, при случае, милости прошу, заходите, возможно, что-либо, вас достойное, и откроется. Но... не ранее будущего года".

И — весь разговор. Просить, убеждать — не имело смысла. Бессмысленно и жаловаться. Кому? Ждите, заходите... А сколько ждать? Год? Два? Десять? Нет, Иван Петрович Котляревский — бывший канцелярист, домашний учитель и военный, немало уже переживший и повидавший, прекрасно понимал, что значили подобные обещания. Именно так некоторые из высокопоставленных лиц и избавлялись от нежелательных визитеров.

Оставался граф Аракчеев — человек, по слухам, желчный, неприятный, особенно не жалующий сочинителей. И все же Котляревский рассчитывал на благорасположение его сиятельства. Во-первых, откуда графу знать "Энеиду"? Новое издание поэмы только вышло из печати, раскупили книгу главным образом почитатели малороссийского слова, и едва ли она успела попасть к временщику. Во-вторых, и это главное, — он, Котляревский — бывший военный, двенадцать лет отдавший армии, участник войны с Турцией. Не может же Аракчеев с этим не считаться. Правда, Николай Гнедич — добрый молодой друг — настойчиво советовал не ходить на поклон к временщику. "Поверьте, Иван Петрович, сие хождение — напрасная трата времени и

себе же огорчение... Сходили бы лучше к Кочубею, да, к Виктору Павловичу, министру. Он ведь все же земляк".

Добрый друг не знал, что визит к могущественному земляку был нанесен еще в первые дни приезда в Санкт-Петербург...

Кочубей был дома, принял он Котляревского приветливо, сказал несколько невразумительных фраз об "Энеиде", которую он, "разумеется, смотрел на досуге". Многозначительно помолчав, заметил: "Каков ваш Эней — молодец! Казак — ничего не скажешь... Силе его, сноровке, отваге, величайшему оптимизму позавидуешь, право..."

В конце визита министр попросил напомнить о себе еще раз, он подумает о "службе для капитана". Но во время второго визита Кочубей позабыл о своем обещании; выглядел усталым, слишком озабоченным, торопился на прием в Зимний.

В третий раз идти с той же просьбой Котляревский не решился. О своих визитах к графу, не давших ничего, он не рассказал Гнедичу: молодой друг — человек чувствительный, не умудренный жизнью — мог бы расстроиться, пожелал бы сам пойти к министру и не избежал бы унижений, хотя ничем и не помог бы Котляревскому. Иван Петрович пообещал Гнедичу послушаться его совета и все же... отправился к временщику: пора уже было решить свою дальнейшую судьбу в столице раз и навсегда.

Но Аракчеев, оказалось, по таким делам не принимает, всех искателей препровождают к его помощнику — генералу с какой-то мудреной фамилией.

...Утро было холодное, хотя чувствовалось приближение весны. Дождь перемежался со снегом. Стылые лужи, огромные, как озера, разлились по мостовым и даже тротуарам, и не всегда удавалось их обойти.

Ночной мрак еще не рассеялся. Тени густели в глубоких оконных нишах подвалов, в низких подворотнях. Над печально-одиноким Петропавловским собором медленно ползли серые тучи. В парадных подъездах барских домов еще не гасили ночных фонарей, раскачиваясь на ветру, они рассеивали вокруг призрачный желтый свет.

Котляревский поймал у гостиного двора на Невском легкую с кожаным верхом пролетку. Возница осведомился, куда его благородию надобно, услышав имя владельца дома, больше ни о чем не спрашивал: в столице все знали, где находятся палаты царского любимца. К самому особняку возница, молодой мужичок с русой редкой бородкой и разбойным взглядом, однако, не подъехал: не полагалось. Котляревскому пришлось идти почти полквартиры. Но вот и подъезд. Фонари. Тяжелая дубовая дверь. Несколько минут колебался, потом решительно дернул черный шнур.

Вышедший на звонок швейцар — судя по выправке, бывший солдат — долго расспрашивал, по какому делу пожаловал господин капитан, и, когда Иван Петрович, теряя терпение, готов был уже плюнуть и уйти, швейцар кивнул: он все понял и пообещал тотчас доложить господину адъютанту, а уж тот доложит "самому". Впустив Котляревского в приемную — высокую комнату с окнами, плотно завешенными красными шторами, — исчез за крохотной дверью слева. Котляревский не успел осмотреться, как швейцар воротился и от имени адъютанта попросил подождать: их

превосходительство изволят кушать кофей, затем они выслушают утренний доклад о делах и уж после примут их благородие господина капитана. "Маленько повремените, да у нас тепло, не дует", — добавил швейцар, нагловато усмехаясь в усы. "Каков поп, таков и приход", — невольно подумал Иван Петрович. Однако терпи, коль пришел, а швейцар... бог с ним, не стоит внимания. Такие люди похуже господ своих бывают, они готовы на что угодно, лишь бы ублажить своего господина, будут юлить, кривить душой, ябедничать, наушничать, не задумываясь утопят в ложке воды даже отца своего, брата, и все для блага господина. Противно сие и противоестественно. Доколе, человече, будешь унижаться? Как смеешь не видеть рабского положения своего? Не пора ли вспомнить — хотя бы ради потомков, — что ты Человек? Будь горд сим высоким именем! Сонное царство объяло землю. Лишь гром небесный пробудит уснувших. Но когда, когда, наконец, он грянет?

Однако зачем он, Котляревский, здесь — в этом мрачном, глухом, словно могильный склеп, доме? Чего ищет? Чего добивается? Не он ли собирался уехать от всей этой суеты подальше, в свой тихий край? Захотелось испытать счастье еще раз? Да плюнь на их превосходительство со всеми его швейцарами и адъютантами — и кати скорее в родные края, на благословенную Ворсклу, в свою хату, поклонись до сырой земли матушке, в тоске и трепетной надежде ожидающей твоего возвращения!

Иван Петрович решил уже не идти на поклон, не унижаться. Он даже сделал несколько шагов к выходу, но дверь — высокая, освещенная двумя настенными подсвечниками — отворилась, и офицер — в звании майора — позвал негромко: Его превосходительство ждет вас, господин капитан.

Иван Петрович махнул рукой — будь что будет, — шагнул к офицеру. Майор посторонился, пропуская Котляревского в просторный кабинет.

Генерал, не пригласив садиться, взглянул исподлобья маленькими сверлящими глазами, ощупал взглядом с ног до головы:

— Служите?

Котляревский невольно стукнул каблуками; звук тут же затерялся, погас в мягком зеленом ковре, устилавшем от стены до стены весь просторный кабинет. Ответил четко, как это делал когда-то на докладах командующему:

— Никак нет, в отставке. — И удивленно приподнял бровь: зачем спрашивать — разве в рапорте не сказано?

Генерал покосился на бумагу, лежавшую перед ним, словно хотел проверить правильность ответа, и снова спросил, но уже о другом и совершенно неожиданном для Котляревского:

— Не вы ли, сударь, сочинитель малороссийской "Энеиды"?

Этого в рапорте не было. Каким же образом сведения сии дошли сюда? Котляревский уловил в генеральских глазах пристальную настороженность, необычное любопытство и негромко, совершенно спокойно ответил:

— С вашего позволения, сочинитель оной поэмы перед вами, ваше превосходительство.

— Вы, сударь, сами себе позволили, я тут ни при чем, — усмехнулся генерал, явно довольный своей остротой.

Ответить бы хлестко, в лоб, чтобы генерал задохнулся от злобы, но Котляревский сдержался и ответил спокойно, негромко:

— Вы правы, ваше превосходительство, вы здесь ни при чем...

Вот тебе, господин солдафон, получай хоть толику того, что накопело на душе.

Иван Петрович стоял в двух шагах от стола, на котором, кроме его, Котляревского, рапорта, лежала и раскрытая книга. Да, книга! Он увидел ее сразу, узнал обложку, большими буквами набранный заголовок. Не поверил себе. Но это была она — его "Энеида", его детище, боль и радость, муки и торжество. Он отдал два года, чтобы напечатать свой труд. Два года сомнений и надежд, побед и поражений. Не сосчитать ночей, проведенных наедине со свечным огарком! Сколько раз летом — по росе, зимой — по снежной пороше — бегал он через весь город в типографию с листами корректуры! А чего стоили почти каждодневные хождения в Цензурный комитет? Объяснения, ответы на глупейшие вопросы... Да, если бы не многотерпеливый Гнедич, ниспосланный ему в друзья, казалось, самим богом, он бы, наверное, не выдержал всего этого. Только Николенька, помогая ему, мог так терпеливо говорить с цензорами, объяснять "непонятные" места, которые понятны любому смертному. Теперь месяцы каторжного труда позади. Его "Энеида" издана и потому может оказаться и в этом доме, на этом столе. Что же будет с нею? Господи, пронеси! Ах, если бы мог, он бы унес ее отсюда, спрятал, защитил. Но теперь поэма издана, и ее могут читать все, кто пожелает.

Внешне спокойный, Котляревский терпеливо ожидал, когда генералу будет угодно продолжить беседу.

Известный в офицерской среде необузданной жестокостью генерал благожелательно усмехался, словно рад был неожиданной встрече; его седоватые усы, уже припорошенные морозной пылью, вздрогнули, поползли вверх, словно у кота, прикоснувшегося к своей жертве, лишь глаза оставались странно неподвижны.

— Прочел, хотя малорусский разумею плохо. Ну что ж... мило и... предовольно смешно. — Генерал перевернул несколько листков. — Но, сударь, когда успели? Насколько я знаю, вы служили, участвовали в южной кампании, причем не без успеха? — он уперся колючим, каким-то сверлящим взглядом в орден на мундире Котляревского.

Ивану Петровичу вспомнилось: почти то же самое говорил ему два года назад престарелый фельдмаршал Прозоровский, сменивший покойного Михельсона в Задунайской армии. Он, Котляревский, попросил тогда его о переводе в иное место. Потом вышел в отставку, и правильно поступил. Попадись он в ту пору в подчинение к Прозоровскому, а ныне к этому вот солдафону — и прощай белый свет. Но — благодарение богу — чаша сия его миновала, теперь он — свободная птица — может, если пожелает, повернуться и уйти, пусть будет трудно, даже очень трудно, зато он останется самим собой.

Иван Петрович ответил шутливо, насколько уместна была шутка в его положении:

— Есть такое присловье, ваше превосходительство: у того нет лишнего времени, кто без дела мается, у меня же в годы службы свободной минуты не оставалось, потому, верно, кое-что и писать успевал, и даже, признаться, иногда и в карты заглядывал.

— Ах вот как! — Генерал кивнул, чуть наклонив голову, блеснул розовой лысой макушкой. Ответ Котляревского ему, видимо, понравился. — Я, сударь, солдат, и прямо, по-солдатски скажу тебе. Слабо я разбираюсь в малороссийском, да и не только я — и другие, знаю. Посему рекомендую — переходи на русский и пиши так, как пишут, к примеру, господа Державин, Карамзин или князь Шаховской.

Лицо Котляревского покрылось пятнами, в глазах потемнело, еще секунда — и он, не сдержавшись, наговорит резкостей, все, что думает, бросит в лицо этому служаке. Но он взял себя в руки, усмехнулся про себя: солдатская простота — хуже воровства, да это и понятно: человек, пренебрегающий всем нерусским, знает и свое русское понаслышке. Этот солдафон при первой же возможности всех бы сочинителей упрятал в солдатские казармы, а то и запорол: не пишите, сучьи дети, а тем более — на своем языке, а если пишете, то так, чтобы в каждом слове курился сладчайший фимиам во имя господне, во славу августейшего дома и его верных слуг! Так, и не иначе, господа сочинители! Котляревскому в эти минуты потребовалось, пожалуй, не меньше выдержки, чем в годы войны, когда ему приходилось вести переговоры с буджацкими татарами.

— Не для меня сие, ваше превосходительство, — с достоинством ответил Иван Петрович. — Могу ли сравниться в божественном мастерстве с упомянутыми пиитами? Но паче всего я малоросс и посему долгом своим почитаю писать на языке матери своей, миллионов соплеменников моих. Они-то меня, надеюсь, поймут...

Генерал прикусил края усов, завернувшихся кольцом, переставил на столе тяжелую, из дорогого камня пепельницу, в которой не было ни одного окурка, и сухо, почти официально спросил:

— Так с чем пожаловали, сударь?

С чем пожаловал? Вопрос, разумеется, для формы: прямо перед глазами генерала лежал рапорт, в котором Котляревский изложил свою просьбу. Но вопрос поставлен, и надо отвечать. Ну что же, ему не трудно еще раз изложить просьбу: хотелось полезным быть отечеству, служить и, поелику откроется место, получить его.

— Так-с... Вы, сударь, дворянин?

— Да, ваше превосходительство.

Генерал, казалось, сочувственно покивал головой.

— Так-с... Однако по какой именно части намерены служить?

— Там, где с большей пользой свои знания и опыт на алтарь положить смог бы... С вашего позволения, по министерству просвещения пойти намеревался.

— Вот, сударь, туда и обращайтесь. Я же ничем помочь не могу... Так-с...

Котляревский хотел было сказать, что ничего другого он и не ожидал, а зашел

сюда только для очищения совести, чтобы не жалеть потом: мог же, мол, зайти и не зашел. Что же касается министерства, то он был и там однажды, однако ему отказали, хотя было известно: люди нужны, в частности преподаватели гимназий, уездных училищ. Но зачем говорить об этом солдафону? Что это даст?

Кто он для наперсника грозного временщика? Полунищий, к тому же пишущий на неприемлемом для господина генерала языке, из какой-то Полтавы, что на краю земли. Правда, служивший в армии и, может быть, весьма исправно, ибо орденом святой Анны, как известно, отмечают не каждого! Но что из этого следует? Ровным счетом ничего. Его превосходительству, поутру недурно закусившему и напившемуся душистого кофею, до всего этого нет дела. Но нет, кажется, он надумал что-то, милостиво приподнял руку, давая понять, что желает говорить:

— А к графу Кочубею, сударь, не обращались? Он, кажется, из ваших мест, ведает делами, министерства внутренних дел, и, я наслышан, люди ему надобны. Отчего бы вам не предложить свои услуги?

Да, разумеется, приставом тебя бы взяли, Иване, или будочником куда-нибудь на Шпалерную, найдется и дело: вышвыривать из кабаков слишком загулявших выпивох и в знак благодарности получать за это стакан водки. Возьмут и тюремным надзирателем в Петропавловку — охранять несчастных колодников в тайных казематах, пропитавшихся гнилью и плесенью, где и сам ты не увидишь света белого, одну лишь свинцовую Неву, а по другую сторону — утопающий в огнях Зимний.

Котляревскому стало невыносимо обидно, однако он усмехнулся:

— Премного благодарен за совет, ваше превосходительство... Боюсь, однако... — его голос помимо воли зазвенел, налился силой, — боюсь, не смогу им воспользоваться, и без меня на Руси чинов полицейских предостаточно. Зачем без надобности пополнять достославную армию?

Как хотелось бросить в холеную, бесстрастную физиономию "его превосходительства", лишенного души и сердца, свысока взирающего на окружающий мир, все, что ой думал о нем. Но в последнее мгновенье прикусил язык: чего этим добьется! Ничего! Только хуже сделает для себя. Благодарю судьбу, что успел хотя бы выпустить здесь "Энеиду". А в поэме есть место и для тебя, господин генерал, всмотришься только — и узришь себя в одном ряду с себе подобными, попавшими в ад, чтобы платить сполна за все, что творили в этом мире. Поэма разойдется по белу свету и сделает свое дело. И тогда... Ах, да что он размышлялся, он, полунищий сочинитель. Лучше поскорее уходи отсюда — на простор, на чистый воздух!

— Честь имею, господня генерал.

Сопровождаемый тяжелым взглядом, Котляревский переступил порог. Не чуя ног сбежал вниз, надел поданную швейцаром шинель. Чудилось: сейчас за ним будет спущена свора борзых, и все — швейцары, адъютанты, жандармы — затюкают, закричат: "Ату его!"

Шел неспешным шагом. Миновал будочника. Не оглядываясь, чувствовал спиной, всем существом своим: из-за красных штор следит ненавидящий взгляд, который готов



пригвоздить его к мостовой, растоптать...

В номере меблированных комнат, повалившись в кресло, ощутил смертельную усталость. Сердце сдавила горькая обида, какой никогда, сколько себя помнил, не испытывал. Как ни уговаривал себя, она не проходила. Лишь много лет спустя эта обида потускнеет, но совсем не исчезнет. Видно, так устроен человек: добро помнится долго, а обида — еще дольше, она врезается в память на многие годы, иногда — навеки.

В тот вечер решил окончательно: ехать! И как можно скорее.

2

Семнадцать лет назад он уехал из-под родного крова и все эти очень нелегкие годы нигде надолго не задерживался, чувствовал себя человеком, постоянно пребывающим в дороге; остановившись где на день, в ином месте на месяц, на год, а то и дольше, он все равно оставался путником: приходил час, и раздавался манящий звон поддужных колокольников. В предчувствии скорого отъезда к нему являлось упоительное, ни с чем не сравнимое состояние освобождения, простора.

И на сей раз, едва почтовая карета проехала городскую заставу и шлагбаум, резкой чертой отделивший прошлое от настоящего, остался далеко позади, знакомое состояние восторга охватило его, и он готов был уже забыть все огорчения и обиды, глубоко ранившие сердце. Главное — он едет, причем домой, а все остальное не имеет значения. Как музыка, звенит, переливаясь, под резной дугой колокольчик, высоко на козлах видна широкая спина ямщика, солнце посылает первый утренний привет; под колесами стелется бесконечная полоса наезженного тракта, по обе стороны уходят, убегают назад одинокие березки, измочаленные колесами кусты терновника, а в стороне от дороги, словно кружась, уплывают в обратный путь бревенчатые, черные от времени, едва видные из земли крестьянские избы.

Котляревский неотрывно смотрел в оконце и думал, вспоминал своего друга Николеньку Гнедича.

Гнедич прибежал проститься на почтовую станцию и неожиданно в последнюю минуту спросил: "Неужто уезжаете?.." Словно не знал об этом раньше. Молодой друг не верил, не мог поверить, что предстоит расставание, и, может, навсегда; за прошедшие два года они подружились, полюбили друг друга и не мыслили своей жизни без постоянного общения.

— Сиротой остаюсь, — Гнедич как-то неловко, боком прижался к Котляревскому.

— Что так? Даст бог, увидимся! — Иван Петрович дружески обнял Гнедича, взял под руку. — Следующим летом приезжай. Побродим по околицам, за Ворсклу отправимся. Как хорошо там в летние вечера.

Гнедич печально усмехнулся:

— Хорошо бы. Но ведь она не отпустит.

"Она" — это "Илиада". Гнедич дни и ночи, словно каторжник, добровольно взявший на себя непомерный труд, проводил у письменного стола. Великий Гомер, святыня древнего мира, под его волшебным пером оживал в русском переводе. В канун Нового года Гнедич одарил друзей еще одним десятком переведенных строф.

Сколько еще лет мученического труда предстоит ему — никому пока неизвестно... Не скоро, очень не скоро он увидит Полтаву — "Илиада" унесет лучшие его годы, он отдаст ей всю сознательную жизнь; впрочем, иной судьбы для себя, случись такая возможность, он все равно не захотел бы.

На повороте Котляревский выглянул в оконце. Проплыли золоченые маковки Смольного Монастыря, игла Петропавловского собора, таяли очертания дворцов и казарм. Еще верста, сотня сажений — и вот уже совсем пропала Северная Пальмира, ее проглотил ненасытный туман.

Перед мысленным взором Котляревского снова возникло, ожило бледное, осунувшееся лицо Гнедича, и явственно послышался его голос:

— Здесь, на берегах Невы, у вас, Иван Петрович, остаются истинные друзья: Крылов, Батюшков и многие другие, коим вы не чужды. Еще хочу сказать: ради всего святого, не бросайте работы над "Энеидой". Ее надобно завершить, чего бы это ни стоило, и, буде что у вас написано, шлите непременно. Обещаю вам: будет тотчас прочитано и предложено к опубликованию. Пусть знают все, у кого уши открыты, о нашем родном слове...

"Ах, друг мой, не так все это просто... впрочем, ты это и сам знаешь. С каждым годом времени остается все меньше, а работа движется медленнее, но конечно же продолжать ее обязательно буду — иначе не мыслю жизни своей. Однако для начала хорошо бы добраться домой, под родную стреху, обрести хотя бы относительное спокойствие — достаточно намыкался по белу свету. Потом надобно искать службу, чтобы скромно, но независимо жить и, разумеется, работать... Все это, однако, бесплодные мечты. Где нынче в Полтаве найдешь место? В канцелярии он не ходок — не те годы, в домашние учителя проситься к какому-нибудь недорослю — пожалуй, тоже поздновато, хотя, правду сказать, полезным быть именно на ниве просвещения хотелось бы..."

Звенят, переливаются поддужные колокольцы.

Чем ближе к Москве, тем суше, тверже дорога. Все чаще попадаются гуртовщики, сопровождающие огромные стада скота, проносятся мимо курьерские кибитки, покачиваются на ухабах запряженные шестериками роскошные кареты. Однажды обогнали партию колодников; в ушах долго стоял, не исчезая, унылый кандальный звон.

Больше двух недель добирались до Москвы — но тем временам это не так уж и много. Приходилось — иногда день, иной раз и два — дожидаться сменных лошадей, и это задерживало.

Еще хуже стало с лошадьми после Москвы. Станционные смотрители отдавали их в первую очередь служащим; распознав в проезжем капитане человека совестливого, доброго, некоторые смотрители сразу же становились несговорчивыми. Иное дело — фельдъегерь. Тот с ходу, еще не войдя в станцию, кричал, чтобы скорей подавали лошадей, тыкал в лицо шапкой с черным султаном: "Да чтобы мигом!.. И самовар — на стол!" Не успевал такой приезжий красавец фельдъегерь допить чашку чая, как у

крыльца стояли кони, а спустя еще минуту — за околицей деревеньки затихал топот лошадей, и карета уносилась навстречу заходящему солнцу. Ну, а едущий по "своим собственным надобностям" капитан, хотя и с подорожной, выданной в самой столице, оставался еще на полдня в ожидании попутной почты.

Это утомляло, и, если бы не книги, которые лежали сверху в бауле, Котляревский не знал бы, куда себя деть от скуки. Прокуренные избы почтовых станций надоели до смерти, но, когда, попив чаю из дорожного самовара, он присаживался с книгой поближе к свече, тут же забывал на некоторое время и нагловатого хозяина станции, и назойливого попутчика — отставного ротмистра, помещика Курской губернии, которая, по словам последнего, соседствовала с его, капитана, Малороссией. Ротмистр надоел своими рассказами о поездке в гости к некоему Баклицкому — тоже военному, участнику русско-турецкой войны. "Может, и вы, господин капитан, бывали там, в дни штурма Измаила? Вижу, орденом Анны отмечены". — "Ошибаетесь, сударь", — ответил Котляревский, лишь бы отвязаться от него.

Однажды он разговорился со станционным смотрителем — человеком, как видно, немало повидавшим на своем веку, служившим еще с Суворовым и ходившим с ним через Альпы. Они просидели почти до рассвета, курили трубки, потом пили чай, а жена смотрителя — миловидная женщина, на много лет моложе супруга — не раз заглядывала к ним, но не решалась сказать, что пора бы и перестать жечь казенные свечи.

Котляревский сочувствовал бывшему солдату: начальство относилось к нему несправедливо, постоянно ругало, если он давал лошадей "по закону", а не тем, кто готов был "вырвать из глотки".

На другой день утром, едва Котляревский закончил свой завтрак, лошади были поданы, и смотритель объявил, что все готово и можно ехать. Но в это самое время к станции подкатила карета, из нее выпрыгнул в форме драгунского офицера поручик.

Смотритель выбежал навстречу новому гостю. В окно было видно, как поручик, доказывая на запряженную карету, кричал, топал ногами и, когда смотритель что-то ответил, ткнул его в лицо кулаком. Старик закрылся рукой, согнулся, чуть не упал.

Котляревский тут же выскочил во двор, подбежал к поручику:

— Как смеете?!

— Я князь Олонецкий, — полоснул взглядом поручик. — Тороплюсь и потому — смею.

— Неужто? — Котляревский почувствовал, как кровь застучала в висках, в глазах потемнело. — Стыдитесь, сударь! Вы годитесь ему в сыновья!

— Я с поручением. Мне нужно...

— Не знаю... Пока лишь убеждаете в том, что вы нахал... И ежели вы, князь... — ледяным тоном продолжал Котляревский, — тотчас не попросите прощенья у этого несчастного... — он сжал своей рукой локоть поручика.

Тот побледнел, попытался вырвать руку, но не смог.

— Нет!

— В таком случае, сударь...

Смотритель, услышав угрожающий тон Котляревского, бросился перед ним на колени, протянул к нему руки, запричитал:

— Господин капитан, ваше благородие, умоляю, пожалейте мои седины, ведь меня прогонят со службы, ежели что случится по моей вине... А куда я денусь? Не надо мне ихнего извиненья... Я всех отправлю. — Старик плакал, слезы текли по морщинистым щекам, седые волосы растрепались.

Котляревский помог ему подняться:

— Негоже так, голубчик, негоже... Вы человек! Вы!.. — Он повернулся к смущенному поручику: — Вот, князь... Человек простой, бедный... солдат, участник Альпийского похода. С Суворовым хаживал. А вы его — кулаком?!

Поручик отошел, потупив голову...

Сидя уже в карете, рядом с дремавшим ротмистром — тот успел за завтраком распить бутылку рейнвейна, — Котляревский укорял себя в поспешном отъезде. Зачем поторопился, кто знает, что натворит проезжий князек, может статься, избьет старика, жену оскорбит и некому будет заступиться? Долго он не мог успокоиться. Лишь на новой станции, где их догнала еще одна карета и он расспросил приехавшего чиновника о поручике, немного успокоился. Оказывается, поручик никуда особо не спешил; он потребовал водки и вместе с таким же проезжим, как и сам, поручиком весь день играл в карты и пил, а теперь, как видно, спит.

— Чего удивляетесь, милостивый государь, такая ныне молодежь пошла, — вздохнул пожилой судейский чиновник, отпивая из блюдца горячий чай. — Для родителей-то каково? А ведь, как видно, из приличного семейства и состоятельного. Мы, похвалялся, владеем землями под Харьковом! Мы — наследственные! Мы — то да се...

Перекусив, Котляревский не мог уснуть и, спросив разрешения попутчиков, зажег свечу.

В бауле вместе с новыми книгами Карамзина и Державина был изданный в прошлом году сборник басен Крылова и его же переписанные от руки сцены из "Подщипы:", что особенно радовало Котляревского. При каждом удобном случае он перечитывал их и теперь по памяти мог прочесть любую сцену и был убежден: "Подщипа" украсила бы афишу любого театра. Между тем цензура публикацию комедии запретила, театры ее не брали.

Иной автор, обиженный, обойденный вниманием, не уставая твердил бы на каждом перекрестке о вопиющей несправедливости, а Крылов, ежели кто из друзей заговаривал о пьесе, посмеивался, относился к истории с "Подщипой" почти равнодушно и не отказывал — разумеется, только друзьям — "на один вечер" почитать довольно уже потрепанную рукопись.

Крылов доверил "Подщипу" и Котляревскому, позволил не только прочесть, но и кое-что выписать. Всю ночь, читая и перечитывая комедию, Иван Петрович удивлялся остроумию автора, великолепию его стиля, успел выписать три сцены, а утром отнес

рукопись Крылову.

Если бы за два года он ничего в столице не сделал, кроме того, что переписал двенадцать листов из пьесы Крылова, то и этого было бы достаточно, чтобы считать, что время в Санкт-Петербурге он провел не зря. Конечно, жаль, что не удалось переписать комедию полностью. Да что поделаешь? Ошибку свою Иван Петрович исправит, когда будет находиться с поручением правителя Малороссии в Санкт-Петербурге. Воспользовавшись случаем, встретится с Крыловым, выпросит у него "Подщипу" и за два вечера перепишет от строчки до строчки, а затем, по приезде в Полтаву, и поставит ее. Но это будет еще не скоро.

3

Иван Андреевич Крылов, обложенный подушками и книжками, полулежал на низком широком диване. Улыбкой встретил Котляревского, протянул к нему руки:

— Иди-ка поближе, батенька Иван Петрович, а то свет в глаза — не вижу лица твоего. Ан бледный? Нездоров, чай?

Крылов сжимал большими мягкими руками тонкую сухую руку Котляревского и все повторял:

— Не хворал? Признавайся.

— Помилуйте, Иван Андреевич, я совершенно здоров. Вы-то как?

— Песня моя, голубчик, спета. Одышка проклятая замучила, а так бы еще ничего. Пройдет, думаю, ежели... хуже не станет.

— Не станет, не должно... Вам бы у моря пожить, в края теплые под осень перебраться, и, поверьте, знаю, у вас бы все прошло.

В ответ Крылов лишь усмехнулся как-то по-особому — дружески, несколько грустновато, в улыбке той и сердечность, и особая его, крыловская, лукавинка.

Они были ровесники — и тому и другому перевалило за сорок — и потому, забываясь иногда, обращались друг к другу запросто — на "ты". Иван Петрович спохватывался, просил прощенья, это вызывало язвительную усмешку у Крылова: "У кого ты, батенька, подобные церемонии видывал? У турок насмотрелся?"

Котляревский в ответ так заразительно смеялся, что глядя на него, не мог удержаться и Крылов, он ахал, стонал, обмахиваясь большим кремовым платком: "Ну, уморил..."

Каждая новая встреча все сильнее сближала их, они доверяли друг другу самое потаенное, рассказывали, над чем работают, что их волнует, вызывает сомнение.

С седоватыми висками и глубокими темными впадинами под глазами, Крылов выглядел старше своих лет, тяжело дышал: сказывалась тучность и, возможно, сырая петербургская погода. Искренне обрадовавшись гостю, на время позабыв о своих недугах, он усадил Ивана Петровича около себя в кресло, засуетился, позвонил слуге, приказал приготовить свежий кофе: "Угощу тебя, батенька, питьем заморским..." Пока слуга готовил кофе, Крылов все расспрашивал, как живет Котляревскому в столице, хорошо ли в книжных лавках берут "Энеиду", он лично прочел ее дважды и собирается читать еще раз.

— Ищу, сударь, изъяны, а вместо оных с каждым разом открываю неизменно новое. А что сие значит?

Крылов, щурясь, посмотрел на Ивана Петровича, но тот смущенно молчал.

— Не ведаешь? — Крылов, шумно выдохнув, сел на диване, предварительно положив за спину подушку побольше. — Ежели я желаю перечитать книгу и каждый раз нахожу в ней нечто новое, то, несомненно, она книжица в некоем роде явление, то есть она, к вашему сведению, сударь, предмет подлинного искусства. Да-с. И не отмахивайся, голубчик, ничего не смыслишь, а споришь... Ну, пей кофей — пока горячий.

Котляревский взял обеими руками чашку, поданную слугой, поднес к губам душистый напиток.

— Помилуй бог, спорить не берусь, и все же преувеличиваете изрядно.

— Нисколько, — Крылов вытер вспотевший лоб кремовым платком, — кое в чем я, кажется, разбираюсь.

— Я не против, но... Напиток богов, ей-право! — Иван Петрович поставил на поднос пустую чашку. — Благодарствую!.. Вернемся, иначе, к делу. Мне еще работать и работать, а ваше слово звучит так, словно я достиг вершин и делать, стало быть, уже нечего более.

— Этого я не говорил и не помышлял, голубчик. Наш брат пиит обязан, пока жив, трудиться, такая уж наша судьба. Каждый, кто уважает читателя и к труду своему не безразличен, так поступать должен.

— Об этом склонен думать, когда читаю ваши басни... Это же перлы отечественной поэзии, да только ли отечественной?

— Нехорошо, сударь, речь не обо мне... И кто бы мог подумать: Котляревский, тихий и спокойный, — и такой хитрец.

Скромность, которой отличался Крылов, не мешала ему, однако, прислушаться к похвале, причем весьма приятной его сердцу, ибо высказывалась она дорогим человеком.

Выпив еще по чашке кофею, и гость и хозяин заметно оживились, хотя и без того были увлечены беседой, пересказывали друг другу последние новости, занимавшие завсегдатаев столичных салонов, и прежде всего служителей муз.

На днях Котляревскому удалось побывать в Мариинском театре, посмотреть балет с великим Дидло. Оставаясь под ярким впечатлением увиденного, он рассказывал Крылову, как публика восторженно встречала знаменитого танцовщика. — "Но, скажу вам, и есть за что: танец Дидло — истинное искусство".

Затем разговор перешел на сугубо литературные новости. Не стихи Батюшкова и не пьесы Шаховского занимали в те дни литературные круги — многих интересовала начатая несколько лет тому назад работа Гнедича.

Николай Иванович Гнедич — еще молодой человек (в тысяча восемьсот девятом году ему исполнилось двадцать пять лет), приехав из Москвы, где учился в пансионе при университете, уже шесть лет жил в Санкт-Петербурге и здесь скоро стал известен

как автор повести "Мориц, или Жертва мщения" и романа "Дон Коррадо де Герера". Но об этих вещах говорили преимущественно знатоки литературы, не находя, впрочем, ничего особенного в их появлении. Теперь же бывший воспитанник Полтавской духовной семинарии, а затем московского пансиона приступил и вот уже третий год успешно продвигается в работе над русским переводом "Илиады". Такой труд мог быть под силу только высокоодаренному человеку и к тому же знающему греческий язык, как и свой родной. Гнедич знал и греческий и русский и оказался превосходным поэтом.

— Кстати, Гнедич — земляк мой, — не без тайной гордости за своего молодого друга сказал Котляревский. — Более того, в одной семинарии учились, правда, в разное время.

— Ах да, он ведь тоже полтавец! Поди ж ты, нешто у вас сам воздух рождает таланты?!

— Земля, Иван Андреевич, богата и... люди не без искры божьей.

— Земля русская испокон века богата талантами, только им крылья урезают, талантам, простору не дают, причем свои же, отечественные радетели, — вздохнул Крылов и надолго замолчал.

Коснулись и журнальных новинок. Вспомнили недавно появившуюся новую книжку "Вестника Европы", в котором его редактор и поэт Жуковский опубликовал балладу "Кассандра". Заговорив о Жуковском, Крылов заметил, что он один из лучших пиитов нынешнего времени, такого, пожалуй, не с кем и сравнить — тонкий лирик, трепетно любящий природу и талантливо умеющий рисовать ее.

— Согласен, он как бы вдохнул душу в русскую поэзию, наградил ее горячим сердцем, — сказал Котляревский. — Вспомните его "Сельское кладбище" или балладу "Людмила".

— Да, именно душу и сердце.

— Но согласитесь, что одного этого поэзии недостаточно, ей надобно, чтобы она и думы отражала людские, звала к добру и счастью, была совестью соплеменников.

— Ну что ж, и это, пожалуй, верно. Мысли твои, сударь, близки мне и симпатичны, — Крылов коснулся белой тонкой руки Котляревского и пожал ее, этим жестом он словно бы заключал с гостем безмолвный союз на дружбу и братство...

Ивану Петровичу пора было уже и откланяться, но он все еще сидел, не уходил, хотя и хорошо понимал бестактность своего поведения.

Накануне, перед тем как идти к Крылову, он дал себе слово: во что бы то ни стало попросить у Ивана Андреевича "Подщипу", о существовании которой рассказал ему все тот же Гнедич. Но как обратиться с такой просьбой к Крылову? А вдруг не даст? Найдет предлог и откажет. Ему было известно, что Крылов доверял рукопись только тем, кого хорошо знал, прежде всего своим друзьям, и строжайше требовал от них возвращения рукописи без передачи другим лицам; никто не смел задерживать пьесу дальше назначенного срока, чаще всего он давал ее "на один вечер", не больше.

Решив показать Крылову, что он знает о "Подщипе", Иван Петрович заговорил о

последних театральных новинках, сказал, что нынче в моде Шаховской, "ставится на театре" почти ежевечерне, а вот он, Котляревский, не в силах заставить себя дважды смотреть спектакли этого господина, пьесы его весьма далеки от жизни и часто надуманны, и он не может поэтому понять, почему же достойные произведения одного из труднейших жанров, каким представляется ему драматическая литература, остаются втуне, театры их не берут, под разными предлогами не включают в репертуары. Даже "Ябеда", "Школа злословия" и "Недоросль" ставятся крайне редко, их стараются не замечать, кроме того, есть — он это знает — и другие, не менее достойные вещи, которые не только не идут в театре, но даже — подумайте только! — не публикуются, а посему и прочесть их невозможно.

Крылов, выслушав Ивана Петровича, разговора, однако, не поддержал, и Котляревский, так и не решившись заикнуться о своей просьбе, уже стал прощаться. И вдруг Иван Андреевич, достав из бюро, стоявшего у самого изголовья, небольшую в синей обложке рукопись, протянул Котляревскому:

— Ты вот с басурманами, знаю, в баталиях встречался, и будто не без успеха, а тут слово вымолвить не осмелишься... Возьми-ка.

Котляревский смутился:

— Не решался. Рукопись сию, насколько ведомо мне, токмо близким друзьям доверяете, а я кто?

Крылов взглянул исподлобья:

— Заладил: кто да что... Одним словом, возвратишь, когда прочтешь, желательно, чтоб не тянул.

— Не задержу. Завтра же.

— Хорошо, но чтобы, чего доброго, переписывать не стал. Попадет еще в недобрые руки.

— Это я понимаю... Но для себя кое-что — сцену-две, разрешите?

— Переписывай, коль охота.

Ветер, сырой и холодный, особенно донимал у набережной. С шумом разбиваясь о каменные парапеты, тяжелые волны, сердито ворча, сползали обратно в реку, откатывались на некоторое расстояние, чтобы через минуту опять броситься на парапет. Редкие звезды ярко светили в глубоких разрывах туч, а тонкий, врезавшийся в самое небо шпиль Петропавловского собора рассекал их, и, разделенные, некоторое время они плыли двумя потоками, потом снова соединялись и двигались черной лавой дальше, за черту города, где небо было угольно-черным, без единого светлого пятна.

Нет, холодно в тот вечер Котляревскому не было, напротив, он чувствовал себя превосходно: еще бы, ведь он нес с собой драгоценную рукопись; но самое главное, что волновало его, поднимало в собственных глазах: великий Крылов, несравненный поэт России, причислил и его, автора неоконченной поэмы, к своим друзьям и потому доверил, может, самое дорогое, что имел...

Карета накренилась, глубокая рытвина, полная талой воды, преградила дорогу, и, если бы не предусмотрительность ямщика, могла и опрокинуться. Но ямщик рванул на



себя вожжи, сдержал лошадей и осторожно объехал опасное место. Впереди снова — ровное поле и чистая дорога.

Выглянув в оконце, Котляревский увидел залитую солнцем ниву, кое-где зеленела озимь, а часть земли оставалась еще черной, мелко вспаханной. На самом краю, под перелеском, плелась маленькая лошаденка, а вслед за ней, налегая изо всех сил на соху, тащился пахарь. Глядя на них, Котляревский вдруг почувствовал, что руки его деревенеют, ноги гудят — словно это он сам, сгорбленный, выбиваясь из последних сил, тащит вместе с лошадью огромную, неуклюжую соху и не может сдвинуть с места, едва оттаявшая земля не пускает ее, и кажется, еще одна-две секунды — и сердце не выдержит, разорвется... Бедное русское поле — такое же бедное, как и в его родной Украине, так же политое потом и слезами горьких тружеников и... такое же красивое — глаз не оторвешь.

Он все смотрел и смотрел в оконце, на убегающие испить по обочинам дороги кусты и одинокие деревца. И вдруг... увидел тоненький, тянувшийся к солнцу, как живое существо, тополек. Он показался сиротой, очень одиноким среди широкого, без конца и края, поля.

— Стой! — рванул дверцу Котляревский. — Стой!..

Ямщик испуганно натянул вожжи:

— Ась?

Не отвечая ямщику, Котляревский соскочил на землю и, подбирая полы шинели, перепрыгивая через кочки и рытвины, побежал в поле.

На весеннем ветру дрожали, будто в ознобе, тонкие ветви, униженные набухшими почками, готовыми уже вот-вот раскрыться. В лучах утреннего солнца молодой тополек казался стройной пирамидой, невесть откуда здесь появившейся.

За несколько сажен от него Котляревский остановился, затем, сдерживая дыхание, приблизился, коснулся щекой тонкой, шершавой коры и спросил, словно тополь мог его слышать:

— Как живешь? Не холодно тебе?

Придерживая треуголку, долго смотрел, как шуршат, тихо разговаривают с ветром ветви, при каждом движении роняя крупные капли росы. Пройдет совсем немного времени — тополь поднимется еще выше и убережет пахаря от палящих лучей солнца, укроет от непогоды...

Шепнув "Прощай!", Иван Петрович зашагал к карете, стараясь не встречаться с недоуменным взглядом ямщика и насмешливым — попутчика, сел на свое место и тотчас приник к оконцу: долго смотрел, как тополь, все уменьшаясь, машет и машет ветвями, словно крыльями.

Эта неожиданная встреча потом не раз вспоминалась Котляревскому: один среди огромного поля, неизвестно кем посаженный, хорошо прижившийся и, как видно, оберегаемый пахарем, тополь долго жил в его памяти.

В тот день и весь следующий в разговоры Иван Петрович не вступал, на все вопросы попутчика отвечал односложно или не отвечал вовсе, и ротмистр вскоре

перестал обращаться к нему.

4

После Подольска карета едва тащилась по раскисшей дороге, лошади выбивались из последних сил, и, если в один час одолевали четыре версты, это было не так уж и плохо.

Так же медленно тащились и те, кого карета все же обгоняла. Разносчики шелковых товаров, пожалуй, двигались проворнее, нежели кибитки, в которых по трое, а кое-где и больше, сидели казаки, судя по внешнему виду — донцы. Некоторые из них, более предприимчивые, чтобы облегчить себе дорожную жизнь, переплели между кузовом и колесным ставом веревки и покачивались па них, как малые дети в люльке. Поздним вечером дотащились до Лопасни. Уставшие, продрогшие. Над селом — черное небо. Ни зги не видно, и казалось странным, что ямщик в этом первозданном мраке сумел отыскать станцию. Заспанный смотритель взял подорожные, его жена внесла кипящий самовар. Попив горячего чая, немного отогрелись. Нечего было и думать выбраться из этой дыры до рассвета; правда, смотритель пообещал дать лошадей на следующий день и слово свое сдержал, но из-за распутицы выехать на следующий день все же не удалось.

Выехали только на третий день, когда с утра посвежело, повеяло ветром и грязь немного подсохла. Вслед за каретой по зеленым пригоркам катилось солнце, стараясь обогнать ее, но так и не обогнало до самого Серпухова. Под вечер солнце отстало, оказалось где-то сбоку, а карета въехала на белокаменные мостовые небольшого, но довольно чистенького городка. Проезжали мимо многочисленных церквей, лабазов, лавок, трактиров и присутственных мест — каменного здания в три этажа.

— Здешний суд размещен, — сказал ротмистр, указывая на дом.

— Слишком хорош для судебных. Для суда, по моему разумению, довольно и хижины, — заметил Котляревский.

— Не скажите. Это непростое здание, сударь, трепет и уважение должно вызывать у каждого вступающего на его порог, — возразил ротмистр, расправляя усы, которые лезли в рот.

— Не спорю. В трепет оно и вгоняет, тут уж ничего не скажешь.

Спорить? С кем? Да и зачем? Этот человек — раздобревший на трудах крестьян своих — вряд ли поймет, что для суда и правды каменных хором не надобно.

Два дня пробыли в Серпухове. За это время Котляревский осмотрел городок. Побывал на развалинах древней крепости, которую — об этом рассказал встретившийся ему чиновник — строил в свое время царь Иван Васильевич, укрепляя границы великого Московского княжества. Одна сторона развалин особо привлекла внимание, что-то в ней показалось Котляревскому знакомым, где-то он уже видел подобное, и, кажется, совсем недавно. Ах да! Полнейшее сходство с "Римским портиком" — готовый эстамп, если смотреть сбоку, с пригорка. Полнилась дорожная тетрадь. После записи о тополе Иван Петрович сделал зарисовку развалин и долго потом стоял на пригорке, у подножия которого лежал белый в утреннем солнце

городок.

После Серпухова пошли деревеньки — одна другой беднее. Путникам встречались не избы, а потемневшие от времени, почти безглазые клетушки, которые непригодны были даже для скота. Но в этих клетушках жили люди, растили детей, умирали. Кроме ветел — никаких деревьев. Впрочем, ветла, как объяснил ямщик, человек из местных, и есть признак безлесья, так что "не удивляйтесь, барин". Вокруг степь, на многие сотни верст — голым-голо, хоть шаром покати.

Обедали в Заводе — селенье оружейников, принадлежавшем некоему Нарышкину. Котляревскому запомнились надписи на стенах почтовой станции, одну из них он, посмеявшись, записал, чтобы не забыть: "Из всего выше писанного заключить должно, что по этому пути мало умных людей ездит".

Ротмистр, вспоминая надпись, хохотал до самой Тулы. В самом деле смешно, если бы... не было так грустно, думал Котляревский, глядя на усатое смеющееся лицо попутчика.

В Туле, как и в Серпухове, пришлось прожить два дня все по той же причине — не было лошадей.

После утреннего чая Иван Петрович отправился бродить по городу, вымощенному, как и Серпухов, белым камнем.

Тула по-своему была красива, сплошь деревянная, даже старинный, петровских времен, оружейный завод, вопреки ожиданию, оказался деревянным. Затейливые "коньки" на домиках, резные наличники и крылечки, исполненные очень искусно в старорусском стиле, то и дело останавливали внимание прохожего.

На речке Упе строилась набережная, неподалеку разбивался бульвар. Иван Петрович зашел в Арсенал. Военный чиновник показал ружье, будто бы отделанное самой Екатериной, и молоток, которым она ударила по насечке в последний раз. Да, ее помнили, а вот имя человека, изготовившего это первое ружье, осталось неизвестным, а жаль: героем-то Арсенала должен быть работный человек, чьим тяжким трудом все здесь содеяно. При чем тут Екатерина, соблаговолившая сделать последнюю насечку на ружье? После посещения Арсенала осталось чувство боли и обиды за неизвестного мастерового. Но кому пожалуешься? Остается только записать о б увиденном в заветную тетрадь...

В книжной лавке — ветхом домишке в гостином ряду — Иван Петрович купил латинскую грамматику, которой раньше, как он знал, пользовались в духовных училищах, а ныне, за неимением другой, — и в гимназиях. Автор ее, Алексей Протасов, — учитель поэзии, преподавал и риторику в Московской академии, монах, проповедник, говорят, где-то даже место епископа занимал. И вот — поди же ты! — сочинил весьма полезное учебное руководство, которым и теперь можно пользоваться. Обрадованный книготорговец просил заходить чаще, ежели будет что новое, он припрячет для господина капитана. Котляревский поблагодарил и на всякий случай спросил, нет ли чего нового из поэзии.

Сейчас, к сожалению, ничего нет. Такого товару мало получаем. Правда, недавно

распродал я десять книжек малороссийской "Энеиды". Занятно зело! — ответил словоохотливый книготорговец. — Хотя и не все разумею, одначе легко можно и догадаться, потому как одного корня языки — и наш, русский, и малорусский. Одну себе оставил, детишки читают.

Котляревский слушал, дивясь сам себе: он оставался спокойным, хотя речь, шла о его детище, над которым многие годы трудился, мучился, ради которого специально ездил в столицу. А книготорговец, благодарный внимательному слушателю, продолжал рассказывать:

— Хлебом не корми, а дай сорванцам книжку. Их у меня трое грамотеев, старший кончает уездное училище, а вот что дальше с ним делать — ума не приложу.

— В гимназию определяйте. Пусть учится, жаль, если способный, а учиться не станет.

— Ваши слова, ваше благородие, да богу бы в уши. Где деньги-то взять? Нынче у нас все дорожает... Только... — книготорговец обеспокоенно взглянул на Котляревского, — только вы не взыщите, господин капитан; за правду.

— Кто же за правду взыскивает, любезный? — Иван Петрович хотел было как-нибудь утешить книготорговца, но ничего не мог придумать. Только крепко пожал, прощаясь, ему руку и поблагодарил за книгу и беседу.

Книготорговец долго смотрел вслед странному офицеру, вышел даже из лавчонки, удивляясь вежливости военного и его необычной заинтересованности поэзией.

Дорога продолжалась уже более трех недель, а впереди еще были Курск, Белгород и Харьков...

Ямщик, молчавший все утро, проезжая мост вблизи Мценска, вдруг разговорился и рассказал, что называют этот мост Холопым. Здесь в старину господские холопы, рассказывают, задержали татар, и потому Мценск уцелел, степные разбойники не смогли предать его огню и разорению, как это случилось с соседними селениями. У моста ямщик указал на земляные насыпи — могильные холмы, возникшие после сражения с татарами. "Везде следы человеческой злобы", — произнес вдруг ротмистр, казалось дремавший и не слушавший разговора, и, к удивлению Котляревского, процитировавший Державина: "История есть цепь злодейств..."

В Хотеево пришлось заночевать: снова не оказалось лошадей. В одной половине огромного сарая, называемого почтовой станцией, стонала больная жена смотрителя, а в другой супруг ее отмечал подорожные. Котляревского, ротмистра и ямщика он поместил в маленькой комнатушке с одним окном, но с печкой и лавками, принес самовар и три изрядно оплавленные свечи.

Иван Петрович долго не мог уснуть. В окно заглядывало синее, густо усыпанное звездами небо; где-то за стенкой вздыхала больная, суетился с фонарем по двору станционный смотритель.

Чего только не насмотрелся Иван Петрович за дорогу. А попробуй напиши об увиденном — цензура съест и тебя, и твою книгу. Как же быть сочинителю? Поступиться убеждением? Но где нет правды, там нечего искать и художественности,

такая книга едва переживет автора: мало кто дочитает ее до конца, и никакая громкая реклама не спасет положения, в подобных ситуациях не в силах помочь и самые хитроумные критики — читатель остается равнодушным; как ни уговаривай его, он не станет читать подобное сочинение, не вспомнит о нем, не посоветует прочесть и приятелю. Только правда описываемой жизни может сласти книгу. Но кто осмелится в наш век писать ее? Далеко не каждый. Лишь смелые духом, не боящиеся впасть в немилость у властей предрежащих и потерять — может быть, навсегда — покой свой и домашний сытый уют, возвышают свой голос во имя правды. Помогите им, господа! Будучи человеком чрезвычайно скромным, Котляревский не мог и подумать, что сам уже причислен историей к этим людям, чьи имена благоговейно будут повторять потомки, а его "Энеида" станет своего рода евангелием для многих соотечественников.

Утром, едва рассвело, подали свежих лошадей. Станционный смотритель, провожая ночных постояльцев, искрение желал им счастливо добраться до следующей станции, вышел за ворота, поклонился, но те уже мысленно были в дороге и не замечали его.

Неподалеку от Орла неожиданно попали на ярмарку. Именовали ее, как и находившийся вблизи монастырь, Макарьевской. Разве можно проехать, не посмотрев ярмарку? Котляревский и ротмистр изъявили желание задержаться: пусть лошади пока отдохнут, ведь до следующей станции еще далеко. Ямщик охотно согласился: ему самому хотелось потолкаться среди торгового люда, закусить свежими блинами, которые тут же, на воздухе, пекли предприимчивые стряпухи, певуче зазывая: "Подходи-налетай — полдюжины горяченьких на копейку!"

Котляревский ничего покупать не собирался, ему было интересно просто поглазеть, послушать. Иван Петрович окунулся в шумное многолюдье, пеструю разноголосицу. Бородачи в поддевах сыпали ловкими прибаутками, меткими присказками, которые так и просились на бумагу, и Котляревский тут же, прислонившись к лавчонке, заносил их в дорожную записную книжку.

Вспомнив, как в детстве, бывало, любил бродить по ярмаркам, собиравшимся в Полтаве, увидел себя таким же, как тогда, в далеком прошлом, — ко всему на свете любознательным, глазастым, готовым на любые мальчишечьи выходки, и, кто знает, если бы не шинель да погоны капитана, может, и сейчас пошел бы куролесить да проказничать...

Все ярмарки между собой схожи: сопровождаются обычно шумом, гамом, толчеей, смехом, шутками, но на этой, Макарьевской, Котляревский увидел и нечто новое, видимо, только ей присущее. По всему полю было разбросано множество палаток, а над ними торчали оглобли, будто солдатские пики. Казалось, огромная армия остановилась среди поля на привал — некоторые из местных дворян, рассчитывая пробыть на ярмарке не один день, приехали со своими шатрами, подвижными домиками, и, разумеется, каждый со своим гербом и флагом.

Несколько в стороне от гостиних рядов, у входа в огромный шатер, Котляревский заметил толпу. Сердце его дрогнуло: театр? Подошел ближе. Кто-то объяснил: курские "комедианты" показывают спектакль "Влюбленный Шекспир" и оперу "Князь-

трубочист", вот только цена билетам изрядна: два с полтиной за кресло. Дороговато и денег в обрез: как раз доехать домой, но как не пойти?

С первого же акта нетрудно было понять, что никакой это не театр, а самый заурядный балаган, какие редко встретишь и на ярмарках. Артистка старалась копировать известную Сандунову, но весьма неудачно: сплошное жеманство, фальшь в каждой реплике и каждом движении. На сцене вообще творилось что-то странное, и чем дальше, тем хуже. Артисты, видимо, плохо знали текст и говорили что кому вздумается, не слушая и словно бы даже не замечая друг друга. Поначалу Котляревский возмущился, потом, прислушиваясь к репликам, развеселился и стал смеяться. Некоторые зрители невольно последовали его примеру, но большинство продолжали вести себя так, будто они были вовсе не в театре, а где-нибудь на посиделках: одни толковали о товарах на ярмарке, иные — о модах, ценах, рысаках, рассказывали друг Другу истории и поворачивались к сцене только тогда, когда трубочист, весь в саже, выползал из камина и утирался княжескими кружевами — под шатром возникал шум, раздавались крики, топот ног, и ничего уже нельзя было слышать. К тому же в "зале" нечем было дышать: во всех углах чадили сальные свечи и плошки. Не досмотрев до конца оперу, Котляревский, едва живой, выбрался на свежий воздух.

Пора было ехать дальше.

Курский ямщик любил говорить в рифму. Погоня лошадей, кричал: "Ну-ка, кургузка, пять верст до Курска". Однако до Курска добирались почти целый день, и, когда под вечер с пригорка открылся наконец город, попутчик-ротмистр — курянин, толкнув локтем Котляревского, взволнованно спросил:

— Ну как? Хорош?

— Чудо как хорош.

И впрямь — Курск пленил. Особенно красива была аллея из ветел. Гостиный двор — не хуже петербургского: каменный и довольно обширный. Здесь находилась и книжная лавка, правда, ничего нового в ней не было — одни часословы и псалтыри, и все-таки лавка.

Старинный деревянный дворец был разрушен, среди руин, между уцелевших балок пробивался буйно идущий в рост бурьян. Неподалеку в каменном доме размещался городской магистрат. Медленно, как-то лениво текла Тускорь, река по-своему была красива: изрезана мосточками, один другого меньше, каждый из них вел в заречное селенье, затянутое вечерним туманом.

Разговорчивый ямщик охотно отвечал на вопросы Котляревского"

— А бывал ли где-либо, приятель, кроме Курска?

— Ага, бывал. В Одессах.

— Ну и как? Понравился город?

— А че?.. Немного похуже нашего Курска.

— А не врешь?

— Господь с тобой, барин, чтобы я да врал. Лучшего, чем наш, города нетути, хучь

верь, барин, хучь нет, вот те крест святой.

— Ну что ж, верно, пожалуй, — согласился Котляревский. Кто скажет о своем городе, где вырос, собираешься жить да стариться, плохое?

В Курске не задержались: ранним утром поехали дальше.

И опять потянулась без конца и края дорога. Встретится одинокий путник с котомкой, карета проскрипит — и снова никого, ни одной души на много верст, только слышно, как ямщик, понукая изредка лошадей, вполголоса напевает какую-то старинную песню про молодца, не испугавшегося грозного царя-батюшки и поплатившегося за это буйной головушкой...

В Обояни Иван Петрович стал свидетелем необычной картины, которую долго потом не в силах был забыть... В первую минуту он не мог понять, что происходит. Какой-то здоровенный мужик вел по городу женщину, как потом выяснилось, свою жену, она упиралась, просила смилостивиться, молодая еще, ладная, косы — ниже пояса, рубаха — Порвана, на груди запеклась кровь. Умываясь слезами, женщина просила истязателя не позорить ее, не тащить на ошейнике, как худую собаку, она ведь в своем уме, это он, изверг окаянный, рехнулся, налакавшись браги сверх меры. Но мужик, бородатый, в высоких сапогах бутылками, в длинной рубахе-распояске зверовато зыркая из-под лохматых бровей, кричал:

— У тя демон сидит... Пройдешь по городищу — может, и выприснет, а не — так в реку, там тебе и царство небесное.

— А ты ее плетью, Демидушко, нечистый и выползет, он плети доброй тоже не любит, — смеялись зеваки: поденщики, приказчики, лоточники, канцелярские "крючки", сбежавшиеся поглазеть на оказию. В стороне сбились в кучу женщины в черных-платках, испуганно шептались, жалостливо поглядывая на несчастную...

Столпившиеся люди перегородили проезд. Карета остановилась.

Котляревский, кажется, только и ждал этого. Резко откинув дверцу, он крикнул мужику, чтобы тот отпустил несчастную женщину; мужик, увидев офицера, стоявшего на подножке кареты с перекошенным от гнева лицом, угрюмо покосился, глаза его налились кровью, и, ничего не сказав, потащил было жену дальше, но его начали толкать со всех сторон, не давая прохода. Котляревский поднял руку, указал пальцем на приказчика, чем-то выделявшегося из толпы, может, ростом своим, и громко и резко заговорил:

— Вот ты! Как можешь терпеть такое? Или тут не люди? А ты, судейский, тоже? — указал он пальцем еще на кого-то.

Люди притихли, но не расходились, а мужик тем временем продолжал тащить жену прочь; она, упираясь изо всех сил, увидев в Котляревском нежданного заступника, сочувствующего ее горю, протянула к нему израненные руки:

— Спасите! Помилуйте! Люди добрые!

В ответ на ее истощный крик толпа вдруг колыхнулась, кто-то рванул веревку, и женщина, нырнув под чьи-то руки, исчезла, словно провалилась сквозь землю.

Ямщик, видя, что пассажир его вот-вот соскочит с подножки и бросится в

разъяренную толпу, дернул вожжи на себя, круто повернул лошадей вправо, в переулок. Он хлестал кнутом лошадей до тех пор, пока карета не вынеслась за город, в чистое поле.

Отъехав на изрядное расстояние, ямщик вытер вспотевший лоб рукавом, виновато обернулся:

— Убоялся за вас, ваше благородие, в таком деле лучше быть подале, а то под руку попадете — могут и порешить...

Ямщик говорил, пожалуй, правду: озверевшие мужики и в самом деле могли убить, растерзать того, кто встал на их пути. Но Котляревский как-то не думал об этом. Для него главным было — спасти женщину. И он долго не мог простить себе, что позволил ямщику уехать, не остановил его, не задержал: хорошо, если женщине удалось скрыться, а если нет?..

Еще в Курске подсел новый попутчик: некое духовное лицо. Всю дорогу, полузакрыв глаза, ничего не видя вокруг, он читал молитвы. Даже в Обояни не обратил внимания на случившееся. О чем этот человек молит бога, о чем просит его? И как может всевышний, если он есть, внимать этакому бездушному бревну? Противоестественно сие...

До самого Харькова Котляревский не мог отделаться от мысли, что духовное лицо следит за ним притаенным взглядом, и он отворачивался, закутывался в шинель, чтобы укрыться от всевидящего ока —

За Белгородом запомнились старинные заставы. Если бы Иван Петрович не торопился, то непременно попросил бы ямщика задержаться, чтобы внимательно осмотреть их. Проплыли мимо земляные рвы, насыпи, врытые в землю строения. Здесь некогда в кровавых битвах белгородцы стояли насмерть против непрошенных гостей, падали под ударами, но с застав не уходили. Шумит нынче над их могилами ветер-свежак, будто поет песню о давно ушедших днях, о героях, которые ценою жизни преградили путь на Русь смертельным врагам.

В ста верстах от Харькова, в селе Липцы, Котляревский увидел первых крестьянок в юбках из ковров, какие носят на Украине, в его Полтаве, появились и хатки, вымазанные белой известью. Скоро, скоро начнутся родные места...

Харьков проехали, не задержавшись в нем ни одного лишнего часа. Пока меняли лошадей, Котляревский перекусил своими скромными запасами, сделанными еще в Курске, и был готов продолжать путь. Как только станционный смотритель отметил подорожную, Иван Петрович тут же забрался в карету и стал недовольно поглядывать на ямщика, который возился со своей трубкой: достал откуда-то из бездонного кармана холщовый кисет, трут, кресало, неторопливо укладывал под крышку табак. Облегченно вздохнул лишь тогда, когда ямщик наконец-то уселся на козлы...

В Валки добрались уже поздно вечером. Котляревский устал, ему хотелось отдохнуть, чтобы утром продолжить путь, но смотритель оказался слишком словоохотлив. Узнав из подорожной, что едет земляк, он разговорился: живет неплохо, жена хорошая, народила, слава богу, кучу детей, все казаки, а девок только трое.



Раньше, правда, трудновато приходилось, а теперь, как дети подросли, стало намного легче.

На рассвете Котляревский был уже на ногах, разбудил смотрителя, заторопил его: скорее лошадей, да порезвее и чтобы ямщик был расторопным. Невыспавшийся смотритель ворчал: всем, мол, надо быстро, никому не желательно сидеть на станции — куда и девалась его вчерашняя любезность. Однако, видя настойчивость капитана, приказал ямщику запрячь лучшую пару, сам начал помогать ему, засуетился, забыл даже покормить перед дорогой пассажира, хотя тому было не до еды, хотелось как можно скорее уехать. Наконец ямщик вскочил на козлы, стеганул кнутом лошадей, они рванулись с места и словно ошпаренные вылетели за ворота.

До Полтавы оставались две станции: Войниха и Дудниха, которые в народе называли Войновкой и Дудниковкой. Эти два последних перегона показались самыми утомительными.

В Войнихе пришлось переночевать. По распоряжению первого генерал-губернатора Малороссии князя Куракина здесь некогда выстроили станцию — домик в два этажа, во дворе разместили конюшню, сарай. Внешне домик был привлекателен, даже красив, однако в комнате, куда поместили Котляревского, не нашлось ни одного стула, не было стола, негде было и прилечь, чтобы отдохнуть, пришлось укладываться прямо на полу, бросив под себя попону и укрывшись солдатской шинелью.

Но Котляревский и словом не обмолвился о неудобстве, он готов был и вовсе не отдыхать, лишь бы его не задерживали, боялся: а вдруг смотритель скажет, что нет лошадей. Но этого, к счастью, не случилось. Поняв с первого слова, что капитан не намерен ждать ни одной лишней минуты, смотритель заранее послал за лошадьми, и, едва Котляревский проснулся, почтовая карета подкатила к крыльцу. Ни есть, ни пить Иван Петрович не стал, тотчас уложил в карету вещи и попросил ямщика поторапливаться, а что касается завтрака, то он перекусит в дороге, как-нибудь перебьется, главное — ехать, скорее ехать.

Полтаву Иван Петрович узнал и в сумерках. Между деревьями мелькнули купола окраинных церквей, острый шпиль костела, по пригорку побежали хаты, крытые лавки; жадный взгляд поймал наконец и веранду, прилепившуюся к дому, словно ласточкино гнездо. Котляревскому показалось, что на веранде стоит вся в черном мать, и он снова — в который раз! — заторопил ямщика.

Медленно, о боже, как медленно переправлялся паром! И наконец вот он — въезд в город. Первый знакомый полтавец — старый поседевший будочник, бывший екатерининский солдат. словно в тумане, мимо проплыл фонарь; будочник, не узнав Котляревского, осветил его, чтобы удостовериться, кто именно пожаловал в губернский град. И, как тогда, семнадцать лет тому назад, промолвил:

— С богом!..

Наконец-то он дома, у родного крыльца. Кончилась бесконечная дорога в трясках почтовых каретах, томительное ожидание лошадей на станциях, кружение унылых горизонтов.

Увидев сына, Прасковья Леонтьевна не могла двинуться с места, сложенные на корсетке руки онемели. Иван Петрович шагнул к матери, обнял ее. Она приникла к пропахшей весенней свежестью шинели и затихла.

Иван Петрович гладил сухонькие плечи матери, седые волосы.

— Ну вот... Ну вот, — повторял он, судорожно хватая ртом воздух.

Плечи матери дрожали, она никак не могла унять этой невыносимой дрожи.

— Мама, что с тобой?

— Пройдет... Пройдет, — шептала Прасковья Леонтьевна, улыбаясь сквозь счастливые слезы.

Сын был все тот же: таким, кажется, она в первый раз проводила его в Коврай; таким видела позже, когда вернулся; таким ушел в армию, затем уехал в Петербург. Теперь он снова рядом, он, ее сын.

Прасковья Леонтьевна сразу подумала о том, что надо сделать все возможное, чтобы он поправился, не был таким худым. Это — главная ее забота, и никаких других забот для нее больше не существует.

Помогла сыну раздеться, отнесла в переднюю шинель — она всегда отличалась любовью к порядку, потому и не могла бросить шинель где попало, тут же вернулась, усадила его в любимое им кресло, сказала, чтобы там и сидел, отдыхал, пока она приготовит помыться, потом они вместе поужинают, а чтобы ему не было скучно, принесла коробку с трубками и сохранившийся табак.

Лицо матери светилось от счастья, будто его внезапно озарило солнце. В дверях обернулась:

— Право, не верю, что... вернулся.

— Как ты тут, мама?

— Заждалась. — Всего одно слово и невольный вздох, а сказано все, и главное — безграничная любовь к нему — своему сыну, своему Иванку.

Он все понял и, представив мать в долгие зимние вечера одиноко сидящей в комнате со своим вязанием у потухающего камина, почувствовал, как виноват перед ней и как она дорога ему, единственная в целом мире. Рывком поднялся с кресла, взял ее сухие тонкие руки в свои и, целуя их, согревая дыханием, зашептал:

— Не уеду! С тобой буду! Всю жизнь!..

5

Утром Прасковья Леонтьевна внесла сыну завтрак, сама села напротив. Ей приятно было наблюдать, как он ест, пододвигала кувшин с молоком, солонку, миску с толчениками, чай, заваренный боярышником, такой чай успокаивает и утоляет боли в груди, а сыну это полезно, особенно после длительной поездки.

Голос у матери негромкий, ровный, журчит и журчит, но Иван Петрович хорошо различает в нем усмешку, сердечное участие, иногда иронию.

Вчера весь вечер рассказывала о старых знакомых: кто где служит, кто женился, кто уехал из Полтавы. Сегодня за завтраком вспомнила снова Федора Миклашевского. Он тоже, мол, не окончил семинарии, служил в Новороссийской канцелярии, начинал

подканцеляристом, а ныне — первый помощник столоначальника, его благородие господин Миклашевский. Иван Петрович усмехнулся: он уже слышал о новой службе Федора, вчера мать об этом рассказывала, она согласно кивнула: да, рассказывала, но запамятовала. Ну и что? Может, чего не вспомнила сразу, теперь доскажет. А с Федором так просто не поговоришь, будто подменили человека, ног под собой не чувствует, старуху мать, что билась как рыба об лед, чтобы его, сына, в люди вывести, теперь загнал в глухую деревню к каким-то дальним родственникам доживать, а сам дом на Ярмарочной отгрохал, да не деревянный, а наполовину каменный, забор высокий поставил — собака не перепрыгнет. Амбросимов — помнишь его? — архитектор губернский, по-прежнему ютится со своим многочисленным семейством в старой хибаре, купленной в рассрочку, и, сказывали люди, хозяин собирается его выселить, недоплатил, видишь ли, какие-то рубли. А Руденко еще один дом возвел на Дворянской, в первом этаже лавку открыл, в большие купцы тянется, чуть ли не самого Зеленского обскакал. Мясо нынче подорожало: было по пяти с половиной копеек за фунт, а вот уже целую неделю по восьми; правда, губернатор будто запретил продавать дороже, так разве мясники послушают? Свое гнут: "Не желаешь — не бери". С живого и с мертвого сдерут. Вспомнила мать и нового князя, Лобанова-Ростовского. Говорят люди, крут его сиятельство, очень даже крут, а вообще доступен, кто с жалобой к нему — примет, выслушает, потом, может, не исполнит, — скорее так и случается, — но спасибо и за то, что слушает, не отказывается, а служивых людей ищет, даже в Санкт-Петербург ездил, чиновников привозил. Люди ему, знать, нужны...

Иван Петрович слушал мать и мотал все на ус. После завтрака ушел к себе в комнату, начал разбирать бумаги, расставлять по шкафам книги, отдельно — не на виду — поставил "Энеиду". Когда вошла мать с куманцом свежего кваса, ставил последний ряд. Мать уже видела новое издание поэмы, но, заметив ее, спросила.

— Намучился с ней?

— Всяко было.

— Теперь отдохни. Забудь все плохое. Не думай.

— Как же не думать? Не жить лучше.

— Мысли всякие приходят, как я разумею, от неуютя, а что тебе дома — худо?

— Что ты, матушка? Я так обласкан твоими заботами, что чувствую себя как в детстве. Только не сидится дома, послужить бы еще, да не знаю, как быть, может, устарел.

Сердцем уловив горечь в словах сына, мать сказала:

— Неправда! Откуда у тебя такое? В твои годы иные жизнь начинают.

— Ты о своем, матушка, а я о службе.

— И я про службу... Сходи к князю. Он примет и, может, уважит твое желание, а коли нет, — даст бог, пока и так проживем. Много ли нам с тобой надобно? Хватит и пенсионна.

Тронутый заботой матери, Иван Петрович наклонился, поцеловал ей руку, маленькую, еще больше, казалось, похудевшую со времени последней их разлуки,

пахнущую, как в далеком детстве, душистой мятой, и сказал, чтобы ни о чем плохом не думала, он обязательно воспользуется советом и в ближайшие дни пойдет к князю, хотя ему и противно унижаться, еще памятли визиты в петербургские приемные. А сегодня он будет работать, надо с бумагами разобраться, кое-что записано в пути, кое-что задумано, только недосуг было приняться всерьез за дело.

После завтрака, надев, по обыкновению, свежую рубаху, присел к столу. Будет служба или не будет, а он обязан работать. Бессонные ночи, мучительные сомнения — все это есть и неизбежно будет, и пусть будет.

Не заметил, как и стемнело. Вошла мать, зажгла все четыре свечи в старом медном шандале, а он, в белой рубахе, расстегнутой на две верхние пуговицы, кое-как причесанный, писал и писал. Строфа за строфой ложились на чистый лист бумаги, завтра или послезавтра они будут переписаны заново, а потом еще несколько раз.

Не слышал, как дважды приоткрывалась дверь; мать, не входя в комнату, с нежностью и тревогой смотрела на него, но не окликала, не просила отдохнуть, хотя уже поздно, пропели первые петухи на Мазуровке, не смела мешать, хорошо зная: нынче с сыном не поговоришь, мысли его далеко от родной хаты, может, в далеких землях, среди неведомого люда.

Тихо закрывала дверь и отправлялась к себе и долго, пока сын работал — ходил из угла в угол, курил, — не могла уснуть, словно и сама сидела с ним рядом, разделяя его сомнения и тревоги, успехи и огорчения. Ночная тишина располагала к раздумью, и мать думала, думала только об одном: как бы облегчить сыну жизнь, молила бога не оставить ее Иванка своими милостями, устроить судьбу, найти ему ласковую верную подругу, чтобы любила, оберегала от зла, прощала характер — иногда ведь Иван ко и вспылить может. Ей же, матери, достаточно видеть сына с собой рядом в добром здравии и довольствии, и большего счастья ей не нужно. Правда, еще бы внучку ей, хоть одну, — тогда бы она совсем была счастливой... С этой мыслью, с мечтательной усмешкой на устах она и задремала. А сын все еще сидел в своей комнате, не ложился.

На Мазуровке пели третьи петухи.

6

Полтава почти не изменилась, оставалась все такой же, какой была и пять, и десять лет тому назад, — те же ямы, глубокие рытвины на мостовых, мазанки, вросшие в землю, те же речушки Полтавка и Рогизна, пересекавшие город и торопившиеся к многоводной Ворскле, вниз по заливному лугу. И кажется, та самая карета, Иван Петрович видел ее лет пятнадцать тому назад, застряла в луже по самые ступицы на том же месте — на углу Пробойной и Протопоповской. Кучер с выпученными глазами наотмашь стегал взмыленных лошадей, но все было напрасно, карета ни с места.

Какой-то молодой чиновник — в узких серых брючках и сюртучке в обтяжку — остановился, поглядел на кучера, на карету, пожал плечами и побежал дальше. Исполненное внутреннего спокойствия духовное лицо прошествовало мимо, не взглянув даже\_ в ту сторону. Привычная картина, особенно в весеннюю распутицу, она ни в ком, как и раньше, не вызывала удивления.

Котляревский прибавил шагу: надо посоветовать кучеру сойти с козел и подтолкнуть карету, благо плечи у того крепкие, крутые. Но тут коренник, напрягшись из последних сил, рванулся — вся сбруя на нем затрещала, — и карета сдвинулась с места, выкатилась из лужи и быстро помчалась по Пробойной.

Однако в городе кое-что появилось и новое. Вот еще один герберг, рядом с ним — кофейный дом, заметно расширился гостинный ряд, а на Круглой площади воздвигают колонну Славы. Заканчивается строительство Дома присутственных мест. Построен и губернаторский дом, а во дворе его — и дом для вице-губернатора. Возведено здание городского полицейского управления, в нем находятся нижний земский суд, полиция, казначейство, квартиры городничего и полицмейстера. Не забыто и строительство тюрьмы. Как же без нее? Разве Полтава хуже других губернских городишек?

Разглядывая знакомые с детства места, Котляревский испытывал чувство душевного трепета, словно встречался со старым добрым другом. Вот здание духовной семинарии, где он провел лучшие юношеские годы, Петровская площадь, входы в подземелье — "мины", где однажды побывал я он и что никогда, наверно, не забудется. Те же пустыри, заросшие спорышом, дощатые тротуары под заборами на Пробойной, калиновые заросли на Мазуровке, а за Ворсклой — зеленые перелески. Тот же монастырь на горе — словно отшельник, грустный и одинокий. И насыпи вокруг города, оставшиеся со времен Полтавской битвы. Кое-где обрушенные, заросшие бурьяном, но не трудно представить — не нужно большого воображения, — что здесь происходило сто лет тому назад: свистели ядра над осажденной крепостью, бесновался под ее стенами молодой король шведов, так и не добившийся успеха.

Над городом висел медлительный звон церковных колоколов, зовущий молящихся к заутрене. А он торопился домой: мать, верно, заждалась с завтраком, — по старой привычке, без него за стол не сядет...

На третий день после приезда Ивану Петровичу посчастливилось встретить старого доброго знакомого. На Сампсониевской площади еще издали он заметил невысокую коренастую фигуру Амбросимова и поспешил навстречу. Внешне Михаил Васильевич походил на приказчика из гостиного ряда — в кафтане, высоких сапогах, но стоило ему заговорить — и первое впечатление сразу же рассеивалось, пред вами предстал образованный, интересный человек.

Увидев идущего навстречу офицера. Амбросимов сначала не обратил на него внимания — мало ли военных чинов в Полтаве ныне? — но, взглянув пристальнее, остановился, раскинул руки, худое смуглое лицо осветила радостная улыбка.

— Иван Петрович! Родной мой!

Обнял Котляревского, расцеловал, смахнул непрошеную слезу:

— Несказанно рад!

— И я... Столько лет!..

Встречались они редко, но каждая встреча для них была праздником.

Амбросимов был талантливым архитектором. И хотя жил он далеко от столицы, талант его не тускнел. Амбросимова интересовало буквально все: жизнь простолюдина

и его повседневный быт, как строят он свое жилище и как живет в нем, что появилось нового в мировом зодчестве, где и кем воздвигнуты новые храмы и дворцы. Он внимательно следил за всеми новостями, жизнь его была ключом, его кровно заботила судьба города, в котором он жил, он умел заглянуть далеко вперед, разглядеть за неясными очертаниями настоящего перспективу будущего, не боялся перейти кое-кому из современников дорогу; разумеется, независимость суждений губернского зодчего не нравилась многим господам, и при случае они злорадно ухмылялись: "Пусть господин архитектор не думает, что он в губернии главный..." Но эти угрозы никогда не пугали Амбросимова, под горячую руку он говорил, не стесняясь в выборе выражений, что в любой час готов расстаться с креслом, оно не прельщает его, а службу себе он всегда найдет. Однако покидать Полтаву не торопился. Да и как покинешь? Ведь надо построить гимназию, открыть монумент Славы. Ради этого и множества других дел он жил и трудился, твердо зная: другой зодчий не сделает того, что может только он, Амбросимов.

Не однажды, выведенный из равновесия, он бросал в лицо градоначальнику, а случалось, и самому генерал-губернатору, что ноги его больше не будет в губернской чертежной, пусть кто угодно занимается всеми этими проектами, подрядами, отношениями, а с него хватит. И все же продолжал работать, подсказывал, где и как надо строить, причем порой бескорыстно, без вознаграждения за свой труд. Единственная цель, ради которой он жертвовал отдыхом и самим здоровьем, был город, куда он однажды приехал на один день погостить и остался на всю жизнь.

Он жаждал одного: пусть она, Полтава, станет красивой, улицы просторнее, ровнее, пусть люди живут удобней, лучше и пусть все, у кого есть глаза, не переставая любуются каждым возведенным домом, храмом, памятником, даже лавкой, харчевней, гербергом, кофейным домом.

Его любили, и сердились на него, и не отпускали, когда, бросив бумаги на стол, он кричал: "Вот вам мои прожекты!.. Краски и картоны! Хватит с меня Полтавы! Я сыт ею по горло, всю душу она вымотала. Уезжаю! Меня зовут в Воронеж, и там я отдохну..." Амбросимова в самом деле звали в Воронеж, приглашали в теплую Одессу, а он любил только Полтаву, навеки плененный ее ратной славой. И никуда не уезжал.

Он любил помечтать, рисуя в воображении город будущего через сто, а то и двести лет. Котляревский мог слушать Амбросимова часами, иногда пытался и спорить с ним, и тот никогда не обижался, напротив, радовался и, когда оказывалось, что поэт прав, возбужденно кричал: "Правильно! А я и забыл об том!"

Котляревский смущался от похвалы, хотя ему, конечно, было приятно: Михаил Васильевич Амбросимов, лучший из зодчих, признавал его, считался с ним.

Еще до закладки монумента Славы разгорелся спор: в каком именно месте возводить его? Многие предлагали украсить величественным монументом Соборную площадь. Так думали в губернском правлении, склонялся к сему и губернатор. Поговаривали, что сам князь такого же мнения. Амбросимов сразу же воспротивился, он предложил местом установки монумента избрать середину Пробойной улицы,

напротив Сампсониевской площади. Место это имело своя преимущества: во-первых, центр главной улицы, а кроме того, рядом — большая шумная площадь. С ним не согласились. И первым не согласился Котляревский.

Однажды, еще пребывая на военной службе, находясь дома в кратковременном отпуске, Иван Петрович встретился с Амбросимовым и в беседе с ним осторожно, чтобы не обидеть, намекнул, что, по его непросвещенному мнению, лучшего места, нежели Круглая площадь, где, как он слышал, предполагают торговать дегтем и вином, не может быть для установки памятника; он разговаривал с одним петербуржцем, и там, в столице, многие такого же мнения. По преданию, именно здесь жители Полтавы, доблестные ее защитники, встречали победителя шведов. Кроме того, само место весьма выигрышное — по существу, будущий центр города. Амбросимов пытался возражать, но Котляревский повел его на Круглую площадь. Они долго ходили по пустырю, спорили, Котляревский упрямо повторял свои доводы, и Амбросимов в конце концов сдался.

— Вы мне, господин пиит, нравитесь, — сказал он, улыбаясь и вытирая широкой ладонью потное лицо, — у вас отменное чувство перспективы. Именно здесь, окрест сей площади, должны быть воздвигнуты все наиважнейшие сооружения. А памятник Славы и подавно... Как же я не учел этого?

Спустя два дня Амбросимов представил генерал-губернатору князю Куракину свои новые соображения: воздвигнуть монумент Славы следует в центре Круглой площади, причем не забыл упомянуть, что идея сия принадлежит не ему, надоумил его местный пиит Иван Котляревский...

Котляревский и Амбросимов миновали гостинный ряд, вышли к Успенскому собору. В те дни собор белили, собирались позолотить купола. Работа предстояла сложная, и Михаил Васильевич не пропускал случая, чтобы самому посмотреть, как управляются работные люди, не нужна ли его помощь. Колокольня находилась в строительных лесах, рабочие на четвертом и пятом ярусах выглядели крошечными. Несколько человек тащили бадью с раствором, она раскачивалась во все стороны и, казалось, вот-вот перевернется. Амбросимов замахал руками: "Ради бога, осторожней!"

Услышав крик Амбросимова, рабочие потащили бадью медленнее, и она почти перестала раскачиваться.

Михаил Васильевич облегченно вздохнул:

— Вот черти, прости господи! Не слушают, а я ведь предупреждал... Месяц назад один расхрабрился и слетел с лесов, еле отходили, теперь калекой, наверно, останется, а у него детишки... Вот и смотри да смотри; мастер, верно, в кофейне сидит и прикладывается не к кофею, разумеется. Прогнал бы, да кем заменишь?.. Но, прошу прощения, отвлекся. Итак, дорогой мой Иван Петрович, вы дома. Надолго ли?

— Как сказать... Думаю, насовсем.

— Правда? Очень хорошо. Лучше, нежели дома, нигде нет. Я вот не полтавский, а прижился, и, по всему видно, — Амбросимов вздохнул, — здесь и вековать придется.

Они наблюдали, как тяжелая бадья поднимается все выше и выше.

— А служить не собираетесь? Или пенсионом проживете?

— Было намерение проситься на службу, да не так сие просто.

— Да, вы правы. А знаете, что еще намечено построить в Полтаве? — взволнованно воскликнул вдруг Амбросимов. — Театр! Да! Да! И проект готов.

— Неужто? Вот обрадовали! А в каком же месте?

— За Немецкой слободкой, а напротив театра главпочтамт предполагается заложить.

— Много успели. Присутственные места воздвигли. Колонну ставите. А теперь театр. Сие не забудется... Полтава благословит вас, Михаил Васильевич.

— Не об этом мысли, вот с монументом возимся... Но в следующем году, надеюсь, закончим... И откроем. Место изумительное. А идея-то ваша. Помните?... А что касается службы, советую обратиться к Огневу. Слыхали такого?

— Директор училищ?

— Он самый. Кстати, когда мы шли сюда, он как раз ехал к себе в гимназию. Пойдите. Не откладывайте.

— А примет?

Амбросимов пожал плечами, удивляясь вопросу:

— Кого же другого найдет лучше?.. Обязательно пойдите. Сегодня же... И заходите ко мне. Помните, надеюсь, где живу?

— Знаю... А вы не забыли, где моя хата? Матушка будет рада. Приходите!

— Приду обязательно.

Они расстались.

В тот день, по совету Амбросимова, Котляревский отправился к Огневу.

Иван Дмитриевич Огнев принял Котляревского холодно. Человеком он слыл своеобразным. До назначения в Полтаву служил в Санкт-Петербурге во вновь созданном министерстве просвещения в школьном управлении и свое назначение в захолустный губернский городок считал делом временным, поэтому я заботился о гимназии и местных уездных училищах, которые обязан был опекать, спустя рукава. Тем не менее, отбирая для гимназии преподавателей, отдавал предпочтение тем, кто имел университетское образование, говоря всем, что только высокообразованные люди должны служить на ниве просвещения. Услышав, что Котляревский в университете не учился и даже не закончил полного курса духовной семинарии, слушать его больше не стал, не обратил никакого внимания и на воинское звание, немалое по тому времени для Полтавы, весьма сухо объявил, что "согласно циркуляра" — не преминул назвать номер его — он, директор училищ, не имеет права принимать на службу людей, не отвечающих высоким требованиям; только в исключительном случае мог бы принять господина капитана, но такого случая он пока в обозримом будущем не видит. Тем не менее он доложит правителю края предложение посетителя, о решении его будет известно в ближайшие два-три дня. А пока — он "весьма рад знакомству". Почти так же Ивану Петровичу отвечали и в Санкт-Петербурге: да, выучка у господ из министерства отменная, ничего не обещают, но обходительны и вежливы — не придерешься.



Прошло три дня. Иван Петрович почти не выходил из дома, ни с кем не встречался, хотя мать и намекала: дескать, пора бы проведать старого приятеля Павлушу Стеблин-Каминского, он, как и Миклашевский, давно женился, привел в дом молодую жену. Можно бы сходить и к Амбросимову.

Но Котляревскому ни к кому не хотелось идти. Он сидел дома, читал купленные в дороге книги, листал привезенные с собой свежие журналы, просматривал дорожные записи. Пробовал писать — сочинил ось несколько строф для новой, пятой части "Энеиды".

На четвертый день Иван Петрович понял: господин Огнев не позовет, скорее всего, многоуважаемый директор училищ позабыл о своем обещании и князю не докладывал. Да и зачем это делать? Слово, данное отставленному от службы капитану, ни к чему его не обязывало. Котляревский решил завтра же пойти к князю.

Мать не знала о визите сына к Огневу, она радовалась, что сын за эти несколько дней заметно посвежел, будто сбросил добрый десяток лет, и выглядел, несмотря на свои сорок, не хуже иного юноши — стройный, подтянутый, в ходьбе легок и быстр — все остальное ее не беспокоило.

7

Попасть на прием к князю Котляревский не смог: правитель края еще неделю тому назад отправился в поездку по губернии и должен был возвратиться на днях. Вот, оказывается, в чем дело, а он так плохо думал об Огнев: не ходил, не докладывал...

Котляревский хотел было откланяться, но адъютант — молодой еще офицер в звании майора — попросил рассказать о деле, с которым капитан решил обратиться к князю; пришлось кратко, буквально в двух словах, изложить суть просьбы. Записав в книге фамилию Ивана Петровича, адъютант пообещал дать знать ему, как только князь вернется из поездки.

Котляревский поблагодарил и собрался уже уходить, но адъютант, краснея, извинился за назойливость и спросил, не родственник ли господин капитан автора малороссийской "Энеиды" или только однофамилец? Узнав же, что перед ним автор поэмы, адъютант обрадовался, смутился еще больше и рассказал, что еще в Санкт-Петербурге у товарища по гвардии видел эту поэму и тогда же прочитал ее с большим удовольствием, а отъезжая сюда, в Полтаву, и не мечтал познакомиться с автором.

Оказывается, молодой офицер, майор Смирницкий, хорошо знаком с Гнедичем, не раз встречался с Крыловым, великими Державиным и Жуковским и вообще очень неравнодушен к современной словесности, имеет даже свою небольшую библиотеку. Смирницкий был рад узнать, что в Полтаве, маленьком, хотя и губернском городке, живут такие люди, как автор "Энеиды". Кстати, и князь интересовался новым изданием поэмы, но найти ее в Полтаве не удалось, если бы у господина капитана нашелся лишний экземпляр — его сиятельству было бы весьма приятно иметь книгу в личном пользовании.

— Судя по всему, сударь, — спросил польщенный Котляревский, — у вас ее тоже нет?

— Вы угадали. В свое время не купил, а теперь разве что умыкнуть у кого-либо? Так знать бы — у кого.

Котляревский пообещал адъютанту помочь в этом деле, и вообще он тоже рад, что нашел в майоре приятного собеседника и до некоторой степени единомышленника во взглядах на современную словесность.

Расстались они почти друзьями.

Смирницкий свое обещание сдержал. На третий день рано утром к Котляревским постучался курьер губернской канцелярии: господина капитана приглашали пожаловать к правителю края...

Квязь — худощавый, в мундире, без лент и орденов — сидел за массивным с резными ножками столом и просматривал какие-то бумаги. Седоватые баки подчеркивали нездоровый цвет лица правителя, а мешки под глазами свидетельствовали о затаенной болезни, о которой, возможно, не догадывался и сам князь. Благожелательный и вместе с тем пристальный взгляд князя остановился на капитане.

Лобанов-Ростовский указал Ивану Петровичу на кресло, затем встал из-за стола и сам сел в такое же кресло, чтобы быть ближе к посетителю; поговаривали, что князь не совсем хорошо слышит.

Родившийся в старинной княжеской семье, он известен был в "высшем свете" как "весьма интересный человек". С малолетства, как это было принято в семьях высокородной знати, князя зачислили сержантом в гвардейский полк, но служил он недолго, военную службу оставил в чине капитана; при Александре стал сенатором и имел поручение надзирать за постройкой больницы в Москве; в начале же 1808 года неожиданно получил назначение на высокий пост малороссийского генерал-губернатора. Князь бывал "молод в кругу молодых людей", но при встречах со стариками "важен, тверд, часто горяч там, где видел неправду, не любим за то, но всегда уважаем, как муж нелицеприятный, прямодушный... Хвалил за глаза, бранил открыто".

Так говорили о Лобанове-Ростовском люди его круга. На самом же деле он был человеком своего класса и прежде всего верным исполнителем царской воли. Во многих помещичьих усадьбах вверенной ему губернии творились дикие беззакония, помещики издевались над обнищавшим людом, но "сиятельный" князь ничего этого не слышал и не видел, оставался глух к просьбам и мольбам угнетенных, ведь и сам он был одним из богатейших землевладельцев империи. И все же тщился показать себя, хотя бы в глазах местных обывателей, человеком либеральных взглядов, не препятствующим развитию ремесел и просвещению в крае; с этой целью он задумал и со временем осуществил постройку театра в Полтаве, одного из первых на Украине, он же завершил и строительство губернаторского и вице-губернаторского домов, а также здания для полицейского управления и дворянского дома, начавших строиться при его предшественнике князе Куракине.

Вот кто сидел в высоком удобном кресле просторного кабинета и не спешил

начинать разговор с первым малороссийским поэтом. Наконец Лобанов-Ростовский заговорил — голос его оказался глухим и хриплым, словно простуженным:

— Слышал о вас, сударь, давно и намерение имел познакомиться, но, как мне докладывали, вы пребывали в отъезде.

Котляревский ответил коротко и сдержанно: действительно, в продолжение двух последних лет по выходе в отставку он проживал в Санкт-Петербурге и только на днях воротился, уж очень соскучился по родному дому, в котором не был больше семнадцати лет, теперь, верно, никуда не уедет — поздно вато шататься по почтовым станциям, да и сыновний долг не позволяет надолго отлучаться из дому.

— А я, грешным делом, полагал: вы не из тех, кто подолгу засиживается под родным кровом, — усмехнулся князь. — В столице, чай, время протекало живее, нежели дома? И дело, видимо, занимало вас немало? Ведь дело, надо полагать, привело вас в столицу, а не простая любознательность?

Не трудно было догадаться: собеседник знает больше, нежели говорит, и Котляревский чистосердечно рассказал о своих тщетных попытках найти место в Санкт-Петербурге, однако, не желая показаться бедным просителем, которого решительно все отвергли, добавил, что ему предлагали службу по министерству внутренних дел, обещали кое-что и в иных учреждениях, только надо было подождать (это была истинная правда), однако он не мог ждать: как уже сказал, соскучился по родному дому, да и не молодой ведь.

— Сколько же вам?

— Разменял пятый десяток.

— На вид не больше тридцати.

— Я хорошо чувствую свои годы...

— Да вы юноша, милостивый государь! Мне пятьдесят, а я — между нами, надеюсь, — ловлю себя на мысли: а не ошибка ли это, не моложе ли я?

— Вы очень молодо выглядите, ваше сиятельство.

— Льстите, сударь?

— Я не способен льстить, ваше сиятельство.

— Благодарствую!.. Но дело не в том. Вот вы моложе меня на десяток лет, а сколько успели. Участвовали в южной кампании, доводилось и под Измаилом бывать. Ведь были там?

— Приходилось. Но, смею заметить, ваше сиятельство, завидовать нечему: там было довольно жарко.

— Разумеется, штурм — не прогулка после обеда. Но как же не завидовать?! Немало повидали, небось и пережили сколько... Война, однако, еще длится. Спор ведем с падишахом, а дело пока на месте. Никак не можем мирно потрактовать, а мир России ныне, как никогда, нужен... Бонапарте опять, слышно, недоброе замышляет, слишком гордо голову несет, как бы не пришлось снова с ним столкнуться. Нам очень нужен мир на юге, руки бы развязали... Впрочем, мы отклонились. Позволит время — поговорим и об этом. А теперь — к делу. Так где бы вы хотели служить, сударь? Мне

докладывали, что вы с этой целью искали встречи со мной.

— Совершенно верно, ваше сиятельство, намерен просить вас о службе, не хотел бы оставаться без дела.

— Что же вас интересует?

— Все, что сочтете возможным предложить.

Князь поднялся, подошел к столу, развернул картон, полистал какие-то бумаги. Котляревский поднялся тоже.

— Сидите, сударь, разговаривать стоя как-то не привык. — Князь снова опустился в кресло, приглашая жестом себя и Котляревского.

Иван Петрович чувствовал: чем-то он князю понравился, но поверить в это не смел, потому-то и не позволил себе ни единого лишнего жеста, держался строго, может, даже строже, чем в начале беседы. От "сильных мира сего" — он знал по опыту — можно ожидать чего угодно, они как осенняя погода: утром — ведро, к полудню — дождь, ветер, а к вечеру может случиться и снег.

— А как ваши дела издательские, ежели не секрет? Удалось ли еще раз издать поэму? Мне говорили, вы и ради этого проживали в столице? — спросил князь после небольшой паузы.

— Поэма издана, хотя стоило это немалого труда: пришлось самому заниматься корректурой, ибо людей, хорошо знающих малороссийский, почти нет в столице.

— Да, да, понимаю... Тем более приятно, что вы успешно справились со своей миссией... Ну а привезли с собой хотя бы лишний экземпляр?

— Отпечатано малое количество из-за недостатка бумаги... А то, что поступило в лавки, раскупили. С собой, разумеется, некоторое количество книг привез и, ежели разрешите, ваше сиятельство, почту за честь преподнести вам одну из них. — С этими словами Котляревский стремительно поднялся и, подойдя к столику у двери, взял оставленный там пакет. Он развернул его и подал князю поэму: — Прошу, ваше сиятельство.

Лобанов-Ростовский принял книгу, прочел надпись на титуле, удовлетворенно кивнул:

— Благодарствую! Обрадовали. Я ведь первые три части читал, а здесь, вижу, помещена и четвертая. Прочитаю. И дома у меня найдутся читатели, того гляди, до дыр зачитают. — Князь многозначительно усмехнулся: — Однако в книге вашей кое-кому изрядно досталось — потомки запомнят. Да, кстати, хотелось, сударь, спросить вас. В книге повсеместно выступают боги Олимпа, но, честно говоря, выглядят они настолько живо и так ведут себя, что заставляют поразмышлять, а боги ли они? Может, автор имел в виду кого-либо из ныне живущих не на Олимпе, а на нашей земле многогрешной?

Котляревский поймал на себе лукавый взгляд князя. Правитель края, несомненно, давно уже разобрался в поэме. Кривить душой перед ним, изворачиваться смысла не имело, но и совершенно открыться — тоже казалось небезопасным: князь всемогущ в Малороссии и способен на все, мало ли что о нем говорят — либерал, доступен. А не

скрывается ли за маской радушия совершенно другой человек? Не в его ли имениях, разбросанных по всей империи, мрут голодной смертью люди? Это тоже рассказывают, но шепотом, чтобы, чего доброго, не достигло княжеского уха.

В одно мгновение Иван Петрович оценил коварную суть вопроса и ответил спокойно, сдержанно, может, даже суховато:

— Книга моя, ваша сиятельство, как вы понимаете, литературное произведение, а это дает автору право на фантазию, даже на некоторое преувеличение... Я имел в виду легенды, старые легенды, перефразированные на наш малороссийский лад, и героев своих одел я, как вы, вероятно, заметили, в малороссийские одежды, они не прочь и выпить изрядно, и хорошо закусить, причем предпочитают малороссийскую кухню... Умный читатель поймет, что к чему, а я на такого читателя и уповаю.

Лобанов-Ростовский еще раз открыл и закрыл "Энеиду", но ничего не сказал. Странно было видеть в руках князя — на пальцах сверкали дорогими камнями кольца — книгу, в которой громко, во весь голос заявила о себе, в сущности, мужичья правда, да еще на малороссийском языке, требуя всесветного внимания. Руки эти могли сделать все, что угодно, достаточно росчерка пера — и книга исчезнет, не поздоровится и автору; однако руки эти лежали пока на книге спокойно, без движения, словно притаились на какое-то время, чтобы в следующую секунду сжать пальцы в кулаки и... В кабинете по-прежнему стояла тишина. На портрете царя, на большой хрустальной люстре, на высоких бокалах на подносе играло утреннее солнце.

— Вы мне нравитесь, сударь, — медленно произнес князь. — И я буду рад видеть вас среди гостей на наших раутах... Что касается службы... Не пошли бы вы ко мне? В канцелярии очень нужны знающие люди.

В канцелярию? Значит, снова канцелярист? Правда, рангом повыше, но все равно — письмоводитель. Значит, опять потекут бумаги — исходящие, входящие и прочие, коим несть числа. Конечно, сам он их исполнять не будет, корпеть над ними станут другие, но разве это меняет суть дела? Быть чиновником? Отвратить глаза от живой жизни? Он до сих пор помнит человека с водянистыми глазами, вислыми бакенбардами, скрипучим голосом. Новожилов из Новороссийской канцелярии останется в памяти навсегда, останется и отвращение, поселенное им к канцелярской службе. Нет! Куда угодно, только не в канцелярию! Но куда же? Хорошо бы в уездное училище. О гимназии, верно, и мечтать не следует...

— Вашим предложением, к сожалению, воспользоваться не смогу, — ответил тихо Котляревский, — для канцелярии я уже, чувствую, не гожусь. С вашего позволения, готов пойти на службу по ведомству просвещения... — Вспомнив о посещении Огнева, добавил: — Правда, господин Огнев, с коим несколько дней тому назад имел честь встретиться, не обнадежил, ибо он лично не рассчитывает на отставных капитанов.

— Так он сказал? — спросил князь и рассмеялся. — Не рассчитывает. А кого же он ждет?.. Узнаю Огнева. Я бы, пожалуй, у него тоже вынужден был остаться без места, ведь и я отставленный от военной службы, причем тоже в чине капитана. — Князь задумался, потянулся за картоном на столе, полистал бумаги. — А что, ежели в

пансион? Да, именно! В пансион для детей бедных! Крайне надобен надзиратель. Там уже был кто-то, но мне рассказывали о нем нечто странное. Капрал в прошлом, он вообразил, будто перед ним по меньшей мере арестанты, но никак не дети. Пришлось удалить. Ныне в мясницком цехе подвизается, — усмехнулся князь. — Так что, если не возражаете, предлагаю пансион. Подумайте — время у вас есть. Дом воспитания детей бедных дворян? Для Полтавы нечто доселе неизвестное, совершенно новое.

— Мне рассказывали, — продолжал князь. — Дом сей открыть предложил, когда учреждалась губерния, известный сочинитель комедии "Ябеда" господин Капнист, ныне проживающий в своем родовом поместье в Миргородском уезде. Предшественник мой князь Куракин одобрил его проект, и мы возражать не станем: пусть будет при открывшейся гимназии и Дом для детей бедных дворян.

Раздумывать не имело смысла, сам же стремился служить по ведомству просвещения. Зачем же откладывать? Сейчас надо и решать.

— Я, ваше сиятельство, сей минут готов приступить к обязанностям надзирателя. Мне не о чем больше размышлять. Благодарю вас!

— Вот как! Ну что ж, быть по сему. — Князь поднял со стола небольшой колокольчик и дважды позвонил. Вошел адъютант. — Извольте, сударь, — обратился к нему князь, — немедля учинить предписание на имя директора училищ. С сего дня мы определяем господина Котляревского надзирателем Дома бедных с соответственным денежным довольствием. Предписание вручите капитану сей же час.

Поклонившись, адъютант вышел. Правитель края, взяв Котляревского под локоть, подвел к окну.

Наискосок через огромную площадь катила тяжелая карета; неподалеку прогуливались два драгунских офицера. Из подъезда Дома присутственных мест выбежал чиновник, увидев проезжавшую карету, сорвал треуголку и, блестя круглой лысиной, низко, чуть ли не до земли, отвесил поклон.

— Живете-то где, сударь? — после минутного молчания спросил князь.

— У самого обрыва Ивановой горы, за Успенским собором, ваше сиятельство.

— Место отменное, вид с горы весьма приятен, особливо поутру. Должно быть, пишется там sporo?

— Споро читается, а пишется слишком медленно, особливо с годами, да и перерыв у меня был, в армии ведь недосуг, а ныне чувствую себя так, будто впервые перо взял в руки.

— Так кажется, а начнете — и все пойдет у вас...

Князь был явно чем-то озабочен и думал об этом. Пора было уходить, но откланяться без позволения Котляревскому казалось неудобным.

Вслед за каретой на Круглую площадь вкатил большой чумацкий обоз с солью. Длинные мажары поскрипывали под самыми окнами дворца, неторопливо, размеренно шагали возничие, это удивило Ивана Петровича. Надо же! Не один день и ночь провели они в дороге; под степным солнцем и дождем, на ветрах продубилась их кожа, темный загар пылал на обветренных лицах, на свитках лежал толстый слой пыли;

усталые, а шли так — твердо и размашисто, — словно и не было позади у них сотен верст трудного пути.

— Соль привезли, — кивнул князь. — Наконец-то. Много ее потребуется и для солонины, и для рыбы...

Котляревский вопросительно взглянул на правителя края:

Вы сказали — солонины? Неужто?..

— Да, милостивый государь... Может, и рановато об том думать, но, так или иначе, попомните мое слово: не избежать нам столкновения с богоотступником Бонапарте. Он не остановится, пойдет дальше, к нашим рубежам. — Светлые, в прищуре, глаза Лобанова-Ростовского смотрели далеко, значительно дальше и пустыря, и расстилавшегося за пустырем поля. — Я задерживаю вас, сударь?

— Нисколько, ваше сиятельство, это я вас отрываю от дел более важных.

— Пустяки. Был рад, сударь, познакомиться.

— Благодарю вас... Я тотчас, если позволите, отправлюсь к директору училищ. Честь имею! — Котляревский неспешным шагом пересек кабинет, у двери еще раз повернулся, отвесил поклон все еще стоявшему у окна князю.

Майор Смирницкий ждал Котляревского в приемной с готовым предписанием.

— В случае надобности, господин капитан, — сказал он, вручая Ивану Петровичу небольшой аккуратно запечатанный пакет, — обращайтесь в любое время — всегда к вашим услугам.

Адъютант был любезен, нельзя было не видеть его искренности, и Котляревский от души поблагодарил его и в свою очередь пригласил к себе: он гостям рад, а особенно таким, как господин майор, — не часто встретишь в глухой провинции, подобной их благословенной Полтаве, истинного любителя отечественной словесности.

Получив предписание, Котляревский заторопился: он хотел еще сегодня побывать в гимназии и, может быть, сегодня же приступить к своим обязанностям.

Оставшись в кабинете один, Лобанов-Ростовский некоторое время стоял у окна, наблюдая, как напрямик через Круглую площадь шествует инвалидная команда, а рабочие, занятые на установке монумента Славы, что-то говорят вслед, и, верно, едкое, насмешливое, ибо старший команды вдруг обернулся и показал им кулак. Вот еще забота — инвалиды. А кем заменишь?

Князь вернулся к столу, еще раз прочел надпись на титуле книги: "Глубокоуважаемому его сиятельству... князю... искренне..." Полистал, прочел первую строку, затем вторую и так, стоя, пробежал всю страницу. Потом еще одну... Боги. Все боги. Но какие? В каждом господском доме найдешь подобных "небожителей". Да, надо отдать должное господину пииту, человек он далеко не глупый. Ловко сумел обойти бдительную цензуру, обвести вокруг пальца — не придерешься. Выдумка, легенды — весь ответ. "Умный читатель поймет". Разумеется, поймет. Ибо мудрее читателя, нежели весь люд, населяющий край, нет. Это пиит знает. Одно утешение: народишко сей, благодарение богу, пока темен, как осенняя ночь, школы для него будут весьма не скоро. А пока... Князь поднял голову от книги, тонкие губы его скривились в усмешке

— а пока надобно привлечь господина пиита поближе, пусть идет хотя бы и надзирателем. Опытен, знающ, редко, по нынешнему времени, встретишь такую образованность. А посему следует обласкать, выразить даже доверие, приблизить, ибо, по правде говоря, мало знающих людей вокруг, а какой рачительный хозяин упустит случай и откажется от такого человека? Нет, он, князь, не так расточителен. Нельзя пренебрегать никем, даже потенциальным противником. Впрочем, пиит будет в его подчинении, глаз с него не спустят, стало быть, и поправить его всегда можно. Ну, а ежели что — рука не дрогнет. Князь отодвинул книгу, достал коробку с табаком, набил трубку, закурил и, выпуская дым, загадочно усмехнулся...

У подъезда Котляревский вынужден был задержаться: дорогу преградила карета, из которой вылез грузноватый чиновник в шинели с двойным воротником и сдвинутой почти на глаза треуголке. Поравнявшись с Котляревским, чиновник поднял голову и остановился как вкопанный:

— Ты ли это?

— Федор?

Миклашевский обнял Котляревского, привлек к себе, всхлипнул:

— Иване!

Несколько минут они стояли обнявшись, не обращая внимания на удивленного швейцара. Потом оглядели друг друга, Котляревский несколько иронически смотрел на отяжелевшую фигуру бывшего однокашника:

— А ты преуспеваешь.

— Э-э, ерунда... Скажи лучше, надолго ли? Не укачешь ли снова?

— Остаюсь, и, кажется... надолго. Вот только что был наверху.

— У их сиятельства? — Федор понизил голос, задержал дыхание. — Стало быть, место получил, не к нам ли, в канцелярию?

Котляревский отрицательно качнул головой:

— Что мне в канцелярии делать, ежели там ныне такие служаки, как ты, друг мой. Намерения мои скромнее.

— Прибедняешься... В чине капитана и... Да нет, смеешься? Когда-то был протоколистом. Мог бы и дальше пойти... выше. Но куда же ныне? — широкий нос Миклашевского раздувался, он не отпускал руки Котляревского, заглядывал в глаза, словно стараясь заручиться заранее расположением друга: не часто князь принимает, а коль принял, то и место отвалил хорошее, придется еще шапку ломать перед бывшим однокашником. — Скрываешь?

— Скрывать нечего... Надзирателем в Дом для бедных назначен. Слышал о таком?

— В Дом для бедных? — недоверчиво переспросил Федор: не шутка ли? Бывший друг способен на это. Но Котляревский, заметив в вопросе недоверие, утвердительно кивнул:

— Предписание в кармане.

Миклашевский как-то странно — не то печально, не то облегченно — вздохнул, отпустил руку Котляревского и, сразу потеряв интерес к разговору, произнес:



— Разумеется, и то служба. — И заторопился: — С докладом бегу. Сам понимаешь — ждет, неудобно. А ты, значит, того... Ну, прощай! Занят. Как белка в колесе... — Не договорил, устремился к лестнице.

— Торопись, Федор!.. Но гляди: тут лестницы крутые, как бы не споткнулся.

Миклашевский не оглянулся. Поднимаясь по ступенькам, придерживая полы шинели, он уже ничего не слышал, мысленно был там, в приемной, стоял под дверью, переступал порог кабинета, про себя повторяя слова, которые продумал еще накануне и которые теперь надобно было так сказать, чтобы прились по душе князю. О неожиданной встрече у подъезда он уже почти не думал: зачем обременять себя лишними хлопотами? Может, позже, как-нибудь на досуге, невзначай он и вспомнит и, возможно, даже пожалеет друга юности: да, низковато, почти на первой ступени чиновничьей лестницы, оказался один из лучших когда-то семинаристов, а вот он, Федор Миклашевский, тоже недоучившийся семинарист, сын давно почившего в бозе секунд-майора, ныне — помощник столоначальника, часто к тому же его замещающий. С ним, Миклашевским, ныне каждый чиновник губернской канцелярии за честь почитает раскланяться, поймать взгляд, а как ищут его же, Миклашевского, расположения многочисленные просители: негоцианты, бывшие военные, богатые обыватели и даже — шутка сказать — крупные землевладельцы. Разумеется, бывший однокашник тоже станет искать его расположения, но он, пан Миклашевский, не в силах растрачиваться на всех родных и знакомых. Так-то, милые мои....

Котляревский глядел вслед грузноватой, но весьма еще проворной фигуре человека в шинели, идущего по лестнице вверх, и горько посмеялся над своей наивностью: на что надеялся? Вспомнив вдруг прошлое, удивленно спросил себя: неужто когда-то был у него друг по имени Федор Миклашевский, отчаянный бурсак? Неужто он, Иванко Котляревский, в дни летних каникул, простившись с семинарией, покинув отчий дом, странствовал с этим человеком по родному краю, коротал с ним августовские ночи в открытой степи, участвовал в школьных интермедиях, а став старше, бегал на вечерницы к мазуровским девчатам, мечтал о грядущем, с упоением, забравшись куда-нибудь в тихий уголок, читал с трудом раздобытые рукописные книги великого Сковороды? Неужто все это было? Неужто он, Котляревский, позволял себе мечтать вместе с этим обрюзгшим и, несмотря на кажущуюся проворность, неуклюжим в своей добротной шинели с двойным воротником человеком? Все теперь кануло в Лету — навеки, навсегда! Прежнего товарища больше нет, исчез, растаял, как растаяли, развеялись и те далекие дни и ночи в родных степях. Горько? Но что изменишь?

А может, Федор и не виноват? Может, своей метаморфозой он обязан всесокрушающему времени, обстоятельствам, что сильнее человека? Возможно, и так. И все же — виноват! Ежели ты человек — обязан быть им при любых обстоятельствах.

Переступив порог гимназии, вслушиваясь в неясный шум, наполнявшим коридоры, Иван Петрович почувствовал вдруг, как стало легче на сердце, исчезла обида и появилось странное желание посмеяться над собой: из-за чего расстроился, словно юнец, не видевший жизни, не знающий, как эта жизнь калечит порой души? Ты нашел

свое место, службу, которую хотел, — чего же отчаиваться? Иван Петрович отдышался. Странно, никто не остановил, не спросил, зачем он здесь, к кому идет, ведь он посторонний, хотя скоро — может, сегодня — станет здесь своим человеком и будет приходить сюда каждый день.

Котляревский хотел было постучать в одну из дверей, но из комнаты напротив вышел высокий сутуловатый господин в черном сюртуке, поклонившись, Иван Петрович спросил, где бы он мог видеть директора училищ господина Огнева. Человек в сюртуке указал на комнату, из которой только что вышел:

- Господин статский советник здесь.
- Мне к господину Огневу, а не к статскому советнику.
- Сие звание носит господин Огнев.
- Благодарю вас! Запомню.

Учитель — Иван Петрович догадался, что это был учитель, — пошаркивая сапогами, удалился в конец коридора, где из полуотворенной двери выглянули две стриженные головы и тут же скрылись.

Какая досадная оплошность: оказывается, директор училищ и статский советник — одно и то же лицо. Это первая твоя ошибка, господин надзиратель, гляди не делай новых.

Ивану Петровичу пришлось постучать в дверь дважды, чтобы услышать наконец приглашение войти.

Огнев был в комнате один, в наброшенной на плечи шинели, видимо, собирался куда-то уходить. Увидев посетителя, удивленно приподнял седеющие брови:

— Вы, сударь? — Снял с вешалки треуголку. — Ваше дело еще не рассмотрено. — И совсем уже сухо заключил: — Придется подождать, но, полагаю, предложить вам ничего не смогу и в будущем, так что прошу прощения, сударь.

Котляревский внутренне усмехнулся: до чего же интересный человек, даже не выслушав, зачем к нему пришел посетитель, холодно бросает: "Придется подождать". Хотя, может быть, Огнева и стоит пожалеть: приехал из сияющей Северной Пальмиры, где, по слухам, занимал высокое место в главном управлении училищ, мечтал, разумеется, о более высоком чине и более обширной деятельности на ниве просвещения, может, даже о министерском кресле, а послан в новообразованную губернию на должность директора училищ, в городок, где, кроме нескольких трактиров, кофейных домов, гербергов и бесконечно длинных вечеров с игрой в карты и распитием горячительных напитков, ничего нет и в ближайшие несколько лет вряд ли предвидится. Конечно, он мог бы отказаться, но тогда, видимо, следовало подать в отставку, а отправляясь в Полтаву, можно было еще надеяться, что его вспомнят, что едет он туда на время. Нет, не знал господин советник, что придется ему прожить на новом месте не один десяток лет и пребывать в одной и той же должности.

Огнев застегнул шинель и удивленно взглянул на посетителя, который и после сказанного почему-то не уходил и, казалось, нисколько не был огорчен отказом.

- Вы, сударь, что-то еще хотели?

— Да, одну минуту вашего внимания. Дело в том, Иван Дмитриевич, что у меня предписание на ваше имя. Вот, прошу вас. — С этими словами Котляревский вынул из-за обшлага шинели и подал несколько озадаченному Огневу конверт, надлежащим образом опечатанный большой сургучной печатью. Оглядев печать, скорее по привычке, нежели с целью проверить, цела ли она, Огнев взломал ее и разорвал конверт.

Прочел предписание, затем еще раз. В бумаге было несколько фраз, и, чтобы прочесть их, не требовалось много времени, но Огнев читал медленно, будто желал удостовериться, что перед ним не поддельное письмо, а настоящее. Вдруг он — о чудо! — преобразился, холодные серые глаза его потеплели, на скулах вспыхнул румянец; пригласил Котляревского присесть, хотел было тут же снять свою шинель и треуголку, но Иван Петрович извинился и спокойно сказал:

— Я, разумеется, приду к вам, и не раз, но сейчас я бы желал...

— Да, я понимаю, вы бы желали тотчас?..

— Совершенно верно, Иван Дмитриевич. С вашего позволения, я бы посетил Дом, то есть место моей будущей службы.

— Извольте. Я как раз еду в ту сторону.

8

Невысокие воротца. Квадратный вытоптанный двор. Дом в восемь окон. Длинный, приземистый, крытый камышом.

За домом — сад, уже облетевший, черные деревья тянут к неласковому небу тонкие беззащитные ветви. В глубине двора, под высоким плетнем, — колодец; журавль, раскачиваясь, перечеркивает низкое серое небо надвое. Колодец почему-то не закрыт — недоглядели; а ведь здесь дети, никто и не заметит, как беда случится. О чем думаешь, господин надзиратель, не успел еще порога переступить, а уже недостатки ищешь?

Огнев всю дорогу повторял одно и то же, будто дятел долбил: нелегко, может, даже очень нелегко будет, но вы согласились, сударь, не жалуйтесь после. Дети — они, конечно же разные, особенно трудные те, которые не понимают, как важно прилежно учиться, быть внимательными и послушными, а посему приходится вести с ними бесконечные словесные дуэли, то есть убеждать, просить, доказывать, но часто, как это и случается, у таких детей отсутствует слух, тогда — волей-неволей — применяется, как бы сказать поточнее, в некотором роде... принуждение.

— Имеете в виду... телесные наказания?

— Иногда и... это.

— Но сие предосудительно, более того, я слышал: сие запрещено.

— Вы так думаете? — Левая бровь на сухом лице директора училищ вскинулась вверх: как вы, сударь, наивны. Но сказал Огнев другое: — Впрочем, да, запрет существует... Однако поживете — и убедитесь сами, что в нашем деле важнее и какая из метод лучше. Педагогика, сударь, наука древняя и, несмотря на то, весьма, весьма не изучена. Каждый в ней свои стежки открывает.

Коляска остановилась, можно было выходить, но Огнев не торопился, он продолжал развивать свои мысли: начал рассказывать, как отличается воспитание в одной стране от воспитания в другой, вспомнил древнюю Спарту, где слабых детей сбрасывали со скал в море, а в юношестве воспитывали выносливость и смелость; говорил о Китае и народах Индии, упомянул имена Коменского и Песталоцци, осудил метод воспитания Жан-Жака Руссо.

— Я сию методу не приемлю, впрочем, ее мало кто и знает у нас. Руссо кличет ближе к природе, а ведь так весьма легко воспитать и свободомыслие.

Котляревский, чтобы не истолковали его возражения как излишнюю самоуверенность, молчал. Он не верил, не представлял себе, что детей, отданных родителями на воспитание, кто-то смеет наказывать за то, что они не смогли быстро, как, может, хотелось господам наставникам, уразуметь преподанные уроки. И это в наш просвещенный век! Неужто невозможно ребенка, что как воск мягок, убедить в пользе учения? Неужто нет способа вызвать у отрока любознательность к непостижимо захватывающим тайнам науки?

— Не отрицаю, сударь, — продолжал говорить Огнев, поднимаясь на крыльцо по скрипучим ступеням, — не все одинаковы, имеются и прилежные, работать с такими — одно приятство. — Высоко поднимая ноги, обутое в глубокие галоши, он первым вступил в темные сени. — Но есть у нас и случайные на стезе науки, это беда наша. Забота, правда, об этом, прежде всего, господ учителей, хотя и надзиратель не должен оставаться в стороне в сем деле.

Полутемные сени выходили в длинный узкий коридор, по сторонам которого располагались комнаты — три слева и три справа, одна — в самом конце коридора. В углах — иконы и лампы на тонких медных проволоках. Пахло воском и сырыми поленьями, что лежали у печек.

— В доме пять спален, по восемь-десять отроков в каждой, — сказал Огнев. — В конце коридора — кухня и столовая зала, а вот здесь комната надзирателя. Ныне обязанности его исполняет дежурный помощник унтер-офицер Феодосий Капитонович.

Огнев толкнул низкую, обитую войлоком дверь в стене направо, но она не подалась, и он нетерпеливо постучал:

— Феодосий, отзовись-ка!

— А кто там?

— Отвори.

— Сей минут)

За дверью послышался скрип половиц, кряхтенье, шаги, наконец дверь распахнулась, и на пороге появился унтер-офицер. Он был заспан, взлохмачен, в мундире и высоких сапогах, но мундир давно, как видно, не глажен, сапоги не чищены, а стрелки усов — особая гордость подобных служивых — в гусином пуху. Увидев директора гимназии, а с ним незнакомого военного в чине капитана, унтер сразу подобрался, отдал честь и, пристукнув каблуками, крикнул:

— Смирна-а! Слуша-а-ай!..

— Очумел, братец, — поморщился Огнев. — Где находишься? Нешто тебе казарма тут?

— Виноват, привиделось, — заморгал красными глазами Феодосий.

— Поменьше употребляй, уразумел? Тогда и не привидится.

— Так точно!

— Да уж точно... Но скажи, что у тебя тут? Все живы? Чем занимаются?

— В мои часы ничего особенного не случилось. Воспитанники отобедали и занимаются.

— Чем?

— Кто чем. Одне читают, другие пишут, а некоторые задачки высчитывают... Правда, один сегодня оплошал малость. За обедом. Аполлон Кульчицкий. Со второго класса. Костью свиной подавился, известное дело, за лекарем послали, а их благородие, будучи в некотором подпитии, ни ехать, ни идтить не в состоянии, тогда я... — Унтер тронул, словно нечаянно, усы, сиял с них гусиное перышко, — тогда я собственноручно дал оному балбесу, то бишь отроку, раза два по шее — и она того-с...

— Выскочила?

— Так точно, вашество, и ныне лежит на предмет обозрения. — Феодосий указал на стол, где рядом с солонкой и деревянной табакеркой лежала небольшая желтая косточка.

Огнев брезгливо поморщился.

— Можешь выбросить... Что это тут у тебя, братец, дух тяжелый такой? Пошто окно не отворишь?

— Окно я заколотил, но позвольте, сей минут отворю.

— Потом... А пока вот что сделай. Собери в столовой зале всех воспитанников, буду иметь честь представить господина капитана, назначенного надзирателем.

Выпятив грудь, Феодосий повернулся к Котляревскому:

— Очень рады, ваше благородие, потому как заждались, спасу нет. Им, отрокам, нужен глаз, да и... рука твердая, а я, сами видите, уже не того-с... Они же, что твои телки годовалые, балуют.

— Хорошо, Феодосий, хорошо, — нетерпеливо покашлял Огнев, — потом расскажешь, а сейчас собери всех немедленно.

— Слушаюсь.

Пока Огнев и Котляревский оставались в комнате, унтер обошел спальни и собрал всех воспитанников в столовой, которая служила и актовым залом. Слышно было, как хлопают двери, а Феодосий побрякивает: "Шевелись, сами господин директор пожаловали... и надзиратель с ними новый". Все явственнее становился нестройный топот ног.

— Идут, — как бы с сожалением сказал Огнев. — Иной же раз, бывало, час прожدهшь, пока соберутся.

— Феодосий — он кто? — спросил Котляревский.

— Местный житель, одинок яко перст, участник турецкой войны, ранен был и в

отставку посему вышел. В пансионе имеется еще один помощник надзирателя — бывший семинарист, изгнан из семинарии за пристрастие к оковитой.

— А как же теперь?

— Что именно?

— В каком виде является на службу? Пристрастен к зелию до сих пор?

— Не без греха. Но кто без того?.. Предупрежден, ведет себя скромно. По правде ежели, я бы изгнал обоих, но кем заменишь? Да и не каждый пойдет: плата низкая, а колготни с детьми — скоро сами убедитесь... — Огнев не договорил, запнулся, словно бы предупреждал, а может, и запугивал, в надежде, что Котляревский откажется от назначения. В самом тоне, разговоре Огнева о помощниках надзирателя легко было уловить и невысказанную обиду; почему он, капитан, обошел его и сам обратился к князю?

Иван Петрович больше ни о чем не спрашивал. Да, Огнев дал понять, что не скоро он, капитан, удостоится его доверия, и это было огорчительно: чем заслужил подобное отношение? Без его, Огнева, ведома получил назначение? Но ведь был у него, просил. Ах, об том уже забыто!..

Вошел Феодосий, с трудом переводя дыхание, доложил: собраны все, отсутствует Замчевский, отпросился домой и пока не вернулся, и еще нет одного — Мокрицкого Федора, отлучился без спроса.

— Как без спроса?

— Сам не знаю, вашество... Убег, стало быть.

— Разберись, и ежели что... сам понимаешь, дабы впредь искоренить подобное...

— Слушаюсь!

Едва вслед за Огневым Котляревский переступил порог низкой и длинной комнаты, именуемой столовой залой, как на него тут же уставились десятки глаз. Серые, черные, голубые, карие — они смотрели испытующе, с подозрением, надеждой, следили, не пропускали — Иван Петрович был в этом уверен — ни одного его движения.

Он знал; ничто не укроется от этих глаз, даже ученики, казавшиеся равнодушными, безразличными, тоже следят за ним, видят его смущение, замечают, как он побледнел, как на лице мелькнул и погас страх. Не взял ли он на себя слишком трудные обязанности? Когда-то он, будучи учителем, не смог справиться с одним лишь учеником — так и не добился от молодого Томары любознательности, стремления самому доискиваться правильного решения наипростейших задач, а в имении Голубовича было совсем иное. Там помещичьи отпрыски отнеслись к нему, как и должно ученикам, он быстро подружился с ними, и мальчишки ходили за ним по пятам, хорошо учились...

Имение Голубовича... О чем он вспомнил? Как давно это было и... как свежо в памяти. Словно вчера только разговаривал с Марией, провожал ее домой поздно вечером, а она, прощаясь, сказала, что любит и будет ждать его одного... Больше они не встречались. Шестнадцать лет миновало, а он все помнит...

— Итак, дети, — заскрипел тягучий бесцветный голос Огнева, — с сегодняшнего дня вашим надзирателем будет господин капитан Котляревский Иван Петрович...

За столами сидели его — теперь уже его — воспитанники, с этой минуты он за них в ответе, вон за того — рыжего, развалившегося за столом, и за черненького, напряженно смотревшего на Огнева; и того, что плохо пострижен и не застегнут; и того — с ухмылкой на пухлых губах; и вон того — равнодушно поглядывающего по сторонам. Боже, какие они разные! Как же с ними разговаривать, чтобы поняли, поверили, что он им друг и желает только одного — взаимного доверия.

— Господин надзиратель, — монотонно продолжал Огнев, — единственный, кто имеет право отпускать вас домой на каникулы, разрешать ваши повседневные нужды. Ему предоставлено право спросить с каждого, ежели будет за что... Но я надеюсь, вы будете прилежны и не станете огорчать господина Котляревского и... меня. — Огнев помедлил, поправил жесткий стоячий воротник мундира. — Он и уроки станет проверять, и будет с вами в часы вашего досуга, хотя и не всегда. Господин капитан — человек военный и любит порядок, послушание. Вот так-с. От вас самих будет зависеть его к вам расположение...

Огнев говорил бы, вероятно, еще долго, но время близилось к полудню, а он привык полдничать в один и тот же час и потому, вытащив из кожаного футляра часы, щелкнул крышкой и, отведя руку подальше от глаз, посмотрел на них, затем снова сунул в футляр.

— Итак — все ясно? Оставляю вас, господин капитан. До свиданья!

Воспитанники встали. Огнев попрощался с Котляревским.

— Благодарю вас, Иван Дмитриевич!.. Завтра поутру я буду у вас с докладом... Позвольте проводить вас?

— Не утруждайтесь.

Унтер проворно пошел впереди директора, широко распахнул дверь.

Котляревский стоял у окна и смотрел во двор: Огнев не торопясь прошествовал к коляске, все так же не торопясь сел в нее, кучер тотчас натянул вожжи, и коляска, чуть покачиваясь, выплыла со двора.

9

Котляревский и воспитанники остались в столовой зале одни. Огнев уехал, и больше ни сегодня, ни завтра его не будет, да и чем он поможет надзирателю, если тот не сумеет найти общий язык с детьми? Найти общий язык... Это первое... Затем предстоит еще многое, и прежде всего — ознакомление с хозяйственными делами: каковы запасы овощей и картофеля, хватит ли их на зиму, как закупаются другие продукты, сколько и кто не уплатил за содержание в Доме, есть ли топливо, как одеты и обуты воспитанники, имеются ли учебники и есть ли на чем писать? Все это он обязан знать, причем чем скорее, тем лучше. Но сначала надо познакомиться с детьми.

С чего же начать? О чем спросить, чтобы не насторожить, не оттолкнуть?

— Итак, мы познакомились. — Котляревский сказал это просто, обыденно, словно вел разговор уже давно и прервал его на полуслове, чтобы, передохнув, продолжить. —

Хотя познакомились мы, я бы сказал, наполовину. Вы меня знаете, а вот я вас не совсем. Как вы живете, тепло ли вам в спальнях, не остается ли кто голодным после обеда, какие у вас сегодня уроки — ничего я этого не знаю, одним словом, в полном неведении и поэтому очень рассчитываю на вашу помощь...

Один из воспитанников, усмехнувшись, что-то шепнул соседу, тот тоже усмехнулся, но, заметив внимательный взгляд надзирателя, мгновенно спрятал улыбку. Иван Петрович дружелюбно — что удивило всех воспитанников, ибо ничто не могло скрываться в этом зале, — сказал:

— Догадываюсь, о чем вы думаете, потому и улыбаетесь. Вот, мол, сам о себе не рассказывает, а ему все выложи. Вы правы. Ну что ж, слушайте. Как видите, я капитан, но в отставке, служил в армии, причем не год, не два, а целых двенадцать. Судьбе было угодно, чтобы я принял участие в русско-турецкой кампании. Был под Измаилом, в те годы турецкой крепости на Дунае...

— И Феодосий там был! — выкрикнул тот самый воспитанник, который минуту назад усмехался. Он оглянулся, словно приглашая товарищей разделить его открытие.

— Там были многие, — продолжал спокойно Иван Петрович. — Но с господином унтер-офицером мы не встречались, наверно, в разных частях служили. Хочу сразу заметить: старого человека называть только по имени не принято, сие обидно. Запомните, моего помощника зовут Феодосием Капитоновичем,

— Копытом, — шепнул кто-то, Котляревский сделал вид, что не слышал, и продолжал:

— Старых людей надлежит уважать. Каждый из вас таким станет в будущем. Так вот, отслужил я в армии и нынче буду у вас.

Воспитанники молчали. Вдруг несмело поднялась чья-то рука, Котляревский едва видел ее из-за широкой спины впереди сидящего ученика.

— Кто поднял руку? Прошу встать.

Встал невысокий светловолосый мальчуган.

— Как зовут тебя?

— Лесницкий Михаил.

— Что же ты хотел, Лесницкий?

— Расскажите, как там... под Измаилом, было? И кем вы, господин капитан, служили?

— Кем я служил? — Иван Петрович задумчиво поглядел на мальчика. — В последние годы службы пребывал в должности адъютанта командующего корпусом... Что касается рассказа о штурме Измаила, то... не сегодня. Как-нибудь соберемся и поговорим.

— В воскресенье?

— Хорошо... А сегодня меня интересуют ваши уроки. Кто не все сделал, поднимите руку.

Руки поднимались несмело, не сразу, сначала одна, потом еще две, еще...

— Что ж так? Объяснитесь.



— У меня учебника латинской грамматики нет, — сказал Лесницкий.

— И у меня!

— А у меня естественной истории.

Котляревский озабоченно смотрел на ребячьи лица, заметил, что некоторые воспитанники тяготятся беседой. Вот этот, сидящий за третьим столом, веснушчатый, русоволосый, все почему-то оглядывается; другой, справа от него, — худой, смуглый — вздыхает глубоко и часто, узкие плечи поникли. Остальные тоже ведут себя беспокойно, перешептываются, прячут глаза. Терпеливо выждав, когда в зале прекратятся перешептыванья, Иван Петрович сказал:

— Еще два слова — и я отпущу вас... Не знал, что у вас не хватает учебных пособий. Я думаю, надо составить список всех книжек, коих недостает, чтобы представить его директору господину Огневу. Кто это сделает? Может, ты, Лесницкий?

— Хорошо, господин надзиратель.

— Срок — послезавтра. И последнее. Давайте сделаем так: каждый из вас принесет из дому одну-две книжки. Я принесу тоже десятка два книг и журналов, попросим и господ учителей помочь. Таким образом у нас соберется немного книг для общего пользования.

— Верно!

— Библиотека?!

— Да, библиотека. Договорились?

— Договорились!

— Что касается пособия по латинской грамматике, то у меня их имеется два, завтра принесу, и пользуйтесь по очереди.

Можно бы уже и заканчивать беседу, но Иван Петрович понимал, что самого важного — о подготовке уроков на завтра — не сказал еще, а он должен подумать об этом уже сейчас, если ему не безразличны успехи воспитанников.

— Еще одно слово, — сказал он после небольшой паузы. — До конца дня я буду здесь, обойду спальни, посмотрю, как живете, ну, и ежели кому трудно решить задачу, заданную на завтра, или иная будет заминка, обращайтесь ко мне.

Лица мальчишек засветились, даже те воспитанники, кто вздыхал и не поднимал глаз, заулыбались. Невольно подумалось: каким надо быть осмотрительным, чтобы не спугнуть, не рассеять первые знаки доверия.

— Ну что ж, пожалуй, все пока.

Но оказалось, не все. Котляревский снова увидел поднятую руку. Тонкая и худая, онах почти до локтя высунулась из рукава рубашки и одиноко тянулась над головами товарищей.

— Что у тебя?

Воспитанник — тот, что не поднимал головы и часто вздыхал, шмыгнул острым носом:

— Я вот...

— Назови себя.

— Андреа Папанолис.

— Слушаю тебя, Андреа.

На Котляревского смотрели несмелые, о чем-то молящие глаза.

— А... сечь, ну, бить не станете, ежели ошибусь... с уроками?

В вопросе — трепетная надежда и режущая душу боль. Так мог спрашивать человек, который слишком много пережил, перечувствовал. Да, не сладко, видимо, приходилось мальчику, раз осмелился спросить такое. Но кто его обижает? И за что? Может, потому, что не русский? Иван Петрович вспомнил: когда он бегло просматривал списки воспитанников, то обратил внимание на эту фамилию, спросил Огнева, кто сей воспитанник. Тот объяснил: Андреа Папанолис — один из сыновей грека-негоцианта, проживающего в Кременчуге и скупающего хлеб для перевозки на юг по Днепру. Мальчик второй год учится в гимназии и, как выразился директор училищ, "весьма смышлен".

Кто же его обижает? Ежели это так, он тут же примет меры. Какие именно, Иван Петрович еще не знал, но чувствовал, что не успокоится, пока не выяснит все до конца.

— Тебя здесь обижают, Андреа?

Мальчик заговорил взволнованно и торопливо, словно боясь, что ему помешают, прервут:

— Не только меня, господин надзиратель, — всех... Это-это бывший господин капрал и его помощники тоже, особливо когда приходят пьяные. Это называется уроками воспитания впредь. Я один раз спросил — за что? А меня сразу положили на лавку, вон ту, что под окном, стащили порты. Теперь больно сидеть. И еще. У них есть лоза и...

Андреа не договорил. Распахнулась дверь, и в столовую залу с бранью и шумом ввалился Феодосий, таща упиравшегося изо всех сил мальчишку, тот скользил по полу сапогами, оставляя грязный след.

— Вот он! — кричал унтер. — Нашелся, голубчик?

— Мокрицкий, — прошептал Андреа Папанолис. По столовой покатился шум и тотчас стих.

Унтер, тряся "голубчика" за плечо, словно тот уснул и он хотел его разбудить, возбужденно говорил, стрелки его усов двигались как-то странно — то вверх, то вниз, а глаза слезились; слезинки, будто унтер плачет, текли по щекам, застревая в усах.

— Я на Рогизну ходил, лозы чтоб нарезать, а то у нас вся вышла. — Унтер передохнул. — Иду и режу помаленьку да складываю, коли — глядь — по воде топает. Там я его и встrel. — Унтер снова передохнул. — Теперя, братец, погоди, я тебе врежу, чтоб и десятому заказал бегать без спроса.

Мокрицкий опустил глаза: порки не миновать, из рук Феодосия не вырвешься, вцепился как клещ.

— Так что позвольте, ваше благородие, приступить? — козырнул Феодосий и даже сапогами пристукнул. — Сразу и начнем... А ну-ка, стягивай порты!

— Погоди, Капитонович, — сдержанно сказал Котляревский. — Дай-ка человеку

отдышаться... Фамилия твоя — Мокрицкий? Из какого класса?

Беглец молчал: чего еще надо этому неизвестно откуда взявшемуся военному? Унтер толкнул в плечо:

— Отвечай, коли тебя спрашивает господин надзиратель... Очнись, слышь-ка, а то разбужу.

Мокрицкий вдруг в самом деле ожил, но ненадолго: новый надзиратель? А он и не знал. Ну и ладно, все они, надзиратели, сколько помнит, одинаковы.

— Отвечай же! — толкнул Мокрицкого Феодосий.

Потеряв всякую надежду оправдаться, Мокрицкий закричал:

— Бейте! А я все равно не стану учить! Не буду!

— Нишкни! — замахнулся унтер. Мокрицкий не отвернулся, и оплеуха пришлась по щеке.

И тут, по понятиям воспитанников, произошло нечто совсем неожиданное. Новый надзиратель, вместо того чтобы поддать Мокрицкому с другой стороны и приказать тут же положить его на лавку, схватил Копыта за руку:

— Стой!

— Что? — не понял тот.

— Запомните, крепко запомните, сударь: ежели когда-нибудь еще раз поднимете руку на воспитанника, можете считать себя уволенным.

Унтер остолбенело глядел на Котляревского, не понимая, что он должен запомнить, чем так недоволен надзиратель, но мысль, что он в чем-то виноват, испугала его, и он, моргая слезящимися глазами, по привычке приложил руку к виску:

— Виноват, вашбродь!.. Но я его, сукина сына, коль прикажете, отстегаю по первое число. Он у меня побегает.

И смех и грех: как можно сердиться на человека, который, уверовав в правоту свою, и теперь ничего не понял? Несколько успокоившись, Котляревский сказал:

— Я заметил, что на колодце нет крышки. Прошу, немедля займитесь. Чтоб крышка была и чтобы замыкалась.

— Слушаюсь. — Унтер отступил к двери, на пороге козырнул еще раз.

Воспитанники удовлетворенно вздохнули. Лишь Мокрицкий оставался безучастным ко всему, он еще не верил, что ему удалось избежать кары.

— Подойди!

Мокрицкий машинально сделал несколько шагов и, не поднимая головы, остановился.

— Ты не желаешь чего-то учить? Чего же?

Мокрицкий едва заметно пожал плечами,

— Сие тайна?

И тут вскочил вдруг Папанолис:

— Господин надзиратель, он не хочет латинскую грамматику учить, потому как не любит ее.

— Ах вот оно что! — Иван Петрович перевел взгляд на все еще стоявшего

Папанолнса: — А ты любишь?

— Я?... Не очень. Но я все равно учу.

Воспитанники сочувственно смотрели на Мокрицкого, и Котляревский понял: все они не любят почему-то этот предмет.

— Значит, учишь?

Папанолнс развел руками: надо, ничего не поделаешь.

— Садись... И ты, Мокрицкий, садись.

Оглядываясь, еще не веря, что его не будут тут же при всех наказывать, Мокрицкий сел на свободное место рядом с Папанолнсом.

Котляревский хорошо понимал воспитанников. Он вспомнил, как когда-то, в семинарии, на первом же уроке тоже невзлюбил латынь, и не мог преодолеть этой антипатии до тех пор, пока не стал преподавать латинскую поэзию светлой памяти Иоанн Станиславский, именно при нем он научился понимать прочитанное, увидел и оценил красоту и силу мысли великих поэтов. Вспомнив об этом, Котляревский вдруг сам, не зная, как это случилось, стал читать вслух, по памяти, отрывок из Вергилиевой "Энеиды".

Раскрыв от удивления рты, ученики уставились на него. При всей своей буйной мальчишеской фантазии они не могли даже подумать, что надзиратель — ведь это только надзиратель! — знает латынь, причем так хорошо, что читает по памяти и без запинки, красиво и четко выговаривая каждое слово. Кончив читать, Котляревский подошел к окну и некоторое время наблюдал, как Феодосий устанавливает крышку на колодце, заколачивает гвозди, стук слышен был и здесь, в зале; подождав, когда Феодосий перестанет стучать, вернулся к столу:

— Наверно, никто из вас не знает всей поэмы. Да пока и рановато вам, в свое время узнаете... Что же касается прочитанного отрывка, то в нем поэт говорит о катастрофе, постигшей легендарного Энея — героя "Энеиды", поэмы великого Вергилия. — Иван Петрович подробно рассказал о буре, разметавшей корабли Энея по морю и потопившей судно одного из сподвижников Энея — Оронта вместе с ликийцами, а затем — корабли Аванта, Алега и Ахата, о Нептуне, спасшем от полной катастрофы войско Энея...

Его рассказ поразил воспитанников. Несколько минут они сидели молча и вдруг зашумели, заулыбались:

— А дальше?

— Расскажите!

Но Иван Петрович ничего больше рассказывать не стал: пора идти заканчивать домашние задания, а об Энее они узнают подробнее, изучая прилежно латынь, он же, ежели кто пожелает, в этом поможет, объяснит непонятное. Латынь — это не только грамматика, сказал в заключение Котляревский, это, прежде всего, великие римляне: Апулей, Вергилий, Цицерон, Плавт и многие другие, читать их — подлинное наслаждение, каждый из них — образец высокой поэзии, глубокой мысли, неисчерпаемый клад мудрости...

Тихо, стараясь не стучать стульями, воспитанники начали покидать залу.

Мокрицкий, поняв наконец, что горькая чаша сегодня его миновала, встал последним, однако надзиратель вдруг попросил его задержаться. Он очень неохотно вернулся и остановился у стола. Надзиратель почему-то медлил, потом сказал:

— Здесь никого нет, мы с тобой одни. Скажи, что случилось? Почему убежал из пансиона? Тебе здесь плохо? Или все из-за латыни?

Поколебавшись, Мокрицкий ответил:

— Из-за латыни. — И умолк, хотя его так и подмывало все выложить надзирателю, потому что тот защитил его от разгневанного Копыта, не стал допытываться при всех, почему сбежал, не грозился и теперь вот разговаривает, словно ничего не случилось.

Котляревский готов был уже отпустить ученика, но вдруг обратил внимание на его мокрые сапоги и намокшие выше колен порты.

— И ты молчишь? Да и я... не заметил. Идем-ка со мной. Ноги попаришь да чаю напьешься — и в постель.

— Не надо.

— Обязательно надо. Ты уж потерпи.

Мокрицкий вдруг судорожно всхлипнул и еле слышно произнес:

— Я топиться ходил, да... вода холодная.

Пораженный, Котляревский растерялся, не знал, что сказать воспитаннику, хотел было обнять его, утешить, но сдержался.

— Никому не говори этого. Хорошо? И я не скажу. И больше про то не думай. Ты же не дурак какой-нибудь, все понимаешь. Утонул бы, а как потом без тебя родные, товарищи, господа учителя?

— Я не скажу, — Мокрицкий доверчиво, хотя и несмело, впервые за все время разговора взглянул на Ивана Петровича. — А вот учитель не пожалел бы меня. Плохо выучишь — он сразу драться, вон какие шишки понабивал. — Закатав рукав, Мокрицкий показал на левой руке синие кровоподтеки. — И Копыт такой же. А латынь я все равно не стану учить.

— Тебя никто больше не тронет. А латынь можешь не учить — твое дело. Хотя как же без нее? Гимназии не закончишь... Может, ты подумаешь?

Мокрицкий промолчал. Иван Петрович, не сказав больше ни слова, повел беглеца на кухню, попросил Настю-повариху накормить воспитанника.

В коридоре, тускло освещенном сальными свечами, увидел Капитоновича в расстегнутом мундире; унтер проверял, как топят печи, открывал и закрывал дверцы, подбрасывал дрова и, дождавшись, когда печка разгорится, шел к другой.

За окном сгущались сумерки. В церквях звонили к вечерне; звонари, словно сговорившись, вели неторопливую беседу на своем, лишь им понятном языке: начинали тонкие подзвонки, их сменяли голоса погуще, и, наконец, вступали басы, заполняя все окрест могучим звоном. Где-то совсем близко, за окном, протарахтела безрессорная коляска, в соседнем дворе кололи Дрова. Жизнь шла своим чередом.

Вот и все, господин Котляревский, теперь ты — надзиратель, никому из друзей

место это, возможно, и не покажется хорошим, но что изменишь? Будет так, как случилось. В первый же день, проведенный в пансионе, ты, сударь, хорошо уразумел: предстоит далеко не легкая служба. Огнев даже не оговорил, где начинаются и где кончаются твои прерогативы, хотя и дал понять, что, кроме всего прочего, успеваемость воспитанников — тоже одна из твоих забот. Однако успеваемость, насколько он представляет себе элементарную педагогику, во многом зависит от метода преподавания, а каким же способом он, надзиратель, может улучшить это преподавание? Но о чем он думает? Главное сейчас — возбудить у Мокрицкого интерес к латыни, а значит, и вообще к науке, найти путь к его сердцу и чтобы он, чего доброго, не захворал, не простудился.

Путь к сердцу... К сердцу каждого воспитанника вверенного ему заведения. Очень непростой этот путь, и кто знает, одолеет ли он его. За каждого он в ответе, и не только перед родителями, но и перед целым краем, где впервые за годы существования Полтавы учрежден Дом воспитания детей бедных дворян. Проект Дома составлен еще при Куракине самим Капнистом. Однако проект проектом, а хлопоты по Дому — его, Котляревского, а не господина Капниста и даже не Огнева. Ну что ж, сам стремился к деятельности на ниве просвещения. Кому претензии предъявлять? Разве что самому себе.

10

Огнев вскоре собрал учительский совет и представил на нем надзирателя Дома для бедных. Так полагалось: в учительскую семью вошло новое лицо, и господа преподаватели должны знать его: кто он, откуда прибыл.

— Котляревский Иван Петрович, капитан в отставке, — сказал Огнев. — До армии господин Котляревский несколько лет служил в частных домах учителем, стало быть, с педагогикой знаком не только по слухам. Отсюда можно предположить, что наш уважаемый коллега станет помогать нам, разумеется, не в прямом смысле, но кое в чем и в прямом, ибо большую часть времени воспитанники обязаны находиться под его наблюдением.

Директор училищ добавил, что теперь, в случае отсутствия воспитанника в классе или ежели воспитанник придет в класс, не подготовив домашнее задание, будет с кого спросить о причине случившегося.

Учителя понимали: Огнев едва ли сам верит в то, что говорит, он, пожалуй, скорее иронизирует: какая может быть помощь от надзирателя им, господам наставникам? Для сего надобно иметь опыт, знания, а откуда у капитана, многие годы протрубившего в армии, знания и опыт? Кое-кто, почувствовав иронию в словах директора училищ, с язвительной усмешкой поглядывал на Котляревского, скромно стоявшего перед большим круглым столом, за которым сидели господа преподаватели — почти все в черных сюртуках и белых крахмальных манишках. Отец Георгий, законоучитель, громко, нисколько не стесняясь, высморкался в большой платок; маленький шустрый учитель немецкого и французского языков Вельцын насмешливо кольнул Ивана Петровича быстрым взглядом, а латинист Квятковский не поднимал

головы от какой-то книги, давая тем самым понять, что надзиратель его не интересует. Лишь словесник Бутков, преподаватель статистики Рождественский, он же историк и географ, да еще несколько человек благосклонно отнеслись к словам Огнева. Бутков бросил даже реплику, что лично он рад пополнению и кое о чем уже наслышан, но что именно он имел в виду — не уточнил. Старый приятель Котляревского — учитель рисования и черчения, седеющий уже, в изрядно потертом сюртуке, Осип Игнатьевич Сплитстессер вдруг воскликнул:

— Господа! Да ведь что же это?! Нехорошо-с... Иван Петрович — наш земляк, он пришел к нам...

На Осипа Игнатьевича изумленно воззрились латинист и отец Георгий: чего выскочил? Волнуешься? А зачем? По какому поводу? Учитель рисования огорченно вздохнул и отвернулся, чтобы не встретиться взглядом с Котляревским. Они давно знали друг друга, еще в годы совместной службы в Новороссийской канцелярии. Осип Игнатьевич хорошо помнил, как любили в канцелярии высокого худощавого юношу, исполнявшего обязанности протоколиста, как восхищались его образованностью, умением хорошо и быстро сочинить исходящую бумагу, его остроумием и добротой. Но разве расскажешь об этом набычившимся господам преподавателям, этому вот Квятковскому или отцу Георгию?

— Вот, господа, и все, ради чего я пригласил вас на совет, — заключил Огнев, не обратив внимания на странный выпад Сплитстессера, втайне довольный, что гимназическая аристократия сразу же дала понять надзирателю, кто он и каково его место на служебной лестнице. — Можно быть свободными, господа.

В кабинете сразу стало шумно, задвигались кресла, кто-то закричал, поднимаясь. Иван Петрович, все еще стоявший у стола и не проронивший пока ни слова, обратился к Огневу:

— Позвольте, Иван Дмитриевич, и мне сказать.

— Вам-с? — Огнев опешил, вслед за ним и другие удивленно уставились на Котляревского: что господину капитану надобно? Мало уделили внимания? Гляди-ка... Однако раз человек просит...

— Говорите, сударь.

— Я долго не задержу, — сказал Котляревский и подождал, пока преподавателя снова займут свои места за столом. — Как вы, надеюсь, понимаете, за несколько дней, которые были в моем распоряжении, я едва ли успел в деталях ознакомиться с вверенным мне пансионом, и все же и этих дней было вполне достаточно для того, чтобы кое-что заметить. Прежде всего, господа, о подготовке домашних заданий. — Иван Петрович сделал паузу, скользнул взглядом по окаменевшим вдруг лицам некоторых учителей. — Да-с, о подготовке заданий. Должен заметить, готовить их качественно не представляется возможным, ибо, как вы, должно быть, знаете, очень мало учебных пособий, а некоторых и вовсе нет. Это касается, прежде всего, естественной истории и латыни. У меня были две грамматики Протасова, я их отдал, но это дела не спасает, по истории и вовсе ничего нет.

— Об этом доложено Училищному комитету, сударь, — сказал Огнев.

— Гимназия существует почти два года, а какие меры приняты?

Огнев пожал плечами, а Вельцын, шустрый, быстрый, чуть ли не выпрыгнул из кресла:

— А что вы предлагаете, господин надзиратель?

— Так сразу и предлагать? — улыбнулся Котляревский, и все вдруг обратили внимание, какая у него открытая, располагающая улыбка. — Впрочем, кое о чем я думал ... Видите ли, пока в Училищном комитете ответят на запрос, мы можем кое-что сделать и сами на месте.

— То есть?

— Любопытно!

— Объяснитесь, пожалуйста!

— Извольте... Полагаю, господа, у вас достаточно знаний и опыта, чтобы самим составить таблицы, нечто вроде расширенных конспектов по тем или другим предметам. По ним можно готовить домашние задания, и не без успеха, пока придут учебники. Если учесть, что в каждом классе у нас по десять-двенадцать человек, то было бы достаточно по три-четыре таблицы на класс.

— А что? Это мысль! — воскликнул математик Ефремов. — Придется, господа, покорпеть.

— Корпите себе на здоровье, а я подожду, — пробубнил Квятковский.

— Нет, уж если составлять таблицы, то всем, — сказал Рождественский, по его предметам — истории и географии — тоже никаких учебников не было.

— Я, господа, хотел как лучше, — сказал тихо Иван Петрович.

— Подождем, — стоял на своем Квятковский.

Взоры обратились к Огневу. Что скажет он?

— Я полагаю, господа, предложение весьма дельное. Весьма. Надеюсь, и Училищный комитет не будет возражать. Благодарю вас, господин капитан. — Огнев оглядел преподавателей, причем взгляд его ни на ком долго не остановился, и вообще трудно сказать, видел ли он кого-либо из присутствующих. — Полагаю, господин капитан, больше предложений нет?

— Представьте, есть.

— Что же?

Все наставники, даже Квятковский, заинтересованно взглянули на Котляревского.

— Есть просьба, господа... Дело в том, я думаю, вам это тоже известно, в пансионе нет книг для свободного чтения, а без них нельзя воспитать высокую нравственность и другие полезные качества человеческой личности. Что мы с воспитанниками пансиона надумали уже сейчас, не откладывая... Каждый обязался принести по одной-две книги для общего пользования. Я тоже кое-что принесу, причем не только книги, но и журналы. Я подумал, негоже быть и вам в стороне от такого, на мой взгляд, интересного дела. Потому и обращаюсь с просьбой: вносите, поелику возможно, и свою лепту, пусть наша библиотека полнится все новыми и новыми книгами.



Едва Иван Петрович умолк, как преподаватели оживились, заговорили все сразу.

— Затея, скажу вам, важнейшая: библиотека для детей! — воскликнул Бутков. — А посему завтра же, сударь, вношу вам и свою лепту.

— Благодарствую!

— И меня запишите, — поднял руку Вельцын. — Но книги у меня французские. Мольер, Расин, Корнель. Годится?

— Годится.

— У меня имеется "Телемахида" и стихи Ломоносова, — сообщил Рождественский. — А кому сдать?

— Приносите в гимназию... я сам приму.

Когда оживление несколько спало, послышался голос отца Георгия:

— Напрасно радуетесь... Отрочеству нашему полезнее святое писание читать. От книги светской не так уж и много проку.

— У нас, да будет вам известно, не духовная семинария, — обернулся к отцу Георгию Бутков.

— В семинарии, позвольте заметить, — сказал Котляревский, — настоятельно рекомендовали читать и светскую литературу. Разве у вас, отец Георгий, не так было?

— Что было, то прошло, а я думаю, от Мольера до Дидро один шаг. Бойтесь посеять семена плевел.

— Не беспокойтесь, — сказал Бутков. — К тому же, отче, Мольера рекомендует для чтения сам Училищный комитет. Разве не так, Иван Дмитриевич?

— Да, он есть в списке, — кивнул Огнев и тут же предупредил Котляревского: надзиратель должен тщательно следить за чтением в пансионе, сие очень важно.

Поблагодарив господ преподавателей за участие в сборе книг, Иван Петрович, не дав никому опомниться, обратился с новой просьбой. Эта просьба была необычной, некоторым показалась даже неуместной. В самом деле, что еще придумал этот странный новоиспеченный надзиратель? Уроки хочет посещать. А зачем?

— Нам инспекторы предовольно надоели, — латинист в упор взглянул на Котляревского, высокомерно смерил его взглядом.

Огнев молчал. Молчали и остальные. Нисколько не обидясь и не придав значения высокомерию латиниста, Котляревский сказал:

— Видите ли, господа, и вы, Павел Федорович, — он нарочно выделил из всех Квятковского. — Вы, надеюсь, слышали сегодня, что надзирателю надлежит смотреть не токмо за обувью и одеждой каждого воспитанника, но и за тем, как он выполняет домашнее задание? Хорошо, согласен. Но подумайте: сумею ли я это сделать, ежели мне не будет известно, как ведет себя на уроке тот или иной воспитанник, знает ли он предмет и как глубоко знает? Ежели слаб, то в чем? А как же я буду осведомлен об этом, ежели не побываю на уроке сам? И еще. Не обладая достаточным опытом, я бы желал поучиться у вас всему, что возможно, чтобы затем лучше готовить с воспитанниками домашние задания.

Да, он умен, этот надзиратель, и тактичен: никого не обидел, напротив, всем умело

польстил. Ко всему прочему, безукоризненно выглядит внешне: подтянут, строен, с повязанным на шее белоснежным платком, лицо — открытое, ясное, а глаза излучают столько добросердечия и благожелательности, что нельзя не ответить ему тем же.

И все же некоторым преподавателям просьба Котляревского показалась противоестественной. Надзиратель станет посещать их уроки, стеснять в действиях, может даже вмешиваться в учебный процесс? Этого еще не доставало!

Страсти разгорелись, причем мгновенно, словно вспыхнул на быстром ветру костер. Одни высказались "за", другие — "против".

— Сие невозможно! — кричал Квятковский; он был очень сердит, готов, казалось, броситься с кулаками на Котляревского. Считая себя непререкаемым авторитетом, потому что преподавал один из важнейших предметов — латынь, без знания которой никто еще не был выпущен из гимназии и не принят ни в один университет, он ни с чем не хотел считаться и твердил свое: — Сие пахнет инспектурой.

— Может быть, — ответил ему Ефремов. — И пусть! А вас это пугает?

— Я не пугливый, но все едино.

— Не все едино, лично я в посещениях уроков надзирателем вижу большой смысл.

— Вы всегда видите его там, где его никогда не было.

— Почему же?.. Разве побывать на уроках латыни, где больше шума, нежели тишины, нет никакого смысла?

— Не ваше дело, сударь, за собой следите, — фыркнул Квятковский, но в спор больше не вступал. Ефремов попал в точку: на уроках латыни — об этом знали все — творилось нечто странное: большую часть урока Квятковский отводил не преподаванию, а наказаниям за плохо выполненные домашние задания.

— Ефремов прав, — сказал Бутков, смеясь. — И вы, Павел Федорович, не обижайтесь... А вас, милостивый государь, — обратился к Котляревскому, — ко мне прошу на урок, в третий класс, во второй половине дня, завтра.

— И ко мне! На историю! До обеда, во второй класс.

— А ко мне на математику.

— Благодарствую, господа, воспользуюсь приглашением.

Огневу не оставалось ничего иного, как подтвердить, что он не против посещения уроков надзирателем, — большинство преподавателей приглашали его сами. Волей-неволей пришлось и Квятковскому дать согласие, хотя он не назвал ни дня, ни класса, в который можно будет прийти.

Малый учительский совет, на котором состоялось первое знакомство нового надзирателя с преподавателями, наконец-то закончился — никаких больше просьб или предложений у Ивана Петровича не было.

Это знакомство у некоторых преподавателей посеяло тревогу и сомнения, большинство же учителей не скрывали своего расположения к новому коллеге. Он оказался тактичным, вел себя непринужденно и независимо, ни перед кем не заискивал, а все его предложения оказались весьма кстати, с этими таблицами и библиотекой он совершенно прав. А что касается посещения уроков, то и это пойдет на

общую пользу — присутствие постороннего человека будет способствовать тому, что некоторые преподаватели станут лучше готовиться к урокам.

11

Новый надзиратель вникал во все подробности пансионного быта, и с таким знанием дела, будто всю жизнь только тем и занимался, что подсчитывал, сколько, к примеру, требуется муки для галушек, если приготовить на всю пансионную братию, знал он и что лучше подавать к завтраку после гречневой каши с салом — чай или сбитень; пока холодно, сбитень полезнее, как-никак и нем — и мед, и молоко, и разные травы, что, как известно, здоровью не вредит, особливо детскому, а наоборот, предохраняет его от всякой простуды.

Не много потребовалось надзирателю времени, чтобы проверить состояние денежных дел: часть денег на содержание Дома для бедных шла от Приказа общественного призрения, а еще часть поступала от отдельных богатых родителей воспитанников.

Для проверки прихода-расходных книг он пригласил и своих помощников — унтера Капитоновича и бывшего семинариста Дионисия Кашука, которого воспитанники называли Денисом Кашуком; пусть и они знают, что к чему. Семинарист при подсчете поступивших в домовую книгу денег проявил неожиданные способности: умел быстро и точно подсчитать без карандаша, в уме. Заметив это, Котляревский похвалил помощника, сказал, что отныне все счета по Дому придется вести ему, Дионисию, как отменному математику; правда, и он, надзиратель, не останется в стороне, будет помогать, время от времени станет просматривать все счета, а точнее — каждый вторник и пятницу.

Побывал Котляревский также в погребах, заглянул и в кладовую. Оказалось, что его предшественник не слишком обременял себя заботами о предстоящей зиме: в двух погребах нашлось всего около трех мер картофеля, десятка полтора кочанов капусты и столько же свеклы, ни одного бочонка квашенины, ни огурцов, ни помидоров, даже лука оставалась всего одна обмызганная связка, а пшена и гречки не более чем на пять-шесть дней. Вот так, господин надзиратель, ломай голову, как быть. Ежели не принять срочных мер, пока не задождило и не развезло окончательно дороги, легко остаться на бобах, и никто тебе не поможет, к Огневу идти бесполезно, он занят "важнейшими делами".

В первое же воскресенье Иван Петрович собрал все деньги, которые нашлись в кассе, добавил свои и снарядил на базар служителя и кухарку. Кроме всякой мелочи — чеснока, редьки, петрушки, лука, сушеных грибов — наказал прежде всего купить картофеля хотя бы возов пять да капусты сотни полторы кочанов, пшена мешок, гречки столько же, конопляного масла сулею, муки мешка два...

Служитель и кухарка, взяв деньги, уходить почему-то не торопились. Иван Петрович спросил, что их смущает, может, денег маловато, так он wygrеб на кассы все до последнего гроша.

Служитель, дядька Гаврила, почесал в затылке:

— Оно-то так, а ежели поглядеть, то как тут быть, и не скажу.

— Чего глядеть-то?

Гаврила — в домотканой черной свитке, смазных сапогах, от которых исходил бьющий в нос запах дегтя, в изрядно потертой шапке из овчины, — еще довольно крепкий, несмотря на свои шестьдесят лет, и кухарка Настя — средних лет молодлица, с руками большими, как у мужика, — растерянно смотрели на Котляревского.

— Может, вы чем другим заняты?

Гаврила прокашлялся и хотел уже было что-то сказать, но его опередила более проворная кухарка:

— Ничем таким, ваша милость, мы не заняты. Но ни дядька Гаврила, ни я не умеем отличать пятак от гроша, так что, простите, ради бога, чего доброго, еще и проторгуемся. На том базаре такое творится, не углядишь, как босой останешься.

— Ах вот оно что, — вздохнул Котляревский. — Ну хорошо. С вами пойдет Дионисий.

— Спасибо, — поклонилась Настя, а за ней и Гаврила. — Того не обдуришь — грамотный.

Иван Петрович вручил все деньги Дионисию, рассказал, что нужно купить, и потребовал: пусть считает лучше, не зевает, не швыряет зря деньгами, а больше торгуется, потому как это последние гроши и кто знает, когда поступят очередные взносы. До сих пор — хотя с первого августа, с начала занятий, прошло уже три месяца — деньги не поступали даже от действительного тайного советника господина Трощинского, содержавшего на свои средства гимназистов Василия Шлихтина и Михаила Коновницына, да и Приказ общественного призрения не торопится со взносами на содержание сыновей овдовевших господж Корнетской, Долгой и двух сыновей недавно умершего дворянина Денюковского.

...Во двор, скрипя немазаными колесами, въезжали одна за другой подводы с картофелем, капустой, мукой, пшеном и всякой всячиной. Гаврила придерживал ворота, длинноногий Дионисий шел впереди обоза, Настя — позади, она смотрела, не упало ли что-нибудь на землю.

Когда все возы, сопровождаемые возчиками, вкатились во двор, Дионисий бойко, с некоторой гордостью сообщил Котляревскому, чего и сколько куплено, и добавил: деньги истратил до копейки, зато купил все, что наназывалось, причем сумел и выторговать кое-чего подешевле, вот капусту, например, по грошу за кочан платил, а каждый кочан такой, что одному и не поднять.

Котляревский поблагодарил Дионисия и в сопровождении стайки старших воспитанников, высыпавших во двор, обошел возы и оглядел все покупки. Гаврила, прикрыв ворота, подошел к Котляревскому, снял шапку:

— Два гроша, ваше благородие, осталось.

— Какие два гроша? — не понял Котляревский.

— У пана Дениса.

— У меня? — изумился Дионисий. — Да ты, Гаврила, не спал или, может, дурману

объелся?

— Я еще, пан Денис, и не снедал... А два гроша у вашей милости таки остались.

Возмущенный Дионисий полез в карман:

— Выверну все, до ниточки. Бери! — И вдруг лицо его — длинное, узкое — стало медленно покрываться красно-бурыми пятнами, а усы — тонкие, слегка обкуренные — в один миг увяли.

— Чудо! Ей-богу, чудо! — Дионисий вытащил из кармана два медных гроша. — Поверьте, забыл... Бес попутал... не иначе...

— И я толкую, что бес, — кивнул спокойно Гаврила. — А мы с Настей хотя и не разбираем, где пятак, а где грош, а считать умеем. И тебе, пан Денис, следует тому учиться.

— Он признал, что виноват, что еще требовать? — сказал Иван Петрович, смущенный не менее самого Кащука. — Ну забыл человек, всяко бывает.

Кухарка Настя, оделявшая младших воспитанников морковью, громко, на весь двор смеялась: уж очень комично выглядел пан Капщук, как она называла Дионисия: губы дрожат, плечи опущены, куда девались его заносчивость и велеречивость.

Чтобы прекратить неприятный разговор, Иван Петрович приказал разгружать подводы:

— Кто там свободный? А ну, принимайся!

Воспитанники, толпившиеся у крыльца, бросились к подводам.

— Помогайте! А ты, Дионисий, — тихо сказал Иван Петрович, — будешь сегодня наказан за... оплошность: позабыл купить арбузов. Потому сядешь после ужина с Мокрицким, проверишь его латынь.

Уроки обычно проверял Котляревский сам, но на этот раз решил доверить это дело Дионисию, тот взмолился:

— Увольте, терпеть не могу латыни.

— Придется притерпеться... А пока иди помогай разгружать. И не вешай носа.

Дионисий покачал головой и поспешил на помощь Лесницкому и Папанолису, державшим мешок, в который Гаврила ссыпал лопатой картофель...

Новые дни приносили и новые хлопоты.

Оклейка окон, починка крыши — в нескольких местах она протекала, — ремонт мебели, утепление дверей, перекладка дымивших печей — все это и многое другое надобно было сделать немедля, до наступления холодов.

Котляревский не ведал покоя сам, не давал его и другим. Он так вошел в пансионные хлопоты, что мать, добрая, терпеливая матушка, обычно ни в чем не упрекавшая его, несколько раз намекнула, что ежели так служить, то лучше совсем перейти на постоянное жительство в пансион, она не станет возражать, походная постель готова. А с другой стороны, может, пора о себе подумать? Разумеется, мать имела в виду не только службу (хотя и мечтала о более значительном месте для сына), но прежде всего его личную жизнь, до сих пор еще не устроенную. Все его сверстники давно обзавелись семьями, имеют детей, а у ее любимца — ни того ни другого.

"Состарюсь, умру, а ты один останешься. Негоже так, Иванко". Иван Петрович отвечал обычными своими отговорками: "Успею хомут надеть на шею, успею, а ты у меня, матинко, бессмертна, и, пока ты есть, мне никто не нужен..." Мать сердито отмахивалась: "Скажешь такое... Я тебе серьезно, а ты шуткой отговариваешься..." И снова — в который раз — рассказывала, какие у Стеблян-Каминского и Федора Миклашевского жены ладные, и дети уже есть — радость для бабушек.

Мать по-своему была права. Она не знала и не могла знать, что было на сердце у ее сына. Он не представлял, как приведет в дом женщину, не похожую на ту единственную, которая, может, давно его уже и забыла. Конечно, забыла, и все равно — выбросить ее из памяти, из сердца он не мог. Может, поэтому он и был доволен, что пансион отнимает весь досуг и некогда ему думать о себе и о ней. Но тот же пансион почти не оставлял времени и для работы над "Энеидой". Три десятка строф, начатые еще в Санкт-Петербурге и дописанные уже дома, перед тем как он начал служить, оставались пока единственными в новой, пятой части поэмы.

Когда наступала тишина — воспитанники отходили ко сну — и он оставался в комнате один, на него вдруг накатывала тоска, ему очень хотелось всего себя отдать широкому течению "Энеиды", пусть события поэмы подхватят и понесут его на край земли, в безбрежный океан чувств, мыслей, фантазии...

Но проходили дни, недели. Миновал месяц, ушел и второй, а он не мог вырвать хотя бы один час для исполнения желанной мечты. Он мучился, терзался: ошибся, жестоко ошибся, пока не поздно, надо искать иное место, где бы оставалось больше времени для себя. Может, попроситься к Миклашевскому, тем более что тот, как-то встретившись, сам предложил зайти? Правда, сказано это было между делом, на ходу, и тем не менее Миклашевский, если бы пожелал, мог бы помочь. Слышал, бывший друг успешно идет в гору, начальство в губернском правлении им весьма довольно: исполнительный, умеет преподнести, доложить. Да, таких власть имущие любят. Но, представив бесконечный поток бумаг, который потечет через его руки, ему становилось тошно и... страшно. Нет, ни за какие блага он не переступит порог ненавистного ему учреждения, лучше останется без места, в своем пансионе, но кланяться Миклашевскому не станет, пусть тот преуспевает, бог с ним, он, Иван Котляревский, никому не завидует, в том числе и бывшему другу, давно ведь сказано: каждому — свое...

После бессонной ночи утром приходил в свой Дом для бедных, или, как он иногда называл его, пансион, и — диво дивное — тотчас забывал о своих терзаниях. Стоило ему стать на высокий порожек, услышать знакомый, ставший привычным шум, доносившийся из спален, доброе, незлое ворчанье старого служителя Гаврилы, как он успокаивался. Нет, именно здесь его место! Видя, как преданно смотрят на него все эти несколько десятков мальчишек — белоголовых, стриженных, смуглых, — он чувствовал: никогда отсюда не уйдет, ибо на всем белом свете нет места лучше, здесь его семья и его жизнь. Только он, единственный, сумеет разобраться в сложнейших деталях пансионного быта: пожалеть обиженного, пожурить обидчика, проверить, как

Андреа Папанолис знает статистику, а Мокрицкий — учит нелюбимый латинский. Вез этих и многих других забот он не смог бы уже прожить и дня, считая их наиглавнейшими. Он чувствовал: воспитанники уже привыкли к нему, полюбили его, ибо чаще, нежели раньше, обращаются с самыми неожиданными вопросами, и он, ежели случалось, не знал, что ответить, то честно признавался в этом, а на следующий день не забывал принести верный ответ. И потому ему верят, ибо знают, он никогда не обманет. Да, надо всегда говорить только правду, пусть иногда и горькую, иначе потеряешь доверие, а с ним и любовь воспитанников.

Так постепенно изо дня в день, из недели в неделю между Котляревским и воспитанниками Дома для бедных возникало самое главное — доверие, без чего немислимо воспитание.

12

Был первый день ноября: обыкновенный, ничем не примечательный. С самого утра задождило, мостовые так вымокли, что ходить по ним стало небезопасно. И все же, благодаря старым, уже изрядно повыбитым мостовым, можно было и в непогоду пройти по Дворянской, Пробойной и Монастырской и еще двум-трем улицам, остальные же не были выложены камнем, и, как говорили чиновники губернского правления, в ближайшие годы "осуществить сие не будет возможным".

Впрочем, кому нужны эти мостовые? "Высший свет" раскатывал в собственных каретах, а купчишки, мещане, чиновная мелюзга, которым строжайше запрещалось ездить в каретах, пробирались в непогоду по улицам на волах — круторогим не страшны никакие лужи; черному же люду вообще не привыкать месить грязь, терять в жирных черноземных ямах последнюю обувку.

Вся Полтава с приходом осени, особенно в пору дождей, преображалась, становилась тусклой, белые мазаные хаты темнели, и даже золоченые купола церквей выглядели какими-то необычными, блекло-синеватыми.

Ноябрьский ветер продувал губернский городок насквозь, выметал из подворотен и с пустырей последнюю листву, заносил ее в мрачные сырые поля, к дальним казацким могилам, разбрасывал по всем четырем шляхам, ведущим из Полтавы в необозримый загадочный мир. Этот мир начинался сразу же за насыпными валами, окружавшими городок и сохранившимися еще со времен шведской войны. Где-то вдали, на неизвестных землях жили удивительные люди, которые, не убоаясь бога, приступом брали королевские тюрьмы и дворцы, а потом снимали на плахах венценосные головы. Но это было давно, хотя не сходило с уст и до сих пор. А вот теперь, в конце десятого года, все более упорно поговаривали, повторяли на все лады о пришествии на землю антихриста, злого и беспощадного, который поедом ест христианский люд, отдавая предпочтение молодым, особенно женскому полу. Антихрист тот находится будто бы в тайном сговоре с турецкими басурманами. Вот почему турок — анафема на него! — до сих пор не соглашается мириться, все тянет, юлит, ждет, наверно, помощи того самого антихриста, которого и называют не по-человечески, а как-то совсем чудно — то ли Бона рогатый, то ли — Из поля вон. Страх господень, да и только! Нужно, говорили

умные головы, побольше про черный день запастись хлебушком, и сольцой тоже не мешает. Кривая на один глаз, юродивая Анисья кричала намеренно на паперти Успенского собора, и все молящиеся слышали ее истошный крик: "Мор ползет по земле, глядите, какой черный да безглазый... А за ним — единорог! Вижу его, слышу злобное дыханье... Берегитесь!" Люди в страхе крестились — и старались уйти поскорее, чтобы не слышать почти звериного крика юродивой, а он преследовал, гнался по пятам, стучался в окна. По-разному толковали предсказания Анисьи жители губернского городка и, чтобы как-то умиловить злые силы, больше жертвовали на церковные нужды, а также в пользу сирых и юродивых...

Котляревский торопился, дождь усиливался, и ничего не стоило, несмотря на плотную фризовую шинель, промокнуть до нитки, а в таком виде, пожалуй, неудобно являться пред светлые очи начальства.

Еще накануне вечером он предупредил Капитоновича, оставшегося в пансионе на ночь: пусть поутру не ждет его, сам присмотрит за детьми, чтобы как следует обулись, оделись, позавтракали, а потом проводит их на уроки, — разумеется, не гимназистов, хотя им и дальше идти, а поветовцев — малышню, ибо эти, ежели оставить их без присмотра, могут, зазевавшись, и опоздать, а то махнут на Рогизну кораблики пускать или же, упаси бог, заинтересуются "минами", в которых нетрудно и взрослому заплутать.

— А вы, ваше благородие, в Приказ? — спросил унтер, провожая Котляревского до ворот.

— В Приказ, Капитонович.

— С богом!.. А то ведь не с чем завтра и к мяснику идти...

Капитонович говорил правду, деньги кончились, пришлось на днях занимать у местного купца Зеленского.

Деньги Дома для бедных находились в Приказе общественного призрения. Их можно было получить еще на прошлой неделе, но Иван Петрович несколько дней болел — и теперь вот иди, кланяйся: Стеблин-Каминский, друг любезный, уехал по делам и вернется через месяц, если не больше, а без него получить даже причитающуюся сумму будет нелегко: приказные чиновники — известные крючкотворы. Гуськов, коллежский регистратор, приехавший недавно из Воронежа и заменяющий ныне Стеблин-Каминского, неизвестно что за человек, поймет ли нужды детского дома, а вдруг откажет: опоздали, мол, сударь, ждите.

Дождь усиливался. В такую непогоду лучше сидеть у жарко натопленной печки, не следовало бы детей пускать из дома, особенно тех, у кого прохудилась обувь. Капитонович, старый служака, должен бы догадаться, как поступить. А вдруг пустит? Жаль, не предупредил его. Но бог милостив, авось минует напасть и ни у кого из воспитанников не будет простуды.

С надеждой на лучшее Иван Петрович переступил порог губернского правления. Здесь, рядом с чертежной главного архитектора Амбросимова, в левом крыле, размещались и комнаты Приказа общественного призрения...



Гуськов только что приехал и, как шепнули Котляревскому в приемной, обещал самолично принимать просителей, вот только побеседует с сослуживцами и отдаст распоряжение, кому что надлежит исполнить в течение дня.

Пришлось ждать. Ивану Петровичу не привыкать к этому. Чего не сделаешь ради детей, сорока шести сорванцов, доверенных тебе? Ежели надо, кому угодно поклонись, даже перед такой залетной птицей, как коллежский регистратор, шапку снимешь.

Наконец все чиновники покинули кабинет Гуськова, и Котляревский, которого в Приказе многие знали как доброго приятеля Стеблин-Каминского, был первым допущен па прием.

Гуськов был подчеркнуто вежлив, пригласил Котляревского сесть. Отметив про себя эту неприятную приторно-сладкую предупредительность, Иван Петрович кратко изложил свою просьбу, извинился, что не мог прийти раньше: болел, был занят, а теперь вот позарез нужны деньги, поэтому и пришел.

Коллежский регистратор понимающе кивнул, усмехнулся. Он рад помочь, он все понимает, сам был дитятей, но, к сожалению, не может, не имеет права удовлетворить просьбу, поелику нет письменного отношения директора училищ господина Огнева Ивана Дмитриевича, в котором должно быть означено, что сим доверяется распоряжаться суммами, отпущенными на содержание воспитанников Дома бедных, надзирателю оного.

Несколько путаная, витиеватая речь Гуськова скорее рассмешила, нежели раздосадовала Котляревского, но, ничем не выдав своего отношения к услышанному, он спокойно сказал:

— Я, господин Гуськов, уполномочен вести дела сего Дома.

— Может быть... Но я, сударь, ничего этого не знаю.

— Вы правы, человек вы новый.

Делать нечего, пришлось откланяться, что толку спорить с человеком, который за буквой не видит дела.

Дождь лил по-прежнему как из ведра, казалось, в воздухе стоит, не двигаясь, стеклянная стена. Иван Петрович брел по лужам, рискуя набрать полные сапоги воды. Но вот позади Круглая площадь, еще несколько шагов — и гимназия.

Котляревский отряхнул шинель, отдал сторожу, чтобы просушил у себя в каморке, и готов был уже идти дальше, но сторож извинился, что смеет задерживать господина капитана, однако считает нужным предупредить: его, надзирателя, искал директор гимназии, посылал за ним в пансион нарочного, да тот вернулся ни с чем.

— Зачем я ему понадобился?

Понизив голос, сторож сообщил:

— Воспитанников в классах почти нетути, и будто это вы их не отпустили, вот они и того... сердятся.

Котляревский поблагодарил старика за предупреждение и подумал: молодец Капитонович — догадался, никого не пустил сегодня, и верно: в такую погоду иной

хозяин и собаку не выпустит из дому.

Огнев встретил Ивана Петровича холодно, не поднял даже головы от бумаг, когда он вошел, однако отношение в Приказ общественного призрения написать не отказался. Пока писал, несколько раз повторил, что следует постоянно благодарить власти предрежающие за столь щедрое пособие Дому бедных, надобно также, чтобы и дети о том знали и чувствовали.

— Не сомневайтесь, Иван Дмитриевич, помнят и чувствуют.

— Вы им рассказываете?

— В этом нет надобности, они всё понимают сами: живут в ветхом домишке, в котором разгуливают сквозняки, у некоторых обуви нет приличной. Вот и чувствуют.

— Усложняете, — махнул рукой Огнев и тут же заговорил о другом. Ему вот известно кое-что иное: надзиратель успел закупить для Дома необходимые на зиму продукты, сие похвально, он, директор, не возражает против таких шагов (еще бы ты возражал!). Порядок в Доме необходим тоже, нужно, чтобы детям жилось уютно, словно они в самом деле находятся в домашних условиях (это-то я и сам знаю, сударь!). Но все это никоим образом не объясняет и не оправдывает другого весьма странного обстоятельства: замечено, что в иные дни, особливо дождливые, воспитанники Дома бедных не посещают классы. Огнев передохнул и продолжил сухо, размеренно, словно читая молитву:

— Сегодня, сударь, в классах сидит не более как по два-три ученика. По сему случаю меня вызвали из дома, и я принужден был оставить наиважнейшие занятия и по такой ужасной погоде приехать в гимназию, и все потому, что у вас, сударь, непорядок. Жду ваших объяснений. — Огнев отложил бумаги и взглянул на несколько бледное (отчего бы это?), однако совершенно спокойное, даже чуть насмешливое лицо Котляревского. — Что же молчите? — двинул он нетерпеливо густой бровью. — Я ожидаю.

— Иван Дмитриевич, я могу опоздать в Приказ, и завтра поутру не с чем будет посылать в мясную лавку.

— Бумага готова. Извольте! — протянул Огнев полуисписанный плотный лист. — Но я не слышу объяснений... Сие повторяется не впервой. Здесь, кажется, есть с кем согласовать подобные шаги. Господа учителя жалуются...

— На меня? — изумился Котляревский. — Помилуйте, за что? Выходит, я детям враг, а они — друзья?

— Не о том речь... Почему в классах пусто?

Котляревский выглянул в окно. Дождь лил, как и прежде, тучи висели над городом иссиня-черные, обложные, не скоро еще из-за них проглянет солнце.

— И завтра, ежели будет такая погода, я распоряжусь из Дома никого не выпускать. — Огнев в ответ ничего не сказал. И Котляревский продолжал спокойно и ровно: — Вы же сами только что сказали, что вам очень не хотелось ехать по такой погоде. А каково детям под дождем да по нашей грязи? У кого есть сапоги — потеряет. А потом что? Впрочем, сапоги отыщем, но как быть со здоровьем? Его так просто не

найти, ежели загубить. У меня и так двое заболели от простуды. Отпаиваю теперь молоком да малиной с травами... Дети же. Об этом докладывали вам господа жалобщики?

Огнев несколько минут молча рассматривал лежащие на столб бумаги.

— Но ведь жалуются, — процедил он наконец, — а сие значит, что могут и к его сиятельству дойти.

— Это было бы превосходно! Пусть! Может, тогда его сиятельство нам поможет, ежели сами не можем починить детям обувь и одежду. — Котляревский помолчал. — Между прочим, господа учителя могут и в Дом прийти, в спальнях заниматься станем, залу столовую приспособим. Трудно? А что делать? И еще. Как все же быть с учебными пособиями? Господа преподаватели не торопятся писать таблицы по истории, латинской грамматике и географии. А ведь мы договорились, кажется. Или в округ писать?

— Таблицы будут. Но не сразу — потерпеть придется.

— Сколько терпеть? Время уходит.

— А что прикажете делать?

— Потребовать от господ учителей исполнить свои обязанности.

— Это верно, мы... подумаем.

— Извините, но, право же, пора и делать что-то, а не токмо думать. И еще. Знаете ли вы, милостивый государь, что некоторые воспитанники собираются уходить? Вот, например, Мокрицкий.

— Ну что ж, держать не будем.

— У него изрядные способности. Мог бы пойти и дальше.

— Вам, сударь, известно, что он не посещал уроки латыни?

— Известно, Иван Дмитриевич. Хотя, говоря откровенно, будучи на его месте, я тоже не стал бы их посещать. Почему? А вы посидите на уроке — и вам все откроется. Дети не понимают текста, учат вслепую. У них нет интереса к предмету. А без интереса — как заставить ребенка полюбить предмет?

Огнев, много повидавший на ниве просвещения, неожиданно для самого себя удивленно хмыкнул: оказывается, этот бывший капитан, по слухам к тому же сочинитель малороссийских произведений — каких именно, его, Огнева, не интересует, — не так прост, толкует о педагогике и методике как человек, который в этой науке искушен, имеет свои суждения, и весьма здравые. Но он не допустит, чтобы надзиратель, какой бы он ни был, вмешивался в дела сугубо учебные.

— Милостивый государь, у вас, как я догадываюсь, есть чем заниматься, поэтому не обременяйте себя заботами, которые не в ваших прерогативах!

Котляревский согласно кивнул.

— Чтобы воспитывать, надобно думать не токмо о желудке, иначе мне нечего делать здесь... Но не поймите меня превратно — в дела господ учителей я не смею вторгаться, они не в моих прерогативах.

Да, может статься, подумал Огнев, что этот Котляревский, ежели станет посещать

уроки, не удержится и вмешается в учебный процесс, и тогда не миновать скандала. Но что изменишь? Он, Огнев, сам еще тогда, на малом совете, разрешил надзирателю посещать уроки.

— Иван Дмитриевич, боюсь, как бы за Мокрицким еще кто-нибудь не подал просьбы об уходе. Честь имею! — Иван Петрович быстро вышел из кабинета.

Конечно же, коллежский регистратор успел за это время, пока Котляревский находился у Огнева, отбыть по каким-то своим крайне важным делам, причем не обещал вернуться даже к концу дня. Значит, снова надо будет занимать деньги, чтобы завтра послать кухарку и Дионисия в мясной ряд. Кормить воспитанников кое-как, перебиваться постной едой он, надзиратель, не позволит. А завтра придет к коллежскому регистратору и возьмет свое — уж будьте покойны, милостивый государь.

13

Неожиданно распогодилось. Тучи уплыли, исчезли за монастырским лесом. Небо высветилось, стало выше, просторнее; хаты повеселели, словно играя в прятки, выглядывали то из одного, то из другого вишенника умытыми оконцами. Свежий ветер прошелся по улицам, слегка подсушил колдобины.

У Котляревского повеселело на душе. Не беда, что денег приказные крючкотворы не дали, и завтра день будет, никуда не денутся.

На выходе из губернского правления он почти нос к носу столкнулся с Амбросимовым и шедшим рядом с ним Миклашевским; вдвоем они занимали почти весь узкий, как щель, полутемный коридор. Губернский зодчий обнял Ивана Петровича одной рукой, ткнулся небритой щекой в плечо, притянул к себе. Миклашевский кивнул сдержанно, устремив куда-то в потолок равнодушный взгляд.

— Душа моя, Иване, взгляни на сей предмет, — взволнованно заговорил Амбросимов, тыкая бумажным свертком чуть ли не в лицо Котляревскому. — Деньги нужны, дабы рассчитаться с копировщиками проекта, а он не дает. Тащу к губернатору, пусть скажет ему — раз и навсегда. Сил нету... Брошу! Ей-богу, уеду! Давно меня в Воронеж кличут!

— Уедете — другие найдутся. Да-с, — зевнув, равнодушно обронил Миклашевский.

— Каков! — В глазах Амбросимова блеснул недобрый огонек. — А шиша, сударь, не хотите? Никуда из Полтавы не двинусь. Да-с! Здесь мне и околевать!

— Не волнуйся, Михайло Васильевич, побереги себя, — положил Котляревский руку на плечо Амбросимову. — Скажи лучше, что строить будем?

Амбросимов отдышался, вытер платком шею и улынулся.

— А вот! — он поднял над головой тугой сверток. — Дворец прекрасной Мельпомене. Первый театр в Полтаве! Не говорил разве?

— Как же, помню. И что же — когда закладываем?

— В том и заковыка. Проект готов, а мне твердят: "Не торопись, успеешь...". И денег не дают, прошу, как милостыню, хотя бы копировщиков рассчитать.

— И все же торопитесь, сударь, — обронил Миклашевский. — Тучи надвигаются над державой, не до театра нынче. Глухо?! вы, наверно, не слышали, что Бонапарте

грозится войной?

— Оставьте, прошу вас... Никакой войны не будет, а ежели и так — что же, все ложись и помирай? Мне, может, на роду написано год-два прожить — успею ли построить задуманное?.. Вы, сударь, бросьте, я ваши гнусности вижу, остановить дело — вот ваша цель.

— Однако, милостивый государь, — обиженно вскинул голову Миклашевский, — ежели вы намерены и далее таким образом изъясняться, то я могу и не пойти с вами вовсе.

— Полноте, Федор, из-за пустяка обижаться? Нешто не знаешь Михайлы Васильевича? — усмехнулся Котляревский. — И вообще, что с тобой деется? Не узнаю тебя. Ты ведь — помнишь? — жил идеями, стихами пленялся и сам грешил в высоком искусстве, а теперь для одного искусства денег каких-то жаль? Все равно ведь придется дать — зачем же сквалыжничаешь?

— Не всем блистать, пусть уж другие, — буркнул Миклашевский и отвернулся.

Котляревский только руками развел. Амбросимов хотел было что-то сказать, но вдруг, уронив сверток и схватившись за живот обеими руками, захохотал, да так громко, что стоявший у входа служитель испуганно обернулся, он намерился уже попросить почтенных господ вести себя несколько потише — в казенном присутствии находятся, но, узнав губернского зодчего, пожал плечами и сам усмехнулся: уж очень заразительно смеялся господин архитектор.

— Стихами? Этот? Не поверю! — Амбросимов оборвал смех, хлопнул Миклашевского по плечу. — Неужто потому, сударь, вы так не любите искусство, и театр в том числе, что у самого не того-с... Не выходило? Впрочем, не отвечайте, не стоит... Пора нам, пожалуй, идти. Ждут...

Отойдя на несколько шагов, обернулся, ласково спросил Котляревского:

— Что глаз не кажешь?

— Занят. На мне весь пансион.

— Как же, накорми, напои всех, а потом и носы вытри-с, — съязвил Миклашевский.

Котляревский удивленно взглянул на бывшего однокашника — с чего бы это? — но промолчал. Амбросимов же сказал:

— Будь у меня сын, немедленно отдал бы в твой Дом, Иване! Счастье великое, что у нашего юношества такие воспитатели... А вам, сударь, должно быть стыдно. Да-с! — бросил он в лицо оторопевшему Миклашевскому и, сутулясь, быстро, размашисто зашагал по коридору.

Они ушли. Плотный, коренастый Амбросимов — зодчий, как его называли в тесном кругу друзей, и раздобревший, коротконогий, в мешковатом сюртуке — Миклашевский.

Как же он сказал? "Накорми и носы вытри-с..." Ну и что? Плевать мне, что ты думаешь и говоришь, друг моей золотой юности, главное — они, дети, сыновья мои названные, и я готов отдать им свое сердце, все без остатка. Верно, мало еще стараюсь для их блага, их будущего. Но кое-что все же успел. Позаботился о погребках, там ныне не пусто, и в кладовой кое-что завелось — и крупа, и мука, всего понемногу, до Нового

года хватит, если распределять разумно. Остается прикупать два-три раза в неделю молока да в мясные ряды захаживать.

И о дровах позаботился загодя. В Полтаве нигде не удалось достать хороших, поехал к графине Разумовской, просил, чтобы позволила заготовить в ее графских лесах.

Графиня не отказала в приеме, пришлось поклониться и книжку подарить. Да бог с ней, с книгой: кому угодно подарю, ежели от этого будет зависеть благополучие детей.

Впрочем, графиня далеко еще не старая, не лишенная любопытства к окружающей жизни, оказалась весьма интересной собеседницей, потому и разговор с ней протекал легко.

В небольшом уютном кабинете пахло заморскими ароматами, из окна открывался вид на огромное зеркало пруда, окруженного плакучими ивами, а дальше, за садом, по ту сторону реки, начинался лес.

В кабинете ничего лишнего: ковры, удобная мебель, мягкое канапе и вольтеровские кресла. Графиня была в длинном, почти до пола, из тяжелого бархата платье, отороченном серебристым мехом, который подчеркивал смуглость обнаженной руки и высокой шеи. Карие глаза этой дочери украинских степей, выбившейся, благодаря случаю, в графское достоинство, казались добрыми. По его не обманешь, он хорошо знает, чем дышит, эта увядающая красавица, чьими руками она загребает деньги для своей праздной жизни.

Разговор вела о том, что видела в недавней поездке в Баден-Баден, Рим, Венецию... Угостила особым, привезенным из Рима чаем с крендельками, сделанными а-ля франсе. Он тоже не остался в долгу: рассказал услышанные в петербургских салонах несколько пикантных историй из жизни царствующего двора. Он знал множество подобных историй, графиня готова была слушать его весь день, но он не забывал, зачем приехал. Словно между прочим, попросил разрешения заготовить несколько возов дровишек в ее лесах. Графиня усмехнулась: вот зачем пожаловал гость, но вида не подала и сказала: "О такой мелочи просите? Для вас, дорогой наш пиит, я бы что угодно не пожалела". — "Мне ничего не надобно, ваше сиятельство, премного благодарен за вашу доброту... Вот только... — И повеселел. — Вот только, ежели разрешите, свечей бы немного вашего завода. Ваши свечи — лучшие во всем крае..." Графиня, чувствительная к лести, не обиделась, напротив, была довольна похвалой и сказала, что дарует Дому бедных три пуда самых наилучших свечей... Однако он не захотел брать даром — будет повод еще раз приехать — и заплатил, хоть по самой малой цене, но заплатил... Графиня просила заглядывать, ежели появится еще какая потребность. Они хорошо, по-дружески расстались.

Теперь в пансионе будет тепло, а вечерами и светло. Дети смогут дольше заниматься уроками, а на досуге и поиграть, почитать книгу. Книг уже накопилось около трех сотен, ими заполнены два шкафа. Вот если бы господу учителя еще раскошелились, а то принесли всего по две-три книги... Надо теперь к книгам и доброго хозяина приставить, лучше, разумеется, из среды воспитанников, пусть бы

осмотрел корешки, где надо — подклеил, подшил, привлек к сему делу и товарищей. Таким образом уважение к книге воспитывается. Конечно, одним уходом за книгой не научишься верно ее читать, находить в ней главное, что уму и сердцу полезно. Для этого хорошо бы правила чтения написать, ознакомить с ними каждого. Пусть потом господа учителя дуются, говорят, что дорогу им перебежал, — не страшно, лишь бы детям польза была.

Первого, кого Иван Петрович увидел, переступив порог Дома, был Миша Лесницкий. Закутавшись в стеганое одеяло, из которого виднелся только один нос, он прислонился к теплой печке и при свете свечи читал вслух книгу. Иван Петрович сразу определил, что читает его воспитанник.

— Ты что не в спальне? И откуда у тебя Ломоносов?

Лесницкий явно неохотно прервал чтение, протянул Котляревскому томик стихов.

— Это Шлихтину прислали. Десять книжек.

— Вот как!.. А сам он где?

— Еще не вернулся из классов.

— А ты почему не ходил сегодня?

— Сапоги прохудились, господин надзиратель. Копыт обещал починить, да не успел.

— Опять? Сколько раз бросил: никаких прозвищ.

— Не буду больше, — покраснел Лесницкий. — Вырвалось — сам не знаю как.

— Ну хорошо... Пойдем-ка поглядим книги.

Они вошли в узкую с одним окном комнату Котляревского. Два шкафа, маленький диван, стол у окна и три тяжелых деревянных стула — вот и вся обстановка. Но Ивану Петровичу ничего больше и не нужно было. Оставаясь иногда в пансионе на ночь, он мог здесь отдохнуть или, пригласив к себе воспитанника, помочь ему подготовить домашнее задание. Комнату эту дети хорошо знали, шли сюда охотно, она перестала пугать их, как раньше, при прежнем надзирателе.

— Вот они! — показал Миша рукой на стопку книг, уложенных прямо на полу. — Хемницер! Капнист! Фонвизин! Державин! И даже Анна Радклиф! Роман ее, господин надзиратель. Я только одним глазком заглянул — жуть как интересно. — Миша гладил корешки, трогал пальцами обложки. — Сколько теперь их! — восторженно сказал он.

— Пока маловато, около трехсот.

— Прочешь бы все!

— Прочтешь. Завтра принесу правила чтения, а ты перепишешь. Хорошо? Каждому классу чтобы по одному экземпляру.

— Какие правила? Где они есть?

— Их пока нет, но обязательно будут.

Лесницкий широко открытыми глазами взглянул на Ивана Петровича, который начал вдруг увлеченно рассказывать, как он сам, еще будучи в семинарии, "глотал книги", а позже оказалось, что ничего из них не помнит, все перемешалось. Только благодаря учителю Иоанну Станиславскому научился читать и понимать книгу —

кладезь премудрости и знаний. Вел даже записи прочитанного. Помогало в учении.

— А на экзаменах помогало?

— И на экзаменах помогало. А знаешь, Миша, что я хотел предложить тебе?

— Что?

— Ключи.

— Какие?

— От книжных шкафов.

Лесницкий на мгновение задержал дыхание и, боясь, что ослышался, спросил:

— А... зачем?

— Ты и в самом деле ничего не понимаешь? — Иван Петрович погладил волосы, рассыпавшиеся на лбу мальчика. — Будешь открывать и закрывать ими шкафы, станешь выдавать товарищам книжки, вести записи, кто какую взял, следить, чтобы книги берегли. Одним словом, хозяином библиотеки станешь.

Миша слушал и не верил: неужто он станет полноправным обладателем ключей и, стало быть, получит свободный доступ к книгам, будет книгохранителем пансиона?

— И все — я?!

— Разумеется, господин книгохранитель, — усмехнулся Иван Петрович, невольно любуясь блеском глаз мальчика, его взволнованностью. — Вот, бери! Отныне они твои.

Лесницкий осторожно взял ключи, повертел в руках и сказал:

— Я буду смотреть! Следить, чтобы... ни одна книжка не пропала. И собирать буду! Чтобы книг у нас было еще больше

— Собирать будем вместе... Да, еще одно. Ежели пожелаешь, возьми себе помощника, вдвоем будет легче. Если один, скажем, занят, другой откроет шкаф и выдаст книгу или примет.

— Я сам... Хотя... Папанолиса возьму. Можно?

— Хорошо. А теперь пришли мне Капитоновича.

— Он ушел.

— Куда?

— Явился господин Квятковский и сказал, что ему надобно дрова пилить и картошку выкопать. Капитонович взял с собой пять человек — А к нему...

Котляревский уже однажды слышал от Дионисия, что некоторые господа преподаватели приглашают к себе учеников для домашней работы, причем не считаясь ни с погодой, хотя у многих воспитанников худая одежда и обувь, ни с тем, что детям надо готовить домашние задания. Он тогда посмеялся, не поверил атому. И вскоре позабыл о разговоре, решив, что помощник его, склонный к шуткам и преувеличениям, просто придумал все это. То, что когда-то он сам, будучи в семинарии, убирал классы, заготавливал дрова, ездил по селам и закупал картофель и овощи, было понятно. Все это делалось для семинарии, — значит, для себя. А здесь... Что же получается? Воспитанников используют как работников, полагая, что отказаться они не посмеют, побоятся гнева преподавателя. Выходит, Дионисий не обманывал тогда?

— Вот что, Миша, надень чьи-нибудь сапоги и беги к господину Квятковскому.



Знаешь, где он живет?

— На Протопоповской, в собственном доме.

— Скажи Капитоновичу, чтобы всех до единого привел обратно. Немедленно!

— Но как же?..

— С господином учителем я поговорю сам. Беги, Миша!

14

Мокрицкий подготовил домашнее задание по латыни, может быть, не лучше других, но и не хуже: сделал перевод из знаменитой речи Цицерона "Против Каталины", выучил его, несколько раз повторил и ненавистные грамматические правила. Гордясь тем, что на этот раз сделал все сам, без чьей-либо помощи, понес тетрадь к надзирателю не столько для проверки, сколько для того, чтобы чуть-чуть похвалиться.

Иван Петрович сразу же отложил в сторону все свои бумаги и принялся проверять, как подготовился к уроку Мокрицкий: прочел от первой строки до последней весь перевод, кое-что поправил и сказал, что очень рад, отныне Мокрицкий — латинист не хуже самого Лесницкого, который слыл в гимназии успевающим по всем предметам, в том числе и по латыни. Идя на урок, Федор был совершенно спокоен и полон чувства собственного достоинства, как человек, честно выполнивший свой долг.

Спокойствие его, однако, длилось недолго. Когда Квятковский, не сдержав себя, чуть ли не с кулаками набросился на Шлихтина, "случайно забывшего" тетрадь, Федор испугался: а вдруг учитель вызовет его, Мокрицкого, и он, отвечая, запнется, ведь с каждым это может случиться, даже ежели знаешь урок, вдруг учитель так же станет кричать и на него? Словно угадав мысли Федора, учитель и в самом деле вызвал его.

— Читай! — уставился Квятковский немигающими глазами, которые неотступно следили за каждым движением Федора, прожигали, казалось, насквозь. Федор почувствовал дрожь в коленях, весь сжался.

— Ч-читай, ч-чего м-молчншь! — заикаясь — явный признак нарастающего нетерпения — повторил Квятковский.

У Федора будто язык отняло, он пробормотал, тоже заикаясь, что-то в свое оправдание, попытался взять себя в руки. Однако Квятковский, решив, что ученик специально заикается, насмехаясь над ним, подошел ближе и замахнулся увесистым томом Цицерона:

— Т-ты б-болван!

— Т-ты б-болван, — машинально с перепуга едва слышно повторил Мокрицкий.

Удар пришелся по голове. От обиды и боли у Мокрицкого потемнело в глазах. Федор поднял руки, чтобы защититься от новых ударов, хотел что-то сказать, но взбешенный ученый муж, словно фельдфебель на учебном плацу, заорал "молчать!" и замахнулся опять.

— Л-лозы захотел?.. Т-ты ее п-получишь!

Услышав такие слова, Федор испуганно отскочил в сторону, Квятковский схватил его за рукав, но мальчик вырвался, подбежал к двери — и был таков. В коридоре

наткнулся на служителя, тот не стал его задерживать, напротив, поощрительно кивнул: "Беги, сынок!", и Федор побежал по гулкому коридору, мимо испуганного его появлением первоклассника, мимо распахнутой двери учительской, промчался по ступенькам крыльца и оказался на огромной Круглой площади под высоким осенним небом.

Спустился с Ивановой горы к самой Ворскле, потом забрел в тихий, обласканный осенним солнцем монастырский лес, уселся у старого дуба, долго думал, как теперь быть и куда податься. Ничего определенного не решив, под вечер вернулся в город.

Монастырская улица привела снова на Круглую площадь. Федор знал, что уроки в гимназии уже закончились и потому никто его здесь не увидят; в узких окнах гасли последние солнечные лучи. Неприветливой, мрачной, словно тюремный замок, казалась в этот час гимназия. Сколько горя, обид перенес он в ее стенах! Нет, подумал Федор, больше он сюда уже не придет, куда угодно — только не сюда. И тут же заколебался: это значит, он не будет больше жить в Доме для бедных? Не увидит надзирателя Ивана Петровича? Не услышит его вечерних бесед? А как же товарищи? Их тоже он больше не увидит?

Еще двое суток не решался Мокрицкий идти к Огневу, но и на занятия не ходил: у него появился жар, стало больно глотать. Несомненно, он простудился, когда доставал из холодной воды кувшинки, а потом сидел на сырой земле в монастырском лесу.

Узнав о болезни Мокрицкого, Котляревский распорядился: на занятия Федора не пускать, пусть побудет несколько дней в домашнем тепле, прислал к нему Настю-кухарку, которая принесла глечик теплого сладкого сбитня, затем — горячего молока, чаю с боярышником, побаловала и вкусными крендельками с маком и медом.

Иван Петрович дважды и сам заходил к Мокрицкому, справлялся, как он себя чувствует, предупредил, чтобы не вздумал выходить, на дворе холодно, да и задождало. Федору хотелось, чтобы надзиратель спросил его, где он был вчера, почему не пришел со всеми вместе с занятий, но тот ничего не спрашивал.

Мокрицкий вдруг подумал, что он никому не нужен; товарищи — в классе, а надзиратель за целый день заглянул к нему лишь дважды, и то на две минутки. Правда, он добрый, защитил в тот раз от унтера, помогал готовить уроки, проверял тетради. Но что надзирателю какой-то там Мокрицкий? Разве у него мало хлопот? Кто ему он, Федор? Не сын, не племянник — чужой. Если бы доводился каким-нибудь родственником, то, наверное, не стал бы упрекать: "Что же ты учителя передразнивать вздумал? Он ведь от рождения такой... Нехорошо, братец. Не ожидал от тебя..." А Шлихтин и Папанолис, находившиеся тогда рядом в спальне, тоже хороши. Вместо того чтобы помочь объяснить, как все было, начали смеяться: молодец, мол, Федор, поддразнил латиниста, болваном обозвал, так ему и надо. Надзиратель же не стал его и слушать, некогда, мол, ему, предупредил только, чтобы он и завтра не ходил на занятия, и исчез.

На следующий день Иван Петрович в пансион не пришел. Сменивший Капитоновича Дионисий, подойдя к Федору, сказал, что надзиратель уехал к графине

Разумовской просить свечей, "у нее дешевые и горят хорошо, без дыма". Конечно, подумал Мокрицкий, надзирателю важнее свечи, нежели судьба какого-то несчастного воспитанника, поверил учителю, а его, Федора, и слушать не стал. Нет на свете правды, никто теперь ему, Мокрицкому, не поверит. Ну и не надо! Обидно только: старался, сам делал перевод...

Вместе со всеми воспитанниками начал одеваться и Федор. Дионисий спросил, как у него с горлом, может, лучше не испытывать судьбу, посидеть в тепле еще денек? Но Федор сказал, что он уже выздоровел, и Дионисий отпустил его.

...Огнев не уговаривал Мокрицкого остаться, "еще раз подумать". Уходишь? Ну и с богом. Нашел аттестат об окончании Мокрицким поветового училища, затем сочинил бумагу, в которой указал, что сын мещанки Федор Мокрицкий, не закончив третьего класса Полтавской гимназии, выбыл из оной по собственному желанию, так как имеет намерение поступить на государственную службу.

— Куда же пойдешь? — спросил Огнев, посыпая песком исписанные места бумаги.

— Н-не знаю. — Пожал плечами Федор. Он в самом деле не знал, куда пойдет и чем станет заниматься: будущее ему казалось смутным и тревожным.

— Так-с. — Огнев хмуро взглянул на стоящего перед ним с опущенной головой Мокрицкого. — Ты постучись в губернское правление. Знаешь, где оно? Там, слышно, требуются подручные канцеляристов... Но ежели и там провинишься, то можешь попасть и на гауптвахту.

Угрозу о гауптвахте Федор пропустил мимо ушей: он знал, что туда посылают для экзекуции, а он пока ни в чем не виновен, но к совету Огнева прислушался; забыв поблагодарить директора, с бумагами в руках он вышмыгнул из кабинета.

Мать не стала перечить Федору: желаешь служить — служи, отец покойный был тоже не шибко грамотен, а служил исправно, начальство было им премного довольное, умел сочинить такое прошение, что не каждый и грамотный сумел бы, за то его и почитали, и, разумеется, не оставляли, кому сие надлежит, без благодарности, а это позволило и дом приличный возвести, и прикупить немного леса под Полтавой, и лужков, и земли... Федор все это знал, ибо покойный родитель частенько, особенно когда пребывал в веселом расположении духа, рассказывал, как из подручного канцеляриста он выбился в протоколисты и чего достиг. И все же Федор не представлял себя на службе, не имел о ней ни малейшего понятия.

В губернское правление Мокрицкого приняли: там еще были сослуживцы отца, они-то и помогли Федору получить место.

Делать доводилось Мокрицкому все без разбору: писал он мало, больше бегал по различным учреждениям, разносил пакеты.

Однажды его послали в гимназию. Федор передал через служителя бумагу, адресованную самому директору училищ господину Огневу, и хотел тут же уйти, чтобы не встретиться с бывшими однокашниками. Но на него налетели с двух сторон — и откуда они взялись? — Вася Шлихтин и худенький шустрый Миша Лесницкий. Затолкали в угол, стали расспрашивать. Им все хотелось знать: как работается, как

живется, почему ушел из гимназии? Неужто в самом деле из-за латиниста? В самом деле? Из-за Квятковского? Эх, Федор! А другие лучше? И другие дерутся не хуже пана Квятковского. Ну и что? Сразу убегать? Все терпят, и ты должен терпеть, ежели учиться хочешь. Да и мог бы подождать. Не разумеешь — чего? А то, что скоро порку в гимназии отменят. Сам господин надзиратель говорил. И кроме того, он имел серьезную беседу с латинистом, а потом и с директором. Надзиратель требовал от латиниста вести урок как полагается, чтобы всем понятно было, а то учит вслепую, крот старый, никто ничего не смыслит. Квятковский крик поднял, даже во всех классах слышно было, а надзиратель спокойно ему сказал: вы, господин учитель, просвещать призваны, а не затемнять. Квятковского чуть кондрашка нехватила — вот смеху-то было...

Глаза Лесницкого — черные, как угольки, — искрились весельем, пухлые щеки Васи Шлихтика расплывались в улыбке.

— И еще, — добавил Лесницкий. — Иван Петрович расспрашивал о тебе, Федя, удивлялся, почему не зашел к нему, не простился даже. Эх ты! Убегать от такого надзирателя — просто глупость, и поступить с ним так, как это сделал ты, мог только дурак.

— Да, не следовало тебе в бега подаваться, — заключил Шлихтин рассказ Лесницкого. — Я хуже твоего учусь, а терплю.

Федор был согласен с товарищами: да, он допустил ошибку, поступил необдуманно. Однако исправить эту ошибку уже невозможно.

А Шлихтин и Лесницкий все не умолкали, наперебой выкладывали последние новости.

Позавчера в гимназию вернулся Ильницкий — тот самый, что нынешним летом убежал, его искали, а он — хитрец этакий — у тетки на хуторе жил, теперь снова во второй класс принят.

А намерении Иван Петрович читал им новые, неведомые басни Крылова — ох и весело же было! Обещал Иван Петрович почитать и пьесу того же автора, и что самое интересное — он знаком с тем автором, встречался с ним в Петербурге, дома у него бывал.

— Да, совсем забыл, — сказал Миша. — Иван Петрович просил, ежели увидим тебя, передать, чтобы заходил... Не чужой же тебе Дом наш.

— Вот такие-то дела, — вздохнул Шлихтин и вдруг хлопнул себя по лбу ладошкой: — Совсем из головы вылетело! У нас лицедейство будет!

— Бреши больше, — усмехнулся Мокрицкий.

— Вот те крест... Скажи, Миша!

— Будет.

— Наверно, интермедия какая-нибудь?

— Скажешь еще... Мы "Недоросля" играть станем. Слышал?

— Ага, — неуверенно ответил Федор. — О чем там?

— Так ты ничего не знаешь, а говоришь — слышал? История — умрешь. Человек

учиться не хотел, а просил, чтоб женили его. — Шлихтин хохотнул, скорчил рожицу. — Вот я как раз и буду изображать этого недоросля, а он, — ткнул пальцем в Лесницкого, — будет моей матерью. Представляешь его в роли моей матери? Приходи, Федя, обхохочешься.

Федор закусил губу от обиды. Как же так? В пансионе — театр. И без него? А может, просто смеются над ним товарищи? — начал он успокаивать себя. Да и где им своего "Недоросля" показывать? В пансионе тесно, не поверяешься.

— А играть где? — спросил осторожно.

— В столовой зале, — ответил Лесницкий. — Сделаем сцену, занавес из одеял сошьем. Не веришь? Приходи — увидишь.

Федору стало еще обидней: они его приглашают, он будет зрителем, а ведь мог бы и сам участвовать в спектакле.

— А про библиотеку знаешь? — спросил Шлихтин.

— Да, да! — подхватил Миша. — Я вот книжки выдаю и принимаю.

— Так тебе и доверили.

— Вот Фома неверующий. Приходи — и тебе дам книжку, не жалко... У нас такие книжки, что тебе и не снилось. Про рыцарей, разбойников, про неведомые страны, и даже одна — про пиратов.

— Про пиратов? Интересная?

— У-у, страшная!.. Копыт свечи уносит, а то бы всю ночь читали... Вместе читаем, потому как все хотят, да и боязно одному.

Мокрицкий почувствовал вдруг себя самым несчастным человеком на свете, но он ни за что не признается в этом товарищам. Пусть думают, что ему тоже живется хорошо, и он похвалился:

— А я пять рублен в месяц получаю, копейка в копейку.

— Неужто пять? — недоверчиво переспросил Шлихтин.

Васе присылали деньги из дому, присылал изредка и его покровитель граф Трошинский, живший последние годы вблизи Миргорода, в родовом имении в Кибинцах, но он быстро тратил их, а потом начинал просить у воспитанников взаймы "на бублики", поэтому многим был должен — кому грош, кому два, кому и больше.

— Пять, — гордо повторил Мокрицкий. — А как послужу года три, так и больше дадут, рубль, а то и два добавят. — Он пошарил в карманах своего потрепанно го синего кафтана, вытащил медную монету. — Пошли к греку, кофею напьемся с калачами. Угощаю.

Шлихтин пылко поддержал предложение сходить к греку в герберг, позабыв, что впереди еще один двухчленный урок, но Лесницкий засомневался: надо ли убегать из класса? Не подведут ли они тем самым господина надзирателя? Нет, так нельзя, и он предложил другое:

— Ты, Федор, лучше приходи к нам в воскресенье, Настя такое испечет — пальчики оближешь. А после завтрака Пьесу будем читать.

— Я бы пришел, да... пустят ли?

— Пустят. Мы попросим господина надзирателя, — уверенно сказал Шлихтин. — А потом и в герберг сходим.

— Ты лучше насовсем приходи, — тихо произнес Лесницкий, глядя на осунувшееся лицо Федора. — Твоя кровать еще не занята.

В это время по длинным узким коридорам гимназии рассыпалась дробь звонка, призывая воспитанников в классы. Лесницкий и Шлихтин заторопились, быстро попрощались, толкнули Федора с двух сторон под бока и, крикнув уже на ходу, с верхней ступеньки лестницы "приходи!", убежали.

Некоторое время Мокрицкий вслушивался в хорошо знакомый, постепенно стихающий шум в коридорах и классах и, вздохнув, вышел из гимназии.

Нет, он не вернется. Отрезанный ломоть не приставить обратно. Как это о" вдруг снова появится, какими глазами посмотрит на надзирателя? Ушел, убежал, даже не попрощавшись. Какой позор! А Иван Петрович был добр к нему, помогал, учил, времени не жалел. Да, плохо, очень плохо он поступил. Но теперь уже ничего не исправишь.

Федор боялся встречи с Иваном Петровичем и уже дважды удачно исчезал из-под самого его носа. В первый раз ускользнул в соседний переулок, а во второй — юркнул в темную подворотню и просидел там, скрючившись и укрыв голову полой кафтана, до тех пор, пока господин надзиратель не прошел мимо.

Выходя из губернского правления, прежде чем ступить на мостовую, он внимательно смотрел по сторонам: не видно ли где-либо господина надзирателя? Но сегодня, после встречи с товарищами, он чувствовал себя каким-то отрешенным от всего окружающего. Он не замечал ни почтовой кареты, прогромыхавшей мимо по колдобинам, ни команды инвалидов, шагавшей с офицером во главе через Круглую площадь. Он шел, опустив голову, машинально повернул на знакомую улицу и, конечно, не слышал позади себя размеренных твердых шагов. Но вдруг его словно толкнул", он обернулся — о боже! — к нему приближался Иван Петрович: не убежишь, не скроешься.

Иван Петрович поздоровался, спросил, как Федор живет, где служит, почему не кажет глаз в пансион? Обиделся? А за что? И на кого именно? Может, он, Иван Петрович, обидел?

Федор замотал головой: нет, он ни на кого не обижен — и, опустив глаза, ответил, что живет как все, служит, а не заходит в пансион потому, что нет свободной минуты, бегают да бегают, а вообще-то... Заикаясь, Федор пробормотал что-то невнятное и умолк на полуслове.

— Постой! Да ты, никак?.. Ну, разумеется, так и есть, а я грешил на тебя... Думал, ты нарочно, а, выходит, у тебя от волнения такое, природное заиканье.

Мокрицкий в самом деле заикался, — правда, редко, только при сильном волнении.

Федор опустил голову, лицо его покраснело. Иван Петрович сделал вид, что ничего не заметил.

— Ты сейчас свободен? Я тоже располагаю некоторым временем. Может,

пройдемся?

Федор кивнул: да, он свободен, старший протоколист в субботные дни отпускает его раньше.

Полтава, обычно тихая, в полуденное время становилась еще тише. Проскакали последние курьеры генерал-губернаторской канцелярии, отзвонили колокола в церквях и соборе. Город окутала тишина, нарушаемая изредка то внезапно возникшим шумом проезжающей пролетки, то гейканьем погонщика волов, тянувших воз с сеном или хворостом, то тяжелым топотом сапог околоточного по дощатому тротуару.

Они гуляли почти до самого вечера. Иван Петрович несколько раз спрашивал, не торопится ли Федор, нет ли у него каких-либо дел? Федор удивлялся забывчивости надзирателя, ведь только что говорил ему, что все дела кончились, когда отнес в гимназию господину Огневу пакет. Что это Иван Петрович такой рассеянный?

Они поднялись к усадьбе губернского предводителя дворянства Семена Михайловича Кочубея, обогнули ее слева и остановились над обрывами. Отсюда открывался необозримый вид на заречье. В розовом предвечернем тумане тускло мерцала излучина Ворсклы. Близко, к самым обрывам, подступали стога сена, напоминавшие юрты кочевников, неизвестно откуда появившиеся на скошенном лугу. Медленно поднимались в гору, издали похожие на игрушечные, стада, слышались отдаленное блеянье овец, крики пастухов, короткое щелканье кнута.

Иван Петрович начал рассказывать Мокрицкому о себе. Когда-то, еще в семинарии, в таком же возрасте, как Федор, он страшно разобиделся на учителя пиитики Иоанна, пожурившего его за нерадиво выполненное домашнее задание. До этого учитель обычно хвалил его, другим даже в пример ставил и вдруг — отругал. Обида показалась настолько нестерпимой, что он твердо решил уйти из семинарии, куда именно — не знал, но верил, что решение это твердое и ничто уже не способно изменить его... И он ушел, даже ни с кем не простившись. Домой не явился, забрался в монастырский лес и прослонулся в нем до самого позднего вечера. И вот там, находясь в одиночестве, вдруг понял, что поступает нехорошо, глупо, появилось чувство вины перед учителем, и он вернулся. Попросил прощенья у отца Иоанна. Учитель — человек добрый, все понимающий — простил его, однако не преминул заметить, что тешить собственные обиды — последнее дело, виноват — покайся, признай оплошность свою, тебя от этого не убудет, а в глазах товарищей станешь выше, честнее и даже сам себя начнешь уважать.

— Так что извиниться перед учителем — совсем не грех, — закончил свой рассказ Иван Петрович и подмигнул Мокрицкому.

— А я не виноват... Я все знал, а он... — пробормотал Федор, краснея.

— И все же, даже ежели ты прав, извинись, сие — благое дело. — Иван Петрович вдруг задумался. — Если бы я мог покаяться перед моим дорогим учителем за те бесчисленные огорчения, которые доставил ему... Но, увы, ушедшего не вернешь, ошибок совершенных не исправишь, а вот ты... тебе не поздно. И потому поспеши доставить старому учителю удовольствие...

Федор молчал. Если бы знал господин надзиратель, какой латинист нехороший и несправедливый человек, то, наверное, не говорил бы так, одному богу известно, сколько натерпелся Федор из-за этого "старого учителя". Нет, он не может извиниться, разве только... ради господина надзирателя. Федор вздохнул:

— Я извинюсь... потому как вы... — И не договорил.

Котляревский увидел в глазах воспитанника грусть и вдруг почувствовал непонятное смятение, вину перед этим попавшим в беду подростком. Да, он, надзиратель, виноват перед ним, что-то недоглядел, не понял его души, его мыслей, не вник в его большой и сложный мир переживаний и чувств. Нет, он не имеет права настаивать, требовать.

— Хорошо, — сказал Иван Петрович, обняв за плечи Мокрицкого. — Я ничего от тебя не требую, поступай как знаешь... Заходи ко мне, не забывай. А может, ты, — намекнул осторожно, — подумаешь и вообще вернешься? Место твое еще не занято... — Иван Петрович обошел большую лужу, подождал, пока и Федор обойдет ее. — Окончишь гимназию — в университет поступишь или на службу пойдешь — твое дело... Так ждать тебя?

Мокрицкий несколько мгновений раздумывал и, вдруг облегченно вздохнув, утвердительно закивал: да, он придет, обязательно придет.

— Вот и хорошо... А пока — домой. Уже вечерет. Да и ветром свежим потянуло, а ты одет не слишком тепло... Ну, беги!..

Спустя три дня Федор Мокрицкий по рекомендации Котляревского был вновь принят в гимназию и помещен в Дом для бедных, поскольку место его все еще оставалось незанятым.

15

Кончался 1810 год, у порога стоял одиннадцатый — канун нового, более грозного, двенадцатого. Слухи, рождавшиеся в столице, докатывались и в такие города, как Полтава, — их привозили негоцианты, военные, путешественники; много раз пересказанные, они обрастали новыми подробностями и, и подчас трудно было отличить, где правда, а где вымысел.

Прошлым летом в Полтаве видели огненную комету, и до сих пор, при случае, вспоминая об этом чуде, полтавский обыватель пересказывал слова ученого аптекаря Тиссаревского, учившегося некогда в немецком городе Лейпциге и знавшего семь языков. Аптекарь сказал тогда, что ежели комета с хвостом и хвост огненный, да еще коснулся земли, то непременно быть новой беде, может быть даже, не приведи господа, и войне.

Слухи расползались по городу, как эпидемия. Верно было пока одно: война еще не кончилась, едва подписали мир с неким антихристом по имени Бонапарте, как началась южная кампания и вот уже несколько лет не прекращается. Задунайская армия взяла наконец Измаил, а мира все нет, не желает турецкий падишах заключать его, надеется будто бы захватить Молдавию, Крым и Грузию. Но не видать ему этого как своих ушей. Туда будто бы должен ехать сам Михаил Кутузов, тот самый, что



воевал с турком и бивал его не раз. Уж он-то с ним потрактует.

От разговоров о предстоящей войне переходили к своим местным делам и заботам.

В гимназии что-то недавно стряслось. Мог быть скандал, да Огнев вмешался и все погасил, не дал выплеснуться за стены. И все же слухи растеклись по всему городу, будоражили воображение обывателя.

Говорили, что новый надзиратель Дома для бедных — капитан Котляревский, тот самый, что живет возле Успенского собора, — запретил ходить воспитанникам на домашние работы к господам учителям.

Недавно сам латинист Квятковский остался с носом. Воспитанники, по его требованию, пришли к нему домой и принялись пилить дрова, другие замесили глину, чтобы подмазать сарай, еще несколько человек ушли на огород копать картофель, но тут последовал приказ: всем незамедлительно вернуться в пансион. Воспитанники, разумеется, работу оставили и вернулись, а господин наставник в страшном гневе нагрянул к надзирателю с упреками и угрозами: он, мол, пожалуется директору, недопустимо так своевольничать, гимназисты всегда работали на дому у преподавателей. На что надзиратель якобы ответил очень вежливо: подобное издевательство над детьми больше не повторится, во всяком случае пока он в пансионе. Да неужто не совестно снимать воспитанников с занятий для личных нужд? Вам надобно сарай мазать? Дрова пилить? Нанимайте работников. Если бы вы были больны или стары — иное дело, он первый почитал бы своим долгом помочь вам и детей бы послал, но вы, сударь, при добром здравии и не так стары. Так что не взыщите — больше на воспитанников, на даровую рабочую силу, не надейтесь...

Господин наставник ушел несолоно хлебавши. Визит его к Ивану Дмитриевичу тоже закончился ничем. Что мог изменить директор? Надзиратель поступил правильно, хотя, может, обошелся и резковато с известным учителем-латинистом. А слышали, что еще учинил наш капитан? Не слышали? Так вы, сударь, ничегошеньки не знаете, а об этом вся Полтава говорит. Рассказывают, как только портится погода — снег выпадет глубокий или задождит, — воспитанников в классы не пускает, особенно тех, у кого обувь прохудилась. Пропустят занятия, зато здоровы. А со всеми оставленными в пансионе занимается надзиратель сам, и, говорят, весьма охотно дети выполняют все, что надлежит, не хуже, нежели в классах, даже более прилежно. Так что ученье не страдает. А классы в те дни пусты. Огневу пришлось согласиться и с этим, а затем нанять работников для ремонта одежды и обуви воспитанников.

Не случайно потому ныне в гимназию возвращаются те, кто в прошлом году бежал. Причем все до единого слезно просят поместить их в Дом для бедных. Вот что значит добрая слава!

Говорят, перестали даже пороть провинившихся, хотя по поводу розг мнения полтавчан разделились. Одни утверждали, что совсем не наказывать невозможно, даже иногда и розгой не грех попотчевать, тогда юное создание и мягче, и послушнее становится, чаще поклоны бьет перед божьим образом. Но против этого решительно выступила другая часть полтавчан, правда, не такая многочисленная, как первая.

Розга озлобляет человека, делает его робким, безвольным — и верно поступает надзиратель, что восстает против порки. Спасибо ему! Вот как только на это посмотрят господа наставники, ретивые защитники телесных наказаний? Однако надзиратель, говорят, человек настойчивый: ежели что, до правителя края дойдет, а своего добьется. Но добьется ли? Уж слишком прочно укоренились у нас дикие расправы над детьми.

Всколыхнула город и совсем свежая новость. Из Санкт-Петербурга приехал правитель края, не успели отмыть от дорожной грязи и пыли его карету, как весть о приезде князя облетела весь город, и почти в тот же день стало известно, с чем он приехал. Михайла Амбросимов в тесном кругу друзей, среди которых был и Котляревский, рассказал, что наконец-то князь привез "высочайше" утвержденный указ о строительстве в Полтаве театра и нового здания гимназии.

Этого ждали, об этом говорили давно: рано или поздно, а в Полтаве будет настоящее здание гимназии, когда-нибудь ее переведут из помещения, которое строилось для городского трактира. О театре тоже поговаривали, правда, осторожно, неуверенно, больше в кругу товарищей губернского архитектора, который, как было известно, уже несколько лет носился с проектом дворца прекрасной Мельпомене. И вот, наконец, правитель края привез разрешение на строительство гимназии и театра. Правда, денег на строительство не отпускалось, было сказано: находите на месте. Хорошо, однако, и то, что разрешение получено, — стало быть, не сегодня, так завтра, не в этом году, так в следующем, а гимназия и театр будут возведены. Амбросимов, заглянув как-то к Котляревскому на "огонек", похвалился, что теперь-то он "не слезет с князя", а деньги найдутся, и он надеется, что театр в Полтаве будет сооружен, может быть, даже раньше, нежели гимназия, которая имеет пока свое, хотя и временное, помещение.

Полтава жила жизнью довольно глухого, хотя и губернского города. И, как в каждом городе, пусть даже глухом, в нем ежедневно что-то случалось. Накануне пропала со двора купчихи Дерябиной девица, которую нашли вскоре в Ворскле, где она обрела свое последнее пристанище. Оказывается, Дерябина собственноручно избила ее при всех челядинцах, и девушка не смогла вынести такого позора.

Жизнь текла. Людей волновали и вполне определенные интересы. На базаре мясники пытались поднять цены на мясо, они даже ходили к князю с челобитной, просили разрешения. Но князь ответил: не выгодно — ищите себе другое место. И мясо осталось в прежней цене — по восьми копеек за фунт. Зато стоимость соли поднялась, и даже князь ничего с этим не мог поделать. Соли в городе не хватало, подвоз ее задерживался; ожидали чумаков, ушедших за ней в Крым; проезжающие из Елизаветграда будто бы видели большой обоз с солью где-то под Кременчугом. Навстречу ему были отправлены быстрые подводы. Но соль пока еще не прибыла, и цены на нее росли.

Во многих домах, купеческих и мещанских, господа собирались по вечерам, чтобы "сыграть в картишки"; девицы гадали на суженых, бросая в воду кольца и серьги; по

городу на рождество водили ряженных, пели песни, щедривки. В иные же дни жизнь текла тихо и размеренно. По утрам и в предвечерние часы благовестили в приходских церквах. Полтавские обыватели старательно молились о ниспослании удачи в торговле, в домашних делах, чтобы черная болезнь обошла их дом, чтобы не упал на кого-либо из детей плохой глаз.

16

Кончился учебный год. Промчался как один день. Надзирателю Дома бедных некогда было, как иным обывателям, томиться в безделье, изнывать от скуки, считать часы и минуты от заутрени до обедни. Каждый его день был наполнен работой, радостями и огорчениями, победами и поражениями порой в невидимой борьбе за души воспитанников.

Год был нелегкий. Трудно пришлось всем, а ему, не имеющему специального образования и необходимых навыков, было намного труднее, чем другим. Порой он так уставал, что готов был бросить все и уйти, бежать из пансиона.

Случалось, не чаял дожидаться отбоя, когда воспитанники наконец-то уснут. С нетерпением ждал летних каникул, отдыха. Но едва стучался в окно новый день, как он тут же забывал о вчерашних мучениях, ему казалось невероятным, что он мог думать об уходе из пансиона, — торопливо что-то ел и, наскоро простясь с матерью, бежал в свой Дом, чтобы успеть на подъем, проследить, как позавтракают и уйдут в классы "его дети".

Общаясь с воспитанниками, вникая в их повседневные нужды, забывал о постоянных неурядицах, о размолвках с учителями и с самим Огневым. Дети тянулись к нему, доверяли свои сокровенные тайны, и он отвечал им тем же — искренностью и добротой. Нет, он совершенно не тяготился, как, может, кое-кто полагал в Полтаве, своим более чем скромным положением, местом надзирателя этого удивительного детского дома.

Никогда не завидовал своим бывшим однокашникам по семинарии, хотя некоторые из них уже не один год занимали весьма завидные должности в губернской канцелярии или в иных присутственных местах. Бог с ними, пусть выслуживаются, ему же ничего не нужно — ни чинов, ни наград; ему бы только чаще и ближе общаться с детьми и выкраивать время для работы над поэмой. В прошедший год писалось медленно, не так, как хотелось бы. Удалось сочинить всего тридцать с лишним строф — так мало, что и писать Николеньке Гнедичу об этом неудобно. Ох как надо чаще и дольше сидеть у стола, ибо, если так писать, как писалось в прошедшую зиму, не хватит самой жизни, чтобы закончить начатое.

Облегченно вздохнул, когда пришла наконец нора экзаменов, ведь после них полагались каникулы...

Огнев ввел надзирателя пансиона в экзаменационную комиссию и, как позже сам не раз говорил, нисколько не жалел об этом, напротив, был убежден, что само провидение осенило его поступить именно так, а не иначе.

Экзамены — нелегкая, тревожная пора, прежде всего для учащихся. Что же

касается господ учителей, то, разумеется, и они не могут оставаться спокойными, каждый не прочь похвастаться знаниями своих подопечных, и все же учитель имеет полное право показать и неуспеваемость, причем не одного, не двух, а иногда и целого класса. И отдельные наставники широко пользовались таким правом, поэтому Котляревский, не пропускавший ни одного экзамена как член комиссии, почти каждый день держал бой с некоторыми из господ учителей, не желавшими свозиться" с оробевшими, тугодумами, не стремившимися помочь им при ответе наводящим вопросом, объяснить более подробно, что требуется рассказать.

Иван Петрович спокойно, но настойчиво, если возникала необходимость, задавал воспитаннику дополнительные вопросы, чтобы тот понял свою оплошность и отвечал правильно. Он не мог допустить, чтобы кто-то из его подопечных был незаслуженно обижен, ему было жаль всех этих белоголовых, чернобровых, синеглазых мальчишек, так выросших за истекший год. Не однажды во время перерывов на экзаменах он говорил учителям, что вопросы надо задавать конкретные, ясные, нельзя быть безразличным к судьбе отвечающего воспитанника.

— Не учите, сударь! Не учите! — кричал Квятковский, особенно невзлюбивший Ивана Петровича за то, что тот запретил учащимся ходить к нему на домашние работы. — Коль ты гимназист, то обязан знать предмет, а ежели ты лоботрясничал, то тут уж получай, что заслужил. Да-с!

— И все же, сударь, спрашивать надобно спокойно, с желанием помочь, — стоял на своем Котляревский. — Не пугайте гимназистов, не кричите на них... Гимназист тоже человек.

— Кто человек? Гимназист? Да это глина, милостивый государь! Глина-с. И вы мне не указ.

— Верно, не указ. Но я член комиссии и обязан свое мнение иметь. Не так ли?

Котляревский вел подобные разговоры в комнате, где находились и другие преподаватели: ему хотелось, чтобы и они слышали. Он верил, что время тратит не напрасно, и это было действительно так: некоторые учителя прислушивались к нему, согласно кивали...

В те дни у всех еще были на памяти празднества по случаю столетия славной победы над войсками шведского короля Карла XII, и потому губернатор Тутолмин, чтобы напомнить о достославном событии, пожелал спросить кого-либо из экзаменующихся о незабвенной обороне Полтавы.

Преподаватель российской истории Рождественский, разумеется, не перечил, напротив, был рад, что почетный гость, каким был Тутолмин, не только присутствует на экзаменах, но и принимает в них живое участие.

— Скажи-ка, братец, — обратился к отвечающему по билету Мокрицкому губернатор, — что тебе ведомо о защите нашей славной крепости, то бишь Полтавы, в одна тысяча семьсот девятом году? — Губернатор расправил усы, покосился на сидящего рядом князя. Правитель края благосклонно склонил голову чуть набок, что означало: он одобряет вопрос и хотел бы тоже послушать ответ.

Мокрицкий, только что рассказавший о Владимире Мономахе и его времени, услышав вопрос, заданный важным господином при звезде и лентах, начал было отвечать, но тут же умолк. Вытянувшийся за последний год, похудевший, он стоял среди притихшего зала, опустив голову, не зная, куда девать длинные руки, упрямо вылезавшие из коротких рукавов ч гимназического мундира.

Рождественский заволновался, он то краснел, то становился мертвенно-бледным. Учитель не мог представить, что Мокрицкий, один из лучших гимназистов, не уступавший Лесницкому в знании русской истории, не знает, как ответить на вопрос. Он должен знать, на уроках однажды упоминалось о жертвах, понесенных защитниками крепости, подробнее, правда, ничего не говорилось, но большего и не требовалось.

Мокрицкий уперся взглядом в пол, опустил руки и молчал, пытаясь унять охватившую его дрожь.

Ближе всех к ученику сидел Иван Петрович. Он сочувственно глядел на бледное, покрывшееся мелкими бисеринками пота юное лицо и несколько раз кашлянул, стараясь тем самым привлечь внимание Мокрицкого. Но тот никак не реагировал на это. Молчание затягивалось, экзамен мог окончиться конфузом. Иван Петрович не выдержал, сказал:

— Его превосходительство господин губернатор спрашивает о защите нашей крепости. Сколько дней продолжалась осада войсками Карла, кто руководил крепостным гарнизоном и что, между прочим, сказал поэт о нашем городе, — добавил Иван Петрович, чуть подмигнув Мокрицкому, призывая его успокоиться, взять себя в руки и как бы говоря ему: ты все знаешь, не раз я рассказывал вам — помнишь вечера наши? — о героических днях обороны, только не надо волноваться.

Нет ничего важнее вовремя поданной руки помощи, дружеского слова. Мокрицкий сразу обрел спокойствие; в самом деле, он все знает и конечно же помнит стихи поэта. Извинившись, что немного затянул с ответом, он начал говорить — четко, ясно, без намека на заикание. Он вспомнил все, что рассказывал надзиратель, что слышал от учителя. Взмахивая рукой, Мокрицкий передал и жестом, и голосом, что говорили и как действовали героические защитники крепости.

Рождественский удивился: воспитанник рассказывает больше того, что в свое время он излагал на уроках, — откуда такие познания? Огнев, усмехаясь, посматривал на князя: вот какие у нас воспитанники! Вот что они знают! Городничий Осьмухин, сидевший все время тихо, думая о чем-то своем, вдруг оживился и, когда Мокрицкий стал рассказывать, как однажды защитники крепости, проделав навстречу шведам подкоп, нанесли им большой урон, не выдержал и, хлопнув рукой по столу, перекрывая голос Федора, громко и взволнованно заговорил:

— Вот как мы их били!.. Молодец, братец! Спасибо!

Городничий поспешно достал из заднего кармана сюртука платок, виновато поклонился сидевшим за столом членам экзаменационной комиссии и гостям и принялся усердно обмахиваться, словно ему вдруг стало жарко.

Князь снисходительно кивнул. Тутолмин осуждающе покачал головой. Мокрицкий, выждав несколько секунд и видя, что никто его не останавливает, продолжал:

— Мне остается добавить, что говорил однажды поэт о нашей Полтаве, достойной восхваленья. Вот что он сказал:

Но и радость смотрит горем:  
И в Аркадии моей  
Город смотрит грязным морем.  
Как придет пора дождей...  
Русской удали дорогу  
Петр очистил здесь штыком,  
И с тех пор мы, слава богу,  
Кое-как себе живем.  
Между тем, как будто шведы,  
Чтоб воздать Полтаве злом,  
Мы ее, ковчег победы,  
Потопленью предаем...  
Братья!.. Не грешно ли вчуже  
Видеть, господи спаси,  
Как барахтается в луже  
Город славный на Руси?..  
Что же? Нет беды в попытке...  
Стих мой брошу на авось:  
С мира просим — не по нитке,  
А по камешку нам брось!..  
Пусть откроется подписка —  
И Полтава спасена:  
Ей не нужноobelиска,  
Мостовая ей нужна[16].

Закончив декламировать, Мокрицкий, как полагалось в таких случаях, низко поклонился и сделал шаг назад, ожидая новых вопросов или же разрешения занять место на скамье гимназистов. Но никто не спешил ни задавать ему новых вопросов, ни отсылать его на место.

Экзаменаторы и почетные гости не знали, что делать: то ли выразить удовлетворение ответом, то ли сделать выговор гимназисту, дерзнувшему прочесть стихи, в которых, по существу, осуждаются власти предержащие за бездеятельность. Городничий вдруг стал красным, словно его ошпарили кипятком. Многозначительно посмотрели друг на друга Тутолмин и генерал-губернатор. Князь принужденно рассмеялся:

— А верно сказал поэт. Лучше всяких критик. Нашей городской думе пришла пора заняться мостовыми, особенно накануне праздника открытия монумента... Как полагаете, господин Осьмухин? Надеюсь, вы не противobelисков и мостовых?

— Так точно, ваше сиятельство, — вскочил городничий, от резкого движения зашатался стол и тонко зазвенели хрустальные бокалы с сахарной водой. — Не против.

— Гм... Однако я не о том... Не пора ли заняться мостовой?

— Займемся, ваше сиятельство.

— А тебе, дружок, — обратился князь к Мокрицкому, — спасибо за ответ и... за прочитанные стихи.

17

Последний экзамен по риторике в третьем, старшем классе гимназии был перенесен с двадцать седьмого на двадцать девятое июня, поскольку двадцать седьмого июня предполагалось открытие памятника на Круглой площади. Воспитанников уведомили об этом заранее, а всем преподавателям предложили явиться в гимназию в парадных мундирах.

Этого дня ждали давно.

Открытие монумента в честь столетия знаменитого Полтавского сражения должно было состояться еще два года назад, но все время возникали какие-то непредвиденные обстоятельства, и открытие все откладывалось и откладывалось. У многих на памяти была нашумевшая история доставки в Полтаву из-под Переволочной пушек, брошенных в свое время неприятелем при поспешном бегстве. Доставляли их почти полгода, из-за этого задержалась закладка площадки для монумента и, следовательно, задержались и другие работы.

Когда же все, казалось, было готово к торжественной церемонии и оставалось доделать лишь кое-какие мелочи, вдруг выяснилось, что именно эти мелочи — металлический венок для колонны, орел на ее вершине — не так быстро доделаешь, мастера провозились с ними почти месяц. А тут новая беда — выделенные на сооружение монумента средства городская дума истратила на другие нужды, и потому нечем было платить за труд золотых дел мастерам, приглашенным в Полтаву, и те отказались работать. Кстати, губернскому архитектору Амбросимову вообще не было выплачено ни одной копейки: человек он, мол, свой, местный, и, стало быть, может и потерпеть, ничего с ним не случится. Уже не Куракин, а сменивший его князь Лобанов-Ростовский самолично занялся изысканием дополнительных ассигнований, писал самому министру внутренних дел Кочубею, тряс городскую думу, городничего, и в конце концов нужная сумма была получена.

Так и прошло два года. В общей же сложности со дня, когда кременчугский каменщик Кирилл Кулибаба, осенив себя крестным знаменем, положил первый камень в фундамент, прошло более шести лет.

День двадцать седьмое июня совпадал со славной сто второй годовщиной полтавской победы, именно к этому дню и готовилось открытие монумента: военные оркестранты чистили медные трубы, мастера из портняжного цеха за одни сутки сшили полотнище, которым укрыли колонну.

Накануне, двадцать шестого июня, Полтаву вдруг разбудил ранний колокольный трезвон, который заставил расстаться одних с мягкими пуховиками, других — с

жесткой соломенной подстилкой. В тот год — сухой и жаркий — ранние перезвоны колоколов были не редкость: часто вспыхивали пожары, и неусыпные звонари, имея твердый приказ градского начальства, едва почуяв гарь, оглашали сонный городишко тревожным набатом.

На этот раз звон был особенный — плавный, мелодичный, и вызван он был иной причиной: из Переяслава собственной персоной прибывал полтавский епископ Феофан, и по распоряжению властей его встречали звоном колоколов. Одни мещане, разглядев в легком утреннем тумане епископский рыдван с крестами на дверце, крестились, другие втихомолку плевались: не иначе как звонари очумели от оковитой, бухают чуть свет, можно бы и потише, отдохнуть человеку не дадут...

День обещал быть теплым, даже жарким. Всю Пробойную — от собора до Круглой площади — накануне посыпали привезенным с берегов Ворсклы песком, и теперь, в лучах раннего солнца, она казалась необыкновенно белой. Одна беда — даже при легком дыхании ветра песок вздымался в воздух и слепил глаза. Поэтому городничий Осьмухин велел инвалидной команде после полуночи бадьями таскать из уличных колодцев воду и поливать мостовую.

Вся Полтава от мала до велика еще до окончания заутрени высыпала на улицы. Кого только здесь не было! Бойкие приказчики в ярких сатиновых рубашках, казаки, дворовые, мелкая чиновная братия — писаря и подканцеляристы — в узких, дудочкой, брюках; по дощатым тротуарам степенно прохаживались приехавшие на летнюю ярмарку деловитые немцы, остроглазые греки, неторопливые чехи, щеголеватые поляки, смуглые, цыганистые молдаване, отдельно держалось мелкопоместное дворянство.

Пока в соборе служили молебен, над Полтавой отстаивалась тишина. Но вот молебствие закончилось, и тут же ударили в колокола.

Первыми из собора, крича "идут! идут!", выскочили вездесущие полтавские мальчишки, и почти тотчас медленно, чинно, во главе с преосвященным Феофаном вышло духовенство — в богатых ризах, расшитых крестами. Вслед за духовенством выступали губернские чины: генерал-губернатор с семьей, полицмейстер, городничий, губернатор Тутолмин и все остальные "отцы" города в парадных одеждах — мундирах и сюртуках, при орденах и лентах. С жадным интересом и некоторым даже испугом взирали на процессию толпа, готовая при чуть большем напоре прорваться на мостовую, охраняемую инвалидами и полицейскими.

— Не напирай!

— Осади назад!

— Чего прешь, рыло? — кричал почти в трех шагах от проходившего княжеского семейства какой-то усатый вконец рассвирепевший инвалид. — Горячих захотелось, дурень?

— Давно мечтал, — отвечал, смеясь, челядинец. Инвалид замахнулся плетью:

— Изыди!

— Да ты что, служба, очумел?



"Служба" плевался, отходил в другое место, где, казалось, толпа вот-вот прорвет заслон.

— Не чуешь? Отойди!

— Не чую.

— Дам по уху!

— Га-га! Учудил! — гоготали молодые приказчики из гостиного ряда, все как один чубатые, в высоких сапогах.

Сразу же за губернскими чинами следовали гимназия и поветовое училище. Чувствуя на себе завистливые взгляды босоногих мальчишек, шнырявших на тротуарах, лепившихся на заборах и крышах, примостившихся даже на деревьях, гимназисты вели себя сдержанно, не толкались, как обычно, старались не наступать друг другу на ноги. Преподаватели шли в голове колонны, лишь Котляревский пожелал идти вместе с воспитанниками, хотя имел право занять место среди господ учителей. Был он в новом мундире и при ордене святой Анны; высокий, подтянутый, выглядел едва ли старше тридцати, хотя ему было к тому времени уже за сорок.

Прошли Сампсониевскую площадь, миновали гостиный ряд, и тут Шлихтин, самый высокий из гимназистов, слегка толкнул Папанолиса, затем Мокрицкого, шагавшего от него слева, и, вытянув шею, тихо, но внятно сказал:

— Видно уже!

— Неужто?

— В полотне весь. А орла не вижу.

Вдруг воспитанники замедлили шаг, неподалеку от них какой-то детина из дворовых челядинцев, проталкиваясь поближе к мостовой, двинул плечом впереди стоящего старика, тот не удержался, упал, а падая, чуть не угодил под ноги конному полицейскому. Конь шарахнулся в сторону, полицейский, рассвирепев, взмахнул плетью. Кто знает, может, и опустил бы он ее на лежащего старика, но перед ним, схватив под уздцы лошадь, встал надзиратель пансиона.

— Опустит-ка плеть!

Увидев перед собой офицера, да еще в звании капитана, с орденом на мундире, услышав его твердый голос, полицейский оробел:

— Виноват, вашбродь... Только ж велено порядок блюсти, а он...

— Блюди. Но... человек-то не виноват.

Иван Петрович помог старику встать и поспешил к детям.

Гимназисты притихли, даже Шлихтин молчал и уже не вытягивал шею, чтобы посмотреть, что происходит на площади. Кто-то из гимназистов, зазевавшись, споткнулся, товарищи подхватили его под руки; они старались идти в ногу с надзирателем, подражали ему во всем: отводили руку назад так же, как он, шагали легко, почти не касаясь земли. Иван Петрович ничего этого не замечал, он шел, о чем-то задумавшись, отвечая изредка кивком головы на приветствия стоявших вдоль мостовой мещан.

— Горбишься? — шепнул Лесницкий Папанолису. — Старик, что ли?..

Вслед за гимназией и поветовым училищем шествовало местное купечество, а за ним — цехи, все десять, во главе с ремесленной управой, которую возглавлял Семен Пиворез — низкорослый, почти квадратный, с большой красно-рыжей, жесткой, как проволока, бородой. Цехи следовали, как и полагалось, в порядке старшинства. Первое место занимал шевский цех, как утверждали старожилы, учрежденный еще при Екатерине, в 1772 году, за ним шагали резники, шапочники, ткачи, кузнецы, гончары... Замыкал шествие бондарный цех, хотя он-то и был старейшим. Еще в 1753 году, когда Полтава была полковым городом, цех уже существовал, а его продукция — бочки под мед и разную квашенину — славилась во всем крае. Крепкие бочки не знали износу, а самое главное — полтавские мастера ведали каким-то секретом, так сушили дерево, что в бочках никакая гниль не заводилась. Старшина бондарного цеха возмущался: почему они должны идти вслед за какими-то резниками и шапочниками? Он-то, бондарный цех, наистарший в Полтаве.

— Заглядывали бы меньше в бочки с медом, то и носы были бы менее красными, тогда и шли бы первыми, — ответил ему Пиворез. — Благодарите господа, что вообще дал место... Ну, а ежели не по вкусу, вертайтесь, не держу.

Старшина тут же умолк — с Пиворезом лучше не связываться.

Заклучали шествие гости, приехавшие на ярмарку, дворовые, приказчики, мелкая чиновная братия, челядь гербергов и постоянных дворов. Шествие растеклось по Круглой площади, оцепленной заблаговременно инвалидами, полицейскими и драгунами.

Распорядитель церемонии чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе через своих помощников указал каждой группе место. Гимназисты и поветовцы оказались рядом с губернскими чинами, а цехи — по ту сторону монумента. По краям площади толпился остальной люд, некоторые, пренебрегая опасностью, взобрались на крышу дома присутственных мест и оттуда наблюдали за происходящим.

Не все еще стали на свои места, а городничий — толстый, неповоротливый в тесном мундире — уже преподнес Лобанову-Ростовскому на золоченом блюде большие ножницы. Князь вместе с Осьмухиным, епископом и Тутолминым поднялся на галерею и разрезал шнур, скреплявший полотнище, оно медленно поползло вниз. Величественная колонна, освободившись от белоснежного покрывала, словно вынырнула из морской пены — это казалось чудом, неповторимым и прекрасным.

Возведение колонны не было, разумеется, секретом, многие видели, как велось ее строительство, привыкли в течение более шести лет встречать на площади каменщиков, литейных и золотых дел мастеров, зодчего и скульптора, но теперь колонна, очищенная от лесов, стройная, высокая, покоящаяся на гранитной галерее с орудийными стволами у основания, далеко видная со всех сторон, показалась настолько величественной и прекрасной, что вся многотысячная толпа на какое-то мгновение в изумлении замерла, затем кто-то не удержался и крикнул "ура", и тут же над всей площадью, словно ураган, пронеслось-раскатилось мощное приветственное "ура", от которого задрожали в домах генерал-губернатора и присутственных мест

стекла в окнах.

Когда Феофан, осенив все четыре стороны крестным знамением, произнес краткую благодарственную молитву, по знаку чиновника особых поручений в чине подполковника загремели орудия, заранее свезенные на площадь и прикрытые ветвями. Несколько минут гремел салют, в воздух взлетали шапки, треуголки, кивера.

От истошного крика и грома орудий монастырский служка, примостившийся на крыше присутственных мест, вдруг покачнулся и... поехал вниз, еще секунда — и он бы оказался на земле, упал на голову кому-нибудь из торговых гостей, но его успел схватить за рясу сидевший рядом с ним половой герберга, подтянул к себе:

— В другой раз упущу... Чего кричишь? Будто нема кому горло драть?

Пороховой дым рассеялся, но толпа не расходилась, чего-то ждала. На галерею поднялся еще один человек. Седовласый, в легком светлом сюртуке, при звезде. Он несколько мгновений смотрел на заполненную людом площадь, потом достал из-за обшлага сложенный вдвое лист и развернул его. В толпе послышалось:

— Капнист?!

— Неужто?

— А то кто же?..

— Да я его знаю! Хоть пиит, а все-таки пан.

Капнист выждал, когда прекратится шум, и стал читать. Голос его, негромкий, глуховатый, был, однако, слышен далеко, но, разумеется, не всем, стоявшие ближе к нему люди передавали услышанное остальным, и потому на площади снова возник шум. Капнист сделал паузу, перевернул лист на другую сторону и продолжал чтение.

Котляревский приблизился к галерее, позволил подойти и воспитанникам, они прильнули к решетке, не спускали восторженных глаз со знаменитого поэта. А он, заметив на себе взгляды, приветливо кивнул то ли гимназистам, то ли Котляревскому и продолжал чтение оды, посвященной открытию памятника:

Красуйся, торжествуй, Полтава,

И лавр обвей вокруг чела.

Твоя днесь обновилась слава,

Как юность древнего орла...

Капнист читал долго. Легкий июньский ветер шевелил над его лбом седоватые редкие волосы.

Весь день был отдан торжествам.

Для простого люда — мещан, челядинцев, монастырских служек — выкатили на Круглую площадь три бочки ячменного пива, выставили пироги.

Люди не отказывались, пили и ели, слышался смех, хохот, незлобивая перебранка.

Один из челядинцев пана Кочубея — молодой хлопец в сорочке нараспашку, выпив глечик пива, крякнул, вытерся рукавом, затем отломил кусок пирога. Заметив стоящего в стороне седоусого казака, удивился:

— А вы чего не пригощаетесь? Пиво ж задаром.

— Пива не пью, хлопче, хоть и задаром... Да и за что пить?

— Эт, не все ли едино. Дают — пей.

Казак сдвинул густые брови:

— Неправда, хлопче, не все едино.

— Верно, человече. Пьем мы днесь за славную викторию, добытую Петром, — вступил в разговор писарь губернской канцелярии, невзрачный рыжий мужичонка с редкой, словно выщипанной бородкой и юркими, хитроватыми глазами.

— А не брешешь, богова ижица? — обернулся старый казак. — Воевал-то мой дед да его побратимы из-под Москвы. Они и головы сложили, а ты — Петром...

— То так, пан казак.

— Ну коли так... — Казак вытащил из кошелья увесистую сулею, два куманца. — Держи! — Сунул челядинцу один, другой оставил себе. — А тебе куды лить, пан писарь?

— В шапку, не прольется.

— Ижица, а хитрый. Держи! — Казак налил духовитой медовухи челядинцу и себе, затем прямо в шапку писарю, подняв куманец, сказал: — Великий сегодня праздник, и выпить полагается за тех, кто голову сложил под нашей Полтавой, а не за помазанников... За светлую память предков наших! — Казак единым духом выпил, вытерся рукавом, достал из того же кошелья тараньку. — Закусили чем бог послал и разошлись. Бывайте! — И пошел вдоль площади, меряя землю неторопливым, твердым шагом, а графский челядинец долго смотрел ему вслед, чесал в затылке, пока не почувствовал толчка под локоть, оглянулся — писарь:

— Не знаешь его?

— Не-е, в первый раз. А что?

— Чудной дюже, таких, хлопче, опасаться надобно.

— Наклепать собрался? Ах ты ж! — челядинец замахнулся. — Уйди от греха, шкура!

— Бог с тобой! — вытаращил глаза писарь и побежал прочь.

Вечером на галерее монумента Славы играла военная музыка, разделенная на два хора. Все дома, окружающие Круглую площадь, "наилучшим способом освещались, — вспоминал впоследствии современник. — А после сего был большой фейерверк..."

Поздно ночью после бала, данного правителем края по случаю открытия монумента, Иван Петрович возвращался домой. Приятно было пройтись по улицам уснувшего города. Догорали плашки на фасадах домов, успокоенно мерцали высокие окна. Разошлись по гостиницам и гербергам торговые гости. В небе мягко светились, играя, далекие звезды. Нигде ни звука, ни шороха.

Иван Петрович задержался у монумента, полюбовался им и уже хотел было идти дальше, как вдруг увидел сидевшего на гранитных ступенях по ту сторону колонны человека. Что-то знакомое почудилось в опушенных плечах, в характерном повороте головы.

— Ты, Михайло?

Да, это был Амбросимов. Один на один с монументом.

— Ты что здесь? — спросил Котляревский и тут же почувствовал, как неуместен вопрос его, более того, бестактен, нелеп. Сегодня он несколько раз видел мельком Амбросимова, стоявшего в стороне, среди толпы... Монумент открывали другие. Говорили возвышенные речи, читали стихи, кричали "ура", стреляли из пушек, пили мед и пиво, произносили тосты в честь князя, губернатора и им подобных. Но никто не вспомнил имени главного распорядителя работ при сооружении монумента. Его даже не пригласили на торжественный ужин, какой-то чиновник "позабыл" это сделать, зато Миклашевский и даже его подчиненные: какие-то Скворцовский, Довбыш, Пустодомский и другие им подобные — веселились вовсю и старались изо всех сил, чтобы голос их, когда кричали "Виват", был слышен самому правителю края. Впрочем, он, Котляревский, тоже хорош. Мог бы напомнить, добиться, наконец, — и Михайло был бы тоже среди приглашенных на ужин... В сердечном порыве обнял друга:

— Прощу тебя, не нужно огорчаться. Ты должен твердо помнить: твоя работа не забудется! Никогда!

Амбросимов горько усмехнулся:

— Может, и так... Но, видишь ли, я тоже человек, и сердце во мне такое же, как у большинства рода человеческого, оно имеет, к сожалению, способность иногда и болеть...

Горячая волна сочувствия и негодования захлестнула Котляревского.

— Ах, что ты хотел от них? Человечности? Напрасно! Бог им судья. Правители — от века такие. А ты, брат мой, должен, обязан быть выше мелких огорчений Главное в твоей жизни — вот, перед глазами. Памятник открыт всему свету. Он переживет века, а заодно и всех правителей, подобных нынешним. Спасибо тебе. Михайло, что ты есть, спасибо за твой труд! — Котляревский горячо обнял Амбросимова, расцеловал в обе щеки.

Они долго стояли — зодчий и пиит — у памятника, вознесшего главу свою в самое небо. Гасли звезды Ночь таяла. Амбросимов, не глядя на друга, смахнул непрошеную слезу со щеки.

— Благодарствую, Иване! Лучшей награды, поверь, чем твое слово, мне и не надобно. — Вдохнул облегченно, распрямил плечи. — Оно золота дороже.

— Погоди-ка, — Котляревский взглянул в лицо зодчего. — Тебе, наверно, и не плачено до сих пор?

— А ты думал? Разумеется... Да переживу, главное — перед мастерами-литейщиками да Тома де Томоном[17] не быть в долгу...

Они посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись, по всей площади покатился их молодой звонкий смех. Долго смеялись. Над кем? Над чем? Да им просто было весело, они понимали многое, что иным было и невдомек.

Наконец-то экзамены, в том числе и по риторике, сданы, кончились все волнения, одуряющая зубрежка, без которой, как правило, никакие экзамены пока еще не обходились.

Воспитанникам Дома бедных не надо уже было заучивать на память огромные куски из произведений великих римлян, французов. Отшумели споры, как-то сами собой прекратились вспыхивавшие размолвки между членами экзаменационной комиссии.

Большинство гимназистов, как гласил приказ Огнева, были переведены в следующие классы: из первого во второй — пятнадцать, из второго в третий — тринадцать и, наконец, из третьего в четвертый, то есть выпускной, — одиннадцать человек; на повторный курс обучения оставлено всего пять воспитанников — не так уж и много.

В числе переведенных в выпускной класс первым был назван Лесницкий, затем шли имена Мокрицкого, Папанолиса и Шлихтина. Услышав свои фамилии, воспитанники так обрадовались, что позабыли, где находятся, и закричали изо всех сил "ура".

Следивший за порядком в зале служитель бросился было к нарушителям, чтобы вывести их, но тут же передумал — делать это при почетных гостях ему показалось неуместным, к тому же директор грозно повел бровью, хрипло кашлянул, и служитель вернулся обратно на свое место. Однако гости не остались безразличными к случившемуся, кое-кто заметно повеселел, а князь Лобанов-

Ростовский, восседавший в центре огромного стола, дернул себя за седеющий ус и беззвучно засмеялся, прикрыв чуть отставленной ладонью рот. Заметив это, губернатор Тутолмин, градоначальник, полицмейстер и другие господа почувствовали себя свободнее; слышались реплики, шутки, кто-то довольно громко сказал: "Кричать надобно в одно дыханье, всем и погромче, ибо "ура" — боевой клич русского воинства". Эта реплика вызвала всеобщий хохот и шум. Даже потемневшие от времени портреты царствующей четы — ими были увешаны стены в зале — вдруг словно осветились улыбкой. Но вот князь нахмурил густые брови, взгляд его похолодел, все сразу заметили это и быстро угомонились.

Выждав немного, Огнев, досадливо морщась — давил и тер шею жесткий воротник мундира, — попросил гимназистов — о гостях, разумеется, ни слова — умерить свои восторги и сразу, не сделав приличествующей моменту паузы, объявил, кто сколько получил на экзаменах шаров, и тут же, поскольку шаровая система оценок не всем еще была понятна, объяснил, что к чему.

— Ученики третьего класса, — сказал он, чуть склонив голову влево — слева от него сидел князь, — держали экзамены из десяти предметов, а именно: закона божьего, тригонометрии, конических сечений, естественной истории, российской истории, российской география, риторики, а также латинского, французского и немецкого языков. Так вот, ежели за любым из вышеозначенных предметов числится четыре шара, то за всеми вместе — сорок, каждый экзаменующийся имел возможность получить оное число шаров, но, увы, таких пока нет. Лишь один Михаил Лесницкий — не всегда, к сожалению, умеющий держать себя в обществе — получил тридцать семь шаров, остальные из этого класса поменьше: одни — тридцать два, другой тридцать,

многие двадцать восемь. Все переведены в высший класс, с чем я имею честь поздравить и воспитанников, и господ учителей!

После зачтения приказа гости вручили гимназистам подарки. Лесницкий и Папанолис получили по рублю серебром от самого князя, на большее его сиятельство не расщедрился. Мокрицкому подарили три книжки, причем одну из них на английском языке — последний роман Анны Радклиф. Досталась книжка и Шлихтину; огорченный подарком, он даже не развернул ее, открыто завидуя Лесницкому и Папанолису, одаренным новенькими блестящими рублями, на них — Шлихтин точно знал — можно было купить на соседней улице несколько десятков бубликов и корзину маковников. А что проку в книге?

Миновал и этот торжественный "акт". Все облегченно вздохнули и подобрели, даже всегда чем-либо недовольные законоучитель и латинист Квятковский оттаяли. Гимназисты с гоготом и шумом мчались по коридорам, они торопились — на воздух, на солнце, в гимназический двор, где их дожидались присланные за ними из родительского дома приказчики или просто возчики карет, бричек, возов...

Опустели классы. В Доме для бедных стало тихо, и казалось странным, что еще сегодня утром здесь шумела зеленая юность, кипели неумные страсти, горели в спальнях допоздна казенные свечи, а рассерженный Капитонович стучал то в одну, то в другую дверь и требовал "немедля ложиться, не жечь казенное добро".

Иван Петрович в последний раз вместе со своими помощниками обошел спальни, кладовые и кладовушки, подвалы и сараи, еще раз посмотрел, не оставлено ли случайно открытым окно или дверь, везде ли чисто подметено, заглянул во все уголки, все до мелочей проверил и только после этого, почувствовав себя спокойнее, пригласил помощников, в том числе и кухарку, зайти к нему в комнату, попросил сесть и объявил, что с сегодняшнего дня каждый может быть свободным.

— Отдыхайте! Но помните — ровно через месяц начинается новый учебный год, и мы обязаны подготовиться к нему так, чтобы детям и в новом году жилось в нашем Доме не хуже, чем в прошедшем. Жду вас недели через три. А пока — бывайте здоровы и спасибо за службу!..

Дионисий Кащук, довольный перспективой отдыха у родных, на хуторе, вскочил, одернул куцый сюртучок, и, пожелав всем и господину надзирателю в частности доброго лета, тут же выскользнул за дверь.

В комнате остались унтер и кухарка. Они не торопились прощаться и вели себя так, словно что-то хотели сказать и не решались.

— Так что, пан капитан, я... не знаю, — вздохнул наконец Капитонович и почесал в затылке.

— И я... — поддакнула кухарка. Большие красные руки ее покойно лежали на белом переднике, и было как-то странно видеть их ничем не занятыми.

— Что не знаете? — ничего не понимая, спросил Иван Петрович.

— Да как сказать... Не знаю, как она, а мне вот, видится, незачем из Дома уходить. Чего мне в хате моей мыкаться? А тут работа — рамы следует починить, двери тоже и

печки кое-где переложить, я таки и печник...

— А я побелю за одним разом, — сказала кухарка. — Кое-где и обмазать следует.

Они по своей воле хотели уже сегодня начинать ремонт — все то, что не успели закончить в течение последнего месяца перед экзаменами. Иван Петрович обрадовался и так разволновался, что не знал, что сказать, — перебирал на столе бумаги, развязывал и снова завязывал тесемки на картонах. Видя замешательство надзирателя, Капитонович добродушно усмехнулся:

— Не сомневайтесь, ваше благородие, я свое дело знаю, да и она тоже, — кивнул он на кухарку. — А жалованья никакого не нужно, я свое получил.

— И мне не надо, — сказала кухарка.

Иван Петрович справился наконец со своим волнением, поблагодарил помощников за радение и признался, что и сам думал начать ремонт сразу же после окончания экзаменов, да руки не дошли до этого, а они вот напомнили, за что им большое спасибо, он этого не забудет, ну, а ежели потребуется помощь, то пусть приходят прямо к нему домой, да он и сам будет наведываться.

— Ничего не надо, — в один голос ответили унтер и кухарка. — Мы знаем, что к чему...

На том и попрощались.

Идя домой, Иван Петрович укорял себя за невнимание к своим помощникам, а они изменились за год совместной работы, особенно Капитонович, детей и пальцем не трогает, хотя по-прежнему строг, и они стали относиться к нему более доверительно. Кухарка же смотрит за воспитанниками, как мать за своими детьми. И семинарист стал другим, затейником оказался, каких поискать, в школьном театре понимает толк. В этом году не успели поставить пьесу, зато в новом обязательно будет спектакль, и не простой, а комедийный, да ведь и пьеса не простая — самого батюшки Фонвизина "Недоросль". А там — чем черт не шутит, — может, и "Подтипу" удастся разыграть? Вот обрадуется Иван Андреевич, ежели уведомить, что пьесу его задумали ставить...

Дома Ивана Петровича ждал приготовленный матерью праздничный ужин. Белая скатерть на столе, яркие свечи в подсвечниках, запах только что испеченного пирога с яблоками, хлопоты матери на кухне — все было, как и при жизни отца. Нахлынувшие воспоминания навевали грусть, до конца ужина Иван Петрович не мог отрешиться от этого настроения, хотя причин особых грустить и не было: учебный год закончил без происшествий. Дом для бедных отмечен не только директором училищ, но и генерал-губернатором; князь публично поблагодарил его за все, что он сделал; воспитанники Дома все до единого переведены в старшие классы, никто из них гимназии не оставил, напротив, несколько человек вернулись, в том числе и Мокрицкий.

Уже в конце ужина мать, стараясь расшевелить заскучавшего сына, предложила съездить в Решетиловку — провести дедовские места, повидать бывших соседей.

Иван Петрович усмехнулся: хитришь, мать, не для себя придумала поездку. Он, наверное, согласился бы поехать, если бы не работа. Столько уже дней лежат неразрезанные журналы, а вот там, отдельно, — картон с исписанными листами —



строфы новой части "Энеиды".

Мать вздохнула:

— Как сядешь за стол — тебя не поднимешь.

— Сегодня и сяду. И ты, верно, не станешь возражать?

Мать кивнула. Разумеется, она не станет возражать, более того, будет помогать, как и до сих пор. В чем ее помощь? Не станет отвлекать домашними хлопотами, не будет докучать просьбами, пусть работает, он к этому стремится, — значит, так надо. Разве не понимает она, как важно то, чем он занимается?.. Не раз, будто между прочим, говорил, что завидует каждому, кто имеет возможность, не заботясь о хлебе насущном, заниматься любимым делом, он же, как вол в упряжке, должен тянуть свой воз, хотя, если сказать правду, этот воз и не в тягость, напротив, свою новую службу он ни за что не променял бы на другую, более легкую...

Приходили Стеблин-Каминские, заехал как-то и просидел целый вечер адъютант правителя края Смирницкий, вслед за ним Амбросимов нагрянул — хвалился: вот-вот начнется закладка театра. И все в один голос: почему глаз не кажет, затворником живет?

Недавно получил письмо от Гнедича. Николенька спрашивал, как продвигается работа над поэмой? Не пора ли от обещаний приступить к делу? В Петербурге многие ждут продолжения. Иван Петрович ответил кратким письмецом: всю зиму руки не доходили, а нынче вот принимается за дело всерьез, того гляди, к осени что-нибудь и вытанцуется. Заодно просил Гнедича приехать в гости, хотя бы на одну неделю, спрашивал, как идут дела с переводом "Илиады", скоро ли Николенька порадует русским текстом поэмы?

Выпадали дни, когда работать не давали. Однажды постучался незнакомый молодой человек — в пыльной одежде, с котомкой за плечами. Котляревский не помнил, чтобы встречал его когда-либо в Полтаве. Оказалось, тот и не был полтавцем, приехал из далекого Чернигова. Он давно мечтал познакомиться с автором малороссийской "Энеиды", признался, что и "сам грешен", пишет, правда, очень мало, работа в канцелярии изнуряет, никаких сил не остается для творчества.

Иван Петрович проговорил с ним полдня. Из рассказов приезжего, назвавшегося Носенком, выяснилось, что не только в Чернигове, но и в Прилуках, Нежине среди местных чиновников, учителей поветовых училищ есть люди, которым не безразлично родное слово, они пишут на родном языке, а школой для них служит его, Котляревского, "Энеида". Слышать такое было приятно. Носенко прожил у Котляревского три дня и дал клятвенное обещание снова приехать в "матинку-Полтаву", ежели "их милость Иван Петрович разрешит".

Приходили письма из Киева, Одессы, Харькова — адресанты спрашивали совета, как писать, с чего начинать, некоторые присылали свои стихи, целые поэмы.

Однажды получил весточку из Болгарии. Потом из Чехии. Там тоже читали его "Энеиду" и очень хотели знать, когда будет продолжение: весь славянский мир интересуется украинской поэмой, желает автору успешного окончания работы...

Небольшая, затерянная в полях Полтава становилась как бы средоточием мыслей и чувств многих и многих почитателей украинской поэзии. Котляревский видел, понимал: слово его не осталось втуне, оно порождает новые ручьи и речушки, зерно, брошенное еще в прошлом веке в родную почву, произрастает могучим колосом, и никакому граду его не побить. Это радовало и вместе с тем заставляло относиться к себе строже, неудержимо знало: иди, Иване, смелее, дальше! Не жалея сил, времени, жизни для великого, святого дела...

Друзья сердились, что не приходит в гости, не показывается из дому, сидит словно рак-отшельник. Он же не мог оторваться от работы, которая давно превратилась в главное дело его жизни; чем бы он ни занимался, где бы ни был — дома, в дороге, — все время думал о своем детище.

Он торопился писать, словно предчувствовал: в следующем году опять не удастся хорошо поработать. Торопясь, делал ошибки, которые тут же исправлял, иные же выискивал позже, когда снова и снова перечитывал написанное.

Это были упоительные часы, мучительные и сладостные. Особенно хорошо работалось поздними вечерами, когда город утихал, замолкал трезвон колоколов: густой, переливчатый — большого, "кизикермена", в Успенском соборе, и тонких, голосистых — в Николаевской и Спасской церквях, когда гасли девичьи хороводы на Панинке и Мазуровке, прекращался грохот экипажей. В окна смотрелась полная луна, падали в ночном небе звезды. В соседней комнате не слышно шагов — мать уже прилегла, отдыхает, и кухарка задремала в своей каморке, только ему опять сидеть до рассвета.

Закрыв глаза, чувствовал на лице теплое дыхание свечного пламени, колеблемого едва заметным ветерком, залетающим в открытое окно. Так и сидел иногда несколько минут, иногда полчаса, пока искал подходящее слово, а найдя его, старался сразу же записать, повторял вслух, чтобы проверить, как оно звучит, отвечает ли строю речи, не вылезает ли из строки лишним слогом...

Частенько ходил в пансион. Однажды задержался там почти до вечера — вместе с Капитоновичем чинил окна. К вечеру весь Дом светился, будто освеженный теплым майским ливнем: нарядный, праздничный — любо поглядеть. В другой раз, вспомнив, что не приведены в порядок дрова, вместе с пильщиками начал пилить чурбаки и успокоился только тогда, когда последний полешек был уложен на место, — теперь зима пансиону не страшна, пусть даже самая холодная.

И все же, как ни отвлекали Котляревского от работы над поэмой различные дела, за месяц в тиши своего кабинета он успел написать больше, нежели за весь истекший год. Почти пятьдесят строф — и все для пятой песни; правда, все написанное следовало еще пересмотреть самым тщательным образом и переписать, а кое-что и переделать заново, но вчерне около пятидесяти строф были готовы.

Новые строфы положил в особый картон — зеленый, с аккуратным обрезаем, в нем лежали черновики только "Энеиды", других бумаг здесь не было. Спустя неделю он снова заглянет в этот картон, извлечет на свет божий все написанное, прочтает, и,

разумеется, многое поправит, и еще раз положит в тот же картон — уже на более длительное время. Пусть отлежится, он же как бы отстранится от написанного, чтобы, вернувшись снова к рукописи, посмотреть на нее свежим глазом, словно совершенно посторонний.

Именно так он понимал работу поэта: написанное читать и перечитывать по нескольку раз, причем обязательно свежим глазом, проверять каждое слово на звук, цвет и запах, лишь тогда можно избежать фальшивого и ненужного.

В один из последних дней июля написал Гнедичу, что работа, как бы там ни было, движется, но, когда будет завершена, сказать пока не может, поелику все скрыто во мраке будущего...

19

Молва — как ветер: сегодня здесь, а завтра — за тридевять земель, летит, мчится, и не существует для нее никаких преград.

Еще недавно, месяц тому назад, кто-то говорил о ДOME для бедных в гостином ряду, а на прошлой неделе о том же ДOME вспомнили на бале у генерал-губернатора, затем в губернской канцелярии, а позавчера приказчик графини Разумовской, сопровождавший в Кременчуг хлебный обоз, обронил и в Кременчуге слово; возможно, в тот же день другой проезжающий встретился с приятелем в Миргороде и в перерыве между чарками пересказал услышанное о весьма интересном заведении в Полтаве; весть покатила дальше — по трактам и проселкам, добралась в Пирятин, Яготин, Прилуки, Золотоношу и бог знает куда еще. И пошли гулять по волостям и уездам, по селам и городам обширнейшей по тому времени Полтавской губернии любопытнейшие рассказы о полтавском пансионе... Дети в нем постоянно присмотрены, ухожены и пригреты. Поверите — непослушные мягче воска становятся. И делается сие без малейшего принуждения, по доброму слову, о пресловутой "березовой каше" там забыли и думать. А всему этому Дому лад дает тамошний надзиратель, сказывают, отставной от военной службы капитан. Детям он — отец родной, все перед ним равны, нет любимчиков, нет отверженных, обо всех имеет радование, болеет, переживает.

— Может, слышали, голубушка?— говорила на днях в своей усадьбе в Павленках соседке, вдове недавно скончавшегося секунд-майора Головиной, тоже вдова — владелица небольшого имения и свечного завода Боровская, мать двоих детей, уже год как находящихся в ДOME для бедных. — Надзиратель, мужчина в соку, до сих пор, говорят, одинокий. Впрочем, может, и не совсем одинокий, кто их, мужчин, поймет, — вздохнула, игриво повела подсурьмленной бровью. — Но я не о том, прости господи. Дело наше вдове — известное. Слыхала я, как он, то есть надзиратель, распорядился: ни на какие работы к учителям на дом не ходить. Те — к директору с жалобой, так, мол, и так. И что вы думаете — помогло? Сам Огнев спасовал. А что сказать, ежели правда? Зато дети без урона. И я, мать, спокойна.

— Никогда такого не бывало.

— И я говорю. Ну, а дети к нему липнут. Мои приезжают домой, так только и слышишь: Иван Петрович да Иван Петрович, он сказал, он посоветовал, он не велел...

— Погодите-ка, Фекла Фоминична, какой Иван Петрович? Капитан, говорите? Не Котляревский ли? Да, симпатичный человек. А что о нем еще знаете? Так я вам скажу. Книжку он смешную пропечатал. И называется она "Энеидой". Сама видала у Бутковых.

— Сего не докажу, но уверена: он может, ибо человек, видно, умелый и вхож, говорят, к "самому", на чай по утрам ходит, без него их сиятельства за стол не садятся.

— Сего не слыхала, — усмехнулась секунд-майорша, женщина не старая, с несколько увядшими чертами лица; заметив, однако, как пунцово вспыхнули маленькие уши Боровской, поспешно закивала: — Все может быть. Да, конечно, и на чай, и на кофей приглашают. Да я бы сама... — Осеклась, замялась. И Боровская понимающе усмехнулась: мол, знаю тебя, святошу, рассказывай.

Такие и подобные им речи велись в дворянских гостиных, в домах купцов и чиновников, и немудрено, почему к новому учебному году, где-то в середине июля, не стало отбоя от желающих поместить свои чада в Дом для бедных, причем просились не только малоимущие, но и весьма состоятельные владельцы обширных поместий. Сам граф Трощинский поместил в пансион, кроме Василия Шлихтина, еще троих своих дальних родственников и просил лично надзирателя отписывать ему почаще об их успеваемости и поведении.

Средней руки землевладелец Остроградский из Кобелякского уезда приезжал к Ивану Петровичу и просил о переводе своего сына из частной квартиры в Дом для бедных. "Но у нас тесновато, а на квартире все же вольготнее". Остроградский не согласился: "Пусть у вас потеснее, да зато буду знать, что сын мой чему-нибудь, кроме математики, научится. Пока ведь только математику и знает, к другим же предметам равнодушен". — "Чем же могу помочь?" — "Очень многим, сударь. Возьмите под свое наблюдение, самое настраивающее. Я слышал, были у вас такие, что не желали книгу в руки взять, а теперь — первые ученики..."

Пришлось уступить настойчивому отцу, и в Доме для бедных поселился Миша Остроградский, лобастый, несколько замкнутый, рослый не по годам первоклассник, принесший впоследствии немало хлопот надзирателю, но и немало радости.

Были и другие, настойчиво стремившиеся определить в Дом для бедных своих чад. Пришлось отказывать: в пансион при всем желании больше шестидесяти воспитанников не втиснешь. Получив отказ, родители не успокаивались, шли к губернатору, жаловались, а ежели тот не помогал — Тутолмин в самом деле ничем не мог помочь, — добивались приема у правителя края, но и всемогущий Лобанов-Ростовский был бессилён, мог разве только посоветовать съездить в соседние города: Чернигов, Прилуки, Харьков, Елизаветград...

И все же одному из претендентов, приехавшему к тому же слишком поздно, в конце ноября, Котляревский не посмел отказать, более того, сам был ходатаем за него перед директором училищ.

Тот день, как нарочно, был особенно хлопотным.

Все началось с самого утра. Едва Иван Петрович переступил порог пансиона, как

Настя-кухарка пожаловалась: печь, наверно, "сказывалась", дым "выедает глаза". Пришлось послать за печником, чтобы исправил дымоход. Затем выяснилось, что на обед нет говядины. Пожаловался на горло Коля Кириянов. Иван Петрович не пустил его на занятия и вызвал лекаря: оказывается, Коля вчера шлепал по лужам в драных сапогах, пришлось отправить его обувь в сапожный цех.

Время после завтрака еще оставалось, и Котляревский решил проверить уроки у двух воспитанников. Выбор пал на Папанолиса и отбившегося от рук в последнее время Шлихтина. Папанолис бойко ответил на все вопросы, зато Шлихтин урока не подготовил, пришлось заставить его сесть заниматься.

— Еще раз такое повторится — пошлю письмо его сиятельству, — пообещал Иван Петрович. Вася взмолился, клятвенно заверил, что больше такого не будет; он побаивался гнева своего высокого покровителя — дальнего родственника графа Трошинского.

После уроков был большой учительский совет с участием не только преподавателей, но и помощников надзирателя. На совете Иван Петрович, разумеется, никогда не оставался равнодушным свидетелем происходящего, хотя не раз давал себе слово ни во что не вмешиваться, и, случалось, вступал в спор с преподавателями, а иногда позволял себе не согласиться и с самим Огневым.

На этот раз речь шла о неуспевающих. Назвали Остроградского. Он отставал по языкам, не успевал и по истории.

Как всегда, первым начал Квятковский. Распался, латинист стал кричать, называл Остроградского "позором гимназии", поскольку тот не учит латыни, пренебрегает ею. Какой же, спрашивается, будет прок из его учения? И вообще Квятковский натерпелся, с него хватит. Подумайте, как можно спокойно слушать такое: "Мне латынь не интересна"? Вы понимаете, господа: "не интересна"?

— Не могу больше. — Квятковский, тяжело отдуваясь, словно очень долго бежал и все время в гору, плюхнулся в кресло.

— Что же вы предлагаете? — спросил Огнев.

— Я предлагал, — ответил Квятковский, — и не однажды притом. А вы, Иван Дмитриевич, мольбам моим не вняли, и поэтому ныне мы пожинаем плоды.

— Собираем, — поправил коллегу Рождественский.

— Ах, оставьте.

— Так что вы предлагаете? — снова спросил Огнев.

— Я трижды предлагал и снова говорю то же самое: отчислить, только отчислить.

На совете присутствовали преподаватель французского и немецкого языков Вельцын, математики — Ефремов, российской истории — Рождественский, русской словесности и риторики — Бутков, рисования и черчения — Сплитстессер, по левую руку от директора, в большом кресле, обитом зеленым сукном, восседал законоучитель отец Георгий. Все они, как один, согласились с предложением Квятковского, не сказал пока своего слова лишь сам Огнев, молчал и Котляревский.

Иван Петрович терпеливо ждал: а вдруг кто-нибудь скажет слово в защиту

ученика, судьба которого висят на волоске? Но все помалкивали, считая дело решенным. Сейчас выскажет свое мнение Огнев — и Миша будет исключен. А верно ли это? Виноват ли он? Пожалуй, все виноваты, и он, надзиратель, в том числе. Хозяйственные хлопоты отнимают время, не остается свободной минутки, чтобы поговорить с Мишей. А ведь Миша — это господам преподавателям известно — неплохо, очень даже неплохо знает математику, в учебнике Фусса нет, пожалуй, ни единой задачи, которую бы он не решил. Выгнать человека, конечно, легче, чем посидеть с ним лишний час, поработать.

Иван Петрович говорил обычно коротко и только по существу. Выждав, когда все выговорятся, он обратился к Ефремову, сидевшему с ним рядом: что можно сказать об успехах гимназиста Остроградского в математике. Ефремов пожал плечами:

— Наивный вопрос.

— Прошу, сударь, ответьте.

— Да будет вам. Математику Остроградский знает, хоть я и поставил ему четыре: упрямится и решает задачи по-своему.

Иван Петрович кивнул: понятно — и, уже обращаясь ко всем, сказал, что лично он против отчисления Остроградского из гимназии.

— Мы все, господа, виновны, что Остроградский не успевает, виноват и господин Квятковский, хотя, разумеется, признать этого никогда не решится.

— Помилуйте, в чем я виноват? — Квятковский удивленно приподнял густые, сросшиеся на переносице брови.

— Позвольте вам заметить, — очень спокойно и дружелюбно продолжал Иван Петрович, — вы не привлекаете к своему предмету, а скорее отталкиваете, заставляете зубрить, а подростку надобно знать, что он учит, его очень интересует смысл. Одни вас терпят, а другие — вот такие, как Миша Остроградский, — терпеть не хотят... Простите, Павел Федорович, но я был на ваших уроках и в этом убедился. Мы с вами говорили не раз, а вы упрямитесь. Вот и плоды...

— Увольте меня от ваших нравоучений, — сорвался Квятковский. — Кто вам дал право учить меня?

Котляревский не ответил; пусть решает Огнев, он же сказал свое слово и, ежели потребуется, будет настаивать: ни в коем случае не торопиться с отчислением, он лично уверен — Миша переменится...

Огневу рассуждения Котляревского показались убедительными, он и сам был противником зубрежки, стремился, чтобы воспитанники знали, что учат, тогда — верно говорит надзиратель — у них появится интерес к наукам. Сплитстессер, Ефремов и Бутков поддержали предложение Котляревского...

Иван Петрович сидел в жарко натопленной комнате, прислушиваясь к тому, что делалось в коридорах пансиона, и мысленно продолжал спор, начатый на учительском совете. Раздумывал, с чего начнет разговор с Остроградским, уже собирался послать за ним, как внезапный шум у ворот заставил его подойти к окну. То, что он увидел, несколько не удивило: еще один проситель приехал, и, как видно, издалека.

Запыленная дорожная карета вкатилась во двор и остановилась у самого крыльца.

Кучер, молодой дворовый мужик, придерживая полы суконного армяка, проворно соскочил с козел и распахнул забрызганную грязью дверцу. Из кареты вышел сначала старик — в длинном, волочившемся по земле тулупе, затем мальчик лет двенадцати-тринадцати, в теплом, крытом плотной серой материей колушке и мягких козловых сапогах.

Игравшие во дворе воспитанники тотчас окружили приезжих, наперебой начали показывать, как пройти к пану надзирателю, жались на крыльце к перильцам, чтобы старику в широком, как колокол, тулупе можно было протиснуться в узкую дверь. Дежуривший в тот день Дионисий встретил приезжих в полутемном коридоре, осведомился, к кому они пожаловали, затем предложил раздеться, снять в передней верхнюю одежду. Котляревский вышел навстречу приезжим. Подумал, как ни трудно, а придется и на сей раз отказать в просьбе, какая будет просьба — он уже догадывался: конечно, о приеме чада в пансион. Зачем еще стучаться к надзирателю пансиона вместе с отроком гимназического возраста?

Иван Петрович был, как всегда, приветлив. Предложил старику кресло у камина, чтобы тот мог согреться с дороги, мальчика усадил на узком кожаном канале — тоже поближе к камину, в котором потрескивали березовые поленца. Сам же подошел к столу, отодвинул на угол стопку книг, картон с бумагами — списками воспитанников и перечнем покупок на сегодня и на завтра, поставил поближе пепельницу-корытце, резную коробку с табаком, но закуривать не стал, ждал, когда старик, гревший над огнем руки, заговорит.

Тот не заставил себя долго ждать, скользнул взглядом из-под широких черных бровей по книжным шкафам, пригладил ладонью усы и сказал:

— Забились мы издалека, из самой Золотоноши. Знаете, где она? Можно сказать, на краю света.

Старик выждал: что скажет надзиратель? Но тот промолчал, и старик продолжил: он с хлопцем почти пять суток на колесах, правда, кони у них добрые, но все равно дорога по осени — не разгонишься, разбитая, расквашенная, кисель киселем, ночевали, где заставала ночь, большей частью в корчмах, пропахших бог знает чем, с петухами поднимались, только в Майорщине переночевали по-человечески, к знакомым попали. И вот они тут, в славной Полтаве, и он не знает, может, их дорожные мытарства напрасны, поздно надумали, чада господские давно уже посещают классы. Он ведь и говорил барыне, предупреждал, а она свое: "Поезжай, может, возьмут и нашего хлопчика..."

— Что сказать вам, пан надзиратель, еще? Барыня у нас добрая, а все не мужик, где ей до своего покойного, тот был голова. Теперь в вашей воле — оставаться нам тут или поворачивать. А ежели можно, то, бога ради, припишите до своего "куренья" и нашего казака.

Да, Котляревский не ошибся: еще одна просьба о приеме в пансион, в котором уже и так повернуться негде, хотя ежели подумать, то в третьей спальне, кажется, можно

примостить кровать, для этого, правда, придется выставить второй стол. Но это — крайний случай, столы для занятий тоже необходимы.

С ответом не торопился, не хотелось сразу огорчать неожиданных гостей, к тому же из Золотоноши, одно лишь упоминание о которой заставило чаще забиться сердце. Подумав, он сказал:

— Бывал я в ваших краях когда-то.

— И давно, позвольте полюбопытствовать? — оживился старик.

— Давненько...

Котляревский отчетливо вспомнил последний свой день в доме пана Голубовича. "Никогда не забуду вас, дорогой учитель..." — написанные на клочке из тетради торопливым полудетским почерком слова эти, наверное, навсегда остались в сердце. Сколько прошло времени, а не может их позабыть. Никогда они больше с Марией не встречались, и, как ни странно, он и не пытался встретиться. Зачем? Разве не навсегда он ушел из дома своей первой и единственной любви? А она? Наверное, и она не пыталась найти его; где бы он ни бывал, вестей от нее не слышал. Да и то сказать, где ей найти его дорожку: он был военный я куда только не бросала его судьба в прошедшие годы. Армия. Война. Штурм Измаила. Внезапная отставка. Несладкая жизнь в столице. И вот уже больше года здесь, в Полтаве. Немало пережито. Пора бы подумать и о себе. А думать некогда. Каждый день, каждый час — в постоянных хлопотах и заботах.

Черные, в редких седилах волосы упали на высокий лоб Котляревского, закрыли глаза. Старик, умудренный жизнью, не решался прервать размышления господина надзирателя, он только едва слышно покашливал. Мальчик тоже сидел тихо, не шевелясь.

— Давненько... — Котляревский, сделав над собой усилие, отогнав видения прошлого, смущенно улыбнулся: — Простите, задумался.

— То не беда, с кем не бывает. Это мы прощения просим, пришли и не назвались.

— Да, простите, меня Иваном Петровичем кличут. Котляревский.

— А я управляющий имением, Афанасий Поликарпович Попенко, а хлопца Тарасом зовут, по прозвищу Прокопович, сын покойной экономки нашей, царствие ей небесное.

Котляревский не мог скрыть удивления: неужто управляющий имением самолично вез в Полтаву сына экономки? Попенко заметил удивленный взгляд надзирателя и понял его.

— Понеже экономка преставилась, то барыня, имея жалость к сироте несмышленому, взяла онго к себе, а позже, как подрос, усыновила. Тарасом нарекла, учителя в дом пригласила. Теперь же, прослышав, что в Полтаве Дом для бедных открыт, решила, что надобно учить его разным наукам. Ей кто-то сказывал, что в Доме сем надзиратель отменный, всему Дому душа и голова.

Котляревскому было приятно такое слышать и неловко. Чтобы перевести разговор, спросил: :

— А отец отрока? Он — кто?



Старик прокашлялся, кивнул Тарасу:

— Выйди к Семену и скажи, чтобы коням овса задал, а потом и попоил... Беги.

Мальчик послушно встал и, поклонившись Котляревскому, вышел.

Старик, пригладив бороду и подкрутив кончики усов, продолжил рассказ:

— Негоже при нем про то говорить... Так кто же отец его? Знал я его. Был, скажу вам, добрый казак, лучший кучер у покойного пана. Экономка души в нем не чаяла, готова была для него на все. А надо сказать, что была она собой тоже пригожа, не напрасно пан именно ее приметил и в экономки определил, все ключи от кладовых и комор доверил. А тут вдруг узнает пан, что экономка его, Анастасия, родить собирается, а кто отец — не признается, молчит, но при родах не утерпела и назвала Егория, любушку своего. Как прослышал про то пан, приказал кучера схватить, сам лично следил, чтобы секли его в две руки, а потом заковали бедолагу в железы и отдали навечно в солдаты. Настя, как узнала про то, молила и просила пана вернуть Егория. Не вернул. И она долго не протянула, на глазах увяла, в три дни сгорела. А сирота остался. Тогда-то барыня и взяла его к себе, у самой же детей не было, как и до сих пор.

Котляревский весь подался вперед, еле слышно спросил:

— И Тарасом назвала?

— Тарасом.

— А зовут барыню?..

— Марьей Васильевной. По мужу — пани Семикоп, а как преставился он, то велела звать себя прозвищем Голубович. Писала куда-то, и пришло ей позволение так прозываться.

Вот, значит, как! Судьба снова столкнула его с Марией, вдовой пана Семикоп, названной матерью Тараса Прокоповича. Судьба. От нее никуда не денешься... Но как же поступить ему теперь? Отказать и не принять сироту, сына покойной экономки и замордованного кучера? Хватит ли сил сказать "нет"?..

В комнату вошел Тарас, сказал, что Семен уже и покормил и напоил лошадей. Иван Петрович долго смотрел на него и думал о превратностях судьбы, не мог справиться с охватившим его волнением, словно издалека донеслись до него слова старика:

— Так что ж нам теперь? Неужто так и возвращаться? Что скажем пани-матке?

Старик снова потер руки перед камином, оглянулся на молчавшего надзирателя. Пламя от камина бросало отблески на его поникшие плечи, на склоненную голову.

— Наверно, ехать нам, хлопче, ни с чем... Ну коли так, прощайте, пан надзиратель, переночуем в герберге у грека, а поутру — и в дорогу.

Старик запахнул кафтан, кивнул Тарасу:

— Кланяйся.

Мальчик проворно вскочил и низко поклонился. Котляревский, весь во власти обступивших его воспоминаний, непонимающе смотрел на старика и мальчика, кланявшихся ему и готовившихся уходить. Наконец до него дошел смысл их

приготовлений, и он поднял руку:

— Стойте! Куда же вы?..

Вышел из-за стола, снова усадил Тараса, указал и старику на кресло и, когда те сели, сказал:

— Сам я не принимаю в гимназию. С Тарасом надобно побеседовать, чтобы знать, в какой класс определить его возможно. А в Доме сем место найдется, но снова же — надо просить о том господина Огнева, директора... Впрочем, я с ним сам побеседую. А ночевать можете и тут, в этой комнате располагайтесь. Я прикажу.

Управляющий низко поклонился:

— Премного благодарны, пан надзиратель. А про ночлег не думайте. Мы в герберге перебьемся.

— Нет, здесь будете ночевать... Завтра после заутрени пойдем к господину Огневу... А пока поужинайте чем бог послал. Я кликну кухарку, она принесет... И камин подтопить пора, чаем погреться...

Котляревский сам себя остановил на полуслове: с чего это он разговорился, то за весь вечер слова не мог вымолвить, а тут — такая речь? Он вышел в коридор позвать кухарку. В коридоре встретил Остроградского.

— Можно к вам, Иван Петрович? — спросил Миша. — Мне рассказал господин помощник, что сегодня на совете...

— Хорошо, Миша, но позже... Я к тебе зайду. Надеюсь, ты уроки подготовил?

— Да, но... не все.

— Латынь?

— И французский тоже.

20

Лето 1812 года началось в Полтаве ливнями, громами и грозами.

Первые хлебные обозы ушли на Кременчуг еще при хорошей погоде, но люди, сопровождавшие почту, утверждали, что обозы где-то за Козельщиной попали в полосу дождей и, кто знает, поспеют ли теперь к хлебным баржам, уходящим на Херсон и Николаев. Было отчего беспокоиться полтавским откупщикам зерна братьям Алексеевым и их новому компаньону купцу Зеленскому, в последние годы тоже занимавшемуся откупом зерна, иногда прямо на корню.

В те дни, в связи с плохим, из-за частого ненастья, подвозом продовольствия, цены на базарах подскочили, только на воловье мясо на целых две копейки. Причиной тому были и упорные слухи о надвигавшейся беде. По слухам выходило, что не сегодня завтра вспыхнет новая баталия с Бонапарте, который будто бы сильно осерчал из-за того, что генералу Михайле Кутузову удалось потрактовать с турком и подписать с оным мир. И вот будто бы в отместку за то и собирается нехристь на Русь, согнав под свои штандарты несметную силищу.

Простой люд, напуганный слухами о предстоящей войне, старался, пока есть возможность, кое-что припрятать на черный день. Соль шла нарасхват, во многих домах сушили про запас сухари, заливали бочки топленным маслом, солили сало,

запасались вяленой и соленой рыбой, в закрома ссыпали зерно и крупы, закупали свечи и деготь. Кто знает, а вдруг военная гроза не минует и Полтаву. Более ста лет тому назад, в войну с Карлом, ежели бы не хлебные запасы, сделанные горожанами еще до приближения шведов, вряд ли помогли бы Полтаве одни ружья да порох. Так что и теперь — запасы не помешают...

Неспокойно было и в Доме для бедных. Занятия из-за ненастья часто прерывались, дети не посещали классы, хотя экзамены были уже не за горами. В такие дни, чтобы не терять времени даром, Котляревский собирал воспитанников в столовой зале и занимался с ними сам.

Однажды за такими занятиями его застал Василий Васильевич Капнист. Старый поэт, приехав в Полтаву, из-за непогоды задержался и теперь делал визиты своим знакомым, не преминул посетить и пансион для бедных, проект которого в свое время сам представлял еще первому малороссийскому генерал-губернатору князю Куракину. В том проекте, казалось, было все предусмотрено, лишь одно не учел автор "Ябеды", предводитель дворянства Миргородского уезда: он не посчитал возможным помещать в проектируемый пансион детей простолюдинов — мещан, ремесленников, и оставалось неизвестным, где им предстояло обучаться грамоте. Он весьма удивился, узнав теперь, что среди воспитанников пансиона есть дети бывших военных, а также сыновья вдов из мещан, а один, некий Тарас Прокопович из Золотоноши, — даже сын экономки, находившейся в крепостной зависимости.

Занятия были, разумеется, отставлены, и Капнист, в сопровождении Котляревского, обошел спальни, побывал в комнате, отведенной для чтения, заглянул на кухню и в столовую залу, затем снова вернулся в комнату надзирателя. Очень был доволен, увидев книги общего пользования, а узнав, каким образом они собраны, похвалил надзирателя за доброе дело и пообещал прислать десяток книг для пансионной библиотеки.

Котляревский усадил гостя в кресло, кухарка внесла на подносе чай со сливками, и старый поэт, попивая из тонкого высокого стакана, засыпал Ивана Петровича вопросами, увлеченно слушал, переспрашивал по несколько раз одно и то же, смеялся, когда узнал, как были отучены некоторые господа учителя пользоваться трудом воспитанников, и все восклицал: "Хорошо!", "Отменно, сударь!", "Смело, смело!".

Котляревский подробно рассказывал о воспитанниках, их способностях и талантах. Вспомнил и Тараса из Золотоноши, заметив, как поморщился Капнист при этом имени, сказал, что Тарас очень способный отрок.

— И Лесницкий, скажу вам, истинный талант. Ежели обучить, стал бы отменным лицедеем. — Не забыл Иван Петрович пансионного библиотекаря. — Он у меня книгохранитель. Все книги подклеил, привел в порядок. Любит книгу. Но прежде всего он — лицедей, однако метит в университет. А лучше бы — в театр. Но где ныне театр у нас? Собираются строить, а когда будет?

— Будет! Сам видел, начали закладывать. Слишком медленно. А был бы театр, можно бы и труппу составить, свою, полтавскую.

— Ишь чего захотели! Высоко метите, сударь.

— Думаете, невозможно сие? Полагаете, мои питомцы не сыграли бы "Недоросля" или "Ябеду"? И художника найду... Мокрицкий отменно рисует. Да и Тарас из Золотоноши тоже...

— У вас тут целая академия.

— Будут питомцы мои и в академии, — сказал Котляревский, причем так просто и уверенно, что это не вызвало никаких сомнений. Котляревский не ошибся: многие из его питомцев стали украшением, славой отечественной науки и культуры. Но это случилось позже, а тогда слово Котляревского показалось Капнисту излишне самоуверенным, и он не замедлил сказать об этом:

— Не много ли, друг мой, надежд? Есть ведь и такие, как Шлихтин?

— Я верю в лучшее и с верой этой живу и служу в сем пансионе, — сухо ответил Котляревский.

Капнист, видя, что Иван Петрович готов обидеться, перевел разговор на другое. Что написал Котляревский нового? Он надеется, что обязательно что-то появилось, и хотя не часто выезжает из своей Обуховки, но связей с Санкт-Петербургом, не теряет и мог бы посодействовать, чтобы тамошние издатели не слишком мытарили писание земляка. А вообще-то он нынче озабочен и другим: учит своих дворовых военным артикулам, — ведь слышали небось о новых кознях Бонапарте, о его угрозах напасть на российские земли?

Котляревский сказал, что нынче пока ничего законченного у него нет, правда, работает, но мало, занят делами пансиона. Что касается слухов о кознях Бонапарте, то не глухой, слышал, и не сидит сложа руки: тоже — причем самолично — занимается с воспитанниками военным делом в часы, свободные от занятий.

Вскоре Капнист, пригласив Котляревского к себе в гости в Обуховку, уехал, пообещав в следующий раз пожаловать с сыновьями.

Проводив старого поэта, Котляревский вернулся к своим повседневным делам. Предстояло посмотреть классные работы воспитанников, а затем — еще вчера намеревался — следовало написать письмо племяннику графа Трощинского, интересовавшемуся успехами всех одиннадцати состоявших на иждивении графа учащихся. Очень неприятное письмо предстояло сочинять: большинство графских воспитанников училось плохо, лишь Пироцкий показывал отменные знания, и все же надо писать только то, что есть в действительности, особенно теперь — в канун экзаменов.

В тот день письмо, однако, он не написал: прискакал нарочный из канцелярии генерал-губернатора и передал: надзирателю немедля прибыть к правителю края. Выслушав нарочного, Иван Петрович вызвал Дионисия и приказал ему никуда не отлучаться, пока он не возвратится от князя.

Балы и маскарады, намеченные в связи с традиционными летними ярмарками, были отменены. Да и можно ли думать о них, ежели страшная опасность новой войны

нависла над отечеством? Еще месяц тому назад о столкновении с Наполеоном говорили как о чем-то далеком, теперь же война стояла чуть ли не у самого порога: враг находился в пределах государства, более того, теснил наши доблестные войска, армии Барклая-де-Толли и Багратиона отходили.

В Полтаве прекратились не только балы, но и разные строительные работы, в том числе и строительство театра: всех мастеровых отослали в артели для срочного изготовления возов и колясок на военные нужды. В кузнечном ряду от зари до зари перековывали лошадей: помещичьих, с княжеской конюшни, губернаторских и военной команды.

Повсюду велись разговоры о предстоящей отправке людей в действующие армии — разумеется, прежде всего не сынов "благородных" фамилий, а детей поселян, те возьмут дреколья покрепче и выгонят нехристей из родных пределов.

В гимназии и поветовом училище экзамены все же состоялись, правда, не так громогласно, как в прошедшем году: на сей раз все происходило скромно, князь да и губернатор не присутствовали, обошлись и без участия иных, более мелких чинов.

Выпускники перед самым отъездом по домам пришли проститься с надзирателем.

Иван Петрович в этот день был очень занят: вместе с помощниками подсчитывал, что оставалось в кладовых из продуктов, чтобы своевременно закупить муки, круп и соли к новому учебному году, который должен начаться, как всегда, первого августа.

— А начнется ли? — высказал сомнение Дионисий. За прошедший год он заметно располнел, лицо округлилось, исчезла угловатость.

— Театр войны отсюда далеко, и жизнь не может остановиться, — сказал Иван Петрович.

— Так-то оно так. А ежели? — спросил Капитонович, покручивая, как обычно, свои желтоватые, прокуренные усы.

— Что бы ни случилось, а мы обязаны быть готовы к новому учебному году, — Иван Петрович хотел добавить, что его помощникам не пристало повторять нелепые слухи, но в эту минуту в комнату, постучав, вошли Мокрицкий, Шлихтин, Папанолис и Лесницкий. Толкая друг друга, сбились в кружок.

— Едем! — выдохнул Лесницкий.

— Не забывайте нас! — сказал Мокрицкий.

— Спасибо!.. — прогудел Шлихтин.

— Позвольте писать вам, — попросил Папанолис.

Иван Петрович обнял каждого. Что им сказать? Самое главное давно уже сказано во время долгих вечерних бесед, а теперь лучше помолчать, пусть не знают, как трудно ему, надзирателю, в эту минуту — словно частицу сердца уносят с собой.

Ребята склонились в низком поклоне:

— Прощайте!

И еще раз поклонились — перед помощниками:

— Не взыщите!

— Не поминайте лихом!

Капитонович шмыгнул носом, торопливо махнул рукой:

— Бог с вами!

Дионисий отвернулся к окну, прижался к холодному стеклу, по щеке скатилась слеза.

Воспитанники друг за другом вышли из комнаты. Вскоре за воротами загроыхали окованные колеса дорожных карет, возов и дрожек. Тонко зазвенели поддужные колокольцы.

Уехали.

Трудна минута прощанья. Но, бог мой, неужто не знал, что так будет? Ведь каждый год учитель провожает детей своих названных, отрывает от сердца, долго, может всю свою жизнь, помнит каждого поименно, беспокоится о них, радуется успехам, болеет их бедами. Конечно, Иван Петрович знал об этом, готовился, и все равно на душе было тяжело.

Не услышал, как на пороге встал еще один — Тарас Прокопович из Золотоноши.

Собравшись в дорогу — его уже ожидала карета, — он зашел к надзирателю, чтобы проститься и спросить, когда приезжать, — может, в связи с войной и не начнется новый учебный год? Тарас остановился у порога, не понимая, что случилось: почему Иван Петрович смотрит на него и не видит, Капитонович вытирает глаза большим серым платком, а Дионисий — веселый, неунывающий Дионисий, — опустив голову, пошмыгивает красноватым носом.

Тарас переступил с ноги на ногу — скрипнула половица, но его все равно не замечали. Он сделал шаг и кашлянул.

Иван Петрович словно очнулся:

— Ты?..

Тарас поклонился:

— Еду. А... когда приезжать?

Иван Петрович удивился вопросу: что значит "когда приезжать"? Как обычно — первого августа. Ах да — война ведь, по долам и весям катится черный ураган. Но что бы ни случилось, начало занятий первого августа, как всегда. Он так и сказал — "как всегда".

— Не забудешь?

Нет, он, Тарас, не забудет, чувствовалось, хотел спросить еще о чем-то, но почему-то не решался, медлил, не уходил, стоял опустив голову.

— Что еще?

— Матушка писала... Да я и сам хотел. Книгу попросить... "Энеиду". Я привезу, ежели... — Тарас смутился, лицо его пошло красными пятнами.

"Матушка писала..." В устах отрока она — матушка, его мир, дом родной, свет и тепло. Она воспитала его своей лаской. Тарас должен быть счастлив: называя Марию матерью, он дышит с ней одним воздухом, слышит ее голос, доверяет ей свои мальчишечьи тайны и фантазии, ощущает ее ласковое прикосновение.

А почему бы и тебе, Иване, не поехать вместе с Тарасом? Сам бы отвез книгу, о

которой она просит, ибо, верно, нового издания, в котором помещена четвертая часть, у нее нет.

Боже мой, как же это просто: сесть в почтовый дилижанс, пять-шесть дней пути — и он будет на месте.

Воображение — его друг и злой недруг — уже рисовало картину встречи. "Столько лет кануло в Лету — и вдруг вы?.." Возможно, этого она и не скажет, но подумает, а он прочтет в ее глазах невысказанное, обмануть его не так-то просто.

Однако может быть и такое: он встретит холодный взгляд, услышит равнодушное слово. Время бежит — люди меняются. Раньше они были почти равны: он — домашний учитель, она — воспитанница в доме своего дядюшки. Теперь все изменилось. Он, в недалеком прошлом офицер, ныне на скудном казенном жалованье продолжает служить, только по гражданскому ведомству. Она же — богата, независима, знатна, ни в чем не испытывает нужды. Кто-то из лакеев доложит о его приезде, она не торопясь выйдет и, кто знает, что подумает, как воспримет его приезд?..

"Матушка писала..." Неожиданную просьбу можно истолковать по-разному. Мало ли нынче любителей родного слова! Их с каждым годом все больше и больше. И разумеется, никому, по возможности, он не отказывает в просьбе одарить новым изданием поэмы.

Иван Петрович порывлся в столе, куда однажды спрятал принесенную с собой книгу, нашел ее в бумагах и протянул Тарасу:

— Почитаешь на досуге.

Начал задвигать ящик стола и никак не мог этого сделать, руки дрожали. Тарас, не помня себя от радости, прижал книгу к груди, словно боялся, что она выскользнет из рук. Низко, чуть ли не до пола, поклонился:

— Прощайте!

Почтительно поклонился и помощникам:

— Здоровы будьте!

— С богом! — степенно кивнул Капитонович: он никак не мог уразуметь, о какой книге просит госпожа Голубович?

Дионисий же смекнул все сразу и лукаво подмигнул Тарасу: выклянчил книжку, теперь не мешкай, беги.

Тарас еще раз поклонился, попятился к двери, у порога, вспомнив, что забыл поблагодарить, продохнул:

— Благодарствую!

Тут только ящик стола поддался, с оглушительным грохотом задвинулся, Иван Петрович вздохнул с облегчением. Увидев, что Тарас еще не ушел, сказал:

— Матушке поклонись!

— Поклонюсь! — Тарас толкнул коленом дверь, выскользнул в коридор.

Некоторое время Котляревский стоял у окна. Прижимая по-прежнему к груди книгу, словно опасаясь обронить ее и потерять, Тарас бежал к воротам, на улицу, где его ждала готовая к отъезду карета: вот он подбежал к ней — дверца распахнулась,

кучер сипло крикнул, залился-зазвенел колоколец — и карета исчезла, лишь остался на дороге след от высоких, окованных железом колес.

— Уехал, — сказал дрогнувшим голосом Иван Петрович и смутился, увидев вопросительные взгляды помощников. — Так... На чем же мы остановились?

— На гречневой крупе, — с готовностью ответил Дионисий. — Крупы сей у нас осталось...

— Четыре пуда и десять фунтов, — подсказал Капитонович.

— Так и запишем.

Иван Петрович говорил о гречневой крупе, пшене, соли, вяленой рыбе, а мысли его были далеко... Золотоноша. Как давно и, кажется, совсем недавно он жил в тех краях. Теперь вряд ли когда-нибудь он там побывает. Иван Петрович даже не подозревал, что не пройдет и месяца, как он тоже отправится в дорогу, правда, не в Золотоношу, но путь его вначале пройдет неподалеку от тех сел, которые он хорошо помнил и поныне, хотя миновало уже почти двадцать лет с той поры.

22

Легкая дорожная карета, подпрыгивая на колдобинах, покачивалась, будто лодка на волнах.

Выглянув в обрызганное дождем оконце, Иван Петрович увидел тяжело груженный обоз, хвост его терялся в темной, залитой туманом балке. По двое в ряд, размашистым шагом проскакивали мимо драгуны: проплыли высокие кивера, усатые, хотя и молодые лица и вот уже нет их, скрылись, исчезли за придорожными деревьями.

Кажется, нынче все пришло в движенье. Люди куда-то едут, торопятся по делам, считают минуты на почтовых станциях. И всему одна причина — война, она заставила сняться с насиженных мест, двинуться в неизвестный и опасный путь. Вот и он, надзиратель Полтавского Дома для бедных, вынужден был оставить питомцев, бросить все дела на помощников и отправиться в дорогу. Князь самолично попросил его об этой поездке.

Князь не предложил кресла и сам не садился, говорил стоя, давая тем самым понять, как спешно дело, ради которого он пригласил к себе господина капитана, оторвав от службы, хотя занятия в гимназии и поветовом училище уже начались и питомцы Дома для бедных приехали не только из ближних уездов, но также из дальних.

Препоручаю вам, господин капитан, весьма важное дело, — сказал князь, оставшись с Котляревским наедине. — Вы должны будете сформировать казачий полк в городке Горошин, избранном нами в силу его удачного расположения; еще несколько — точнее, четыре полка — формируются в иных местах. Зная ваше рвение, не сомневаюсь, сударь, что с сим делом вы справитесь, причем в назначенный срок, ибо медлить, как вы сами понимаете, недопустимо. За месяц полк должен быть готов к выступлению. Неприятель ждать нас не будет. Вы знаете, Наполеон вторгся в пределы Отечества нашего с огромной армией и продвигается все дальше и дальше.

— Когда прикажете отправляться, ваше сиятельство?



— Чем скорее, тем лучше... Будут ли у вас какие-либо пожелания?

— Осмелюсь осведомиться, каковы мои полномочия?

— У вас будут все необходимые полномочия, вы имеете право привлекать людей для помощи себе, позднее вам будут посланы младшие офицеры в качестве командиров... Письменное предписание уже готово.

Котляревский помолчал, однако князь должен знать все, и, отбросив сомнения, сказал:

— Я оставляю здесь мать, она в преклонном возрасте, и я бы хотел...

— Об сем не беспокойтесь... Я позабочусь.

— Благодарю! И еще. Во вверенном мне пансионе не приготовлено достаточно топлива, а приближаются холода.

— И об этом не забуду... Впрочем, сударь, вы, думаю, сами все это справите, ибо по сформировании полка должны будете вернуться к своим обязанностям в пансионе.

Котляревскому ничего больше не оставалось, как откланяться.

Ивану Петровичу вспомнились озабоченное лицо князя в густых бакенбардах, его высокая грузноватая фигура, тяжелый взгляд. После сформирования полка он, Котляревский, может вернуться к своим обязанностям, сказал князь; значит, возвращение в пансион зависит от него самого, его умения распорядиться своим временем. Вспоминалось, как дети, узнав о его отъезде, прибежали в комнату, хотя Дионисий и не пускал их, перебивая друг друга, спрашивали, когда он вернется, долго ли пробудет в отъезде и когда они поставят "Недоросля"? Одни лишь Тарас стоял в сторонке, по его виду чувствовалось, он тоже хочет что-то спросить, а может, рассказать, но не решается. Когда наконец все ушли, Тарас задержался. За минувшее лето он еще больше вытянулся, лицо стало смуглым, тонким.

— Ну, прощай!.. Теперь ты остаешься, а я еду, — сказал с грустью Иван Петрович.

— Прощайте! А я... не привез книги.

— Потерял? Или отдал кому?

— Матушка оставила. Сказала, ежели у вас нет лишней, то она вернет... И еще. Она хворает, а была бы здорова, приехала... Хочется ей Полтаву увидеть. Никогда, говорит, не была в ней. В Киеве была, в Москве, в Париже, в Италии, а в Полтаве — нет...

Котляревский молчал. Она хотела увидеть Полтаву, а он — Золотоношу, но об этом он, конечно, не сказал Тарасу, сказал другое: пусть Тарас напишет матушке, что книгу Иван Петрович дарит ей на память, у него найдется еще одна... Тарас обрадовался: он так и напишет. Спасибо, пан надзиратель!

Да, что было — былшем поросло, ни за какие блага не вернешь из прошлого ни одного дня, ни единого мгновенья. И вообще не о прошлом ныне помышлять надобно, сейчас главное — решить, с чего начинать по приезде на место. Дело совершенно незнакомое, никогда ранее ему не доводилось формировать воинские части, хотя и не один год прослужил в армии. Думай, думай, господин капитан, как лучше выполнить предписание, чтобы успеть уложиться в назначенный срок. Сформировать конный полк, годный к отправке в действующую армию, не так просто...

Дорога в Горошин не близкая, и, ежели ехать с ночевками и разными остановками на обеды и полдни, придется трястись в карете целую неделю, а то, пожалуй, и дольше. Поэтому Котляревский останавливался в придорожных корчмах и на почтовых станциях лишь для того, чтобы покормить лошадей, дать им отдохнуть час-другой, сам же он обедал на ходу в карете, там же, в карете, когда клонило в сон, и дремал. Под заунывное пение возницы — мужика из княжеской челяди, однообразное поскрипыванье немазанных колес, пофыркивание лошадей, бежавших и бежавших легкой трусцой, ему не так уж и плохо спалось.

Навстречу карете двигались обозы, груженные вяленой, зашитой в рогожные мешки, рыбой, солью, полушубками, встречались и военные фуры — сразу по двадцать, а то и более, — под холщовыми попонами, крест-накрест перевязанными пеньковыми веревками, угадывались ружья, ящики с патронами, конская сбруя. Немолодые уже солдаты-обозники, привыкнув к дальним походам, размеренно, словно журавли по болоту, шагали по обочинам, изредка, скорее для порядка, понукали усталых лошадей. Странно было видеть неторопливую походку солдат, отрешенные их лица — будто ничего не изменилось в мире, будто нет и в помине никакой войны.

Карету обгоняли гусары, они проносились на длиннохвостых лошадях, в изрядно запылившихся зеленых венгерках и небрежно наброшенных на одно плечо такого же цвета ментиках, сверкали конские мундштуки, с них срывалась и падала в дорожную пыль хлопьями пена. Однажды совсем неожиданно Иван Петрович услышал песню: молодые гусары, как видно совсем недавно обмундированные, залихватски пели, пронзительно посвистывая в такт песне, обтекли карету с двух сторон и быстро исчезли в полуденном мареве. Спустя полчаса проскочил еще один эскадрон, но уже молча, строго сохраняя строй.

Шли люди, двигались обозы, мчались на конях военные — все навстречу войне, неминуемой опасности, и, кто знает, может, через неделю или две кого-то из этих проскакавших мимо молодых, не знавших еще жизни людей не станет, где-то в поле, под хмурым небом навеки найдут они свое последнее пристанище. Немало повидавший еще в битве под Измаилом, Котляревский хорошо понимал: нелегкая судьба ждет русскую армию в нынешней войне — Наполеон, собравший под свои штандарты многие европейские языки, посерьезнее Порты...

С котомками и суковатыми палками шли сельские женщины; несмотря на палящее солнце и невыносимую духоту, головы их по самые глаза были укутаны теплыми платками.

— Эгей, девчата, не в Киев ли часом? — кричал возница, придерживая лошадей и улыбаясь.

Женщины дружно кивали:

— В Киев, сынок, ко святым мощам приложиться.

— Далеченько... Глядите, чтоб мужики ваши дома, пока молиться будете, других себе баб не завели.

— А мы мужичков себе пошукаем, чтоб в долгу не остаться, — блеснула озорными

глазами молодка.

— Верно!

Конечно, в Киев, на богомолье, куда же еще? Безразличные ко всему, отчужденные взгляды, растоптанные лапти, котомки, серые от пыли лица. Сколько он уже видел таких же, как эти, женщин за истекшие трое суток!

Рядом со старушками идут и совсем молоденькие девчата — чернобровые, босые, лапти, как и котомки, заброшены за плечи, а глаза с любопытством смотрят вслед гусарам; наверное, впервые в дальней дороге, и все им в новинку, ко всему у них неподдельный интерес.

Гонимые молвой — в Киеве, в знаменитой Лавре, можно выпросить у бога лучшую себе судьбу, — идут, не зная усталости, от восхода до захода солнца, горбятся на бесконечных дорогах и, кто знает, дойдут ли. Иная приляжет у придорожного кустика на ночь, а утром не встанет, попутчицы прикроют ей запавшие глаза, заунывно поплачут, сотворят молитву, а мужики из соседнего сельца помогут похоронить. И останется безвестная могила на большом пути в святой Киев-град, будет осыпаться под ветром и дождем, а придет весна — я совсем затеряется, зарастет травой, исчезнет на бесконечной равнине. Остальные все же дойдут, отыщут Лавру, будут оббивать колени, падая на каменные измызганные за сотни лет ступени храма, молить бога о милости к себе и своим близким, просить защиты от врага-супостата для угнанных в армию мужей, сыновей, братьев и женихов. Но услышит ли страстные молитвы обездоленных странниц ухо всевышнего?

Остановить бы карету, выбежать на дорогу и громко — чтобы и он там, на небеси, услышал — закричать; "Куда вы?! Не там, не там надобно искать свою судьбу!.." — "Где же, паночек?" — с надеждой и упованием посмотрят на него истосковавшиеся глаза и старых и совсем юных. А что он ответит, чем утешит? Нет у него таких слов.

Иван Петрович долго смотрел в оконце, пока желтоватая пыль, вставшая над дорогой как стена, не поглотила одинокие фигуры странниц, медленно двигавшихся по обочине.

— А ну, соколики! — гикнул возница на лошадей; карету подбросило, закачало из стороны в сторону, затрясло — и быстрее замелькали придорожные кусты, деревья, едва выглядывавшие из земли мазанные хатки.

Вдруг возница придержал лошадей и спросил что-то у путника, сидевшего под деревом в расстегнутой холщовой рубаше; путник указал палкой вправо, ткнул влево, затем — прямо. Котляревский постучал в оконце, возница повернул голову:

— А что, пан капитан?

— О чем спрашивал?

— А куды ехать, поелику перекресток. Три дороги, а где наша — не знаю. Теперь-то не заплутаю...

Путник рассказал, что дороги тут расходятся: вправо — на Горошин, прямо — на Киев, влево — на Драбово и дальше — на Черкассы. Черкассы... На пути к ним лежит небольшой, дорогой сердцу городок, именуемый Золотоношей... Терялась в вечернем

сумраке дорога, забиравшая влево, закрывали ее ряды немолодых тополей, все уменьшавшихся к горизонту. Вот бы взять левее, один-два дня — и показалась бы Золотоноша, и он постучал бы в ворота к известной там в городке барыне — вдове Голубович. Но не судьба, его дорога — в противоположную сторону...

В Горошин Иван Петрович приехал на пятые сутки. Старшина — казак Сидор Коноваленко — предложил остановиться у него: дом просторный, а для пана капитана найдется и "хатына". Искать что-либо иное было некогда, и Котляревский принял предложение.

Приведя себя в порядок и перекусив, сразу же попросил старшину послать нарочных в окрестные села и оповестить всех господ помещиков о срочной присылке в Горошин людей с полным снаряжением и лошадьми, годными для несения воинской службы. На сей счет имеется наказ правителя края. В наиболее крупные поместья Котляревский решил сам поехать в ближайшие два-три дня. Старшина попытался уговорить Ивана Петровича не торопиться, прежде всего отдохнуть: как-никак с дороги, а завтра, с новым днем, приступить к делу, день один ничего не изменит. Но уполномоченный оказался далеко не сговорчивым человеком.

— Ты и сам, братец, вместе с нарочными поедешь, — сказал озадаченному старшине Котляревский; тот впервые встречал подобное, другой на месте капитана после такого пути отдыхал бы несколько дней. — И передай, кому надлежит знать, сударь, что малейшее промедление с точным исполнением приказа повлечет строгое наказание... Как не понимать! Неприятель топчет нашу землю, а мы станем выжидать?! Каждый день ныне, сударь, стоит иного года. Запомни!

Да я что... Я со всем старанием, ваше благородие. Как же не разуметь, страшная беда грозит... Но хотел о вас порадовать... Коли ж так, дело завертится, уж будьте покойны, ваше благородие.

Вместе с волостным писарем Иван Петрович осмотрел намеченное для будущего сбора место, оно оказалось вполне подходящим: в центре городка, рядом стояли два дуба, значит, работать можно в любую погоду — от солнца и дождя есть защита. Тут же, на площади, можно построить людей и даже заниматься с ними воинским артикулом.

Дело, как выразился старшина, "завертелось".

Вставать приходилось рано, впрочем, к раннему подъему Иван Петрович привык издавна, еще будучи в армии, и этим нисколько не тяготился, напротив, вставая с зарей, чувствовал себя бодрее, чем если бы заспался, но главное — на два-три часа удлинял свой день.

Вскоре в центре Горошина, у двух дубов, собралось около ста человек с лошадьми, пиками, иные с топорами, с переделанными из кос саблями, в домотканых свитках, смушковых шапках. Каждого надо было записать в специальную книгу, указать, откуда он родом, как прозывается, кто остался дома.

Почти все новобранцы были молодыми, а значит, выносливыми, к неудобствам походной жизни им не привыкать, однако Котляревский все равно принимал все меры,

чтобы устроить их получше: разместил в окрестных селах по хатам, назначил старших, наиболее расторопным поручил быть ответственными за фураж и питание. Новобранцы сами варили кашу в заранее припасенных изрядно прокопченных котлах, учились ходить строем, колоть пикой и бросаться врукопашную, премудростям военного искусства их обучали несколько бывших унтер-офицеров. Старые унтера гоняли новобранцев так, что у тех не просыхали от пота рубахи, но никто не роптал, ибо, рассказывали старые служивые, еще батюшка Суворов говаривал: "Тяжело в учении, легко в бою".

Уже на третий день по прибытии в Горошин, 12 августа, Котляревский сообщил генерал-губернатору о первых своих шагах, успехах и недостатках, которые были замечены при формировании полка. Он писал:

"Сиятельнейший князь, милостивый государь!

10 числа сего месяца начал я прием казаков к формированию 5-го казачьего полка; но по медленному сначала доставлению казаков не так успешно делается, как бы хотелось. Впрочем, люди, принятые мною, хороши, стариков нет и очень молодых мало, большею частью поступают в казаки с удовольствием, охотностью и без малейшего уныния; все с пиками, но много сабель есть, из кос переделанных. Есть с ружьями и пистолетами, но сие оружие в посредственной исправности; лошади небольшие, но к службе годные; одеяние все новое, но надобно будет привести в единообразие; в одних шапках не соблюдена мера, ибо одне довольно высокие, а другие низки, но все одинакового вида. Все силы употреблю, чтобы оправдать доверенность Вашего сиятельства..."

Котляревский работал день и ночь, забыв об отдыхе и сне.

Уже 20 августа во втором письме на имя Лобанова-Ростовского он пишет, что "по сие число им принято 760 человек с лошадьми. Прибывают люди из Миргородского, Кременчугского и Хорольского уездов". Указывает на множество недостатков: у одних нет необходимого обмундирования, у других недостает потников для седел, у третьих — оружия, все это надо получить у земских начальников. Он требует у заседателя Хорольского земского суда, некоего Щочки, призвать всех отставников. Иван Петрович напоминает князю о необходимости присылки кадровых офицеров, чтобы он мог приступить к формированию эскадронов. Письмо свое Котляревский подписывает на сей раз так: "5-го казачьего полка начальник". Разумеется, он имеет право на такую подпись, ибо полк, которым он пока командует, сформирован им лично.

Время не ждет. Каждый день на учете. Котляревский продолжает напряженную работу по дальнейшему обучению и окончательному формированию полка. В эти дни его можно увидеть то в Горошине, то в соседних волостях, где размещены команды будущего полка, и везде он не забывает посмотреть, как люди накормлены, все ли одеты, чего кому недостает.

Князь не ошибся, посылая Котляревского своим особо уполномоченным в Горошин. Он выполнил поручение, причем не за месяц, как предполагалось, а за семнадцать дней, почти в два раза быстрее.

27 августа Иван Петрович сообщает князю, что "наконец 5-й конный казачий полк сформирован, одних только офицеров и унтер-офицеров недостает. Люди в полку очень хороши, лошади лучше посредственных, об амуниции хлопочу с отдатчиками, чтобы была в исправности, равно уравниваю шапки, кафтаны и пики, коих одно древко без железа будет в 4 аршина; недоимки в людях и лошадях скоро не будет никакой...". В этом же письме он пишет, что надобно иметь артельные деньги для покупки котлов, необходимых каждому эскадрону...

Вскоре, выполнив поручение, полностью сформировав и снарядив полк, Котляревский уезжает из Горошина, не забыв взять у местных властей свидетельство, в котором указывается, что во время пребывания в Горошине он ничем не злоупотреблял, за все, что бралось, уплачено и за ним, капитаном Котляревским, "никакой недоимки не имеется".

23

Уже три дня почта из Москвы не поступала. Ни писем, ни газет. А приехавшие на днях из Харькова негоцианты рассказывали в гостинном ряду, что сами видели в оном городе раненых офицеров, а также и солдат и что им доподлинно известно: все они получили ранения на Бородинском поле, что вблизи Москвы. Вскоре появился слух о неминуемом падении первопрестольной, не удержать, мол, вражью силу, прет ее видимо-невидимо.

Этому и верили, и не верили. Неужто Михайло Кутузов, прославивший свое имя еще в битвах с турками, генерал, коего отмечал сам покойный Суворов, отдаст белокаменную?

Очень беспокойной жизнью в те осенние дни жила Полтава. Тревога поселилась в каждом доме. Но ежели господа негоцианты беспокоились больше о своих прибылях, господа помещики — о нехватке работных людей, то простой люд пребывал в большой тревоге из-за неизвестной судьбы своих близких, то ли оставшихся в живых, то ли сложивших головы на бранном поле. Жизнь, и так горькая, становилась совсем невыносимой. На работный люд взвалили все тяготы военного времени; не зная отдыха, гнули спины в поместьях дворовые, в городских цехах — мастеровые: шили одежду, обувь, ткали полотно, солили мясо, готовили пеньку и мед. И все для нужд армии, на погибель врагу. Во всех церквях и приходах благовестили теперь рано, молящиеся часами простаивали на каменном полу перед образом божьим, зывали к всевышнему о ниспослании победы русскому воинству, о сохранении живота родным и близким.

И вдруг — как гром среди ясного неба, как снег среди лета — весть: неприятель в Москве, первопрестольная без боя оставлена русской армией.

На какое-то время город оцепенел. Но оцепенение продолжалось недолго. Оживление в жизнь города внес первый обоз раненых, прибывший однажды пополудни. У перевоза через Ворсклу собралась почти вся женская половина города; полтавчанки, молодые и постарше, с нетерпением ожидали, когда переправится паром: может, среди измученных горемык окажется их сын, брат, муж, жених. Они

готовы были принять каждого раненого — в дом, в хату, в землянку; ахая, наблюдали, как санитары ведут офицера с перевязанной головой, солдата в бинтах, бросались им помогать.

Лобанов-Ростовский не выезжал из пределов губернии, был озабочен множеством неотложных дел: вызывал нужных ему людей, принимал купцов, чиновников, военных, помещиков, уездных предводителей дворянства, церковнослужителей, мещан, цеховых старшин. Полагая, что формированием в губернии пяти казачьих полков дело не ограничится, что военное ведомство потребует дополнительно и лошадей, и провианта, он, не ожидая особых рескриптов, принимал необходимые меры.

На приеме у князя побывал Иван Васильевич Тутолмин, уже несколько лет занимавший должность губернатора вместо отставленного действительного статского советника Михайла Бровина. Это благодаря стараниям Тутолмина удалось разместить заказы на закупку провианта и лошадей, все прибывшие раненые офицеры были разобраны жителями, а солдат поместили в лечебницу.

Князь молча выслушал доклад губернатора и выразил неудовольствие содержанием закупленного зерна: склады, в которых хранился хлеб, были стары, крыши в них протекали, и, в случае непогоды, зерно могло намокнуть.

— Недоглядел, — виновато склонил голову Тутолмин. — Сразу же распоряжусь о ремонте... Заодно хочу довести до вашего сведения о своеволия купцов Выжигина и Руденко, зерно покупают по заниженным ценам, а в казну сдают в два раза дороже.

— И вы не догадываетесь, как поступить? Взыщите разницу — и быть по сему.

— Не согласятся, могут учинить афронт.

— Не пугайтесь. Пригрозите, что найдем других негоциантов, обойдемся, мол, и без их услуг, сразу поутихнут, я сие племя знаю...

Князь казался спокойным, но был заметно утомлен.

— А что с пиками? Скоро ли будет готово заказанное снаряжение?

— В городских цехах, особливо в Немецкой слободке, на днях закончат, а сказать подобное о поместье Разумовской не могу, медлит графиня, все добивается, кто ей и как будет оплачивать?

— Поезжайте к ней с визитом еще раз, она сие обожает, и скажите: ежели заказ не будет выполнен в срок, то может статься, завтра мы его и вовсе не возьмем, дорога-то ложка к обеду. Что же касается оплаты, то все будет уплачено, не обеднеет, однако, ежели и задержится оплата... Последнего ей все же не следует знать.

— Сейчас прямо и отъеду.

Вслед за Тутолминным вошел престарелый предводитель полтавского дворянства граф Дмитрий Прокофьевич Трощинский, приехавший из своих "Швейцарий", как он называл родовое сельцо Кибинцы. Что слышно, батюшка Яков Иванович? — Трощинский обращался к князю запросто, знал его совсем молодым еще в бытность свою в Санкт-Петербурге, где они не однажды встречались, случалось, и при дворе. Князь начал было рассказывать о положении, создавшемся после сдачи Москвы, но гость замахал сухой рукой, высунувшейся из рукава, обшитого золоченым позументом:

— Знаю, знаю, не утруждайся... А что, ежели Наполеон двинется засим на север, к столице то бишь? Может случиться сие? — граф прищуренно смотрел на осунувшееся лицо князя, ждал ответа.

Генерал-губернатор не утешил престарелого графа: может случиться и такое, хотя он лично в это не верит, враг как будто выдыхается.

— Люблю, что правду говоришь, — обрадовался граф. — Но что же нам-то, землевладельцам, делать прикажешь?

Князь сказал: готовить людей, снаряжение — и снова повторил, что враг, по его разумению, выдыхается, хотя еще и силен, и всего, стало быть, ожидать можно, пусть граф снесется с соседями-землевладельцами и заставит их принять на всякий случай необходимые меры.

— Хотя уверен, до ваших "Швейцарий" Наполеон не дотянется, руки коротки.

— А пускай! Мы бы его встретили по-нашенски, как умеем.

— Не сомневаюсь. — Князь помолчал. — Сегодня, ежели не отъезжаете, милости прошу ко мне... Будет узкий круг... Княгиню обрадуете.

— Благодарствую! Остался бы, да тороплюсь. Перед отъездом сюда распорядился о лицедействии в моем театре, зело играют, доморощенные артисты, хочу посмотреть, что успели, ибо, как говаривал еще Теренций, все человеческое мне не чуждо.

— Справедливо, граф... Но нас не осуждайте: театр строить пока прекратили — недосуг.

— И напрасно. — Граф достал золоченую табакерку, открыл, взял двумя пальцами щепоть табаку, ловко заложил в нос, громко чихнул. — Что я вам скажу, голубчик, разумеется, между нами. Коль все дело передано в руки такой лисы, как Михайло Кутузов, то Бонапартию со всем его войском виктории не видать как ушей своих. Уж я знаю Кутузку, не выпустит он француза живым, во всяком случае пообщиплет изрядно. Попомните мое слово... А что Москва сдана — не беда, сие, полагаю, тактическая ретирада...

Граф вскоре простился. А вслед за ним переступил порог княжеского кабинета епископ полтавский Феофан. Тяжелым золотым крестом благословив князя, уселся в предложенное кресло и, оглядев просторный кабинет правителя, заговорил. Пастыря беспокоило, как быть с церковной утварью, богатыми иконостасами, но больше всего он, конечно же, пекся, хотя этого епископ и не сказал, о собственном добре — по слухам, очень значительном. Что, если враг преступит пределы губернии? Не лучше ли заранее ретироваться?

Князь пристально смотрел в пухлое лицо пастыря. Понятно, что волнует его. Можно бы уважить просьбу, и пусть бы уезжал, но разреши отъезд — поползет слух, поднимется ропот, неминуема паника. Возможно ли такое нынче? И князь бесстрастным тоном ответил епископу:

— Вам, отче, надлежит ныне говорить с паствой каждодневно, успокоить ее, а вы...

Недосказал, но Феофан понял, что имел в виду правитель.

— Не о себе пекусь — о церкви заботы мои.



— Знаю... о чем печетесь. И все же — оставайтесь.

— А что с Москвой ныне?

— Сдана... И горит. Да вы знаете об этом.

— Горит... первопрестольная. — Епископ вздохнул и осенил себя широким крестом. — В той геенне огненной антихрист найдет и свою погибель. Да будет так! Аминь! — Еще раз перекрестился, затем благословил князя и ушел, тяжело ступая по мягкому ковру, в душе радуясь, что как бы там ни было, а он успел тайно, доверившись верным людям, отправить из монастыря значительную часть своего добра в одно ему лишь ведомое место. Теперь можно и остаться, призывать мирян к стойкости и верности престолу и отечеству.

Позже, после того как с докладами побывали бургомистр и полицмейстер, на прием попросился директор училищ Иван Дмитриевич Огнев...

Директор был взволнован, хотя и старался этого не показывать, не часто он виделся с генерал-губернатором, разве что на балах да маскарадах, а тут осмелился прийти самолично в приемные часы для деловой беседы. В парадном сюртуке, черном и строгом, он скорее напоминал протестантского проповедника, нежели директора училищ. Отвесив поклон, говорить, однако, не торопился, князь, занятый разбором бумаг, принесенных адъютантом, почти не обращал на него внимания. Но вот, отодвинув картон в сторону, Лобанов-Ростовский нетерпеливо шевельнул густой бровью:

— Слушаю вас, сударь.

Огнев вытер платком внезапно вспотевший лоб и снова согнулся в поклоне.

— Приходится беспокоить, ваше сиятельство, в такую минуту, когда решается... Однако не счел возможным не прийти.

— Ближе к делу, милостивый государь.

— Я тотчас. — Огнев перевел дыхание. — Ваше сиятельство, учебный год, как вы знаете, начался первого августа, на дворе уже половина сентября, а приехало лишь две трети воспитанников, и эти спрашивают, не разъехаться ли по домам? Господа учителя настроены не лучшим образом.

Лобанов-Ростовский с нескрываемым удивлением, даже каким-то любопытством посмотрел на директора училищ, затем кивнул на кресло. Огнев сел, положив руки на колени и подняв глаза на князя. Тот медлил с ответом, наконец сказал:

— Милостивый государь, отдаете ли вы отчет своим словам? Полагаю, нет. Как же можно расценивать такое? Сие смехотворно.

— Но — война... И Москва...

— Да, война. Но где она — война? Где Москва? Разумеется, время тяжелое, но, что бы ни случилось, надо выполнять свой долг. По-вашему, я должен распустить всех чиновников, закрыть службы и еще бог знает что сделать?

— Я не то хотел сказать... Но ведь не приехали... Вот что смущает.

— Пошлите за ними. Учебный год начался и должен продолжаться.

Огнев кивнул несколько раз, не снимая рук с колен.

— Это все, сударь?..

Под пристальным взглядом правителя края Огнев побледнел. Это не скрылось от князя.

— Говорите же!

Директор училищ собрался с духом и заговорил. Три дня тому назад он, Огнев, получил прошение от воспитанников старших классов, живших в Доме для бедных. Прошение оказалось сплошным слезным молением возвратить надзирателя, отставного капитана Ивана Котляревского. Гимназисты писали, что ежели надзиратель не будет возвращен, то они покинут пансион, другой надзиратель им не нужен. Под прошением стояло сорок четыре подписи, то есть подписи всех воспитанников, живших в Доме для бедных. Изложив кратко суть прошения, Огнев ждал, что скажет генерал-губернатор. А тот, как нарочно, долго искал трубку, хотя она лежала перед ним, потом медлил с открыванием табакерки.

— Ну и что вы ответили, сударь? — наконец спросил князь.

— Пока не отвечал.

— А ежели они в самом деле покинут пансион?

— Тогда... в классах останется по два-три человека, это — катастрофа.

— Даже так? И это говорите вы — опытный воспитатель юношества? Не узнаю вас, сударь.

Огнев молчал. Да и что отвечать? Князь прав. Где-то он чего-то недоглядел. Горько посетовал:

— На кого опереться? А дети — что с них взыщешь?

— Устами младенца глаголет истина, сударь... Вот надзиратель чем-то им приглянулся. Чем же?

— Не знаю... Правда, он всегда был с ними справедлив и мягок, но ведь и остальные в гимназии не звери...

— Так... Сей капитан в отставке, оказывается, не подвел нас. А вот вы, сударь, помнится, сначала отказали ему в месте? — Князь не то спросил, не то упрекнул Огнева.

Огнев счел нужным промолчать, только склонил виновато голову.

Молчание затягивалось, и Огнев не выдержал, спросил:

— Могу ли я надеяться, ваше сиятельство?

— На что?

— На возвращение господина Котляревского в пансион. Дети скучают по нему и просят...

Князь закурил, табачный дым потянулся в открытую форточку тонкой серой лентой.

— Счастье, когда вот так любят человека. — Князь внимательно взглянул на Огнева. — Надзиратель, выполнив поручение, полагаю, в скором времени должен возвратиться... Да, не могу не уведомить вас: он, оказывается, и отменный офицер. Меньше недели сформировал полк. Да какой! Конный! Оный полк уже

выступил против неприятеля. — Князь сказал это с явным удовольствием, гордясь человеком, которому покровительствовал и в котором не ошибся.

— Разрешите откланяться, — встал Огнев.

— Надеюсь, сударь, учебный год продолжится?

— Как и надлежит, ваше сиятельство, — не принимая шутки, ответил Огнев и, поклонившись, открыл дверь в приемную...

В тот день в пансионе происходило нечто необычное. Было тихо не только в коридорах, но и в спальнях. Все воспитанники сразу после ужина разошлись, как полагал дежуривший Дионисий, готовиться к завтрашним урокам. Но, заглянув в одну спальню, потом в другую, он никого в них не обнаружил. Почувствовав неладное, Дионисий бросился искать воспитанников. Оказалось, они все собрались в столовой.

— Вот вы где! А ну-ка марш по спальням! — строго приказал Дионисий.

— Мы сегодня тут будем заниматься, — послышался чей-то голос.

— Это почему же?

— Здесь теплее.

В самом деле, в спальнях было намного прохладней, нежели в столовой зале, к которой примыкала кухня, где почти целый день топилась большая плита. Тепло из кухни обогревало и залу.

Дионисий смягчился:

— Ладно, только тихо мне...

Дионисий, ничего не подозревая, удалился из залы в свою комнату, где он должен был составить список израсходованных за последнюю неделю продуктов. Приедет ли Иван Петрович или нет, он все равно обязан вести строгий учет всех расходов.

Как только Дионисий вышел из залы, Тарас попросил, чтобы все сели вокруг стола, и объявил, что на посланное три дня тому назад прошение Огнев не ответил, и потому он предлагает писать теперь на имя самого генерал-губернатора.

— Прощение наше Иван Дмитриевич и не читал вовсе, — сказал кто-то.

— Конечно, не читал, — кивнул Миша Остроградский. — Бросил в корзину — и дело с концом.

— И я так думаю. Посему будем писать новое. Но кто отнесет его князю? — спросил Тарас. Он оглядел сидевших рядом товарищей. — Никто? А может, ты, Миша?

— Хорошо, я пойду. — Остроградский хотя и был во втором классе, но с ним считались и старшеклассники; он мог запросто решить любую задачу и выручить кого угодно и вообще был человеком серьезным, вдумчивым, причем ни перед кем не робел, а это было очень важно для предстоящей миссии: не сробеть, отдать прошение в руки адъютанту, ежели не удастся проникнуть к самому князю.

— Тогда пишем! — воскликнул Тарас. Он уселся возле свечи, остальные — кто где: за столом, на подоконнике, но так, чтобы видеть, как пишется прошение.

— Заложите дверь, — посоветовал один из новичков и сам схватил полено и потащил его к двери.

— Пиши, что мы уже послали одно прошение, — сказал Остроградский, — а его,

верно, и не читали. Теперь вынуждены писать снова.

— А что дальше?

— Что мы уйдем, ежели надзиратель не вернется, — подсказал кто-то.

— Нет, этого писать не следует, — сказал Остроградский. — Этим все равно не испугаешь. Лучше что-нибудь другое. Ну, скажем: с Иваном Петровичем нам легче учиться, мы привыкли к нему, он нам — как отец.

— Истинно, Миша! — Тарас быстро заскрипел гусиным пером. — И еще напишем, что с Иваном Петровичем мы пьесы играли, читали книги, библиотеку собрали, он много рассказывал нам, благодаря ему мы знаем и латынь, и поэзию.

— Историю Полтавы тоже, — добавил сосед Тараса слева.

— А ежели его не будет, то нам никто не нужен, — подсказал Саша Кирьянов, веснушчатый, с остреньким носом, очень похожий на Папанолиса.

Тарас писал, а все остальные, раскрыв рты, следили за его рукой. Когда первое предложение было закончено, кто-то, вздохнув, сказал:

— Если бы не война, пан надзиратель был бы с нами.

— Ну конечно!

— А что, ежели в Москву податься? Выследить Бонапартия и... выстрелом — наповал, — предложил все тот же Кирьянов.

— Кто поедет? Ты? Смелый, как я погляжу. Да тебя солдаты сразу схватят. Ты ведь не в ладах с французским. Вот если бы Тарас... Он может.

— А что, и поеду... Вот только... — Тарас хотел было сказать, что ему нельзя в Москву, он не может огорчать матушку, она и так хворает, а ежели узнает о поездке, то и совсем расхворается. Но в это время в коридоре слышались шаги. Четкие, твердые. Не Огнев ли? Вряд ли. Кто-нибудь из учителей? Тоже нет. Никто из них в пансион по вечерам не ходит. Тогда — кто же?

— Миша, посмотри, — сказал Тарас.

Остроградский отодвинул полено, приоткрыл дверь и тут же захлопнул ее:

— Он!

— Кто?

— Господин надзиратель!

Несколько мгновений стояла тишина, потом все вскочили, опрокидывая стулья, скамьи, выбежали в коридор. Наверное, вся Полтава в этот час слышала необычный, мгновенно поднявшийся в Доме для бедных грохот и шум.

В столовой зале остался один Тарас, но вот и он, бросив недописанное прошение, выбежал в грохочущий коридор и сразу же увидел господина надзирателя — все в той же горохового цвета шинели и треуголке с черным султаном. Окруженный плотным кольцом воспитанников, он не мог двинуться с места, и Тарас тоже не имел возможности подойти к нему, он стоял прижатый к стене, как и помощник надзирателя Дионисий, выбежавший на шум из своей комнаты.

Надзиратель одному жал руку, другого гладил по голове и поэтому не замечал ни Тараса, ни Дионисия, но, когда наконец увидел их, кивнул приветливо, сделал знак

рукой: подойдите же.

— Не пробиться! — крикнул Дионисий, продвигаясь все же понемногу вперед. А Тарас и не пытался протолкнуться; по-прежнему прижатый к стене, почти касаясь головой медного подсвечника, он стоял, опустив руки, и не чувствовал, как по щекам бегут теплые слезы, он позабыл в эту минуту и о недописанном прощении, и о письме от матушки, которое лежит в сундуке и которое он должен вручить господину надзирателю в собственные руки.

24

— Вы не поверите, господа, что мне, прослужившему двадцать лет на ниве народного просвещения, на днях учинили разнос. Начали учить уму-разуму. И кто? Наш досточтимый господин надзиратель. Да, представьте. Причем господин директор сие допустил. Так что берегитесь! Войдя в силу, он и вам задаст.

Так однажды утром, перед началом занятий, сказал Павел Федорович Квятковский своим коллегам — Филиппу Ивановичу Ефремову и Алексею Семеновичу Рождественскому.

Квятковский говорил правду: три дня назад у него произошла стычка с Иваном Петровичем, причем так случилось, что во время этой стычки присутствовал и директор училищ.

Котляревский зашел к Огневу утром, потому что в иное время он бы его не застал: после начала занятий Иван Дмитриевич, как правило, неизвестно куда исчезал и поймать его в течение целого дня было почти невозможно.

Дело, с которым Котляревский пришел к Огневу, касалось текущей жизни пансиона. Иван Петрович должен был доложить директору, сколько и куда истрачено денег, которые получает он на содержание детей. В связи с непредвиденным увеличением числа воспитанников (в новом году прибавилось восемь человек) надо будет прикупить дополнительно продуктов, не мешает заготовить и побольше дров, ибо зима, по некоторым приметам, ожидается затяжная и холодная...

Когда с хозяйственными делами покончили, Иван Петрович попросил Огнева — в который раз! — обратить серьезное внимание на недостаток учебников по естественной истории и географии, до сих пор нет никаких учебных пособий и по статистике, не хватает задачников Фусса, мало учебников физики. Посему следует еще раз и более настойчиво обратиться в Училищный комитет, в Харьков, к самому попечителю графу Потоцкому с письмом о присылке оных. Доколе готовить уроки по так называемым таблицам, весьма произвольно составленным господами преподавателями? Знания они дают скудные, к тому же — да будет известно господину директору — некоторые наставники, дабы не утруждать себя, требуют от воспитанников не сознательного усвоения материала, а заучивания наизусть текста оных таблиц. Такая методика, кроме вреда, ничего не дает, знаний, во всяком случае, почти никаких, напротив, вызывает явное отвращение к предмету.

И последнее. — Убедившись, что Огнев слушает, хотя и молчит (да и что он может сказать, если в самом деле трудно с учебниками?), Котляревский продолжил: — В

субботу вечером мы собираемся разыграть с воспитанниками пьесу. Вы помните, что начинали мы учить ее в конце прошлого года, однако, за недосугом, не закончили, теперь вот больше месяца учим почти каждый вечер и неплохо сыгрались... А пьесу вы, верно, знаете. Это "Недоросль" Фонвизина.

— Как же! Имел даже честь знать автора лично, — оживился Огнев. Когда директору училищ напоминали о старых знакомых по Санкт-Петербургу, он всегда оживлялся, забывал обо всем на свете и... ни в чем не отказывал.

— Встречались?

— Да, да! Однажды на рауте у госпожи Брюс. И пьесу его читывал. Ваша затея, милостивый государь, похвальна. Но... — Огнев замялся, подыскивая нужное слово. — Время ли? Неприятель в первопрестольной, а мы, как бы вам сказать, разыгрываем... гм... пьесы.

— Вы правы, время нелегкое. Но почему, позволительно спросить, должно всей жизни погаснуть?.. К тому же, как вы помните, в одной пьесе выставлены на осмеяние невежды, все, кому ученье — острый нож. Сходство героев комедии с некоторыми из наших, полтавских, господ поразительно. "Недоросль" Фонвизина в этом смысле — толчок к более широкому развитию просвещения в крае.

— Да, верно изволили заметить, сударь, там есть кое-что этакое... — тонкие губы директора училищ растянулись в усмешке.

— И еще два слова. Коль вы вспомнили о Москве, то хочу уведомить вас о добром слухе, хотя это скорее уже не слух, а факт. Второго дня приехал после ранения полковник Белуха-Кохановский, дом его, как вы знаете, на Дворянской. Я встретился с ним случайно сегодня поутру, и он сказал: Наполеон мирные переговоры ищет, а ему отказывают, требуют полной ретирады. В штабе Кутузова о том доподлинно известно.

— Слава богу! — перекрестился Огнев на образ в углу, однако о предстоящем театральном представлении не обмолвился и словом.

Ивану Петровичу пришлось напомнить ему.

— Коль готовились — надобно играть. Но поглядим... На днях буду у их сиятельства и спрошу, каково будет распоряжение, — подумав, ответил Огнев.

Котляревский хотел было сказать, что он уже побывал у генерал-губернаторского адъютанта и передал для князя приглашение. Лобанов-Ростовский обещал быть самолично с княгиней и домочадцами, будут также чиновники Приказа общественного призрения, губернский архитектор, почтмейстер... Но в это время в соседней классной комнате слышался чей-то гневный бас, а затем — жалобный мальчишеский крик. Огнев сделал вид, что ничего не слышит, нагнулся к раскрытому ящику стола, поднес к глазам какую-то бумагу. Котляревский же, забыв обо всем, не спросив даже разрешения у Огнева, стремительно выбежал из кабинета.

Переступив порог класса, он замер и какое-то время не мог двинуться с места.

На широкой дубовой лавке, стоявшей под самым окном, лицом вниз, охватив голову руками, оголенный до пояса лежал Николай Ге — лучший актер пансионного театра.

Возле него с длинной упругой лозинкой в руках стоял Квятковский. Брызгая

слюной, он хрипел:

— Вдругорядь будешь учить до конца, господин лицедей!

При каждом ударе Ге вздрагивал, пытался соскользнуть на пол, но ему не удавалось: тяжелая рука наставника вцепилась мертвой хваткой в худенькое плечо гимназиста.

— Стойте! — не помня себя, крикнул Иван Петрович, и, когда латинист, не обращая на него внимания, снова взмахнул лозинкой, он подскочил, заслонил мальчика.

— Стойте! — повторил еще раз, причем так твердо и жестко, что Квятковский застыл на мгновение, и этим тут же воспользовался Иван Петрович: вырвал из рук истязателя лозину и сломал ее. — Стыдно! Это же... Это же черт знает что!

— Как смеете?! — взъярился Квятковский.

— Смею!

Класс, вставший при появлении надзирателя, все еще не садился. Возбужденные гимназисты следили за каждым движением Ивана Петровича и, казалось, готовы были броситься ему на помощь. Почувствовав слишком горячие, сочувствующие взгляды воспитанников, Иван Петрович полуобернулся:

— Сядьте!.. И ты — садись.

Размазывая по лицу слезы, Николай Ге поплелся на свое место.

— Пройдете к господину директору, — сказал дрожащим голосом Иван Петрович Квятковскому. — Он ждет нас... А вы, — окинул взглядом класс, — займитесь пока сами... И чтобы — тихо.

Если бы Иван Петрович видел, с каким обожанием, какими преданными глазами смотрели вслед ему воспитанники. Но он ничего этого не заметил, мысли его были сосредоточим на одном: надо сейчас же, не мешкая, дать почувствовать латинисту, что больше не потерпит позорных экзекуций, и сказать это нужно не один на один, а в присутствии директора училищ.

К Огневу они вошли вместе. Понимая, что сейчас должен состояться неприятный разговор, Иван Дмитриевич нахмурился.

Котляревский сразу же приступил к делу:

— Господин директор, я, как надзиратель вверенного мне пансиона, обязан заявить вам, что больше не потерплю экзекуций, устраиваемых господином Квятковским над детьми за каждый недостаточно выученный урок, за каждый проступок. В чем они повинны? В том, в чем виноват прежде всего он сам. Ведь господин Квятковский не учит в том смысле, как мы привыкли понимать. Причем, я знаю, это не первый случай. В позапрошлом году, как помните, по его вине Мокрицкий оставил гимназию и вернулся лишь после вашего участия в сем деле.

С Мокрицким, конечно, все было не совсем так: не Огнев, а сам Иван Петрович встречался, с ним, беседовал и уговорил вернуться в гимназию, затем помог по-настоящему изучить латинский; благодаря только Котляревскому Мокрицкий успешно закончил гимназию и поступил в Харьковский университет. Однако Иван Петрович сказал так намеренно: пусть Огнев (он тоже один раз беседовал с Мокрицким)

гордится своим участием в хорошем деле, может, станет добрее.

Огнев и Квятковский молчали. А Котляревский продолжал:

— Ежели хоть раз еще повторится подобное тому, что я видел сегодня в классе, буду принужден сообщить родителям. Это — прежде всего. А затем — и в Училищный комитет...

В каждом слове Ивана Петровича чувствовались боль и гнев. И обычно суховатый, медлительный, преисполненный собственного достоинства директор училищ наконец не выдержал.

— Нехорошо, сударь, — проговорил он, обращаясь к Квятковскому.

Тот словно поперхнулся, вытер пот со лба и, шагнув к директорскому столу, уперся взглядом в зеленое сукно:

— Вы... разрешаете вмешиваться в мои уроки?! По какому праву? Я двадцать лет служу! А что принужден наказывать, так ведь не я один и... от лозы никто еще не умирал.

— И это говорите вы — учитель, просвещающий юношество?! — Котляревский горько усмехнулся. — По моему разумению, сударь, вам сподручнее служить на съезжей, там бы вы каждый день, сколько душе угодно, кнутобойничали.

— Это... это слишком!

— Вы говорите — слишком? А если бы вашего сына так, как вы ныне этого несчастного?.. И чего же вы достигли? Теперь-то, благодаря вашим стараниям, он, пожалуй, вообще перестанет заниматься латинским.

— Испугали, — фыркнул Квятковский. — Предпочитаю учить тех, кто учится.

— Помилуйте, разве же это ученье? А ведь латынь — это и язык, и непреходящей красоты словесность, но никак не мертвый катехизис.

— Увольте, сударь, от ваших нотаций.

— Господин надзиратель прав, — вставил наконец и свое слово Огнев. — И вам бы, Павел Федорович, следовало прислушаться.

Квятковский исподлобья взглянул на директора:

— Своей методой, Иван Дмитриевич, пользуюсь не первый год, и никто, да будет вам известно, ни разу не упрекнул меня подобным образом.

— Я не упрекаю, хотел лишь немного помочь вам, — уже более спокойно заговорил Иван Петрович. Квятковский не повернул даже к нему головы, показывая тем самым полное пренебрежение к собеседнику. Котляревский же сделал вид, что не замечает этого, и продолжил: — Вот, например, вы требуете от своих воспитанников знание речи Каталины в римском сенате. Ну что ж, отменно. Такое произведение ораторского искусства надобно знать и желательно даже читать по памяти. А многие ли в классе знают его? Едва ли треть, остальным, простите, не интересно. Понимаете — не интересно! А почему? Да потому, что учат они мертвые вещи, вы же ни единым словом не пытались объяснить, как появилась она, речь Цицерона, какими событиями вызвана. А стоило вам упомянуть об этих событиях — и вы бы увидели, как все мгновенно изменилось бы, возрос бы интерес к истории и, разумеется, к языку. Все с



большой охотностью выучили бы и оную речь. Вы же требуете знания буквы, и ничего больше. А посему — и результат, как вы сами понимаете, весьма ничтожный. Лоза же вам, смею уверить, не помощник.

— Но, сударь, не моя забота излагать историю Рима.

— Вы — учитель. Слышите? У-чи-тель! Можно коснуться и истории Рима, ежели это поможет легче усвоить учащимся урок. Сие — истина.

— Моя истина — моя методика.

— Имейте свою методу. Кто же против? Но что касается воспитания лозой, то обязан заявить совершенно определенно: повторится подобное еще раз, вынужден буду — видит бог, не хотелось бы этого — довести до сведения попечителя. — Котляревский повернул голову к Огневу: — Хочу предупредить и вас, уважаемый Иван Дмитриевич. Гимназисты старших классов, а вслед за ними и младших, как мне известно, намерены отказаться от посещения уроков тех господ учителей, кон прибегают к методу "а-ля Квятковский". Их намерению, при всем моем желании, воспрепятствовать не могу. Разумеется, случись такое, огласки не миновать, случай сей неминуемо станет известен Училищному комитету, правителю края, городу, всей губернии, при сем пострадает, как вы понимаете, добрая репутация гимназии.

Котляревский поднялся с кресла, подошел к окну. Весь его вид говорил: "Теперь слово за вами, господин директор, и не думайте, не надейтесь, что я намерен отступить, сдаться, отречься от своих убеждений".

Квятковский сидел по-прежнему презрительно поджав губы, то и дело поправляя очки на глубоко вдавленной переносице.

Огнев раздумывал. Далеко не глупый, знающий свое дело, он понимал, что надзиратель прав, и в душе жалел, что не может предложить ему место учителя: надзиратель не имел университетского образования, а кроме того — и это главное — никто бы не смог его заменить в Доме для бедных, во всяком случае ни сегодня, ни завтра. А что сказал бы князь, пославший его в пансион?.. Да, надзиратель прав, но сказать об этом прямо — значит унижить учителя, преподающего в гимназии латынь, уличить его в незнании элементарной педагогики. Об этом говорить, конечно, надо, но не теперь, в иное время. С виду мягкий и сговорчивый, надзиратель не остановится ни перед чем, если не пресечь "упражнений" Квятковского, хотя иногда с воспитанниками и не мешает быть построже. Не дай бог, гимназисты в самом деле перестанут посещать классы. Даже подумать об этом страшно.

Встав с кресла, Огнев несколько секунд всматривался в осунувшееся лицо Квятковского. Выждав, пока тот тщательно протер клетчатым платком очки и водрузил их на место, он заговорил совершенно официально, сухо и строго:

— Милостивый государь Павел Федорович, должен выразить вам глубочайшее неудовольствие. Как вы смели прибегать к розгам в нашей гимназии? Отныне и навсегда — запрещаю вам сие! Заготовленную же вами лозу впредь оставляйте у себя дома для домашнего употребления. Прошу запомнить сие. И ежели мне будет доложено о ваших новых "упражнениях", принужден буду просить вас об отставке. Я

приму ее, не сомневайтесь, хотя, признаюсь, нелегко нам будет без преподавателя латинского. Но — обойдемся. Правом, данным мне его сиятельством попечителем, а также и правителем края, требую неукоснительного исполнения моей воли. — Огнев взглянул на молчаливо стоявшего у окна Котляревского: — Что касается ваших предложений, господин надзиратель, о методе преподавания, то принужден сказать: они несомненно заслуживают внимательного рассмотрения, и мы это сделаем на ближайшем учительском совете. — Огнев поправил жесткий воротник, подпиривший подбородок, и обычным бесцветным тоном закончил: — А пока вы свободны... Урок, полагаю, Павел Федорович, надобно продолжить, в оставшееся время можно изрядно потрудиться.

"Беседа" у Огнева продолжалась почти полчаса, но поскольку в те годы гимназический урок длился два часа без перерыва, то, разумеется, в оставшееся время еще многое можно было успеть.

Квятковский, не обронив ни слова, вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Вскоре, закончив все свои дела, кабинет директора училищ покинул в Котляревский.

О стычке латиниста с надзирателем вся гимназия знала уже на следующий день, а вскоре о ней заговорили во многих домах Полтавы. Причиной столь быстрого распространения слуха был сам Квятковский. Обиженный на всех и вся, он пожаловался жене, рассказал ей, как Огнев распекал его, заслуженного наставника юношества, причем в присутствии несносного, сующего во все свой длинный нос надзирателя. Этого было достаточно, чтобы скандал, разразившийся в кабинете Огнева, стал тотчас достоянием всего города...

— Так чему же учил вас господин надзиратель? — кривя тонкие губы в усмешке, спросил Квятковского Ефремов.

— Вы даже представить себе не можете. Извольте видеть, я обязан не только латынь преподавать, а к тому же излагать нашим оболтусам историю Рима, да-с. Обязан рассказать, ежели говорю о речи Цицерона против Катилины, кто они были, чьи интересы представляли.

— Весьма занятно. И что же вы ответили?

— Можете быть уверены, — самодовольно усмехнулся латинист, — он надолго запомнит мой ответ, да-с... Налагать историю не обязан, пусть другие о том заботятся.

— Хлестко... А чем же он свое требование объясняет?

— Чтобы, видите ли, тем самым возбудить интерес к предмету.

— С ума сойти, — вздохнул наигранно Рождественский, пряча хитроватую улыбку.

— Вот именно... И, да будет вам известно, он сумел обвести Огнева, и наш прекраснодушный Иван Дмитриевич поверил ему... Нам, господа, на ближайшем же совете предстоит разъяснить директору всю пагубность подобной методы.

— Да уж это как полагается, — кивнул Ефремов и спросил: — Но Павел Федорович, любезнейший, правду толкуют, что на последнем уроке своем вы неплохо отвели душу, так сказать, вызывали интерес к предмету лозой, к тому же и не пареной?

— Проще говоря, кнутобойничали, — добавил Рождественский.

Квятковский пристально взглянул на коллег:

— Смейтесь, господа? Однако погодите, он задаст и вам. Дождетесь. Да-с...

Квятковский сердито надул губы, засеменил к двери, резко распахнул ее и вышел. Ефремов, проводив взглядом рассерженного латиниста, многозначительно подмигнул Рождественскому.

25

Утренние занятия в гимназии начинались в восемь часов, но преподаватели приходили, как правило, несколько раньше, и, пока старшие гимназисты проверяли домашние задания у своих товарищей, господа педагоги могли встретиться в учительской и обсудить самые последние новости.

Уже почти месяц в Полтаве шли разговоры только об одном — о московском пожаре, уничтожившем, как утверждали некоторые знатоки, большую часть первопрестольной, и о храбрости русских людей. Не было, пожалуй, дома, в котором в те дни не говорили бы о дворовой девушке, не побоявшейся поджечь господский дом, в котором вздумали расположиться подгулявшие французские офицеры. В другой истории главным лицом был необыкновенный смельчак, не то мастеровой, не то дворянский сын, решивший собственной рукой наказать самого Бонапарта. Он пробрался в Кремль, каким-то образом проник к императору, стрелял в него, но неудачно, бедняга промахнулся, был схвачен и там же, во дворе Кремля, казнен.

Многочисленные подвиги москвичей пересказывали и в гимназии.

Разумеется, господа преподаватели не забывали при этом и о событиях местного характера. Так было и в этот день. Рождественский как бы между прочим сообщил, что учитель российской словесности Бутков, почти не умеющий играть в карты, вчера обыграл заядлого картежника отца Георгия.

— Не всегда ему выигрывать, бог правду любит, — заметил по этому случаю Ефремов, сам любитель "метнуть банк". И тут же, блаженно щурясь, словно кот у теплой печки после сытного завтрака, поведал пикантную историю, услышанную им якобы от самого героя истории — Сплитстессера.

Дом учителя рисования и черчения уже пятый раз посещает домовый, правда, в отсутствие хозяина, но в последний раз Сплитстессер сам видел, как, испугнутый кем-то, домовый сиганул в окно; случилось это в момент, когда рисовальщик неожиданно вошел к жене в спальню. Авдотья — молодая жена Сплитстессера, из миргородских мещанок, моложе мужа лет на двадцать, — сидела подавленная на канаве в ночной сорочке и еле слышно повторяла: "Леший, домовый". Испуганный не менее жены, Сплитстессер начал как только мог успокаивать ее и, кажется, достиг успеха, она немного отошла. И вдруг очень рассердилась на супруга и даже накричала на него. Не ко времени, мол, он приплелся, сидел бы в "своей гимназии", а она бы сама изловила домового. "Уже изловчилась, он шел в расставленные силки, а тебя принесла нелегкая..." Она так разобиделась на мужа, что решила поехать к матери в Миргород погостить на два-три месяца.

Бутков, пришедший как раз к началу рассказа, скрыв мелькнувшую на розовом

лице усмешку, спросил:

— А в чем был домовый-то? Не иначе как в гусарском ментике. Они, домовые, разумеется, в любом обличье ходят, но больше предпочитают почему-то гусарские ментики да венгерки.

— Темновато было в спальне, и Сплитстессер не разглядел, — ответил Ефремов.

— Что вы, господа? Никак что-то подумали... этакое? — нахмурился Квятковский. — Госпожа Сплитстессер — женщина высоких принципов.

— Это верно. Во всяком случае, так мыслит муж, и благо ему, — сказал Бутков, снимая шляпу и вешая ее на стоячую деревянную вешалку в углу. — С вами, Павел Федорович, на сей предмет, полагаю, никто не станет спорить.

— Тем более что господин Квятковский всегда прав, как вот, например, в споре с надзирателем пансиона о методе преподавания и воспитания, — заметил Ефремов.

— Оный надзиратель, известно, ко всему придирается, — добавил Рождественский. — Вчера у отца Георгия на уроке сидел, позавчера у меня на географии. И что ему надобно?

— Увольте, господа, я вам ничего такого не говорил, — отрезал Квятковский.

— А мы ничего такого и не слышали, — съехидничал Ефремов. Тонкий длинный нос его с маленькой коричневой бородавкой на левой ноздре нацелился своим острием в блестящие очки Квятковского. — Между прочим, господа, наш надзиратель — вы, может, слышали? — этот тихий отставной капитан — меньше чем в три недели сформировал целый казачий полк, и тот, говорят, уже отбыл в действующую армию.

— Что ж тут особого? — приподнял короткие густые брови латинист. Все, что говорилось хорошего о Котляревском, он воспринимал теперь как личную обиду. Потому-то Ефремов и Рождественский не пропускали случая, чтобы не поддеть его.

— Вы полагаете? — воскликнул Рождественский. — Вот вам бы попробовать, а? Представляю финал. — Латинист не нашел что ответить, и Рождественский продолжал: — А особое, сударь, то, что оный надзиратель — автор большой поэмы, к тому же на малороссийском языке. Надеюсь, читали?

— Читать на этом наречии не доводилось и, думаю, не придется.

— Стыдитесь, сударь, язык народа целого края называть наречием, — возмутился обычно тихий и добродушный Рождественский. Высокий, худой, с длинными волосами, он похож был сейчас на петуха, готового броситься в драку. — Вы, сударь, латинскому учите юношество, а поэма господина Котляревского имеет отношение, правда косвенное, и к латинской поэзии. Вам бы следовало знать сие.

— Вот как! — криво усмехнулся Квятковский. — Может быть, вы, коллега, считаете, что об сем должно знать и поступающим в университет? Там пока спрашивают латынь, но я не слышал о необходимости знать и малороссийский.

— Не ожидал от вас, — вмешался Бутков. Не любивший, да и не умевший спорить, на этот раз и он не мог промолчать. — Вы уроженец сих мест и такое говорите. Право, дивлюсь вам... А касаясь того, что нужно знать в университетах, то ведь и Крылова там не изучают. Но придет время для его басен, в сем убежден. Думаю, настанет время и

для малороссийского. Я прирожденный русский, а чувствую: так будет. Да почему бы и нет? Многие вижу свидетельства одного уже и сейчас...

Кто знает, какой бы оборот приняла в дальнейшем так мирно начатая беседа преподавателей, если бы в учительскую не влетел учитель французского и немецкого языков Фридрих Вельцын. Сюртук его был распахнут, лицо мокрое от йота. Замерев на пороге, он еле слышно выдохнул:

— Майне геррен!...[18]

Дребезжащий звонок заглушил его слова, и преподаватели лишь видели, как открывается и закрывается рот Вельцына, как движется вверх и вниз рыжеватая бородка. Наконец звонить перестали, и в наступившей тишине все услышали:

— Из Москау... Ушел он...

— Кто? — в один голос спросили преподаватели.

— Ретировался нах хаузе[19] ... герр Буонапарте. Теперь и мой фатерлянд будет свободен. — Вельцын зарыдал, как ребенок. Худые, узкие плечи его под черным сукном сюртука часто вздрагивали. Плача, он рассказал: только что был в гостинном ряду у негоцианта Зеленского — хотел купить сукна на пальто, — а тот приехал из Харькова и видел там тульских купцов, они утверждают: француз бежит, "его гонют и бьют по загривку, попадает и по хвосту...".

— Ай да Вельцын! — обнял коллегу Бутков. — Спасибо за весть! Мы тотчас же преподнесем ее воспитанникам!

— Благодарствую! — пожал руку Вельцына Ефремов и, захватив со стола стопку тетрадей и книг, выбежал из учительской. Вслед за ним ушел и Квятковский.

Рождественский несколько секунд смотрел на коллегу, потом достал из кармана его же сюртука платок:

— Оботритесь. — Когда Вельцын послушно вытер лицо, спросил: — Теперь — нах хаузе?

— Я! Что вы? Мой фатерлянд здесь. На вся жизнь! — Вельцын сказал это твердо и уверенно. — Но не пора ли в класс? Мальчики успели столы опрокидывать и сами стоят вверх ногами. — Когда Вельцын волновался, он говорил с заметным немецким акцентом, неправильно произносил слова и целые фразы.

Внезапно от оглушительного церковного звона задрожали в окнах стекла. Звонили во всех церквях города. В учительскую заглянул служитель и пригласил господ на общий молебен.

Вскоре учителя, гимназисты, служители, сторожа — все до единого собрались в коридоре, который заменял актовый зал и был местом обязательных утренних молитв перед уроками.

Пришли служители и детского пансиона во главе с Котляревеким. Они заняли угол по правую руку от Огнева, рядом с которым, едва не касаясь образа в дорогом окладе, возвышался законоучитель отец Георгий, облаченный по случаю торжества в новую рясу.

— Братце! — загудел священник. — Воздадим хвалу господу нашему за дарованную

доблестному русскому воинству викторию над супостатом, погубителем сынов наших, осквернителем храмов православных, земли Русской! Помолимся! — Подняв длань с зажатым в ней большим крестом, он трижды осенил крестным знаменем коридор и всех в нем собравшихся.

В воздух поднялись десятки рук, над головами промчался ветерок — каждый положил на себя по примеру отца Георгия крестное знамение.

— За спасение земли наших дедов и прадедов. Аминь!

У многих от радости на глазах появились слезы. Котляревский, как и другие, тоже был переполнен радостью и не скрывал этого.

По окончании молебна Огнев поздравил собравшихся с большим праздником — освобождением Москвы — и объявил, что по сему торжественному случаю в ближайшую субботу будет дано большое театральное представление, но не заезжей труппой, а силами воспитанников Дома для бедных, и он, Огнев, имеет честь пригласить на представление всех господ учителей с женами и служителей, а также гимназистов старших классов.

Иван Петрович удивился: оказывается, у директора училищ отменная память, он хорошо помнит их разговор и — что особенно приятно — не посчитал за труд самолично объявить о предстоящем спектакле.

26

Каждый приглашенный — чиновник губернской канцелярии, военнослужащий, негодант — почитал за честь присутствовать на объявленном лице действии. Да и как уклониться от приглашения и не считать его честью, ежели — слух прошел — сам Лобанов-Ростовский, князь и правитель края, собственной персоной с домочадцами почтит посещением в назначенный субботний вечер Дом для бедных.

Подобные представления в те годы случались редко. Обычно летом, в дни ярмарок, в Полтаву прибывалась какая-нибудь бродячая театральная труппа, привозила с собой несколько старых пьес, много раз шедших на провинциальной сцене, и все же, за неимением ничего иного, их смотрели. Чиновники, подгулявшие купчики приходили на спектакли точно так же, как приходили после удачной купли-продажи в снятый на время номер в герберге: приносили с собой что-нибудь подкрепиться и, нисколько не смущаясь, тут же, под туго натянутым полотняным шатром, на виду у всех распивали одну-другую бутылку венгерского или рейнвейна и принимались закусывать, мало обращая внимания на артистов, что-то говоривших со сцены. И все же приезд даже бродячих актеров считался событием.

Но кончались ярмарки — кончались и театральные представления. В одно прекрасное утро полтавский обыватель обнаруживал на месте, где накануне высился театральный шатер, захламленный мусором пустырь, а в безбрежной степи — в легкой дымке удаляющиеся фургоны бродячей труппы. И снова в неведомое завтра плыл губернский городишко на Ворскле, и каждый день, похожий на предыдущий, казался годом, а бесконечные осенние вечера — как черные реки, неизвестно где берущие начало и куда исчезающие. Карты, медовуха, пересуды — вот почти и все развлечения

старой купеческой Полтавы.

А тут вдруг — спектакль, и не какой-нибудь всем надоевший, а неизвестный, к тому же ставят его юные, неискушенные в делах театральных лицедеи.

Интерес к субботнему вечеру подогревался разноречивыми слухами. Одни говорили, что пьесу сочинил надзиратель Дома для бедных и что он будет сам играть в ней, другие — более осведомленные — утверждали, что ничего подобного, все это враки, капитан пьес не пишет и не собирается, а создал ее какой-то приятель Огнева, знакомый по Санкт-Петербургу, некий Фонвизин, тот самый, что сочинил когда-то "Бригадира". Как же упустить случай и не поглядеть такое представление!

В назначенное время — ровно в шесть вечера — к пансиону, расплескивая лужи, подкатили "отцы" города: бургомистр, полицмейстер, губернатор, почтмейстер, а немного погодя пожаловал и сам князь с княгиней и дочерью, был с ними и адъютант майор Смирницкий и еще какой-то гость, накануне приехавший из Санкт-Петербурга, — молодой полковник из штабных. Почетных гостей встречали Котляревский и Огнев, явно польщенные таким визитом: проводили узким коридором в переполненную столовую залу, усадили в заранее приготовленные кресла. Испросив у князя позволения начинать, Иван Петрович удалился за кулисы.

Вскоре представление началось.

Медленно поплыл занавес. Десятки глаз уставились на сцену. Смолкли разговоры.

Кое-кто, особенно господ Квятковский и отец Георгий, оказавшиеся в одном ряду, скептически отнеслись к предстоящему лицедейству: что могут показать несмышленные дети? Быть неслыханному позору — и поделом этому несносному выскочке-надзирателю, возмнившему о себе невесть что. А между тем...

Едва началось действие и госпожа Простакова произнесла первые слова, как зал оживился. Когда же Простакова, красовавшаяся в розовом капоре и ночной юбке, устами Тараса из Золотоноши стала отчитывать Тришку, сначала в одном конце зала, затем в другом послышался приглушенный смех, а вскоре все до единого зрители — и преисполненные важности "отцы" города, и чиновники губернской канцелярии, и протоколисты, и писцы, и господа учителя, и, разумеется, гимназисты — разразились бурным хохотом. Да и как же не рассмеяться, глядя на Митрофана, недоросля, который, рядом с маленьким юрким Тришкой (его играл гимназист второго класса Николай Ге), стоял этаким детиной — зевал, хлопал глазами и все пытался стащить со стола еще один пирог.

От громких раскатов смеха, казалось, дрожали стены. Лишь юные лицедеи на сцене оставались невозмутимы: они играли и... боялись упустить хотя бы слово, жест, подсказанный Иваном Петровичем на репетициях.

Особенно хорошо играл Тарас Прокопович. Простакову должен был изображать Миша Лесницкий, он уже и начал было учить роль, но, закончив гимназию, уехал в Харьков, поступил там в университет. Котляревский поручил эту роль Тарасу — и не ошибся: Тарас прекрасно справился с нею. В его исполнении Простакова выглядела уверенной в своей безнаказанности, жестокой и невежественной. Тарас играл так

хорошо, что смотреть и слушать его без смеха было просто невозможно.

Не менее интересно играл и помощник надзирателя Дионисий, его Вральман напоминал зрителям кого-то хорошо им знакомого, кое-кто начал даже поглядывать на латиниста, но тот делал вид, что не замечает косых взглядов. Роль Стародума взял себе Котляревский. Сначала никто не узнал его — так изменил он свою внешность. Иван Петрович вел себя на сцене как-то обыденно, и зрителям в первые минуты казалось, что "артист" позабыл, где он находится, но вскоре все так увлеклись его игрой, что начали верить каждому слову и жесту Стародума.

Позже Лобанов-Ростовский, тонкий знаток театрального искусства, на одном из первых осенних балов скажет Ивану Петровичу: "У вас, сударь, талант, и ежели бы вы не были тем, что есть, то стоило бы отдать его на алтарь высокого искусства Мельпомены..." Поблагодарив за доброе слово, Иван Петрович ответил, что талантов за собой не замечал, он любитель, и только. "Такому любителю ходить, думаю, в великих лицедеях, — сказал князь. — Вот построим театр, быть вам в оном главным". — "Да, театр бы Полтаве не помешал..."

Действие спектакля продолжалось.

Почтмейстер так хохотал, что бедняге стало дурно, и пришлось вывести его на воздух отдышаться. Дочь князя то и дело хлопала в ладоши. Сам же правитель, глядя на любимицу, едва сдерживался, чтобы не последовать ее примеру, он был доволен, что приехал и привез семейство: как-никак развлечение, а если быть справедливым до конца, то гимназический спектакль совсем недурен, не стыдно показать его где-нибудь и на профессиональной сцене. Княгиня каждый раз, когда Скотинин, выпучив глаза, доказывал свое право на Софью, в беззвучном смехе прикивала к плечу мужа и говорила, тяжело дыша:

— Ох, уморил, окаянный. — Так и захворать недолго.

Один лишь Туттолмин, чем дальше развивалось действие, тем больше мрачнел, недоуменно пожимал плечами: над кем смеются? Над помещицей, дворянкой? Не грешно ли? Но, взглянув на довольное лицо генерал-губернатора, улыбался и он, правда, вымученно, сдержанно: улыбался и полицмейстер — молодой черноволосый офицер со звездой на новом мундире, однако глаза его оставались холодными, настороженными.

В перерыве между первым и вторым действием Туттолмин подозвал к себе Огнева. Директор училищ подошел, церемонно раскланялся и присел в свободное кресло между губернатором и полицмейстером.

— Вас, сударь, можно поздравить! — прищурил покрасневшие глаза Туттолмин. — Лицедеи отменны, добро, ежели и учатся не хуже. Не правда ли, господин Савельев? — обратился он к полицмейстеру.

Тот учтиво склонил голову:

— Разумеется, ваше превосходительство... У меня, если разрешите, Иван Дмитриевич, один вопрос. Не скажете ли, где оная пьеса публиковалась? В журнале или отдельным изданием? К словесности я, видит бог, питаю слабость, слежу по мере



сил за новинками, но вот пьесу, что нынче разыграна, не читал.

Огнев читал пьесу еще в рукописи и не знал, когда она публиковалась, и потому не мог ответить ничего определенного.

— Автор, как мне известно, живет в Санкт-Петербурге, — сказал Огнев. — Книги его публикуются, и, доложу вам, он старый мой знакомый. Не раз встречались, вот хотя бы у госпожи Брюс.

— Сие более чем достаточно, и все же не припомните ли, сударь, в каком журнале увидела свет пьеса?

— Из столицы я выехал давно и за повседневными хлопотами перестал следить за новинками... Но, смею думать свет она видела. Ведь отменная комедия, ее каждый посмотрит... — Огнев запнулся, подумав: не слишком ли он хвалит пьесу?

— Пьеса сия, как бы вам сказать, сударь... — Савельев на миг умолк, подбирая нужное слово, — приперчена, и ежели смотреть на изображенных в ней господ Скотининых и Простаковых, то не кажется ли вам, что оные персонажи умом и благочестием не блещут? Напротив даже. Посему и смех вызывают... оскорбительный для господ благородного состояния. Допустимо ли сие?

— Но в столице она показывалась.

— Что позволено там, у нас, в провинции, немислимо и подумать.

Огнев почувствовал, как пот мелкими каплями выступает на лбу и подбородке... Савельев, конечно, прав. Он и сам уже подумал об этом, но надеялся: пройдет, не заметят, обратят все в невинный смех. А ведь он — директор гимназии и всех училищ губернии, и ему в первую голову держать ответ за все, что происходит во вверенном ему Доме для бедных. Правда, он может сослаться на Котляревского — отыскал пьесу, затеял спектакль, а он, старый осел, целиком доверился хитроумному надзирателю... Однако перекладывать вину на плечи других, к тому же подчиненных, Огнев не мог себе позволить. Смахнув платком обильный пот со лба, он подчеркнуто холодно сказал:

— Комедию господина Фонвизина к разыганию разрешили его сиятельство. Вы, господа, можете удостовериться.

Спасительная мысль пришла в последнюю секунду. В самом деле, разрешение на представление он спрашивал у князя, правда, не лично, через адъютанта, но не все ли равно.

— Ах, вот оно как! — губернатор покосился на сидевшего в кресле правителя края, оживленно беседовавшего с петербургским гостем.

— Благодарю вас, сударь! Передайте мою благодарность господину надзирателю! Играет он превосходно. Лицедей, ничего не скажешь...

Огнев почтительно склонил голову и облегченно вздохнул.

Кто знает, какое бы продолжение имел разговор Огнева с "отцами" города, если бы не одно неожиданное обстоятельство.

По окончании спектакля дочь правителя края пожелала встретиться с Котляревским и, когда он подошел, поблагодарила его за доставленное петербургскому гостю и ей истинное удовольствие, спектакль получился отменный;

князь тоже выразил признательность и обещал каждому юному лицедею в подарок по одному рублю серебром.

Но одной благодарностью дело не кончилось. Княжеское чадо предложило Ивану Петровичу, не успевшему снять парик и чувствовавшему себя несколько утомленным, в ближайшее воскресенье показать спектакль еще раз, причем в генерал-губернаторском дворце. Князь поддержал просьбу любимицы, и Котляревский, несколько оправившись, скромно поблагодарив за внимание к его работе и особенно к старанию воспитанников пансиона, обещал повторить представление в самое ближайшее время.

Разговор этот очень хорошо слышали губернатор и полицмейстер.

Успех представления превзошел все ожидания. Повторить его просили многие: не попавшие на спектакль чиновники Приказа общественного призрения, старшины кузнечного и портняжного цехов, пообещавшие за представление выдать каждому лицедею по паре сапог и штуке сукна на мундир. Отказаться от такого подношения, не уступавшего княжескому, было бы грешно, к тому же и сапоги, и одежда лицедеям совсем были не лишни.

Пьесу ставили еще не однажды.

Прослышали о спектакле и в самой столице. Этому способствовал петербургский гость, напечатавший в одном из журналов отклик на гимназическое представление, причем в статье было немало лестных слов не только о юных лицедеях, но и надзирателе Дома для бедных Иване Петровиче Котляревском. Петербургский журнал попал случайно на глаза кому-то из инспекторов Училищного комитета, и тот в один из очередных приездов в Полтавскую гимназию показал его Огневу. Иван Дмитриевич на учительском совете рассказал господам преподавателям о приятной новости, добавив, что рвение господина надзирателя похвально, но в будущем ему следует... внимательнее выбирать пьесы, ибо не каждая заслуживает сценической жизни. Присутствующие не догадались, о чем идет речь, но сам Котляревский все хорошо понял — он знал о разговоре директора с "отцами" города в первый же день представления — и пообещал впредь быть внимательнее в выборе пьес, добавив, что в будущем помышляет разыграть комедию Ивана Крылова "Подщипа". Возражений не последовало, ибо пьесы этой никто не читал и даже не слышал о ней. Свое обещание Котляревский исполнит: в ночь с 1815 на 1816 год "Подщипа" будет показана в Доме для бедных и будет иметь такой же успех, как и "Недоросль". Но это будет позже, а пока, как иногда бывает, за успехом последовали огорчения.

Уже в конце месяца от губернатора поступило неожиданное распоряжение: представления приостановить, разрешить их только во дворце правителя края, ежели на то будет позволение его сиятельства.

В тот же день Котляревский посетил Тутолмина. Выслушав Ивана Петровича, губернатор сочувственно развел руками: увольте, не виноват, распоряжение поступило от господина Савельева, и отменять его он, Тутолмин, не уполномочен. Губернатор говорил неправду: он имел право отменить любое распоряжение своего подчиненного,

но делать этого не желал, считая, что давно пора прекратить всякие школьные вольности, пусть отроки лучше чаще посещают церковные богослужения. Спокойно выслушав высокое начальство, Котляревский посетовал на недалёковидность господина Савельева, затем сказал, что вынужден будет прекратить по этой причине всякие представления и во дворце правителя края. Услышав это, Тутолмин подумал и... разрешил дать еще два представления работным людям кузнечного и портняжного цехов, но только два, не более.

Котляревский не стал спорить с губернатором, добиваться отмены полицейского рескрипта: приближались зимние экзамены, и лицедеям следовало заняться латынью, русской словесностью, математикой, статистикой и многими другими предметами, и времени для спектаклей уже не оставалось.

27

Уходили дни, месяцы, годы... Только в редкие минуты относительного покоя Иван Петрович садился к письменному столу, и тогда исчезало само ощущение времени. В одну ночь он мог написать добрый десяток строф, а иногда и больше. А утром опять садился к столу, переписывал, как обычно, все заново и складывал строфы в заветный картон.

В тот год, однако, такие минуты были редкостью, Иван Петрович все больше отдавался заботам о пансионе. Готовился второй выпуск, и хотелось, чтобы на экзаменах воспитанники Дома для бедных выглядели если не лучше, то, во всяком случае, не хуже остальных учеников.

Миновала зима. Весенние краски изменили город, освежили его, сделали моложе. Необычно широко разлилась Ворскла. Ее притоки — Полтавка и Рогизна — весело и шумно несли свои быстрые воды, низвергаясь с крутых откосов, падая в буераки, открывали взору причудливые корневища столетних дубов и кленов.

Вместе с весной пришли хорошие вести. Неприятель разбит окончательно, и наши войска победоносно шествуют по его земле.

Конец учебного года, разумеется, прибавляет хлопот. Как ни старался Иван Петрович подтянуть отстающих, всем, однако, помочь не смог, у него просто не хватало на это сил. Особенно трудно, как известно, с теми, кто не желает помощи. Нечто подобное наблюдалось с Остроградским. Однажды он схватил по латыни за неделю три единицы подряд. Назревал скандал.

Столкнувшись с Котляревским и учительской, латинист, давно невзлюбивший Остроградского за нерадение к его предмету, без тени улыбки сказал:

— Вашему лицедею, сударь, еще одни кол выставлен. Да, сударь, Остроградскому. Пожалуй, так недолго и вне гимназии оказаться. Подумайте на досуге...

Предупреждение латиниста прозвучало угрозой отомстить не только гимназисту, но и надзирателю.

Иван Петрович все же не верил, что Квятковский прибегнет к крайним мерам, ведь по другим предметам Миша занимался неплохо...

Учительский совет, собравшийся за месяц до экзаменов, протекал сравнительно

спокойно, пока докладывали математик Ефремов, географ и статистик Рождественский, учитель российской словесности Бутков, немецкого и французского языков Вельцын. Но вот подошла очередь Квятковского.

Павел Федорович сначала негромким, несколько скучноватым голосом называл фамилии воспитанников, рассказывал, как они занимались в прошедшем полугодии и что можно ожидать от каждого на экзаменах. Наконец он назвал фамилию Остроградского, и лицо его мгновенно исказилось, пошло бурными пятнами.

— Этот, с позволения сказать, гимназист, возможно, и станет знаменитым лицедеем, но латынь — язык древних римлян — он не знает и, полагаю, знать не будет, поелику уроков не готовит, получил три единицы, то бишь три кола, только в последнюю неделю. Я, господа, больше не могу терпеть подобное. Я предупреждал не однажды. Мне не поверили!.. Теперь — результат, — Квятковский уже кричал. — В университет его и на порог не пустят!

Латинист был прав. Училищный комитет выработал и разослал всем гимназиям рескрипт "для неуклонного руководства": в нем указывалось, что без глубокого знания латинского языка нечего и думать о поступлении в Харьковский, недавно основанный Каразиным, университет, в котором, по образцу некоторых европейских университетов, большинство предметов читалось на латинском.

— Я требую исключения этого лицедея! — неистовствовал Квятковский. Раскрасневшийся, с растрепанными волосами, он был неузнаваем.

Когда Квятковский произнес слово "лицедей", несмотря на его крик и угрозы, на лицах присутствующих появились улыбки: вспомнилась игра Миши в роли Митрофана, поразительное умение подростка передать тупость, лень и непостижимое невежество барчука. Но улыбки тотчас погасли — латинист был прав: без знания латыни гимназиста, конечно, не примут в университет, мало того, ему нельзя выдать и документ об окончании гимназии. А это — неприятность не только для гимназиста, но и для директора, и, разумеется, для самого Квятковского. Поэтому, чтобы избежать хлопот впоследствии, проще исключить воспитанника сейчас, до начала экзаменов.

И все же это не так-то просто — исключить. Тем более что по другим предметам Остроградский успевает неплохо, а по некоторым даже отменно.

Молчание длилось дольше, чем полагалось. Огнев, однако, не торопил преподавателей, пусть подумают, время позволяет. Наконец он нарушил затянувшееся молчание:

— Каковы мнения?

— Что же говорить-то? — законоучитель отец Георгий удивленно взглянул на директора, поправил съехавший в сторону крест на рясе и добавил: — Оный воспитанник и закон божий знает слабо.

— Однако знает? — повернул свой острый нос Ефремов в сторону попа.

— Не отрицаю, но не превосходно.

Ефремов фыркнул чуть ли не в лицо отцу Георгию:

— А вы-то сами... превосходно?

— Однако, сударь...

— Вот именно, — отрезал Ефремов. Он не терпел обтекаемости в речах законоучителя, которая оборачивалась обычно против любого воспитанника, если тот когда-либо хоть раз недостаточно, по разумению законоучителя, подготовил урок. — Вот именно, — продолжил Ефремов, еще больше горячась, чувствуя на себе сочувствующие взгляды коллег. — Вам не стыдно говорить такое? "Не превосходно". Да кто знает свой предмет так, чтобы сказать — "превосходно"?.. А Остроградский, да будет вам известно, математик. Это вы знаете?

— Не знаю, не знаю, и оставьте, бога ради.

— Что же вы предлагаете? — спросил Огнев.

Ефремов так же быстро остывал, как и загорался.

Он недоуменно взглянул на директора, словно остановился вдруг перед непреодолимой преградой:

— Ежели бы знать... Но, повторяю, Остроградский — математик...

— Он не знает латыни, сударь, а сие значительно важнее вашей математики, — заговорил Квятковский снова. — А посему — отчислить.

— Придется что-то предпринять, отозвался, как всегда, несколько неопределенно Бутков и покраснел, понимая слабость своей ничего не говорящей сентенции.

— Исключить! — твердил Квятковский.

— Отсечь! — прогудел, оправившись от нападения Ефремова, законоучитель. — Другим — в назидание.

В кабинете Огнева снова воцарилась тишина. Слышно было, как билась о стекло первая весенняя муха; распустив нежные зеленые листья, сквозь которые проглядывало мягкое майское небо, к окну тянулась яблоневая ветка; где-то простучала быстрая пролетка. Однако ничто не могло отвлечь внимание собравшихся от мучившего вопроса: исключать Остроградского или оставить?

Котляревский, молчавший до сих пор, наконец поднялся со своего места:

— Позвольте, Иван Дмитриевич?

— Прошу к столу.

— Благодарствую, постою и здесь.

Почти все, за исключением Квятковского, с любопытством взглянули на Ивана Петровича. Уже не однажды слово надзирателя оказывалось весьма кстати. Да, он противник зубрежки, да, он требует отмены розог и — надо быть справедливым — добился этого, человек он вообще дельный, и послушать его интересно, и, может быть, даже полезно.

Котляревский — как всегда, аккуратный и подтянутый — был, казалось, совершенно спокоен, только глаза — черные, внимательные — выдавали его волнение.

— Принужден снова не согласиться с уважаемым Павлом Федоровичем, — сказал Иван Петрович и взглянул на Квятковского. — Мишу Остроградского я знаю, как и вы все. Он вежлив, почтителен со старшими. Кроме математики, он не отстаёт и в других предметах, в физике, естественной истории, статистике, географии. А вот с латынью у

него плохо. Но кто в этом больше повинен? Он сам или вы... уважаемый Павел Федорович? Я говорил, и не однажды, и ныне смею повторить: вы, Павел Федорович, даже не пытаетесь найти дорожку к душе воспитанника, преподаете по старой методе, и потому происходят истории, подобные сегодняшней...

— Увольте, сударь... — взорвался Квятковский.

— Я не мешал вам, разрешите же и мне сказать. — Котляревский выдержал небольшую паузу и продолжал: — Но я далек от намерения обвинять только вас, Павел Федорович. Я виноват тоже. За хлопотами проглядел Остроградского. А обещал подтянуть его. И все же еще не поздно исправить дело... А вот ежели мы отсечем его, как предлагает отец Георгий, — поклон в сторону законоучителя, — то еще раз распишемся, как это было уже с нами, в своей беспомощности. Кроме того, скажу вам, господа. Остроградский в самом деле из всех воспитанников — лучший математик. Сие — важное обстоятельство.

— Вы хотите сказать, новый Ньютон? — съехидничал Квятковский.

— Не утверждаю, но и не отрицаю, — ответил спокойно Котляревский. — Что касается латыни, то знать ее Остроградский будет не хуже других... Да, да, не хуже других. В оставшееся до экзамена время, если разрешите, Иван Дмитриевич, я позанимаюсь с ним и надеюсь подготовить его к переводным экзаменам... Исключить же всегда успеем.

— Поздно, — сказал отец Георгий.

— Почему поздно? — спросил Рождественский. — Ничего не поздно!

Рождественского поддержали Вельцын и Ефремов. Одобрительно закивали Бутков и Сплитстессер. Последний, больше других симпатизировавший Котляревскому, друживший с ним, позволил себе заметить, что ежели Иван Петрович дал слово, то так и будет, он в этом уверен. Квятковский обрел вдруг снова дар речи и набросился теперь уже на учителя рисования: почему тот вмешивается не в свое дело? Что ему надо?

Огнев попросил наконец прекратить пререкания и сказал, что, пользуясь правом директора, он считает предложение господина надзирателя вполне приемлемым. И судьбу гимназиста Остроградского препоручает ему, надзирателю, который, как известно, латынь знает так же хорошо, как родной язык, и помочь воспитаннику сумеет, ежели, однако, успеет, времени к началу экзаменов осталось не так и много. Что же касается отчисления воспитанника, то с этим можно, как сказал господин надзиратель, всегда успеть. И вообще, ежели так поступать, как рекомендует Павел Федорович, — кивок в сторону латиниста, — то с кем станем завтра работать?..

Для Котляревского настали очень нелегкие дни. Он понимал, что возложил на себя новые и непростые заботы, но не в его характере было отступать и при более серьезных испытаниях.

Никто не знал, о чем Иван Петрович в тот день беседовал с Остроградским, но одно стало доподлинно известно всем: Миша, этот упрямец, отныне просиживает в комнате надзирателя над учебником латинского языка по меньшей мере часа четыре, а иногда

и более. Время от времени к нему заглядывает Иван Петрович. В отсутствие же надзирателя — Дионисий. Когда дежурит Капитонович, он тоже заходит, чтобы проследить: не увлекается ли воспитанник одними задачками, вместо того чтобы подольше читать латынь.

Как-то однажды Дионисий по обыкновению заглянул в спальню проверить, все ли уже в постелях. Приоткрыв дверь, он увидел, что в дальнем углу, у свечи, заслонившись развернутой книгой, сидит Остроградский. Бормотанье его едва слышалось и, кажется, никому не мешало, в спальне раздавалось мерное посапывание. И все же Дионисий усмотрел в этом нарушение и приказал Мише погасить свечу. Остроградский упрямо качнул головой:

— Не могу.

— Это почему же?

— Не прочитал еще.

— Что же ты читаешь?

— Публия Вергилия Марона.

— А кто обещал уроков Квятковского не учить? — пошутил Дионисий.

Исподлобья взглянув на помощника надзирателя, Остроградский без тени обиды сказал:

— Мало ли что я когда-то обещал. Ведь меня учит сам Иван Петрович. Если бы вы хоть раз послушали, как он рассказывает, то и сами бы сели учить не только латинский, но и любой, даже ирокезский... — Миша поправил фитиль в свече. — А кроме того, он за меня поручился...

Дионисий, ничего больше не сказав, на цыпочках вышел из спальни.

Где-то в душе бывший семинарист, нашедший свое призвание именно здесь, в Доме для бедных, позавидовал своему начальству: чем Иван Петрович сумел полонить этих ершистых, несговорчивых отроков?

Никогда, сколько помнит Дионисий, надзиратель не повышал голоса на воспитанников, не сердился на них, во всяком случае виду не показывал, а они слушают его, любят ровно отца родного, со всяким делом бегут к нему, с нетерпением дожидаются из каждой поездки. Слово надзирателя для них — святыня, все, что ни попросит, они сделают обязательно.

Вот и Остроградского уговорил: сидит и заучивает грамматические правила, носится с латынью, как дурень с писаной торбой, а неделю тому назад не то что смотреть, плюнуть на латынь не пожелал бы. Да, нашел надзиратель дорожку к Мише, и теперь, поди ж ты, без напоминания, даже с охотностью этот упрямец учит римлян и сидит с учебниками, пока силой спать не уложишь. Наверно, не зря Иван Петрович поручился перед учительским советом, переведут Остроградского в старший класс, а Квятковского, пожалуй, тогда удар хватит, и поделом.

Слава богу, что службу ему привелось нести под началом господина капитана, даже упреки его — как награда. Три года в Доме для бедных миновали — словно три дня. Незыблемым теплом полнится сердце при одном лишь имени надзирателя,

готов за него в огонь и в воду — пусть бы приказал... Спасибо дядюшке, что определил его в пансион, служить здесь — одна улада для души.

28

Что бы ни случилось, даже будучи очень занятым, в конце каждой недели, после уроков, Тарас усаживался в укромном уголке — подальше от товарищей, занятых игрой в "хлюста", — и писал матушке.

Весточек его в Золотоноше ждали. Между тем бывало — особенно в зимние вьюги и весенние разливы, когда ни пройти ни проехать, — почта задерживалась. Томясь неведением, Марья Васильевна посылала в такие дни к почтмейстеру управляющего справиться, не угодна ли ее помощь: может, лошадей или кучеров надобно?

Когда вьюга прекращалась или спадали паводковые воды, почта наконец прибывала, и в ней оказывалось обычно два, а то и три письма сразу. И все от Тараса, из Полтавы. В доме бывшей госпожи Семикоп, носившей ныне фамилию Голубович, в связи с таким событием наступал праздник, ни одним календарем не предусмотренный.словно в пасхальное воскресенье, челядь получала к обеду по доброй чарке горилки, работы во всем обширном имении, какой бы срочности ни были, отменялись, быстро разрешались все просьбы и жалобы. Случайно забредших в усадьбу прохожих кормили сытно, давали и на дорогу: пусть бедные странники разделят с госпожой душевную радость.

Тарас жалел матушку. В последние годы она часто хворала, заболел, никого, кроме Сонечки, своей воспитанницы, не допускала к себе, даже управляющего Попенко. Оставаясь с Сонечкой наедине, целыми днями читала любимых авторов и лечилась, причем сама, собственными средствами, главным образом целебными травами, о которых вычитала однажды в старинной фармакопее, случайно обнаруженной среди книг, сваленных в тесной комнате позади библиотеки.

Травы, однако, помогали мало. Поэтому иногда в тихое весеннее утро закладывался дорожный экипаж, и госпожа, в сопровождении Сонечки, уезжала на воды, как правило, в знаменитый Карлсбад.

Месяца два, а то и три она отсутствовала. Вся жизнь в имении замирала, дом погружался в сонную тишину. А потом внезапно, без предупреждения Марья Васильевна возвращалась необычно оживленной, общительной и помолодевшей. В первые несколько недель после возвращения неутомимо занималась хозяйством, дотошно вникала во все мелочи, сама писала деловые письма, проверяла векселя.

Однако все проходит. Хорошее настроение тоже меняется. Спустя какое-то время деловой пыл у барыни остывал, бумаги ей претили. Запершись, она снова принималась за чтение книг, ища забвения в чужих жизненных историях. Но порой ничто не могло удовлетворить ее, в том числе и книги, которых в библиотеке было очень много — и среди них большое собрание лучших авторов того времени, и не только отечественных, но и французских, английских, немецких, древних греков и римлян.

В такие дни она с особенным нетерпением ожидала писем из Полтавы. Получив их, много раз перечитывала, за каждым словом искала иной смысл, строила догадки: а



вдруг Тарас простыл, занемог, лежит в горячке, пишет же, что все у него хорошо, только чтобы успокоить ее, и, может, даже под чью-то диктовку.

Тарас и в самом деле сообщал о себе очень мало: "жив-здоров", и только. Зато о своих учителях, товарищах писал каждый раз и помногу. Не забывал написать и о господине надзирателе, его помощниках, но прежде всего — о надзирателе.

Поначалу он, Тарас, боялся надзирателя, а оказалось — напрасно, потому как надзиратель — "добрый, простой и задаром не обидит". Если надо, поможет, посоветует, как лучше и проворнее подготовить урок; глядит, чтобы все сытно и вовремя поели, часто проверяет, у кого какая одежда и обувь, если что прохудилось, отсылает чинить. Кто заболает, лекаря привезет, сам ходит за больным... "Ты бы, матушка, его полюбила, как и все мы", — писал Тарас в одном из писем и объяснял почему: "В Полтаве нет человека, который бы Ивана Петровича не знал и не почитал. Так оно и есть, он всем помогать готов, особливо тем, кто обиженный, или сирота, или беден. До сих пор господин надзиратель получает письма от бывших воспитанников, теперь они в военных школах, некоторые в университетах, а один, Мокрицкий, — говорят, его хотели отчислить из гимназии за незнание латыни, да пан надзиратель не дал, — ныне в Академии художеств в самом Санкт-Петербурге".

В другом письме Тарас сообщил нечто странное: "Я, матушка, теперь лицедей, сиречь на театре играю, причем буду изображать старую помещицу. Господин надзиратель разучил с нами пьесу совсем недавно. Когда в первый раз читал, мы чуть животы не надорвали — до того смешная. Коля Ге так смеялся, что с ним колики приключились... Вы спросите, когда я успеваю? После уроков собираемся на час, самое большее на два, и каждый говорит свою роль, а Иван Петрович показывает, как говорить надобно и как по сцене ходить. Писать обо всем долго, лучше, когда приеду, все вам порасскажу. Мне здесь очень хорошо, а за вами все равно скучаю. Были бы вы рядом..."

Марья Васильевна разволновалась: "Тарас — лицедей? Когда же он учится? Впрочем, сам Иван Дмитриевич Огнев однажды в ответе на ее запрос благодарил за Тараса: "...отменных знаний отрок и воспитан. Благодарствую, сударыня! С такими воспитанниками работать — горя не знать..."

Марья Васильевна горько усмехнулась: не по адресу благодарность. Это заслуга ее бывшего учителя, добрейшего Ивана Петровича. Когда же она и чем сумеет доказать ему свою вечную признательность? Только благодаря его, надзирателя, стараниям Тарас прилежен в учении, ласков, внимателен и, ко всему прочему... лицедей.

Сделай всевышний чудо и поставь ее на место Тараса — кажется, не было бы счастливее в мире человека. Но что поделаешь — чудес не бывает...

Не однажды принималась за письмо Ивану Петровичу и каждый раз откладывала. И все же не удержалась, написала коротенькое, всего несколько строчек, и послала с Тарасом. Поблагодарила за книгу: нигде нельзя было достать новое издание "Энеиды", шутя добавила: чем это он, господин надзиратель, отрока увлек, все лето Тарас только и говорил что о Доме для бедных, да о нем, надзирателе, она, ей-богу, ревновать

начала.

Когда письмо уже отправилось с Тарасом, пожалела: зачем позволила себе шутку? Правда, Иван Петрович поймет все, и шутку тоже. И все же — зачем? Написанного, однако, как, впрочем, и пережитого, сделанного в свое время по неразумию, из-за боязни гнева родительского, не исправишь. До шуток ли ей, госпожи?!

Однако почему... не исправить? Сотни раз она задавала себе этот вопрос, а ответа не находила. Только один человек мог бы помочь ответить на него, но он далеко и вряд ли стремится ее видеть...

Совсем недавно получила новое послание из Полтавы. Тарас писал, что упоминавшаяся ранее пьеса уже разыграна. Лицедействие всем понравилось. Присутствовал сам князь, он подарил каждому лицедею по серебряному рублю, а в рабочих цехах — там пьеса тоже была поставлена — выдали всем по паре сапог и шутке сукна на мундиры. "Тарас уже рубль целый заработал, и сапоги, и мундир, — смеялась Марья Васильевна, читая письмо Сонечке. — Теперь-то нам легче жить станет".

Она смеялась, а в душе гордилась: среди других и ее приемыш отмечен, даже награжден. И все это — благодаря ему, Ивану Петровичу.

Думать о Котляревском она не переставала все эти годы, втайне гордясь знакомством с ним и в то же время постоянно укоряя себя за свою нерешительность тогда, в юную пору. Других не укоряла — ни дядюшку, ни покойного супруга — их все равно уже нет, а она осталась, продолжает жить, и нет ей покоя.

Последнее письмо пришло в середине мая. Тарас сообщал, что приближаются экзамены и потому писать ему будет некогда. "В Доме у нас сейчас скучно, потому как нет Ивана Петровича, уехал в самом начале мая. Говорил Дионисий, что вызвал Ивана Петровича сам князь и вручил предписание немедленно отправиться в немецкий город Дрезден с пакетом в гауптквартиру русской армии. Никого другого для исполнения сего поручения князь в Полтаве не нашел. Теперь мы все ждем не дождемся его..." И дописал в самом конце: "Иван Петрович наказал мне каждый день пить теплый сбитень, чтоб кашель прошел. Надоело, а пью, потому как Иван Петрович будет сердиться..."

Прочитав письмо, Марья Васильевна — который раз! — позавидовала Котляревскому: едет где-то по неведомым дорогам, ночует на незнакомых станциях среди чужих людей, а его ждут не дождутся, скучают без него, выглядывают, считают дни, когда вернется. Да, когда же он возвратится? Уехал в начале месяца, теперь середина, — стало быть, через неделю, а может, и раньше.

Она не могла понять, что с ней творится. Запершись, целое утро просидела в кабинете, даже управляющего, настойчиво стучавшего к ней, прогнала, грубо сказав, что всякие отчеты, бумаги, прошения и счета смотреть не будет ни сегодня, ни завтра, и пусть он убирается, ежели не желает остаться без места.

После утреннего чая, поданного ей в кабинет, вышла в сад. Долго стояла у пруда, кормила лебедей и... не видела их. Сонечка, пугаясь отрешенности госпожи, пыталась

заговорить с нею, но Марья Васильевна будто не слышала ее. Она упорно думала о чем-то своем, никого и ничего не замечая вокруг.

В сад вошел приказчик, молодой дворовый мужик из "грамотеев", остановился у пруда, видно, у него было к госпоже какое-то дело, — но подойти не решался и терпеливо переминался с ноги на ногу. Покормив лебедей, Марья Васильевна прошла мимо приказчика, даже не взглянув на него.

Прогуливаясь по саду и вспоминая последнее письмо Тараса, она вдруг остановилась: что же это? как же она проглядела? Не случайно надзиратель приказал Тарасу пить каждый день теплый сбитень: мальчик кашляет, — значит, простужен, может, даже его лихорадит? Что же она стоит? Почему ничего не делает?

Тут же обернулась и позвала приказчика. Тот подскочил, согнулся в поклоне:

— Слушаю, ваша милость.

— Изволь, братец, к завтрашнему утру приготовить дорожный экипаж.

— Едете, ваша милость? — осторожно кашлянул приказчик, отвернув бородатое с розовыми щеками лицо.

— Тебе-то какое дело? Да и не ясно ли? Зачем экипаж, ежели не ехать?..

Соня и приказчик следовали по пятам за госпожой.

Минуя дорожки, Марья Васильевна шла прямо по траве, роса густыми брызгами летела из-под ног, осыпалась на широкий подол ее длинного бархатного платья. Свесившись с плеча, по траве волочилась белая шелковая шаль. Марья Васильевна торопилась, словно ее ждало какое-то неотложное дело. Взойдя на веранду, крикнула приказчику, хотя он стоял тут же, на нижней ступеньке:

— Я передумала! Приготовь карету немедленно! Отъезжаем после завтрака!

Дорожная карета, заложенная четверкой лучших выездных лошадей, сразу после завтрака была подана к главному подъезду. Сонечка вместе с горничной вынесли баулы и чемоданы.

Уже стоя у кареты, Марья Васильевна отдала последние распоряжения управляющему, пришедшему на ее зов, предупредила, что дома будет не ранее как недели через две-три. Он внимательно слушал, стараясь все запомнить, и не осмеливался спросить, куда так спешно уезжает госпожа. Марья Васильевна решила никому не говорить, куда она будет держать путь. Только в карете, словно отвечая на немой вопрос Сонечки, сказала:

— К Тарасу, в Полтаву, едем. Чувствует сердце: захворал он, письмо тревожное получила.

— Верно надумали, — кивнула воспитанница. На ее бледном лице, в больших темных глазах ни удивления, ни замешательства; коль госпожа решила, значит, так надо.

Марья Васильевна, прислонившись к оконцу, следила за мелькавшими в стороне от дороги перелесками, хуторами, придорожными кустами и деревьями, выпустившими нежную, дрожащую на солнце листву. Когда кучер — дворовый дядька Грицко — придерживал лошадей, чтобы дать им передохнуть, стучала в оконце: поторапливайся.

Не обращала внимания, когда тяжелая карета от быстрой езды кренилась на ухабах, готовая вот-вот опрокинуться. Сонечка в такие мгновения невольно вскрикивала, ее глаза леденели от страха, а госпожа спокойно, как ни в чем не бывало потирала ушибленное место и опять стучала в оконце, давая знать кучеру, чтобы он не останавливался, продолжал ехать.

В Майорщине, первом большом селе после Золотоноши, где обычно все путники останавливаются передохнуть, Марья Васильевна из кареты не вышла, разрешила лишь покормить лошадей и велела тотчас ехать дальше. Недовольный Грицко пробурчал что-то в пушистые усы, но прекословить не посмел.

Поздним майским вечером карета вдовы Семикоп остановилась в Драбове у приземистого, крытого камышом дома, принадлежавшего вдове поручика Вельского — Серафиме Петровне. На ее довольно обширном подворье хватало места всем проезжающим. Для желающих заночевать имелась отдельная комната, а для любителей попариться — баня с парильней. В другой раз Марья Васильевна с удовольствием задержалась бы здесь, ведь поручица была старой ее приятельницей. Юная Маша, живя у покойного дядюшки Голубовича, не раз гостила у молодой тогда Серафимы, привозила ей рукопись "Энеиды" и, проводя здесь, случалось, недели, вместе с нею переписывала эту рукопись, читала ее долгими зимними вечерами. Что касается Сонечки, то она доводилась племянницей госпоже Вельской и, разумеется, тоже была не прочь побыть хотя бы один вечер со своей теткой и двоюродными сестрами-близнецами. Но Марья Васильевна, едва карета остановилась посреди двора, предупредила кучера, чтобы он не рассчитывал на ночлег, а посему не распрягал лошадей, пусть задаст им овса, и — в дорогу, длительный отдых — она надеется — предстоит позже, когда приедут на место.

— Да я-то ничего, ваша милость, а вот кони... — заикнулся было Грицко, но, встретив холодный взгляд госпожи, безнадежно махнул рукой и начал отвязывать мешок с овсом. Серафима Петровна, полная блондинка, обрадовалась неожиданным гостям. Она еще не ложилась, но была уже в ночном чепце и длинной сорочке. Увидев, кто приехал, тут же приказала горничной накрыть стол, начала уговаривать дорогих гостей хотя бы заночевать, ежели нельзя остаться на неделю-две, давно ведь не виделись, она "до смерти" соскучилась по милой Машеньке — "ты такая же, только чуть похудела", и с племянницей хочется подольше побыть — "вон мои-то козы-дочки уже прыгают, не терпится им облобызать свою дражайшую сестрицу". Но Марья Васильевна была неумолимой: на сей раз она не может остаться даже на одну ночь, ей необходимо как можно скорее быть в Полтаве. Почему? Да вот снилось прошедшей ночью, что плохо будто с Тарасом. Может, сие и причуды, да что изменишь, милая соседushка? Все мы рабы своих причуд и привычек.

Перекусив индюшатиной с изрядно подперченной подливой и пирогом с яблоками да сдобными пампушками, Марья Васильевна простилась с гостеприимной поручицей, трижды повторив обещание на обратном пути погостить подольше, и отбыла — выехала на ночь глядя на Пирятин...

Майская ночь наполнена весенними запахами цветов. Все вокруг дышит свежестью: тихая береза у дороги, куст калины за высоким плетнем, окутанная ночным туманом сирень и сама земля, необъятная и теплая.

Однообразный стук кареты навевал сладкую дрему. Однако Марья Васильевна до самого рассвета не сомкнула глаз. Просыпаясь почти от каждого толчка, Сонечка видела, как госпожа все так же, как и час, и два тому назад, сидит у окошка, прижавшись щекой к холодному стеклу, и печальным взглядом провожает едва видимые ветряки-великаны. прислушивается к негром кому скрипу их крыльев, пропадающему, словно крик испуганной птицы, в ночи. Вздыхает, что-то шепчет про себя.

У Сонечки на душе тоже беспокойно: о чем думает, из-за чего переживает Марья Васильевна? Неужто из-за Тараса? Но сердце говорит иное: нет, что-то еще гонит ее добрую госпожу в ночь, без сна и отдыха.

...В Пирятин добрались рано утром. Здесь наконец-то отдохнули до полудня и, попрощавшись со смотрителем и его внимательной и доброй женой, широким, хорошо накатанным трактом двинулись на Полтаву.

Марья Васильевна будто бы немного успокоилась и все же время от времени стучала в оконце: "Гони, Грицко, гони, чего дремлешь?" Кучер вздрагивал, натягивал вожжи: "А ну вы, лешие!.." Кони бежали ходко, в стороне от тракта проплывали рваные серые тучи, а на горизонте — хутора и деревушки. Навстречу катилось красное солнце. Грицко уже посматривал: не видно ли где-нибудь корчмы, не пора ли на отдых? Но госпожа хранила упорное молчание, и кучер не смел спрашивать у нее, когда же она прикажет, наконец, остановиться...

29

Каждый лишний час, прожитый на почтовой станции, — пропащий, пользы от бесцельного сидения никакой, а дома его, Ивана Петровича, верно, ждут; матушка в тоске по нему, не приведи господь, и захворать может. И воспитанникам он нужен, причем именно сейчас, в дни экзаменов, которые уже начались. В пансионе, наверное, уже не топят, хотя как раз весенние простуды бывают самыми коварными. А кормят чем? Наверное, не так уж и хорошо. А ведь дети сдают экзамены, им сейчас необходимо хорошее питание.

Дети... Он был с ними всем сердцем, жил их заботами, радостями, огорчениями. Потому так и торопился, старался не потерять в дороге ни одной минуты.

Но, увы, свежих лошадей на станции не оказалось, как это часто случается, и волей-неволей седи и жди, когда они наконец будут. Смотритель божился и клялся, что лошадей к утру он обязательно подаст наилучших, не "кони — огонь", а пока пусть пан капитан отдохнет. Ивану Петровичу ничего не оставалось, как коротать долгую, пусть и майскую, ночь в ожидании рассвета.

Поручение он выполнил, теперь вот едет с легким сердцем обратно — домой, в Полтаву. Немало повидал он на чужой земле: башни с флюгерами, каменные мосты, ратуши в стиле наимоднейшего ныне барокко. На улицах немецких городов его глаз то

и дело отмечал серые и почти одного покроя платья, тяжелые, похожие на египетские пирамиды треуголки, пышные парики, видел, как упитанные лошади катят в мягких удобных фаэтонах толстых бюргеров и не страдающих от чрезмерной худобы их жен. Невольно сравнивал разоренные села и города на родине и совершенно нетронутые в Германии — будто и не прошел там черный плуг войны, не коснулся стриженных под линейку газонов и уютных каменных дворики.

В Дрезден, преодолев многие сотни верст нелегкого пути, он прибыл в воскресный день.

В гауптквартире русской армии дежурный офицер в чине штабс-капитана, узнав, с чем явился посланец малороссийского генерал-губернатора, сказал, что военного министра сегодня уже не будет" поскольку "их сиятельство" заняты на рауте, устроенном по случаю прибытия именитого гостя из дружественной державы. Штабс-капитан не сказал, откуда прибыл гость, но это мало интересовало Котляревского, он обязан вручить именной пакет министру незамедлительно, остальное его не касалось. Офицер оказался весьма рассудительным: ничего, по его мнению, особого не случится, ежели и завтра вручить означенный пакет, а пока капитан может отдохнуть на его квартире.

...Иван Петрович спал как убитый, а рано утром, наскоро одевшись и выпив чашку бледного, как безоблачное небо над городом, кофею, поданного молодой немкой-хозяйкой, был уже в гауптквартире.

Через час его принял граф Аракчеев. Не вставая из-за огромного стола, граф разорвал пакет, извлек послание.

Котляревский терпеливо ожидал распоряжений. Его сиятельство, однако, не торопились. Громко стучали часы в приемной, в соседних комнатах кто-то ходил, но так тихо, словно не касался пола.

Наконец послание прочитано. Немного подумав, граф попросил передать "его другу", то есть князю Лобанову-Ростовскому, высочайшую благодарность, он, Аракчеев, сегодня же сообщит содержание пакета "своему повелителю". Граф поднял голову, внимательно посмотрел на стоявшего перед ним офицера — уже не молодого, с седоватыми висками, но с безупречной выправкой и вместе с тем совершенно лишнего подобострастия, что встречалось крайне редко среди посетителей. Это удивило графа. Заглянув еще раз в лежавшее перед ним послание, он спросил;

— Долго ехали?

— Две недели, ваше сиятельство. Торопился.

— Сие похвально. Служите?

— По гражданскому ведомству, ваше сиятельство. В пансионе при Полтавской гимназии.

— А мундир?

— Ваше сиятельство изволили спросить, почему ношу его?.. Отставлен с правом ношения мундира.

— Орден за что получили?

— Участвовал в южной кампании восемьсот шестого года.

Граф задумался. В подобном случае полагалось, как это обычно делается, сказать что-то еще, как-то отличить офицера, заслужившего, несомненно, доброе слово, но капитан вел себя слишком свободно, и это начинало раздражать Аракчеева. И он не счел нужным даже поблагодарить его.

Давая понять, что аудиенция закончена, граф сказал, что ответа письменного не будет, попросил передать на словах благодарность князю за все хлопоты, а он, капитан, ежели желает остаться, чтобы осмотреть Дрезден, может задержаться на день-два; "ныне здесь и ярмарка, какой на Руси, пожалуй, не увидишь".

Котляревский вышел от графа со смешанным чувством удивления и досады: неужто он говорил с военным министром? Где, в какой стране еще увидишь в таком высоком ранге столь ограниченного человека? Впрочем, что он знает о других странах, и вообще ему до этого нет никакого дела, во всяком случае сегодня, он исполнил поручение — и может удалиться.

От нечего делать — целый день оставался свободным — отправился на ярмарку. Она — верно сказал граф — поразила своей необычностью.

В стороне от центра площади расположился театр бродячих актеров. Огромный полотняный шатер, где давались представления, был окружен фургонами. В полусотне шагов, по ту сторону зеленой лужайки, располагались кукольные театры, куда валом валили полные, раскормленные дамы с ребятишками.

На высоком помосте, напоминавшем чем-то лобное место у московского Кремля, упражнялись фехтовальщики, которые почему-то позабыли о своем искусстве в дни оккупации их земель Наполеоном. На таких же подмостках напротив усердствовали акробаты и силачи, последних сменяли силачи, они пользовались особенным вниманием восторженной публики. На ярмарке можно было увидеть великанов, карликов, глотателей шпаг, говорящих попугаев.

Фокусники настойчиво приглашали посмотреть их искусство, обещая каждому доселе неизвестные острые ощущения. Иван Петрович не пожалел талера. Но фокусники оказались заурядными шарлатанами, таких на Руси избили бы кнутом перед всем честным людом.

Очень понравились Ивану Петровичу "восковые фигуры", они были так искусно сделаны, что казались живыми. Привлекли его внимание и книжные лавки, занимавшие целый ряд. Каких только книг здесь не было! Поэзия, проза, наука, причем на разных языках. Одну книгу легко можно было спрятать в кулаке, иную не поднять и вдвоем. Были бы деньги, он закупил бы их столько, сколько смог бы увезти; ограничиться пришлось покупкой новейшего издания Шиллера и книги, принадлежавшей перу Гёте.

Насмотревшись всякой всячины, Иван Петрович собрался уже уходить, как вдруг увидел инвалида, без обеих ног, он сидел возле разложенного коврика с набором различных безделушек; вокруг него толпились покупатели, приценивались к товару, торговались.

Котляревскому бросился в глаза порванный на локте мундир, худая шея, выглядывавшая из-под несвежего воротника, глубокие морщины на землистых щеках, и он подумал: видно, все на свете инвалиды похожи друг на друга, — немец чем-то напоминал ему старого знакомого-полтавчанина, отставного солдата Никиту — инвалида турецкой кампании.

Почувствовав взгляд, немец поднял голову:

— Што хотел господин?

Иван Петрович поспешно вынул из кошелька несколько монет, положил на коврик и быстро зашагал прочь.

Как сквозь туман до него доносились голоса: инвалид просил взять что-нибудь на память, покупатели — в париках и треуголках — тоже что-то говорили и удивленно, ничего не понимая, смотрели вслед русскому чудаку.

Утром, на следующий день, Иван Петрович покинул шумный Дрезден.

Оказавшись за городом, долго смотрел, как тают в утреннем тумане кирхи, дома, стены крепости, ветряные мельницы, машущие крыльями, словно прощаясь, — точь-в-точь как у Киевского въезда на окраине Полтавы.

Стоя сейчас у настезь распахнутого окна, вспоминая день за днем свое нелегкое путешествие к немцам, Иван Петрович невольно подумал: как необъятен мир и как ничтожно мало знают о нем люди, проживающие многие годы, иногда всю жизнь, за своими высокими заборами, из-за чего вся земля им кажется тесной, узкой, как небо в этом маленьком оконце.

В дверь тихо постучали. Вошел смотритель:

— Лошади поданы, ваше благородие.

Снова он — в дороге, которая пролегает теперь по знакомым местам, и потому легче коротать время в тряской карете.

30

После четырех дней быстрой езды Котляревский, княжеский посланец, увидел околицы Полтавы, Киевский въезд — и сердце его радостно забилося: наконец-то он дома.

Оказалось, его ожидали. Рядом со знакомым будочником стоял чиновник губернской канцелярии. Едва карета проехала под высоко поднятым шлагбаумом, как чиновник тут же подскочил к ней, приподнял треуголку.

— Со счастливым возвращением, ваше благородие! Ждем вас уже три дня.

— Наверно, что-то случилось? — спросил взволнованно.

— Ничего не случилось, — поспешил успокоить Котляревского чиновник. — А приказано встретить вас и тотчас препроводить к его сиятельству. Справляться изволили каждый день о вашем прибытии.

Котляревский облегченно вздохнул: князю он готов хоть сейчас доложить о поездке.

Доклад Ивана Петровича длился недолго. Передав князю благодарность военного министра за послание, он коротко рассказал, что видел и как был принят в Дрездене.



Князь остался доволен докладом, прощаясь, поблагодарил за выполненное поручение и сказал:

— Имел удовольствие удостовериться: в пансионе вас ждут. Говорят: не повидавшись с вами, воспитанники не хотят уезжать на вакации... Так что поспешите.

— Князь шел рядом по широкому мягкому ковру, почти такой же высокий, как и Котляревский. Посреди кабинета остановился. — Потом, может, еще раз попрошу вас выполнить повое поручение.

— Опять в дорогу, ваше сиятельство?

— Да, в дорогу. Но... не в Дрезден, поближе — в Санкт-Петербург... Но это потом, позже.

В ноябре того же 1813 года Котляревский отправился с новым поручением князя — теперь уже в Северную Пальмиру. Выполнив его, он встретился со своими друзьями, прежде всего с Николенькой Гнедичем, нанес также визит Ивану Андреевичу Крылову и уже одними этими встречами был полностью вознагражден за многие дни, проведенные в нелегкой дороге по осенней распутице.

На этот раз при встрече с Крыловым был смелее: попросил на два вечера "Подщипу", Иван Андреевич не отказал, и Котляревский собственноручно переписал всю пьесу и увез переписанный экземпляр комедии с собой в Полтаву.

Из окон гимназии воспитанники Дома бедных видели, как подкатила карета к подъезду генерал-губернаторского дворца и как из нее вышел господин надзиратель. Все до единого они тут же покинули гимназию и бросились к дворцу: ждали, когда правитель края отпустит Ивана Петровича.

Когда Котляревский — наконец-то — вышел от князя, ребята окружили его тесным кольцом.

Михаил Остроградский протиснулся вперед и волнуясь сказал:

— Латынь я одолел и похвальное слово господина директора заслужил...

Котляревский искренне обрадовался:

— Я был уверен, что ты одолеешь, умучаешь эту окаянную латынь.

Воспитанники весело засмеялись шутке пана надзирателя.

Все вместе направились к пансиону. Кто-то из старших воспитанников спросил: как съездил Иван Петрович, что он видел в далеком городе Дрездене?

— Расскажу, правда, времени у нас маловато, экзамены не все сдали.

— Сдадим!

— Умучим! — кричали, перебивая друг друга, воспитанники.

Никто из встречающих не удивился необычной, шумной процессии: отставной капитан уже не раз водил воспитанников Дома бедных на прогулки по Полтаве, на крепостные валы, еще окружавшие город, к Крестовоздвиженскому монастырю, на городские въезды, на Ворсклу, к переправам, к месту битвы со шведами...

Уже подходя к пансиону, Иван Петрович обратил внимание, что среди воспитанников нет Тараса, и подумал, что он, наверно, до сих пор не поправился, конечно, хворает, иначе, несомненно, был бы здесь, вместе со всеми.

— Не знаешь, что с Тарасом? — спросил он шедшего рядом Остроградского. — Почему не вижу его?

— Захворал.

— Вот беда.

— Он у пана Сплитстессера дома. Осип Игнатьевич забрал его к себе и лекаря туда возил... Да вы не волнуйтесь, Тарасу уже лучше, я видел его в окно, о вас спрашивал... Может, завтра и на занятия пойдет.

Иван Петрович недолго пробыл в пансионе: переговорил с помощниками, обошел спальни, задержался какое-то время на кухне у Насти и ушел.

Надо было немедленно повидать Тараса, а потом и лекаря: может, понадобятся какие-то дополнительные средства для лечения.

В последний год Тарас стал ему как-то ближе, дороже, хотя Ивану Петровичу казалось: ко всем он относится одинаково, все ему близки и дороги. И все же к Тарасу он питал особые чувства. Отрок из Золотоноши напоминал ему давно ушедшее, навеки похороненное. Тарасом звали томаровского казачка, любимого в те далекие годы ученика, замордованного господским недорослем. Тарас из Золотоноши — приемный сын Марии Голубович, теперь вдовы Семикоп. Он как бы нес на себе отраженный ею свет, ее тепло, глаза Марии останавливались на нем, руки касались его лба, щек, волос. Боже, как странно устроен человек, пора, пора бы уже все позабыть, а вот, поди ж ты, помнится. Минуло столько лет, жизнь сталкивала его с очень интересными людьми, но только образ Марии он до сих пор носит в своем сердце...

Дом Сплитстессера стоял на Мясницкой улице, в самом ее начале, и выделялся среди других высокой крышей, большими светлыми окнами и новым резным крыльцом.

Тарас увидел Ивана Петровича первым и бросился ему навстречу — в легких, на босу ногу, сапожках, в распахнутой на груди рубашке; его похудевшее лицо светилось радостью.

— Учитель! Как долго вас не было!

Тарас всегда называл Котляревского учителем. Называть его надзирателем он не мог, ибо надзиратели, по рассказам товарищей, это совсем другие люди, у них нет сердца и души.

— Что с тобой? — Котляревский обнял Тараса за плечи, прижал к себе.

— Ничего.

— Еще холодно, а ты вот так... Не бережешься.

— Мне уже хорошо. Кашель давно прошел, и я бы вернулся в пансион, да не пускают, заставляют пить теплый сбитень и лежать в кровати.

— Кто же это?

Матушка... Три дня, как приехала... Идемте, я вас представлю.

Тарас не заметил, как побледнел учитель, что-то хотел сказать, но запнулся, словно бы испугавшись чего-то, замешкался перед крыльцом и нерешительно ступил на ступеньку.

Отворилась узкая белая дверь, и в комнату вошла невысокая средних лет дама в длинном темном платье и в наброшенной на плечи кружевной, светлой шали.

Котляревский не мог поверить своим глазам: неужто она? Боже!..

— Вы?

Да, это была Мария Голубович, ныне, верно, Марья Васильевна, по мужу — Семикоп. Заколотилось сердце, закружились перед глазами стол, самовар, высокое зеркало в углу, какая-то картина на стене, букет сирени в глиняном кувшине.

— Здравствуйте!

Руки их встретились. И замерли.

Первый порыв как первый крик новорожденного. Затем и он и она взглянули на Тараса и обрели относительное спокойствие, во всяком случае, глядя со стороны, нельзя было сказать, что встретились после столь длительного перерыва когда-то близкие друг другу люди.

Марья Васильевна предложила сесть, он подвинул ей кресло, сам сел напротив.

Словно кот, пригревшийся в запечье, урчал самовар, в его зеркальных боках отражались квадраты окон, люстра, подвешенная к потолку, высокие желтые свечи.

На столе — четыре прибора; заметив это, Котляревский удивился: кто же четвертый? Госпожа Сплитстессер уехала месяц тому назад погостить в Миргород к своей матери и еще не вернулась, а хозяин дома, наверно, в гимназии. Кто же четвертый сядет к столу? Марья Васильевна, от которой не ускользнул недоуменный взгляд Котляревского, объяснила:

— Хозяин был так добр, что отдал нам две комнаты и эту залу. Вот мы — я, Сонечка, моя воспитанница, и Тарас — в них и поместились. Сонечка немного расхворалась, еще в дороге почувствовала недомогание. — Посмотрела на Тараса: — Пойди к ней, друг мой, ей скучно одной, почитай что-нибудь, она любит слушать, когда ты читаешь...

Тарас послушно поднялся из-за стола и, поклонившись, вышел в соседнюю комнату.

Котляревский и Марья Васильевна остались одни.

Ей хотелось говорить и говорить, вспоминать прошлое: их занятия, переписку "Энеиды", прогулки на Супой, гулянье на сельском выгоне, долгие беседы в имении покойного дядюшки; хотелось рассказывать, как жила все эти годы, как мечтала о встрече с ним, своим учителем, не однажды он снился ей, в снах являлся озаренным солнцем, потом надвигалась туча — и он исчезал, а она не находила себе места; чтобы спастись от безысходной тоски, уйти от мучивших ее воспоминаний, много путешествовала, надеялась: только в дороге, вдали от мест, где прошла юность, она найдет успокоение, но это только казалось: все ее прошлое постоянно находилось с ней.

Марья Васильевна молчала, лишь смотрела на него, своего учителя, и, казалось, не могла насмотреться. Видела, как он постарел, снегом покрылись виски, в некогда черные густые волосы вплелись первые белые нити, а лицо... лицо почти не

изменилось, и глаза те же — внимательные и добрые, с лукавинкой в самой глубине, правда, чуть заметной; Марья Васильевна, едва взглянув, сразу увидела ее, отыскивала как что-то тайное, лишь ей одной известное. Боже, она бы отдала все, только бы прижать к груди эту, увы, седеющую голову, а он... он пусть бы положил свои руки ей на плечи, как когда-то на хуторе дядюшки, в последнее их свидание, и — вдруг содрогнулась — он ведь и поцеловал ее тогда. На мгновение прикрыла глаза — так явственно почувствовала упругое теплое прикосновение его губ.

Иван Петрович подвинул ей чашку чаю, пахнувшего липовым цветом.

— Сколько лет прошло? — спросил и сам же ответил: — Больше семнадцати.

— Неужто? А вы... вы вот не изменились. Такой же, каким помню вас.

— Что вы! Что вы, Маша! Много изменился.

Он назвал ее по имени — так, как когда-то, и она мгновенно покраснела, смутилась, но тут же чуть кокетливо спросила:

— А я?

Иван Петрович усмехнулся, задумчиво посмотрел на ее похудевшее, но еще свежее лицо:

— Не так важна внешность, главное — облик духовный... Каковы мысли, о чем думаете...

Марья Васильевна поджала губы, все такие же пухлые, выпрямилась, поправила шаль. Он должен был сказать ей о внешности, а сказал о другом, и это немного обидело.

Ни одно движение Марьи Васильевны не скрылось от внимательного взгляда ее бывшего учителя. Иван Петрович понимал, не мог не почувствовать: перед ним сидит женщина, хорошо знающая себе цену, очень богатая, давно не ведавшая ни в чем отказа...

Марья Васильевна задумалась. Она стремилась к этой встрече. Написала ему первая, а теперь и приехала. Правда, был повод: тревога, посеянная письмом сына, но... Она сказала об этом письме: беспокоилась о сыне, и сердце ее не обмануло, Тарас в самом деле оказался больным. Может, следует поехать с ним на теплые воды, к морю? Иван Петрович ответил, что ничего страшного с мальчиком не стряслось, у него обычная простуда, скоро все пройдет. Она кивнула: дай бог, дай бог. И тут же добавила, что очень благодарна ему за Тараса. Скоро он закончит гимназию, уедет, чтобы продолжить ученье, но ни Тарас, ни она не забудут всего, что сделал для них он, Иван Петрович.

Она говорила о Тарасе, а думала совсем иное: ехала, тряслась почти неделю в карете прежде всего ради него, учителя, ей очень хотелось повидать его, признаться, что никогда не забывала, помнила и до сих пор помнит... Годы, правда, их отдалили, теперь многое нужно пережить заново, чтобы понять друг друга. Может, предложить учителю поехать к ней, в Золотоношу? А как это сделать? Да и поедет ли? Он так сжился с Полтавой, с воспитанниками пансиона, здесь живет и его мать, все о нем известно — свет не без добрых людей, они всегда найдутся, чтобы помочь, если один

человек пожелает узнать о другом... Кто-то из женщин у него все же был, так однажды говорили те же "добрые люди", но утверждать никто не осмелился, А ежели даже и так, что же тут удивительного? Он никому не обязан, он одинок... Ах, о чем она думает? А ревность, как червь, точила сердце, сверлила разум, не давала покоя. Кто же была эта счастливица?..

Ей стало невыносимо грустно.

— Сколько лет не виделись, а встретились — и не о чем говорить. Не странно ли? — вздохнула Марья Васильевна.

— Вы правы... Но разве расскажешь обо всем?

— Я знаю, как вы жили! — вырвалось у Марьи Васильевны, и Котляревский почувствовал в ее голосе упрек. Марья Васильевна взяла себя в руки, уже мягче, сочувствующе сказала: — Намучились вы, знаю. И все же жили вы хорошо, а я, наверно, плохо. Бесцельно разъезжала по свету, тратила, бросала на ветер мужнино состояние.

— Ну что ж, это... тоже занятие, поелику нет иного. Свет увидеть — что может быть интереснее?

— Осуждаете?

— Что вы! Нет у меня никакого права вас осуждать. И не думайте о том. Мне тоже невесело, как и вам, Мария, поверьте... Но что изменишь? Есть вещи, которые изменить мы уже не в силах.

— Не верю! Не может быть! — Марья Васильевна наклонилась вдруг к Котляревскому и прошептала: — А вы попытайтесь.

— Вряд ли стоит, — покачал головой Иван Петрович. — Вряд ли...

Марья Васильевна прижала руки к груди и заговорила тихо и страстно:

— Иван Петрович, дорогой мой учитель! Поверьте, я очень жалею, что все так случилось, но я... я была молода, почти девчонка, ничего не понимала.

Он осторожно взял ее руки в свои. Так они и сидели некоторое время молча, словно прислушиваясь к громкому стуку своих сердец.

Первым нарушил молчание Котляревский. Бледный, с блестящими глазами, он заговорил тоже очень тихо, будто боялся, что его, кроме Марьи Васильевны, мог услышать еще кто-нибудь:

— Если бы вы знали, что я пережил в те годы. Теперь я спокоен, а тогда... Я звал вас, просил, а вы не решились, побоялись. Но ради великого чувства можно пожертвовать и жизнью! Это было наше с вами время, мы все могли пережить; возможно, нам было бы трудно, но не беда. Мы были молоды, а это — главное. Все сложилось не так. Наверно, страх ваш был сильнее любви, о которой вы говорили, но... Впрочем, зачем об этом? Не стоит ворошить старое. Вы нынче богаты, я — по-прежнему беден, и все же свободен, жить в достатке и тем самым зависеть от кого-то, пусть даже от вас, я не смогу. Да, наверно, не судьба нам находиться вместе. А ведь могло быть... могло быть все иначе...

— Нет! — воскликнула Марья Васильевна. — Вы не правы...

Она не договорила. В дверь постучали, и, не ожидая позволения, в залу вошел кучер. Снял шапку, поклонился чуть ли не до пола.

— Ваша милость, позвольте слово молвить.

— Что тебе?

— Карета готова, и кони перекованы.

Грицко полагал, что принес госпоже радостную весть о полной готовности экипажа и коней для поездки домой. Он не подозревал, что вошел не вовремя. Марья Васильевна резко сказала:

— Я не звала тебя. Иди.

— А когда? Потому как сидим без толку.

— Иди!.. Ты больше не будешь кучером, псарем пойдешь. Геть! — задыхаясь, выкрикнула Марья Васильевна.

Кучер испуганно попятился, скрылся за дверью.

Марья Васильевна долго сидела неподвижно.

— Да, я хотела вас видеть, потому и приехала, — произнесла она наконец и закрыла лицо руками. — Но что мне теперь делать?

— Напрасно вы себя укоряете, ничего не случилось, — спокойно сказал Иван Петрович. — Спасибо вам за память!.. И я помнил и буду помнить вас. — Помолчал немного — подождал, пока Марья Васильевна вытрет платочком заплаканные глаза, — продолжил: — А кучера вы обидели зря. Не прогоняйте его... Я понимаю, как нелегко вам, но поверьте, и мне не сладко. Если пригласите, когда-нибудь приеду в Золотоношу. Выберемся и на Супой. Помните, как он красив по весне?

Больше Иван Петрович ничего не сказал. Да и зачем? Она все поймет и так. Если он вдруг решится и станет жить под крышей ее дома, то, без сомнения, придет время, когда она в пылу гнева — вот так же, как кучеру сегодня, — покажет я ему на дверь. Ведь у них, у господ, все возможно.

Марья Васильевна постепенно успокоилась и, будто позабыв о только что состоявшемся разговоре, начала рассказывать, что в последнее время много читает, побывала не так давно в Карлсбаде на водах, увидела там новые книги Вальтера Скотта, привезла их и теперь перечитывает, а из отечественных авторов по душе больше Николай Карамзин, накануне две ночи проплакала над "Бедной Лизой" и сейчас без волнения не может вспомнить историю бедной девушки... Уже прощаясь, она задержала руку Котляревского в своей и тихо сказала:

— Иван Петрович, прошу вас, умоляю, возьмите от меня что-нибудь на память... В благодарность за Тараса... За все, за все...

Она поспешно стала стаскивать с пальца золотое с большим бриллиантом кольцо.

— Возьмите!

Бриллиант сверкал, переливаясь в лучах заходящего солнца, он стоил очень дорого. Котляревский понимал это, понимал и то, что Марья Васильевна отдает его искренне, от души, но принять подарок не мог. Глаза его потемнели, как бы подернулись дымкой, он мягко отвел руку Марьи Васильевны:

— Нет.

— Прошу вас...

— Благодарствую! Я люблю вашего приемного сына так же, как и... других воспитанников, и все, что могу, отдаю ему по долгу службы... Спасибо! Прощайте. Мария! Счастливого пути!

Они расстались как старые друзья. Внешне — спокойно. Но какие усилия потребовались им, чтобы сохранить ровный тон, не броситься друг другу в объятия? Ведь, несмотря ни на что, чувство первой любви по-прежнему оставалось с ними...

32

Когда в гимназии закончились экзамены и воспитанники Дома для бедных начали разъезжаться, к Ивану Петровичу пришел проститься и Тарас. За ним из Золотоноши уже прислали легкий возок.

Перед Котляревским стоял изрядно вытянувшийся, с едва заметным пушком на верхней губе, светлоглазый, с румянцем во всю щеку юноша.

— Буду писать вам, — сказал Тарас. Он отвернулся, чтобы Иван Петрович не видел повлажневших глаз. — И где бы я ни был... — не договорил, опустил голову, вздохнул: — А может, разрешите остаться? То останусь. Служить буду...

Иван Петрович обнял Тараса за плечи, подвел к окну.

Коснувшись золоченого орла на вершине монумента, потемневшей крыши присутственных мест, взгляды их устремились дальше, в поля, начинавшиеся за Полтавой, в безбрежную даль без конца и края. Там, далеко, тоже — жизнь. Так зачем оставаться здесь, в благословенной Полтаве, пусть даже рядом с учителем?

Иван Петрович чувствовал, как вздрагивают плечи Тараса, как он доверчиво прижимается к нему. Вот так же когда-то, благословляя, обнял его, Ивана, протоколиста Новороссийской канцелярии, Иоанн Станиславский.

Такова жизнь. Дети вырастают, и приходит пора, когда надо с ними расставаться. Это трудно, мучительно трудно, но иначе нельзя.

— Ты обязательно поступишь в университет, — сказал Иван Петрович. — Ты много узнаешь нового, ты увлечешься, ты, может, станешь ученым, а я, твой учитель, буду гордиться тобой...

Тарас молча слушал. И вдруг воскликнул:

— Но как оставлю город, гимназию, вас?

— Тебе здесь уже никто ничего нового не даст. Никто...

Тарас кивнул: хорошо, он поедет, если так нужно.

Глаза Ивана Петровича были сухие, они зорко смотрели туда, вдаль, где терялась едва видимая линия горизонта.

— Помни наши беседы. Где бы ни был, не забывай Золотоношу, Полтаву вспоминай,.. хотя бы изредка.

— Никогда не забуду!

— И помни: ты сын простых людей, ты обязан им своей жизнью. Будь же всегда добрым, честным, когда встретишь на своем пути простого человека, помоги ему... И

еще. Вернешься в Золотоношу — поклонись матушке.

Вспомнив о Марии, Иван Петрович снова подумал: не ошибся ли он? Может, не прав был с ней? Может, следовало подумать еще раз, все взвесить и... решиться наконец? Ох, нет, нет! Поздновато возвращаться к тому, что ушло, кроме мучения, это ничего не даст. Мария, верно, всего не понимает, ею руководит только сердце, а он видит немного дальше. Мария уже не та, совсем не та девушка, которой он однажды сказал, что любит всей душой и готов на все ради их счастья. Да, он по-прежнему любит ее, но только ту, юную, с солеными от слез губами, доверчиво прильнувшую к нему, ждущую его слова. А эту, которая, рассердившись, посылает на псарню человека, чем-то не угодившего ей, он не сможет полюбить.

Иван Петрович задумался, позабыв, что возле него стоит Тарас, ждет последнего его слова.

Опомнившись, горько усмехнулся, еще раз попросил:

— Поклонись матери... А когда вернешься из Петербурга, то, может, и сюда, в Полтаву, заглянешь... У тебя здесь есть друзья, сынок, — совсем тихо, почти неслышно закончил Иван Петрович.

И больше — ни слова. Все остальные слова остались в сердце, где им и суждено пребывать до конца его дней...

Двадцать пять лет жизни посвятит Иван Петрович Котляревский воспитанию юной поросли родного края. Сколько воспитанников унесли с собой в дальнюю дорогу, в жизнь, в большой мир тепло его души! Он жил для их блага, для блага Украины, ее будущего. А будущее родного края ему виделось в полезных деяниях таких отроков, как Мокрицкий, Тарас, Лесницкий, Николай Ге, Остроградский...

...За окном шумел новый день, светило солнце, радовались жизни люди и птицы. От пансиона отъезжал еще один возок. Тарас стоял на подножке и пристально смотрел на распахнутые окна Дома, в котором провел несколько лет, может, лучших лет своей жизни. Он не прощался, он надеялся, что пройдет время — и вернется сюда снова, низко поклонится своей альма-матер и останется в ее стенах навсегда. Может, это и в самом деле случится, а может, и нет. Кто знает?..

Иван Петрович все еще стоял у окна и смотрел, как исчезает за первым поворотом возок с Тарасом. Напряженно вслушивался в городской шум, словно в этом шуме можно было различить, узнать характерный стук колес все дальше и дальше убегающего возка.

Задумался и не заметил, как вошел Дионисий. Кашук кашлянул, Иван Петрович вздрогнул, обернулся. Увидев помощника, сказал — без упрека, спокойно, — что тот мог бы прийти и попозже, если, разумеется, дело терпит.

— Да как вам сказать, — пожал плечом Дионисий. — Приехали к нам не то из Ромен, а может, из Лубен, не разобрал. Просят до нас. В гимназию хотят будто определить свое чадо... Допытываются, может, можно у нас в новом году поселиться?.. Я ничего им не обещал, сказал, чтобы к вам пришли... А хлопец, Иван Петрович, ничего, славный...



— Господи, где ты научился так долго и нудно языком молоть?.. Что там за хлопчина?

— Я и говорю, ничего себе хлопец, диковатый, правда, так с кем не бывает: приехать из каких-то Лубен или Ромен в первый раз в самую Полтаву, тут кто угодно рот раскроет, а он еще и зеленый совсем...

— Дионисий, прошу тебя, закрой пока свой... Да иди зови их, негоже людей под дверями томить.

Иван Петрович сел за стол, застегнул на все пуговицы сюртук, приготовился к встрече просителей, приехавших, может быть, очень издалека, чтобы самое дорогое, что у них есть, — своего сына — доверить, отдать на воспитание ему — надзирателю Полтавского пансиона, отставному капитану, учителю и поэту.

#### КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. "УЧЕНАЯ РЕСПУБЛИКА"

##### 1

Дыхание осени чувствовалось в дурманящем запахе скошенных и уже приваленных трав на лужках, в светло-оранжевых пятнах, вспыхивавших по всей Мазуровке. Но трава под тынами на улицах и пустырях была еще довольно сочной, зеленой, а иван-чай и шафран, не собираясь сдаваться неумолимому времени, вовсю пылали под каждой хатой и в каждом саду. Слева от Мазуровки возвышалась монастырская гора. Справа и впереди золотились в утреннем мареве луга, сверкали озерца, оставшиеся еще от весенних паводковых вод, бывших в тот год особенно обильными, а дальше, за Ворсклой, далеко на горизонте, угадывались села и мелкие — в пять-шесть хат — хутора.

По взгорью круто вниз, к перевозу, пылилась дорога. Слышался неторопливый говор, скрип немазанных возов, обиженный возглас какого-то бедолаги, застрявшего в колдобине со своими волами прямо перед бричкой проезжего панка и теперь неуверенно оправдывавшегося: "Простите, паночку, задремал я ненароком и не заметил, как ваша бричка чертом налетела". Свист батога, скрип воза удалялись; затихал вдали и стук брички...

Утренние часы были самыми любимыми, ибо, как говорил Иван Петрович, *Aurora muses arnica*[20]. Он мог подолгу, не замечая, как бежит время, сидеть на веранде, выходящей на Ворсклу, слушать дорогу, любоваться приречными лугами, окутанными прозрачным туманом, лесами, бегущими до самого горизонта, а налюбовавшись, откладывал подозрную трубу и придвигался к столу поближе.

Перед ним лежал лист бумаги и остро срезанное гусиное перо. Несколько коротких строчек уже давно подсохли, а новые пока не шли на ум.

В последние годы стало труднее писать, а написанное ранее не удовлетворяло, многое перебелил бы заново. Впрочем, заново — не то слово, кое-что поправить, изменить слишком устаревшую форму, пожалуй, даже необходимо, но немислимо переделывать все, ведь это, наверно, была бы новая "Энеида".

Более четверти века тому назад, когда он только начинал писать — глаз в ту пору был острее, а рука проворнее, — мир окружающий видел в свете того времени, иначе и

не могло быть. Но улетели, ушли безвозвратно целые десятилетия, достаточно пережил он в свои годы, и, возможно, чем черт не шутит, именно теперь поставил бы наконец точки над некоторыми "і". Впрочем, кто знает, — а вдруг нажитый опыт этого как раз бы и не позволил? И вообще, не стоит торопиться. "Энеида" — дело всей жизни — еще ведь не закончена. Осталось немного, может, несколько десятков строф, они же, к сожалению, не складываются, иногда вот кажется: нашлось самое верное слово, а поглядишь через день-два — и слово тускнеет на глазах... Снова и снова принимался переделывать уже раз написанное, а прочитав, безжалостно вычеркивал какую-нибудь строчку и... принимался за новый вариант, и все это для того, чтобы завтра или послезавтра беспощадно перечеркнуть и его.

Работая, Котляревский не слышал да и не прислушивался к легким шагам экономки, убиравшей комнаты. Проворная и еще молодая, Мотя успевала и прибрать, и навести лад в небольшом хозяйстве отставного "пана майора", как она называла Ивана Петровича (это звание он получил в 1817 году). Но главное достоинство прислуги было не в том, что она слыла рачительной экономкой и при случае умела вареников налепить, да таких, что пальчики оближешь. Мотрена Веклевичева — Веклчиха, как прозвали ее на Мазуровке, — с уважением и пониманием относилась к занятиям своего хозяина, умела беречь его от слишком любопытных и назойливых, которые всегда находились и отнимали у него время. Она безошибочно определяла, кто приходил по делу, а кто — просто так, ради праздного любопытства. Особенно ревниво оберегала Веклчиха утренние часы Ивана Петровича, когда "пан майор маракувал свои писания". Тут Мотя была неумолимой. А вообще унтер-офицерская вдова Мотрена Ефремовна Веклевичева была женщиной мягкой, разумной, с добрым, отзывчивым сердцем. Немало натерпелась от своего покойного унтера, вдоволь на своем веку хлебнула горя, и, может, поэтому слеза потерпевшего и обиженного находила в ней живейший отклик, не задумываясь, готова была последним поделиться с любым человеком, попавшим в беду.

Угадав в женщине эти драгоценные черты, Котляревский впустил ее в дом, доверил хозяйство свое и ни разу впоследствии не пожалел о том.

Сегодня Мотя нарушила раз заведенный порядок. Сама решила оторвать майора от работы. Иван Петрович услышал ее шаги и обернулся:

— Кто там?

Котляревский знал: если Мотя осмелилась на это, значит, неспроста, пожаловал такой гость, что не принять его невозможно.

— Пан Михайло.

— Зови его! Зови! Да скорей!..

Михайло Новиков — гость желанный, друг истинный, душа-человек. Если находит время заглянуть в его одинокую обитель, то все дела в сторону. Иван Петрович сунул наполовину исписанный лист в картон и вышел в прихожую, чтобы встретить его, но тот уже сам шел навстречу.

— Я не услышал, как вы подъехали, Михайло Николаевич... Рад вас видеть,

дорогой, — радушно приветствовал Котляревский гостя.

— А я пешком... Утро-то какое. Кажется, никогда еще такого не бывало в нашей благословенной Полтаве.

— Истинно так. Сегодня утро особенное. Мне, знаете, иногда кажется, что когда господь бог делил между городами красоту земную, то самое лучшее отдал нашему городу.

— Во всяком случае, не обделил. — Новиков улыбнулся. — Ну а здоровье как?

— Не жалуюсь пока. А ваше? Вид у вас мог быть и получше.

— Мало хожу. Все больше корплю над бумагами входящими да исходящими.

— Понятно — служба... А хорошо бы куда-нибудь улизнуть, ну, на недельку. Побродить по земле, почувствовать себя свободными от всех забот и тревог. Как, Михайло Николаевич, рискнем?

— Неплохо! А с вами — тем паче. Но куда скроешься от тревог наших? Они всегда с нами. Помните — *omnia me a mecum porto?*[21] Котляревский кивнул и тут же мягко возразил:

— А знаете народную поговорку: "Коли козак в полі, тоді він на волі"?.. Давайте все же выберем часок да и махнем... Да что я в самом деле! Заговорил вас. А соловья баснями, еще предки наши знали, не кормят. Да садитесь, Михайло Николаевич! Вот сюда, к столу. У меня имеется кое-что такое, что ну...

— Благодарствую. Так рано не употребляю.

— Это такая штука, что и утром не грех. Не повредит... Для вас берег. Венгерское. С пампушками да рыбой в самый раз... Мотя! — позвал Иван Петрович; когда экономка вошла, попросил: — Принеси нам, сердень-ко, того-сего... Сама знаешь. И красненького достань из погреба, да чтобы холодное... И не впускай никого, может, только из пансиона пожалуют...

Хозяин, пока экономка готовила к столу, пригласил Новикова на веранду, поставил рядом со своим креслом еще одно такое же, плетеное.

— Посидим пока что, подышим свежим воздухом.

Новиков озабоченно всматривался в сухощавое, строгой красоты лицо друга. Сколько же лет ему? Кажется, за пятьдесят уже, а выглядит молодо. И как держится. Худощав, ничего лишнего. Только глаза пригасли, от усталости несомненно, работает много, и морщины залегли у резко очерченного рта. Впрочем, глаза еще зоркие, нисколько они не устали, как показалось. И все же спросил:

— Много работаете?

— Что вы, Михайло Николаевич! Работаю вполсилы. Целыми днями просиживаю в креслах, больше в облаках обретаюсь, а надобно работать, ой как надо... Когда на гору жизни поднимаемся — времени, думается, хватит, век впереди, а теперь — с горы едучи — видишь: сделано мало, а времени в обрез. Одним словом, хвалиться пока нечем.

— Ну конечно, понятно. — Новиков снова усмехнулся: мол, знаем, друг мой, как ты в облаках витаешь, скромничаешь. — Ну, а если не секрет, чем нынче заняты?

— От вас секретов не держу... Вы знаете, что моя "Полтавка" и "Москаль"[22] отвлекли меня от "Энеиды" на несколько лет. А теперь, когда к тому же нет и театра, забот поубавилось и я снова к ней, к "Энеиде", вернулся. — Котляревский набил трубку и, закулив, вздохнул: — Да, был театр...

В этом невольном выразительном вздохе Новиков уловил укор и ему, правителю канцелярии при генерал-губернаторе, человеку, не лишенному власти и влияния в крае. Но что он мог? Театр в таком городе, как Полтава, где немногим больше десяти тысяч жителей, обречен был на скудное существование. Иван Петрович, сам тертый калач, понимал это с самого начала и не раз выражал опасение за судьбу его. Он должен помнить, как не однажды, являясь главным директором театра, докладывал лично князю, что "по причине малого количества зрителей" приходится отменять спектакли. На одной "Полтавке" не продержишься, не станешь же показывать ее каждый вечер. Что тут поделаешь? Благодарность богу и за то, что театральная труппа пробыла в Полтаве почти четыре года, оживила городок, расшевелила его жизнь, а паче всего — спасибо ей за рождение "Полтавки" и "Солдата-чародея". Впервые в Малороссии поставлены оные на своей сцене и на языке местных жителей — событие, которое вряд ли можно переоценить. И в этом — заслуга театра и, безусловно, вот его, автора, скромно сидящего в этом плетеном кресле и, может быть, не подозревавшего этого. В облаках витает? Шутник, однако. И в дальнейшем театральная жизнь в городе не угаснет, помещение осталось, стало быть, можно приглашать артистов, которые, подобно той же труппе Штейна, путешествуют по весям и городам Малороссийского края. Театральное помещение, несомненно, сохранится, чтобы, как и прежде, служить высокому искусству, отечественному театру.

Отгоняя едкий дымок, плывший из трубки хозяина, Новиков спросил:

— А где нынче господин Штейн? Не слышали?

— Теперь будто бы в Туле остановился. И Щепкина к себе пригласил.

— Вот как? Одначе Иван Федорович знает, кого приглашать.

— Да, верно. Господину Штейну следует отдать должное, человек он, несомненно, весьма предприимчивый. Вот, к примеру. Где-то раздобыл мою "Полтавку" и без зазрения совести представляет ее — и не единожды уже — в различных городах. Я же о том никакого понятия не имею.

— Вы недовольны? — усмехнулся Новиков. — А следовало благодарить.

— Премного благодарен. Да и как же иначе: снял разбойник среди беда дня сорочку и не быть благодарным?

Новиков искренне рассмеялся, смех его, однако, был мягкий, негромкий. Он расправил небольшие пшеничные усы и, вытирая слезинку в левом глазу, посоветовал:

— Обратитесь с письмом к властям.

— Ничего, как видно, не остается... Но довольно об этом. — Разговаривая, Иван Петрович был внешне спокоен, и все же довольно заметный румянец появился на острых скулах; он несколько раз затянулся, выпустил дым вверх, чтобы ветер не погнал его в сторону гостя, и сказал: — О чем, бишь, мы начали?

— О чем бы ни начинали, а театром кончим.

— И то верно. Так ведь что болит... Но я об "Энеиде" говорил. Вы спрашивали... Ну что ж, скажу вам, Михайло Николаевич, осталось немного: несколько строф дописать и еще раз пересмотреть, может, кое-что исправить. А потом... не издать ли целиком ее?

— Давно пора... Да, помните наш разговор месяца два тому назад? Послали вы что-нибудь в Петербург, в "Соревнователь"?

— Гнедичу, по вашему совету, пятую часть отослал. И вот — ни слуху ни духу. Может, и потерялась в дороге.

— Не может быть. А что нет ответа, так это понятно. Журнал не помещает ничего без предварительного обсуждения на заседании "ученой республики". А там судьи строгие.

— Что вы называете "ученой республикой"?

— Вольное общество любителей российской, словесности. Так его в Петербурге окрестили. Под его знаменем — ученые мужи, лучшие писатели.

— Втравили вы меня, Михайло Николаевич, в гиблое дело. В этом обществе, вероятно, Глинка, Жуковский, Крылов. Цвет русской литературы.

— Добавьте — Рылеев, Александр Бестужев. Слыхали о таких пиитах?

— Слыхал. — Иван Петрович выбил трубку о перила, и пепел, подхваченный ветром, упал на смородиновый куст. — Очень интересные молодые стихотворцы.

— Интересные и, добавлю, к тому же, смелые. Под стать вам... с вашей "Энеидой".

Иван Петрович иронически взглянул на Новикова:

— Ну уж сравнили... Я ведь и не закончил ее. Как вы судить можете? — Подумав, продолжал: — Иногда, перечитывая, сдается мне — все переписал бы... А пора ведь и заканчивать. И жаль расставаться, почти вся жизнь с ней прошла.

— Это естественно. — Новиков ласково взглянул на Ивана Петровича, устремил задумчивый взгляд дальше — на тихие, еще зеленые луга, копны сена, уставленные по всему берегу Ворсклы.

Здесь было хорошо, дышалось легко и свободно. Новиков любил так же, как и хозяин дома, сживать на этой веранде и любоваться заворсклянскими пейзажами. Чем не Швейцария? Да нет, краше, ярче, просторнее любой Швейцарии. Ах, как хорошо! Так бы и сидел, ни о чем не думая. Но вот послышался неясный говор, он постепенно приближался, усиливался: низом, под горой, двигался небольшой обоз; погонщики гейкали на волов, скрипели-переговаривались возы. И вдруг возникла песня. Она зазвучала внезапно, будто родил ее утренний воздух, пронизанный нежаркими солнечными лучами. Слов разобрать нельзя было, но мелодия, какая-то грустная и одновременно раздольная, брала за душу. Прикрыв глаза, Котляревский слушал. Слушал и Новиков, долго молчал, потом сказал:

— Ваша поэма, как вот эта песня, стала необходимой многим. И вам с ней расставаться нелегко. — Поправил шейный платок, добродушно усмехнулся. — Да ничего, друг мой, тут не изменишь, иначе и быть не должно. Пришел черед и вашей "Энеиде" навсегда оставить родные пенаты. — Снова помолчал и тише добавил: —

Судьба, однако, у поэмы вашей, мыслю, будет завидная. О ней, доложу вам, уже говорят не токмо на Руси, но и в Чехии, Польше...

Котляревский ничего не ответил, все еще пребывая под впечатлением только что услышанной песни, вдруг до него дошел смысл слов Новикова, и он насмешливо, прищурясь, взглянул на гостя. А тот уже говорил о другом:

— Чуть было не позабыл. Завтра вечером соберемся у меня. Муравьев-Апостол обещал зайти. Приходите, посидим тесным кружком, потолкуем.

— Вчера только встречались у Ламберта. Не наговорились?

— Есть предмет особый, о нем даже у вашего любезного Ламберта не потолкуешь. Кроме того, Матвей Иванович намедни письмо от брата получил. Не сегодня-завтра и сам прикатит.

— Какой брат? Не Сергей ли?

— Он самый. Из столиц едет. Интересно послушать, что расскажет.

Котляревский слышал о Сергее — сыне небезызвестного Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, дипломата и сенатора, автора интересных путевых записок, жившего ныне у себя в Хомутце. Старшего из его сыновей — Матвея — он встречал не так уж и редко: в частных домах Полтавы, у князя, у которого тот уже несколько лет был адъютантом. Матвей слыл человеком образованным и обходительным. А Сергей — об этом многие говорили в полтавских домах — брата своего моложе, но имеет на него какое-то непостижимое влияние. И еще замечено: стоит вспомнить в разговоре имя его, как Матвей, забывая обо всем, мгновенно зажигается и восторженно, чуть ли не взалхлеб, принимается рассказывать о своем брате: и как его любят младшие чины в полку, где он служит, и как он необыкновенно образован, исключительно добродушен, а коли нужно, то и весьма тверд. Как же не познакомиться с таким человеком? Кроме того, встречи этой желает и Михайло Николаевич — добрый друг и в некотором роде единомышленник: больше года вместе посещали ложу масонов, в которой Иван Петрович — по общему согласию — выступал в качестве витии. Впрочем, все это уже в прошлом, хотя и не в таком далеком: не так давно правительственным рескриптом масонские ложи повсеместно распущены.

Но нынче речь о другом. Михайло Новиков — начальник генерал-губернаторской канцелярии, этот скромный, с виду тихий человек — намекает на нечто совершенно новое, не имеющее никакого прямого отношения к масонам, к их бывшей ложе в Полтаве. Правда, говорит весьма осторожно, почти намеками, не поймешь что к чему. Очень возможно, что завтра при встрече кое-что и приоткроется. Непременно надо идти. К тому же и просто любопытно: Сергей возвращается из поездки по столицам, стало быть, новостей у него полный короб набралось; как же упустить такой случай и не послушать человека?

Спросив, в каком часу Новиков ждет гостей, Котляревский, ни о чем больше не спрашивая, пообещал прийти:

— Как раз завтра вечер свободен...

Новиков сказал, что собираются в восьмом часу, и, помедлив, вернулся к начатому

разговору:

— Меня, однако, интересует "Энеида". Ежели не секрет писателя, то расскажите, каким материалом пользуетесь? В поэме все так ярко и правдиво, будто выхвачено из самой жизни.

Котляревский ответил не сразу. Умный друг его должен бы помнить, сколько раз обращался к нему — правителю канцелярии — с просьбой о помощи простолюдинам — дворовым и так называемым оброчным крестьянам, над которыми вершили суд и расправу господ душевладельцы. Сколько было таких жалоб! Но только к некоторым удалось привлечь внимание князя. Это ли не материал? Горькие слезные жалобы — какая душа, читая их, останется равнодушной?

Где он, Котляревский, видел своих героев? Разумеется, не в кабинете, не на веранде сидя. Немало поездил по свету, много чего испытал — разве забудешь такое? А сколько лет в армии пробыл! И там люди, и все такие же, как мы с тобой, сударь. Потом ушел в отставку. По какой причине? Не стоит рассказывать, долгая и мало интересная песня. Если же коротко, то, прежде всего, не мог терпеть муштры, надругательства над нижними чинами, то есть теми же простыми людьми, только одетыми в шинели. Сколько недругов из-за этого нажил среди господ офицеров, носящих высокие княжеские и графские титулы, обладающих несметными богатствами! Вот и пишет, каждому воздаст по заслугам: может, хотя бы своим писанием поможет людям, покажет миру его собственные недуги, расшевелит сознание замученных, загнанных земляков своих...

Вслух, однако, ничего об этом не сказал. По своему обыкновению, готов был перевести разговор в шутку, вроде того, что, мол, и сам он, пан Котляревский, является владельцем душ людских, а посему кому лучше знать господ помещиков, как не ему? С себя будто портрет пишет. Но Иван Петрович не успел и этого сказать.

Вошла экономка. Взволнованная, руки сжаты, глаза просящие.

— Иван Петрович, забеспокоился: что случилось?

Она низко, в пояс поклонилась:

— Смилуйтесь, пан майор! Не гневайтесь, что без дозволения вашего впустила человека в хату... Земляк мой, до вас прибился. Пропадает.

— Да что ты! — Глянул на гостя: не возражает ли, если ввести этого человека в гостиную? Новиков поспешно кивнул:

— Да, конечно! Но где он?

— Где же он?

— В сенях... Сейчас кликну.

Иван Петрович вошел в гостиную. Новиков тоже встал, но задержался на веранде, дверь, однако, осталась открытой и ему было все слышно...

По внешнему облику это был дворовый мужик, в полотняных портах и такой же рубахе, видневшейся из-под распахнутой серой свитки. Широкий в кости, но худой, заросший черной с проседью бородой. Переступив порог, он повалился на пол, стукнулся лбом, как перед алтарем, слова не мог сказать. Иван Петрович подхватил

его под руки:

— Бог с тобой, братику, встань!

Мужик замотал головой:

— Не можна. Я так...

— Встань, голубе!.. Да ну же... Мотя, помоги!

Вдвоем с экономкой Иван Петрович поднял мужика с пола, и тот, шатаясь, прислонился к дверному косяку. Его хотели усадить на стул, он решительно отказался:

— Лаврин я. Плахотниченко... Пана Калистратовича крепак. Люди надоумили до вас прийти. Не знаю уже, куды податься. Хоть с мосту да в воду.

— Что же случилось? Что за беда, братику?

— Пан замордовал. Дышать нечем. Вот тут петля. Давит... Дочка моя — Олесья — понравилась соседу нашего пана, так он теперь продает мою Олесью, она же помолвлена с Тимошем, хлопцем из нашего села, сиротою. Работящий, сердешный. Пан как узнал про то, так горше зверюги стал, хлопца в солдаты собирается отдать, а меня, батька, что слово посмел сказать, просить осмелился — посеكلي... Вот гляньте!

Лаврин скинул свитку, с трудом стянул рубаху. Глазам Котляревского и Моти представилась страшная картина: ни одного живого места не было на человеке, красные и синие полосы переплелись в густую сетку. Котляревский почувствовал, что задыхается, и схватился за грудь. Экономка в ужасе отшатнулась. А Лаврин, опустив рубаху, прохрипел:

— Пропал я, совсем пропал...

В порыве сердечного участия Котляревский бросился к Лаврину;

— Не журишь, голубчику, не убивайся. Может, я поговорю с твоим паном и он смилуется?

— Еще хуже станет.

— Что же делать?

— Не знаю... Уж как решил, то так и будет. Не одна сирмаха в Ворскле упокой нашла от его душегубства. Рассказывать про то дня и ночи не хватит.

— Варварство! Дикость! — Котляревский дрожал от негодования. — Неужто управы на таких не найдется? Не может того быть!

— Э-э, кто ж бедному крепаку поможет? — вздохнул Лаврин и опустил голову на грудь. — Бог — и тот отвернулся от нас.

Тяжко вздохнула и Мотя, стоявшая позади Лаврина. Котляревский, сжав руки перед собой, не мог успокоиться.

— Найдется управа... Непременно найдется!

Лаврин поднял голову, Котляревский обернулся. Михайло Николаевич Новиков, оказывается, здесь и все, наверно, слышал. Он был неузнаваем. Новиков подошел к Лаврину, со сдержанной яростью заговорил:

— Ответит ваш пан за все свои беззакония. Честное слово дворянина! Вот вам рука!

Лаврин боялся коснуться ее — белой и тонкой — своей широкой ладонью, почти черной, разбитой от каждодневной тяжелой работы. Новиков не отходил и, видя



смущение Лаврина, взял его руку и крепко пожал. У того невольно подогнулись колени:

— Дай вам боже здоровья!

Новиков поддержал его:

— Я не икона. Зачем на колени? Негоже так. Человеком надо быть!

Лаврин лишь вздохнул и, еще раз поклонившись, собрался уходить, но Котляревский остановил его, попросил подождать и тут же у стола написал на листке бумаги несколько слов:

— Найдешь больницу, спроси Андрея Афанасьевича, лекаря. Отдай ему записку. Он тебя полечит. А домой пока не ходи.

Лаврин испуганно перекрестился:

— Бог с вами! Пан совсем замордует. Я уже так. Заживет. Баба Секлета травами полечит — оно и присохнет.

— Только в больницу. Перед паном твоим я буду в ответе.

Вытирая передником покрасневшие глаза, экономка увела Лаврина в сени.

Новиков и Котляревский стояли у окна. Им было видно, как через двор стежкой, пошатываясь, идет Лаврин; в одной руке белеет бумажка, в другой — шапка.

В доме было тихо, но вот стукнула дверная щеколда — вошла Мотя. Прошаркали в коридоре шаги.

Не оборачиваясь и не глядя на гостя, Котляревский сказал:

— Вы, Михайло Николаевич, спрашивали, где я материал беру для "Энеиды"? Отвечу. К сожалению, его больше чем достаточно преподносит нам сама жизнь. Вот и сегодня, извольте видеть, новая история, хотя какая же она новая — это наша повседневность. Что творится на белом свете!

— Вы правы, конечно, — отозвался Новиков. — Такие, как Лаврин, кормят мир, поят и одевают его, а что им достается в награду? Слезы, соленый пот, а сверх того — розги. От колыбели до могилы. И это происходит в наш просвещенный век!

— Что же делать? Что же делать?

— Такие вопросы не так просто решаются, милостивый государь мой! Но есть люди... — Новиков пристально посмотрел на Котляревского. — Они давно думают над тем, что сделать, дабы народы вздохнули свободно.

— Кто же они?

Новиков не торопился отвечать. Раздумывал. Колебался. Что-то его удерживало от прямого ответа.

— Весьма уважаемые. Некоторых и вы знаете. Служат. Один у князя Репнина.

— Вы имеете в виду адъютанта его сиятельства?

— Да... И его брата — Сергея. Правда, он в Полтаве не живет, бывает наездом. Впрочем, есть и другие. Давно, уважая ваши взгляды, они намеревались встретиться с вами. Вот завтра, думаю, такой случай и представится.

То, на что интригующе намекал Новиков... не ново. Иван Петрович не слепой и не глухой.

В свое время, посещая местную ложу масонов "Любовь к истине", Котляревский о весьма многом догадывался.

Михайло Николаевич, создатель и руководитель оной, в своих высказываниях на общих собраниях был весьма сдержан, облакал каждое слово в туманную паутину, лишь время от времени пытаясь сказать нечто более определенное. Однажды заговорил о беспорядках в Решетиловском уезде, где крестьяне, принадлежащие Семену Михайловичу Кочубею, взбунтовались, не пожелали выезжать в голодные херсонские степи. К этому сообщению господа масоны отнеслись по-разному: Кочубей вообще отказался "входить в рассуждение на сей предмет", Семен Капнист горячо доказывал, что подобное отношение к крепостным людям, созданным по образу и подобию божьему, ставит господина Кочубея вне логики; Лукьянович заметил, что ничего подобного не ожидал от потомка славного генерального судьи Войска Запорожского — жертвы изменника Мазепы. Осуждали действия Кочубея и братья Алексеевы, и бывший губернский судья Тарновский. Котляревский вообще не находил слов, чтобы выразить свое негодование. Новиков все это видел, слышал, а сам помалкивал. Зато дома, когда остался с глазу на глаз с Иваном Петровичем, в выборе выражений не стеснялся. Если слушать его, то добренький Кочубей хуже любого заезжего немца, не жалеющего в чужой стране ни земли, ни людей. Котляревский соглашался с ним, хотя, признаться, это было не легко: до сих пор помнилось живейшее участие Кочубея в его судьбе в первый год возвращения из армии и денежное пособие, благодаря которому Котляревский сумел поехать в Санкт-Петербург и опубликовать третье издание "Энеиды".

А однажды — было это в конце прошлого года — Новиков предложил ознакомиться с небольшой рукописью, которую назвал почему-то "зеленой" (может, из-за того, что была она в зеленом картоне)...

Гости уже разъехались. Вместе с Лукьяновичем ушел Капнист, простился и граф Ламберт. Когда вслед за графом собрался уходить и Котляревский, Новиков попросил его задержаться: "Надо бы посоветоваться..."

В просторном кабинете, освещенном пятью свечами и заставленном книжными шкафами, они остались вдвоем. Догорали в камине коротко нарубленные березовые поленья, в окна заглядывала полная луна. Давно уже отзвонили после вечерни на всех звонницах Полтавы.

Новиков прошел в дальний угол кабинета, открыл там небольшой, невидный почти шкаф и, достав рукопись, подал ее Котляревскому:

— Взгляните на сию зеленую книжицу. Хотелось бы знать, что вы думаете по сему поводу. И еще. Надеюсь, Иван Петрович, все останется между нами.

Никогда подобным образом Новиков не разговаривав. Странно и обидно: разве Котляревский дал когда-нибудь повод думать о себе, как о болтуне?

— Знаете, Михайло Николаевич, я могу и не читать, ежели...

— Прощу прощения, но я был обязан предупредить вас... Читайте, однако!..

Все больше удивляясь, Котляревский развернул картон.

Почерк показался знакомым: да боже ты мой, это же рука Михайлы Николаевича — четко, буква к букве выведено каждое слово, любой каллиграф позавидует. Но что же это? Очередная докладная на имя Репнина? Подобные документы с описанием состояния хозяйства губернии, о волнениях в деревнях он читал и раньше; зачем же какие-то тайны?

Впрочем, на докладную не похоже: нет привычного обращения к правителю края. Первые строчки насторожили, затем увлекли, и минуту спустя, позабыв о трубке, которую только что набил, он полностью погрузился в чтение.

Неизвестные лица считали своей священной обязанностью перед лицом Отечества поддерживать передовые идеи, резко, где только представится возможность, критиковать существующие порядки, особенно крепостное право, злоупотребления чиновников всех рангов, закоренелый бюрократизм, мужественно и смело защищать интересы простого народа; автор рукописи был твердо убежден, что раскрепощение крестьянства — необходимость, рабство — позор России и ее беда.

Слова "зеленой" книги дышали огнем, он разжигал ответный пламень в каждом, кто был не глух сердцем. Котляревский чувствовал, что задыхается, и потянул шейный платок. Какая смелость, однако! Так мыслить и писать мог только один Радищев — человек славной и мучительной судьбы.

Еще в молодости, более четверти века тому назад, он слышал о книге этого человека. Но не читал. Лишь спустя годы познакомился с нею. На одну только ночь дали ему рукопись. До рассвета он не сомкнул глаз, читал и перечитывал каждое слово, целые страницы, потом многое мог повторить по памяти. Это было давно, но до сих пор не забываются огненные строчки "Путешествия из Петербурга в Москву". И вот снова — почти те же мысли и чувства, хотя изложенные в ином ключе.

Окончив чтение, Котляревский оглянулся: Михайло Николаевич помешивал кочергой уголья в камине, каждое движение размеренное, обычное, и вдруг, не оборачиваясь, спросил:

— Прочитали?

— Да.

Новиков подвинул поленья на середину камина, чтобы лучше горели, и, подержав руки над огнем, потер их.

— Поставите свою подпись под рукописью или?..

— Но скажите, это — трактат? Статья? И... кто автор?

— Сразу столько вопросов? — усмехнулся Новиков и снова потер тонкие белые ладони. Пламень камина неярко освещал его длинное бледное лицо, залысины, пшеничные усы, казавшиеся бронзовыми. — А вы, милостивый государь, на единственный мой вопрос не ответили.

— Да, простите... Ну что я скажу? Мы знакомы не первый год, и знаете, кому я отдавал предпочтение, если речь шла о судьбе простолюдинов.

Котляревский высказался весьма осторожно: он считает, что крайние меры не всегда уместны, прежде всего необходимо распространять среди поселян

просвещение, это облегчит их участь.

— Значит, в призыве критиковать существующие порядки вы усмотрели крайние меры? — спросил Новиков. — Я вас правильно понял?

— А как же назвать разрушающие устои критические выступления? Разумеется, это меры, возможно, и не крайние, но тем не менее... Я все же полагаю, что просвещение — метода, при помощи которой участь народа была бы облегчена.

Новиков не возражал, и это казалось странным. Обычно он слыл заядлым спорщиком. Котляревский умолк, потом заговорил снова о том же. Говорил, а в душе уже не было прежней уверенности, хотел убедить не только Новикова, но и самого себя, понимал, что в действительности все значительно сложнее. Жизнь нередко повергала его в крайнее уныние, и тогда сердце терзали сомнения: а только ли просвещение есть метода облегчить ужасное положение крестьян, коих тысячи, сотни тысяч в родном крае? Но сомнения — это его личное, а в беседе с Новиковым говорил о другом, добавил, что считает необходимым призывать на суд просвещенного общества притеснителей малых и больших.

— Однажды, — сказал Котляревский, — вы должны помнить, — я обратился к его сиятельству с просьбой что-нибудь предпринять в этом направлении, и он внял просьбе. Еще в июне осьмнадцатого года князь собственноручно написал государю и просил разрешить созвать местное дворянство, чтобы урегулировать размеры крестьянских повинностей и предоставить крестьянам хоть какие-нибудь личные права. И помните? — Репнин созвал господ помещиков, говорил с ними, увещевал, совестил...

— И что же? — Новиков сидел выпрямившись, в прищуре глаз блестели синеватые льдинки. — И что же? — повторил вопрос. — Я это собрание помню. Как же, знаменитая получилась говорильня. Витийствовал и его сиятельство. А что, милостивый государь мой, после собрания изменилось? Молчите? А ведь ответ тут один: ровным счетом ничего. Как было, так все и осталось, если не хуже...

— Да, да, все это так, — горячо заговорил Котляревский. — И все же... Я бы не одобрил крайних мер... А вы, разумеется, правы. Ничего, к сожалению, не изменилось. Так, может, еще раз обратиться к князю?

Новиков неопределенно пожал плечами и ничего не ответил.

Обиделся, и, пожалуй, есть за что. Иван Петрович, чтобы как-то сгладить неблагоприятное впечатление, произведенное его ответом, сказал, что трактат (или статья) в зеленом картоне, бесспорно, во многом верно излагает взгляд на современное общество, и все же... по отдельным положениям он бы спорил.

Новиков перевел разговор на другое, заговорил о недавно поставленной в театре "Полтавке". Хорошо бы, господин директор, если бы вашу "Полтавку" показать не токмо в Полтаве, но и в других городах губернии, а еще лучше — в селах. О "зеленой" книге не было сказано больше ни слова, не вспоминал о ней Новиков и позже...

— О чем задумались?

— Что? Ах, да! Вспомнил наш прошлогодний разговор о книге. Помните ту,

"зеленую"?

Новиков, уже одетый, с шапкой в руке, стоял у порога:

— Не забываете?

— Как же! Однако заговорил вас, прошу к столу. Благодарствую. Я, пожалуй, уйду, не взыщите. Если говорить с князем, то лучше поутру. Вы же знаете — с утра он добрее.

— Да! Да! И у что ж. Жаль. Однако не стану вас задерживать. Дело несчастного поселянина, надеюсь, тронет сердце его сиятельства.

— Надейтесь... Между прочим, да будет вам известно, о подобных делах с правителем края говорить очень нелегко.

— Но вы сумеете. Он прислушивается к вам.

— Когда с какой ноги встанет — от того и зависит решение. А впрочем, поживем — увидим.

— Нет, нет, он не откажет вам... А вечером, в седьмом часу, прошу ко мне. Обещали быть Стеблин-Каминские, Белуха-Кохановский, Лукьянович придет. Возможно, и Капнист... Я кое-что почитаю.

— А не передумаете?.. Обязательно буду.

Новиков знал: Котляревский весьма неохотно читает даже давно написанное и опубликованное, а тут обещает, значит, из нового, из того, над чем работает в последние дни. Как же не воспользоваться таким случаем?

Иван Петрович проводил гостя почти до собора и, простившись, взял с него слово, что тот обязательно вечером — как всегда в седьмом часу — заглянет к нему на огонек.

После ухода Новикова не работалось. Не мог забыть рассказа калистратовского мужика. Не пообещай правитель канцелярии похлопотать о несчастном, он бы сам, все оставив, поехал к генерал-губернатору, но Михайло Николаевич — человек слова, и это успокаивало...

За черной решеткой камина жарко пылали сосновые поленья, в открытую пасть дымохода тянулись огненные струи. В кресле почувствовал себя уютнее, протянул к огню озябшие руки.

О чем же собирается сообщить ему Михайло Николаевич? Зачем приглашает для этой беседы и Муравьева-Апостола, да не одного, а ждет у себя и младшего — Сергея Ивановича, слывшего горячий головой, умницей, блестящим офицером и... каким-то образом замешанным в пресловутом деле семеновцев?[23] Был он в Полтаве и зимой, будто бы принимал его Михайло Николаевич у себя дома, но тогда Ивана Петровича не пригласили, и даже говорить об этом Новиков всячески избегал. А теперь... Да, слышно, что говорят в полтавских домах об отце братьев Муравьевых — внуке славного гетмана Левобережной Украины Данилы Апостола, от него и фамилию унаследовал Иван Матвеевич. Все считают его не только владельцем образцовых имений в Миргородском уезде, но — что самое главное — он обладатель богатейшей библиотеки; дни свои нынче проводит в постоянных ученых занятиях отечественной историей и сам пишет, даже Карамзин с его мнением считается, а в прошлом этот образованнейший

человек — блестящий дипломат, попавший затем в немилость царствующего дома. Злые языки твердят, что завидует ему, соперничает с ним даже такой человек, как автор нашумевшей "Ябеды" Василий Васильевич Капнист, и дружит с ним, бывает у него, ездит из своей Обуховки к хомутецкому Вольтеру — так кое-кто из полтавских острословов называет Муравьева-отца, может, в шутку, может, с некоторой долей издевки, а скорее, пожалуй, отдавая ему должное. И вот с сыновьями этого безусловно замечательного человека можно встретиться и, надо полагать, не для праздной беседы. Новиков намекнул, что беседа сия — не пустые разговоры на отвлеченные темы, а кое-что поважнее. Хотелось бы знать, что же именно? Но — терпение, терпение...

Экономка напомнила, что завтрак на столе и, наверное, уже совсем остыл, не подогреть ли? Он же будто не слышал. Она напомнила еще раз, и он ответил, что завтракать не будет, выпьет чего-нибудь холодного, и только. Ему необходимо уйти, есть неотложные дела в больнице; нет, он не болен, просто надобно еще раз встретиться с Лаврином и расспросить обо всем подробно. Да, конечно, обязательно надо. Иван Петрович наскоро собрался, мельком посмотрел на себя в зеркало, как сидит шинель, все ли в порядке, и, оставив, к неудовольствию Моти, завтрак нетронутым, вышел на улицу.

На Пробойной, которая с некоторого времени становилась центральной улицей, то и дело встречались знакомые; проехал в карете генерал Белуха-Кохановский, высунулся из окошечка и приветливо закивал Ивану Петровичу; прошествовал граф Ламберт, Каждый, завидев Котляревского, спешил раскланяться первым. Иван Петрович, обычно приветливый, сегодня рассеянно отвечал на поклоны. Он торопился скорее пройти людную улицу, мучила одна забота: не ушел бы Лаврин, лекарь мог и отпустить его, если тот попросился, тем более что мест свободных в больнице обычно не бывает. Как это он забыл написать, чтобы не отпускал, обязательно уложил.

С Пробойной свернул влево, в переулок, и вышел к больничному саду. Здесь было пустынно, в соседнем дворе, слышно, кто-то скликал кур, а в конце улицы двигался небольшой обоз с сеном, его обогнала легкая карета, и пыль закрыла и волов, и людей, шагавших рядом с возами.

Торопясь, Иван Петрович чуть не задел низко свесившуюся колючую ветку акации. Но вот и больница. Увидев в окно майора, старший лекарь Андрей Афанасьевич поспешил навстречу, сам открыл дверь. Котляревского в больнице знали и уважали. Поздоровавшись с лекарем, Иван Петрович спросил, не приходил ли человек с запиской и где его уложили.

— Никто, господин майор, не приходил.

— Что вы говорите? Неужто никто?

— Да нет, сегодня прием был... Околоточный надзиратель Оскома являлся, зуб у него удалить пришлось. А больше...

— Так я и думал, — огорченно вздохнул Иван Петрович, — Ах, беда какая! Ну что вы скажете? Больной человек, очень больной, ему лечиться надобно, а он, извольте видеть, боится идти в больницу.

— Есть еще такие, они больше знахарям верят, а больницу десятой дорогой обойдут. Темнота, господин майор.

— Что вы сказали? Ах, темнота... Да, вы правы... Темнота. — Котляревский не стал ничего больше рассказывать лекарю, человеку пожилому, толстому, в белом халате, пахнущем карболкой и еще какими-то специфическими больничными запахами. Зато сам лекарь, следуя за Иваном Петровичем, спросил, кто же этот больной: знакомый или родственник? Котляревский ответил, что это очень близкий и дорогой ему человек, почти родственник.

— Так, так, — согласно кивал Андрей Афанасьевич, хотя в душе и не поверил: сколько было случаев, когда майор присылал в больницу под видом своих родственников людей бедных, попавших в беду простолюдинов. Кто не знает, какое доброе сердце у господина майора?

В Полтаве это известно многим, и лекарь ничему не удивлялся.

Он предложил Ивану Петровичу зайти к нему, посидеть, а тем временем больной, может, и придет еще.

— Вы правы, я подожду. Пойдемте. Возможно, он и придет.

Иван Петрович прошел с лекарем в кабинетик, помещавшийся сразу при входе в больницу, из окна его был виден весь двор и дорожка, ведущая через сад к воротам. Пользуясь случаем, Андрей Афанасьевич рассказал о своих заботах: приближается зима, а в палатах топить почти нечем, еда тоже плохая и купить не на что: мизерные гроши дают больнице. Иван Петрович слушал, советовал непременно обратиться к князю Репнину, ни в коем случае не молчать, ведь речь идет о здоровье людей, и одновременно посматривал в окно: не показался ли на дорожке Лаврин? Врач уже дважды возвращался к больничным нуждам, пересказал, сколько не хватает картошки, крупы, дров. А Лаврина все еще не было. Значит, и не будет. Если бы хотел, нашел бы: больницу в городе и ребенок укажет, спроси только.

Котляревский собрался уходить, но тут доложили, что его ищет курьер из канцелярии генерал-губернатора: Котляревский тотчас вышел к нему. Передавая пакет, кланяясь, курьер сказал:

— Я, ваше благородие, дома у вас был, но... Пакет велено передать в собственные руки. От господина начальника канцелярии.

Котляревский разорвал конверт и вытащил записку. Новиков сообщал, что у князя он уже был и доложил о Лаврине Плахотниченко, князь обещал дела этого без внимания не оставить и в ближайшие дни вызвать помещика к себе и поговорить с ним, а если не поможет, то князь не остановится на одном разговоре, так что пусть Иван Петрович не беспокоится. Да, еще новость. Завтра, как он и сказал, Сергей Муравьев-Апостол будет у него дома, причем непременно. Они не засидятся, гости его — люди деловые и попусту времени тратить не умеют. "Так что и вы не мешкайте".

Иван Петрович поблагодарил курьера, сказал, что ответа не будет пока никакого, и отпустил его, а сам, простившись с лекарем, отправился домой. Ждала неотложная работа, и он торопился; снова, как и давеча по дороге в больницу, рассеянно отвечал

на поклоны встречных...

Всю первую половину дня усиленно работал, рассчитывая лишь после обеда отправиться в пансион, благо до обеда, пока идут занятия, воспитанники под неусыпным наблюдением своих наставников. Мотя несколько раз входила к нему, предлагая перекусить, но Иван Петрович словно не видел и не слышал ее, он был во власти обступивших его невидимых теней прошлого, вступал с ними в споры, то слушал сам, как они спорят между собой, горячо и страстно обвиняя друг друга во всех смертных грехах, сшибаются в смертельном бою, вместе с ними он ел и пил, смакуя вкуснейшие вина и яства.

Экономка, слушая, как Иван Петрович, словно развеселившееся дитя без особой, казалось, причины, вдруг заразительно смеется или начинает разговаривать сам с собой, сощурившись на лист бумаги, испещренный вдоль и поперек косыми буквами, пугалась, во все глаза смотрела на него, а он продолжал что-то говорить и писал, писал, кусая перо, остервенело макая его в чернила, потом, кажется, успокаивался и, лукаво подмигнув Моте, принимался ходить взад и вперед по комнате. Она же, видевшая не раз подобное, поначалу думала, что "пан майор съехал с глузду"[24], но потом, поняв, что это он "маракует над своими писаниями", облегченно вздыхала и тихонько прикрывала дверь.

Иван Петрович возвращался к столу, пил прямо из глечика холодный хлебный квас и, поближе к себе придвинув бумаги, исписанные четким, чуть косоватым почерком, перечитывал последние строчки еще раз.

Углубившись в работу, он уже не слышал настойчивых ударов ветра в оконные рамы, сухого потрескивания поленьев в камине, скрипа колодезного журавля, стука калитки.

## 2

В первой половине дня небо было чистым, ничто решительно не предвещало перемены погоды, белесые облака, еле видимые на прозрачном небосклоне, оставались неподвижны. Но вот они, заметно отяжелев, соединились, и внезапно образовавшаяся тучка, словно огромное судно с поднятыми парусами, заколыхалась над приречными лугами, медленно двинулась дальше — к Крестовоздвиженскому монастырю; окутав верх звонницы, повисла над городом, и тотчас тени от нее побежали по улицам, переулкам и пустырям, пересекли Соборную, а затем и Самсониевскую площади. Устремившись вдоль улицы Пробойной, оказались на Круглой площади.

Глухая тишина объяла городок — от Успенского собора до Киевского въезда, от бывшей усадьбы предводителя полтавских дворян Кочубея до Панянского спуска. Раскинувшаяся на двух холмах Полтава замерла, затихла под черным крылом тучи.

В тишине этой словно надорвалось что-то, сдвинулось, и внезапно с шумом и свистом полил дождь; жесткий и drobный, он начисто обсекал последнюю листву в садах, забирался, ничуть не церемонясь, за стоячие воротники чиновничьих мундиров, сердито стучал в кожаный верх ползущего по Дворянской улице экипажа. Редкие прохожие на Пробойной — приказчики гостиного двора, казачки из богатых домов,



чиновники — жались к потемневшим от дождя заборам, спасаясь от грязных ошметков, летевших из-под копыт гнедого рысака, мчавшего серединой улицы щегольскую коляску с седоком-офицером.

Это был первый дождь в октябре. Просторные площади и немощеные, в разбитых колеях и колдобинах переулки тотчас раскисли, по откосам и спускам в Полтавку и Рогизну ринулись мутные потоки; обычно сонные, невзрачные, речушки мгновенно взбухли, наполнились до краев и изо всех сил заторопились, резво прыгая по камням и корневищам, к медлительной красавице Ворскле...

Оторвавшись от бумаг и взглянув в залитое дождем окно, Иван Петрович хотел было позвать экономку и предупредить, чтобы напрасно не возилась, ничего особого не готовила: вряд ли кто рискнет, оставив уютный семейный очаг, в такую непогоду отправиться в гости. Но, подумав немного, звать экономку не стал. Что бы ни случилось — пусть камни низринутся с небес, — а Стеблин-Каминские приедут. Непременно прикатит и Белуха-Кохановский, будет, разумеется, и Новиков. Возможно — раз обещал — пожалует и Лукьянович. А там и еще кто-нибудь заглянет. Одним словом, соберется небольшая, но достойная компания, и очень хорошо: добрый гость в хату — хозяину радость.

Надо бы успеть просмотреть полученные накануне журналы, чтобы, при случае, обменяться мнением о прочитанном с гостями, снова, как в прошлый раз, поспорить о новых стихах молодых поэтов, печатавшихся в "Сыне отечества". Вообще-то журнал Греча в последнее время стал отменно интересный, читать его — одно удовольствие. А про "Вестник Европы" этого не скажешь, раньше, когда в нем публиковались стихотворения Пушкина, Грибоедова, Дельвига, журнал приятно было взять в руки, теперь же он скучный, со страниц его веет старческой заплесневелостью, жалеть приходилось, что выписал...

На часах в гостиной пробило шесть, ровно шесть. День как единый миг пробежал. Нет, не успеть уже просмотреть журналы, пора готовиться, вот-вот пожалуют гости.

В комнате, выходящей окнами на собор, быстро сгущались сумерки, на книжные шкафы легли тени, казалось, ниже опустился и так невысокий потолок. Чтобы рассмотреть в настольном зеркале, как причесан, Котляревский зажег все шесть свечей в двух подсвечниках и, по старой воинской привычке не мешкая, переоделся и все же не успел повязать шейный платок, как послышался шум у ворот, стук колес, голоса. Стеблин-Каминские! "Святое семейство" — как иногда в шутку называл их — пожаловало первым, и не вдвоем притом, — взяли с собой и сына.

Сняв в прихожей верхнюю, изрядно забрызганную дождем одежду, Стеблин-Каминские вступили в небольшую уютную гостиную.

Александра Григорьевна, цветущая, средних лет женщина, по-мужски крепко пожав руку хозяина, осведомилась прежде всего о здоровье, услышав в ответ шутливое "вашими молитвами", одобрительно кивнула:

— Нашими молитвами жить вам до ста двадцати непременно. — И вдруг подмигнула карим глазом: — А мы за обещанным. Не запамятовали? Степан мой прямо

замучил: вези и вези к Ивану Петровичу. Хотя бы ради хлопца почитаете?

— Право, не знаю, любезная Александра Григорьевна, что и сказать. Уже третий день в горле першит. Из-за погоды, думаю. Так, может, в другой раз? Да и ничего нового пока...

— Паша, а что я тебе говорила? — оглянулась Александра Григорьевна на мужа. Тот стоял у зеркала и приглаживал редкие на висках волосы. Услышав вопрос, с готовностью закивал. А Стеблин-Каминская продолжала: — Сердце мое вещало: как бы чего не приключилось с горлом пана майора. Ну, не беда. Для такого случая я кое-чего прихватила. Подлечим... Паша, где наш кошель?

— Сей момент! — Павел Степанович, кончив приглаживать волосы, приоткрыл дверь в прихожую, и в ту же минуту в его руках оказалась плетенка. — Вот она, голубушка! — Погладил витые ручки, приподнял полотенце, смешно выпятив губы, так что вислые усы сошлись кольцом, одним глазом заглянул в середину корзины. — И они, голубчики мои, тут и не вспотели, свеженькие.

— Оставь шутки, отец мой, лучше давай сюда кошель. Да живей!

Павел Степанович откинул, как фокусник, полотенце. В корзине одна к одной тесно стояли полдюжины бутылок.

— Это медовуха, а вот это сливянка, сама готовила, — похвалилась Александра Григорьевна. — Такой, пан майор, вы, может, еще и не куштовали[25]. — И, не ожидая, что скажет хозяин, приоткрыла дверь в прихожую, позвала экономку и, когда та явилась, попросила унести корзину на кухню.

— Не ожидал такого. Жалуете в гости — и на тебе. Ей-же-ей, обижусь, любезная Александра Григорьевна, — сказал Иван Петрович, когда Мотя, не обращая внимания на его недовольный вид, унесла с собой корзину.

— Просим прощенья, но — не дай бог — зачем обижаться? Не чужие ж мы? Отчего и не принести попробовать на один зубок? — И Стеблин-Каминская так просто и мило улыбнулась, что Котляревский, забыв о досаде, весело и непринужденно рассмеялся:

— На один зубок? Да тут целой компании зубы пополоскать хватит, причем изрядно... На вас положительно нельзя сердиться.

— Ну и ладно... А мы со Степаном все-таки надеемся, — усаживая мальчика на низкий диванчик, сказала Александра Григорьевна. — Ну вот сиди, а я к Моте зайду, может, пособлю ей чем.

Иван Петрович только развел руками: он знает настойчивость госты и, мол, чему бывать, того не миновать, уж такая судьба его.

Невольно вспомнилось прошлое воскресенье, когда, будучи в гостях у Стеблин-Каминских, пришлось по настоятельной просьбе той же Александры Григорьевны читать отрывки из "Энеиды".

Известно, чем это кончилось...

За чайным столом собрались все домочадцы, пришла — "случайно, на огонек" — и соседка Стеблин-Каминских — родная сестра Лукьяновича, в замужестве Есипенкова. Тогда после чтения некоторое время в гостиной было тихо, потом все разом

заговорили, наперебой расхваливая стихи, которые он только что прочел. Одна лишь хозяйка дома вела себя весьма сдержанно: поблагодарив Ивана Петровича, добавила, что, наверно, никто бы так не сумел читать "Энеиду", как он сам, автор. А потом, нисколько не смущаясь, хотя и шутя, заметила, что одна из героинь поэмы, известная под именем Венеры, ведет себя не совсем так, как подобает порядочной женщине, и, добродушно усмехаясь — не обидишься — пояснила: высокогато, входя к Зевсу, поднимает она платье.

— Слишком даже, — подтвердила Есипенкова и залилась румянцем. Маленькая, хрупкая, она была полной противоположностью своему брату — Андрею Федоровичу Лукьяновичу; тот был высок, довольно полный, хотя чертами лица, быстрым взглядом и свойством мгновенно краснеть по всякому поводу напоминал свою младшую сестру.

Иван Петрович ответил — тоже в шутку, — что к порядочным женщинам Венеру отнести трудно, поэтому она и ведет себя странно, появляясь в таком вот несколько фривольном виде пред очи небесного владыки. Оправдание прозвучало не убедительно, почувствовал это и сам автор, но, по обыкновению, отшутился, сказав, что и на старуху бывает проруха...

Спустя же три дня после вечера у Стеблин-Каминских еще раз прочитал это место о Венере, взвесил все "за" и "против", подумал вдруг, что в самом деле звучит оно резковато, не только для женских ушей, и тут же исправил одно слово, выбросил другое, затем пришлось переписать всю строфу. Прочитав ее, убедился, что теперь она зазвучала значительно лучше, четче, причем нисколько не изменился образ Венеры. В душе Иван Петрович благодарил Стеблин-Каминскую за шутливое, но справедливое замечание... Что-то она скажет сегодня?

Задумавшись, не услышал, как у ворот остановилась коляска, а вскоре в прихожей загудел бас Лукьяновича. Андрей Федорович, бывший братчик по масонской ложе "Любовь к истине", человек глубокого ума и доброго сердца, нежно любил Котляревского, и тот платил ему искренней симпатией. Большую часть года — весну, лето, осень — Лукьянович проводил в своем небольшом имении вблизи Полтавы, но как только позволяли обстоятельства, он тотчас отправлялся в город и первый визит наносил Котляревскому в его домике на Соборной площади. Он не мог иначе, это стало для него правилом, от которого отступить не имел сил да и не хотел. Любя родной язык, хорошо зная историю своего края, его думы и песни, он почитал Котляревского первым поэтом Украины, называл отцом родным, без которого жизнь не имела бы смысла... Справившись обычно о здоровье, Андрей Федорович осведомлялся о городских новостях, "кто построился и кто думает строиться", затем интересовался делами губернской канцелярии — средоточии всех самых важных дел губернии. Но главное, что занимало и что Лукьянович оставлял, как правило, напоследок, — это вопрос о том, что написалось у "пана майора" и не мог бы он сделать такую милость и прочесть; смущаясь, краснея, как девица, добавлял, что очень соскучился... по Полтаве, переехал бы сюда совсем, если бы управляющий имением не был плутом, доверься собаке — по миру пустит. Уволить же его он тоже не решался: возьмишь

другого — а кто поручится, что будет лучше?

Вслед за Лукьяновичем пожаловал Белуха-Кохановский в новеньком генеральском мундире, будто их превосходительство приготовились принимать воинский парад,

Павел Дмитриевич Белуха — Кохановский почти уже пять лет как был в отставке и, несмотря на различие в воинском звании, не считал зазорным посещать отставного майора, часто приглашал и его к себе в свой недавно отстроенный на Дворянской улице особняк. Слыл он среди местного дворянства оригиналом. Для своего времени был достаточно образован, имел неплохую личную библиотеку, выписывал почти все петербургские и московские журналы, вплоть до каких-то статистических сборников, которыми, кстати сказать, очень интересовался его сосед — начальник генерал-губернаторской канцелярии Новиков. Павел Дмитриевич много читал, пробовал сочинять и сам; по слухам, писал воспоминания об Отечественной войне.

В тесном кругу друзей Павел Дмитриевич как-то проговорился, что его мемуары будут нисколько не хуже записок Дениса Давыдова и даже, может статься, "Писем русского офицера" Федора Глинки; грозился в скором времени ознакомить с первыми главами. Но время шло, и никто еще в Полтаве не мог похвалиться, что слышал хотя бы строчку из мемуаров Белухи-Кохановского; тогда кое-кто из неумеющих соблюдать элементарный такт стал втихомолку посмеиваться над новоявленным летописцем прошедшей войны. Разумеется, участнику битвы с Наполеоном, каким был Белуха-Кохановский, встречавшемуся неоднократно с Кутузовым, Багратионом, Барклаем-де-Толли и другими прославленными военачальниками, совершившему вместе с русской армией победоносный поход за границу, участвовавшему в сражении под Ватерлоо, было что рассказать, не в пример многим другим, не нюхавшим пороха, но пишущим о войне. Генералу следовало помочь, и Котляревский предлагал ему свои посильные услуги, а тот благодарил и просил подождать. "Вот закончу — и почитаем. Еще немного осталось". Котляревский умолкал и больше в помощники не напрашивался, понимая, что уважаемый человек, каким считал Белуху-Кохановского, видимо, поторопился объявить о своих мемуарах и теперь просто бестактно напоминать о них. А впрочем, помогай ему бог.

Из тех, кто обещал быть, не приехал одни лишь Новиков, что-то его задержало, впрочем, в его положении это вполне оправдано: Михайло Николаевич еще не в отставке, временем своим, как бы ему хотелось, он не располагает, целиком подчинен службе, в любой час его могут вызвать и услат с каким-нибудь срочным поручением. Ну что ж, можно и подождать, авось и приедет.

Компания подобралась мужская, Александра Григорьевна ей не помеха, напротив — что перец к борщу. Стеблин-Каминский — неплохой собеседник, острослов, хотя с виду тихий, как, может, и подобает чиновнику Приказа общественного призрения. Лукьянович — душа-человек, и генерал — казак добрый. Приятно будет посидеть с ними, пропустить по рюмочке-другой чего бог послал, а попозже и "курочку" сообразить на несколько рубликов. В прошлый-то раз весь банчик генерал прихватил (повезло старику), а сегодня поглядим, ваше превосходительство, чья возьмет, чем

черт не шутит, может, и другому кому повезет.

В небольшой гостиной каждому нашлось место. Генерал облюбовал канapé под портретом Репнина, Лукьянович удобно расположился в креслах напротив него, за тем же столом — Стеблин-Каминский и рядом с ним — сын. Мальчонке все было интересно, он слушал, что говорят старшие, пялил глаза на яркую звезду на генеральском мундире, испуганно косился на подмигивавшего ему Лукьяновича.

— А что нынче нового? Не едет ли его сиятельство в Санкт-Петербург? Слух был, будто еще перед покровом собирался, — сказал Белуха-Кохановский, отпивая из бокала на тонкой ножке и макая в него пушистые седоватые усы.

— Вряд ли теперь поедет, погоды какие стали, а дороги развезло — хоть плыви, — тотчас отозвался Стеблин-Каминский. — Ну а ехать-то надо, не пошлешь же курьера, чтобы испросить высочайшее позволение на строительство института для девиц благородного звания.

— Не мешало бы наконец подумать также о строительстве гимназии, — сказал Котляревский, — Разрешение будто бы есть, а денег нет.

— У нас скорее тюремный замок соорудят, нежели гимназию, — вмешался в разговор Лукьянович. — И особого разрешения не потребуется.

— Что так мрачно? — усмехнулся Белуха-Кохановский, ставя бокал на стол. — Да и зачем вам гимназия? Детей у вас своих нет, а впрочем, и старое здание еще не так ветхо... — Генерал посмотрел, не собирается ли возражать Лукьянович, и поскольку тот, нахмурясь, молчал, он продолжал: — Замечу все же, если бы Репнин мог, он бы построил и гимназию. Он у нас князь-строитель.

— Не до этого ему нынче. Слышал я, чиновники допекли его так, что никого не принимает, — хмыкнул Котляревский. — Началось с Горобца[26]. Не слышали такого?

— Не слышал, — отозвался генерал. — Да мало ли птиц всяких развелось в нашей Полтаве. Наверно, крючок, каких поискать, лизоблюд к тому же. Тьфу! Откуда такие берутся!

— Обыкновенный чиновник, — сухо заметил Стеблин-Каминский, — как все.

Упомянутый Горобец был чиновником Приказа общественного призрения, и Стеблин-Ка минскому, руководившему Приказом, было неприятно слышать о нем такое.

— История, скажу вам, прелюбопытная, — вмешался Котляревский. — Неужто не слышали?

Поскольку никто не отвечал, он, подвинув кресло ближе к столу и загадочно усмехнувшись, сказал:

— Тогда, если позволите, я расскажу, что стряслось с этим Горобцом, один знающий человек поведал... Третьего дня его сиятельство рассердился на чиновников своей канцелярии: не составили они в срок, им назначенный, доклад, который он предполагал захватить с собой при поездке в Санкт-Петербург. Доклад предназначался министерству внутренних дел, самому министру. Ну и разнос учинил, и, полагаю, заслуженно: подвели братья чиновники начальство, да еще как.

— Совершенно верно, — подхватил генерал, не дав закончить Котляревскому рассказ. — Чиновник нынче такой пошел, что дай ему поблажку — под монастырь подведет. Я их братию знаю. Крючкотворы! — Генерал повернулся к Стеблин-Каминскому. — О вас тут речи нет, вы не в счет, поелику ведомо, какой вы работник. Так-с. Однако, прошу прощения, пан майор, перебил.

— Не извольте беспокоиться, — сказал Котляревский, дав генералу высказаться, и, снова усмехнувшись, поглядел на сумрачного Стеблин-Каминского. — Так вот, рассердился его сиятельство и приказал, чтобы никто из чиновной братии, пока доклад не будет готов, на глаза ему не показывался. Канцеляристы дрожат мелкой дрожью, и, конечно, никто и не мыслит появляться пред очи начальства, сидят, корпят над докладом, стараются, каждый свой раздел дописывает. Но — тут прибегает в приемную ничего не подозревавший человек из этого же чиновного племени. Недолго думая, никого не спросив, прямо в кабинет. Приоткрыв дверь, он сначала просунул голову: есть ли князь? Глядит — его сиятельство у окна, и чтобы обратить на себя внимание, кашлянул. Репнин услышал, обернулся: что за дерзость? Кто посмел явиться без разрешения? Ведь он приказал: не являться. И строго спрашивает: "А ты что за птица?" Чиновник только глазом моргнул и отвечает: "Горобец, ваше сиятельство". Эх, как взовьется князь да как крикнет: "Вон!" Чиновник юркнул обратно в приемную и так перепугался, что чуть было богу душу не отдал. Между тем князь понемногу отошел, вспомнил, что где-то в Полтаве служит чиновник по фамилии Горобец, и, вспомнив об этом, пришел в необыкновенно веселое расположение духа, велел позвать к себе одного Горобца. Тот предстал пред княжеские очи ни жив ни мертв, а князь похвалил его и наградил деньгами. И всех простил. Так что все чиновники канцелярии были весьма благодарны своему собрату, хотя некоторые и позавидовали: деньги достались ему одному, и немалые, да что поделаешь: не у всех-то фамилии птичьи...

Слушая непринужденный, передаваемый к тому же в лицах рассказ, гости от души смеялись. Оглушительно хохотал генерал, Лукьянович вытирал глаза платком, лишь Стеблин-Каминский помалкивал: чиновника-то он сам посылал к князю и, кроме того, кое-что в рассказе Ивана Петровича выглядело несколько преувеличенно, но, зная цену доброй шутке, поправлять рассказчика не стал, шурился на толстую свечу, оплывавшую в медном тяжелом подсвечнике, прятал в светлых усах усмешку.

— Так говорите: "Что ты за птица?", а он: "Горобец"? — не переставал хохотать генерал. — Театр... А кто же он — этот Горобец? Где служит?

— Это мой чиновник, из Приказа, — сказал Стеблин-Каминский.

— Ах вот оно что! — Перестав смеяться, генерал вытер платком шею. — Что же это он у вас такой пугливый?

— Так ведь Горобец. Птичка-невеличка.

— Коли такой пугливый, так не ходи по начальству, — заметил Лукьянович.

— А кто знал? Человек же он, глава семьи, стыдно, должно быть, так трепетать. Жена, три сына растут, а поди ж ты — достоинства никакого. Ведь заболел после того. Никак еще в себя не придет, — посетовал Стеблин-Каминский.

— Черт знает что получается. Где, скажите на милость, человеческая гордость у наших чиновников? — ни к кому прямо не обращаясь, сказал Лукьянович. — Нет чтобы идти гордо, голову держать, как подобает, высоко. Ведь ты человек!

— Точно, — отозвался генерал. — Божье создание. Венец природы!..

— Не все так мрачно, как вы думаете, господа. Есть у нас и такие, что не боятся сказать слово и сильным мира сего. Хотите, расскажу об одном таком случае? — Котляревский спокойно выбил трубочку и снова придвинул к себе коробку с табаком.

— А нуте-с.

— Не анекдот ли? — спросил Лукьянович.

— Почему же анекдот? — усмехнулся Котляревский. — Я буду называть собственные имена. Вот послушайте.

— А мне тоже разрешается? — вошла в гостиную Александра Григорьевна, неся на подносе миску с пампушками.

— Прошу вас, присаживайтесь.

Стеблин-Каминская, подобрав длинное платье, уселась в кресло, поманила пальцем Степу и, когда мальчик подошел, усадила его рядом с собой, благо кресло было довольно вместительным.

Иван Петрович, овладев беседой, не давал ей угаснуть, зорко следил за ее течением и, словно сухие поленья в костер, если он вдруг затухал, подбрасывал то рассказ, то анекдот, то вспоминал эпизод из своего прошлого. Теперь он вспомнил, что в полтавском театре, который не так давно еще работал, подвизался один артист, не чиновник, облеченный какой-нибудь властью, а обыкновенный лицедей, по нынешним понятиям — лакей.

— Впрочем, его зрители знали, — сказал Котляревский. — Это Павлов. Он ни в чем не уступал не только Угарову, но и Петру Барсову и даже Михайле Щепкину. Выделялся он своим характером, совершенно независимым, в этом мне, как директору, приходилось не раз убеждаться, но общий язык я с ним всегда находил. Вне театра он свой характер часто проявлял в ущерб себе же. Судите сами. Однажды Павлов сделал попытку дебютировать на московской сцене. Это никому не возбранялось и раньше, и теперь. Бывало, когда артисты провинциальных театров, желая испытать себя, уезжали в Москву и там предлагали свои услуги, случалось, такие попытки оканчивались успешно, некоторых принимали. Так вот, однажды Павлов надумал испытать и свое счастье. Я ему разрешил, и он уехал в Москву; нашел театр и, как полагается, подал прошение на имя директора. Для своего дебюта избрал он роль Мейнау из комедии "Ненависть к людям и раскаяние". В назначенное время начались пробы. Играл Павлов живо, интересно и, как потом мне написали, вполне пристойно. Здесь, возможно, сказались пребывание его в нашем театре. Мы в Полтаве высокому стилю не обучены, ходили нам ни к чему, мы старались воспитать у наших артистов драгоценное качество — вести себя на сцене как можно проще. Для Полтавы, как вы знаете, Павлов был достаточно хорош, публика одаривала его своей симпатией, принимала, может, не хуже, чем Михайлу Щепкина. Но в Москве Павлов ко двору не пришелся, а допрежь

всего господину директору не понравился. Сразу же по окончании пробы последний позволил себе сделать замечание, что, видите ли, на сцене выговор, как у Павлова, невозможен, здесь декламация необходима. Артист вспыхнул, но сдержался и спокойно, с присущим ему достоинством ответил: "Ваше сиятельство, чтобы судить об искусстве, для этого недостаточно генеральского чина". Их сиятельство страстно желало топнуть, как привыкло делывать сие, разговаривая с подчиненными, затем, не церемонясь, указать строптивцу на дверь. Однако здравый рассудок взял верх, генерал промолчал, а потом, принужденно засмеявшись, сказал, что артист, пожалуй, прав, образование его, то есть генеральское, небольшое. Его сиятельство изволило издеваться, Павлов понимал это и предвидел, что ничем хорошим его выступление не кончится, и он не ошибся: под каким-то предлогом ему отказали. Из гордости просить он никого не стал, никуда не ходил, собрался и в тот же день оказался на почтовой станции. Вот он каков, Павлов...

Гости от души, хотя и весьма сдержанно, посмеялись: им особенно понравился ответ артиста директору московского театра. Один лишь рассказчик не разделял их веселья.

Вспомнив о Павлове, снова разбередил старое, до мелочей представил всю жизнь театра: вечернюю суету в артистических уборных, стук карет и колясок у театрального подъезда, шиканье и едва сдерживаемое дыхание сотен людей перед началом представления...

Три неповторимых года, связанных с театром, наполняли его жизнь сказочно богатым содержанием. Каждый день приносил что-нибудь новое, интересное, обжигающее душу, но главное: спектакли не оставляли равнодушными зрителей, они очищали, приподнимали над приевшейся обыденщиной, облагораживали мысли и чувства. Ради этого стоило жить, мучиться, волноваться, не давать покоя себе и другим. Теперь нет ни всепоглощающих забот, ни волнений — образовалась ничем не восполнимая пустота. Правда, еще оставался Дом для бедных — его детище, боль и радость, немало отнимает времени и не вполне законченная "Энеида". И все же горько, обидно, особенно непереносимы были первые дни, когда вдруг в одно раннее утро опустело театральное здание — словно сердце из груди вынули...

Обидно и за Павлова. Где он? Что с ним? Так, верно, и не устроил своей жизни, по слухам — об этом совсем недавно говорил всезнающий Имберх, бывший сослуживец по театру — даже Штейн, перекочевавший в Тулу, не пожелал взять Павлова обратно: предприимчивый немец пугался независимого поведения, трудного характера этого человека, не сумел, а может, не захотел понять и оценить по-настоящему большой искренний талант. Кто знает, с кем нынче воюет и как живет этот гордец. Жаль, если расстался со сценой: для отечественного театра — потеря немалая. Впрочем, сколько истинных талантов погибло на святой Руси! Гибнет и нынче — ежедневно, ежечасно. Придет ли этому конец, господи?!

— Гм... Есть, однако, и у нас люди, коими вправе гордиться, — сказал Белуха-Кохановский. Человек прямой, он говорил, что думал: если восторгался — то громко, от



всего сердца, если осуждал — не стеснялся в выражениях. Открытое лицо его, иссеченное морщинами, несмотря на годы, дышало еще здоровьем и силой.

— Несомненно, есть, — заметил Стеблин-Каминский и вздохнул, тонкие усы его опустились, заключив в скобки острый подбородок. — Но судьба у них, Павел Дмитриевич, не завидная.

— Не понимаю! — вскинулся Лукьянович. — Вы — и такое слово? Незавидная! Да как можно так думать?

— А что — непозволительно? — спросил Павел Степанович мягко, его черные глаза смотрели на собеседника в упор. — Надеюсь, дорогой Андрей Федорович, вы не станете утверждать, что путь их усыпан розами?.. Как вы, например, полагаете, где нынче тот самый Павлов? Не знаете? А я слышал, что он — достойный муж обретается в каком-то разъездном балагане и если еще не спился, то сопьется непременно. Вот он, путь благородных...

— Зачем же так пессимистично? — болезненно поморщился, как от внезапно вспыхнувшей боли, Лукьянович. Он оглянулся на Котляревского, на сидящую за столом Александру Григорьевну, словно приглашая их разделить его мнение. — Я, сударь, хотел сказать совсем другое. Я не говорю о тех, кто потерял надежду на добро и утешения ищет в общении с Бахусом. Я тех имею в виду, кто крепок духом, верой непреклонен. Не спорю, удел их труден, но столь и благороден, и потому они счастливы!

Напуганная громким голосом Лукьяновича, Мотрена выглянула из прихожей, увидела поднятый над головой могучий кулак гостя и, успокоившись, скрылась. Степа, который мало что понимал в разговоре старших, с восторгом и страхом взирал на шумного Лукьяновича.

— Вспомните хотя бы господина Каразина, основавшего университет в Харькове. Какова его судьба? Тяжкая, но люди трудов его не забудут. Или вспомните нашего Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, что в Хомутне живет. Многие пережил он, а счастлив, ибо нашел путь свой в служении отечеству... И многие другие. — Лукьянович говорил искренне, от души, и потому нельзя было не заразиться его волнением.

"Конечно же он прав, — подумал Котляревский. — Можно бы назвать первым в ряду самых достойных и другого человека жестокой судьбы, но благородных деяний. Книга этого человека, смелая, силы необыкновенной, была сожжена, а самого автора всемиловитейшая царица-матушка отправила в ссылку в Сибирь. Но кто скажет, что этот человек забыт? Правда, помнят его по-разному: одни — до сих пор проклинают, многие же — благословляют. И так будет до конца века..."

Пауза затягивалась, становилась томительной, такие минуты всегда неприятны, а хотелось, чтобы всем было сегодня хорошо.

Обращаясь к Лукьяновичу, Котляревский добродушно усмехнулся — улыбка осветила его тонкое и почему-то бледнее обычного в этот вечер лицо:

— Дорогой Андрей Федорович, вы, батенька, златоуст, заговорили всех, а ведь пора и за стол. Посему — прошу всех придвигаться поближе. И — примемся за дело.

— Сие не убежит, — сказал Белуха-Кохановский, придвигаясь, однако, к столу. — Приготовленные Мотреной Ефремовной разносолы, я вижу, отменного вкуса, и мы их испробуем, но хотелось бы сначала послушать хозяина. Кое-кому он обещал прочитать новые стихи сегодня.

Александра Григорьевна подчеркнуто внимательно разглядывала узоры на скатерти, затем перевела взгляд на висевшую в простенке картину, изображавшую смеющегося испанца, и словно не слышала генерала.

— Не ожидал от вас, Александра Григорьевна, — укоризненно нахмурил брови Котляревский. — Выдаете?

— Бог мой, когда я вас выдавала? Ну а тут — каюсь — проговорила.

— Ну хорошо... Однако пока не сядете за стол, читать не стану.

— Ага, а потом банчик раскинете? — прошептал Степа.

— Как, и ты, Брут, против меня?

— Я не Брут, — ответил красный от смущения младший Стеблин-Каминский.

— Ну, сдаюсь.

— Молодец, Степан! — похвалил генерал. — Знай наших!

Придвинув стулья и кресла к столу, гости расселись кому как удобнее. Александра Григорьевна рядом с генералом, младший Стеблин-Каминский взобрался на высокий стул между креслами Лукьяновича и отца. Во главе стола — сам хозяин. Он попросил не стесняться, положить себе чего получше, наполнить бокалы венгерским вином, которое предпочитали всем другим винам в этом доме.

Когда вино разлили, Котляревский поднял бокал, посмотрел на него прищурясь:

— За что же выпьем? — И, подумав, предложил: — Давайте-ка за тех людей, о которых так хорошо говорил сегодня Андрей Федорович. За благородных рыцарей нашего времени! За то, чтобы не переводились такие люди на земле нашей! Будет их больше — род человеческий станет богаче, а жизнь — неизмеримо краше.

— Славно! — воскликнул генерал.

— А можно два слова? — спросил Лукьянович. — Дополнить хочу... Выпьем-ка еще и за дом этот, за его хозяина, который... — Лукьянович смутился под пристальным взглядом Котляревского, — который и есть из числа тех, о ком я говорил нынче.

— Перестаньте, Андрей Федорович! — вспыхнул Котляревский. — Что с вами?

— А ничего... Только скажу: не было бы в нашей Полтаве вас, Иван Петрович, опустела бы она. Не дай бог дожить нам до такого!

— Тут грех не выпить, — сказала Александра Григорьевна. — И тебе можно, Паша!

Она не отстала от мужчин — выпила до дна. Получив разрешение, Стеблин-Каминский осушил и свой бокал. А генерал не упустил случая съязвить:

— После полученного разрешения я бы, Павел Степанович, выпил и за жену.

— Налили! — Лукьянович быстро разлил вино. — Выпьем же за мою соседку Александру Григорьевну!

— Она не только ваша соседка, — заметил Котляревский.

— Не умеете тостов говорить, не беритесь, — буркнул генерал. — Я бы сказал так:

за нашу Александру Григорьевну! Чтобы не увядала ее молодость! Чтобы и дальше была она украшением нашего общества! За здоровье доброе, за счастье всей семьи Стеблин-Каминских!

— Вот это тост! — воскликнул восхищенный Лукьянович. — Где вы научились? Не у османов каких-нибудь? Те умеют.

— Ты лучше, сударь, выпей, чем болтать лишнее.

— С превеликим удовольствием!.. Но отчего хозяин пасует?

Котляревский, оставив бокал и приподнявшись, смотрел на отворившуюся дверь. Все обернулись.

В гостиную входил Новиков. В сюртуке, с поднятым воротником, тонкие пшеничные усы в каплях дождя. Лицо вытянутое, без единой кровинки, какое-то даже желтоватое.

— Добрый вечер, господа! Опоздал — прошу прощения! — Пожал руку хозяину, поднявшемуся навстречу, поздоровался с остальными.

— Вы так легко не отделаетесь, опоздавший. — Александра Григорьевна подвинула пустой бокал. — Ваше превосходительство, — обратилась к генералу, — прикажите ему выпить, а то на нем лица нет.

— Это мы поправим. — Генерал уже раскупоривал бутылку. — Чего вам, сосед, венгерского или чего-нибудь другого?

— Не беспокойтесь. — Новиков налил в бокал сахарной воды, отпил, вытер усы и оглядел застолье. Здесь были его добрые знакомые, друзья, приятели — тот круг людей, с которыми можно говорить, не оглядываясь, быть уверенным, что слово твое дальше порога не пойдет, его не станут пересказывать, перелицовывать на свой лад, придирается и истолковывать как-то совсем по-иному. Жаль, вот только нет графа Ламберта, очень интересного собеседника, братьев Алексеевых тоже нет, не помешал бы обществу и Семен Капнист. Круг стал бы шире.

Котляревский коснулся тонкой и холодной как лед руки Новикова:

— Что-то случилось?

Он имел в виду единственное: не изменил ли князь данному утром слову, станет ли разбираться с делом этого несчастного из калистратовской вотчины? У них, владык мира сего, это просто: с утра, после сытного завтрака, мило пообещают, днем позабудут о данном слове, а к вечеру сделают все наоборот. Но не может этого случиться, не может...

Новиков будто не слышал, снова потянулся к бокалу с сахарной водой.

— Имейте же терпение, — сказал он вдруг, не поворачивая головы и едва шевельнув губами, сидевшему рядом Котляревскому.

В гостиную вошла тишина, сразу же отчетливо выделился стук часов, сухой треск поленьев в камине, противный скрежет ветки об оконное стекло, монотонный, как зубная боль, шум дождя.

Новиков все еще молчал. Но почему? В канцелярии генерал-губернатора сегодня, как видно, был нелегкий день — уж очень усталым выглядит ее начальник. Вообще-то

вид у Новикова нездоровый, словно после тяжелой болезни, кожа на угловатых скулах — вошенная бумага, под глазами — глубоко врезанные синие дуги, лишь пламень глаз жжет, пронзает, и смотреть в него долго невозможно.

Оглядев притихшее застолье, Новиков улыбнулся — дрогнули тонкие ровные губы:

— Кажется, я помешал дружеской беседе? Прошу прощения!

— То, что помешал, не беда, такую беседу можно и прервать, а вот ты нам лучше поведай, если не трудно, что нынче нового в твоей канцелярии, новости какие попутный ветер занес в нашу Полтаву? — спросил Белу-а-Кохановский. По праву соседства и будучи старше годами и званием, генерал разрешал себе запросто обращаться к начальнику генерал-губернаторской канцелярии. Уважая седины этого человека, Новиков не обижался.

— Да, да, Михайло Николаевич, просим вас, расскажите, — тотчас отозвалась и Александра Григорьевна, страстная любительница новостей, откуда бы они ни исходили, но тут же, спохватившись, спросила: — А что же это не слышно вашей милой Аделаиды Христофоровны? Мы давно не виделись. Не захворала ли она, не приведи господь? Я люблю ее и скучаю...

— Да, Александра Григорьевна, вы угадали, жена моя немного приболела и никуда не выезжает, — ответил Новиков, глядя прямо в лицо Стеблин-Каминской. — И она вас любит, как, впрочем, мы все — ваши поклонники.

— Шутник вы, Михайло Николаевич. Но, зная вас, не обижаюсь... Передайте же больной, что завтра непременно заеду и привезу ей трав. Сама приготовила. На что же она жалуется?

— Простудилась и кашляет. Мы боялись — не инфлюэнца ли? Но лекарь сказал — нет. Приезжайте, обрадуете... Думаю, на балу у князя, который он дает по случаю выздоровления Вареньки, она уже будет... Вы не слышали о бале? Как же! В ближайшее воскресенье пополудни начинается. Приезжайте и вы, господа, не забудьте, — обратился Новиков ко всем, по привычке, которая за ним водилась, потянул себя за правое ухо и, уже обращаясь к генералу, отвечал: — День сегодня, доложу вам, ваше превосходительство, был не легкий. Князь все еще не может ехать в Санкт-Петербург с докладом, и вся канцелярия работала с самого утра и до сего часа. Справились наконец, а князь поедет только после бала. Но и вообще дел много. Просители, жалобщики... каратели. Идут да идут.

— Каратели? — переспросил Лукьянович. — Вы сказали?..

— А что я сказал? — Новиков удивленно приподнял брови, такие же пшеничные, как и усы. — Почудилось, сударь. Или... ошибся я, обмолвился...

— Вы обмолвились? — заинтересованно взглянул на Новикова Стеблин-Каминский, ироническая усмешка скользнула под усами.

— А вы, сударь, посидели бы с мое — этак часов двадцать кряду, — боюсь, не вспомнили бы имени своего.

— Полноте, Михайло Николаевич, будто не знаете, что и нам в Приказе призрения случается сиживать, и не меньше, нежели в губернской канцелярии... Ну да что нам

делить? — добродушно сказал Стеблин-Каминский. — Лучше поведайте, что вы слышали о событиях на Пелопоннесе? Приехал вот третьего дня из Ниццы граф Ламберт, так он, например, рассказывал, что, по слухам, поэт английский лорд Байрон заявил о своем непереносимом желании участвовать на стороне восставших... А что войска наши? Все еще на границе? Не перешли Рубикон?

— И не перейдут, — ответил Новиков. — А собственно зачем? Вот лорд Байрон, знаменитый автор поэмы "Паломничество Чайльд Гарольда", тот смело встал на их защиту. А у нас кто станет помогать восставшим грекам? Пусть против турок, но ведь они взбунтовались? Помогите им — и в России прецедент появится.

Так уж и появится, — проворчал Белуха-Кохановский, кладя себе на тарелку несколько грибков. — У нас тишина вокруг... словно в пустыне.

— Не скажите, ваше превосходительство, — возразил Новиков. — Разве не слышали, что и наша благословенная Малороссия подвержена потрясениям, как и вся матушка Русь? Да вот рядом хотя бы — в Решетиловском уезде — снова беспокойно.

— Что же? Неужели крови несчастных жуковцев недостаточно пролито? — спросила Александра Григорьевна, напомнив тем самым о кровавых событиях в Жукове под Решетиловкой. С тех памятных дней прошло три года, а в Полтаве во многих домах до сих пор говорили о трагедии в этом сельце: непокорных крестьян секли смертно, а вина-то их была в том, что не хотели покидать насиженные места, не могли расстаться с могилами предков.

Новиков как-то странно взглянул на Александру Григорьевну, заметил настороженные взгляды генерала и Лукьяновича, пытливые — Котляревского и Стеблин-Каминского и опустил глаза:

— До сего, надеюсь, не дойдет. Но кто знает, кто знает...

— Что же все-таки случилось? — спросил Лукьянович. С появлением Новикова он как-то притих, больше слушал, нежели говорил: слишком большим авторитетом являлся для него Новиков — бывший мастер масонской ложи, в которой и он, Лукьянович, был братчиком. Нынче же, хотя ложа второй год как распущена, этот человек — с виду слабый, нездоровый — имел огромное, непонятное Лукьяновичу, влияние на всех, кто его знал; упорно поговаривали, что сам князь, правитель края, с ним часто советуется, без него будто бы ничего серьезного не предпринимает. Этому верили, и оттого Новиков еще больше вырастал в глазах не только простого обывателя, но и всего полтавского дворянства.

— Прощу прощения, но... что же случилось? — Лукьянович привстал, повторив свой вопрос.

— Увольте, сударь, но... не знаю. Не слышал.

Лукьянович только кивнул: мол, понимаю и умолкаю. Стеблин-Каминский насмешливо кашлянул, однако тоже промолчал. Иронически взглянула на Новикова Александра Григорьевна: мол, все ясно, голубчик, знаешь, но говорить не желаешь, однако бог с тобой.

— Не знаете, то и не надо. Сказано же: в неведении — утешение. — Белуха-

Кохановский один, кажется, удовлетворился ответом Новикова, салфеткой огладил пышные седоватые усы и, взглянув на дремавшего в кресле младшего Стеблин-Каминского, всполошился вдруг: — Не пора ли и нам честь знать? Вон уже одного уморили умными разговорами.

— Да что вы! Десятый час только, — сказал Котляревский. — Может, и "курочку" сообразим?

— Нет, премного благодарим, сегодня не удастся. Правда, хотелось бы вас послушать, да ладно, в другой раз... Вот только Федор мой подъедет — и простимся.

— А он уже тут. На кухне греется, — сказала Мотя, собирая со стола пустую посуду.

Генерал торопливо поднялся из-за стола.

— Могу кого-нибудь подвезти. Вот вас, Александра Григорьевна, со чадами.

— Спасибо!.. Паша, собирайся!

— Мам, а как же?.. — протирая глаза, спросил Степа, робко, с надеждой поглядывая на Ивана Петровича.

— В другой раз, сынок. Иван Петрович, надеюсь, не убежит от нас. Не ускачете, пан майор?

— В ближайшую субботу буду у вас. Непременно.

Стеблин-Каминская, довольная обещанием Котляревского, склонялась в поклоне.

— Прошу всех к нам пожаловать. На этот раз можете не сомневаться — нашего пиита мы так просто не отпустим.

В этом я нисколько не сомневаюсь, — кивнул генерал. — Сам Суворов пред вами спасовал бы. — Он уже отыскал на вешалке шинель и, держа ее на руке, прощался с хозяином. Мотя передала Александре Григорьевне просохшую одежду.

Собрался и Лукьянович. В бекеше, с шапкой в руке, он занимал почти полприхожей, благодарил Ивана Петровича за приятный вечер, экономку, которая стояла тут же, за добрые пампушки и особенно караси в сметане. Мотя краснела, говорила, что пан Лукьянович известный насмешник: ну кто теперь карасей не умеет жарить, лишь бы ловились.

— Э, не говорите, — не соглашался тот. — Моя Ивга отродясь таких не готовила и не приготовит... Ну да у меня кое-что другое имеется. Иван Петрович, когда увижу вас на своем хуторе? — спрашивал, пожимая руку хозяина. — Хотя бы на недельку. Поохотились бы, порыбачили, я такие места знаю... Ну сделайте такую божескую милость, приезжайте, ну что вам стоит?

Котляревский обещал, но не сейчас, пожалуй, после рождества, а нынче у него много хлопот: и по пансиону — кое-кому из детей требуется помощь, и по своему домашнему хозяйству, оно хотя и небольшое, а время отбирает.

— Ко всем собираетесь, а когда ж моя очередь настанет? Я кое-какие новые журналы получил из Москвы, — сказал Белуха-Кохановский, уже облаченный в теплую генеральскую шинель.

— Обязательно, Павел Дмитриевич. С вашего позволения, кое-что и сообразим.

— Свое хотите взять? Проигрыш не дает покоя? Ну да поглядим, поглядим... Однако поехали, а то кони мои под дождем.

Котляревский проводил гостей на крыльцо, просил быть осторожными: может, где и лужа появилась, и оглядел небо: нигде ни звездочки; едва не задевая низкую крышу, проплыли густые тучи, из этой<sup>1</sup> беспросветной мглы лил, не переставая, такой же, как и с вечера, густой дождь, хлестал раскисшую землю, она же, покорно принимая сыпавшиеся на нее удары, необычно ярко блестела в слабом свете, падавшем из окон.

— Доброй ночи, пан майор! — слышался откуда-то из глубины двора, почти от самых ворот, голос Александры Григорьевны. — Новикова гоните, а то он такой, что и утра дождется.

— Обязательно погоню!..

Карета развернулась, кучер хлестнул кнутом — и вот уже глухой топот по размокшей дороге и стук колес растаяли в стене дождя.

Котляревский вернулся в гостиную, погрел у камина озябшие руки и, усаживаясь в кресло, спросил:

— Теперь-то, может, поговорим?

— Да, непременно. — Новиков пересел в другое кресло, рядом, поближе к камину. — Зябко и сыро. Чертовски противная погода, но до утра должна бы уgomоняться...

Котляревский ни о чем не спрашивал, смотрел, как Новиков тянет к огню небольшие, почти детские, руки, поеживается, и внезапно подумал: человек нездоров, может даже очень нездоров, а вот храбрится. Каждую осень и ранней весной здоровье его ухудшается, а признаться в этом не желает, работает, как, наверно, не каждый здоровый сумел бы. И не удержался, придвинулся ближе:

— Хочу дать вам, Михайло Николаевич, один совет: завтра же — и не позже — подайте прошение об отпуске. Вам надо уехать куда-нибудь на юг, лучше к морю, там найдете и лекаря — в Одессе, сказывают, опытные врачеватели. Вы совсем не бережете себя! Нельзя же так!

Котляревский хотел сказать и о том, что он, Новиков, будет нужен своим друзьям еще многие годы, и что его сыновья тоже не встали пока на ноги, отец им нужен, и что преступление — так относиться к себе, и если он, Новиков, не подумает об этом сам, то ему, Котляревскому, ничего не останется, как отправиться к князю, и тогда уж ничего не поможет — придется подчиниться.

— Все о других хлопочете, а надобно когда-нибудь и о себе... — Котляревский прервал себя на полуслове, заметив, как снова вспыхнули глаза его друга.

— А сами-то? Когда вы ездили на юг? А ведь и самому нелишне подышать морским воздухом... Впрочем, можем ли мы думать о себе, если в том самом селе Жуково не сегодня, то завтра прольется кровь невинных — таких же, как и тот несчастный, что приходил нынче утром к вам? Могу ли спокойно ходить, дышать, есть, пить? Имею ли право? И не говорите об отпуске! Подумаем лучше, что делать, как поступить разумнее! И помните — время не терпит...

— Вы говорите — кровь?... — Котляревский почувствовал, как сжимается сердце.

Усилием воли взял себя в руки. — Почему не сказали? Сразу, как пришли?

— Кому прикажете рассказывать такое? Жене Стеблин-Каминского? Милая женщина, но — женщина... А может, пану Лукьяновичу, у которого, как вы знаете, хутора свои имеются? Или моему милому соседу?

— У них у всех, как и у нас с вами, бьются в груди горячие сердца, к людям не безразличные.

— Это так, и все же не мог я, не имел права. Меня бы завтра же отставили от службы за разглашение служебной тайны. Надеюсь, вы это понимаете?

— Согласен... Но не возьму в толк, как я — лицо неофициальное — смогу предотвратить события?.. И скажите, князь-то знает? Имеется ли его согласие на сие?..

— Да, есть. Но послушайте. Передавая в распоряжение Кирьякова воинскую команду, Репнин выразил сожаление по поводу мер, к которым приходится прибегать, и добавил: он надеется на благоразумие господ Кирьякова и... Кочубея.

— Кочубея?

— Вот именно, сударь. Ведь Кирьяков еще не полностью вступил во владение проданным ему сельцом — тем самым, где крестьяне ропщут, не желают переезжать в Херсонские степи... Кочубей имеет право и не допустить посылки команды, может и купчую разорвать, благо получил он только задаток, да и то небольшой... Но кто знает, кто знает, как все обернется. В последние годы Кочубей очень переменился, я с ним говорил намеренно. Опустился, замкнулся...

— И вы, сударь, полагаете, что я?.. Что он?.. — Котляревский остановился посреди комнаты, сжав по привычке руки перед собой, сделал шаг к двери, словно намеревался идти, бежать, но вдруг остановился, увидев на пороге экономку:

— Что еще?

— Кучер их благородия приехал, — поклонилась Мотя.

— Хорошо!.. Скажи ему: пан уже собирается.

Экономка вышла, Котляревский стремительно обернулся к Новикову:

— Отвезете меня. Сейчас же!

— Я с вами.

— К нему я сам. — Котляревский уже надевал шинель, искал треуголку. — Мотя, закрой за нами... И не жди меня скоро. Может, задержусь.

Новиков тоже оделся, укутал шею теплым платком.

Мотя — в переднике, раскрасневшаяся от долгого стояния у печи, с закатанными по локоть рукавами легкой корсетки, — недовольно ворча: "и чего бы это на ночь глядя да в такую мокрядь ехать, горячку схватить захотелось", вышла на крыльцо, перекрестила уже не видных в темноте пана майора и его гостя и, повторяя "спаси и помилуй", закрыла тяжелую входную дверь и вернулась в комнаты: ей предстояло еще перемыть и перетереть насухо всю посуду, поставить на место стулья, кресла и столы, вытряхнуть от пыли салфетки и половички, а потом приготовить комнату пана майора па ночь: внести сухих дровишек и протопить камин, чтобы, когда вернется, было тепло и уютно.



Почти целый день Кочубей провел в Малой Перещепине и только к вечеру вернулся домой в свой новый особняк на углу Петровской площади.

Когда выезжал, надеялся, что справится быстро, дело-то казалось пустяковым, а обернулось иначе: и дела не сделал, и время убил напрасно. Как предводитель дворянства одного из крупнейших в губернии Полтавского уезда, он уже не однажды сталкивался с различными тяжбами, и случалось, ему удавалось погасить страсти, уговорить враждующих воздержаться от подачи жалоб в суд, где, как давно известно, подобные процессы затягивались на годы, люди теряли состояния, а толку никакого не добивались.

В Малой Перещепине столкнулись интересы двух помещиков из-за права владеть небольшим — в десять десятин — лесным участком. Лукашевич — мало-перещепинский землевладелец, который и пригласил Кочубея, тучный, с одышкой старик, — утверждал, что злополучный участок с деда-прадеда — старинная собственность их рода. Сосед — отставной майор Бровченко, одинокий, в солидном возрасте холостяк — доказывал свое: участок его, он никаких Лукашевичей знать не знает, дойдет до государя, а правды добьется, ни одного деревца из леса никому не уступит. "Ишь чего вздумал старый хрыч, — бушевал майор, — пока я верой и правдой служил царю и отечеству, воевал с богоотступником Бонапарте, он возьми да и прирежь себе угодье. А в тот лес, доложу вам, пан Кочубей, я еще с покойным батюшкой на охоту хаживал. Да лучше я удавлюсь, чем уступлю". — "И давитесь, — хрипел от удушья Лукашевич, — а я знаю: лес — мой. Еще прадед мой, блаженной памяти сотник Остап Лукашевич, получил жалованную грамоту от самого гетмана". — "Какого гетмана? Молчите? Тогда я скажу. Имя вашего гетмана — Мазепа. Изменник он, отлученный от церкви, и грамотам его — грош цена..." — "Сам вы, сударь, прохвост, коль заритесь на чужое".

Не было никакой возможности помирить их. Кочубей просил в крайнем случае поделить участок пополам, чтобы никому не в обиду, укорял их, стыдил, но тщетно: помещики — надувшиеся, как индюки, готовые с кулаками броситься друг на дружку — стояли на своем. Видя, что миссия его позорно проваливается, а спор может принять более серьезный оборот, Кочубей поспешил объявить, что делать ему здесь нечего, напрасно он приезжал, тут сам черт ногу сломит, пусть теперь суд их рассудит, а он умывает руки. "Отак бы сразу, пан Кочубей. Нечего меня было уговаривать, как девицу", — отрезал грозный майор и, громыхнув дверь, был таков.

Злой, уставший, отказавшись от обеда, предложенного Лукашевичем, Кочубей уехал.

Всю дорогу до Полтавы не переставал идти дождь, оконца в карете заливало, сквозь дождевые потеки едва проглядывали унылые осенние нивы, почерневшие стожки, одинокие деревья у обочины. Дважды карета едва не свалилась в овраг, спасла только ловкость кучера.

Уже в вечерних сумерках добрался наконец домой. Дядька Анисим помог

раздеться, стащил сапоги, набросил на плечи теплый шлафрок и принес горячего кофею со сливками. Кочубей, не взглянув даже на поднос, отругал Анисима и потребовал чего-нибудь покрепче и "того-сего" на закуску,

— Промерз, как сукин сын, — ворчал Кочубей, — до самой середины, а ты кофей тычешь. Поможет он, как мертвому кадило.

Анисим — старинный слуга дома Кочубеев, в прошлом — казачок отца Семена Михайловича — сразу понял, что барин вернулся не в духе, и, разумеется, перечить не стал: тотчас в кабинете появился добрый опошнянский глечик медовухи, свиная печенка, миска соленых помидоров, узвар из свежих фруктов.

— Будто целый день не евши. Гостевали, видно, погано, — заметил Анисим, прислуживая барину: принял опорожненную миску, поставил чистую, подлил медовухи.

— Черти ездили бы в такие гости, — чуть не поперхнулся Кочубей. — Принеси еще и вареников.

Анисим только ухмыльнулся и пошел на кухню.

Выпив и плотно закусив, пан сразу повеселел, разговорился, подобрел. Помыв руки над большой глиняной лоханью, расправил усы и, набив длинную трубку табаком, уселся в удобное глубокое кресло подле камина и велел Анисиму садиться тоже да поближе. Пыхнув дымком, спросил:

— Ну что тут стряслось за день?

Поездив еще с отцом Семена Михайловича по свету, Анисим немало повидал на своем веку и, будучи от природы смекалистым, умеющим не только видеть и слышать, но и размышлять, хранил в памяти бесчисленное множество рассказов, историй, преданий. Он знал древнюю и новую историю Малороссии, хотя был почти неграмотный, умел лишь кое-как расписаться. Память его, несмотря на преклонный возраст — ему уже подбиралось под семьдесят, — оставалась необычайно цепкой и светлой. К тому же Анисим обладал неподражаемым даром рассказчика; иногда повторяясь, излагая одну и ту же историю, он каждый раз как бы поведывал ее впервые, и потому-то в его рассказах появлялись все новые и новые детали. Мало кто в те годы в Полтаве знал так, как кочубеевский слуга Анисим Ярош, жизнь и деяния легендарных Байды и Тараса Трясила, Богдана Хмельницкого и Максима Кривоноса, Ивана Сирко и Северина Наливайко и многих других славных сынов Украины, бережно хранимых народной памятью. Не раз, бывало, Котляревский приходил к Кочубею с единственной целью послушать старого Анисима, упиться его дивной народной речью и не переставал изумляться тонкости ума этого человека, необъятности его познаний.

К своему слуге был привязан и Кочубей. Он вдовствовал: уже шесть лет как умерла Прасковья Васильевна; дочь Софья, неудачно вышедшая замуж, уезжала на осень и зиму на юг, увозила с собой хворавшую Наташку, любимую внучку, и Кочубей оставался один в большом, просторном доме, не мог найти себе места в опустевших комнатах. Тогда он охотнее, чем в иные дни, выезжал по просьбе помещиков разбирать их распри с соседями, жалобы на судейских крючкотворов. Уезжал, чтобы не сидеть в

тихом и пустом доме. А возвратившись, усаживал подле себя Анисима и просил рассказывать, что тому вздумается: истории, предания, небылицы, только бы не уходил, не оставлял его одного наедине с невеселыми думами. Не приказчик, не управляющий имениями, — Анисим был желанным собеседником томившегося в одиночестве одного из потомков печально знаменитого Василия Кочубея, оклеветанного Мазепой и впоследствии казненного им вместе с полтавским полковником Иваном Искрой.

— Закури, Анисим, — подвинул Кочубей круглую резную коробку с табаком.

— Благодарствую, ваша милость, но у меня свой табачок. Я его люблю крепким, а не так — травы вроде. Но я уже курил, больше сегодня не буду. — Анисим кочергой с деревянной рукоятью поправил в камине поленья, чтобы лучше горели.

Некоторое время барин и его слуга прислушивались к вою ветра за широким окном, прикрытым тяжелой плотной занавесью, порывы его были резки, хотя уже и не часты, и дождь стал тише, ровнее, похоже на то, что к утру распогодится.

Выпуская тонкую струю дыма, Кочубей следил, как она медленно тянулась в камин и исчезала в пламени. Свет от камина отражался в зеркальных стеклах шкафов, сплошь заставленных книгами в кожаных переплетах с золотыми обрезами. В первом шкафу, книгами которого чаще пользовался Кочубей, один возле другого теснились романы Анны Радклиф и Вальтера Скотта. Случалось, в зимние вечера, закрывшись в кабинете, зачитывался ими, особенно пленял Скотт — мудрый старый англичанин с неподражаемым умением заглянуть в человеческую душу, раскрыть те или иные ушедшие в века события. Но читать не хотелось. Он отдавался покою и теплу кабинета, в четырех стенах которого заключался сейчас весь мир.

— Так что же, Анисим, случилось сегодня? Что слышал? На обедню ходил?

— Непременно, ваша милость.

— В такой дождь? Мог бы и дома помолиться.

— В храме молитву господь наш вседержитель скорее услышит, поелику дорога из оного к нему короче.

— И намного короче?

Анисим почувствовал в вопросе иронию и в тон Кочубею ответил:

— Как-то меряли Роман та Ерась, да веревка порвалась. Один и говорит: "Давай свяжем", а другой: "Давай так скажем". Потому до сих пор никто и не знает, сколько же туда верст.

Кочубей несколько раз потянул трубку, часто засопел и рассмеялся:

— Да ты, Анисим, неверующий... Дойдет до отца Николая — от церкви отлучит.

Анисим насмешливо покосился на белое холеное лицо барина:

— Отец Николай не такой простак, как ваша милость про него думает. На храм божий я вношу кое-чего под каждый праздник. Так есть ему потреба отлучать меня от церкви? То прямой убыток. А коль пришлось бы и отлучить, то не одного ж меня, нашлись бы и другие.

— Гм... — кашлянул Кочубей. — Хитрец ты, Анисим, да бог с тобой... — Прикрыл

ноги пледом — с некоторых пор на сырую погоду они начинали нестерпимо крутить и ныть. — Так что же ты все-таки слышал сегодня?

Старый слуга, несколько секунд поразмышляв, с чего начать, сказал:

— Слух был, ваша милость, что на прошлой неделе в ночь под пятницу из Ворсклы дивчина вышла — вся в белом, коса до земли — и будто бы одного офицера, что гулял там, хотела замануть, да тот стал креститься, и она враз испарилась, ушла вся как есть под воду. А после того вот уже пять ночей кто-то стонет на Ворскле, а то заплачет, да так жалобно, что и сказать нельзя.

— Сказки то, Анисим, для несмышленных младенцев, и ты это знаешь... Однако продолжай.

— Может, и так, вам виднее. — Анисим подвинул кочергой полешек, огонь сразу же набросился на него и пошел трещать да посвистывать. — Однако от веку известно и то, что в каждой сказке и своя доля правды.

Кочубей иронически шевельнул бровью, но не возразил. Анисим же, помедлив, не дождавшись никакого ответа от барина, продолжал:

— А сегодня после обедни, слышал я, рассказывали, что у барыни Баглаихи годованка[27] жила; так она третьего дня перед самым вечером — еще и не стемнело — в Ворскле — упокой, господи, душу ее — утопилась. Дворовые сеткой нашли, а баграми не сумели. Уже, слышно, и схоронили — без молитвы, без попа, как басурманку.

— А не выдумка то?

— Кабы-то... — вздохнул Анисим. — Барыня избила ее самолично арапником, но ей показалось того мало — и отправила она несчастную на конюшню, чтобы, выходит, и конюхи выпороли. Срама, обиды такой не вынесла, бедная. А хорошая, рассказывают, дивчина была, тихая, приветная. Сирота. Баглаиха схоронила ее и хоть бы что. К обедне приплелась сегодня, и глаза ей на лоб не вылезли.

Кочубей долго молчал, быстро и глубоко потягивая из трубки, наконец глухо молвил:

— Вzbесилась, скаженная...

Был он однажды у Баглаихи, говорил, укорял за жестокосердие к людям. Она же ни в чем не раскаивалась, убежденная, что поступает по закону. "Люди-то мои, и я над ними владычествую, а ты, хотя и предводитель, а в мои дела не суйся... Коли не по мне, я могу любого дворового живота лишить, рука не дрогнет. И мне никто тут не указ... Ты вот совестишь меня, а вспомни свое Жуково! Как же так? Сам ты поступил верно. Учить их, рабов никчемных, надо, да покрепче, а то распустились..." Вот так ответила Баглаиха — здоровая, как добрый мужик, баба. Муж ее, старый и немощный, в позапрошлом году повесился.

Когда-то дед ее, сотник, получил земельный надел, он и достался теперь внучке. С хлыстом в руках она расхаживала по усадьбе и, если находила непорядок, нещадно избивала правого и неправого. Дворовые трепетали при ее появлении, боялись одного ее взгляда. Многих довела Баглаиха до петли. Довела и воспитанницу — единственное близкое ей существо.

— Грех-то какой... А что делать?! — Сокрушался Кочубей. — И это в моем уезде! Вот беда-то.

— Беда?.. Изуверство, ваша милость... А я бы на вашем месте присудил ее к тому же, что она делает с дворовыми: на конюшню да батогами, пусть бы почесалась.

Кочубей, как ни удручен был случившимся, не мог не улыбнуться: предложение дельное, но, к сожалению, неосуществимое, ни один дворянский суд к такому наказанию не присуждал помещиц, подобных Баглаихе.

Анисим уже никак не реагировал на вздохи барина, помешивал кочергой в камине и, когда Кочубей немного успокоился, сказал:

— Чуть не запамятовал. У его сиятельства Николая Григорьевича в воскресный день бал будет. Ихний человек рассказывал: мяса на целых двадцать рублей закупили и две бочки вина из ихней винокурни завезли.

— А по какому поводу бал, не сказывал?

— Говорил, а то как же. Дочка ихняя выздоровела. Вот и повод.

— Придется идти.

— Придется всенепременно. Я уже и фрак нагладил... И еще. Когда шел я от обедни из Успенского, то видел карету его превосходительства Белухи-Кохановского.

— Ну и что? — удивился Кочубей. — Чудак ты, Анисим. Мало ли карет разъезжает по городу?

— Может, и чудак, не спорю. Но я скажу, и куда он ехал. К пану майору Ивану Петровичу. И Стеблин-Каминских карету видал. Тоже туда ехали. И еще какая-то у самых ворот стояла.

Кочубей уже не удивлялся: Анисим знает, что говорит. Знает, как равнодушен Кочубей к майору. Раньше не раз бывали друг у друга, встречались у Новикова, Стеблин-Каминских, Лукьяновича и в других домах. Это были высоких мыслей беседы, о чем не раз с затаенной тоской и теперь вспоминает Кочубей. Но вот уже три года, как Котляревский не переступал порога его дома. К другим ходит, к себе приглашает, а его дом обходит...

Знает ли Анисим из-за чего? Может, и знает, да молчит, будто ему безразлично.

Все из-за Жукова, из-за несчастья, что свалилось как гром с ясного неба. Погибло несколько человек, вечная им память. Видит бог, он этого не желал. Но все как сговорились: отвернулись от него, будто никогда не были знакомы. Ничего не изменило отношений с бывшими братчинами по масонской ложе и то, что он отдал под открывшийся в Полтаве институт благородных девиц свою старинную усадьбу и дом, причем за полцены. Попечительница института княгиня Варвара Алексеевна и сам князь Репнин сердечно благодарили его, дворянское собрание выразило признательность публично, только братчики, мнением которых он особенно дорожил, сделали вид, что ничего не произошло.

И все из-за Жукова. Обиднее всего, что вины своей в этой злополучной истории он не усматривал. Приказал лишь вывезти несколько десятков семейств в Херсонские степи на новые свои земли, а жуковцы заупрямились, и управляющий тотчас вызвал

воинскую команду, позже он объяснял, что хотел только попугать непокорных. И попугал: десять человек схоронили. А сколько осталось искалеченных! Это же прямой убыток и к тому же и неприятность. Разумеется, как только ему доложили о случившемся, он изгнал управляющего, хотя оный и покался чистосердечно. Никто не оценил по достоинству эти шаги Кочубея, более того, его попытались осудить на собрании логи, и, возмущенный, он покинул собрание и больше не ходил ни к Капнисту, ни к Новикову, мастеру оной. Он считал, что все еще пожалеют, пусть только пройдет какое-то время.

Но его больше не приглашали в ложу, и к нему никто не приходил. Впрочем, неправда, приходил. Но как это было?..

По обыкновению, ужинать они садились рано — не позже семи вечера. Так было и в тот раз. Только что отужинали, Софья еще не увела Наташу, и немец-управляющий оставался в большой столовой, как вошел Анисим и доложил, что пожаловал майор Котляревский. "Вот и дождался", — подумал Кочубей и пригласил гостя в кабинет, но тот дальше столовой не сделал и шагу, и тут же при Софье, управляющем и Наташе, извинившись за визит, сказал, что только неотложное дело принудило его прийти, он обязан вернуть давнишний долг.

— Какой долг! — изумился Кочубей. — Вы не должны мне...

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. В свое время вы ссудили меня деньгами, чтобы я смог поехать в Санкт-Петербург. Позже я пытался вернуть сей долг — однако безуспешно. Но я уважал вас, находил человеком большого сердца и потому мог позволить себе пользоваться вашей добротой. Теперь не могу. У человека, которого я перестал уважать, денег занимать не намерен. — Он сделал паузу и в никем не нарушаемой тишине закончил: — Ваше Жуково сделало вам имя, не хочу говорить какое, и забыть это невозможно, тем более — простить.

— При чем здесь Жуково?.. Я преподнес вам однажды подарок и принять его обратно не могу. А вы, сударь, сделали для меня такое, что... — Кочубей не договорил, пламень обжог его лицо и шею.

— Вы хотели сказать, что я посвятил вам поэму! — Котляревский секунду смотрел на вконец растерявшегося Кочубея, ни одна черта в лице поэта не дрогнула, — Если бы я мог что-нибудь изменить, я бы сделал сие незамедлительно. К сожалению, это пока не в моих возможностях. Тем более, по уже изложенной причине, не могу быть вашим должником и подарок такой оставлять у себя не могу. Вот — прошу вас! Здесь и проценты. — Он вынул из внутреннего кармана мундира пакет и положил на край стола, на белую скатерть. — Честь имею...

Кочубей стоял как оглушенный. Это была пощечина, причем нанесенная в его собственном доме. Котляревский вернул деньги, которые он, Кочубей, считал подарком ему — первому малороссийскому поэту — за все им сделанное и также за те несколько слов, стоявших на титуле "Энеиды". Это позор — принять деньги обратно. Но Котляревский уже откланялся, пожелал доброй ночи оторопевшей Софье и, не взглянув больше на хозяина, покинул столовую...

Вспомнив об этом сравнительно давнем эпизоде, Кочубей четко, до мелочей представил поздний вечер — такой же, как и сегодня, столовую, хорошо освещенную двумя десятками свечей, онемевшую Софью, удивленные глаза Наташи — девочка ничего не понимала и только смотрела то на деда, то на нежданного гостя, которого она знала и по-своему любила; представил и себя — толстого, в домашнем халате, растерянного; увидел сгорбленную спину Анисима, словно и он, старый господский слуга, чувствовал какую-то вину. Представил и Котляревского: в шинели — он не снимал ее, — в сапогах, строгое, чуть вытянутое лицо, высоко зачесанные волосы, и этот жест, с которым он вынул пакет и положил, почти бросил, на край стола, — ассигнации с изображением августейшего лица рассыпались веером, как игральные карты...

В кабинете уже не было прежнего уюта и не так тепло грел камин. Анисим, казалось, дремал в кресле, склонив к плечу большую седую голову.

Зачем, зачем он принял эти деньги? Ведь давались они на великое святое дело — издание "Энеиды", экземпляр которой с авторским посвящением ему, Кочубею, стоит на самом видном месте рядом со старым мудрым Вальтером Скоттом. Краска стыда и сейчас заливает лицо... Когда и с помощью чего сумеет он вернуть расположение этого человека — незнатного, весьма небогатого, но дороже ему самых блистательных владык мира сего? Где-то глубоко в душе понимал: нет, тщетны его надежды. Знал твердый, непреклонный характер отставного майора: вряд ли когда-нибудь они снова будут так близки, как раньше. Нет, они не враждуют, но и не дружат. Поэт своей неприязни прямо не выказывает, при встрече раскланивается, но нет и дружеского расположения. И это обиднее всего. Оттого и оставаться в Полтаве нет больше сил.

— Что же ты, Анисим? Для того я тебя просил остаться, чтобы ты дремал?

Перекрестив рот, Анисим вздохнул:

— Да уж верно. Не взыщите. Может, чего подать?

Глаза слуги под лохматыми бровями были совершенно ясные и чистые. Нет, он и не собирался дремать, сна ни в одном глазу. Кочубей, заметив свою оплошность, лишь крякнул:

— Да нет, ничего не надо. Одначе... — прислушался. — Будто мимо проехали? Или показалось?

— Показалось. Кто в такую погоду станет разъезжать по городу? — проворчал Анисим, затем, опустившись на колени, подбросил в камин свежие полешки. — Спать-то тут стелить или в спальне?

— Тут. Там теперь холодно... Но пойдی погляди, кто там. По-моему, карета остановилась. Может, к нам ненароком?

Анисим бросил кочергу, с трудом поднялся с колен, сердясь неизвестно на кого, проворчал:

— Привидится же бог знает что...

Однако пошел смотреть. Ходил он недолго, почти тут же вернулся и с порога чуть ли не торжественно доложил:

— Виноват, ваша милость. Гость к нам...

— Гость? Кто же?

— Пан майор. Его благородие Иван Петровнч Котляревский. Что прикажете сказать ему? Принимать или, может?..

— Да ты что? Очумел, старый. Проси. И того... — засуетился Кочубей, вставая на кресла и запахивая на груди шлафрок, — принеси сюда... Да ты сам знаешь, что наш гость больше любит. И закусить подай. Марью разбуди, чтобы приготовила горячего... Да где же он?

— А вот... Милости просим, ваше благородие! — распахивая дверь кабинета, учтиво сказал Анисим, сторонясь, чтобы дать пройти Котляревскому, на этот раз без шинели и треуголки.

Кочубей пошел гостю навстречу, намереваясь заключить его в объятия, но вовремя опомнился и, улыбаясь, жестом пригласил следовать в кабинет.

— Добрый вечер, Семен Михайлович? Прощения прошу... — начал было Котляревский, но Кочубей не дал закончить, замахал руками:

— Да что вы?.. Очень рад! И не поздно совсем, детское время. Проходите сюда. К столу или к камину? Да нет, мы стол подвинем к огню ближе... Анисим?

— Не стоит. Мы и здесь посидим, если не возражаете.

— Как вам будет угодно.

— Боюсь, помешал вашему отдыху?

— Напротив, рад, что вспомнили... — Кочубей не стал продолжать, заметив, как холодно встретил его слова гость. Посетовал на себя: разговорился, старый болтун, сам напомнил старое.

Молчание становилось неловким. Анисим не появлялся тоже.

Котляревский не начинал разговора, выжидал, полагая, что не следует сразу переходить к делу. Рассеянно оглядел кабинет, в котором еще ни разу не был. Прямо перед ним в тяжелой золоченой раме висел портрет знаменитого предка Кочубеев — Василия Леонтьевича. Уловить взгляд его не удавалось: он смотрел куда-то в сторону, никого не видя. Чем дольше всматривался Котляревский в портрет, тем, казалось, понятнее, отчетливее становился замысел художника: неизвестный портретист стремился показать этого человека отрешенным от всего, что связывало его с жизнью, пленником вечности. На противоположной стене огромным красочным пятном выделялась картина родового имения господ Кочубеев — Диканька: с одной стороны луга, подступающие к самому дворцу, с другой — огромный столетний парк, дорожка, уходящая в едва синеющую загадочную даль. Там, за вековыми деревьями, занималось утро нового дня, а в их тени плавал предутренний сумрак. Несколько больших книжных шкафов были лучшим украшением кабинета. В иное время Котляревский посмотрел бы книги обязательно — вероятно, появились новые издания, пополнилась библиотека исторической литературой, которую, как знал Котляревский, Кочубей предпочитает всем другим жанрам. Но сегодня он к шкафам не подойдет, прежде всего — дело.



Между тем вошел Анисим, поставил на стол поднос с бутылкой венгерского и закуской, в вазе — груши, яблоки, виноград, абрикосы.

— Угощайтесь, — поклонился Анисим. — Не побрезгуйте!

— Что вы, дядько Анисим? Только зачем же столько? — Котляревский смутился от внимания старого слуги, которого он, если быть справедливым, ценил и любил больше всех остальных в этом доме. Ласково усмехнулся. — Я ж ненадолго... Ну а вы здоровы?

— Спасибо на добром слове. Грех нарекать на долю. От чарки еще не отказуюсь.

— Выходит, казакуем, дядько Анисим?

— Казакуем... тем самым местом на горячей печи.

Котляревский не смог сдержать улыбки. Кочубей обрадовался, увидев, что Котляревский так внимателен к его слуге и по-прежнему ласков, заторопился:

— Анисим, чего же ты стоишь? Разливай! Да и свою чарку не забудь.

Анисим разлил вино, поставил его сначала перед Котляревским, затем подвинул Кочубею и поклонился:

— Позвольте отлучиться... Мешать буду вашей беседе.

Собеседники — каждый по-своему — оценили ум и такт старого слуги.

— Дверь не закрывай. Будь тут, в диванной, может, понадобится, — сказал вдогонку Кочубей.

Когда за дверью затихли шаги, Котляревский отодвинул бокал:

— Поговорим сначала. "С трезвой головой — от сварки[28] подальше", — помните, так будто говорят в нашем краю?

— Так. Но у одного моего доброго земляка есть и такое присловье: "Як ковбаса да чарка, то минет и сварка".

— Мы с вами, Семен Михайлович, не ссорились. Во всяком случае, до сих пор. Так что не к сему случаю присловье.

— Будь по-вашему, — согласился Кочубей.

— К вам я пришел по делу, причем весьма важному. Скажу сразу: от вашей доброй воли зависит доля и, может случиться, сама жизнь людей, которые в вашем владении. Зная вас уже не первый год, я уповаю на ваше сердце и разум. С тем и пришел. Не к князю, не к губернатору, а к вам...

— О чем вы? — Кочубей, не зная, о чем собирается просить гость, удивился его словам. — В моих имениях, малых селах и хуторах, насколько я знаю, люди не жалуются.

— Благоденствуют, выходит? — горько усмехнулся Котляревский.

— Не скажу, — несколько обиженно ответил Кочубей. — Не все одинаково живут, это я знаю, но надеюсь на лучшее... И вообще, давайте, Иван Петрович, подумаем о скоротечности человеческой жизни, а подумав, поразмыслив на досуге, можно сказать с уверенностью: что бы ни случилось, а мир сей, нас окружающий, самый совершенный. Не так ли?

— Согласен, но не убежден.

— Почему же?

— Поелику тот, кто его сделал таким, мог бы сделать и лучше.

— Может быть, не знаю. И все же он достаточно хорош, — ответил Кочубей. — Посмотрите внимательно: какая благодать окружает нас, смертных. А вы думаете не так?

— Мир поистине прекрасен, под звездами нет лучше его, наверно. И все же — несовершенен он.

— Но почему?

— Хлеб очень дорог.

— Да что вы! На Руси он самый дешевый.

— Смотря для кого. Для господ помещиков, для иностранных купцов, коим продаем его, он и в самом деле самый дешевый, почти даровой. А для поселян, посадских, чиновников, для всего простого люда, кои в поте лица своего добывают его, — он еще слишком дорог. — Котляревский зорко взгляделся в полное, какое-то желтоватое лицо Кочубея, рассеяннo слушавшего его, и продолжал: — В херсонских степях и того дороже. Там хлеб почти не родит. Солнце каждый колосок выжигает. Скот гибнет от недоедания... Вы же, милостивый государь, именно туда посылаете своих людей, словно на погибель. Вот он — современный мир, о котором вы говорили.

Кочубей опешил: не ожидал, что Котляревский именно так повернет разговор. Он долго молчал и наконец ответил:

— Я их не посылаю... Не мои поселяне едут туда.

— Вчера они были ваши, сегодня уже нет. Стало быть, вы их кому-то уступили? То есть продали?

Кочубей уже не смотрел на гостя восторженными глазами. Он старался раскурить погасшую трубку, но это ему никак не удавалось, руки — большие, белые — тряслись, чего с ним никогда не было. Все сказанное Котляревским была правда. Чтобы избавиться от непокорных жуковцев, чтобы забыть их имя, он продал село и конечно же знал, что Кирияков часть поселян увезет в свои херсонские имения. Можно ли после этого оправдываться?

— Вы продали село Кириякову. Это известно, добрый наш Семен Михайлович, братчик по ложе!.. Скажите же, куда вашу бессмертную душу поместит бог? Скорее всего — в геенне огненной придется кипеть ей.

Кочубей молчал. Пот покрыл его лоб.

— Что же вы молчите? — Котляревский поднялся из-за стола. — Вы не знаете, верно, самого главного. Завтра, по просьбе вашего покупателя, разрешено послать воинскую команду в то самое Жуково. Там снова прольется кровь. И снова позор падет на вашу голову. Кирияков умоет руки. Вы же дали на это согласие. А ведь я надеялся, что вы... что я... — Котляревский задохнулся и схватился за грудь.

— Бог с вами, что вы такое говорите, Иван Петрович?! — Кочубей вскочил тоже. — Я ничего не знаю об этом.

— Выходит, Кирияков обращался от вашего имени, не испросив согласия? И после этого вы принимаете его? Ведете с ним переговоры? Я отказываюсь понимать вас,

милостивый государь. И не только я — все, с коими вы были некогда в самых добрых отношениях.

— Но что делать? Ведь я... получил задаток. И нынче такие дела, что...

Кочубей не договорил. Стыдно предводителю дворянства признаться, что у него нет лишних расходных денег, этот задаток уже почти истаял: отдано часть долга, а часть послано дочери.

— Сколько вы получили задатку?

Кочубей назвал сумму.

— Не страшно. — Котляревский повеселел. — Завтра поутру мы соберем эти деньги. Привезет их вам Михайло Николаевич. Отдадите Кириякову задаток и... разорвите купчую. Да, разорвите! Это самый лучший выход из положения, какой можно придумать... И оставьте жуковцев в покое, сударь! Прошу вас ради всего святого!

Кочубей поднял голову. Котляревский стоял перед ним, несмотря на годы, моложав, подтянут, словно ему не пятьдесят с лишним, а по меньшей мере — только половина этих лет. Котляревский — Кочубей знал это — не отступит; если отказать ему, он завтра же будет у самого Репнина, тот, разумеется, примет его, выслушает, и кто знает, как обернется дело. Может статься, стыда не оберешься. В этом отношении Котляревский тверд и несговорчив. А что это он говорил о геенне огненной? Ах да, он ведь не закончил еще своей "Энеиды", и, кто знает, может быть, в одном из новых разделов в ней появится и он, Семен Кочубей, — потомок славного генерального судьи запорожского войска. Но в каком виде? Впрочем, и это можно пережить. Самое страшное — суд современников.

— Что же вы молчите, сударь? Собирать деньги или... не следует?

Кочубей все еще не мог решиться на последнее слово. Разорвать купчую? Легко сказать. Ведь он был уверен, что навсегда избавился от этого села, и вдруг... Совсем не вдруг. К тому шло. Необходимо искать другой выход, во всяком случае, Жуково, как просит Котляревский и, как видно, не только он один, надобно оставить в покое. Хотя бы пока. Итак?..

— Я... согласен, — сказал наконец Кочубей и вытер вспотевшие лоб и шею. Хмурясь и не глядя на гостя, добавил: — Но не нужно посылать Новикова. Деньги у меня найдутся. Прошу вас.

Котляревский несколько секунд смотрел на вконец расстроенное лицо Кочубея, вдруг улыбнулся широко и открыто, подвинул ему бокал, поднял свой:

— Если не возражаете?.. Но за что? Давайте, милостивый государь, за вашу дочь! Чтобы здорова была и внучка! И за поселян ваших давайте, за то, чтобы теперь, а не pro futuro[29] им жилось лучше. — И выпил. Кочубей, поблагодарив за пожелание, выпил тоже.

Гость тут же стал прощаться:

— Меня ждут. Прощайте, Семен Михайлович, и прошу прощения за несколько поздний визит...

Котляревский стремительно вышел из кабинета. В прихожей его ждал старый Анисим. Он держал уже наготове шинель, треуголку.

— Дядько Анисим, что ж ты? Не захотел со мной выпить?

Старый слуга молча низко поклонился и подал шинель. Помог одеться и, когда шинель уже сидела на плечах майора, снова поклонился:

— Да благослови вас господь!

— Ты что? Плачешь?

— От радости. Я слышал... Дверь-то открыта осталась.

Котляревский пожал руку Анисима и, надев треуголку, спустился к выходу, тускло освещенному лестничным фонарем.

У ворот его дожидалась карета Новикова, сам Новиков, как. объяснил кучер, ушел домой пешком.

4

Дождь уже перестал, и небо прояснилось. Редкие рваные тучи торопливо уплывали в пустынные поля, темные провалы оврагов.

Над уснувшим городом встал молодой месяц, разлил потоки желтого света, осветил оконца хат и домов на правой стороне Келинской улицы; еще влажные крыши, крытые дранью, а большей частью камышом да соломой, засверкали темно-зеленой медью, а крутые спуски церковных маковок — золотом. Большие каменные дома Руденко и судьи Тарковского затмили вдруг и месяц, и само небо, но лошади, словно напуганные наступившей темнотой, сами без принуждения рванули по раскисшей дороге, вынесли карёту на светлое, на пустыри, прилегавшие к улице с двух сторон.

Спали дома, хаты, церкви, лавки и лавчонки с железными прогонами, перекрестившими почти каждую дверь, слышались только одинокие оклики караульных при всех четырех въездах в город.

В этом городе, что некогда был военной крепостью, он родился, вырос, здесь учился, стал служить, уехал и снова вернулся, начал стареть. Здесь живут его добрые друзья, которых он давно знает, часто встречается с ними. Живут в городе и малознакомые люди, недавно приехавшие, и такие, как госпожа Баглаиха, бывший столоначальник Новожилов и... Кочубей.

Еще в детстве он слышал о семье Кочубеев, но никогда не был у них в усадьбе. Лишь выйдя в отставку, вернувшись из армии, стал вхож в их дом. Семен Михайлович сам однажды пригласил и потом обижался, если Котляревский находил повод, чтобы не прийти. Котляревский верил этому человеку, было время, когда они даже входили в одну ложу масонов; собираясь на свои ассамблеи, весьма пространно рассуждали о высоком долге "вольных каменщиков", как называли себя масоны, перед ближними, обиженными судьбой, обездоленными. Тем тяжелее оказалось разочарование.

Нелегко было идти в дом, где некогда был желанным гостем, и открыто, в глаза сказать, что перестал уважать хозяина дома. Котляревский решил на это в тот самый день, когда узнал о кровавой оргии в Жуково. Он собрал все свои сбережения, одолжил

немного у Белухи-Кохановского и вернул до последней копейки старый долг Кочубею, который тот не хотел принимать, считая себя обязанным поэту. Тогда же Котляревский дал себе слово — больше он не переступит порога кочубеевского дома. Дорога ему сюда заказана. Но вот сегодня пришлось нарушить слово, данное самому себе. И снова из-за Жуково.

Если бы Кочубей пожелал, он легко выставил бы незваного гостя за дверь, не стал бы слушать, просто не пустил на порог. Но поступить так не посмел. Напротив, пообещал не допустить посылки воинской команды в Жуково, более того — собирался разорвать купчую с Кирьяковым. Какое-то непостижимое влияние имел поэт на этого человека — совершенно независимого, подчас не считавшегося с мнением и сильных мира сего; ни в чем не нуждаясь, имея обширные поместья, он покупал и продавал земли и села. Впрочем, иное занимало в этот ночной час Котляревского, беспокоило: что покажет день завтрашний, выполнит ли полтавский предводитель дворянства свое обещание?

Попросил ехать медленнее, хотелось подышать свежим воздухом, полюбоваться ночным городом. Молча кивнув, кучер — молодой, еще безусый хлопец в шапке, надвинутой почти на самые глаза, — свернул на Сампсониевскую площадь, шагом проехал вдоль Пробойной, вскоре карета пересекла Круглую площадь, очутилась у генерал-губернаторского дворца и присутственных мест, погруженных в темноту, проехала вдоль военных казарм — низких, мрачных зданий, огороженных высоким дощатым забором. Справа остался "домик с декорациями", — так полтавчане называли деревянное здание, на месте которого со временем должна была строиться гимназия; дальше за пустырем виднелось приземистое строение почтамта, еще дальше — угадывались очертания театра...

Карета повернула обратно, снова пересекла Круглую площадь, миновала памятник Славы, Спасскую церковь и вот он — Успенский собор, за которым и его обитель.

Кареты он не отпустил, попросил кучера немного обождать, он напишет для Михайлы Николаевича записку. Мотя, оказывается, еще не ложилась и сразу открыла, как только он постучал. Написать несколько слов и вложить записку в конверт времени много не заняло.

Пусть Михайло Николаевич знает, чем закончился разговор с Кочубеем. Конечно, нельзя не верить бывшему братчику, но у пана Кочубея — все это знают — случается семь пятниц на одной неделе: а вдруг, хотя и слово дал, пойдет на попятную, как только дело запахнет деньгами. Поэтому он, Котляревский, советует не спускать с Кочубея глаз, проверить, что он предпримет завтра поутру. Новикову это сделать легче, нежели ему, Котляревскому.

Отправив карету, постоял на крыльце, осматривая посветлевшее небо. Судя по всему, завтра должна быть хорошая погода.

Мотя, как обычно, успела протопить, и в кабинете было тепло, уютно, ровно горели свечи в низком медном подсвечнике. Намаевшись за день, Мотя ушла к себе, в доме стало тихо, только за окном тонко и отрывисто поскрипывали ветви старой груши да

шумел ветер, но скоро и они утихли, замерли. Огонь в камине погас, под пеплом дотлевали последние головни. Пахло сушеными травами — Мотя любила разбрасывать их на ночь — и воском оплывших свечей...

Пора бы и отдохнуть — скоро запоют первые петухи, но чувствовал, что заснет на скоро. Когда, случалось, засиживался допоздна с друзьями, стоило понервничать по какому-нибудь пусть мизерному поводу, и долго не мог уснуть, мучила бессонница. А сегодня весь день и весь вечер необычны — иной раз целый месяц подобных волнений не случается. Конечно же сна не будет. Поработать? Нет, не мог, беспокоили иные мысли, иные думы. Почитать? На столе лежали наполовину разрезанные, сегодня утром полученные, "Сын отечества" и "Вестник Европы". Пусть, однако, полежат до завтра.

Неведомо откуда накатила тоска. Когда оставался дома один, явление сие было каким-то образом объяснимо. Но случалось и так: в гостях, среди друзей, на каком-нибудь балу его вдруг захлестывало невыносимое чувство одиночества. Тогда старался незаметно, не обращая на себя внимания и не прощаясь, уйти. Чаше, однако, подобное приключалось с ним дома, в тепле и уюте.

Сколько уже лет один как перст, нет с ним рядом близкого, родного человека.

Когда-то была Мария, была и надежда, что она станет другом на всю жизнь. Как далекий золотой сон нынче — их встречи, бесконечные беседы, сумасшедшие походы из Коврая на хутор пана Голубовича.

Шли годы. А самого близкого человека все не было. Хотя, если бы он пожелал...

С первого дня появления в Полтаве театрального обоза, прибывшего из Харькова, Татьяна Пряженковская привлекла его внимание. Чем-то напоминала она Марию — внешностью, манерой разговаривать, молодостью. Помимо своей воли, он выделял ее среди других, именно ей поручил роль Наталки в своей первой пьесе. Не жалел времени и сил, встречался с нею, чтобы рассказать, какой он видит Наталку на сцене. Татьяна оказалась талантливой ученицей, свою роль она сыграла превосходно. После первых спектаклей они, однако, не сблизились, хотя Татьяна и симпатизировала ему; он не мог представить себя рядом с женщиной вдвое моложе его, чувствовал, понимал, ничего разумного в их сближении не будет.

Как-то однажды она рассказала, что в Харькове ей делал предложение брат предводителя дворянства и сочинитель — "тоже сочинитель, вы должны знать его". Семья жениха, однако, не согласилась, и брак расстроился. Она словно спрашивала: не случится ли то же самое и здесь, в Полтаве? Нет, хотел он сказать, ничего подобного не случится, потому что, дитя мое, семьи у меня большой нет, только мать, а она не возразит, кроме того, он не так богат, как харьковский сочинитель и помещик — Квитка, против Квитки — он беден, как Иов, и будущая супруга заметила бы это очень скоро. Есть еще одна причина, говорить о ней он не будет, это останется с ним. Татьяна со временем все больше и больше теряла те немногие качества, которые раньше делали ее похожей на Марию...

Пряженковская уехала вместе с труппой, ныне она в Туле, в театре Штейна.

Прощались, как добрые знакомые, была в меру мила, признательна за все, что подарил ей директор театра, — свои знания, опыт режиссера. И ни слова больше. В скором времени он получил несколько писем, какие пишут добрым приятелям, когда знают, что письма — только дань уважения, пройдет время — потребность в них, видимо, отпадет. Он ответил ей, пожелал успехов на театральном поприще. Что больше он мог сделать? Пригласить в Полтаву? Зачем? Да она бы и не поехала, ее привлекала сцена, а в Полтаве театра не было...

Снова он оставался одиноким. Родственники не в счет, у них свои хлопоты. Впрочем, почему он так несправедлив? У него есть добрые старые друзья, их много и в самой Полтаве, каждый предан ему, рад видеть у себя в доме, разделить с ним радости и горести. Стеблин-Каминские, Белуха-Кохановский, Новиков, Ламберт, Лукьянович, Капнисты, Матвей Муравьев-Апостол и другие — всех не перечесть. Выходит, он не так уж и одинок, как думает иногда. Правда, ему, как и каждому, хотелось и большего. Но это ему не дано, и, стало быть, грешно испытывать судьбу. У него свои радости и свои, конечно, печали, их тоже вполне достаточно. Такова жизнь, она не может состоять из одних радостей. Сегодня воспитанник его порадовал, а завтра опечалит. Сегодня — дождь, завтра — будет солнце, обязательно будет...

Так размышляя, Котляревский забылся коротким сном перед самым рассветом. Спал он не долго. При первом же шаге Моти проснулся и, по давней привычке, тотчас поднялся и, наскоро прибравшись, сел за стол.

Работа поглотила его почти сразу и целиком. Спустя какое-то время уже не слышал, как вошла экономка, поставила на стол, к правой руке поближе, чашку горячего кофея и мисочку свежих крендельков, которые он любил. По утрам выпивал только чай или кофея, а позже — перед уходом в пансион — завтракал. Был убежден: натошак работается легче.

Машинально, почти не глядя, выпил кофея, съел крендель, вкусный, испеченный на постном масле, и ваял еще один.

Управившись по кухне, Мотя вошла и затопила камин, убрала постель, а он продолжал работать, ничего не слыша, правда, экономка все делала тихо, двигалась по комнатам почти бесшумно, топила тоже так, чтобы не потревожить устоявшейся тишины. Когда же полностью рассвело, в лицо брызнули первые солнечные лучи, бумага на столе вспыхнула и стала золотой, мягким пламенем опалило и стены.

Почти в тот же час к Котляревскому постучали. Стук был осторожен, но экономка, возившаяся в прихожей, услышала. Спустя несколько минут она вошла в кабинет и остановилась у порога, не сделав дальше и шага, и — странно — Котляревский услышал ее, понял, что она вошла неспроста. Он спросил, почему она молчит, ведь кто-то пришел, не так ли? "Так, пан майор, пришел к вам хлопчик тут. В прихожей он ждет".

На хлопце, которого Мотя ввела в кабинет, светилась дырами серая свитка, на ногах — забрызганные грязью лапти, в руках — облезлая баранья шапка. Иван Петрович отодвинул бумаги, спросил участливо:

— Ну здравствуй! С чем пришел? Говори.

И удивился. Что же это? Знакомый облик, острые скулы, глубоко посаженные глаза — точь-в-точь Плахотниченко.

— Погоди. Ты чей?

— Плахотниченко.

— Я так и подумал. А что с ним?

Губы хлопца дрогнули, он ничего не ответил.

— Что же с ним?

— Побили... — И коротко вздохнул.

— Кто?

— Пан приказал, а осаула побил.

— А за что?

— За то, что в город ходили... У них цидулку нашли.

— Записку к лекарю?

— Пан грозился челобитную писать. Будто вы людей дурманите.

— Так... Ну, а батька что? Как он? Говори же!

— Слабый дюже, а... живы еще. Просили, чтоб побереглися вы, а то пан наш лютый...

У Котляревского перехватило дыхание:

— Как зовут тебя?

— Власом.

— Вот что, Влас, — притянул хлопца к себе, провел ладонью по голове. — Слушай. Передай батьке, что приеду к вам. С лекарем. Сегодня. А теперь иди. Пора мне. Хотя — стой! Мотя, накорми его и сапоги найди, те, юхтовые, они ссохлись, малы мне, а ему, может, в самый раз, а в постолах не пускай. Недолго и простудиться.

Мотя кивнула: она все поняла и повела хлопца с собой на кухню. Влас несколько раз с удивлением и словно даже с опаской оглядывался на высокого, строгого на вид, в длинном, почти до пола, халате пана, отдающего свои сапоги, которых никогда не только он, Влас, но и батько не носил...

Как только за Мотей закрылась дверь, Котляревский сразу стал собираться. Надо было застать Новикова в канцелярии, пока тот не уехал по каким-нибудь неотложным делам, предупредить, что он уезжает и чтобы не забыл о Кочубее; следовало также обсудить, как поступить с Плахотниченко. Понадобится, наверное, и лекарь, поэтому и в больницу надо заехать. Итак, скорее, нельзя терять ни минуты.

Котляревский торопился, мысленно был уже в дороге, в той хате, черной от дыма и горькой от слез, где живет, без всякой надежды на добро, простой честный человек. "Они еще живы", — сказал хлопчик, Влас, которому и пятнадцати нет...

Надев шинель и сняв с вешалки треуголку, задержал на мгновение взгляд на бумагах, оставленных на столе, — листах последней, шестой, части поэмы, и поспешно вышел, мысленно повторяя; "Иду!.. Иду, люди!"



На краю села — хата, почти по самые окна вросшая в землю. У дымохода — почерневшее от ветров и дождей гнездо аиста — старое колесо, обложенное прутьями и ветками. Ветер старается сбросить его, но ветки так сплелись, что никакой силе их не разорвать. Всю долгую зиму гнездо хранит память о своих жильцах и терпеливо ждет их возвращения, а когда с первым весенним ветром прилетят они — снова оживет и будет новая жизнь. Повеселеет и хата.

А пока здесь пусто. Слезятся оконца, глубоко вдавленные в стену, день и ночь, в непогоду и ведро, смотрят на заросший лебедой двор, на низенький, не видный из-за старых верб журавль у колодца с покосившимся срубом, у которого края от времени позеленели, обросли мхом. Соха с закаменевшими комьями земли на ручках приткнута в углу двора, тут же брошены одноволовое ярмо, деревянная борона с десятками уцелевших зубьев, а возле дубовой колоды — кучка мелко нарубленных осиновых веток.

Легкий дымок вьется из закопченного дымохода, едва видного над крышей; седой иней у дымохода подтаял, и на крыше образовались зеленые влажные пятна. Капля по капле падает темная вода с соломенной стрехи на утрамбованную землю под окнами.

Дымок кружит над аистовым гнездовьем и тает в сером небе. Значит, в хате есть люди. И верно: дверь скрипит, приоткрывается, и во двор выходит девушка, босая, с подоткнутым подолом, набирает охапку нарубленных веток и, возвращаясь, останавливается на гладком круглом камне перед дверью, смотрит на соседний двор — там, кажется, еще не просыпались, никого не видно; вздохнув, скрывается в сенях. А через какое-то время появляется снова, в руках — деревянное ведро, оно тяжелое, хотя и пустое, оттягивает плечо. Молодая хозяйка ставит его на землю, наклоняет журавль и, прицепив к нему веревочную петлю, опускает в колодец; не глядя, делает одно резкое движение вниз, слышно, как хлупает вода, ведро наполняется; быстро перебирая руками, девушка вытаскивает его из колодца, отвязав от журавля, подхватывает и, сверкая потемневшими пятками, идет к хате. Коса ходит по спине. На том же камне она останавливается и долго смотрит на соседнюю хату — там по-прежнему ничего не видно: ни дымка, ни признака жизни. Была бы ее воля, побежала посмотреть: есть ли кто, живы ли, а нельзя: что скажут соседи? А ведь давно уже обручена с Тимошей.

Качается журавль. Небо и поле, что сразу начинается за тыном, тянется до Ворсклы — серое, как и дом на горе, в его окнах — ни света, ни солнца. Пусто.

Все живое радуется рассвету, одна Олеся молит бога, чтобы подольше не рассветало, а потом ждет не дождется, когда кончится день.

Ночью спокойнее. Не постучит в калитку приказчик. Не поведут на конюшню отца, не приедут за нею, чтобы оторвать от родного порога, от отца и братьев. Ночью можно втайне от всех выплакать свое горе. Во сне явится мать, ласковая и добрая, Олеся прижмется к ее рукам, расскажет, как живется, как ей, братьям и отцу плохо без матери. До рассвета вся подушка станет мокрой, а сама она — будто с креста снята, в лице — ни кровинки.

Теперь, когда отца принесли из панского двора, она совсем потерялась, а соседи говорят: "Опомнись. Так можно загубить себя". А зачем ей, ну зачем такая проклятая жизнь? И все-таки надо жить, она ведь не одна: братья у нее малолетки, а отец слабый. Успеть бы зелье приготовить, потом кулешику сварить да киселя овсяного на обед, а для лепешек натереть картошки и смешать с мукой. С этим она справится быстро... А тут еще и Влас со своими причудами. Чуть свет убежал из дому, обещал скоро вернуться, чтобы на работу, на панский двор, поспеть. А пока нет его — и на душе беспокойно: а ну как опоздает — жди новой беды. Соседи уже потянулись — кто коноплю трепать, кто на панский ток молотить, убирать конюшни, кормить панских коров да свиней. И ей бы надо — коноплю за нее никто не потреплет. А как идти? Отец такой слабый, огнем горит.

Олеся протопила печь, сварила обед, напоила отца тепленьким зельем — настоем зверобоя — из того, что принесла бабка Секлета. Выпил он одну ложку и больше не принимает, она уже и просила, а он не может. И все смотрит на нее и Василька, и в глазах столько боли, что Олеся не может сидеть, принялась снова перетирать миски, а слезы, как горох, так и падают на руки, на сорочку, пекут, жгут сердце. Нету у нее дорожке человека, чем отец: он и пожурит и пожалеет; один он не испугался и пошел к пану просить, чтобы оставил Олесю дома, не продавал Кушниренку и не отдавал в солдаты Тимофея. А что из того вышло? Горе, и только. Если бы знать, не пустила бы. Но была надежда: может, пан смилуется. А он будто взбесился, грозил со света сжить. "Побудешь на конюшне — в другой раз не посмеешь ходить..."

На минутку присела на грубо сколоченный треногий стул, а Василек забрался с ногами на лавку и старательно водит пальцем по стеклу: рисует, что у него получается — не поймешь.

На мгновенье тень падает на окно. Василек прижимается носом к стеклу и отшатывается:

— Осаула!..

Панский приказчик Кузьма Роговый, которого в селе прозывают осаулой, толкнул сапогом ворота и, проехав двор, кнутовищем постучал в крестовину:

— Эй, там! На работу пора!

Никто не отозвался. Роговый постучал сильнее — задрожали крошечные, не примазанные к раме стекла. Поглохли, чертовы дети?!

Он соскочил с низкорослого коня, привязал его к тыну и шагнул в открытую дверь; не рассчитав, треснулся о низкую притолоку лбом, люто выругался, схватился за вскочившую шишку.

— А чтоб тебе, сатана! — Рванул дверь в хату: — Дай воды!

Олеся — ни жива ни мертва — нашла кружку, зачерпнула в ведре:

— Натё.

— А рушник?

— Висит он.

Стащив полотенце с жерди, Роговый намочил его и приложил к шишке. Минуту

морщился, плевался, а когда боль поутихла, уставился на Лаврина:

— Вылежуешься?

Лаврин не отвечал, молча, сцепив зубы, смотрел на приказчика. Испуганно уставились на него Олеся и Василек. У Рогового красные щеки вот-вот треснут. Единственным глазом, спрятанным под нависшей бровью, ощупал склоненную голову Олеси, скользнул по рукам и покатым плечам, дольше остановился на толстой косе. В какое-то мгновение по лицу приказчика мелькнуло подобие улыбки, но тут же и растаяло; Роговой заметил холодный взгляд Лаврина.

— Я за тебя пойду в поле? Вставай, лежень!

Олеся рухнула на колени:

— Смилуйтесь, паночку, они же еще слабые. У них жар. Я за них пойду, я справлюсь, вы не думайте.

— Цыть! — прикрикнул на девушку. — Тебе другая работа намечена. Жди: не сегодня завтра отвезут.

— А с кем же они останутся?

— Останутся.

— Лучше б утопиться.

— Теперь поплачь. А была б разумнее да послушалась и пришла ко мне, теперь уже и за Тимофеем была б...

— Грех-то великий!.. Хоть не говорите при них. — Испугалась: услышит отец — новой беды не миновать.

— А чего не говорить? Пхе!

Лаврин шевельнулся, на пол, сдвинувшись, поползла дерюжка, открыв в черных ссадинах плечо. Олеся склонилась над отцом, поднесла кружку с водой, смочила платком его сухие губы:

— Что вам, тату?

— А кто тут гомонит?

— Та тут... — запнулась. — Привиделось вам.

Роговой, швырнув на лавку полотенце, шагнул вперед:

— То я, мосьпане. Ну — прочумался? Теперь собирайся...

— Так встать не могу.

— Может, тебе помочь?.. У меня скоро. Ты мою руку знаешь.

Лаврин старался приподнять голову, но это никак не удавалось, и он лишь вытягивал сухую жилистую шею, а голова, большая седая голова оставалась на подушке:

— Добивай... душегуб!

— И не погляжу.

— Отольются тебе наши слезы.. До единой слезины.

— Подымайся! — зарычал Роговой, наливаясь кровью; он не мог, не хотел верить, что такой великан, как Лаврин Плахотниченко, не может подняться.

Роговой взмахнул арапником, но вдруг перед ним вырос Влас.

Хлопчик тяжело дышал, сапоги, подаренные Иваном Петровичем, он надевать в такую погоду пожалел и всю дорогу бежал по лужам в своих насквозь промокших постолах. Влетев в хату, не думая, бросился к приказчику:

— Не троньте!..

Роговый опустил арапник на худенькие плечи, грязно выругался. Влас почувствовал ожог, словно кто приложил кусок горячего железа к плечу, но не увернулся от удара.

— Бей!.. — И глаза его сверкнули лютой ненавистью.

— А-а, щенок! На!

— Что ж вы делаете? — заливаясь слезами, вскрикивала при каждом ударе Олеся, затем она бросилась к Власу, стараясь оттащить его от взбешенного осаулы. Тоненько подвывал на лежанке Василек. А Лаврин, страшным усилием приподнявшись на полу, захрипел:

— Душегуб! Меня добивай, а хлопца — за шо?

Роговый со всего размаху ударил Лаврина сапогом в грудь, и тот упал навзничь, глухо застонал.

Дети испуганно уставились на отца, позабыв в эту минуту о приказчике. Схватись за грудь, Лаврин хотел что-то сказать, но не мог. Приказчик занес арапник снова: Я тебя к памяти приведу!

Неслышно отворилась дверь.

Олеся, увидев вошедших, обмерла: это за ней, по ее душу; онемело смотрела на военного, за ним из сеней выглядывал еще один панок. Влас же, напротив, увидев офицера, радостно всхлипнул, слеза покатилась по рассеченной щеке. Василек забился в угол. Только ослепленный яростью Роговый ничего не видел и не слышал, он снова замахнулся арапником, но чья-то рука легла на плечо.

— Пусти!

— Не пущу!

Никогда еще Роговый не видел такого лица: оно пылало, а рука, с виду хрупкая и слабая, так сильно сжала плечо, что впору просить пощады.

— Ты что?

— На работу приглашаю.

— Ах, да... А может ли этот человек встать? Ходить?

— Да кто ж его знает... Расходится помаленьку.

Офицер в треуголке обернулся к своему товарищу:

— Вы только послушайте, Андрей Афанасьевич, что бормочет этот... анциболот. Он, видите ли, не знает, может ли ходить больной, и все же приглашает его на работу. И как? Арапником!.. Как же ты смеешь, ты, дерево бездушное, переступать порог хаты?

— Так я что... Я могу и пойти, — попятился к двери Роговый. Куда девалась его заносчивость, в один миг он сник, даже пригнулся, чтобы казаться ниже.

— Иди. И скажи пану своему, что приехал из Полтавы майор Котляревский по предписанию генерал-губернатора... И забирает этого несчастного с собой.

— Так я, ваше благородие, в точности передам.

Роговый метнулся в сени, споткнулся, чуть не полетел через порог. На дворе отвязал коня, вскочил на него и что есть духу погнал по улице.

Как только Роговый выбежал из хаты, Котляревский подошел к Лаврину. Присел на пол, взял за руку:

— Ну вот и я, братику. Как же они тебя, окаянные... Душегубы!

Котляревский заглядывал Лаврину в глаза, гладил дерюжку, которой тот был прикрыт, Лаврин же, увидев Котляревского, слабо улыбнулся, на душе стало легче, совсем легко, из глаз покатались две слезы, поползли по щекам, в бороде затерялись.

— Да ты что? Не надо... Мы тебя сейчас полечим. Лекарь со мной приехал... Подходите, Андрей Афанасьевич, приступайте.

— Я готов... Только, признаюсь, не ожидал и... растерян. Такой ужас.

— Вы не должны, не имеете права теряться, милостивый государь, вы — лекарь. Возьмите-ка себя в руки.

Иван Петрович освободил место подле больного, сам же отошел к окну, распахнул шинель; не в силах успокоиться, сделал шаг к двери, вернулся обратно, сжимая перед собой руки, не зная, куда их деть.

Во все глаза смотрела на него Олеся. Она понемногу пришла в себя: слава богу, ошиблась, приехали не за нею. Но кто же этот пан? Не тот ли, к которому вчера ходил отец, а сегодня утром бегал я Влас? Он назвался Котляревским. Так и есть! Он самый! И сапоги Власу, наверно, он подарил, вот они — под лавкой, новые, красивые и ей бы впору. Олесе и радостно, и тревожно. Что же теперь будет? Рогового из хаты выгнали! А что, если пан узнает? "Господи, — молилась в душе Олеся, — пронеси и помилуй".

Влас, восторженно глядя на майора, застыл у печи. Что им теперь какой-то приказчик? Убежал, испугался, лизоблюд проклятый, хвост поджал, как собака побитая. Вот так! А пан? Что пан! И пан, если придет, то же самое будет...

Василек тоже заинтересованно следил за приехавшими. Больше, однако, его привлекала треугольная шляпа военного и черный хвостик на ней. Шляпы такой он отродясь не видел.

— Иван Петрович, — тихо позвал лекарь, — подойдите. — И еще тише: — Взгляните. Это же неслыханно!

— Нет слов, голубчик... Но эмоции сейчас — слабые помощники. Может, я чем-нибудь могу вам помочь?

— Помощь ваша пока не требуется... Вот бы воды теплой...

— Должна бы найтись. Олесю, не найдется у тебя теплой водички? Лекарю надобно.

— Я достану... — Олеся отбросила заслонку у печи, рогаком вынула глечик теплой воды.

— Вот спасибо! — Лекарь осторожно принял из рук Олеси воду, а она чуть не зашлась плачем: что за люди? За что благодарность?.. Лекарь же снял с себя сюртук, повыше закатал рукава белой сорочки, раскрыл саквояж и попросил Олесю достать

чистое полотенце.

Между тем, пока полтавский лекарь Кондура Андрей Афанасьевич занимался больным, Иван Петрович попросил Власа позвать кучера. Тот мигом выскочил из хаты.

Прислонившись к столбу, подпиравшему потолок, майор вздохнул: вот так живет человек. Хата его — четыре шага от двери и столько же от печи к окнам. Лавки у стены, глиняные миски и кувшины, два-три глечика, деревянный совок и дежа, прялка, в углу — жердь, на ней — драный кожух, плахта, на гвоздике у двери — шапка. И все добро. А во дворе — соха, ступа. Так жили сто лет назад, так живут и нынче. Немало он повидал на своем веку, но такой бедности встречать не доводилось. За какие же грехи человек мучается всю свою жизнь — от первого вздоха до последнего?.. Иван Петрович почувствовал, как что-то невидимое и холодное сжимает сердце. Снял шейный платок. Вздохнул глубже, уловил аромат ладана, взглянул на лампаду, едва светившуюся в красном углу. Вот чему верят, чему поклоняются Лаврин и его дети! Богу! Его лик день и ночь перед их глазами: смутные, нечеткие черты лица на плоской доске. Кусок дерева — вот он, бог, тот, кто еще ломает человека, убивает душу... Может быть, Михайло Новиков как раз об этом — о положении крестьян — и хотел говорить с ним? Может, и молодые приятели его — братья Муравьевы-Апостолы — о том думают? Надо бы, крайне необходимо говорить именно об этом. Но успеет ли вернуться? Застанет ли братьев у Михаила Николаевича?

Вошел кучер. Иван Петрович попросил его приготовить в карете место для больного, пусть расстелет попону и ждет, он кликнет его. Поклонившись, кучер — молодой еще мужик из дворовых Новикова — ушел. Теперь, сделав хорошую перевязку, можно и ехать, поскорее ехать в больницу. Но Андрей Афанасьевич еще не управился, хотя Олеся и помогала ему, правда, каждый раз, как только замечала на лице отца гримасу боли, готова была разрыдаться, но сдерживалась и, судорожно всхлипывая, подавала лекарю вместо ложки глечик или наоборот, доставала из скрыни дерюгу, а надо было полотенце, лекарь просил Олесю не торопиться, успокоиться, и она покорно соглашалась, но не проходило и минуты, как все повторялось. Иван Петрович просил ее отойти, не смотреть, она же упрямо стояла на своем: нет, она будет помогать. Кто же лучше это сделает? Глядя на нее, на притихшего в углу лежанки Василька, на Власа, приткнувшегося у порога и готового по первой просьбе бежать, лететь стремглав, Иван Петрович чувствовал, как боль, будто игла, входит в сердце, и он, не зная, что говорит, повторял:

— Теперь будет лучше, вы не думайте. Мы его возьмем с собой, в больницу... Ты, Олеся, проводишь батька и ты, Влас... Лекарь вас пустит. И вы не бойтесь, не думайте... — И сам, не зная как, спросил:

— А где же мать?

Девушка перестала всхлипывать:

— Преставились... И болели недолго. Перебирали картошку в панском погребе, а он — каменный, холодный, там и застудились.

— Не знал я... Не знал, — протянул руку, чтобы погладить девушку по голове, как

маленькую, и не дотянулся. А она, словно успокоившись, вдруг сказала:

— А вы с дороги. Может, вам поесть чего?.. Так вы нас простите. У нас такого ничего и нет.

— Что ты, серденько, нам ничего не надо.

— А узвару выпьете? На грушах и сливах. Из погреба. Я принесу.

— Не ходи пока... Спасибо, Олеся, у тебя доброе сердце.

Лекарь, кончая перевязку, бубнил что-то себе под нос, уговаривал Лаврина потерпеть, мол, и бог терпел, и нам велел, и тут же ужасался, что такое душегубство возможно только в диких краях, где нет ни закона, ни суда, где существует только право сильного, подобного и в дурном сне не представишь. И снова: "Потерпи немного, дорогой, еще немного — и будет лучше... А теперь выпей вот этого. Конечно, это не очень крепкое, но все же..."

Топот слышался внезапно, словно шел из-под земли, потом и сама земля загудела. Котляревский выглянул в окно: запряженная четверкой рысаков, карета вынеслась из-за верб и остановилась как раз напротив двора. С козел соскочил кучер, бросился к дверце.

— Ой боже ж мой, то ж пан, — простонала Олеся и остановилась среди хаты, не в силах сделать и шага.

— Не бойся, — спокойно сказал Иван Петрович. — Подай пану лекарю воды и выйди, и ты, Влас. А вы, Андрей Афанасьевич, заканчивайте, ехать пора...

Олеся и Влас тотчас выскользнули в сени, остановились в дальнем темном углу, когда на пороге появился пан Калистратович. Пригибаясь, чтобы не задеть перекладину, он шел и шел, палкой отбросил крючок на двери. Из своего угла брат и сестра видели толстую, словно распухшую шею, высокую шапку, меховой воротник шубы. Выбрасывая вперед ноги, пан шагнул в хату.

Влас и Олеся остались в сенях. Пан никогда не заходил к крепостным и не знал, где кто живет; проезжая селом в закрытых каретах, не смотрел по сторонам: что ему село, люди? А тут нашел, приехал. Что же теперь будет? Из-за двери, плотно обитой кусками домотканого сукна, слабо доносились голоса, но что говорили, разобрать было невозможно.

Между тем Калистратович, оглядевшись и отдышавшись, увидел перед собой майора — невозмутимого, в наглухо застегнутой шинели. Он приподнял шапку и отрекомендовался:

— Честь имею. Здешний землевладелец Калистратович. Сильвестр Пантелеймонович.

— Котляревский, Иван Петрович. Майор в отставке. А это — лекарь, Андрей Афанасьевич Кондура.

— Как же! Как же! Наслышан. Имел даже удовольствие лицезреть в Полтаве вашу оперу, в коей рассказывается о жизни простолюдинки Наталки. Превеселое, и даже весьма, лицедействие.

Котляревский, выслушав помещика, ничего не ответил. А тот, считая, что сделал

приятное гостю, продолжал:

— Что же вы, милостивый государь, изволили объехать мой дом? Я гостям рад, а таким — тем паче. Супруга моя, Неонила Аркадьевна, приказала без вас не являться.

— Благодарствую, но заехать не смогу... Недосуг, милостивый государь.

— Так уж и недосуг? — Калистратович вытащил из заднего кармана большой цветастый платок и вытер шею. — А что же в таком случае привело вас в мое сельцо? И именно в эту избу?

Котляревский помнил, как важно быть сдержанным с удовольствием он бы ответил так, как того заслуживает этот господин, но вряд ли это поможет делу.

— Привело меня в эту хату крайне неотложное дело. В губернской канцелярии стало известно, что в вашем сельце весьма некрасивая история произошла, я бы сказал больше — трагическая. Едва не погубили человека... Ваши люди, господин Калистратович, недопустимо превысили власть.

— Ах вот оно что. — Помещик секунду смотрел на лежащего на полу и уже перевязанного Лаврина. — По моему глубокому убеждению, не стоило заботиться, милостивый государь. — Калистратович прошел к лавке и, стряхнув на пол какую-то тряпку, сел. — У меня таких людишек знаете сколько?

Котляревский снова поймал себя на мысли, что может не сдержаться, и, глядя прямо перед собой, сказал:

— И это известно в губернской канцелярии. Но отнюдь ничто и никому не дает права лишать человека живота. Вы вправе пользоваться трудом, но не больше... А вы... убиваете!..

Калистратович снисходительно усмехнулся: молод меня учить, мол, да и что ты знаешь.

— Чтобы владеть, нужно иметь крепкую руку, милостивый государь, иначе... Впрочем, вы этого не поймете, у вас-то, если не ошибаюсь, во владении нет почти никого. Пять душ — это же ничто. Да и этим собираетесь вольную дать? — Глаза помещика стали вдруг стеклянные, он смотрел и будто не видел. Но сколько ненависти в этих глазах! Иван Петрович невольно вздрогнул. Выдержав небольшую паузу, холодно ответил:

— Да, собираюсь. И не только я. Думаю, такое состояние людей — самое естественное. Но этого вы не поймете, милостивый государь. И не об этом речь сейчас. — Голос Котляревского окреп. — Речь о том, что вы — именно вы — превысили свои права, довели человека до ужасного состояния. И за что?.. За то, что пришел просить вас? Кстати, дочь его вы не могли продавать, поскольку она уже помолвлена. Нельзя и жениха ее отдавать в солдаты.

— Ну уж позвольте, хозяин тут я.

— Есть границы и вашей власти — не забывайте, сударь.

Калистратович долго, в упор, смотрел на спокойное лицо майора.

— Слышал я, господин майор, что князь благоволит вам. Но, смею уверить, вас он в этом случае не послушает. Он ведь тоже душевладелец.



— Не намерен на сей предмет спорить с вами. Обращаю ваше внимание на то, что недопустимо в наш просвещенный век разрывать естественные узы, скрепленные богом. И ради чего? Ради омерзительной прихоти развратного злодея, коему вы продаете дочь этого поселянина, отрываете от семьи. Знаете ли, как это называется?

— Не знаю. И знать не намерен. Скажу вам, однако, следующее... Ваши понятия — не для меня пример. Я бы невесту не отдал. Не уступлю и здесь,

— Я хочу думать, вы не потерянный человек. Я взываю к вашему благоразумию. Будьте же милостивы! И вам будет воздано по заслугам.

Калистратович шумно вздохнул, оглянулся на лекаря, скромно сидевшего возле больного и считавшего его пульс. Лекарь несколько раз кашлянул, давая понять Котляревскому, что он готов ехать. Но Котляревский будто не слышал этого покашливания, не понимал его значения, помещик обратил на это внимание и кивнул Андрею Афанасьевичу:

— Торопитесь? А вы бы все же посетили мой дом.

Котляревский говорил о другом:

— Будьте благоразумны!.. Пусть дочь Лаврина останется дома и пусть выходит замуж за своего избранника. Вы сделаете доброе дело.

— Я сказал, что к добрякам не принадлежу... И не знаю, не уверен, милостивый государь, что таким вообще должно быть место в нашей жизни.

— По этому поводу спорить не стану. Время нас рассудит. А пока, сударь, мы должны ехать... И да будет вам известно, берем с собой этого несчастного. Он должен быть помещен в больницу. Как вы считаете, Андрей Афанасьевич?

Откашлявшись, лекарь ответил:

— Беспременно, господин майор... Иначе я не ручаюсь за... — Он не договорил, увидев два синих глаза мальчика, сидевшего в дальнем уголке на лежанке.

— А мне кажется, и без больницы обойдется. Дочь, пока он будет хворать, останется дома. А жених... Не знаю...

Котляревский достал из-за обшлага шинели конверт.

— Это предписание. Вам надлежит быть завтра в десятом часу у генерал-губернатора на аудиенции... Здесь же есть распоряжение и относительно этого человека. Читайте!

Калистратович сломал печать.

— Обскакали меня? Но не радуйтесь — я челобитную подам.

— Вы будете иметь возможность сделать это лично у князя. Но помните, господин душевладелец, за все, что здесь произошло, вам предстоит ответить перед судом.

— Каким? — потянулись вверх брови помещика.

— Есть такой суд... Позор ляжет на весь ваш род. Вся Полтава, да что Полтава — Россия будет знать о ваших душегубствах. — Котляревский не мог дольше сдерживать себя, всей душой ненавидел этого откормленного, самодовольного человека, который кичился своей властью над бедными, беззащитными людьми. Так нет же, он сделает все возможное, чтобы пригвоздить его к позорному столбу. — Да, да, ваши деяния вас

же и пригвоздят к позорному столбу. Бойтесь этого, господин Калистратович!

Наливаясь кровью, тот вскинул голову, сжал в руках толстую суковатую трость:

— Опасный вы человек. Удивляюсь, однако, его сиятельству, как до сих пор он этого не понял... Что скажете, если однажды князь поймет? Он ведь человек далеко не глупый.

Котляревский откровенно иронически усмехнулся: вот какой оборот приобретает разговор.

— На это последнее я и рассчитываю, сударь.

Калистратович круто повернулся и, не прощаясь, вышел. На пороге задержался:

— Вы этот день попомните!

— Непременно! Такое приятное знакомство забыть невозможно.

В хате некоторое время было тихо. Потом послышался грохот отъезжающей кареты. Лекарь выглянул в окно, облегченно вздохнул:

— Наконец-то!

Котляревский надел треуголку.

— И нам пора...

Прощаясь с Олесей и Власом, Иван Петрович обещал приехать к ним еще раз. Власа он просил прийти к нему завтра; если его, майора, не будет дома, Мотя все сделает.

— Она просила, чтобы пришел, хотела кое-что передать тебе и Олесе тоже... Может, все-таки будет свадьба?..

Олеся вдруг упала на колени, прильнула к ногам майора. Котляревский поднял ее, долго успокаивал, а она, заливаясь слезами, все пыталась поцеловать ему руку. Он убеждал ее, чтобы перестала и думать о плохом, она молодая, пригожая и жизнь у нее будет такой, что ему, майору, и не снилось, а у детей ее — и того лучше. Только верить надо.

— Понимаешь, верить? Потому что без веры на этом свете очень трудно.

— Разумею, только ж... — И снова пыталась поцеловать руку.

— Не надо. Я не поп...

На улице стояли люди — в свитках, кожаных, но все без шапок.

Заметив это, Иван Петрович спросил у идущей рядом Олеси, почему сошлись ее соседи и почему без шапок, ведь не лето нынче, холодно?

Посмотрев вокруг, она тоже удивилась: сколько людей собралось! Зачем? А люди, увидев майора, низко кланялись ему, словно самому дорогому человеку.

И Олеся вдруг все поняла. От людей ничего не скроешь. Да и невозможно это в селе. Тут каждый на виду. Все знали, что случилось в семье Плахотниченко. Не прошел незамеченным и приезд майора, и то, как выскочил из хаты панский приказчик. Потом — неслыханно! — появился сам Калистратович. И тоже уехал, и, как видно, несолоно хлебавши.

А теперь увозят Лаврина. И куда? Кучер говорит: в саму Полтаву, в лазарет. И все это сделал пан Котляревский, тот самый, кто сочинил "Энеиду" и написал, как

рассказывали люди, бывавшие на ильинских ярмарках в Полтаве, про дивчину Наталку, да еще на родном языке. То ж выходит: пан майор не брезгует ими, пишет про таких людей, как, скажем, Олеся или батько ее — Лаврин.

Олеся поняла своих земляков и, сияя по-детски чистой улыбкой, сказала:

— У них праздник сегодня.

— Какой праздник?

— Вы к нам приехали. Вот и праздник!

— Хитрая ты, Олесю, вогнала старика в краску. Аж душно стало.

— И-ги, какой же вы старик! Да вы лучше всех наших молодых. — И смутилась.

Тише добавила: — А узвару моего так и не попробовали.

— Не журишь, серденько, я еще приеду... Тогда и попью. А пока — будь здорова и удачлива, как только можешь... И ты, Влас!

Котляревский обернулся к женщинам, детям, мужикам и, отвечая на их поклоны, сам отвесил глубокий, в пояс, поклон:

— Бывайте здоровы!

— И вы будьте здоровы! Счастливо доехать! — слышалось в ответ.

Люди не отставали, шли следом за медленно двигавшейся каретой.

А там, у низко покосившихся ворот, остались Олеся и братья ее — Влас и Василек, выскочивший из хаты вслед за всеми, как был — в длинной полотняной сорочке и босой. Долго их видел майор, пока карета не покаталась под гору, не свернула на проселок, ведущий в Полтаву.

— Потихе, — постучал Иван Петрович кучеру. — Больного везем. — И, встревоженно оглянувшись на лекаря, нагнулся к Лаврину, поправил кожух на нем, заглянул в лицо. — Может, плохо ему? Почему молчит?

— Не извольте беспокоиться, господин майор. — Андрей Афанасьевич кутался в пальто с двойным воротником, прятал в него острый подбородок. — Он выпил снотворного снадобья, потому и задремал.

— Так... Но гнать все же не будем. Как бы не растрясло. — И выглянул в оконце, пропускавшее в карету серый, подкрашенный вечерним солнцем свет.

Наверно, Новиков снова скажет: "И надо вам было братья за это: везти с собой мужика в лазарет, спорить с помещиком, который не преминет воспользоваться случаем и пожалуется на вас князю, а то и самому государю челобитную отпишет? Мы бы послали, как договорились, завтра поутру человека из губернской канцелярии. Он бы все, что полагается, на месте устроил и пригласил одного Калистратовича к нам. У вас же и своих забот предостаточно, сударь". — "Может, добрый друг мой, вы и правы, даже допускаю, что совершенно правы, — мысленно отвечал ему Иван Петрович, — но иначе я поступить не мог. Неужто человека в беде оставить? Скажу больше: ежели бы вы, Михайло Николаевич, и все наши друзья Лукьянович, Стеблин-Каминский, Тарковский, Капнисты и другие объединили свои усилия против притеснителей, подобных Калистратовичу и Баглаихе, тогда бы — не сомневаюсь в том — они бы не чувствовали себя так вольготно, мы бы облегчили участь таких несчастных, как

Плахотниченко, и не возникали бы такие страшные, сопровождающиеся убийствами крестьянские возмущения, как в Жуково, в моем родном Решетиловском уезде, в имениях Кочубея. Последний только на словах человеколюбив, а на деле мы видим нечто совсем иное". Вспомнив Кочубея и вчерашний визит к нему, забеспокоился: не передумал ли владелец Жукова, не отступился ли от данного слова — не посылать в оное сельцо воинской команды, не разрывать богом соединенные семьи и не отсылать в херсонские степи людей, того не желающих? Доехать бы скорее, устроить в лечебнице этого несчастного — и тотчас к Новикову, он-то обязан все знать, обязан был в его отсутствие, в случае перемены обстоятельств, немедленно идти к князю или, на худой конец, к княгине Варваре Алексеевне, она имеет влияние на супруга и не посмеет отказать, особенно теперь — по случаю выздоровления Вареньки. И уже готов был поторопить кучера, но тут же одернул себя: карету наклонило влево, потом вправо, снова встряхнуло на мерзлых комьях земля, да так, что еле усидел на месте, больно толкнул Андрея Афанасьевича.

— Ого! Стоит еще раз толкнуть так — я вы меня положите рядом с больным, — поморщился лекарь.

— Прошу прощения, дорогой, чертова дорога, ей-право.

И уже не мыслил подгонять кучера, пусть уж ползет.

С сухим шелестом вслед за каретой летела листва, лепилась к оконцам, но это не мешало видеть, как замелькали впереди желтые, слабые еще, огоньки в хатах на городской окраине; проехали под высоко поднятым шлагбаумом, мимо проплыла покосившаяся будка караульного.

Въезжали в Полтаву.

6

Правитель канцелярии при малороссийском генерал-губернаторе Михайло Николаевич Новиков принял гостей в собственном доме в половине седьмого или около этого. Хотя время было еще не позднее, но на Дворянской улице, тихой и еще мало застроенной, в этот час становилось пустынно, редко встречался прохожий, а тем более проезжающий экипаж. Поэтому появление двух молодых офицеров привлекло внимание, в окнах замелькали любопытные лица, но тут же все и объяснилось: они повернули к дому Новикова, а его, как давно замечено было, посещали многие, человеком он слыл гостеприимным и сам от приглашений не отказывался.

Новиков встретил молодых людей сам и тотчас увел в рабочий кабинет, приказав старому доверенному слуге никого, кроме майора Котляревского, не пускать, поскольку он занят нынче весь вечер. Распорядившись таким образом, Новиков был уверен, что никто ни по ошибке, ни нарочно в коридор, отделявший кабинет от другой половины дома, где жили его домочадцы — жена, сыновья и дочь, — теперь не выйдет, если, разумеется, не выпадет исключительный случай какой-нибудь, но и тогда Савелий придет и предварительно доложит.

Большая квадратная комната с узкими стрельчатыми окнами, выходившими в густой, теперь облетевший сад, напоминала скорее рабочий кабинет ученого историка

или краеведа-литератора, нежели чопорный кабинетов какого-нибудь чиновника, находящегося на государственной службе. Много было книг, причем не последнее место на открытых полках и в застекленных шкафах занимали не только русские, но и французские, немецкие, греческие, римские, английские и даже китайские. Книги были везде — на подоконниках, в креслах, стопами лежали на полу, не оставалось свободного места и за столом.

Другие, возможно, и подивились бы такому обилию литературы, но офицеры, бегло оглядев кабинет, остались равнодушны: они знали Новикова не первый год и знали его истинные увлечения. Гости уселись в кресла, предложенные хозяином, и некоторое время молча наблюдали за его приготовлениями. Новиков убрал со стола книги и отнес в угол, затем, извинившись, вышел и тотчас вернулся, а спустя какое-то время вошел слуга, поставил на стол большой поднос с закусками, бокалами и бутылкой вина.

Гости — адъютант генерал-губернатора Матвей Муравьев-Апостол и его младший брат Сергей, прибывший накануне вечером из Москвы, где он был проездом из Петербурга, — переглянулись, но промолчали и лишь после того, как слуга — седой, высоченный старик с окладистой, разделенной надвое бородой — вышел, многозначительно откашлялись.

— Михайло Николаевич, что вы собираетесь делать? — спросил Сергей. — Я что-то не пойму. Мы пришли побеседовать и кое о чем договориться. Насколько мне известно, вы пригласили еще кого-то?

— Человек, с которым мы бы хотели поговорить, надо думать, задержится.

— И вы нас не предупредили?

— Не успел, он уехал внезапно. Так что и закусить, и побеседовать, и сжечь затем все мои бумаги вкупе с библиотекой мы, полагаю, успеем, — сказал Новиков — светловолосый, высокий, в свободном сюртуке с белым шейным платком, подчеркивающим его худощавость и придающим лицу какую-то прозрачность. Он взял бокал, посмотрел его на свет и протер салфеткой.

— Ого! — рассмеялся Сергей. — А вы, Михайло Николаевич, злопамятны.

Я бы с удовольствием посмеялся вместе с вами, но, поверьте, мне не так весело, как вам. И сейчас спрашиваю: зачем было торопиться? — Новиков взял следующий бокал. — Кто нам угрожал? Да если и дальше так поступать, у нас не будет организации. Всего мы боимся, от всего шарахаемся. Вот хотя бы история с уставом. Кто знал о нем?

— Вы полагаете, никто? — Лицо Сергея, минуту назад веселое, омрачилось. — Вы, Михайло Николаевич, совершенно не конспиратор, ну несколько. А без конспирации нам никак нельзя, нас съедят живьем прежде, чем мы успеем что-нибудь не то что сделать — подумать... Вспомните, кому вы читали устав? Могли бы вы поручиться за каждого?

— Поручиться? — медленно протянул Новиков, взглянув на Сергея. — Вы знаете, что не всегда возможно поручиться и за брата родного. Но в друзьях своих я уверен.

— Это, друг мой, излишняя самонадеянность, уверяю вас. Наше дело — святое,

прикасаться к нему могут только люди проверенные, запомните — только те, кому мы целиком доверяем, так же, как себе самим.

— Одну минуту, Сергей, — вмешался в разговор до сих пор молчавший Матвей. — Скажите, Михайло Николаевич, господину Лукашевичу вы тоже доверяли?

— Да. А что?

— Этот Лукашевич, доложу вам, излишне часто бывал у полицеймейстера... Зимой я стал замечать, что наш местный Игнатий Лойола как-то подозрительно косится в мою сторону, хотя любезен по-прежнему. А князь как-то обронил: "Вы будьте разборчивее в своих знакомствах..." После съезда все изменилось. Будто ничего и не было. И вот узнаю: все это дело рук вашего Лукашевича.

— Когда вы это узнали?

— На днях. В бумагах князя письмецо увидел.

Новиков отставил бокалы, положил салфетку и несколько минут сидел молча, опустив руки.

— Но кому же верить?

— Такой вопрос возникал и на съезде, — сказал Сергей. — Из этого следует, что мы правильно решили объявить о самороспуске и тут же начали новое дело, но с людьми верными. А кое-кто пусть думает, что уже ничего нет... Представьте на минуту — попадает наша "Зеленая книга" в руки атому самому полтавскому Лойоле. Это же — прямая улика против вас и всего нашего Общества. Правда, были такие, что пытались меня уговорить: "Не надо так осторожничать, к чему?"

— Ты обо мне, Сережа?.. Каюсь, было. — Матвей влюбленно взглянул на брата. Отблеск пламени играл на золотых эполетах младшего Муравьева-Апостола, на красивом, совсем еще молодом, юношески свежем лице, вспыхивал в русых волосах.

Стоявший в стороне Новиков наблюдал за гостем. Да, конечно, Сергей — молод, ему ведь, кажется, всего лишь двадцать пять, а видит значительно дальше некоторых и вдвое старше его. Силу ума, неотразимое обаяние этого человека чувствовали многие. Новиков — поживший и немало уже испытавший — часто ловил себя на мысли, что был бы значительно беднее, не будь у него этого надежного и преданного товарища. Они познакомились в Санкт-Петербурге в году еще шестнадцатом; совсем юноша, Сергей принял горячее участие в создании тайного Союза спасения. Уже тогда он прекрасно зарекомендовал себя, был искусен в спорах, имел твердые убеждения, достойные мужа, призванного на славное поприще во имя родины и ее блага.

Матвей — старший — походил на Сергея безукоризненной выправкой, статностью, внешним обликом, но был медлительнее, не так быстр на ответное слово. Задумавшись, Матвей среди оживленной беседы вдруг становился глух и нем и тем самым невольно, не желая того, обижал собеседника. Главное же — Матвей был слишком нерешителен, в трудную минуту, попав под чье-то влияние, колебался, и Сергею стоило немалого труда убедить его следовать ранее намеченным путем. В глазах Сергея — живых, зорких, смеющихся — билась глубокая мысль, он был постоянно в движении, энергичен, и своей энергией увлекал каждого, кто имел счастье общаться с ним.

Вот таким — энергичным, напористым — он примчался в Полтаву более полугода тому назад в поздний февральский вечер, в стужу и холод. Едва взойдя на крыльцо, прежде всего попросил приютить кучера, обогреть, накормить. Был оживлен, с мороза румян, обнял брата — Матвей как раз гостил у Новикова — и с ходу, не дав никому опомниться, приступил к делу, ради которого мчался несколько дней и ночей из самой Москвы.

Прошу выслушать, други мои... Конечно, от ужина не откажусь, но это успеется, а сейчас к делу.

Потирая руки, словно большую радость, сообщил:

— Был съезд Союза. Созвать его назрела крайняя необходимость. Дело в том, что стали поступать сведения: кое-кто из новообращенных слишком болтлив. Союзом стали интересоваться в высоких сферах и, как полагаем, кое-что предпринимать. Судите сами — можно ли было сидеть сложа руки? Тут уместно вспомнить Неаполь. Австрийцы душат революцию... — Сергей рывком встал с кресла, подошел к столу. Новиков встал тоже.

— Наши умеют душить и рубить головы не хуже австрийцев или каких-нибудь турок. Им только подай...

— Но, Сергей, а что же съезд? — спросил Матвей.

— Съезд объявил, что Союза благоденствия отныне нет. Распущен.

— Распущен? — вскинул пшеничные брови Новиков. — Я вас правильно понял, сударь?

— Правильно.

— Не может быть! Ведь мы с Михаилом Николаевичем организовали здесь управу...

— И многих завербовали?

— Не много. Но есть умные, дельные люди... Они хотели бы видеть Малороссию свободной.

— Это что — новое издание сепаратистов?

— Нет, конечно. Еще не все выяснили.

— А мне ясно... Они забыли историю. Свою, отечественную. Допустим недопустимое — их планы осуществляются. И что же? Малороссию тотчас проглотит любой сосед — Польша или Турция... Но об этом потом. А сейчас надо созвать всех вновь обращенных и объявить им о роспуске Союза благоденствия.

— Значит, мечты наши, труды — все пустое? — спросил Новиков.

— Я этого не говорил. — Левая бровь Сергея нервно дрогнула, но ничем больше он себя не выдал. — Съезд призвал к осторожности.

— Осторожность, — горько усмехнулся Новиков. — Это, разумеется, хорошо, но вы же сами, сударь, не раз повторяли: *Audentes fortune juvat*[30]

— Не отрицаю, я это говорил и еще раз скажу. Но где вы слышали, что счастье помогает беспечным?

Новиков молчал. И Сергей продолжал:

— На вашем месте, возможно, я бы думал то же самое. Но будь вы на съезде — не

сомневаюсь: проголосовали бы, как и я, за это единственно верное решение... Да у нас все еще впереди.

— Не знаю, — пожал плечами Новиков, явно не разделяя оптимизм гостя. — Не уверен.

— Выходит, я вас не убедил? А ты, брат, что молчишь?

— Я понял тебя, Сергей, так, — сказал Матвей, — что нам предложено сложить оружие. Не так ли?

— Напротив — его надобно точить, готовить для будущих сражений.

— Объясните, — сказал Новиков. — Я не вижу логики.

— Извольте, — понизив голос, продолжал Сергей. — Да будет вам известно, что решение сие — лишь ход из соображений тактики, дабы ввести противника в заблуждение. Объявив во всеуслышание о роспуске Союза, мы избавляемся от лиц случайных и нежелательных, с другой стороны, ослабим слишком трогательное внимание к нам тех, коих обязаны остерегаться... И тут же, не откладывая, созываем под наши знамена самых верных и надежных.

— Что же ты не сказал сразу? — вскричал Матвей, позабыв о всякой осторожности. — Это в самом деле ход!

— Значит — в бой? — спросил Новиков более сдержанно, нежели Матвей, но и он не способен был скрыть радостного волнения, розоватые пятна ярко проступили на бледном худом лице.

— Вот именно! Здесь, на юге, создается, в отличие от Северного — Южное товарищество. Дел, как вы понимаете, предстоит немало... Однако прежде всего покончим со старым, выполним решение съезда до конца.

— Что мы еще должны делать, сударь? — спросил Новиков.

— Прошу вас, Михайло Николаевич, книгу — да, да, "Зеленую". Далеко ли она? Принесите, прошу вас, я подожду.

— Она здесь, в этой комнате.

Новиков прошел в противоположный от камина угол, где стоял в глубокой нише невысокий шкаф с резными дверцами; поискав за портретом, висевшим в простенке, достал небольшой на желтой цепочке ключ. Дверца в шкафу неслышно отошла, и неброский свет висевшего над столом канделябра высветил на верхней полке одну-единственную папку, ничего больше там не лежало. Осторожно, словно боясь, что от резкого прикосновения она рассыплется, Новиков взял ее и протянул Сергею.

— Прошу, сударь. Это — она.

Да, это была она — известная членам Союза благоденствия "Зеленая книга", названная так из-за цвета обложки. Неожиданно вспыхнувшее в камине пламя ярче осветило ее, и показалось: в руках Сергея заиграл, зажил особой жизнью драгоценный камень-малахит.

Братья знали книгу не понаслышке — они могли повторить каждое слово, в ней записанное. Впрочем, кто из неофитов Союза не знал своего устава?! Для многих он стал молитвой, его повторяли, из-за него спорили.



Члены Союза — требовал устав в первой своей части — обязаны поддерживать передовые идеи, резко и смело критиковать существующие порядки, особенно крепостное право, злоупотребления чиновников, бюрократизм, защищать интересы народа.

Во второй части "Зеленой книги" речь шла об основных политических задачах организации. Эту часть знали далеко не все, только самые надежные, преимущественно члены коренной, то есть главной управы. Организация не отказывалась от революционных методов борьбы с самодержавием. Считалась обязательной подготовка общественного мнения о необходимости смены всего существующего строя. Это все было записано в "Зеленой книге". Попади она в руки властей — и стала бы, безусловно, неопровержимым обвинительным документом против организации, в которой в день московского съезда, то есть в январе 1821 года, насчитывалось около двухсот человек. Вот что вручил Новиков Сергею Муравьеву-Апостолу — святая святых тайной организации. Сергей знал, как ему поступить, хотя и жаль было огорчать Новикова — одного из создателей устава. Видимо не догадываясь, что произойдет сию минуту с его детищем — венцом его мечтаний, дум и сокровенных замыслов, Новиков спокойно отошел к столу, нашел вдруг, что посуда расставлена не так, как следовало, и передвинул ее по-своему, но тут же обернулся к Сергею, ожидая, что он станет делать с книгой.

Муравьев-Апостол расстегнул медные застёжки на папке и, убедившись, что все листы на месте, подошел к камину.

В комнате было тихо. Морозный ветер, где-то пробиваясь в оконные щели, едва заметно колебал длинную, до пола, занавесь, холодным дыханием обдавал стоявшего у окна Матвея. В этой тишине отчетливо слышался звон колокола. "Это на звоннице Успенского собора, — машинально отметил Матвей, — так гулко и широко может звонить только большой колокол "казикермен", и, значит, кончилась вечерня". Это же подумал и Новиков без видимой связи с тем, что происходило в кабинете. Между тем Сергей, при общем молчании, постояв несколько секунд у пылающего камина, вдруг протянул над ним папку и опустил в пламя.

Новиков не шевельнулся, только крупные капли пота усеяли его лицо, а розовые пятна на скулах стали отчетливее.

Матвей, не умея сдержаться себя, вздрогнул, бросился к камину, но Сергей жестом отстранил его и так молча стоял до тех пор, пока папка не превратилась в пепел. Лишь тогда он отошел от камина, зябко повел плечами:

— Что-то холодно... Не мешало бы и согреться.

Подавленные, Новиков и Матвей молчали. Сергей, встав между ними и желая приободрить, сказал:

— Мне больно, как и вам, но долг — превыше всего. Только что мы его исполнили, и этим утешьтесь. — Затем, протянув руку, добавил: — Нас здесь трое, пока немного, но вполне достаточно, чтобы заложить основу нового Южного общества. Руки же, други мои! И — поздравляю вас!

Матвей без колебания с силой пожал руку брата. Новиков положил и свою поверх их рук.

— *Alea jacta est*[31], — сказал Сергей. — Пути назад нет. И будем смелее, ибо как сказано: *Fortes fortune adjuvat*[32].

— Но и осторожность не помешает, — заметил Матвей и искоса с улыбкой взглянул на брата...

Вот что вспомнил Новиков, глядя нынче на Сергея. За время, прошедшее с последней их встречи, он почти не изменился, только, пожалуй, обветрился в дороге да похудел — скулы стали заметно острее.

Сергей прошелся по коврику к окну: не мешало лишний раз взглянуть, как чувствует себя новиковский сад, далеко ли отошел садовник или он копается в розарии, окапывая кусты на зиму? Хотя садовник и глуховат, но кто знает, не тот ли это случай, когда глухота проходит и появляется довольно острый слух. Но в саду никого нет, желтая и ярко-пурпурная листва лежала на дорожках и между кустов, до самого обрыва. Хорошо нынче в саду, а как должно быть чудесно в Хомутце, в родовом парке. Вспомнив об этом, Сергей с пронзительной болью почувствовал, как соскучился по отцу, как не хватает его вечерних душевных бесед, и тут же подумал, что в Полтаве он долго не задержится, обсудит с Новиковым последние новости и тотчас отправится в Хомутец, давно ведь не был там, почти полгода...

Вернулся к столу, жестом пригласив Новикова и Матвея сесть тоже:

— Похвалитесь своими успехами. Вы, Михайло Николаевич?

— Пусть Матвей. Если нужно, я дополню.

— Вы, руководитель местной управы, стало быть — вам и слово.

— Верно Матвей говорит. Итак, что нового?

Новиков наклонил голову чуть вперед, длинные редковатые волосы упали на лоб, он отбросил их легким движением и чуть выпрямился.

— Что ж, кое-что и у нас уже есть. Как мы поступаем? Прощупываем тех, кто нас интересует, присматриваемся, а со временем, если его образ мыслей окажется нам близок, тогда и предлагаем быть нашим сотоварищем. Нас уже двадцать три человека. Вы всех их знаете. А совсем недавно приняли братьев Капнистов.

— Обоих?

— Да. Честные молодые люди. В отца пошли.

— Знаю. Ну что ж, быть по сему. Не возражаю.

— Они нынче в Полтаве. Часто уезжают в свою Обуховку. Кажется, вы их соседи?

— Да, соседи, — кивнул Сергей и не обронил больше ни слова. Мог ли знать Новиков, почему бывал в Обуховке Сергей? Тянуло его послушать старого пиита — это так, но не менее того хотелось встретиться и с его сыновьями, и... Софьей — молоденькой дочерью создателя "Ябеды". Если бы мог, он бы чаще бывал там; к сожалению, не все в руках человека, в его воле. Впрочем, достаточно об этом, кроме душевного расслабления, ничего хорошего такие воспоминания не принесут, уж он-то знает... — Еще кто? — Голос его был по-прежнему ровным и чистым.

— Тарновский, губернский судья, и Алексеев — чиновник.

— Осторожнее с чиновниками. Хорошенько присмотритесь к ним. И это все?

— Нет, не все. Есть еще один человек. О нем намерен говорить отдельно. Я не решился пока предлагать ему войти в наше Товарищество. Воздержался не потому, что не верю ему, на него можно положиться, но есть другие причины, причем весьма важные. Теперь, коль вы, сударь, здесь, обсудим.

— Кто же этот человек?

— Котляревский Иван Петрович. Вы его должны знать. Майор в отставке, служит надзирателем пансиона для детей бедных.

— Следовало бы начать с того, любезный друг мой, что оный майор в отставке — автор широкоизвестной малороссийской поэмы "Энеида" и оперы "Полтавка".

— Вы правы. Но я не могу не указать на то обстоятельство, что и как воспитатель юношества он в высшей степени — исключительный. В пансион к нему по сей причине стремятся отдать своих питомцев очень многие, и не только малоимущие. Находясь в пансионе, ему вверенном, и кончая гимназию, многие молодые люди, получив высокогражданское воспитание, уносят от этого человека немало, поступают в университеты, военные училища, академии и преуспевают там.

— Это зело важно, други мои! — воскликнул Сергей.

— Ты еще не знаешь, брат, что за человек майор, — взволнованно заговорил Матвей. — Ты получишь истинное удовольствие, познакомившись и побеседовав с ним. А что он вчера сделал с Кочубеем! Расскажите-ка, Михайло Николаевич.

— С каким это? С тутошним предводителем?

— Именно с ним.

Новиков, загадочно усмехаясь, оставаясь внешне совершенно спокойным, рассказал о вчерашнем посещении Кочубея, не забыв при этом отметить, что побудило Котляревского отправиться к предводителю.

— Причины были весьма серьезные, Котляревский не надеялся на успех. Надо сказать, — заметил Новиков, — три года тому назад после жуковской трагедии он вернул Кочубею данные ему в качестве подарка деньги и поклялся не переступить порог дома одного. Вчера же решился, причем сразу, едва услышав о готовящемся походе воинской команды в то же самое село. — Новиков обошел стол, сел рядом с Сергеем: — И представьте, друг мой, Кочубей — весьма трудный человек — услышал голос разума. Сегодня поутру он разорвал купчую с Кирьяновым.

— А тот? Согласился?

— Прибежал к князю с жалобой. Репнин его принял, выслушал и сказал...

Матвей подхватил:

— ...и сказал, что тут его прерогативы кончаются. Хозяин села — Кочубей... Вот чем кончилось это дело. Надо отдать должное майору: если бы не он, кто знает, как бы все обернулось.

Сергей налил в бокал сахарной воды и сделал одни за другим несколько глотков.

— Да, не раз он бывал в Полтаве, и вот, поди ж ты, так до сих пор и не привелось

встретиться с этим человеком. Его поэма, умно и зло высмеявшая сильных мира сего, — высокий образец истинной поэзии. Народ хохочет, простой люд знает поэму на память, а предмет осмеяния делает вид, будто не понимает, о чем речь, и... тоже смеется. Но как? Сцепив зубы. Можно ли придумать лучшее средство критиковать существующие порядки? Подрывать их устои? Такой поэт, ей-же-ей, стоит иной организации! Да, да, целой организации. А "Полтавка"! Ее значение для становления языка, национального театра неопределимо. Так и батюшка говорит. Это — богатство, которое беречь надо и опираться на него...

— Так как же, Сергей Иванович? Что мы предложим сегодня майору? С минуты на минуту он должен постучать к нам.

— Что предложим? — Сергей налил еще немного воды в бокал и, разглядывая хрустальные грани на свет, ответил: — Я думаю, с дороги ему надо чего-нибудь покрепче. Он что предпочитает?

— Шутите? — Новиков недовольно поморщился, хотя сердиться не мог: за шуткой Сергея скрывалось что-то серьезное.

— Серьезно, Михайло Николаевич. Может, венгерское?

— Да, это он предпочитает.

— А его на столе как раз и нет.

Матвей тоже понял, что Сергей, не собирается шутить, может быть, уже даже принял какое-то решение. Однако пора говорить открыто, заранее условиться, как вести себя по отношению к Котляревскому.

— Что сие значит? Объяснись, брат.

— Изволь. Вы полагаете, что было бы правомерно, если бы майор стал членом нашего Товарищества. Если не входить в суть дела, возможно, весьма возможно. Но, на мой взгляд, сие было бы преждевременно. — Сергей посмотрел на брата, перевел взгляд на Новикова: понимают ли они, что он думает, или нет? — Други мои, кто знает, что важнее для нас: быть ему в организации или... оставаться вне ее. Его работа в пансионе, его литературная деятельность, и не только сугубо литературная, — разве все это не помощь нам, нашему Товариществу?

— Известно, — подхватил мысль брата Матвей, — что он смело выступает в защиту обездоленных и обиженных, не боясь недовольства властей.

— Сие очень важно. — Сергей взглянул на молчавшего Новикова. — А знаете ли вы, Михайло Николаевич, что нашего майора уже приняли в одну организацию, причем не последнюю роль сыграли именно вы, ваше письмо Никитину.

— Имеете в виду секретаря Вольного общества любителей словесности?

— Да, сударь... Слышал от лиц весьма осведомленных. Думаю, что в самое ближайшее время должно быть известие об этом.

— Прием майора в Общество вполне заслужен, ибо... — Новиков не договорил. Вошел Савелий и доложил:

— Его благородие майор Котляревский.

— Проси. — Когда слуга вышел, Новиков обернулся к Сергею: — Итак, что скажем

ему?

Братья переглянулись, но вопрос требовал ответа, и Сергей сказал:

— По-моему, договорились. Неужто еще объясняться?"

Дверь распахнулась, и вошел Котляревский. Немолодой уже, седеющий, но, как всегда, подтянут, глаза внимательные, чуть уставшие, однако зоркие, заглядывающие, кажется, в самую душу.

Новиков хотел было представить Котляревского Сергею, но Муравьев-Апостол-младший сам подошел, почти подбежал к нему. И Котляревский протянул руку:

— Рад, душевно рад видеть вас, Сергей Иванович!

Голос у майора мягкий, задушевный. "Так может говорить разве что батюшка Иван Матвеевич", — подумал Сергей и пожал протянутую руку:

— И я рад! Очень. Наслышан о вас давно, ведь земляки мы — и тем горжусь.

Котляревский смущенно оглянулся на Новикова, стоявшего тут же и не мешавшего гостям, на чем-то возбужденного, с радостным блеском глаз Матвея и, как бы призывая их разделить его недоумение, сказал:

— Нечем гордиться, Сергей Иванович, я простой человек, каких в нашем крае много. И вы, я слышал, такой же. В батюшку, видно, пошли. Поклон мой низкий ему ори случае передайте.

— Благодарю вас! — Сергей все еще не отпускал руки Котляревского и, как бы извиняясь за свою восторженность, сказал: — Я от души, поверьте. Я давний ваш почитатель, можно сказать с младенчества, с тех пор как грамоте обучен. И с того часа любовь моя к вам неизменна.

— Однако, гости дорогие, — весьма довольно поглядывая из-под рыжеватых бровей, заговорил Новиков, — после того, как вы объяснились, может, все-таки обратите внимание и на хозяина, который ждет, когда вам будет угодно сесть за стол и продолжить беседу.

— В этом доме всегда так, — усмехнулся Котляревский. — Не успеешь переступить порог, так сразу же и за стол. — И, обращаясь к Новикову, не в силах скрыть нетерпения, спросил: — Что молчите? Неужто?..

— Вы думаете, я бы не сказал вам? Кажется, все идет как должно,

— Это верно? Значит, команда не будет послана в Жуково?

— Это так же верно, как то, что вы, милостивый государь, сейчас же сядете за стол и отвечаете кое-чего.

— Ну что ж, не откажусь от чего-либо горячего, не поймите меня, однако, превратно.

— Мы поняли вас так, как вы того желали. Сей минут будет и горячее, и к горячему. — Новиков, пока гости усаживались за стол, кликнул слугу и что-то шепнул ему.

Разговор с первых же минут принял непринужденный характер и касался последних событий, о которых говорила в те годы вся просвещенная Россия, ими жила, твердила о них на каждом перекрестке вся Европа, писали газеты, не обходился ни

один дипломатический прием. Реплики, одна за одной, как искры разгоравшегося пламени, вопросы, быстрые остроумные ответы — все это сразу завертелось, смешалось, и пошло, и пошло, и, как это бывает среди людей, умеющих вести застольную беседу, метко отвечать, и главное — умение слушать собеседника, Сергей и Котляревский почувствовали себя так, словно были знакомы давным-давно. Глядя на них, Новиков подумал, что им надо было познакомиться раньше, они очень подходят друг другу. Матвей, посматривая на брата, как бы говорил: ну что, я был не прав? Вот каков этот отставной майор, живущий в нашей тихой Полтаве!

Речь зашла об испанских событиях, затем стали говорить о восстании греков против турецкого владычества и поможет ли грекам Россия. "Это было бы верно со всех точек зрения". — "Шаги в этом направлении уже были. Вероятно, вы слышали?" — "Разумеется. Некоторые наши войсковые части уже были двинуты к южным границам, и вдруг продвижение приостановилось. Почему?" — "Спросите что-нибудь полегче. Многие не могут уразуметь, в чем причина". — "Надо полагать, ближайшее время убедит кого нужно, что помощь грекам мы должны, обязаны оказать". — "Да, время покажет..."

— А что нынче в Неаполе? — спросил Котляревский, кладя себе на тарелку небольшой белый грибок и кусочек розовой ветчины. — Я уже несколько дней не видел газет.

— Плохо. Ужасно плохо, — сказал Сергей, отложив и вилку и нож. — Решительно начинали неаполитанцы и чем кончили? Сдачей всех своих позиций на милость победителя. Сдали австрийцам свою родину. Это же позор. Не уметь защищать святыню — свою землю! Тут выбора быть не может — победа или смерть! А они — эти несчастные неаполитанцы — сдались. Они заслуживают султана.

— Зачем так строго? — заметил Новиков. — Они сражались, пока могли. А потом...

— Сложили оружие?

— Да, но что могла сделать такая небольшая страна против Австрии? Несравненные величины.

— Пусть небольшая, но сила духа, сила любви к родине должна помочь победить. — Сергей в волнении сжал кулаки. — Я не могу об этом говорить спокойно. Простите мою горячность. Их боль — моя боль... И дела греческие. Ах, если бы только была возможность...

Помолчали. Сергей несколько успокоился и потянулся к Котляревскому, коснулся его руки:

— Что у вас, Иван Петрович? Над чем работаете? Слыхал я в Санкт-Петербурге о вас много лестного. Еще летом обсуждали вашу поэму в доме вдовы Державина на тамошнем вечере "ученой республики". Если не ошибаюсь, пятую часть. Это новая? Четыре части, опубликованные, я видел, читал.

— Как сказать. Скорее, пожалуй, старая, — ответил Котляревский. — Написал ее давно, уже и позабыл когда, но не опубликована до сих пор, все мне кажется — не так, кое-что переписываю.

— Это неизбежно. Каждый настоящий автор желал бы видеть свое детище во всех отношениях совершенным... Да... так вот, ждите вестей из столицы.

— А каких, Сергей Иванович? Верно, что-то неприятное?

— Напротив, хорошие вести.

Однако ничего больше, не имея полномочий, Сергей не добавил.

Не желая показаться назойливым, Котляревский расспрашивать не стал.

— Михайло Николаевич обмолвился, что вы нынче, Иван Петрович, ездили по какому-то важному делу. Мы охотно послушаем, если расскажете.

— Трудно рассказывать. — Котляревский почувствовал неподдельный интерес в вопросе Сергея, во взгляде его брата, подчеркнутом молчании Новикова. — Однако расскажу. — И подробно описал свою поездку. Не забыл упомянуть, как наемник пришел к нему один поселянин и поведал такое, что и передать невозможно, вот Михайло Николаевич был свидетель. А сегодня прибежал сын этого поселянина, дитя еще, подросток, говорит, что отца избили до полусмерти по приказу душевладельца за то, что ходил ко мне, но отец еще жив и просил передать, чтобы я, понимаете, я поберегся, а то пан ихний угрожал жалобу на меня написать: будто я людей одурманиваю.

При этих словах Сергей с Матвеем переглянулись, но промолчали. А Котляревский продолжал:

— Я тотчас и поехал. Михайло Николаевич карету мне свою уступил. Я с собой лекаря прихватил. Ну и там с душевладельцем оным столкнулся, разговаривал даже. Неприятный разговор получился. А этого крепостного, несчастного этого, я с собой привез, в лечебнице он нынче. Не мог я его там оставить... Теперь придется, наверно, отвечать перед его сиятельством. Да что тут придумать? Так тому и быть, — горько усмехнулся Котляревский и замолчал.

Рассказ его был сбивчив, скуповат, сдержан, но слушатели — люди внимательные и чуткие — все поняли, сумели уловить за каждым недосказанным словом значительно большее.

— Вы правильно поступили! — взволнованно заговорил Муравьев-Апостол-младший. — Очень верно! Я, может, на вашем месте будучи, не выдержал бы, сорвался... Все это так ужасно, что и передать невозможно. Но главное: подобное отношение к людям еще и поощряется. Это вообще невыносимо.

— Да, невыносимо! — подхватил слова брата Матвей и, шумно отодвинув стул, поднялся, обычно мягкий взгляд его стал жестким. — Ужасно и то, господа, что в наш просвещенный век одному человеку дано право называть себе подобного своей собственностью. По какому праву тело, имущество и даже душа одного могут принадлежать другому? Откуда взят этот закон — торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе? Помните, чьи это слова? Я их сейчас вот вспомнил. Они не мои, их сказал Раевский в своей записке "О рабстве крестьян", но я под каждым его словом подпишусь.

— А помните, что он писал дальше? — спросил Новиков и, сделав паузу,

продолжил: — "Глядя на помещика русского, я всегда представляю, что он выпоен слезами и кровавым потом своих подданных, что атмосфера, которой он дышит, состоит из вздохов этих несчастных".

— И они молчат! А надобно вопить! — возбужденно воскликнул Сергей, крепко сжав перед собой руки. — И не просто вопить...

— Cum tacent clamant[33] — сказал Котляревский, внимательно слушая братьев.

— Однако и не молчат. Разве не слышите? То в одной, то в другой губернии вспыхивают крестьянские волнения, — снова заговорил Матвей, остановившись перед Котляревским. — По всей Руси костер от костра воспламеняется. Возьмите наше Жуково. Уже шесть лет никто из жителей этого сельца не желает уезжать в херсонские степи, бунтуют, как это было в восемнадцатом, и стоят на своем.

— Там были убийства, — с болью сказал Котляревский, — и все из-за жестокости, алчности одного человека. Вот и теперь тоже... Если бы не вы, Михайло Николаевич...

— Да что я? Это вы все, Иван Петрович. Команда из-за ваших стараний не вышла из Полтавы.

Жаркий румянец заливал юношески свежее лицо Сергея, спутанные волосы прикрывали высокий лоб, он пытался говорить, но из-за волнения не мог, наконец взяв себя в руки, он твердо и убежденно сказал:

— Придет время — и всех этих душевладельцев постигнет страшная участь. Возмездие неминуемо!

— Что вы, Сергей Иванович! — удивленно поднял глаза Котляревский. — Неужто допустимо в наш просвещенный век подобное?

— Просвещенные палачи ничем не лучше непросвещенных, пожалуй, они изощреннее в жестокостях. Вы хотите возразить?

— Да нет, я не о том, я о пользе просвещения. Это ведь необходимо. Необразованность — причина многих несчастий.

— Это, на мой взгляд, не причина, это — следствие, причина же в ином... Я уважаю ваше мнение, Иван Петрович, — сказал Сергей, уже совсем, казалось успокоившись и касаясь руки Котляревского. — Но меня вы не переубедите, посему не будем пока об этом... Я хочу сказать о другом. О вашей работе. Доброе, благородное дело, которому вы посвящаете свою жизнь, ваши "Энеида" и "Полтавка" помогают людям познать себя, всем несчастным, не разгибающим спин на каторжной работе, не видящим солнца, дают почувствовать свое человеческое достоинство, учат стойкости и вере в свою силу, судьбу, и это, Иван Петрович, самое главное в вашей работе. Не говорю о других достоинствах вашей поэмы и оперы, коих множество. Все мы благодарим вас за труд, за все вами сделанное! Мы, как видите, еще не старики, стало быть, перед вами — молодая Россия. Она низко кланяется вам!..

Глубоко взволнованный, Котляревский молчал. Так просто и так проникновенно никто еще не говорил о его работе, о значении его литературного труда. И кто говорит? Младая Россия. Словно могучим ветром, весенней свежестью пахнуло в лицо, напоило душу восторгом, силой. Вот она какая — младая Россия! Если она подобна



сыновьям благородного Ивана Муравьева-Апостола, он может гордиться, а быть любимым такой Россией — счастье, лучшей судьбы у поэта быть не может.

— Спасибо за доброе слово! — сказал Котляревский. — Только вряд ли я заслуживаю его. Есть поэты, сделавшие больше меня.

— Иван Петрович, дорогой! — воскликнул Матвей. — Мой брат выразил то, что мы все чувствуем. И я, и Михайло Николаевич, и многие другие... Что касается других поэтов, о которых вы упомянули, то не стоит об этом. Многие из них уже при жизни стали мертвецами.

— Мы уже сейчас можем сказать с полной уверенностью: вашу работу переоценить невозможно, — добавил Сергей.

— Я, друзья мои, не так молод, не так восторжен, как вы, и не обольщаюсь на свой счет, хотя кое-что и сделал для своего народа, его настоящего и... будущего. В океане времени все встанет на свое место.

— Вы на устах людей, а это — главное. И что океан времени в сравнении с этим! Однако хозяин, кажется, совсем позабыл о нас.

Новиков всполошился:

— Виноват. Опростоволосился. Прощу! Все на столе. — Быстро разлил вино. — За что же поднимем бокалы?

— За вас, друзья мои, за ваше будущее! Пусть будет оно достойным молодой России! — сказал Котляревский.

Сергей переглянулся с братом и Новиковым: ну что, нужно ли было затевать разговор о приеме поэта в Товарищество? Он, Сергей, прав: поэт сам стоит иной организации; его работа, вся его жизнь, общение с людьми, вся его деятельность очень помогают великому делу Товарищества. Поэта надо всячески оберегать от возможных подозрений в связях с тайными организациями и ни в коем случае не порывать с ним, напротив, постоянно общаться, но так, чтобы не бросалось в глаза, в рамках обычного знакомства, и, насколько возможно, направлять его деятельность, всячески помогать ему в большой литературной работе. Весьма удобно, если в доме Котляревского время от времени будут собираться молодые люди, которые уважают его, верят, — такие, как братья Капнисты, Лукьянович, Боровиковский, недавно закончивший гимназию, и другие. Беседы с Котляревским несомненно обогатят молодых полтавцев духовно, поднимут гражданское сознание и, может быть, приобщат к общественной деятельности, полезной святому делу Товарищества. Обо всем этом, подумал Сергей, еще надо будет сказать брату и Новикову, пусть они благодарят судьбу, что именно у них, в Полтаве, живет и работает такой человек, как майор Котляревский.

Сергей, сидевший рядом с Новиковым, тихо, почти шепотом спросил:

— Итак, договорились?..

— Пусть будет так, — так же тихо ответил Новиков, поняв по взгляду, что решил Сергей.

Котляревский, заметив что-то необычное в поведении Новикова и младшего Муравьева-Алостола, удивленно взглянул на них, Новиков смешался было, но тут же

нашелся, встал и поднял бокал:

— За вас, Иван Петрович!

— За ваш труд, господин майор! — дружески улыбнулся Сергей.

— И чтобы хорошо жилось вам... вместе с нами, — сказал старший Муравьев-Апостол, наклоняясь к майору, желая его обнять.

Но ни хозяин, ни его гости не успели опорожнить бокалы. Вошел старый Савелий и, поклонившись, объявил: пожаловал гость, которого он вынужден был впустить, говорит, будто прибыл из самого Санкт-Петербурга и дело у него, твердит, неотложное.

7

Гость был офицер. Судя по внешнему виду — густо запыленные сапоги, довольно измятая шинель, обветренное лицо, — он пробыл в дороге не одни сутки и, видимо, лишь спешное дело заставило его постучаться к незнакомым людям, если даже не успел привести себя в порядок. Четко козырнув, он представился:

— Туманский, Василий Иванович. Поручик.

Увидев в комнате военных, к тому же старших по чину, поручик смутился, но, взяв себя в руки, как человек светский, извинился за столь бесцеремонное вторжение, тут же и объяснил, что откладывать свой визит не находил возможным, ибо задерживаться в Полтаве ему никак нельзя; выполнив данное ему поручение, он сразу же уедет.

Новиков, за несколько путаным объяснением гостя разглядев чистосердечную наивность, приветливо улыбнулся и сказал, что он, хозяин дома, посетителю — кто бы он ни был — рад, пусть тот разденется, присядет и расскажет, откуда и с каким делом пожаловал, причем говорить он может вполне открыто, все в комнате — его, Новикова, друзья.

— Видите ли, милостивый государь, — сказал поручик, — мне, собственно, необходимо видеть господина Котляревского, которого не имею чести знать лично. Давеча я заезжал к нему домой, и мне сказали, что он у вас. Впрочем, у меня дело и к вам. Вот письмо. Прошу вас.

— От кого же?

— Поручил его мне господин Никитин, Андрей Афанасьевич. Секретарь Вольного общества любителей российской словесности.

— Спасибо! — Новиков принял у гостя небольшой тонкий конверт и положил на письменный стол. — Прошу, прошу вас знакомиться. Сергей Иванович Муравьев-Апостол.

Туманский козырнул:

— Честь имею представиться, господин подполковник.

— Не так строго, — поморщился Сергей, но не сердито, скорее — дружелюбно, весело. — Мы не в строю... Так вы, как мы поняли, недавно из Санкт-Петербурга?

— Так точно, почти три недели находился в дороге. — Матвей Иванович Муравьев-Апостол, — продолжал между тем Новиков представлять своих гостей.

— Затянулась ваша поездка, однако, — сказал Матвей.

— Котляревский, Иван Петрович, — подвел Новиков поручика к майору. — Тот,

кого вы ищете.

— Очень рад! — Туманский порывисто шагнул навстречу.

— И я рад, — поздоровался Котляревский. — Как я слышал, вы торопитесь, а почему бы вам не задержаться, отдохнуть с дороги?

— Сегодня хотелось бы и дальше. Мне в Гадяч, точнее, в Опанасовку, к родителям еду, в отпуск. А по дороге — к вам. У меня важное поручение. Имею кое-что передать вам. Не откажите в любезности принять.

— Прошу вас.

— Не знал, что застану здесь господина подполковника. Премного наслышан...

— Полноте, поручик, — мягко заметил Сергей. — Ничего хорошего вы не могли слышать обо мне. Таков уж, век. И не в том суть.

— Именно в том, разрешите доложить. Я слышал только хорошее.

— И все ж, поручик, суть нынче в том, что выставлено на этом столе. Но хозяин, несомненно, решил нас голодом уморить.

— Садитесь же!.. Поручик, раздевайтесь! Савелий, прими шинель!

Туманский быстро и ловко разделся, отдал шинель и треуголку вошедшему слуге и остался в мундире, невысокий, худощавый, и все увидели, как он еще молод. Поняв значение взглядов, Туманский ощутил неловкость, пожалел, что сбрил накануне усы, но на него так приветливо и дружески смотрели, что очень скоро он почувствовал себя почти свободно, как, вероятно, чувствовал бы себя в среде сверстников — сотоварищей по службе.

В один миг обежал взглядом кабинет, хотелось все запомнить, и ему не стоило большого труда увидеть, как все здесь просто и скромно. Кроме канapé и кресел у стола и у камина, в кабинете было множество книг, они занимали самое почетное место и были везде — на полках, в высоких застекленных шкафах, на этажерках и письменном столе в правом углу. Заметил Туманский и несколько портретов неизвестных ему лиц, но одно показалось знакомым. Да, этот портрет человека в парике он встречал не однажды на обложках книг, которые просматривал в библиотеке своего земляка и наставника Николая Ивановича Гнедича. Конечно же это портрет дяди Новикова — известного еще в екатерининское время издателя и просветителя, долгие годы пребывавшего в опале и несколько лет тому назад умершего в своем подмосковном сельце. Какое-то отдаленное сходство с портретом было у племянника — нынешнего правителя канцелярии Малороссийского генерал-губернатора: большие спокойные глаза, крупный нос на несколько бледноватом, может, просто уставшем, лице.

Новиков ожидал, когда все сядут за стол, чтобы прежде всего выслушать Туманского. Но тот не спешил объявлять о цели своего приезда, и никто не торопил его. Он сам должен рассказать, зачем прибыл, зачем скакал сломя голову по осенней распутице из далекого Санкт-Петербурга в Полтаву, хотя мог бы ехать прямо в Гадяч, а затем — в свою Опанасовку.

Братья Муравьевы-Апостолы и Новиков вели себя более или менее спокойно. Лишь

один Иван Петрович пребывал в полном смятении. Всматриваясь в обветренное лицо поручика, он подумал вдруг о своих рукописях, которые почти полгода тому назад отправил в Санкт-Петербург доброму своему другу — Гнедичу. Тот ответил, что депешу получил, но ни слова больше не добавил. Теперь вот неожиданный визит этого юноши, который привез письмо Новикову от Никитина, а Никитин, как известно, часто встречался с Гнедичем в Обществе любителей словесности. Юноша привез и для него что-то. А что имел в виду Сергей Иванович, когда проговорился о посланце этого Общества? Уж не Туманский ли и есть тот посланец?

В последнюю минуту Котляревский хотел было попросить Туманского воздержаться от разговора, перенести этот разговор к нему домой. Но сказать ничего не успел. Не торопясь, поручик расстегнул две верхние пуговицы мундира и достал из внутреннего кармана небольшой пакет, перевязанный крест-накрест синей лентой. Развязав ее, подошел к Котляревскому:

— Это вам, господин майор. Надеюсь, он цел и невредим, хотя, признаться, очень опасался, а вдруг промокнет. Дожди начались еще до выезда и только за неделю перед Полтавой перестали.

Иван Петрович как-то замешкался взять пакет, и Туманский, загадочно усмехнувшись (так юн и уже хитрит), сам развернул его и достал оттуда вчетверо сложенный плотный лист бумаги и еще несколько листков поменьше, шагнул к столу, ближе к свету; взглянув на Ивана Петровича, словно приглашая его подойти тоже, спросил:

— Позвольте огласить, или, может быть... позже?

— Пожалуй, позже.

Что бы там ни было, лучше одному прочесть содержимое пакета. Так подумав, Иван Петрович тотчас почувствовал странную неловкость.

В кабинете молчали: Новиков — недоуменно поджав тонкие губы, Матвей — как-то растерянно поглядывая на майора, Сергей — иронически и спокойно улыбаясь. Молчание становилось натянутым, в нем чудился немой укор ему, Котляревскому. И он устыдился, горько пожалел, что поддался минутной слабости.

Что скрывать ему от этих людей? Не они ли ему самые искренние, верные друзья? Вот хотя бы Новиков. Разве не ему первому он раскрыл свои замыслы и сомнения, когда задумал сочинять "Полтавку"? Не ему ли принес на суд начальные наброски, первые едены? Не здесь ли, за этим самым столом, они сидели, обсуждая каждую реплику будущей пьесы? И не в одной ли они, наконец, были масонской ложе, не вместе ли исповедовали любовь к истине?.. До сих пор особых тайн не было у него и от добрейшего Матвея Ивановича. В самом деле, если кто-либо и встречается его с открытым сердцем, искренне в приемной князя или в частном доме, так это он, Матвей. Он первый поздравил с успехом "Полтавки" и радовался как ребенок, не сказав при этом ни слова, не показав и намеком, что и он просил князя Репнина разрешить спектакль без предварительной цензуры. Правда, слово свое сказал и брат генерал-губернатора — Волконский, прибывший накануне в Полтаву, но первым

ходатаем перед князем был все же Матвей.

А Сергей? Есть ли во всем крае человек, с которым бы можно сравнить его. Более искреннего, честного, доброго, благожелательного он пока еще не встречал.

Нет, какая бы ни была весть, что бы ни писал Гнедич, друзья разделят с ним все; стыдно, ей-право, стыдно что-либо скрывать от них. Чувствуя, что краснеет, попросил поручика читать все, что он имеет прочесть, "и быть по сему".

— А может, повременим? — Новиков пристально смотрел на Котляревского. — Пакет-то, как видно, не спешный.

— Откладывать нет нужды, — на этот раз резко ответил майор. — Прошу вас, господин поручик.

— Извольте... Я готов.

Но прежде чем читать, Туманский невольно бросил взгляд на стол, взгляд его заметили, и первый — Сергей.

— Михайло Николаевич, пожалей гостя. Человек с дороги и, верно, умирает от жажды.

— Так что же вы стоите, Сергей Иванович? Принимайтесь за дело.

Сергей быстро и ловко налил в бокал искрящегося вина:

— Прошу! Здесь один глоток...

Туманский не мог отказаться: подавал подполковник, причем так запросто, дружески. Он принял бокал и сделал несколько глотков.

— Молодец! — похвалил Сергей. — Нашей закваски, гвардейской.

— Я бы сказал — и полтавской, — заметил Матвей.

Братья старались говорить серьезно, без намека на иронию, но никто не мог скрыть доброй улыбки, в том числе и сам Туманский, и это тотчас разрядило несколько натянутую обстановку, все почувствовали себя свободнее, проще. Туманский же, поблагодарив еще раз, стал читать, выговаривая каждое слово четко и отдельно:

— "Санкт-Петербургское Вольное общество любителей российской словесности, уважая отличные познания в науках и отечественной словесности... майора Ивана Петровича Котляревского, на основании статьи 33 устава, избрало его в почетные члены..."

Туманский, прочитав всю фразу сразу, передохнул и уже тише и спокойнее продолжал:

— Подписали: президент Общества — Глинка Федор Николаевич, секретарь — Никитин Андрей Афанасьевич.

И в общем молчании, обращаясь к Ивану Петровичу, закончил:

— Имею честь к тому же сообщить, господин майор, что пятая часть вашей поэмы "Энеида", которая читана господином Гнедичем на заседании "ученой республики", то бишь Общества, по решению одного будет помещена в ближайшей книжке журнала "Соревнователь просвещения и благотворения", с чем разрешите вас от души поздравить!

Туманский, кланяясь, протянул Котляревскому диплом и список устава. Иван

Петрович принял из рук поручика все бумаги и, растроганный, обнял юношу:

— Все так внезапно. Право, не знаю, что и сказать. Спасибо вам!

— Вы свое сказали, милостивый государь, теперь наш черед, — подошел к Котляревскому Сергей Муравьев-Апостол. — Ну что ж, как видите, и в нашу глушь приходят иногда приятные вести, а главный виновник сего — вы, Иван Петрович... И от сего вам не уйти. Разрешите же с этим вас и поздравить и, как водится по русскому обычаю... — Сергей обнял Котляревского и троекратно расцеловал. Отстранялся на миг, засмеялся:

— Душевно рад, потрясатель столицы... Но как бы хорошо было затащить вас в Хомулец, к батюшке, уж он бы обрадовался.

Котляревский не успел ничего ответить, как подошел Матвей, оттеснил Сергея:

— Разреши и нам с хозяином приблизиться к имениннику. — И широко развел руки, обнял Котляревского. — Любезнейший Иван Петрович, примите и мои поздравления! Я старый ваш поклонник, да будет вам сие известно, и на том стою. Я сегодня счастлив!

Новиков молча обнял друга и взглядом пригласил к столу.

— Да тут уж обязательно полагается sprychnut', — воскликнул Сергей. — Поручик, место ваше со мной рядом. Я вас не отпущу ни в какую Опанасовку, вы обязаны — вы слышите, обязаны! — все как есть изложить нам, что было на вечере, а потом мы поглядим.

— Да мне ехать надобно! — взмолился поручик. Но Муравьев-Апостол был неумолим, и Туманскому пришлось сесть за стол на указанное место рядом с Сергеем.

— И не вздумайте улизнуть, — предупредил Сергей. — Допрежь всего — молодец, что побеспокоились заехали, доставили такую радость. А засим — к делу! Расскажите-ка нам, как прошло последнее заседание "ученой республики" в доме Державиной?

— Так вы зиасте?!

— Только слышал. Краем уха. А вы — очевидец, вот и расскажите, — хитро подмигнул смущенному поручику Муравьев-Апостол. — Итак, кто был на собрании и что на оном говорено?

— Это длинная песня, а человек устал с дороги, — сочувственно отнесся к поручику Котляревский. — Самое интересное, полагаю, что нынче нового издано в столице, что написали Пушкин, Рылеев и другие молодые поэты? И... отпустим человека. Вы знакомы с Пушкиным, поручик?

— Знаком. И даже дружен.

— Нет, допрежь всего рассказ о вечере — именно об этом, — настаивал Сергей. — А затем — и другие новости. Кстати, Пушкин нынче где-то на юге. Сослан государем-батюшкой... Чтоб отдохнул от столицы.

— Право, не знаю, с чего и начинать, — смутился Туманский. Ему не хотелось обидеть Котляревского, но хотелось также выполнить и просьбу подполковника.

— Начнем, пожалуй, с этого, — разлил вино Новиков. — Прошу, господа, поднять бокалы за вновь обращенного почетного члена Общества!.. За вас, Иван Петрович! За

свершение ваших надежд и замыслов!

— Благодарствую! — ответил Котляревский сдержанно. — Тронут, Михайло Николаевич... Благодарю, господа! Прошу вас, поручик, передайте, по возвращении в Санкт-Петербург, мое искреннее спасибо господам Гнедичу, Глинке, Никитину и всем остальным, кто принял в сем деле участие! Я должен сказать, что не обо мне нынче речь, мои далекие друзья почтили своим вниманием народ наш, язык его. И за это я низко им кланяюсь! В дар им я отсылаю сорок экземпляров моей поэмы. Но что это по сравнению с их подарком?!. — Котляревский оглядел всех за столом увлажненным взором.

— Именно об этом и говорили на вечере, — быстро, все более воодушевляясь, заговорил Туманский. — Но разрешите по порядку...

— Просим, поручик!.. Просим!

Поручик отер салфеткой влажные губы:

— Прошу прощения, если я что-либо позабуду или скажу не так, рассказчик из меня — не ахти какой... — И, видя, что присутствующие внимательно слушают, только Иван Петрович опустил глаза, никак не реагируя на его слова, Туманский продолжал:

— Я на вечер опоздал немного и не слышал, что там читали до меня. Но точно знаю: новую басню прочел господин Измайлов. Читал он, верно, плохо, ибо кто-то — кажется, Александр Бестужев — сказал, что чтец проглатывал слова и фразы, и тогда Измайлов решил объясниться: "Вчера, — говорил он, — поел ботвиньи с ледком, выпил рюмочки две винца, конечно тоже с ледком, и к вечеру охрип. Поутру, проснувшись, чувствую, не могу говорить и пью сырые яйца, гоголь-моголь, прованское масло, сахарную воду, ел даже лук вареный с медом. Ничего не помогло. И вот, как видите..."

Должен вам сказать, господа, рассказ баснописца понравился, и, как позже выяснилось, даже больше, чем сама басня. Слушатели оживились, послушались реплики, смех.

— Да, вы совершенно правы, поручик, — отозвался Сергей, — простите, что перебиваю. Я слышал, что Измайлов смешил на том вечере больше своею тушею, нежели баснями.

— Не дай бог попасть на язык петербургским остроловам, — покачал головой Котляревский.

— Полтавские не уступят ни в чем, уверяю вас, — заметил Сергей.

— Я что-то не слышал об этом. Но извините, поручик, продолжайте, очень интересно, как шло обсуждение басни Измайлова, — сказал Котляревский.

— Извольте... Мнения слушателей, должен вам сказать, не разделились; все — даже князь Цертелев, наш земляк, хорольский, известный благожелатель Измайлова — сошлись на том, что над басней следует еще поработать, она рыхловата и мысль ее — обща, не ясна. "Пожалуй, — более резко заметил Рылеев, — автор мог бы и не спешить с ее чтением, пусть бы она некоторое время не предавалась гласности и хранилась в его бумагах". — "Язык суховат, — продолжал мысль Рылеева Бестужев. — Какой-то он ватный, нет упругости. Где же, Александр Ефимович, поэзия?" — обратился Бестужев к

баснописцу.

Измайлов, явно обескураженный, молча слушал, уже не пил воду, как он это делал все время, пока слушатели восторгались его рассказом о методах лечения хрипоты. Выслушав, однако, замечание Бестужева, вспыхнул: "О чем изволите говорить? Ведь это же басня. А язык мой, какой слышу". — "Но суть басни мелка, — вступил в спор снова Рылеев. Он старался быть спокойным, но это ему удавалось с трудом, мне даже казалось — вот-вот он взорвется и наговорит резкостей. — В ней, в басне то есть, — продолжал Кондратий Федорович, — ничего нет для души, для ума. К чему же она зовет, чему учит? Что порицает? Смерть — неизбежность, к сожалению, — это так. Но что же из этого следует? Зачем же, позволительно спросить, подобное сочинять? Обществу в оном сочинении, право же, простите за откровенность, слишком мало пользы". — "Помилуйте, о чем толкуете? — не уступал Измайлов, тяжело отдуваясь. — Это не философский трактат. Басня и есть басня, и я не пойму, чему она призвана учить".

Рылеев, услышав такое возражение, поначалу удивился, но вдруг заговорил резко и взволнованно: "Вы... вы не понимаете, в чем призвание поэзии? Чему должна учить? Слишком странно это слышать от вас, милостивый государь. В наш век и юнцу понятно, что поэзия влияет на мнение общества, если, разумеется, это поэзия настоящая. Если же этого нет, то незачем быть такой поэзии!"

Измайлов пренебрежительно махнул рукой: "Ради бога, оставьте. Меня учить трудно, еще труднее — переучивать".

— Так он сказал? — воскликнул Муравьев-Апостол-младший. — И ему никто не ответил?

— Ответил. — Туманский отпил глоток воды, подумал и выпил еще глоток. — И еще как ответил!

— Что же вы тянете? — Матвей нетерпеливо шевельнул бровью.

— Извольте. Но сдастся мне, господа, я и так злоупотребляю вашим вниманием.

Помилуй бог, никто к вам не в претензии.

Молчал лишь Котляревский, погруженный в свои мысли: зачем же приглашал его Михайло Николаевич? Познакомить с младшим Муравьевым-Апостолом? Может, и так, но это, судя по всему, лишь повод, самое главное — в другом. В чем же? Теряясь в догадках, Иван Петрович, однако, прислушивался и к Туманскому, к его рассказу о вечере "ученой республики" в доме вдовы Державина.

— Так вот, — продолжал Туманский, — я заметил, что господин Рылеев собирается ответить баснописцу. Но его опередили. Из-за стола вдруг поднялся Николай Иванович Гнедич. Все взоры обратились к нему, а он, помедлив, заговорил совершенно спокойно, и в каждом его слове — это сразу почувствовалось — была глубокая убежденность.

"Кондратий Федорович выразился весьма кратко, но совершенно, по моему разумению, справедливо, — сказал Гнедич. — Писатель своими рассуждениями влияет на мнение общества, и чем богаче он дарованием, тем последствия неизбежнее. Мнение есть властитель мира. Да будет же перо в руках писателя благородно,



неподкупно, остро. Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могучим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом".

Гнедич осмотрел присутствующих, как бы спрашивая: продолжать ему говорить или на том закончить? Все молчали, все ждали его слова. И Гнедич так же тихо и спокойно, как начал, продолжал: "Но если писатель благородное оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могущество, если прелестью цветов покрывает разврат и пороки, если вместо огня благотворного возжигает в душах разрушительный пожар и пищу сердец чувствительных превращает в яд, перо его — оружие убийства. Помнить об этом должен каждый, кто решается сесть за стол, чтобы писать... Что же касается басни господина Измайлова, то я склонен думать о ней, как о произведении не самом лучшем у Александра Ефимовича. Об этом мы ему сегодня и сказали, полагаю, мнения не разошлись..."

Гнедич умолк. В зале по-прежнему было тихо, не было возгласов одобрения или порицания. Я не мог не заметить, как в высшей степени взволнованный, подался к Гнедичу Кондратий Федорович. Бестужев тоже не отводил пристального взгляда от бледного лица Гнедича, человека, как вы знаете, господа, дерзнувшего переводить Гомера на русский, по существу, открывшего нам великого поэта древней Греции, совершившего, если хотите, настоящий подвиг. Одобрительно смотрел на Гнедича наш президент Федор Николаевич Глинка. Князь Цертелев безмолвствовал, и невозможно было понять, глядя на его суховатое, несколько вытянутое лицо, одобряет он оратора или порицает. Дарья Алексеевна Державина, оставив вязанье, с которым сошла в залу, тоже прислушивалась к разговору за столом. В дверях застыл старый дворецкий, который служил долгие годы и при Державине, он не смел подойти и спросить хозяйку, не нужны ли его услуги, и тоже слушал, не все, видимо, понимая, но удивляясь уверенному тону речей и необычному смыслу; перо сравнивают с мечом. По его виду я понял, что он не одобряет: предерзостно зело. Сам Гнедич волновался; он, как потом признался, боялся, что его не поймут или превратно истолкуют, поэтому приготовился к защите.

А в зале все еще молчали. Что касается меня, то не могу передать свое состояние, во мне все дрожало, я готов был драться с кем угодно за каждое слово Николая Ивановича.

Но вот кто-то вздохнул, неопределенно покачал головой другой, еще кто-то повернулся в кресле и огляделся на соседей: что они, мол, скажут? Тогда поднялся стремительный, подвижный, как ртуть, Рылеев.

"Господа, — заговорил он быстро и четко, — я предлагаю речь Николая Ивановича Гнедича считать нам всем близкою, мысли он отразил всем нам дорогие. Это, господа, то, к чему мы стремились каждый в силу способностей, но все равно неукоснительно и постоянно". — "Совершенно верно, — заметил секретарь Общества Никитин. — Господин Гнедич как бы подслушал наши мысли и прекрасно выразил их". — "Я хотел

бы продолжить", — отозвался Бестужев.

Он стоял у окна, в темном стекле отражался его резко очерченный профиль. Я не впервые видел этого человека и каждый раз восхищался его выдержкой, какой-то необыкновенной внутренней силой, внушающей другим, кто его знал, невольное уважение. Он был в форме гвардейского офицера и прекрасно выглядел; как всегда, подтянут. Александр Бестужев неуловимо легким движением провел по расчесанным на пробор волосам, и это, кто знал его, подтвердило: Бестужев волновался.

"Точнее, господа, — сказал он, — я хотел бы сделать предложение, разумеется, если вы разрешите... Всем известно, у нас нынче нет вице-президента, а Общество наше расширяется, следовательно, расширяется и круг обязанностей президента, ему необходим, как вы понимаете, заместитель, во всех отношениях человек достойный. Я предлагаю избрать вице-президентом нашего Общества господина Гнедича".

Предложение было несколько неожиданно, но его поддержали все и сразу. Николай Иванович, наш земляк, в тот вечер стал вице-президентом Вольного общества любителей российской словесности. Сам Гнедич не успел ничего сказать, но когда проголосовали, он встал, раскланялся и поблагодарил за оказанную честь, добавив, что все свои знания и силы отдаст общему делу. А затем... — Туманский мельком взглянул на все время молчавшего Котляревского. — Не знаю, право, разрешит ли Иван Петрович?

— Не по адресу, поручик, хозяина спросите, а что касается меня, то... — майор усмехнулся. — Я бы не разрешил утомлять гостей. Но коль все настроены слушать, то что же мне остается? Подчиняюсь большинству. Но — покорнейше прошу — короче.

— Постараюсь.

— Не вздумайте, — возразил Матвей. — Нас интересуют как раз детали.

— Однако... — Туманский явно терялся: кого же слушать, хотя признать, ему очень хотелось пересказать все подробно, а особенно все то, что было сказано при обсуждении поэмы Ивана Петровича. — Господин Гнедич, поблагодарив за оказанную ему честь, сообщил вдруг, что некоторое время тому назад он получил стихи его земляка — Ивана Петровича Котляревского из Полтавы и просит разрешения ознакомить с их содержанием присутствующих.

"Котляревский? — спросил Бестужев. — Не тот ли, который сочинил малороссийскую "Энеиду" в четырех частях?" — "Тот самый, — отвечал Гнедич. — Только нынче он предлагает нам новую, пятую часть оной поэмы". — "Любопытно!" — "Просим!" — слышались голоса.

В зале произошло движение. Каждому хотелось быть поближе к чтецу. Державина попросила дворецкого придвинуть и ее кресло. Мы все — Бестужев, Рылеев и я — подошли к столу, подошел и князь Цертелев.

И Гнедич начал. Читал он, скажу вам, превосходно. Я такого чтения не слышал. И хотя язык для некоторых казался необычным, Гнедича понимали очень даже хорошо, он умел выделить где жестом, где интонацией мысль автора, и в зале все чаще вспыхивал смех, смеялись потому, что невозможно было не смеяться.

Дарье Алексеевне освободили место подле самого Гнедича, слушала она внимательно, в глазах ее, обведенных темными кругами, мерцали озорные искры. Глинка, подперев рукой подбородок, близоруко шурился, словно ему мешал свет. Никитин, Аничков и Рылеев почти плакали от восторга. Цертелев и Бестужев были сдержаннее всех, но князь, как видно хорошо понимавший язык, то и дело заглядывал через плечо Гнедича в тетрадь, будто хотел сам убедиться: а так ли написано, дивясь каждому слову. Измайлов беспрерывно пил воду, отирал лоб платком: ему, я думаю, было душно возле камина, а может, его выводило из равновесия слишком веселое настроение собрания. Корнилович, неодобрительно следивший за Измайловым, внимательно, однако, слушал и Гнедича, то и дело хватался за бока и хохотал громче всех. Ну а потом, после чтения, собрание высказалось за то, чтобы отрывок был непременно напечатан в "Соревнователе".

— Вы считаете, это все? — усмехнулся Муравьев-Апостол-младший. — Нехорошо, поручик, не ожидал от вас... самого главного-то вы нам не рассказываете. А что же все-таки говорено было на собрании? Вот, к примеру, что говорил Бестужев?

— Бестужев? — краснея, повторил Туманский и взглянул на Котляревского, вставшего из-за стола и подошедшего к камину. — Он выразился в том смысле, что ничего подобного ему слушать не доводилось. Язык поэмы ему понравился особенно, и характеры, и быт. А заключил он так: "Народ малороссийский представлен нынче у нас на собрании своим произведением впервые и, смею утверждать, достойно. У нас же кое-кто тщится утверждать до сих пор: у малороссов, дескать, нет своего языка, у них наречие. А на этом, с позволения сказать, наречии, как мы только что убедились, создано произведение, подобное которому не в каждой большой литературе сыщешь".

Вот что сказал Александр Бестужев. Я передаю почти дословно потому, что все сказанное им мне в душу запало. Правда, слово его было коротким.

— Зачем длинные тирады? — заметил Новиков. — Коротко, но ясно, и, пожалуй, лучше не скажешь. А что же другие?

— Кого вы имеете в виду?

— Я, сударь, имею в виду Рылеева.

— Да, Кондратий Федорович говорил. Он первый поддержал Бестужева и добавил, что автор "Энеиды" — вы не обижайтесь, Иван Петрович, но он так сказал, — автор поэмы есть первый и непревзойденный поэт Украины. И таким пребудет.

— Спасибо! — сказал Муравьев-Апостол-младший, словно эти слова относились к нему лично. — Но неужто это все, никто больше не говорил?

— Прошу прощения, совсем позабыл. Когда мы с господином Гнедичем собрались уходить, Дарья Алексеевна Державина сказала: "Передайте автору поэмы мое искреннее спасибо, большое удовольствие получила я сегодня. Я уверена, что автор — человек разумный — не обидится за столь откровенное восхваление его заслуг. Был бы жив Гаврила Романович, он бы, не сомневаюсь, сказал бы то же самое".

Туманский, несколько возбужденный от слишком долгой речи и, возможно, от выпитого вина, несмело оглядел застолье: неужто сказал что-то не так, может, снова

упустил, забыл чье-то слово? Новиков непроницаем, не поймешь, что он думает, как настроен, Матвей Иванович смотрит вопросительно на брата, а Сергей Иванович щурится, губы ломаются в доброй усмешке. Котляревский чем-то смущен. Напрасны, однако, были опасения Туманского. И что это именно так, подтвердил Муравьев-Апостол-младший. Положив свою крепкую неширокую ладонь на руку поручика, он сказал:

Говорили вы, поручик, хорошо, еще раз благодарю! Все, что вы здесь рассказали, очень важно. Мысли, высказанные нашими друзьями о назначении поэзии и поэта в обществе, о вашей поэме, Иван Петрович, близки и дороги нам. Так думают многие, уверен в этом, господа. И что еще важнее — мыслящих людей у нас будет все больше и больше...

Сергей на полуслове умолк, увидев, как взволнован Котляревский. Он уже укорял себя за неуместную велеречивость, но, кто знает, может быть, как раз это и помогло поэту прийти в себя, собраться с мыслями?

Иван Петрович все еще стоял у камина; выглядел в аккуратно сшитом мундире моложаво и подтянуто, седеющие виски никак не сочетались с его внешним видом, будто не ему принадлежали. Смотревшие на Котляревского молодые люди невольно дивились ему.

Он долго молчал. Этот день и вечер навсегда останутся в сердце. Что он пережил сегодня в хатенке Лаврина, одному богу известно. Но был доволен, что помог человеку, увез в лечебницу и теперь не отступит от своего. Как это будет — сказать пока трудно, но все равно семью Лаврина в обиду не даст, и люди ему в этом помогут.

А что еще? Стоило переступить порог новиковского дома — его снова встретила неожиданность: знакомство с удивительным человеком, не по годам мудрым, мужественным, обаятельным — вот этим молодым военным уже в чине подполковника. Сергей говорил от имени молодой России, как никто и никогда до него не говорил. И надо же — в эту минуту появился посланец далеких друзей из Санкт-Петербурга. В столице говорили об "Энеиде". И как говорили! Нет — и в этом нет никакого сомнения — не ему эта честь, она оказана родному народу, таким, как Лаврин и эта несчастная девушка, что была воспитанницей Баглаихи. И многим другим... Разве можно молчать в такой час? Он обязан, должен сказать об этом своим друзьям, они его поймут, разделят его волнение и радость.

Шагнув к столу, Котляревский оказался между Новиковым и Сергеем, коснулся крепкого плеча Муравьева-Апостола-младшего. Заговорил тихо, но все хорошо его слышали:

— Еще раз, господин поручик, прошу вас, передайте мое сердечное спасибо петербургским друзьям. Низко кланяюсь им!..

Братья Муравьевы-Апостолы, Михайло Новиков, Василий Туманский, новиковский слуга Савелий, задержавшийся в кабинете, слушая Котляревского, невольно прониклись его волнением. Им казалось: в этот вечерний час Ивана Петровича слушают не только они, друзья его, но и тихая, обаятая осенним сном Полтава, вся

Украина.

Позабыв обо всем на свете, Василий Туманский смотрел на Котляревского и не верил своему необыкновенному счастью: неужто и впрямь он, никому неизвестный молодой поэт, сидит за одним столом с Котляревским — автором величайшего литературного памятника, поэмы "Энеида"? Не сон ли это?.. Там, в Санкт-Петербурге, в доме вдовы Державина, он видел и слышал Рылеева, Бестужева, Гнедича, Глинку, однажды познакомился с Пушкиным, почти своим сверстником, разговаривал со вдовой Гаврилы Державина, а теперь, спустя немного меньше месяца, в родной Полтаве слушает первого поэта Украины, говорит с ним и его друзьями.

Здесь, под крышей новиковского дома на Дворянской, словно бы продолжались вечера "ученой республики", начатые в (Неверной Пальмире).

8

Утро следующего дня выдалось пасмурным, холодным, даже теплая шинель не спасала от резкого порывистого ветра. Под его ударами за одну ночь начисто облетела листва акации, не уцелела она и на старой груше, к утру почерневшей, будто ее опалило огнем.

Иван Петрович поплотнее закрыл дверь на веранду, в прихожей повесил шинель и, облачившись в длинный теплый халат, прошел в комнату, служившую ему и спальней и рабочим кабинетом. Пока его не было, Мотя успела прибрать, затопить камин, и теперь в комнате стало уже довольно тепло, отсвет пламени отражался на золоченых корешках книг, стопой выставленных на широком подоконнике.

Все было готово для работы — бумага, чернила, хорошо очиненные гусиные перья. Но прежде всего он обязан написать Федору Николаевичу Глинке, поблагодарить его, президента Общества, за оказанное внимание и высокую честь быть избранным почетным членом оногo, а также попросить Федора Николаевича принять в пользу Общества в качестве дара хотя бы сорок оставшихся экземпляров "Энеиды". Глинка — человек чуткий, поживший и повидавший немало, истинный поэт, ветеран войны с французами — поймет его чувства, не осудит, извинит излишнюю экзальтированность, но иначе он поступить не может, хоть чем-нибудь, пусть малым приношением, а должен поблагодарить добрых друзей за все, что они сделали и делают во имя литературы и языка братского народа, может, всего его будущего.

Придвинув к себе чистый лист, на мгновение задумался, и вот уже косо срезанное перо побежало, полетело от края к краю по чистому, белому, как первый снег, полю:

"Милостивый государь Федор Николаевич!

За особую честь поставляя себе избрание меня в почетные члены... Вольного общества любителей российской словесности, признательнейшую благодарность мою приношу всему достопочтенному Обществу и в особенности Вам, милостивый государь, за лестное для меня Ваше участие в сем деле".

На миг перо задержало свой бег, Котляревский, прочитав написанное и не найдя в нем ошибок, продолжал:

"Диплом на звание почетного члена, устав и список гг. членов Общества имел я

честь получить от Василия Ивановича г-на. Туманского".

Котляревский хотел было добавить, что посланец, избранный Обществом, оказался интересным молодым человеком, он доставил немало приятных минут своими рассказами о Санкт-Петербурге, о вечере у госпожи Державиной и так понравился, что и Новиков, и братья Муравьевы-Апостолы просили его задержаться в Полтаве, погостить у них. Но всего приятнее то, что Туманский, еще совсем юный, только вступающий в жизнь, очень трезво и верно судит о современной литературе, 'знает ее и, несомненно, сам пишет, хотя и стесняется говорить об этом. Однако Иван Петрович ничего этого не написал, письмо было сугубо деловым. Поэтому он сразу же перешел к сути:

"Желая быть полезным Обществу, сколько силы мои позволяют, жертвую в пользу оного 40 экземпляров малороссийской "Энеиды", которую вслед за сим доставляю; Вас же, милостивый государь, покорнейше прошу быть ходатаем у Общества, не отвергнуть малого моего приношения..." Подписавшись, поставил дату: "Октябрь 28 дня, 1821 года".

Письмо написалось сразу, без помарок, единым духом. Конечно же было бы лучше поехать в Санкт-Петербург самому, встретиться с Глинкой, Гнедичем, другими членами "ученой республики", но, к сожалению, неосуществима такая поездка, во всяком случае, пока: и свет неблизкий, и предстоит неотложная работа с "Энеидой", есть и другие заботы — не окончено дело с Плахотннченко и, разумеется, пансион на сколько-нибудь продолжительное время оставить невозможно. Вот и сиди, пан майор, дома.

Иван Петрович прислушался: в соседней комнате возилась Мотя, затем вышла на кухню, застучала заслонкой печи. Рано она поднимается и допоздна на ногах, каждую минуту находит себе занятие, хотя, казалось, какие особые дела в его холостяцком хозяйстве. И ничего ей не скажи, напомни об отдыхе — обижается: "Я еще, кажется, не старуха — зачем же сидеть сложа руки среди бела дня?"

Добрый человек в доме — счастье. Была бы жива матушка, она бы с Мотей подружилась непременно. Который год, как похоронил ее, а все видится живой, вот вышла куда-то, но скоро вернется, войдет в комнату, увидит, что ои работает, и ничего не скажет, принесет и молча, чтобы не отвлекать от занятий, поставит на стол кринку молока топленого, или холодного хлебного квасу, или узвару, вкуснее которого ничего нет в целом свете.

Время уходит быстро, не заметил, как побелели виски, серебром покрыло голову и путь к последнему приюту все короче... Но, боже мой, о чем это он вдруг? Забот у него нынче столько, а он расчувствовался, некому обругать, отрезвить, ей-право...

Закончив письмо, Иван Петрович посыпал его песком, подул немного, вложил в конверт и сразу же засобирался: день предстоял не легкий, маетный, а времени в обрез. Прежде всего намерен был зайти в больницу, справиться у лекаря, как дела у Лаврина: не хуже ли ему и не вмешался ли господин душевладелец, не вздумал, чего доброго, прервать лечение?

Затем — пансион. Вчера из-за поездки в село не был там — и душа беспокойна, хотя и есть кому присмотреть за воспитанниками, а все же свой глаз, недаром говорится, — алмаз, никто не заметит, а он увидит огрех, какой-либо недосмотр и тут же вмешается, поправит, а то ведь может и неприятность случиться, и не о себе он, понятно, беспокоился — прежде всего о детях.

После пансиона сразу же — к Новикову, благо канцелярия, где сидит Михайло Николаевич, на той же, что и пансион, площади. К Новикову двойной интерес нынче: прежде всего, в каком состоянии дело пана Калистратовича, не вышло ли повеление князя о суде чести над ним? Хорошо бы это устроить, тогда, может, и другим душевладельцам не повадно было бы измываться над несчастными поселянами. Справившись об этом, уже в конце, как бы между прочим, он спросит о вчерашнем вечере: с чего вдруг Новикову взбрело на ум приглашать его? Неужто ради одного знакомства с Муравьевым-Апостолом-младшим? Как бы там ни было, чувство подсказывает: что-то еще хотел Новиков. Но что? Зная его характер — довольно скрытный, твердый, — ответа прямого не добьешься, если только случайно не проговорится. И все же не мешает встретиться.

Дома тоже есть чем заняться. Пора, пора заканчивать "Энеиду", еще раз просмотреть последние две части. И с Туманским, если не ускакал в свою Опанасовку, следовало бы поговорить. Новиков — тоже хорош, не отпустил, оставил поручика у себя. "И мне желательно побеседовать с гостем..." Пришлось уступить.

Пока Иван Петрович собирался, Мотя внесла завтрак, поставила на край стола.

— Поешьте, пан майор, пока не остыло.

— Спасибо, но я кофейничал, да еще с кренделями, так что ничего больше не хочу... К обеду ворочусь.

— С богом! — Мотя незаметно перекрестила Ивана Петровича, когда тот уже перешагнул порог. Так она поступала каждый раз, провожая майора из дома, свято уверовав, что крестное знамение, искреннее ее желание добра и здоровья "пану майору", ее хозяину, способно убережет его от всяческих бед, подстерегающих человека в этом мире почти на каждом шагу, начиная со дня рождения.

Долго смотрела, как "пан майор", дорогой ее хозяин, уверенно шагает по засыпанной сухой листвой тропе, ведущей мимо собора и звонницы на Пробойную. Горожане, идущие к заутрене, увидев майора, еще издали кланялись, он отвечал им, а с некоторыми, остановившись, заговаривал, осведомлялся о здоровье. Почти каждый встречный был знакомым или приятелем Ивана Петровича, а для многих он был и добрым советчиком, и другом. Зная это, Мотя хорошо понимала, что ничего тут не изменишь, да и зачем? Таким был и таким, верно, будет "пан майор", и, если бы вдруг стал иным, возможно, перестала бы уважать. И все же, помимо воли, бередила душу проклятая ревность к каждому, кто покушался на его время, случалось, приходил и без надобности, просто ради праздного любопытства; угадывая таких каким-то своим безошибочным чутьем, Мотя старалась их к майору не допускать, а они, окаянные, оказывались хитрее, перехватывали его где-нибудь в городе, когда он возвращался

домой, и заставляли выслушивать.

Причесываясь перед квадратным в черной раме зеркалом, убирая волосы под чепец, чтобы не мешали во время работы, невольно замечала, что еще, слава богу, не так стара, ей, правда, уже тридцать с лишком, а выглядит моложе своих лет, и брови еще густые и не полинявшие, и губы не увяли, и щеки румяны тем особенным вишневым румянцем, из-за которого подчас совестно и на улицу показаться, в глаза бросается, из-за него, видно, все ее беды, иные свахи проходу не дают. А ей никто не нужен, нажилась со своим унтером — никому такого счастья не желает. Нынче у нее есть крыша над головой, свои повседневные заботы, есть и человек, которому нужна ее забота, и она охотно посвящает ему все свое время, пусть ей не всегда понятны его хлопоты, все равно она будет оставаться в этом доме, никуда не уйдет, ибо и не мыслит себе жизни где-то на стороне, вне этого уютного небольшого домика на Соборной площади. Конечно, если сам хозяин откажет ей в месте, тогда придется искать себе приют в иных краях. А пока она здесь и ничего ей большего не надо. И что ей нашептыванья мазуровских кумушек: как, мол, живешь под одной крышей с неженатым и зачем вековать одинокой, хотя и вдове, подумай, пока не поздно, о своей бабьей доле.

Не однажды — в отсутствие, разумеется, майора — стучались к ней свахи. Какими голосами пели, кого только не прочили: и судейских, и коммерсантов, и канцеляристов, и даже военных. Кокетливо усмехнулась, вспомнив последний разговор. Не грубила, не смеялась в глаза уверенной в успехе посланнице, а, скромно опустив голову, ответила: "Старовата я для вашего гусара, где мне сравниться с ним, женщина я бедная, бесприданная. Не утруждайте себя больше..." В другой раз, приметив в окно непрошеную гостью, попросту не открыла ей, и та, потоптавшись на пустыре, подразнив собаку, ушла. Иван Петрович был на веранде, услышав шум у ворот, спросил: "Кто это приходил и почему не впустила?" — "Кума со своими сплетнями, а у меня нет времени их слушать". — "Ты бы, серденько, хоть изредка посплетничала, а то соседки перестанут тебя признавать". — "А мне от того ни холодно, ни жарко... Да вы смеетесь надо мной? Мне вот некогда, а вам посмеяться охота?.." — "Посмейся и ты, смех здоровью не помеха..."

У Моти было множество дел, и все же она быстро и споро справлялась с хозяйством майора, находила истинное удовольствие сделать что-нибудь такое, что, заметив, Иван Петрович сказал бы: "А ты, серденько, мастерица. Узвар твой — обопьешься, и пампушки — куда там госпоже Стеблин-Каминской. Закормишь — чего доброго..."

Убрав волосы под белый чепец, от чего румянец запылал еще ярче, Мотя ушла по хозяйству: на кухню помочь кухарке, потом — в погреб, оттуда — в кладовую. Во дворе задержалась, проводила долгим взглядом строгий журавлиный клин, пролетающий над горой за Ворсклу, услышала их прощальный клич и вдруг пожалела их: куда улетаєте, зачем?

Между тем Иван Петрович, приближаясь к больнице, не мог не задержаться возле строящегося на Пробойной улице дома графа Ламберта. Как раз подвезли две фуры с



лесом, и трое рабочих — молодые еще, стриженные в кружок — принялись разгружать толстые бревна, а другие тем временем, поплевав на ладони, приготовились с топорами очищать их от коры. Прохожие задерживали любопытные взгляды на стройке: безусловно, новый дом украсит улицу; если бы и другие стали селиться на Пробойной, улица, несомненно, преобразилась, а то ведь сплошь еще пустыри да пустыри. При случае не лишне будет намекнуть господину Абросимову, пусть он, губернский архитектор, главный зодчий Полтавы, для лучших домовладений отрезает участки именно здесь, на Пробойной. Вдруг вспомнились стихи Вяземского, писавшего о Полтаве: "Ей не нужноobelиска, мостовая ей нужна". Верно сказано, надо напомнить их князю, он в поэзии дока, да и любопытно, что скажет, во всяком случае, глухим, надо думать, не останется...

В лечебнице Андрей Афанасьевич, оторвавшись от чтения огромной в кожаном переплете книги по фармакопее, подробно рассказал, как чувствует себя Лаврин, что ел, сообщил, что сегодня на рассвете прибежала дочь его, принесла домашнего киселя, больной поел с явным удовольствием, одним словом, чувствует он себя значительно лучше. Одно беспокоит: как бы пан Калистратович не прервал лечения. Котляревский постарался успокоить лекаря:

— Этого не случится. А в случае надобности, дайте немедленно знать господину Новикову и мне. А Лаврину скажите, чтобы поправлялся. Позже я еще зайду. Ну и спасибо вам, Андрей Афанасьевич! Вы славный человек.

— Что вы, господин майор! Разве же я не понимаю или без души совсем?..

В пансионе Котляревского ожидали. Помощник надзирателя встретил его при входе. С ним вместе Иван Петрович обошел все спальни, побывал на кухне. Во время обхода помощник — молодой еще человек, который сам недавно закончил гимназию — рассказывал о том, что случилось в минувшие сутки. Ничего особенного, все здоровые, только... воспитанник Замчевский отпросился вчера в гости к своим друзьям — сыновьям Михаила Николаевича Новикова — и вместо двух часов, как разрешено было, пробыл у них до позднего вечера. "Говорит, не отпускали... И такое рассказывает..."

— Что же именно, сударь? — Котляревский удивленно взглянул на молодого человека. Тот вел себя как-то странно: хотел что-то сказать и словно не решался.

— Говорите же.

— Не знаю, право.

— Вы меня удивляете. Заболел кто-нибудь? Или что-нибудь разбили, сожгли или унесли?

— Стекло разбили, верно. В зале. Но провинившегося еще не нашли, найдем, однако.

— Не трудитесь напрасно. Сам объявится. И с кем не случается. Вы ничего ни разу в своей жизни не разбивали? Про себя такого сказать не могу... Так об этом вы хотели сказать и не решались? И не стыдно, сударь?

Молодой человек умоляюще смотрел на господина надзирателя.

— Да что с вами, Присовский? Уж не заболели вы сами?

— Я здоров. И все здоровы... Но дело в ином. Я не осмелился сразу, я думаю, что это мистификация... — Присовский вытер пот со лба. — Замчевский говорил в комнате — но все в пансионе уже знают, — что вчера ввечеру прибыл из Санкт-Петербурга нарочный и доставил сообщение, что он... да нет, что вас избрали почетным членом Общества российской словесности. Сыновья господина Новикова сказали будто. Но если это вымысел, мы накажем Замчевского. Из-за этого воспитанники почти всю ночь не спали.

— Да нет, он прав. Человек из Санкт-Петербурга приезжал.

Присовский просиял:

— А я не поверил. А это такое событие! Радость для всего пансиона. И радость, и гордость, и все... И поздравляю, Иван Петрович! Примите мои самые искренние, самые восторженные!..

Котляревский обнял за плечи своего помощника:

— Сколько раз говорил: не нужно так, не годится... А за поздравление — спасибо!.. Однако я пройду к себе, затем отлучусь в канцелярию его сиятельства. Позже вернусь. А вас прошу проследить, чтобы все своевременно позавтракали и на уроки отправились без опозданий.

Утром коридор пансиона обычно настолько тих, что кажется сонным, а сегодня он почему-то и вовсе необычен — торжественный, праздничный. Пахнут свежестью натертые до блеска полы. Пансионный сторож, отставной солдат Федор, укладывал дровишки в печь осторожно, чтобы не насорить на пол. Заметив надзирателя, попытался подняться, но с одной ногой не подхватишься, как прежде, и замешкался. Майор же попросил не беспокоиться, присел рядом. Старый солдат и отставной майор понимали друг друга, иногда могли просидеть рядом, не разговаривая, раскуривая свои трубки, и полчаса и час. Но сегодня майор не засиделся и не предложил табачку, спросил лишь, как Федор себя чувствует и как ему дежурил ось, как прошла ночь, не было ли каких происшествий.

Солдат подкрутил рыжеватые усы, сделав их острыми, как шилья, стрельнул глазом куда-то в угол и, не торопясь, как бывало прежде на рапорте, доложил, что дежурства его проходят как полагается, без происшествий, ничего предосудительного он не замечал, правда, прошедшей ночью старшие воспитанники долго не ложились, жгли казенные свечи и не открыли, когда он постучал к ним. А чувствует он себя еще совсем неплохо, дай боже здоровья и ему — господину надзирателю.

— Так что не извольте беспокоиться, ваше благородие! — Солдат снова попытался вскочить, отдать честь. Но Иван Петрович не разрешил:

— Сиди, Федор. Спасибо тебе за службу!

— Рад стараться! — гаркнул солдат и все-таки не удержался, поднялся, встал во фрунт.

— Эх, Федор! — Иван Петрович махнул рукой и, ни слова не сказав больше, ушел. Солдат долго смотрел ему вслед, потом, довольно подмигнув самому себе, снова присел к печке.

Между тем Иван Петрович, войдя в свою комнату, снял шинель, пригладил волосы. С первого взгляда здесь все было так, как и должно: прибрано, пол натерт, цветы на подоконнике политы. Но что-то и не так. Сразу не разберешься. Ах, вот что! Позавчера он не оставлял на письменном столе никакой бумаги. Откуда же она взялась? Зачем? Он развернул большой лист и удивился: стихи? Весь лист исписан стихами, и каждая буква, с которой начиналась новая строфа, разрисована. Конечно же это дело рук Замчевского и его товарища Зозули, только они способны на такое — мастера-художники. Но о чем же стихи? Они кому-то даже посвящены. Кому же? Не может быть! Разбойники, право. По какому поводу надзирателю пансиона посвящать их? Какие нынче праздники? Никаких, кажется. Право же, до сих пор подобного еще не было, и вот — пожалуйста.

Он читал, и чем дальше, тем больше удивлялся, тем сильнее стучало сердце. Они поздравляют господина надзирателя с избранием в почетные члены Вольного общества любителей российской словесности. Они гордятся им, уважают его, любят и дают твердое обещание: следовать по его стопам, продолжать его, надзирателя, дело, отдать, если нужно, всю жизнь ради него... Написанное на украинском языке, стихотворенье было образцом истинной поэзии, в этом надзиратель не мог ошибиться. Внешнее оформление адреса не имело особого значения, прежде всего — текст, а в нем каждое слово — прозрачная капля чистой воды. Внизу четкие подписи: первая — Якова Замчевского, далее одна за другой — Максима Потушняка, Григория Могилата, Петра Зозули. Представил себе их — безусых, стройных, как молодые дубки, первых учеников гимназии, и сердце сжалось от теплого чувства благодарности и гордости: в каждом из них было что-то и от него, его знаний, мыслей, чувств. Нужно ли учителю, воспитателю, каким он считал себя, счастье больше этого.

Долго стоял у окна. Взглядом охватил всю площадь, заметил у подъезда генерал-губернаторского дворца открытую карету. Кто-то вышел из служебного хода, кучер отворил дверцу. Сразу и не обратил внимания, но, присмотревшись, узнал в господине, влезавшем в карету, Калистратовича. Да, это он — собственной персоной изволил явиться к князю.

Карета проезжала мимо. Калистратович хмуро всматривался в окна пансиона, и вдруг взгляд его остановился: он увидел надзирателя. Остекленели глаза. Это был один миг — их взгляды встретились, скрестились. Шевельнулись косматые брови душевладельца, но карета простучала мимо, кучер натянул вожжи — она покатила быстрее, все дальше и завернула за угол, лишь топот лошадей еще некоторое время стоял над площадью.

Перед мысленным взором все еще оставалась карета и — тяжелый, исподлобья, взгляд. Ничего хорошего он не предвещал, и все же нельзя сказать, что это был взгляд победителя. Что бы ни случилось, а он, Котляревский, не отступит, хотя и нелегко с такими душевладельцами трактовать; с татарами, как ни странно, было проще: там знал, кто перед тобой, и действовал соответственно... Надобно сейчас же идти к Новикову, он должен знать, чем закончилась аудиенция господина Калистратовича у

князя. Вспомнив о Новикове, снова — в который раз — подумал о вчерашнем визите к нему. Для чего все-таки приглашал к себе правитель канцелярии?

Еще не однажды такой вопрос будет возникать у Котляревского, никто, однако, кроме Новикова, не сумеет на него ответить. Но это будет годом позже...

В комнате становилось душно, он открыл форточку — и тотчас свежий ветерок расшевелил на столе тетради, книги, зашелестел в ученическом адресе. Воздух вливался в комнату чуть прохладен, но зато свеж.

Между тем воспитанники уже выходили из пансиона: одни — в гимназию, другие — в уездное училище. Коридор наполнился обычным в таких случаях шумом — сначала неясным, нечетким, но с каждым мгновеньем обретавшим большую силу.

Свыше десяти лет ежедневно он слышит этот шум, и каждый раз не может оставаться равнодушным: за этим шумом ему виделась сама жизнь, эти юноши и подростки напоминают ему и давно ушедшую собственную юность, товарищей по семинарии, по службе в канцелярии. Жизнь не останавливалась, она продолжалась — и в этом была ее величайшая мудрость...

1 Первоначальное название известной пьесы "Ябеда".

2 "Ни одного дня без черточки" (лат.).

3 Заручины — помолвка (укр.)л

4 Всякое начало трудно (лат).

5 Поэт рождается, а не делается (лат.)

6 Всякое начало трудно (лат.)

7 Через тернии к звездам (лат.)

8 Зшиток — тетрадь (укр).

9 Рая — уезд (татарск.)

10 Каймакам — уездный начальник (татарск.)

11 Бей-заде — сын хана, бея (татарск.).

12 Киле — мера веса, немного меньше килограмма (турецк.).

13 Пик халеби — алеппский локоть, равен 0,686 метра (турецк.).

14 Бисмолях — молитва (татармк.).

15 Бекмес — виноградный напиток (татарск.).

16 Стихи П. Вяземского.

17 Тома де Томон — автор проекта памятника Славы а Полтаве.

18 Мои господа!.. (нем.).

19 Домой (нем.).

20 Аврора — подруга муз (лат.).

21 Все мое ношу с собой (лат.).

22 "Наталка Полтавка" и "Солдат-чародей" — пьесы И. П. Котляревского.

23 В октябре 1820 года в Петербурге восстал лейб-гвардии Семеновский полк, и котором служил тогда С. И. Муравье""-Апостол.

24 Съехать с глузду— с ума сойти (упр.).

25 Куштопать — пробовать (укр.).

- 26 Горобей — воробей (укр).
- 27 Годоввика — воспитанница (укр.).
- 28 Сварка— ссора (укр.).
- 29 В будущем (лат.).
- 30 Счастье помогает смелым (лат.).
- 31 Жребий брошен (лат.).
- 32 Смелым помогает судьба (лат.).
- 33 Их молчание есть громкий крик (лат.).